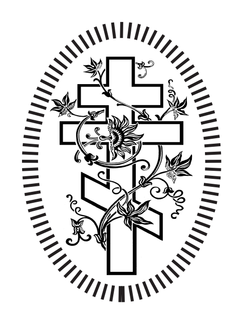
ЮРИЙ САМАРИН

ПРАВОСЛАВИЕ И НАРОДНОСТЬ

Русская цивилизация



РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Серия самых выдающихся книг великих русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения:

Св. митр. Иларион
Св. Нил Сорский
Св. Иосиф Волоцкий
Иван Грозный
«Домострой»
Посошков И. Т.
Ломоносов М. В.
Болотов А. Т.
Пушкин А. С.
Гоголь Н. В.
Тютчев Ф. И.
Св. Серафим Саровский
Муравьев А. Н.
Киреевский И. В.
Хомяков А. С.
Аксаков И. С.
Аксаков К. С.
Самарин Ю. Ф.
Погодин М. П.
Беляев И. Д.
Филиппов Т. И.
Гиляров-Платонов Н. П.
Страхов Н. Н.
Данилевский Н. Я.
Достоевский Ф. М.
Григорьев А. А.
Мещерский В. П.
Катков М. Н.
Леонтьев К. Н.
Победоносцев К. П.
Фадеев Р. А.
Киреев А. А.
Черняев М. Г.
Св. Иоанн Кронштадтский
Архиеп. Никон (Рождественский)
Тихомиров Л. А.
Соловьев В. С.
Бердяев Н. А.
Булгаков С. Н.
Хомяков Д. А.
Шарапов С. Ф.
Щербатов А. Г.
Розанов В. В.
Флоровский Г. В.
Ильин И. А.
Нилус С. А.
Меньшиков М. О.
Митр. Антоний Храповицкий
Поселянин Е. Н.
Солоневич И. Л.
Св. архиеп. Иларион (Троицкий)
Башилов Б.
Митр. Иоанн (Снычев)
Белов В. И.
Распутин В. Г.
Шафаревич И. Р.

ЮРИЙ САМАРИН

ПРАВОСЛАВИЕ И НАРОДНОСТЬ

МОСКВА
Институт русской цивилизации
2008

Самарин Ю. Ф. Православие и народность / Составление, предисловие и комментарии Э. В. Захарова / Отв. ред. О. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2008. — 720 с.

В книге опубликованы главные труды великого русского мыслителя, публициста, общественного деятеля, одного из основателей славянофильского учения Юрия Федоровича Самарина. Его сочинения развивают основные положения славянофилов о Православии как истинном христианстве. Ум, опыт, наука — т.е. все отвлеченные рационалистические знания — не отражают целостного духа жизни. Полная и высшая истина дается не одною способностью логического умозаключения, но уму, чувству, воле вместе, т.е. духу в его живой целостности. Каждый народ олицетворяет особую национальную стихию. Для русских это духовная цельность и самодержавие. Православный дух русского народа извечно противостоит католическим и протестантским началам Запада.

Ряд произведений Ю.Ф. Самарина публикуются впервые после 1917 года.

ISBN 978-5-902725-14-5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Великий русский мыслитель и публицист Юрий Федорович Самарин (1819–1876) принадлежит к древнему дворянскому роду Квашиных-Самариных, представители которого отличились на государственной службе. Ефим Иванович Самарин в 1655 году составлял дозорные книги по Зарайску, Михаил Михайлович Самарин в начале XVIII века стал одним из первых русских сенаторов. Отец Самарина, Федор Васильевич Самарин (1784–1853) – участник Отечественной войны 1812 года и других войн начала XIX века, шталмейстер двора Императрицы Марии Федоровны. Род Самариных был внесен в родовые книги Московской, Вологодской, Калужской, Симбирской и Ярославской губерний. Особую известность фамилия получила в XIX столетии, когда ее представители находились в центре общественно-политических проблем, прежде всего это связано с именем Ю. Ф. Самарина.

Самарин был старшим сыном в семье шталмейстера и фрейлины Императрицы Марии Федоровны, которая стала его крестной матерью. Имя дано в честь деда – известного поэта Ю. А. Нелединского-Мелецкого. Самарин получил великолепное домашнее образование, позволившее ему в 1834 году успешно поступить в Московский университет на словесное отделение. Одновременно с ним в университете обучались К. С. Аксаков, Ф. И. Буслаев, С. М. Соловьев и др. К последнему году обучения относится запись профессора М. П. Погодина: «В четвертом курсе первое место принадлежит Юрию

Самарину. Он имеет много сведений, обладает средствами для приобретения новых, рассуждает логически, говорит ясно и складно, трудов много и дельных»*. Во время учебы Самарин особо сблизился с К. С. Аксаковым. Вместе они посещали литературные гостиные, где было представлено многообразие мнений московского общества: С. П. Шевырев, А. С. Хомяков, братья Киреевские, П. Я. Чаадаев, Т. Н. Грановский.

Важным моментом в определении собственной позиции стала работа над магистерской диссертацией «Стефан Яворский и Феофан Прокопович» (защищена в 1844 году). Анализируя наследие двух выдающихся представителей Церкви, Самарин выделяет антикатолические и антипротестантские начала в Православии. Материал исследования позволил определить Православие «только с отрицательной стороны, только в отношении к двум западным вероисповеданиям, положительная же сторона Православия осталась почти невыясненною», – печально признавал автор и посчитал собственным долгом научно обосновать основу восточного христианства с целью утвердить за ним достойное место в современном научном сознании. Однако он намеревался использовать метод философии Гегеля, примиряя науку и религию, знание и веру. В результате Самарин впал в трагическое противоречие, лишившее его внутреннего покоя. Вопросы науки оказались вопросами самой жизни, которые невозможно разрешить отвлеченным разумом и которые требовали обращения всей личности человека для постижения духовных основ мировосприятия. Внимательное отношение А. С. Хомякова, жившего внутри церкви, позволило Самарину восстановить цельность собственного мировоззрения, на личном опыте осознавшего реальность Божественного Откровения, непостижимого логикой разума, но открывающегося чистому сердцу. С этого момента для Самарина начинается путь утверждения религиозного сознания во всех сферах человеческой жизни. Однако почва была уже подготовлена благочестивым воспитанием в семье: уже во

* *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина: в 22 т. СПб., 1888–1910. Т. 9. С. 134.

время работы над диссертацией молодой Самарин признается в письме к отцу, «...что нет добра от дела, начатого не во Славу Божию, что нет успеха, где нет Благословения Божия, где не было смиренной молитвы, в этом я убежден вполне»*. Эти слова освещают весь жизненный путь славянофила и обосновывают его мировоззрение. Именно вера и явилась пунктом, разделившим позиции славянофилов и западников. Впоследствии Самарин объяснил постигнувшее его отчаяние «болезнью века» как результат «одностороннего развития ума», то есть всепоглощающей уверенности в силе разума, забывающего о питающем его источнике – бессмертной душе человеческой. Художественное осмысление этого процесса представлено в романе М. Ю. Лермонтова как отвлеченное явление, на примере драмы Самарина раскрывается психологический факт духовной жизни человека.

После защиты диссертации Самарин надеялся дальнейшую судьбу связать с научной деятельностью, но по настоянию отца направился в Санкт-Петербург на государственную службу в Министерство юстиции, затем в Сенат. Неудовлетворенность службой, желание извлечь большую пользу от результатов деятельности обусловили переход Самарина в Министерство внутренних дел в только что открытый комитет по устройству лифляндских крестьян в Риге. Его сетование на недостаточность времени для научных занятий восполнялось сознанием полезности непосредственного знакомства с административным устройством страны, соприкосновения с реальной жизнью. В одном из писем к К. С. Аксакову этого времени он даже упрекает своего товарища в том, что о многих реальных фактах они даже не имеют представления, хотя обращаются к вопросам государственного управления. Затем Самарин продолжает службу в Симбирске, Киеве.

В 1853 году Самарин оставляет государственную службу, которая стала подготовкой к делу всей его жизни – разрешению крестьянского вопроса в России. Он подолгу жил в деревне, изучал историю освобождения крестьянства в Западной

* НИОР РГБ. Ф.265. Карт. 34. Ед.хр.2. Л.64 об.

Европе, в основном в Пруссии. В последние годы Крымской войны (1855–1856) Самарин состоял на службе в Сызранском ополчении. Одновременно это был период активной публицистической деятельности. Статьи Самарина помещались в журналах «Москвитянин», «Московский сборник», «Русская Беседа», «Сельское благоустройство», в газетах «День», «Русь» и вызывали огромный интерес у современников.

Когда официально был поднят вопрос об упразднении крепостного права, Самарина назначили в Самарский губернский комитет членом от правительства. Ожесточенная борьба вокруг проекта реформы в Самарском комитете стала известной на всю Россию благодаря сочинениям Самарина. Затем он был привлечен для работы в редакционных комиссиях, где состоял в административных и хозяйственных отделах. Именно проект Самарина стал основой для текста манифеста 1861 года, над которым впоследствии работали руководители редакционных комиссий Н. А. Милютин и В. А. Черкасский, и окончательная редакция произведена Московским Митрополитом Филаретом (Дроздовым).

В 1864 году Н. А. Милютин призвал Самарина для проведения реформ в Царстве Польском. Причем Самарин не принял никакого официального статуса, хотя являлся активнейшим членом комиссии. В дальнейшем, где бы ни находился Самарин (Московское Земское собрание, Московская городская Дума), он пользовался громадным авторитетом и уважением. Не случайно его внезапная смерть вызвала мощный резонанс в русском обществе: и сторонники, и неприятели сошлись в едином мнении – Россия потеряла одного из своих лучших сыновей. В. И. Ламанский заключил свою речь на панихиде: «Самарин как писатель и деятель общественный, как дарование и характер принадлежит к тем именам, которые составляют красу, гордость и славу Русской земли…»*.

Деятельность Ю. Ф. Самарина в полной мере отразилась в его публицистическом наследии. Имя Самарина встречается

* В память Ю. Ф. Самарина. Речи, произнесенные в Петербурге и в Москве по поводу его кончины. СПб., 1876. С. 26.

в каждом исследовании, рассматривающем наследие славянофилов, но, как правило, лишь для дополнительной характеристики взглядов его соратников, с включением небольшого комментария. В действительности сочинения, письма Самарина содержат множество любопытнейших фактов, касающихся общественной и культурной жизни России XIX столетия. Его адресатами были А. С. Хомяков, Киреевские, Аксаковы, П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен, Н. В. Гоголь, А. О. Смирнова, М. П. Погодин и многие другие. Однако Н. И. Цимбаев подвел итог во вступительной статье к его сочинениям: «Судьба идейного наследия Юрия Федоровича Самарина трагична. Политический писатель и государственный деятель, служивший Российской империи, он немало сделал для ее преобразования, но не сумел преодолеть косности тех, кто решал судьбу страны и бездарно вел ее к гибели. Как православный мыслитель, он и поныне остается неизвестным»[*].

«Господь не создал меня поэтом, — пишет молодой Самарин, — но Он одарил меня пылкими страстями, чувством высокого и прекрасного...»[**]. Признание стоит дополнить примером внимательного отношения к слову — он пишет отцу по поводу обучения младшего брата: «Все это не удивительно, а свидетельствует о том только, что в нем не развито слово. А не развито оно потому, что оно в нем не воспитано, потому что его не выдержали на выражении мысли; его не умели заинтересовать к этому, не умели пробудить в нем желания видеть свою же мысль ясно и изящно выраженною»[***]. Не случайно первый его биограф Б. Н. Нольде отмечал: «Самарин был одним из лучших русских писателей, а многие страницы, им написанные, представляют великолепные образцы русской прозы...»[****]. Свою жизнь он посвятил иному – непосредственному служению России, однако именно талант писателя отме-

* *Цимбаев Н.И.* Ю.Ф.Самарин.//Самарин Ю.Ф. Избранные произведения. М., 1996. С.14.

** НИОР РГБ. Ф. 265. Карт. 34. Ед. хр. 2. Л.38.

*** Цит. по соч.: Нольде Б.Э. Юрий Самарин и его время. С. 10.

**** Там же. С. 12.

чался современниками наряду с качествами государственного деятеля. Особенно это нашло подтверждение уже после его смерти, ставшей актом единения самых различных мнений, когда разноголосие слилось в общую скорбь о человеке высокого нравственного строя. Среди прочего выделяются определения: «мастерское перо», «великий писательский талант», «замечательный писатель»*.

В трудах Самарина центральной темой является проблема взаимоотношений между Россией и Западом. Эта проблема ведет за собой ряд сопоставлений, характерных для восприятия мировоззрения Самарина: вера и разум, религия и наука, православие и католичество. Едва покинув студенческую скамью, Самарин, уверенный в силе собственных убеждений, разъясняет в письме (1840) к французскому политическому деятелю Ф. Могену будущее России на международной арене**. В письме автор обращается к основным вехам исторического развития страны, что позволяет доказательно раскрыть ее своеобразие. Для характеристики государственного и национального устройства Самарин использует термин «народность», который становится основой всех его построений и в последующих сочинениях. Позже проблема народности будет заострена Самариным на страницах славянофильских изданий и вызовет бурную полемику в российской печати. Для него народность – это совокупность качеств нации, отличающих ее от других национальных объединений. Формирование народности является процессом историческим, на который влияет множество факторов. Самарин уточняет, что народность – «не только *фактическое проявление* отличительных свойств народа в данную эпоху, но и те начала, которые народ признает, в которые он верит, к осуществлению которых он стремится, которыми он поверяет себя, по которым судит о себе и других»***. Причем он подчеркивает, что в сознании самого народа эти

* В память Ю.Ф. Самарина. СПб., 1876. С.10—15.

** *Самарин Ю.Ф.* Соч.: В 12 т. М.: Изд-во А.И. Мамонтова, 1877–1911. Т.12. С. 447–457.

*** *Самарин Ю.Ф.* Соч. Т. 1. С. 150–151.

начала предстают «безусловно истинными, абсолютными», в них раскрывается «полная и высшая истина»[*]. Каждый народ олицетворяет особую национальную стихию. Так, германское племя воплощает собой «всю глубину, силу, все могущество, всю гордость, все благо и все зло исключительной личности»[**]. Поэтому германское начало, проявив себя в мировой истории, уступает место иному национальному образованию. Условие смены определяется следующим образом: «История движется вперед *свободным совпадением народностей с высшими требованиями человечества*. Чем свободнее, глубже и шире это совпадение, тем выше стоит народ»[***]. В свою очередь, критерием оценки совпадения становится нравственный закон, который для Самарина неотделим от религиозного чувства. С этой позиции он определяет составные элементы русской народности: «религиозное начало и самодержавие»[****]. Религиозное начало для Самарина бесспорно воплощается в православии.

По Самарину, главной заслугой православной церкви является то, что она, лишенная светской власти, «принимала участие в истории нашей чисто нравственное»[*****]. Это позволило избежать ей злоупотреблений в сфере догматов, наблюдаемых в католицизме. Во время работы над диссертацией «Стефан Яворский и Феофан Прокопович» (1840–1844) Самарин определил для себя метод исследования: выявить на примере двух иерархов влияния на православие католичества (Прокопович) и протестантства (Яворский)[******]. Увлекаемый своим намерением, в скором времени он сознает, что перед ним широкое поле деятельности: православие не определило себя в научной сфере, в отличие от западных вероисповеданий. В то время, признавая за философией высшую духовную сферу,

* Там же. С. 151.

** Там же. С. 152.

*** *Самарин Ю.Ф.* Соч. Т. 1. С. 150–151.

**** *Самарин Ю.Ф.* Статьи. Воспоминания. Письма / Сост. и автор вступ. статьи Т.А. Медовичева. М.: ТЕРРА, 1997. С. 154.

***** Там же. С. 154.

****** *Самарин Ю.Ф.* Соч. Т. 5. С. 3–450.

Самарин пытался дать научное обоснование православию. В результате он впал в глубокое противоречие. Как христианин он не смог перешагнуть через сокровенное предание в душе человека. Его духовные страдания смягчились благодаря вмешательству Хомякова, который объяснил, что «Христианство не наука и наукообразным быть не может»[*]. Это положило конец попыткам со стороны Самарина подвести под религию какое-либо научное обоснование. Кроме «духовной помощи», христианство не требует от людей другой поддержки. С тех пор в отношении к православию Самарин не изменял позиции смиренного верующего, но в своих общественных взглядах он использовал отрицательный метод для доказательства истинности православной веры.

Вслед за славянофилом Д. А. Валуевым Самарин отмечает, что Восток – «это значит: не Китай, не исламизм, не татары, а мир славяно-православный, нам единоплеменный и единоверный, вызванный к сознанию своего единства и своей силы явлением Русского государства»[**]. Высказывание вполне определенно характеризует общественную позицию Самарина, с которой он выступал в своих трудах. Находясь в Риге в составе ревизионной комиссии (1845–1848), Самарин, кроме официального исследования «История города Риги», создает свое первое публицистическое произведение – так называемые «Письма из Риги»[***], где он с негодованием описывает притеснения русскоязычного населения и общее положение в Прибалтийском крае. Позже Д. Ф. Самарин, его младший брат и издатель сочинений, назовет «Письма...» «одним из первых произведений русской политической литературы вообще»[****]. Они получили широкое распространение в Москве и Петербурге, в результате чего Самарин был заключен в Петропавловскую крепость.

* На пути к Истине (Письмо А. С. Хомякова Ю. Ф. Самарину). // Литература и история: Выпуск первый. М., 2000. С. 95.

** *Самарин Ю.Ф.* Соч. Т. 1. С. 98.

*** *Самарин Ю.Ф.* Соч. Т. 7.

**** Цит по соч.: *Нольде Б.Э.* Юрий Самарин и его время. Париж, 1926. – 2-е изд. – Paris: YMCA-Press, 1978. С. 44.

Основной идеей произведения стало представление положения в дальней российской губернии, где торжествует произвол немецкой аристократии, прикрывающейся волей монарха. Самарин с предельной реалистичностью изображает действительность и осмысливает ее с позиции политической обоснованности. Первый опыт изучения внутреннего устройства России становится определяющим в характере его публицистики.

В шестидесятые годы он обращается к большому труду «Окраины России», первый выпуск которого издан в августе 1868 года. Самарин задумал «Окраины...» как целый ряд публикаций по всем русским окраинам: первая серия посвящалась русскому балтийскому Поморью, вторая – Северо-Западному краю, третья – Польше и Юго-Западному краю. План этот не был осуществлен за те несколько лет, которые отделяли Самарина от смерти. Но в серии балтийского Поморья им было издано шесть выпусков; второй также готовился и вышел в свет одновременно с первым. Обращение к столь обширному труду воплотило давние намерения Самарина, к которым он призывал И. С. Аксакова в письме от 15 октября 1865 года: «Бросим журнальную полемику, писание статеек и т.д., пора специализироваться и браться за сочинение книг»*. Самарин избрал близкую для себя проблему: он служил в Риге, Симбирске, Киеве, Самаре, участвовал в преобразовании Польши после восстания 1863 года. Он не понаслышке владел информацией с тех мест, к которым запланировал обратиться. Перед ним стояли важные задачи – пробудить национальное самосознание граждан, заострить вечную российскую проблему – взаимодействия центра и периферии страны, расширить мировоззрение своих соотечественников. Например, письма Тютчева в полной мере дают представление о широком интересе со стороны общества к трудам Самарина, хотя они издавались за границей. Успех «Окраин России» позволяет говорить об актуальности поднятых Самариным проблем. Причина тому – его попытка повлиять на внутриполитическое положение в стране, не становясь в оппозицию к правительству,

* НИОР РГБ. Ф. 265. Карт. 38. Ед. хр. 1. Л. 62 об.

а, наоборот, обратить его внимание на беззаконные факты. Таким образом, главная цель, которую преследовал Самарин в государственной деятельности и в публицистике, – добиться объединения русского общества. Но единство невозможно при бесправии основной его части – русского народа. Отсюда, крестьянский вопрос стал главнейшим в его жизни. С тех пор, как в 1853 году он оставляет государственную службу, своим независимым положением Самарин стремится с еще большей пользой повлиять на ход политических дел в стране.

Самарин связывал будущее развитие страны с самосознанием народа. К середине пятидесятых годов относятся его черновые наброски статьи о народе. Главным тезисом этих разрозненных отрывков можно обозначить следующее высказывание: «Вопрос о народе есть вопрос будущего, <...> наступающая эра общественного развития принадлежит ему»[*]. Самарин осознает неизбежность этого процесса, в частности, как результата социального неравенства в стране. Он видел в крепостном праве факт противоестественности человеческих отношений.

Примечательно, что в воспоминаниях о государственном деятеле, экономисте и статисте Д. П. Журавском Самарин останавливается на одном разговоре, происходившем между ними. На вопрос о значительном различии эффективности труда западных и русских рабочих Журавский отвечал, что в нашей стране на протяжении долгого времени одни привыкли жить за счет чужого труда, а другие не имеют права распоряжаться плодами собственного. Создается особая атмосфера, лишенная «усилия» в труде, чему вскоре поддаются и иностранцы, приехавшие в Россию. Самарин не называет причину этого положения, но она напрашивается из самого диалога[**]. Усердие Самарина, приложенное к изменению векового уклада в стране, позволило А. В. Мещерскому определить движущую силу его характера – «ненависть к дворянству»[***]. Однако это утверж-

* НИОР РГБ. Ф. 265. Карт. 73. Ед. хр. 1. Л. 3.

** *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. Т. 1. С. 217–218.

*** *Мещерский В.П.* Мои воспоминания. Ч. 2. М., 1898. С. 179.

дение весьма субъективно, Самариным двигало христианское чувство, направленное на необходимость изменения быта и народа, и «публики». Он критиковал дворянское *барство,* ведущее к нравственной деградации личности. С величайшей радостью он встречает известие о предстоящей реформе: «...этим, конечно, мы обязаны Государю лично и больше никому – речь Его московскому дворянству о необходимости скорого упразднения крепостного права. Слава Богу! Когда я прочел письмо из Москвы, в котором мне сообщали это известие, я готов был воскликнуть: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Господи!» – писал он А. О. Смирновой 13 апреля 1856 года[*].

Самарин являлся одним из деятельных членов редакционных комиссий. Показательно, что в конце 1860 года, когда деятельность Главного комитета подходила к концу, Самарину было поручено написать проект манифеста. Уже в первых числах января 1861 года текст был подготовлен. Существенные изменения в самаринский проект были внесены В. А. Черкасским и Н. А. Милютиным, затем документ поступил на рассмотрение комиссии и подвергся коренной переработке. Самарин не был удовлетворен своим трудом, но он дорожил в нем несколькими фразами, получившимися живыми и яркими. Он изумился, когда «при первом же чтении, все, с каким-то безошибочным инстинктом, даже не сговариваясь, накинулись именно на эти места и похоронили их»[**]. В результате Самарин отклонил собственную ответственность за текст проекта.

Ф. Д. Самарин, племянник славянофила, в предисловии к 4-му тому сочинений останавливается на следующем факте: в конечном итоге Александр II одобрил проект манифеста после редакции митрополита Филарета, который сохранил важную самаринскую фразу, хотя и в измененной форме[***]. «Православные! не омрачите этого светлого дня ни диким разгулом, ни буйным веселием; но в трезвом сознании лежащих на вас обязанностей возблагодарите Всевышнего, Подателя всяких благ,

* НИОР РГБ. Ф. 265. Карт. 40. Ед. хр. 1. Л. 149.

** НИОР РГБ. Ф. 265. Карт. 38. Ед. хр. 1. Л. 11–11 об.

*** *Самарин Ф.Д.* Предисловие // *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. Т. 4. С. XXIV.

и, осенив себя крестным знамением, вступите бодро в новую жизнь» – так Самарин окончил проект. Митрополит Филарет предложил свой вариант: «Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного». Самарин, признав заимствование, счел вариант Филарета более убедительным, чем свой. Издатель трудов публициста замечает: «Эти заключительные слова, по свидетельству очевидцев, более всего произвели впечатление на народ; они сильнее всего запечатлелись в умах и доселе чаще всего припоминаются, когда заходит речь о манифесте 19 февраля»*. Возможно, подобных сопоставлений было бы больше, если бы митрополиту Филарету пришлось редактировать непосредственно текст Самарина. Например, в его проекте положение крепостных людей называлось несоотносимым «с началами Божественной правды и с коренными условиями прочного государственного благоустройства». После редакции Черкасского и Милютина фраза получила вид: «Такое положение крепостных людей, несовместное с условиями государственного развития...» Из этих слов становится понятным, что Самариным владело стремление к достижению идеала Божественной правды, что касается не только разрешения крестьянского вопроса, но и всей его деятельности.

Интерес к богословским вопросам является отличительной чертой литературного наследия Самарина, начиная с диссертации, когда он почувствовал благодатную почву религиозного духа для развития своего творчества. По замечанию протоиерея А. М. Иванцова-Платонова, «богословские воззрения, раскрываемые в диссертации Ю. Ф. Самариным, в существе дела – те же, какие развиты Хомяковым в трех брошюрах о западных вероисповеданиях и других богословских сочинениях его...»**, то есть самостоятельно выработаны младшим славянофилом. После смерти Хомякова Самарин обращается к К. С. Аксакову по

* Там же. С. XXVI.

** *Протоиерей Иванцов-Платонов А.М.* Предисловие // *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. Т. 5. С. XIX.

поводу совместной подготовки трудов своего учителя для издания. При этом Самарин определяет себе область деятельности – рассмотрение его богословского наследия, что воплотилось в обширном предисловии к трудам Хомякова*. Другим большим трудом несомненно являются его письма к иезуиту Мартынову, где православие представлено через отрицательное отношение к ордену иезуитов и католицизму в целом.

В архивных материалах находятся сведения о намерении Самарина серьезно заняться религиозными проблемами. В письме к И. С. Аксакову от 27 октября 1865 года Самарин советует ему написать «книгу или дельный проект закона», уточняя про себя: «Я бросаю все и посвящаю себя исключительно вопросу о Церкви...»**. По-видимому, его занятия являлись подготовительными к обоснованию своеобразия богословских трудов Хомякова.

Совершенно новым открытием богословских интересов Самарина является отрывок из письма к Черкасским от 19/7 сентября 1869 года:

«Но меня заняла и занимает другая, более серьезная работа; я задумал и уже начал свод или синопись четырех Евангелий с нужными комментариями. У нас по этой части нет ничего, кроме почтенного и все-таки очень неудовлетворительного труда Гречулевича, а потребность ощущается всеми, хотя большинством бессознательно. Тут будет работы на несколько лет, я уже собрал много материалов в Берлине и в Женеве на заработанные мною деньги («Окраины России» дали чистого дохода 1500 талеров). Теперь, то есть через неделю, поеду нарочно в Лондон, чтобы ознакомиться с библейскими трудами англичан и воспользоваться советами Е. И. Попова. Прошу вас убедительно до поры до времени никому не говорить об этой новой предпринимаемой мною работе, которая, может быть, и не состоится. Во всяком случае для меня лично исполненный и предполагаемый труд не пропадет...»***

* НИОР РГБ. Ф. 265. Карт. 34. Ед. хр. 1. Л. 299.

** НИОР РГБ. Ф. 265. Карт. 38. Ед. хр. 1. Л. 65 об.

*** НИОР РГБ. Ф. 265. Карт. 30. Ед. хр. 1. Л. 403–404.

Собственные побуждения Самарин обосновывает общественной необходимостью. Однако сведения о продолжении этой работы отсутствуют.

Важным составляющим началом русской народности для Самарина является Самодержавие, обоснование которого проводится с религиозной позиции. В статье «На чем основана и чем определяется верховная власть в России» Самарин в первую очередь, как и во многих своих произведениях, стремится к объективности утверждений. По Самарину, форма правления неразрывно соотносится со своеобразием духовности народа. А «...всякий народ представляет собою не безобразный материал, из которого можно вылепить любую фигуру: козла, вола или Геркулеса, а нравственно-живое существо, так же своеобразно определенное, как и отдельная человеческая личность»*. Отсюда «правительство есть одна из форм, служащих выражением народной жизни»**. Самарин целенаправленно выводит зависимость власти от народности, ибо «Русский народ видит и любит в своем государе православного и русского человека... В основании любви подданных к государю лежит вера и народность; такой широкой и твердой основы не имеет ни одно правительство, и вот почему оно у нас так сильно»***. Поэтому Самарин не склонен винить государя в поражении в Крымской войне, он лишь указывает на то, что Россия несет свой крест, и необходимо осознать назидательный смысл, преподанный Провидением. Монархизм Самарина поддерживается чувством единения со всем народом через царя, Помазанника Божия.

Самаринское объединение в народности самодержавия и православия является формой триады графа С. С. Уварова, или сущностью слов «за Веру, Царя и Отечество», что и отражает своеобразие России в православной культуре. Примечательно, что Самарин верно ощутил неразделимость трех начал, это проявляется в определении одного понятия через другое. Впо-

* *Самарин Ю.Ф.* Статьи. Воспоминания. Письма. С. 59.

** Там же.

*** Там же С. 68.

следствии митрополит Антоний (Храповицкий) (1863–1936) словами «за Веру, Царя и Отечество» охарактеризует русского православного человека: «Более всего ему нужно первое слово, как руководящее всею государственною жизнью; второе слово ему нужно, как ограждение и охранение первого, а третье, как носительница первых слов и только»*.

С другой стороны, в своих построениях Самарин старался охарактеризовать основные черты западноевропейского мироустройства, при этом главной задачей для него оставалось обозначение роли России в стремительно развивающейся истории.

В противоположность «Востоку» Самарин определяет «Запад» как «мир романо-германский, или католико-протестантский»**. Показательно, что Самарин объединяет два противостоящих друг другу западных вероисповедания, занимая тем самым позицию высшую, обладающую бесспорной истиной. Эту заслугу он приписывает Хомякову, который «первый взглянул на Латинство и Протестантство из Церкви, следовательно, сверху; поэтому он и мог определить их»***. Но еще в начале сороковых годов Самарин в своей диссертации «Стефан Яворский и Феофан Прокопович» предпринял удачный опыт характеристики двух начал в западной религиозности. Впоследствии протоиерей А. М. Иванцов-Платонов отозвался о труде Самарина: «Мы смело можем сказать, что этот важный вопрос о характеристических основах католицизма и протестантизма, их принципиальном различии от православия и отражении влияний их на исторической почве самого православия и доселе никем не был исследован у нас так широко, отчетливо и последовательно, как Ю.Ф.Самариным в его диссертации, писанной почти сорок лет назад»****.

* *Митрополит Антоний (Храповицкий).* Церковность или политика? // Десятина. 2000. № 9—10.

** *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. Т. 5. С. 98.

*** *Самарин Ю.Ф.* Предисловие к первому изданию богословских сочинений А. С. Хомякова // Сочинения. Т. 6. С. 359.

**** *Протоиерей Иванцов-Платонов А.М.* Предисловие // *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. Т. 5. С. XII.

В предисловии к диссертации Самарин подчеркивал, что католицизм, выявив притязание быть церковью, отпал от православной церкви, «сохранившей в себе всю полноту неповрежденного откровения, от единой и единственной Христовой Церкви»[*]. Причину отпадения западной церкви Самарин усматривает во влиянии языческой древности, которая сохранилась на римской почве. Практическое начало, преобладавшее в западном развитии, воплотилось в государственном устройстве, сохранившем свойства церкви. Таким образом, церковь приняла на себя противоестественные качества, в частности, – характер завоевательного стремления. Власть государственная призналась принадлежностью церкви. Отсюда и избранное лицо, стоящее во главе церкви и воплощающее в себе «живую силу» власти. В результате, по замечанию Самарина, «не церковь жила, а развивались государство и наука в пределах церкви»[**]. В католичестве сильна идея единства, но она лишена изначально христианского проникновения в отдельную личность, что повлияло на выделение «протестантизма». Единство личного начала, воплотившееся в папе, породило реакцию и перешло в единство отдельной личности, безраздельно властвующей собственными устремлениями.

Философские идеи во многом обусловили западное политическое устройство. Самарин не столько сосредоточивается на институте папства в критике латинства, сколько концентрирует внимание на содержании западного миросозерцания, в основе которого он выделяет рационализм. Это способствовало развитию науки на Западе. Однако научный подход, лишенный религиозного источника, подвержен односторонности, что проявилось в самой римской церкви, тогда как «в бытии церкви лежит ее разумное оправдание; и рассудок со своими вопросами, сомнениями и доказательствами не должен иметь места»[***].

---

* *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. Т. 5. С. 4.

** Там же. С. 6.

*** Там же. С. 7.

К августу 1849 года относится характерное признание Самарина в письме к Хомякову. Он сообщал о желании написать статью о «современной безалаберщине» в Западной Европе. Его останавливало единственное обстоятельство: «...подобной статьи нельзя напечатать, а если бы и напечатать, то для нее не нашлось бы читателей»*. Собственные идеи Самарин излагает в письме. Он показывает непосредственную взаимосвязь между философией Гегеля, «горделивыми притязаниями отвлеченного мышления», и коммунизмом Франции. По Самарину, коммунизм – это, в сущности, конечное требование философии. В основе философских заключений лежит суждение, выведенное из «знания мысли о самой себе»**. В результате, на поверхности остается голый рационализм, навязывающий свое руководство. Как следствие, рационализм разрушает связь «между Верховною истиною, между Началом великого бытия и конечным проявлением бытия в личности человеческой», что является сущностью религии. Личность, представленная себе одной, признает лишь свой закон. Самарин приходит к выводу, «что всякое покушение мысли в себе самой найти точку своего отправления ведет непременно к безусловной и всесторонней автономии личности, к тому разъединяющему началу, против которого не устоит никакое общество»***. Не случайно в предисловии к богословским сочинениям Хомякова Самарин не разделял идеализм и материализм в их основе: одно естественно вытекало из другого под действием рационализма. Но главное, в чем проявлялось сходство обоих философских направлений, – это их отношение к вере – полное отвержение****. Самарин остановился подробно на этом вопросе в своем незаконченном сочинении «Письма о материализме».

* *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. Т. 12. С. 432.

** Там же.

*** Там же.

**** Самарин писал про Хомякова: «Он поднял голос не против *вероисповеданий* латинского и протестантского, а против рационализма, им первым опознанного в начальных его формах, латинской и протестантской» (Сочинения. Т. 6. С. 367). Т.е. через рационализм обосновывается все западное мироустройство.

В 1872–1875 годах Самарин ведет полемику с западником К. Д. Кавелиным по поводу выхода его книги «Задачи психологии». Кавелин обосновывал психологию как науку, способную открыть источник нравственного возрождения личности, заменяя ее религиозные требования. Самарин увидел в том подмену понятий, противопоставляя позитивистскому подходу Кавелина религиозное миросозерцание. Самарин не признает безрелигиозного сознания, речь может идти лишь о замене подлинной веры – наукообразным суеверием. Истинное понятие свободы может быть обосновано лишь религиозно. Тем самым Самарин обнаруживает поверхностность построений Кавелина, сознательно не заметившего важную составляющую духовной жизни человека*.

Самарин стремится противостоять западным влияниям рационализма, свободно развивающегося в недрах латинской церкви. Рим выстроил свою религию на том же фундаменте рационализма – апофеоз человеческого *я*. Самарин видит в самодостаточном личном *я* причину социальных потрясений. В статье «Революционный консерватизм», написанной в ответ на книгу Р. А. Фадеева «Русское общество в настоящем и будущем (чем нам быть)», Самарин прямо называет вещи своими именами: «... революция есть не иное что, как рационализм в действии, иначе: формально правильный силлогизм, обращенный в стенобитное орудие против свободы живого быта...»**

Непримиримость к односторонности рационализма, воплощенного в западном мироустройстве, становится побудительным мотивом выступлений Самарина на страницах «Дня» по польскому вопросу и по проблеме иезуитов, им посвящены отдельные работы.

В XIX столетии проблема государственности Польши широко обсуждалась в русском обществе, особенно во время восстаний 1830–1832 и 1863 годов. В трудах Ю. Ф. Самарина

* *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. Т. 6. С. 371–378.

** *Самарин Ю.Ф., Дмитриев Ф.* Революционный консерватизм. Книга Р. Фадеева «Русское общество в настоящем и будущем (чем нам быть)».Berlin, 1875. С. 10.

сочинения по польскому вопросу занимают видное место[*]. Одно из первых обращений относится к 1850 году, когда Самарин занимал должность чиновника особых поручений в Киеве. Поводом для записи в дневнике послужила книга «Повесть об украинском народе» П. А. Кулиша. Самарин обосновывал историческую необходимость высшей государственной власти Москвы на Украине для сохранения народности последней как проявление исторического родства славянских племен. Враждебность этому союзу выражалась в проявляющемся влиянии католической Польши[**].

Самарин вместе со всей Россией внимательно следил за ходом польского восстания 1863 года. Вспыхнувший мятеж и вмешательство европейской дипломатии вновь обратили Самарина к проблемам российских окраин и взаимоотношениям России и Запада. События застали его в Самаре за устройством хозяйственных отношений крестьян с помещиками. В апреле 1863 года представители самарского дворянства обратились к нему с просьбой написать от общего имени всеподданнейший адрес, который вскоре был всеми принят без изменения и опубликован[***]. Обращение Самарина проникнуто сознанием политической важности ситуации, выходящей за рамки внутреннего дела России. Для него несомненно, что Польша выражает общественное мнение Европы и мятеж ведет за собой гражданскую войну. Адрес оканчивается примирительными нотами, содержащими надежду на осознание поляками славянского родства, являющегося залогом объединения сил против действительных врагов[****].

В том же номере «Дня» была помещена статья «Как к нам относится Римская церковь». Самарин с эмоциональным напором раскрыл направляющую силу польского восстания – латинство. Он развеял ложь официальных заявлений католического духовенства о непричастности к событиям в Польше.

* *Самарин Ю.Ф.* Сочинения: В 12 т. М., 1877. Т. 1. С. 293–394.

** Там же. С. 295.

*** День. 1863. № 19. 11 мая.

**** *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. Т. 1. С. 299.

Самарин приводил факты, в которых непосредственно проявляется ответственность церкви за преступления. Он негодует по поводу молчания высшего католического духовенства, не остановившего оскорбление и позор святыни обращением богослужения «в орудие для возбуждения политической страсти»*. Первый биограф славянофила Б. Э. Нольде критически отозвался о статье, которой недостает «чувства меры» и которая не согласуется с примирительным тоном адреса дворянства. Однако стиль обусловлен поставленными задачами. Самарин надеялся на примирение с восставшими при условии осознания поляками враждебности латинства, разрушающей славянскую природу, а значит, и национальную самобытность Польши. Когда же католичество открыто приняло участие в преступлениях, запятнавших Польшу, Самарин выразил протест против официальной лжи. Часто встречающиеся в тексте вопросительные конструкции, отрывки предполагаемой чужой речи передают внутреннее напряжение автора, далекого от ослепления политической страстью.

Статья Н. Н. Страхова «Роковой вопрос» (Время. 1863. № 4.) и ответ на нее М. Н. Каткова (Русский вестник. 1863. № 5) послужили поводом для статьи Самарина «По поводу мнения «Русского вестника» о занятиях философиею, о народных началах и об отношении их к цивилизации»**. Самарин не претендует даже на поверхностный обзор статьи Страхова, ему важно выяснить точку зрения «Русского вестника», с которой осуждается позиция «Времени». Одна из важных задач публициста – представить непосредственные доказательства жизненности и верности славянофильских идей, освещающих вопрос о Польше с объективной философско-исторической позиции.

Самарин показал, что, выступая с критикой Страхова, редакция берет на вооружение славянофильские идеи, над которыми до этого глумилась. Также автор оспаривает мнение Каткова о неактуальности философских идей прошедших эпох,

* Там же. С. 295–302.

** День. 1863. № 36. 7 сент.

обосновывая необходимость последовательного направления мысли, отражающей естественную взаимосвязь между историческими явлениями. Как следствие разрушения этих связей, в русском обществе отсутствует национальное самосознание, способное проследить исторический ход событий и сориентироваться в современных обстоятельствах.

В качестве примера Самарин предлагает рассмотреть своеобразие осмысления в России слова «цивилизация». Самарин убедительно доказал невозможность существования «всемирной цивилизации», объединяющей все народы, для которой требуется «исключить религиозные и политические начала, равно как и все то, что выросло и вырастает от этих корней; иными словами – все, что образует людей изнутри, чем обуславливается их нравственный уровень и основной характер их общежития»*. Гораздо обоснованнее заявляет о себе существование противопоставления «цивилизации западноевропейской, или католико-протестантской, цивилизации православно-русской»**. Для Самарина чужда позиция, с которой разница воспринимается лишь внешне, как наличие или отсутствие удобств и комфорта общественной жизни. Чтобы избежать несправедливости поверхностного заключения, Самарин призывает всмотреться глубже в условия религиозного, политического, общественного и семейного быта Запада и России. В одном случае ясно проявились бы внутренние противоречия, сотрясающие основы жизни западных народов. В другом – почувствовалось бы присутствие «более широких начал и биения жизни, хотя и не вполне развитой, но здоровой и крепкой»***. Далее, при развитии мысли о различии России и Запада Самарин настаивал, что Польша более относится к «латино-германским и католико-протестантским» землям, оправдывая название «передовой дружины латинства в Восточной Европе»****. Подтверждением служит развернувшаяся

* *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. Т. 1. С. 266–267.

** Там же. С. 267.

*** Там же. С. 285.

**** Там же. С. 287.

кампания против России в связи с польским восстанием. Европейские державы, несмотря на расхождения по существенным своим интересам, едины в одном – «в желании всякого зла России»*. Самарин раскрыл действительное отношение Европы к России – лишь как к «вещественной силе», завершая статью обращением к национальному самосознанию соотечественников, способных утвердить истинное содержание России – «земля Русская, Святая Русь...»**.

В статье «Современный объем Польского вопроса» («День». 1863. № 3. 21 сентября) Самарин подвел итог собственным размышлениям. Автор выделяет три составных элемента, которые необходимо учитывать при обращении к проблеме. Во-первых, поляки – «как народ, как особая стихия в группе славянских племен», во-вторых, Польша – «как самостоятельное государство», и, наконец, «*полонизм* – как просветительное начало, как представительство и вооруженная пропаганда латинства в среде славянского мира...»***. Первые два положения обосновываются с позиции внутриполитических соображений. Самарин признавал за Польшей все признаки «народной личности», что дает ей право на устройство, «которое бы не нарушало свободы народной жизни во всех ее проявлениях, составляющих необходимое условие всякой живой народности»****. Однако к этому не относится ее политическая самостоятельность как избыточное требование.

Главное же, с чем столкнулась Россия, – разрешение исторического противоречия. Для Самарина неоспоримым фактом является совершенная несовместимость славянства с латинством. Славянская природа уничтожается под воздействием латинства, тем более, если оно принимается искренне

---

* Там же. С. 137. (А.С. Хомяков, анализируя политическую ситуацию во время Крымской войны, четко заявлял, что «в западных исповедованиях у всякого на дне души лежит глубокая неприязнь к восточной Церкви...» // Хомяков А.С. Сочинения богословские. СПб. 1995. С. 113.)

** Там же. С. 288.

*** Там же. С. 325.

**** Там же. С. 326.

и добровольно, как в Польше. Для сравнения публицист обращается к истории Чехии, которая обязана спасением своей народности национальному движению XV века под предводительством Я. Гуса (о нем Ф.И. Тютчев писал: «Бестрепетный свидетель о Христе / И римской лжи суровый обличитель...» – «Гус на костре» 1870). Историческая судьба Польши лишена подобных примеров.

На современном этапе польского вопроса Самарин придавал важное значение полонизму как главной силе мятежа. Исследуя первопричину настоящего, он подробно останавливался на толковании слова «латинство». Учитывая традиционное употребление, он вносит ясность в определение: латинство – это «не одни догматические и иерархические особенности, которыми отличается западный католицизм, но <...> и все то, что выросло от семени его, вся совокупность нравственных понятий и бытовых отношений, обусловленных римско-католическим воззрением на отношение отдельных лиц к церкви, на веру, благодать и духовный процесс оправдания...»[*]. Одновременно он отвечает на возражения по поводу протестантства как крайней противоположности латинству в западноевропейской жизни. По Самарину, протестантство есть то же латинство, потому что исходит из той же односторонности: «Это страстный протест личной свободы, отчаявшейся в возможности осуществить единство неискусственное, но протест, не выходящий из круга тех же разорванных, одно другому противопоставленных понятий, из которых одно воплотилось в романском мире, а другое в германском...»[**]

Необходимо признать, что источником самаринских обоснований служит религиозное мироощущение. Он пояснял в статье, что «вера несравненно глубже прохватывает всю внутреннюю жизнь человека», а выводы из вероучения «проникают в плоть и кровь народа, делаются как бы нравственною атмосферою его»[***]. С этих позиций объясняется

* *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. Т. 1. С. 336.

** Там же. С. 338–339.

*** Там же. С. 336.

невозможность присутствия латинства в славянском мире. Латинство как предтеча протестантства изначально было направлено против единства церкви и призвано обратить церковь в государство. Следовательно, органичное единство славян, с их общинностью и началами соборного согласия, несовместимо с вероучением латинства. Таким образом, раскрывается отступничество Польши от своих родовых начал и исторических сил славянства. Позже, в письме к В. А. Черкасскому от 21 июня 1864 года Самарин еще более жестко отозвался о полонизме и вынужден был признать, что этой «болезнью» заражено почти все западное славянство. В подтверждение он привел слова чешского политического деятеля Ф. Браунера (1810–1880): «Польский вопрос в настоящую минуту самый безошибочный <показатель>, по которому можно судить о том, в какой степени нравственно крепка или повреждена славянская природа во всех племенах. Чем сильнее сочувствие к полякам, тем слабее славянское самосознание»[*]. Наблюдая за славянскими землями, Самарин все более скептически относился к их приверженности России и в целом к идее объединения.

Публицистические выступления в «Дне» предопределили непосредственную работу Самарина в составе государственной комиссии по преобразованиям в Польше в конце 1863 – начале 1864 года. Кроме официальных документов, в составлении которых Самарин принял активнейшее участие, к этому периоду относится сочинение «Поездка по некоторым местам Царства Польского в октябре 1863 г.». Основной мыслью отчета являлось убеждение в том, что крестьянство с подозрением относилось к революционному движению, смутно ожидая удовлетворения своих нужд от верховной власти[**]. Это усилило убеждение Самарина в скорейшем проведении крестьянской реформы в Польше. Узнав положение дел на месте, Самарин еще более ожесточился на герценовский «Колокол», поддерживавший восстание, и в частности за то, что в нем пе-

* НИОР РГБ. Ф. 265. Карт. 30. Ед. хр. 1. Л. 75–76.

** *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. Т. 1. С. 358.

чатались материалы якобы о всеобщем крестьянском подъеме. При личной встрече с Герценом Самарин осудил его направление и признал, что широкая популярность «Колокола» в России резко сократилась после освещения им польских дел.

К ряду статей и отдельных замечаний по польскому вопросу, собранных Д. Ф. Самариным в первом томе сочинений, относится и черновая рукопись «Материалы о Польше», хранящаяся в НИОР РГБ, Ф. 265, Карт. 74, Ед. хр. 4. Л. 1–3. Дата написания, по-видимому, относится к началу 1863 года, когда до Самарина стали доходить первые известия о волнениях в Польше: здесь отсутствуют выводы из личных наблюдений на месте за происходящими событиями осенью того же года. Содержание рукописи сопряжено с идеей, высказанной в статье «Современный объем польского вопроса», о вине русских за противоречия исторического пути Польши, потому что не заметили в ней «славянской струи»*. Исходным же положением служит недоумение западных ученых: почему Польша, унаследовав плоды западной цивилизации, не достигла полноты проявления своей национальной жизни, в частности, в рамках государственного устройства. Самарин объяснял своеобразие развития Польши с точки зрения ее родовой принадлежности. В отличие от России, Польша пыталась воплотить славянские начала в религии и началах гражданственности, принятых от Запада. При этом она не могла отречься от полноты своих жизненных требований, по существу своему не подлежащих определению в формах. Отсюда все ее стремления, отмеченные следами «высокой правды и идеи», так бесплодны и неубедительны. Самарин произнес приговор: «Польша приняла чужую роль – в этом ее преступление. Она разыграла ее дурно – в этом ее оправдание...» Таков смысл исторического пути Польши, открывающийся славянскому сознанию.

В рукописи сконцентрировались взгляды Самарина по польскому вопросу. Этими идеологическими установками он руководствовался в деле преобразования государственного устройства в Польше, что послужило «огромным благом для

* Там же. С. 340.

польского народа»[*]. Современники признавали важный вклад Самарина в российскую политику по польскому вопросу, которой правительство придерживалось вплоть до Первой мировой войны. В то же время события в Польше стали причиной возобновления интереса Самарина к религиозным проблемам, к противостоянию между католическим Западом и православным Востоком, что отразилось и в его полемическом сочинении по поводу иезуитов.

Шестидесятые годы можно назвать временем расцвета самаринской публицистики: обсуждение на страницах «Дня» польского вопроса, подготовка к изданию богословских сочинений Хомякова (1867), появление в свет первых выпусков «Окраин России» (1867–1876). Важной вехой творчества Самарина явились статьи-письма об иезуитах. В этой работе сосредоточены проблемы, постоянно актуальные для автора: религиозно-нравственного и общественно-исторического характера. Впервые письма опубликованы в аксаковском «Дне», 1865, № 45–52 под заглавием «Ответ иезуиту отцу Мартынову, письма I–V». В 1866 году П. И. Бертенев издал их отдельной книгой: «Иезуиты и их отношение к России». Д. Ф. Самарин снабдил достаточно подробным комментарием труд своего старшего брата при издании собрания сочинений[**]. Для создания «Иезуитов...» Самарин использовал большое количество фактического материала, поэтому его книга является ценнейшим источником при изучении проблемы. Переиздавая «Письма...», автор воспользовался одной из рукописей «Monita secreta», тайным наставлением ордена иезуитов, найденным им в 1867 году в Пражской библиотеке. Самарин представил подробный и глубокий анализ нравственного учения иезуитов, выяснив его генеалогию. Публицист рассматривал орден иезуитов как результат логических выводов из учения латинства: орден является «обличительным зеркалом» всего католичества. Таким образом, в лице иезуитов Самарин обличал нравственные основы римского вероучения, изменившего истине первоначального предания.

* *Нольде Б.Э.* Указ. соч. С. 170.

** *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. Т. 6. С. 326.

В первом письме Самарин пытается раскрыть перед читателями безнравственность побуждений, которыми тайно руководствуются члены ордена. Главным подтверждением является факт упразднения ордена в 1773 году папой Климентом XIV. Самарин сравнивал иезуитские установления с «мировою сделкою, или своего рода униею между правдой и ложью, добром и злом, законом и грехом...»[*]. Содержание второго письма построено на анализе книги авторитетного немецкого богослова-иезуита Г. Бузенбаума (1600–1663) «Medulla theologiae moralis». На разборе основных положений сочинения Самарин убедительно доказал справедливость собственной точки зрения. Третье письмо призвано осветить историю ордена внутри Римской церкви. Самарин сосредоточил внимание на том факте, что папство стремилось отречься от ордена в попытке очистить латинство. Одновременно автор объективно обосновывал невозможность изоляции их друг от друга, потому что латинство «может проклинать его, но пока останется собою, оно не развяжется с ним...»[**]. Четвертое письмо посвящено деятельности иезуитского ордена в России. Начиная с XVI столетия и до современности, Самарин последовательно прояснял официальные и истинные цели пребывания иезуитов в России. Заключительное, пятое письмо обобщает предыдущие. На первый план Самарин выносит проблему латинства как направляющей силы иезуитов. Этим объясняется периодический рост деятельной активности ордена в России. В итоге прояснена задача сочинения – на частных примерах истории ордена иезуитов раскрыть особенности политики католицизма против православия.

Первый биограф Самарина Б. Э. Нольде довольно критически отнесся к самаринской работе, признав, что его полемика против иезуитов «лишена оригинальности и самостоятельности»[***]. Исследователю удалось увидеть в статье Самарина лишь политическую страсть, а не намерение добраться до истины. Возможно, Самарину не хватало глубины

* *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. Т. 6. С. 94.

** Там же. С. 195.

*** *Нольде Б.Э.* Указ. соч. С. 191.

и всеохватываемости Хомякова, но автор «Иезуитов...» предстал как тонкий и внимательный к слову публицист, как и в прежних сочинениях его мысль ясна и доходчиво изложена. Образцово выстроенная речь направлена на увлечение читателя предметом рассуждений. Кроме того, содержание несет на себе печать личного проникновения в суть проблемы. Появившаяся до книги М. Я. Морошкина*, работа Самарина являлась примером историко-богословского исследования, из которого естественно напрашивался вывод, что, несмотря на отдельные периоды взаимоотношений русского правительства с иезуитами, в итоге орден признавался враждебным интересам России, как и вообще католическое вероисповедание. Как раз это и не лишает писем оригинальности, потому что вопрос прояснялся с позиции национального миросозерцания в противоположность западным исследованиям.

Особенно примечательно, что Д. Ф. Самарин в предисловии к письмам обращается к характеристике трудов А. С. Хомякова, выяснившего, как вследствие проникновения рационализма в западное вероучение в католичестве исказилось христианство в сфере догмата. Отсюда автор предисловия правомерно делал вывод, что «письма Самарина об иезуитах составляют продолжение известных брошюр Хомякова о западных вероисповеданиях и что этим определяется их значение»**. К этому необходимо добавить, что в своей первой брошюре Хомяков главным побудительным мотивом выступления назвал ответ французского публициста Лоранси на статью Ф. И. Тютчева «Папство и Римский вопрос»***. Отсюда – непосредственная преемствен-

* *Морошкин М.Я.* Иезуиты в России, с царствования Екатерины II и до нашего времени. Спб., ч. 1. 1867–1870.

** *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. Т. 6. С. Х.

*** «В статье, напечатанной в “Revue des Deux Mondes” и писанной, как кажется, русским дипломатом, г. Тютчевым, указано было на главенство Рима и в особенности на смешение в лице епископа-государя интересов духовных с мирскими, как на главную причину, затрудняющую разрешение религиозного вопроса на Западе. Эта статья вызвала в 1852 году ответ со стороны г. Лоранси, и этот ответ требует опровержения» // *Хомяков А.С.* Сочинения богословские. Спб. 1995. С. 63.

ность между русскими мыслителями во взглядах на западные вероисповедания в их современном проявлении. В итоге они достигают единой цели в обосновании враждебных намерений Римской церкви в отношении к Православию.

Рассмотрение общественно-политических идей в трудах Самарина позволяет сделать вывод об основах его мировоззрения: отрицание односторонности рационалистического подхода Запада и его преклонения перед «человеческим *я*», определение России как носительницы Высшего откровения, для осознания которого необходима «русская точка зрения». Из этих фундаментальных положений развиваются все остальные характеристики двух миров. Самарину свойственна глубокая прозорливость в оценке современного политического устройства Европы, в трактовке ее прошлого и будущего. Он верно определил движущие силы идейных споров между двумя противоположными сторонами, считая революцию плодом западного мироустройства, подчеркивая ее антихристианское начало. Отсюда противопоставление «Россия–Запад», по сути, трансформировалось у него в «христианство–революция». Самарин давал следующую характеристику особенности современного состояния общества: «...И у нас также брожение, но оно не оправдывается прирожденными условиями нашего быта. Оттого оно у нас более поверхностнее, безобразнее и в то же время легче и скорее доходит до последних крайностей. Нет ему задержки ни в чем...»*.

Труды Самарина позволяют понять, какие силы привели Россию к катастрофическим событиям XX века.

Э. В. Захаров

* НИОР РГБ. Ф. 265. Карт. 40. Ед.хр. 1. Л. 290.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЗАПАД

Предисловие к богословским сочинениям А. С. Хомякова

В предлагаемом публике втором томе сочинений А. С. Хомякова найдется немало для нее нового, если под новым разуметь выходящее в первый раз в печати на русском языке*; а если разуметь все еще не усвоенное большинством, или не оцененное, или даже не замеченное, то едва ли не все будет для нее ново.

Из всего, написанного покойным автором, сочинения его о предметах веры, составляющие содержание этого тома (в особенности же его «Опыт катехизического изложения учения о Церкви» и три полемические брошюры о западных вероисповеданиях), бесспорно выступают как самые важные, самые полные, капитальные труды его, и они-то менее всего у нас известны. Немногие их читали, и почти никто не отзывался о них печатно**. Не так относились к ним за границей***.

* Перевод с французского текста сделан Ю. Самариным и Н. П. Гиляровым-Платоновым, с английского княгинею Е. А. Черкасской. *(Прим. Д. Самарина.)*

** Профессор петербургского университета В. И. Ламанский первый, и едва ли не он один у нас, выяснил и оценил по достоинству эту сторону деятельности Хомякова. См. газету «День» 1865 года вступительное чтение В. И. Ламанского в петербургском университете. *(Прим. Д. Самарина.)*

*** Полемические брошюры Хомякова (писанные и первоначально издан-

Дело в том, что когда появлялись в Париже, в Лейпциге, а потом в Москве (в русском переводе) богословские сочинения Хомякова, да и во все продолжение его учено-литературной деятельности, настроение, у нас господствовавшее, исключало всякую возможность не только оценки их по достоинству, но даже совестливого к ним внимания.

В одной своей записке об общественном воспитании Хомяков сказал: «Науке нужна не только свобода мнения, но и свобода сомнения». Он говорил о свободе, заведомо допущенной и сознательно признанной, зная хорошо, что, в действительности, отнять у науки всякую свободу – дело невозможное.

Она всегда ею пользуется явно, в виду всех, или скрытно и незаметно для не понимающих ее языка и для тех, которые настолько уже от нее отстали, что могут претендовать на право ею руководить, – в этом вся разница. В последнем случае сво-

ные на французском языке, а потом появившиеся в немецком переводе) по многим обстоятельствам, а в особенности по отсутствию всяких о них объявлений в газетах, расходились туго и остались в кругу специалистов, но там они произвели впечатление. Сочувственнее всех отозвались на них англиканские богословы, часто ссылавшиеся на них как на труды, в которых они в первый раз увидали перед собою современный, православный мир, как Церковь вполне самостоятельную и полную несомненной веры в себя. Паписты, так внимательно следящие за всем выходящим у нас по части полемического богословия и никогда не упускающие случая вступить в спор, на сей раз благоразумно отмалчивались. Немцы были озадачены, но отдали справедливость автору и даже, довольно наивно, выразили свое изумление. Из бывших у нас перед глазами печатных отзывов мы приведем как образчик следующие строки из одного немецкого Обозрения (Repertorium): «Содержание и изложение доказывают, что самосознание России покоится не на одних только политических основах и что она велика не только в военной защите (das Russland's Selbstbewusstsein nicht bloss auf politischen Grundlagen ruch und das es nicht in der militarischen Defensive allein gross ist – писано после Крымской войны). Напрасно стал бы наш слабый протестантский голос рекомендовать вниманию озлобленных против Византии римлян этот голос с Востока; но того из протестантов, который пожелал бы объяснить себе эту злобу и в то же время освободиться от наследственного презрения к восточным братьям и к их вероисповеданию, того приглашаем к чтению. Наконец, тому, кто счел бы себя призванным к опровержению (а брошюра этого стоит), мы советуем не забывать недавно доказанную трудность задеть великана хотя бы за пяту, или отхватить у него хотя бы кончик уха. В особенности же советуем не употреблять, вперемежку с великими и твердыми истинами, доводов только с виду убедительных» и т. д. *(Прим. Д. Самарина.)*

бода принимает характер контрабанды, а общество, лишаясь, естественно, всех благих последствий обсуждения мнений, колеблющих убеждения и мутящих совести, добровольно подвергается всем дурным.

Так было у нас. Под влиянием направления, данного ей господствовавшею за границею школою, наука глядела на веру свысока, как на пережитую форму самосознания, из которой человечество торжественно выбиралось на простор. Временная необходимость веры, ее условная законность, как *одного* из моментов безначального и бесконечного развития чего-то саморазвивающегося, не оспаривалась; но этим же признанием за нею *некоторого* значения заявлялась и ее ограниченность, как преходящей формы, которою это нечто не могло удовлетвориться навсегда. Несостоятельность притязаний веры на непреложность, неизменность и вечность казалась окончательно выясненною; оставалось отрешиться от нее и искать лучшего. Это лучшее виднелось в идеализме самоопределяющегося духа. Затем, окончательно ли должна исчезнуть вера с лица земли и нужно ли спешить уборкой символов ее развенчанного державства (как думали мыслители решительные и последовательные) или отвести ей в новом мире, в стороне от царского пути, которым пойдет развитие, скромный приют (к чему склонялись как люди практические, так и натуры мягкие), эти вопросы особенной важности не представляли.

Понятно, что при таком воззрении на веру наша вера (т. е. Православие) не могла иметь большого значения, даже в смысле историческом. Для всякого было очевидно, что результаты, до которых доработалась наука, связывались по прямой, восходящей линии не с Православием, а с Латинством и Протестантством. Латинству (так рассуждала наука) принадлежала неотъемлемая заслуга проявления религиозной идеи во всей ее величавой исключительности и суровой односторонности; оно же тем самым (разумеется, против воли, но в силу логического закона) вызвало Протестантство, которое, в свою очередь провозгласив самодержавие личного разума, подготовило царство науки, на наших глазах вступившей во владение человеческою

совестью и судьбами человечества. Православие осталось совершенно в стороне от этого *диалектического развития религиозной мысли* (так в то время выражалась наука) и потому не могло даже претендовать ни на какую долю исторической заслуги, признанной за вероисповеданиями западными. Оно не участвовало в саморазложении Христианства – это был главный порок его.

Вслед за идеализмом, который покanчивал с верою по-своему, находя ее слишком грубою и вещественною, возникло у нас другое учение, по-видимому, совершенно противоположное, которому вера претила как сила, тянувшая человека куда-то вверх и отвлекавшая его от мира вещественного. Мы сказали: противоположное *по-видимому,* ибо хотя материализм становится в разрез с идеализмом, но в сущности он относился к нему даже не как реакция, а как прямой из него вывод, как его законное чадо. Материализм вырос под крылом идеализма; потом, оперившись очень скоро, он заклевал своего родителя и, оставшись без роду и племени, присоседился почти насильно к естественным наукам, в сущности, вовсе к нему непричастным. Как совершился в области мысли этот оборот, об этом говорить здесь не место, а на практике переход был очевиден: материалисты были прямыми учениками идеалистов. В результате материализм во мнении своем о вере сходится с идеализмом; он также отвергал ее, только на других основаниях, и потому не мог оказать ей даже той снисходительной терпимости, к которой склонялись идеалисты из мягких. Он добивался прямого, немедленного применения своих требований к практике и, по самому свойству этих требований, даже не имел причины выжидать, пока они перейдут в общественное сознание и свободно усвоятся большинством. Для материализма последовательного насилие, как орудие прогресса, вовсе не страшно: поэтому нельзя и требовать от него снисхождения к вере: он смотрит на нее даже не как на необходимый момент в самовоспитании человечества, а как на простую помеху, с которою он не может ужиться и не имеет причины церемониться. Отсюда особенная ожесто-

ченность его нападок и грубость его глумления, столь резко противоположная рыцарским приемам покойного идеализма, который тоже выпроваживал веру, но выпроваживал учтиво. Поставьте с одной стороны Грановского, с другой Белинского (в последние годы его деятельности) или Добролюбова с его учениками, и около этих двух типов сгруппируется почти все, что у нас шевелилось в области научной.

Конечно, эта область у нас не широка и населена довольно редко. Не говоря уже о народной массе, остающейся совершенно вне ее, даже вне всякого ее действия, и та среда, которую обыкновенно называют обществом, то есть мир более или менее грамотный и читающий, только отчасти испытывала на себе влияние науки, получая от нее не начала, даже не выводы, а общее настроение или тон. На эту среду гораздо сильнее действовали обстоятельства другого рода, и действовали хотя бессознательно, но заодно с наукою.

Во главе этих обстоятельств стоял крупный, всем бросавшийся в глаза факт церковной казенщины, иначе – подчинения веры внешним для нее целям узкого, официального консерватизма. Один этот факт, в его бесчисленных проявлениях, имел огромное влияние на умы. Причина понятна. Когда пускается в оборот мысль под явным клеймом неверия, она возбуждает в совести если не противодействие, то, по крайней мере, некоторую к себе недоверчивость, как выражение нескрываемой вражды. Но когда официальный консерватизм под предлогом охранения веры, благоволения к ней, благочестивой заботливости о ее нуждах мнет и душит ее в своих бесцеремонных объятиях, давая чувствовать всем и каждому, что он дорожит ею ради той службы, которую она несет на него, тогда, очень естественно, в обществе зарождается мнение, что так тому и следует быть, что иного от веры и ожидать нельзя и что действительно таково ее назначение. Это убивает всякое уважение к вере.

В государственных и общественных учреждениях, в законах и приемах правительства, — словом, в том, что обыкновенно подразумевается под существующим поряд-

ком вещей, всегда и везде есть место для честной критики и законного осуждения. Пока люди, под этим порядком живущие, действительно живут, развиваются и идут вперед, лучшие, передовые люди никогда не находят в нем полного удовлетворения всех, разумеется разумных, своих потребностей; в этом неудовлетворении и в искании лучшего – начало политического, правильного прогресса. Вера, как выражение безусловного, вечного и неизменяющегося, не может и не должна иметь к этой области никаких прямых отношений; у нее нет готовых формул, которыми бы она могла подслуживаться правительству или обществу в разрешении вопросов государственного или гражданского права: область ее творчества – личная совесть, и только *через* эту область, просветлением совести и укреплением в ней свободных побуждений, участвует она, хотя решительно, но всегда косвенно, в развитии юридических отношений. Но когда существующий порядок вещей, весь целиком, ставится под непосредственную охрану веры; когда ей, так сказать, навязывается одобрение, благословение и освящение всего, что есть в данную минуту, но чего не было вчера и чего может не быть завтра, – тогда, естественно, все самые разумные потребности, неудовлетворяемые настоящим, все самые мирные и скромные надежды на лучшее, наконец самая вера в народную будущность – все это приучается смотреть на веру как на преграду, через которую рано или поздно нужно будет перешагнуть, и мало-помалу склоняется к неверию.

Вера, по существу своему, не сговорчива, и в сделки с нею входить нельзя. Нельзя признавать ее условно, в той мере, в какой она нам нужна для наших целей, хотя бы и законных. Вера воспитывает терпение, самопожертвование и обуздывает личные страсти – это так; но нельзя прибегать к ней только тогда, когда страсти разыгрываются, и только для того, чтобы кого-нибудь урезонить или пристращать расправою на том свете. Вера не палка, и в руках того, кто держит ее как палку, чтоб защищать себя и пугать других, она разбивается в щепы. Вера служит только тому, кто искренне верит; а кто верит, тот

уважает веру; а кто уважает ее, тот не может смотреть на нее как на средство. Требование от веры какой бы то ни было полицейской службы есть не что иное, как своего рода проповедь неверия, может быть, опаснейшая из всех по ее общепонятности. У нас и эта проповедь делала свое дело.

К двум видам неверия, нами указанным, научному и казенному, присоединялся третий – неверие, или точнее, безверие бытовое, житейское безверие, не как последствие заблуждения мысли, сознательно отвергающей веру, или расчета, старающегося подчинить ее своим практическим видам, а как свойство общественного темперамента, как результат бессмыслия, безволия, или короче – недостатка серьезности. Под серьезностью, мы разумеем, все свойства ума и воли, предполагающие как в отдельных лицах, так и в целом обществе присутствие каких бы то ни было сознанных идеалов, служащих в одно время и побуждениями к деятельности, и общепризнанными мерилами всякой деятельности. Общественные идеалы не выдумываются и не навязываются, они слагаются сами собою, вырабатываясь постепенно, историческою жизнью целого народа, и передаются от одного поколения другому бесчисленными, незримыми нитями живого предания. Где историческое предание порвано, там идеалы теряют свою жизненность, тускнеют в сознании и в совести; где каждое поколение обзаводится для своего обихода новыми всякого рода идеалами, политическими, художественными, религиозными, там они остаются на степени мнений или увлечений, но не переходят в убеждения и не приобретают разумной силы над волею. Где с каждым десятилетием меняются основы и системы воспитания общественного и частного, там не бывает ни зрелости умственной, ни крепкого закала характеров, ни строгости нравственных требований. Самая почва общественная мало-помалу выветривается; она, по-видимому, не теряет своей восприимчивости; она даже слишком восприимчива и неприхотлива; по-видимому, на ней может расти все, но все обращается в пустоцвет, и ничто не вызревает в плод. Такая почва неблагоприятна для веры, не потому, конечно,

что она отвергала ее систематически, а просто потому, что в ней нет на нее запроса.

Вера, сама по себе, едина, непреложна и неизменна; но в каждом обществе и при каждой исторической обстановке она вызывает своеобразные явления, по существу своему изменяющиеся во всех отраслях человеческого развития: в науке, в художестве, в практических применениях. Догмат не изменяется, но логическое формулирование догмата и определение отношений его к другим учениям – задача церковной науки – развивается с наукою рука об руку. Закон любви не изменяется, но применение его к практике, к жизни семейной, общественной и государственной постепенно совершенствуется и расширяется; наконец, внешняя сторона Церкви, обряд, обычай, правила дисциплинарные и административные, также изменяются, приспособляясь к обстоятельствам. Пока общество ясно сознает и горячо принимает к сердцу свой религиозный идеал, вся эта историческая, изменяющаяся обстановка его, развиваясь и совершенствуясь безостановочно, всегда сохраняет свою современность, свою свежесть. Но по мере того, как идеал начинает тускнеть и терять свою власть над умами и совестями, иссякает и общественная производительность в этой, так сказать, прицерковной области. Исторические ее формы, в науке, в обряде, в жизни, со всеми их случайностями, с присущею им ограниченностью и неполнотою, остывают и твердеют в том виде, в каком их захватил паралич, отнявший у религиозного органа его творческую силу. Через это самое эти формы как будто прирастают к вере, получают в общественных понятиях одинаковую с нею силу и обязательность, становятся чем-то непреложным и неприкосновенным как сама вера, – словом, отождествляются с нею. Между тем, кто же не понимает, что исторические, окаменелые формации XVII века, в свое время живые, понятные, удовлетворявшие потребностям своей эпохи и соответствовавшие степени ее развития умственного, нравственного и политического, во многих отношениях становятся в прямое противоречие с понятиями, запросами и нужда-

ми XIX? Последствие этого противоречия, всеми более или менее ощущаемого, у нас перед глазами. Это та болезнь, которою страждут честные, восприимчивые, по природе своей религиозные души, которых привлекает к вере чутье истины и которых отталкивает от нее сознанная невозможность согласить самые безукоризненные требования ума и сердца с обиходными представлениями, с особенного рода узкостью и пошлостью стереотипных понятий и определений, с условным формализмом на практике, с тем хламом и сором, которыми, благодаря отсутствию честной и правдивой критики, загромождено у нас преддверие Церкви, и маскируется от взоров вне стоящих величавая стройность ее очертаний. Отсюда это вечное шатание и колебание между двумя полюсами суеверия и сомнения; отсюда четвертый, самый прискорбный вид неверия – неверие, взывающее к помощи, невольное, добросовестное неверие *от недоразумений.*

Такова, в общих чертах, была среда, в которой родился, жил и умер Хомяков. Изменилась ли она с тех пор и в чем — об этом предоставляем судить другим.

Теперь спрашивается – чем мог быть Хомяков для такой среды и что могла она от него принять?

Прежде всего, Хомяков стал известен как поэт. Репутация его как одного из светил богатой, пушкинской плеяды, установилась очень скоро и надолго заслонила собою другие стороны его умственной деятельности. Нам кажется, что в этом отношении он был оценен в двояком смысле неверно. На первых порах он был поднят слишком высоко; напоследок его низвели слишком низко и дошли даже до отрицания в нем всякого поэтического дарования. Всецелая преданность и бескорыстное служение идее, особенно религиозной, непременно носит в себе поэтический элемент. Этого, кажется, нельзя отрицать вообще, а в отношении к Хомякову в особенности. Формою для выражения идеи, поэтическим словом, он владел как немногие; наконец, он обладал природным и высоко развитым художественным тактом. Всего этого достаточно, чтоб упрочить за ним славу одного из замечательных наших

поэтов и одного из весьма немногих вполне и безусловно искренних. Тем не менее нельзя назвать Хомякова художником в строгом значении этого слова. Нельзя не потому, чтобы ему недоставало чего-нибудь существенного, чтоб быть художником; а наоборот, потому, что по обилию других даров, он не мог быть *только* художником, следовательно, не мог быть и *вполне* художником. Нельзя про него сказать, чтоб мысль его непременно просилась в поэтическую форму, чтоб эта форма была ей прирожденна и чтобы только в ней она могла явиться на свет и узнать себя. Если, как нам кажется, именно в этой особенности и заключается тайна творческой силы художника, то у Хомякова ее не было*. Родись он не в пушкинскую эпоху, не будь он под неотразимым влиянием этого чародея, властвовавшего над душами и помыслами целых поколений, может быть, он бы вовсе не писал стихов. По крайней мере, смело можно сказать, что мысль его искала другого способа выражения, более строгого, чем художественный образ, и прибегла к стиху только мимоходом, в первой поре своего развития, и прежде чем она вполне уяснилась себе самой. Оттого во множестве стихотворений Хомякова нет ни одного, в котором бы не нашлось двух или трех высоко поэтических стихов, достойных самого Пушкина, и в то же время, может быть, не найдется ни одного стихотворения, вполне выдержанного, цельного, вылившегося сразу, в котором хоть какая-нибудь часть не была бы приделана как необходимая оправа к двум или трем стихам, ради которых вся пьеса написана. Исключения из этого составляют, может быть, очень и очень немногие пьесы из самых кратких, притом из последних произведений автора, содержащих в себе простой, так сказать, односложный и всегда субъективный мотив.

Когда прошло у нас поэтическое настроение, данное Пушкиным, когда даровитые люди перестали петь и начали говорить, Хомяков обозначился в обществе как человек необыкновенного ума, преимущественно сильного в полемике, начитанный как немногие, и в особенности многосторонний.

* Того же мнения, кажется, был и Гоголь. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

Эта многосторонность, или точнее всесторонность, осталась за ним, как определение, которым общество удовлетворилось. «Хомяков защищает Православие и посылает на лондонскую выставку изобретенную им паровую машину; Хомяков опровергает гегелево построение вселенной от Sein и Nichtsein, доказывает материалистам немыслимость самообразующегося вещества и в то же время заказывает какие-то выдуманные им штуцера; Хомяков проводит мысль о своеобразной будущности славянского мира и России в особенности, и он же изыскивает новые способы лечения от холеры; Хомяков богослов, механик, философ, инженер, филолог, врач; он все что вам угодно, во всем мастер, знаток, изобретатель» – это говорили друзья и почитатели, в похвалу; но от такой похвалы был один шаг до приговора, и противники договаривали: «Хомяков дилетант во всем». На этом останавливались не только люди поверхностные или знавшие Хомякова не коротко, но и такие, которые могли бы заглянуть в него поглубже. Многосторонность Хомякова, принимая это слово в смысле прямой противоположности к специальности, определенной *внешним* образом, то есть объектом мысли, действительно бросалась в глаза; но многосторонность вовсе не то, что дилетантство, предполагающее всегда некоторую рассеянность в самой мысли, происходящую от равнодушия к ее предмету; и наоборот, замкнутость мысли в тесно ограниченной сфере одного предмета отнюдь не представляет еще ручательств за ее сосредоточенность и серьезность. Мысль может разбегаться и дробиться в самой ограниченной области однородных явлений в одной науке, в одной книге, даже в каком-нибудь одном разделе одного тома свода законов и может, не теряя своей стройности и своего единства, обращаться поочередно к предметам самым разнообразным. Странно! В Хомякове замечена внешняя сторона его ума, способность его вдумываться во все, и эта способность, она одна, послужила признаком для его определения; а между тем отличительная, характерная его особенность заключалась в свойстве прямо противоположном, именно в цельности и сосредоточенности.

Мы здесь разумеем под цельностью и сосредоточенностью не только логическую связность воззрения, выдержанного во всех частях и строго, со всех сторон определенного; но вместе с тем и полное подчинение воли сознанному закону, короче – полное согласие жизни с убеждением. В этом отношении Хомяков представляется личностью у нас в своем роде единственною, единственною по единству мышления и хотения, что всегда и везде встречается редко и составляет принадлежность особенно энергических натур.

В чем же именно объединялись у него ум и воля и как бы ближе определить эту отличительную черту Хомякова?

На этот вопрос можно ответить тремя словами: Хомяков *жил в Церкви* (разумеется в Церкви православной, ибо двух Церквей нет).

Но мы чувствуем, что такое определение большинству читателей покажется чересчур широким и скудным.

Все дело в том, что разуметь под словами – жить в Церкви. В том смысле, в каком они употреблены нами, это значит: во-первых, иметь в себе несомненное убеждение в том, что Церковь есть не только что-нибудь, не только нечто полезное или даже необходимое, а именно и действительно то самое и все то, за что она себя выдает, то есть явление на земле беспримесной истины и несокрушимой правды. Далее, это значит: всецело и совершенно свободно подчинять свою волю тому закону, который правит Церковью. Наконец, это значит: чувствовать себя живою частицею живого целого, называющего себя Церковью, и ставить свое духовное общение с этим целым превыше всего в мире.

Если нас спросят: да разве не все Православные *живут* в Церкви? – то мы, не задумываясь, ответим: далеко не все. Мы живем в своей семье, в своем обществе, даже до известной степени в современном нам человечестве; живем так же, хотя еще в меньшей степени, в своем народе; в Церкви же мы *числимся,* но не *живем.* Мы иногда заглядываем в нее, иногда справляемся с нею, потому что так принято и потому что иногда это бывает нужно; например, под влиянием заботы о какой-нибудь

нашей выгоде, положим хоть о сбережении наших полей от потрав или наших лесов от порубок, мы вспомним, что Церковь учит нуждающихся терпению и запрещает посягать на чужую собственность. Учит – действительно, но ведь не одному этому, а еще и другому, и многому другому. Или, например, в одно прекрасное утро, узнав, что на Руси наплодились нигилисты, мы начинаем бросать в них и сводом законов, и политическою экономиею, и общественным мнением Европы, да уж зараз и религией, благо она подвернулась нам под руку. И здесь опять несомненно, что нигилизм осуждается верою; жаль только, что мы вспомнили о ней поздно, с перепугу, и что она нам понадобилась только как камень.

Вообще можно сказать, что мы относимся к Церкви по обязанности, по чувству долга, как к тем почтенным, престарелым родственникам, к которым мы забегаем раза два или три в год, или как к добрым приятелям, с которыми мы не имеем ничего общего, но у которых, в случае крайности, иногда занимаем деньги. Хомяков вовсе не *относился* к Церкви: именно потому, что он в ней *жил,* и не по временам, не урывками, а всегда и постоянно, от раннего детства и до той минуты, когда он покорно, бесстрашно и непостыдно встретил посланного к нему *ангела-разрушителя**.

Церковь была для него живым средоточием, из которого исходили и к которому возвращались все его помыслы; он стоял перед ее лицом и по ее закону творил над самим собою внутренний суд; всем, что было для него дорого, он дорожил

* Пошли мне в сердце предвещанье!
Тогда, покорною главой,
Без малодушного роптанья,
Склонюсь пред волею святой.
В мою смиренную обитель
Да придет ангел-разрушитель,
Как гость издавна жданный мой!
Мой взор измерит великана,
Боязнью грудь не задрожит,
И дух из дольнего тумана
Полетом смелым воспарит.

А. С. Хомяков «На сон грядущий».
(Прим. Ю.Ф. Самарина.)

по отношению к ней; ей служил, ее оборонял, к ней прочищал дорогу от заблуждений и предубеждений, всем ее радостям радовался, всеми ее страданиями болел внутренно, глубоко, всею душою. Да, он в ней *жил* – другого выражения мы не подберем. Чтоб сколько-нибудь уяснить нашу мысль, укажем на факт, по себе самый незначительный, но, по наглядности своей, годный для примера. Когда нас зовут на свадьбу или на вечер, мы надеваем фрак и белый галстук. Почему мы это делаем? Только потому, что так делают все, так принято в той среде, в том обществе, которое мы называем своим. А почему подчиняемся мы уставам этого общества? Потому, что мы не допускаем мысли, не смеем и не хотим оскорбить его. А не хотим потому, что мы в нем *живем* и дорожим нашим с ним общением. Хомяков, всю жизнь свою в Петербурге, на службе, в Конногвардейском полку, в походе, за границею, в Париже, у себя дома, в гостях, строго соблюдал все посты. Почему? – По той же самой причине: потому что так делают *все,* то есть все те, которые для него были *свои;* потому что ему не могло прийти на ум нарушением обычая выделиться из общества, называемого Церковью; потому, наконец, что его радовала мысль, что с ним в один день и час все *его* общество, то есть весь православный мир, загавливался или разгавливался, поминая одно и то же событие, общую радость или общую скорбь. Разумеется, большинство смотрело на это иначе и пожимало плечами. Когда над ним смеялись, он отсмеивался; но он серьезно досадовал, когда люди благонамеренные и *непостящиеся* благосклонно заявляли ему, что им приятно видеть такую привязанность к добрым преданиям, которыми хоть отчасти поддерживается общественное благоустройство; досадовал он потому, что действительно, с его стороны, не было в этом никакого подвига, ни заслуги: он поступал так, потому что не мог поступать иначе, а не мог опять-таки потому, что он не *относился* к Церкви, а просто в ней *жил.*

Эта отличительная особенность его (назовем ее хоть странностью), конечно, не сближала его с современным ему обществом, а, напротив, разобщала, изолировала его. В таком

внутреннем одиночестве, не находя вокруг себя не только сочувствия, но даже внимания к тому, что было для него святынею, провел он всю свою молодость и большую часть своего зрелого возраста. Всякий согласится, что такое положение не легко, даже почти невыносимо. Ощущение постоянного своего противоречия с общественною средою, от которой человек не может, да и не хочет оторваться при невозможности борьбы (ибо какая может быть борьба с равнодушием?), должно непременно окончиться или падением человека, то есть внутренним озлоблением, или такою победою личного сознания, после которой оно закаляется и становится непоколебимым навсегда. Победить равнодушие можно только смехом или плачем. Хомяков смеялся на людях и плакал про себя. Публика слышала этот звонкий, заразительный смех и выводила отсюда заключение, что Хомяков должен быть очень весел и беззаботен. Заключение было не совсем верно. Во время осады Севастополя, в самую пору мучительного для нашего народного самолюбия отрезвления, когда очарования одно за другим спали с наших глаз и перед ними выступили все безобразие и вся нищета нашей деятельности, на одном вечере, в приятельском кругу, Хомяков был как-то особенно весел и беспечен. Настроение его в эту минуту так резко расходилось с тоном общества, что оскорбило кого-то из близких его друзей, который не без досады обратился к нему с упреком: «Не понимаю, как вы можете смеяться, когда у всех скребет на сердце и обрывается голос от сдержанного плача!» – Хомяков опустил голову; лицо его приняло выражение серьезное, но в то же время радостное и, наклонившись к тому, кто сделал упрек, он сказал ему тихо, почти шепотом: «я плакал про себя тридцать лет, пока вокруг меня все смеялось; поймите же, что мне позволительно радоваться при виде всеобщих слез ко спасению».

Будь это сказано другим, можно бы было приписать эти слова желанию порисоваться в позитуре непризнанного пророка; но тому, кто сколько-нибудь знал Хомякова, такое предположение не могло прийти на ум. Хомяков почти никогда не

говорил о себе, никто никогда не слыхал от него никаких фраз, не потому, что он избегал их, а потому, что по его природе фраза не могла в нем зародиться. Будь он сколько-нибудь способен принять на себя какую бы то ни было роль, обзавестись какими-нибудь ходулями, сделать хоть что-нибудь, чтобы привлечь на себя внимание,— тогда и публика отнеслась бы к нему совершенно иначе, и положение его в обществе было бы иное; тогда и мы могли бы не брать на себя труда писать к его сочинениям пояснительное предисловие.

До сих пор мы говорили о том, чем Хомяков не походил на других и почему он не был и не мог быть ни оценен, ни даже опознан. Но ведь нельзя же сказать, что он прошел, не оставив по себе никакого следа. Напротив, след он оставил и, думаем, след неизгладимый, к которому рано или поздно обратятся все; влияние он имел и влияние огромное, хотя, может быть, пока еще не вполне замеченное, и не столько в ширину, сколько в глубину, если не на многих, то очень сильное и прочное.

Чем же именно, какими сторонами сближался он со своими современниками и влиял на них?

Хомяков представлял собою оригинальное, почти небывалое у нас явление *полнейшей свободы в религиозном сознании.*

Этим он поражал всех, не только склонявшихся к его образу мыслей, но и самых заклятых своих противников. При первой же встрече с ним нельзя было не убедиться, что он хорошо знал, продумал и прочувствовал все то, чем в наше время колеблется и подрывается вера. Ему были коротко знакомы и пантеизм, и материализм во всех их видах; он знал, к каким результатам пришла современная наука, как в исследовании явлений природы, так и в критическом разборе священного писания и церковных преданий; наконец, он провел много лет в изучении истории религий, следовательно, в обращении с тою изменчивою, вечно волнующеюся стороною человеческих верований, которая, по-видимому, так убедительно свидетельствует против какой бы то ни было истины, непреложной и не подлежащей законам исторического развития; и

при всем том его убеждения не пошатнулись; он устоял в них. Таково было первое впечатление, которое он производил на всех. Затем, при ближайшем с ним ознакомлении, нельзя было не заметить в нем другой черты: Хомяков не только *дорожил* верою, но он вместе с тем питал несомненную уверенность в ее *прочности*. Оттого он ничего не боялся за нее, а оттого что не боялся, он всегда и на все смотрел во все глаза, никогда ни перед чем не жмурил их, ни от чего не отмахивался и не кривил душою перед своим сознанием. Вполне свободный, то есть вполне правдивый в своем убеждении, он требовал той же свободы, того же права быть правдивым и для других. В то время, когда у нас, ввиду распространявшегося в высших учебных заведениях неверия, зарождались предположения вроде того, что не худо бы положить в основание преподавания геологии книгу Бытия, он прямо и решительно высказал в одной записке, что многие их тех результатов, к которым науки естественные и историческая критика пришли своим законным путем, противоречат принятым преданиям; что этого скрывать не должно, и что было бы не только не разумно, но и оскорбительно для веры стеснять свободное развитие науки, так как, с одной стороны, сама наука еще далеко не высказала своего последнего слова, а с другой – никто сказать не может: все ли мы поняли, что нам поведано, и верно ли поняли. Все сколько-нибудь всматривающиеся в обыкновенный тип человека набожного, встречающийся у нас и везде в образованном кругу, вероятно замечали, что набожный человек очень часто дорожит своею верою не столько как несомненною истиною, сколько ради того личного успокоения, которое он в ней обретает*. Он бережет и холит ее как вещь ценную, но, в тоже время, хрупкую и не совсем надежную. Это отношение к вере подбито, с одной стороны, затаенным, часто бессознательным для самого верующего, но очень заметным для других

* В этом смысле кто-то сказал, и многие повторяют как мудрое изречение, что если бы не было Бога, то следовало бы выдумать его, не подозревая, что это слово есть полнейшая исповедь неверия, дошедшего до цинизма. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

неверием; с другой стороны, оно не чуждо и некоторой доли особенного рода эгоизма – эгоизма самоспасения. От этого, именно оттого, что вкралось в душу сомнение в несокрушимость веры, набожный человек так часто обнаруживает крайнее снисхождение и малодушную терпимость к тем болезненным наростам, которые, всегда и везде, встречаются на исторической оболочке, Церкви. Он внутренне сознает в том и в другом проявлении мнимой церковности суеверие, натяжку, обман или ложь; но у него не поворачивается язык назвать вещь по имени: он видит злоупотребление, а рука не поднимается устранить его – ему страшно. Все это как будто освящено церковностью, все обкурено ладаном, все окроплено. «Как бы, – думает он, – снимая нарост, не поранить живого тела, и выдержит ли оно операцию? Вот кругом стоят врачи, давно приговорившие его к смерти; ну как они правы!» И набожный человек, забывая, что это тело, за которое он дрожит, есть тело Христово, а не тело духовенства, или России, или Греции, притворяется, будто ничего не видит и не слышит, отмалчивается, отписывается, лукавит душою перед собою и другими, оправдывая на словах то, что сам про себя осуждает. Совершенную противоположность этому, всем нам хорошо знакомому типу, представлял Хомяков. Он дорожил верою как *истиною,* а не как удовлетворением для себя, помимо и независимо от ее истинности. Самая мысль, что какая-нибудь подмесь лжи или неправды может так крепко прирасти к истине, что нужно, в интересах истины, щадить эту ложь и неправду, возмущала и оскорбляла его сильнее, чем что-либо, и этот вид бессознательного малодушия или сознательного фарисейства он преследовал во всех его проявлениях самою беспощадною иронией. Он имел в себе дерзновение веры. Оттого и случилось, что люди набожные от него открещивались и говорили, что для него нет ничего святого, в то время как озадаченные встречею с ним нигилисты говорили: «Как жаль, что такой человек погряз в Византийстве». – Для людей безразлично равнодушных к вере Хомяков был странен и смешон; для людей, оказывающих вере свое высокое покро-

вительство, он был невыносим, он беспокоил их; для людей, сознательно и, по-своему, добросовестно отвергающих веру, он был живым возражением, перед которым они становились в тупик; наконец, для людей сохранивших в себе чуткость неповрежденного религиозного смысла, но запутавшихся в противоречиях и раздвоившихся душою, он был своего рода эмансипатором: он выводил их на простор, на свет Божий и возвращал им цельность религиозного сознания.

Выше мы говорили о той непроницаемой туче недоразумений, которая стоит между Церковью и верующими или чувствующими потребность верить и которою образ ее застилается от большинства. Этих недоразумений много, так много, что нет возможности их перечислить; но мы едва ли ошибемся, сказав, что они сводятся окончательно к одному, а именно: к предположению мнимой невозможности согласить то, чему учит и что предписывает Церковь, с живою, законною, прирожденною человеку потребностью свободы. Мы употребили слово самое неопределенное – *свобода,* и не считаем нужным определять его ближе, ибо у него нет такого значения, в котором бы оно не противопоставлялось Церкви. Такие у нас теперь сложились понятия.

Возьмите свободу гражданскую, в смысле отсутствия внешнего принуждения в делах совести, и вы услышите, что она несовместна с Церковью. Почему же так думают? А потому, что на практике эта свобода сталкивается с такими законами и порядками, из которых неверие выводит, что вера и фанатизм одно и то же, фанатизм требует гонений, и Церковь непременно бы их потребовала, если бы светская власть, выбившись из-под ее опеки, до некоторой степени не обуздывала прирожденных ей поползновений*.

Возьмите свободу политическую, в смысле проявленного и узаконенного участия граждан в делах государственных – и

* Многие ли, например, догадываются, что уголовные преследования за отпадение от истинной веры гораздо, по существу своему, противнее духу Церкви, чем так называемому гуманизму или либерализму? *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

здесь вы натолкнетесь на кажущееся противоречие, ибо, приняв комплименты, произносимые в табельные дни, за догматы, риторику за учение, лесть за исповедание, неверие успело убедить многих, что Церковь не только благословляет *идею государства* (то есть народный союз под общепризнанною властью), но освящает будто бы именно одну из форм государственного союза, за исключением всех других; определяет будто бы эту власть как непосредственный дар Божий, как частную собственность лица или рода и тем становится поперек всякому политическому прогрессу, заранее осуждая его как посягательство на божественную заповедь.

Наконец, возьмите свободу мысли, самую дорогую, самую святую, самую нужную из всех, и здесь уже вы услышите не одинокие голоса, а целый хор, который возвестит вам, что вера и свобода мысли – два взаимно исключающие понятия; что не даром *верующий* (croyant) и *свободно мыслящий* (libre penseur) всегда противопоставляются один другому; что кто дорожит свободою своей мысли, тот должен распроститься с Церковью, а кто не может обойтись без веры, тот должен непременно обрезать крылья своей мысли, запереть ее в клетку, наложить на нее запрет и сдержать прирожденное ей стремление к истине, и только к истине. Почему же, однако, так думают? А потому, что все понятия извратились и сбились; потому, что благодаря узкости, неточности и устарелости той научной опоры, в которой предлагается учение Церкви, понятие *веры* перешло в понятие *знания,* только безотчетного, смутного, в себе самом неоправданного, или даже в понятие условного и как бы вынужденного *признания;* потому еще, что свободное отношение к опознанной и усвоенной *истине* отождествилось в мнении большинства с подчинением *авторитету,* то есть такой власти (будь это книга или учреждение), которую мы условились принимать *за* истину и почитать *как* правду, хотя мы хорошо знаем и даже оговариваем в своей совести, что это не более как фикция, без которой, впрочем, не обходится никакая форма общежития; потому, наконец, что мы перестали даже разуметь, что одно и то же слово – *вера* –

служит для обозначения как объекта, то есть поведанной нам полной и безусловной истины, так и субъективной способности или органа ее усвоения, и что поэтому, кто принимает условно безусловное, тот принимает не то, что предлагает Церковь, а нечто самодельное, свое, и принимает не верою, а мнением или убеждением. Я *признаю, подчиняюсь, покоряюсь* – стало быть, я не *верую.* Церковь предлагает только веру, вызывает в душе человека только веру и меньшим не довольствуется; иными словами, она принимает в свое лоно только *свободных.* Кто приносит ей рабское признание, не веря в нее, тот не в Церкви и не от Церкви.

Мы далеки от притязания не только разъяснить, но даже раскрыть вековые недоразумения, которыми омрачаются честные умы и смущаются совести не только у нас, но и везде; мы не вдаемся в спор с неверием, а хотим только намекнуть на свойство этих недоразумений и освежить в памяти тех из читателей, которые лично знали Хомякова, главные темы и характер его полемических бесед. Действие их, кажется, можно бы выразить таким образом: живые умы и восприимчивые души выносили из сближения с Хомяковым то убеждение или, положим, хоть то ощущение, что истина живая и животворящая никогда не раскрывается перед простою любознательностью, но всегда дается в меру запроса совести, ищущей вразумления, и что в этом случае акт умственного постижения требует подвига воли; что нет такой истины научной, которая бы не согласовалась или не должна была окончательно совпасть с истиною поведанною*; что нет такого чувства или

* Приятно встретить отголосок своей мысли на чужой стороне, и потому мы не откажем себе в удовольствии привести следующие строки, недавно нами прочтенные в «Эдинбургском обозрении» (Edinburgh Review, 1864, № 245. The three pastorals etc.). «В Русской Церкви, мы в том уверены, найдутся достойные продолжатели начинаний Хомякова; не иссякнет в ней струя, бьющая в тех чудных письмах православного христианина, в которых оплакиваемый нами Хомяков, выражая свои упования, умел соединить стойкую приверженность к древнему Православию с такою твердою верою в конечные результаты библейской критики и с такою полнотою христианской любви, выше которых мы никогда ничего не встречали». *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

стремления, в нравственном отношении безукоризненного, нет такой разумной потребности, какого бы рода она ни была, от которых бы мы должны были отказаться, вопреки нашему сознанию и нашей совести, чтобы купить успокоение в лоне Церкви, – словом, что можно верить, честно, добросовестно и свободно, что даже иначе как честно, добросовестно и свободно нельзя и верить. Вот что уяснял, развивал, доказывал Хомяков своим могучим, неотразимым словом, и слову своему он сам, всем существом своим, служил живым подтверждением и свидетельством. Вот в каком смысле мы называли его эмансипатором людей, расположенных верить, но запуганных и смущенных встречею с противоречиями, по-видимому, неразрешимыми. Узнав его, они начинали дышать полною грудью, чувствуя себя как бы освобожденными в своем религиозном сознании и как бы оправданными в своем внутреннем просторе против всех двуличных и незаконных (хотя подчас и соблазнительных) сделок с тою примесью лжи, неправды и условности, которою застилается в наших понятиях образ Церкви. Для многих сближение с Хомяковым было началом поворота к лучшему и потому остается навсегда в их признательной памяти как знаменательное событие их собственной, внутренней жизни.

До сих пор мы говорили о Хомякове по отношению к той общественной среде, в которой он жил, и о личном, непосредственном, так сказать, психическом его влиянии на ближайшее его окружение; теперь обратимся к значению его в области церковной науки, то есть к содержанию этого второго тома его сочинений.

Чему Хомяков служил всею своею жизнью, то самое проводил он и в науке. *Он выяснял и выяснил идею Церкви в логическом ее определении.* Слова эти требуют пояснений.

По нашим обиходным понятиям, Церковь есть *учреждение* – правда, учреждение своего рода, даже единственное в своем роде, учреждение божественное, но все-таки учреждение. Это понятие грешит тем самым, чем грешат почти все наши ходячие определения и представления о предметах

веры: не заключая в себе прямого противоречия истине, оно недостаточно; оно низводит идею в область слишком низкую и обыденную, слишком нам знакомую, вследствие чего идея невольно опошляется близким сопоставлением с группою явлений, по-видимому однородных, но в сущности, не имеющих с нею ничего общего. Учреждение – мы знаем, что это значит, и представить себе Церковь как учреждение, по аналогии с другими учреждениями, очень легко, даже слишком легко. Есть книга, называемая Уголовным Уложением, и есть книга, называемая Священным Писанием; есть судебная доктрина и судебные формы; есть также церковное предание и церковный обряд; есть уголовная палата, которой дано уложение, палата, признанная проводить его в жизнь, применять его, судить по нему и т. д., и в параллель является Церковь, которая, руководствуясь писанием, объявляет учение, применяет его, разбирает сомнения, судит и решает. В одном случае: правда условная – закон, и при законе магистратура, орудующая законом, чиновники закона; в другом случае: истина безусловная (в этом разница), но истина, заключенная также в книге или в слове, и при ней ее чиновники и служители – клир.

Церковь, действительно, имеет свое учение, составляющее одно из неотъемлемых ее проявлений; Церковь, действительно, в другом историческом своем проявлении соприкасается со всеми учреждениями, как своего рода учреждение; и все-таки Церковь не доктрина, не система и не учреждение. *Церковь* есть живой организм, организм истины и любви, или, точнее: *истина и любовь как организм.*

Из этого ее определения вытекает само собою и отношение ее ко всякой лжи. Она относится к ней, как всякий организм относится к тому, что враждебно его природе и несовместно с нею. Она отбрасывает, устраняет, отделяет от себя ложь и тем самым, проводя черту между собою и ложью, определяет себя, то есть истину; но она не спорит с ложью, не опровергает, не объясняет и не определяет ее. Все это – спор, опровержение, объяснение и определение заблуждений – есть

дело не Церкви, а школы, состоящей в Церкви. Эта задача науки церковной, иначе богословия. По поводу восточных ересей православная школа разработала в стройную доктрину учение Церкви о существе Божием, о Троице и о Богочеловеке; цикл этого грандиозного развития человеческой мысли, просветленной благостью свыше, закончился перед отпадением Рима. Затем изменились вскоре исторические судьбы Востока; научное просвещение в нем затмилось, а вместе с тем не могла не оскудеть и умственная производительность православной школы. Между тем струя рационализма, впущенная Римским расколом в самую Церковь, подняла на Западе новые богословские вопросы, которых православный Восток не ведал, и, в дальнейшем своем стремлении раздвоившись на два русла, породила, наконец, две противоположные доктрины – Латинство и Протестантство.

Все эти новые формации вышли из местных, исключительно романо-германских стихий; вселенское предание играло в них роль пассивного материала, который постепенно перерабатывался, искажался и приспособлялся к народным понятиям и потребностям; все умственное движение, от папы Николая I до Тридентинского собора, от Лютера и Кальвина до Шлейермахера и Неандера, происходило совершенно в стороне от Церкви и без всякого ее в нем участия. Иначе и быть не могло. Церковь осталась, чем была; вверенный ей светильник не погас, свет его не помрачился. Но нападения со стороны Запада, грозный напор его пропаганды, попытки опровергнуть вселенское предание, которого держался и держится Восток, потом сблизиться с ним и войти в сделку, все это должно было вызвать православную школу на состязание, втянуть ее в полемику и заставить ее принять в отношении к Латинству и Протестантству то или другое положение.

Что же сделала школа? Роль ее можно выразить одним словом: она *отбивалась;* иными словами, она стала в положение оборонительное, следовательно, подчиненное образу действий и приемам противников. Она приняла к рассмотрению вопросы, которые задавали ей Латинство и Протестантство,

приняла их в той самой форме, в какой ставила их западная полемика, не подозревая, что ложь заключалась не только в решениях, но и в самой постановке этих вопросов, даже в постановке более, чем в решениях. Таким образом, невольно и бессознательно, не предчувствуя последствий, она сдвинулась с твердого материка Церкви и пошла на ту зыбкую, изрытую, подкопанную почву, на которую заманили ее западные богословы. Зайдя туда, она подверглась перекрестному огню и почти вынуждена была для своей обороны от нападений, направленных на нее с двух противоположных сторон, схватиться за готовое оружие, издавна приспособленное к делу западными вероисповеданиями для их домашней, междоусобной войны. И вот с каждым шагом запутываясь более и более в латино-протестантских антиномиях, православная школа, наконец, сама раздвоилась. В ней образовались две школы, школа исключительно *антилатинская* и школа исключительно *антипротестантская;* православной школы как будто не стало. Нельзя конечно сказать, чтобы война была для нас неудачна; много было проявлено с нашей стороны усердия, учености и стойкости; немало даже одержано частных побед, особенно в обличении Латинских подлогов, утаек и всякого рода хитростей. Что касается до конечного результата, то само собою разумеется, что Православие не пошатнулось; но это была заслуга не школы, и мы все-таки не можем не признать, что война была ведена ею неправильно.

Ошибка, сделанная в самом начале, при переходе на чужую почву, отозвалась тремя неизбежными результатами. Во-первых, школа антилатинская приняла на себя закваску протестантскую, а школа антипротестантская – закваску латинскую; во-вторых, как последствие этого, каждый успех одной школы в борьбе с ее противником постоянно обращался в ущерб другой школе, давая против нее оружие тому противнику, с которым она имело дело; в-третьих, и это важнее всего: западный *рационализм просочился в православную школу и остыл в ней в виде научной оправы к догматам веры,* в форме доказательств толкований и выводов. Для читателей, незнако-

мых с предметом, мы приведем несколько примеров, в самой общедоступной форме.

«Что важнее и что чему служит основанием: писание преданию или предание писанию?»

Так ставился вопрос западною наукою. В постановке его согласны Латиняне и Протестанты и в таком виде задают его нам. Наша школа, вместо того, чтоб отвергнуть его и показать нелепость противопоставления двух явлений, одно без другого немыслимых и нераздельно сливающихся в живом организме Церкви, принимает вопрос к своему рассмотрению, и на этой почве завязывается диспут. Против какого-нибудь Мартина Хемниция выходит православный богослов-антипротестант и говорит: «Писание получает от предания свое определение, как истины поведанной, как откровения; следовательно, заимствует от предания свой авторитет; к тому же, само по себе писание неполно, темно, с трудом понимается, часто подает повод к ересям, а потому, отдельно взятое, недостаточно и даже опасно». Иезуит все это слышит. Он подходит к православному богослову, поздравляет его с победою над Протестантом и говорит ему на ухо: «Вы совершенно правы, но не довели аргументацию до конца; вам остается ступить еще один незначительный шаг – отнять совсем писание у мирян».

В это самое время выходит на арену православный богослов-антипапист и говорит: «Неправда! Писание в себе самом содержит как внутренние, так и внешние признаки своей божественности; писание — норма истины, мерило всякого предания, а не наоборот: писание дано всему Христианству, чтоб его читали все; оно полно и дополнений не требует, ибо чего в нем нет буквально, то из него же извлекается правильным умозаключением; наконец, во всем, что нужно для спасения, оно ясно и вполне вразумительно для добросовестно испытующего разума каждого». – «Превосходно!» договаривает протестант, именно так: «Библия как объект; личный, добросовестно испытующий разум как субъект, и больше ничего!»

Другой вопрос: чем оправдывается человек – одною верою или верою с придачею к ней дел удовлетворения? Так ста-

вится вопрос в латино-протестантском мире, и православная школа повторяет его, не замечая, что самое возникновение такого вопроса указывает на смешение веры с безотчетным знанием, а дела в смысле проявления веры с делом в смысле проявления, перешедшего в область осязаемых и видимых фактов. Начинается новый диспут.

К православному богослову-антипротестанту подбегает иезуит и заводит с ним такую речь: «Ведь вы, конечно, гнушаетесь суемудрия лютеран, уверяющих, что дела не нужны и что можно спастись одною верою?» – «Гнушаемся». – «Значит, при вере нужны еще и дела?» – «Нужны. – «Итак, если без дел спастись нельзя, то дела имеют оправдательную силу?» – «Имеют». – «А кто покаялся и получил отпущение за свою веру, но умер, не успев совершить дел удовлетворения, как быть тому? На таких у нас есть чистилище; а у вас?» – «У нас,— отвечает православный богослов-антипротестант, несколько помявшись, – у нас, пожалуй, в этом роде: мытарства». – «Хорошо, значит, помещение есть, разница только в названии; но одного помещения мало. Так как в чистилище дел удовлетворения уже не творят, и между тем попавшим туда нужны именно такие дела, то мы ссужаем их из церковного казнохранилища добрых дел и подвигов, оставленных нам про запас святыми. А у вас?» Православный богослов антипротестант конфузится и отвечает вполголоса: «Есть и у нас похожий капитал, это заслуги *сверх требуемых»*. – «Так с чего же, – подхватывает иезуит, – отвергаете вы индульгенцию и их распродажу? Ведь это только акт передачи. Мы пускаем свой капитал в оборот, а вы держите свой под спудом. Хорошо ли это?» Тем временем на другом конце богословской арены происходит другое состязание. Ученый пастор допрашивает православного богослова антилатинянина: «Ведь вы, конечно, отвергаете бредни папистов, приписывающих человеческим делам значение заслуг перед Богом и оправдательную силу?» – «Отвергаем». – «Вы знаете, что верою, одною верою, без всякой придачи спасаются люди?» – «Знаем». – «Так объясните же мне, на что вам ваши епитимьи, ваше так

называемое подвижничество, ваше монашество? Какая от этого польза? В какую цену все это вам зачтется? Докажите мне еще, что нужно прибегать к ходатайству святых. На что оно вам? Или вы не доверяете силе искупления, усвояемой личною верою?» – Православный богослов мысленно перебирает свои учебники, ищет в них доказательств и не находит. Чуя это, его противник напирает на него и спрашивает: «Молиться значит ведь просить у Бога чего-нибудь в надежде получить?» – «Верно». – «Молиться можно лишь тогда, когда от молитвы ожидается польза?» – «Верно и это». – «Среднего состояния между адом и раем, спасением и осуждением, ведь нет? Чистилище – ведь это басня, выдуманная папистами? Ведь вы ее не признаете?» – «Не признаем». – «Так для чего же расходуете вы свои молитвы и тратите их без пользы, молясь за усопших? Одно из двух: или вы паписты, или вы еще не доразвились до протестантов».

Напоследок, выходит иезуит (из *новейших)* и, обращаясь к православному богослову антипротестанту, начинает пытать его: «Неужели вы, заодно с треклятыми протестантами, думаете, что одинокая личность с книгою в руке, но пребывающая вне Церкви, может обрести истину и путь ко спасению?» – «Отнюдь нет; мы веруем, что нет спасения вне Церкви, которая одна свята и непогрешима». – «Прекрасно! А если так, то главною заботою для каждого должно быть не отступать от Церкви, быть с нею во всем заодно, в вере и в деле». – «Конечно». – «Но ведь вы знаете, что суемудрие и лесть часто вторгались в Церковь и соблазняли верующих личиною церковности». – «Знаем». – «Так значит необходим осязательный, внешний *признак,* по которому всякий мог бы безошибочно отличить непогрешимую Церковь?» – «Нужен», – отвечает православный богослов, не подозревая ловушки. – «У нас он есть, – это папа; а у вас?» – «У нас полное проявление Церкви в учении и орган ее непогрешимой веры – вселенский собор». – «Да и мы тоже перед ним преклоняемся; но объясните мне, чем отличается собор вселенский от невселенского или поместного? Каким видимым признаком?

Почему бы, например, не признать Флорентийского собора за вселенский? Не говорите мне, что вы называете вселенским тот собор, в котором вся Церковь опознала свой голос, свою веру, то есть вдохновение Духа; ибо в том-то и состоит задача, чтобы узнать что Церковь и где она?» – Православный богослов антипротестант становится в тупик, а иезуит на прощанье говорит ему: «В вас много доброго; и вы, и мы стоим на одном пути; но мы у цели, а вы не дошли до нее. И вы, и мы признаем согласно, что нужен внешний признак истины, иначе *знаменье церковности,* но вы его ищете и не находите, а у нас он есть – папа; вот разница. Вы тоже, в сущности, паписты, только непоследовательные».

Так в продолжение почти двух веков длилась у нас полемика двух православных школ с западными вероисповеданиями, сопровождавшаяся, разумеется, и внутреннею, домашнею полемикою этих школ между собою. За полнейшее, самое отчетливое и резкое выражение обеих можно признать латинское богословие Феофана Прокоповича и «Камень Веры» Стефана Яворского; все, что выходило после, группируется около этих двух капитальных творений и представляет не более как оттиски с них, только ослабленные и смягченные. Повторяем: мы говорим *о школе,* а не о Церкви; твердыня выдержала приступ и не пошатнулась; но не пошатнулась потому, что твердыня была сама Церковь и, следовательно, не могла не устоять: что же касается до защиты, то нельзя не сознаваться, что она была недостаточна и слаба. Зрители, со стороны смотревшие на бой (а все наше образованное общество, за весьма редкими исключениями, относилось к нему как сторонний зритель), судили о правоте дела по защите и оставались в недоумении; многих охватило сомнение, многие даже подались на сторону противников, кто в мистицизм, а кто в папизм и, разумеется, больше в папизм, по причине дешевизны предлагаемого им удовлетворения. Люди, считавшие себя вполне беспристрастными, то есть воображавшие себе, что, отстав от одного берега и не пристав к другому, они приобрели способность, с высоты своего религиозного индифферентизма,

творить суд над Церковью, приходили к мысли, что Православие есть не более как первобытная, безразличная среда, из которой по закону прогресса на Западе, опередившем нас в просвещении, должны были выделиться два направления, латинское и протестантское, которым, как более развитым формам Христианства, предназначено со временем поделить между собой Православие и окончательно поглотить его. Другие оговаривали, что Латинство и Протестантство, как противоположные и взаимно исключающиеся полюсы, не могут быть конечными терминами развития христианской идеи и что рано или поздно они должны помириться и исчезнуть сами, конечно не в устарелом и отжившем Православии, а в какой-нибудь новой, высшей форме религиозного миросозерцания. Все это – папизм, мистицизм и эклектизм – проповедовалось у нас очень серьезно, все находило последователей и почти не встречало отпора с точки зрения Церкви. Очевидно, школа не давала материала для успешного отпора. Она все еще продолжала полемизировать на предательской почве, не меняя своего положения, – словом, она только *отбивалась.* Но отбиться не значит еще опровергнуть, а опровергнуть не значит еще победить; в области мысли побежденным можно считать только то, что окончательно понято и определено как ложь. Наша православная школа не в состоянии была определить ни Латинства, ни Протестантства, потому что, сойдя *с своей* почвы, она сама раздвоилась, и что каждая из половин ее стояла *против* своего противника, а не *над* ним.

Хомяков первый взглянул на Латинство и Протестантство *из Церкви,* следовательно, *сверху;* поэтому он и мог *определить* их. Мы сказали вначале, в подстрочном примечании, что иностранные богословы были озадачены его брошюрами. Они почувствовали в них что-то небывалое в их полемике с Православием, что-то для них неожиданное, совершенно новое. Может быть, они и не сознали ясно, в чем заключалось это новое; но для нас оно понятно. Они услышали, наконец, голос не антилатинской и не антипротестантской, а православной школы. Встретившись в первый раз с Православием в области

церковной науки, они смутно почуяли, что до тех пор их полемика с Церковью вертелась около каких-то недоразумений; что вековая их тяжба с нею, казавшаяся почти оконченною, только теперь начиналась, на почве совершенно новой, и что самое положение сторон изменилось, а именно: они, паписты и протестанты, становились подсудимыми, их звали к ответу, им приходилось оправдываться. Это было первое впечатление, предшествовавшее отчетливому суждению и произведенное не столько еще содержанием, сколько тоном обращенной к ним речи. Действительно, и тон был особенный, небывалый. Одинаково чуждый бранчливости, в которую нередко впадали полемические писатели прошлого века, и неуместной робости, заметной в некоторых из новейших поборников Православия, он отличался строгою прямотою в постановке вопросов, беспощадностью в обличении и благородною смелостью в провозглашении основных начал. Эта смелость вовсе не походила на заносчивость; нельзя было назвать ее самонадеянностью; нет, в ней слышна была такая несомненность веры в правоту дела и в окончательное торжество истины, какой теперь уже не встретить в западной религиозной литературе. Даже предубежденные противники невольно в этом сознавались.

Не менее своеобразности обнаруживалось и в полемических приемах автора, в принятой им системе спора. До него наши ученые богословские состязания терялись в партикуляризме; каждое положение противников и каждый их довод разбирались и опровергались порознь; мы обличали подложные вставки или урезки, восстановляли смысл извращенных цитат, противопоставляли текст тексту, свидетельство свидетельству и перебрасывались доказательствами от писания, от предания и от разума. При успешном для нас ведении спора выходило, что положение противников не доказано; иногда выходило даже, что оно не согласно с писанием и преданием, следовательно, ложно и должно быть отвергнуто. Конечно, этим устранялось заблуждение в том виде, в каком оно перед нами являлось; но ведь это еще не все. Осталось неразъясненным: как, отчего, из каких внутренних побуждений оно родилось; что именно в

этих побуждениях ложно, где корень этой лжи? Этих вопросов не разрешали, почти что и не затрагивали, и оттого случалось иногда, что, откинув заблуждение, выразившееся в одной форме (как догмат или установление), мы не узнавали его в другой; случалось даже, что мы тут же, в самом опровержении, усваивали его себе, перенося в свое собственное воззрение побуждение, его вызвавшее; корень его все-таки оставался в земле, и новые отпрыски, которые он пускал от себя, часто засоряли и нашу почву. Совершенно иначе берется за дело Хомяков. Идя от проявлений к начальным побуждениям, он воспроизводит, если можно так выразиться, психическую генеалогию каждого заблуждения и сводит их все к общему исходному их началу, в котором ложь, становясь очевидною, сама себя обличает своим внутренним противоречием. Это и значит вырвать заблуждение с корнем.

Вникая глубже и переходя от системы к содержанию, мы усматриваем в богословских сочинениях Хомякова еще другую отличительную черту. С виду они имеют характер по преимуществу полемический; на самом же деле полемика занимает в них второстепенное место, или, говоря точнее, полемики в строгом смысле слова, то есть опровержений чисто отрицательного свойства, в них почти вовсе нет. Нельзя никак взять из его сочинений одну отрицательную сторону (возражения и опровержения), не забрав стороны положительной (то есть уяснения православного учения); нельзя потому, что у него одна сторона от другой не отделяется: обе составляют одно неразрывное целое. Не найдется у него ни одного довода против Латинян, заимствованного у Протестантов, и ни одного довода против Протестантов, взятого из Латинского арсенала; не найдется ни одного, который бы не был обоюдоостер, то есть не был бы направлен как против Латинства, так и против Протестантства; и это оттого, что каждый его довод; в сущности, не есть отрицание, а прямое положение, только заостренное для полемической цели.

Если бы мы увлеклись желанием проследить этот процесс на деле, то нам пришлось бы повторить все содержание

по крайней мере трех главных брошюр Хомякова; пусть лучше сами читатели, своими собственными впечатлениями, проверят наши слова. Но чтоб нагляднее выразить ту отличительную особенность, на которую мы указали и которая, по мнению нашему, составляет главную заслугу Хомякова, мы позволим себе прибегнуть к сравнению.

Когда человек стоит в облаке или в тумане, он сознает только отсутствие или недостаток света; но откуда нашел туман, далеко ли он раскинулся и где солнце? – этого он не знает, не видит и не может сказать.

Наоборот, когда небо ясно и светит яркое солнце, каждая набегающая туча вырисовывается на нем всеми своими очертаниями, своею ограниченностью, как туча, как противоположность свету.

Хомяков выяснил область света, атмосферу Церкви, и на ней, само собою, выступило лжеучение, как отрицание света, как темное пятно на небе. Границы лжеучения стали явны; оно определилось. Мы говорим о лжеучении в единственном, а не во множественном числе, хотя подразумеваем Латинство и Протестантство именно потому, что отныне оба вероисповедания представляются нам как одно единое заблуждение и что это единство могло быть высмотрено только с той точки зрения, на которую поставил нас Хомяков, то есть из Церкви. До него в нашей Православной школе Латинство и Протестантство всегда принимались за две взаимно исключающиеся противоположности, за два полюса. Такими они действительно представляются на Западе, потому что там окончательно раздвоилось религиозное сознание и утратилось самое понятие о Церкви, то есть о той среде, из которой эти два вероисповедания выделились под влиянием романской и германской стихий. То же представление о них перешло и к нам; мы усвоили себе готовые определения и взглянули на Латинство глазами Протестантов, а на Протестантство глазами Латинян. Теперь, благодаря Хомякову, все переставляется. Прежде мы видели перед собою две резко определенные формы западного Христианства, и *между ними* Православие, как бы остановившееся на распутии; те-

перь же мы видим *Церковь,* иначе – живой организм истины, вверенной взаимной любви, а вне Церкви логическое знание, отрешенное от нравственного начала, то есть *рационализм,* в двух моментах его развития, а именно: рассудка, хватающегося за *призрак* истины и отдающего свободу в рабство внешнему *авторитету* – это Латинство, и рассудка, доискивающегося *самодельной* истины и приносящего единство в жертву *субъективной* искренности, – это Протестантство.

Может быть, теперь стало несколько понятнее то, что было нами сказано выше, что мы повторим вновь: Хомяков выяснил идею Церкви в той мере (всегда неполной), в какой вообще живое явление поддается логическому определению. Он выразил эту идею точно, строго, в форме, так сказать, стереотипной, к которой уже нельзя ничего прибавить и от которой нельзя ничего урезать. Такова его заслуга в области богословия. Им открывается новая эра в истории православной школы.

С этими словами мы переходим к заключительным соображениям о дальнейшем ее развитии.

Прежде всего, возникает вопрос: так ли богословские труды Хомякова были поняты и оценены специалистами этого дела, нашим ученым духовенством?

Образованный, ученый мирянин, заступающий за Православие и выходящий на состязание с иноверцами, – такое редкое у нас явление не могло, разумеется, не возбудить в кругу специалистов приятного изумления.

Искренность убеждения, слышная в голосе, выходившем из общественной среды, более склонной к дряблому скептицизму, чем к чему-либо иному; строгая, логическая последовательность в аргументации, неожиданность и железная сила доводов, признанная самими противниками, – все это, естественно, было встречено с радостью.

Не боясь возражений, можно, кажется, сказать, что все специалисты обрадовались неожиданной подмоге и приветствовали в лице Хомякова первоклассного полемика. Можно сказать более: самое направление его мысли и сущности его воззрения на предметы веры встретили в *некоторых* специалистах одо-

брение и сочувствие, которыми покойный автор дорожил более, чем лестными о нем отзывами иностранной печати.

Но далеко не все специалисты так относились к нему. Большинство издали ему рукоплескало, но не решалось идти за ним, не решалось даже гласно и открыто признать его. Вообще в доходивших до нас из этого круга отзывах и суждениях мы часто замечали отчасти преднамеренную сдержанность, а отчасти совершенно искреннее двойство впечатлений. С одной стороны, слышалось сердечное желание согласиться, с другой – какая-то боязнь усвоить себе что-то как будто новое, по крайней мере неожиданное, что-то, правда, светлое, но уж не слишком ли даже светлое? К этому присоединялось и некоторое сожаление, как будто тоска: чувствовалось, что если взяться за оружие, выкованное Хомяковым, то пришлось бы, вероятно, сложить с себя значительную часть прежней, школьной арматуры, правда тяжелой, неудобной, ни от чего не оберегающей, даже насквозь продырявленной, но зато как бы приросшей к членам: пришлось бы пожертвовать логическими приемами и оборотами, правда, всем надоевшими, ни на кого уж не действующими, но зато издавна затверженными и потому легкими; наконец, пришлось бы, может быть, из арсенала определений и доказательств кое-что и отбросить как вовсе негодное, что, правда, и теперь не безусловно одобряется, даже осуждается как слабое и неверное, но осуждается как-то больше про себя, в своей совести или в кругу своих, а не на людях.

В этих опасениях все очень понятно; многое, именно все искреннее, заслуживает даже некоторого уважения. Тем не менее они кажутся нам совершенно неосновательными, и мы надеемся, что они скоро рассеются; мы даже уверены в этом, ибо если б они нашли себе подтверждение и оправдание в чьем-либо сильном авторитете, то последствия для будущности нашей православной школы были бы крайне неблагоприятны.

Хомяков поставил вопрос между Церковью и западными вероисповеданиями на новую почву; он, так сказать, переменил позицию — с этим, кажется, согласны все специалисты. Выгодность ее как для обороны, так и для наступления признается

многими из них, чуть ли даже не всеми; но этого мало. Дело в том, что эта позиция не есть одна из многих возможных, даже не лучшая из всех, а единственно возможная. На нее, на эту позицию, рано или поздно должна перебраться вся школа, и чем раньше она это сделает, тем будет лучше: ибо, при свойстве предстоящей впереди борьбы, за нами нет другой позиции, на которой бы мы могли удержаться. Слова эти, вероятно, возбудят недоумение. Нас спросят: «Какая же еще борьба? Борьба действительно горела и казалась страшною в XVI и XVII веках, когда Латинство и Протестантство, в то время еще полные сил и самоуверенности, надвигались на нас с двух сторон; но мы и тогда отбились; а теперь?.. Перед кафедрою римского первосвященника, сильно покачнувшеюся набок, последняя горсть неисправимых ее поклонников ломается и кривляется, пародируя выдохшееся молитвенное воодушевление; сам папа, прикованный к роковому наследию притязаний, от которых нельзя отречься, посылает всему миру бессильные проклятия, а проклинательная формула на дрожащих устах его превращается в отходную над папизмом. С другой стороны, протестантство бежит на всех парусах от нагоняющего его неверия, бросая через борт свой догматический груз, в надежде спасти себе Библию; а критика, с язвительным смехом, вырывает из оцепеневших рук его страницу за страницей и книгу за книгой... Чего же бояться и кого бояться? Была ли даже действительная надобность пришибать тяжелою палицею старых противников, когда они, видимо, на наших глазах умирают от истощения?»

Положим, что это отчасти справедливо, старые противники точно сходят со сцены; но за ними поднимается новый: рационализм, вооруженный всеми выводами опытных наук, так сказать, навязывающимися своею очевидностью и всеми приемами этих наук, соблазняющими своею безошибочностью. С ним предстоит теперь новый бой, или, говоря точнее: это не новый противник, а прежний, только окрепший, выросший до полного самосознания, тот самый, с которым ратовали наши деды, не узнавая его лица под маскою Латинства и Протестантства, и который теперь подступает к нам опять,

только с другой стороны. Прежде он оспаривал наши догматы, наше учение, противопоставляя ему свое; теперь он приступает с весами, мерою и оселком исторической критики к *фактической* основе наших верований, перебирая свидетельство за свидетельством, слово за словом, надеясь раздробить, расправить, обратить их в ничто, и не предлагая ничего взамен. В сущности нам предстоит не новый бой, а продолжение старого, только с новыми силами и с новым оружием. И уже начался этот бой. Были встречи, были случаи испытать, насколько надежны наши боевые доспехи против усовершенствованного оружия, направленного на нас; были опыты и результаты перед глазами. Скажите откровенно: довольны ли вы ими? Достаточно ли у вас сил и хорошо ли вы ими орудуете? Все ли у вас в исправности и со всех ли сторон вы прикрыты? Мы очень хорошо знаем, что если средства истины неисчерпаемы, то, с другой стороны, нет почти пределов и отрицанию; поэтому мы не спрашиваем: одержали ли вы окончательную победу? а спрашиваем: твердо ли вы знаете, на какой почве вы должны одержать ее? Дело идет о большей или меньшей достоверности факта; так можете ли вы разъяснить (вполне ли вы сами себе уяснили), чем именно дорожит Церковь в *факте,* что значит в области Церкви *факт* в его материальном проявлении, в пределах пространства и времени (разумея под фактом и слово с его вещественной стороны)?.. Обратимся к результатам. Целые поколения, вами воспитанные прямо из-под ваших кафедр, ударились, очертя голову, в самое крайнее неверие, и при этом всего поразительнее не число отпадших от вас, а легкость отпадения. Ваши ученики бросили Церковь без внутренней борьбы, без сожалений, даже не задумываясь. И какими же силами они у вас отбиты? Две брошюры Брюхнера, да две или три книжки Молешотта и Фохта, да жизнь Христа Ренана (даже не Штрауса), да десяток статей Добролюбова и Герцена, и дело было сделано. Не спорим, что значительную долю вины специалисты имели бы полное основание свалить на других, указав на множество неблагоприятных обстоятельств, которых они не в состоянии были ни предупредить, ни устранить:

все это мы готовы допустить, и все-таки опять обращаем к специалистам тот же вопрос: так ли бы легко увлеклись целые поколения, если бы Церковь представлялась им в настоящем свете, если б они видели перед собою ее, то есть именно Церковь, а не призрак Церкви? Ничтожны были средства, употребленные для совращения; слаба, несерьезна, несостоятельна, хотя и заносчива, была проповедь неверия, а она имела успех, успех огромный и легкий. Каково же было противодействие?..

Отчего это? Подумайте: не оттого ли, что мы предлагаем истины веры как выводы из силлогизмов, в старом, растрескавшемся сосуде и что слушатели, бросая сосуд, бросают зараз и то, что в нем сберегается? Не оттого ли, что мы стараемся только о том, как бы путем формально правильных умозаключений, так сказать *довести* слушателей до догмата, вынудить у них признание, заручиться их согласием, захватить их в плен, и на том останавливаемся, не идя вглубь, не вводя их в смысл самого догмата? Не оттого ли, наконец, что, ратуя с рационализмом, мы дали ему прокрасться в наши ряды и, употребляя выражение очень меткое, не нами найденное, так сказать, приняли рационализм внутрь себя? Может быть, умудренные опытом, мы захотим оставить наши доказательства от разума и попытаемся поставить наше преподавание под защиту авторитета; но это доказало бы только, что мы не поняли, чем мы слабы, это значило бы променять рационализм протестантский на рационализм латинский, ибо авторитет для воли и совести – то же, что объект для рассудка, нечто внешнее, подлежащее анализу и вызывающее его.

Кажется, при свете происходящего на наших глазах пора наконец уразуметь, что Латинство и Протестантство и вся выработанная ими система доказательств не более как проводники к неверию и что все, нами оттуда заимствованное, обращается нам же на пагубу, подавая рационализму единственное оружие, какое только он может с успехом обратить на нас. Вот что первый понял и выяснил Хомяков. Он поднял голос не против *вероисповеданий* латинского и протестантского, а против рационализма, им первым опознанного в на-

чальных его формах, латинской и протестантской. С ним, с рационализмом, имел он дело; для борьбы с ним выковал он оружие, единственное годное для этой борьбы; для нее же указал он и почву, на которой борьба возможна, а успех несомненен – потому несомненен, что эта почва – не дощатый помост, поставленный на козлах, а твердый материк Церкви, несомненный в той же степени, в какой несомненно, что никакая ошибочная система о движении светил небесных не изменит их обычного хода. И не новая это почва, не чужая для вас; это та самая почва, на которой и вы, наставники, и мы, ученики, стоим теперь, стояли всегда *как члены Церкви,* но с которой, к сожалению, вы дали себя сманить *как ученые, как школа.* Пора уразуметь это. Когда крепость готовится встретить осаду, гарнизон начинает с того, что сам налагает руку на предместья; не задумываясь и не давая места неразумной пощаде, он сносит и выжигает все деревянные хижины, всю соломенную гниль, все ненадежное и неустойчивое, все что снаружи пристроилось к кремлевской стене и чем бы непременно воспользовался неприятель для подступа. Пора и нам, такою же добровольною жертвою, очистить и спасти на поприще духовного боя вверенную нам твердыню.

Итак, Хомяков – не изолированное явление, не прихотливая комета в кругу богословских светил; он покончил с Латинством и Протестантством, и в то же время он открыл собою новую эру в истории православной школы, подготовив будущую ее победу над современным рационализмом*.

* Богословские сочинения Хомякова, в незначительном их объеме, представляют необыкновенное богатство содержания. Во всех проводится одна тема: «Церковь как живой организм истины, вверенной взаимной любви; иначе: как свобода в единстве и единство в свободе; иначе: как свобода в гармонии ее проявлений». Затем развитие основной темы происходит посредством раскрытия ее в многообразных проявлениях Церкви: в учительстве, в таинствах, в истории и т. д. и посредством противопоставления явлений церковной жизни параллельным явлениям в латинстве и протестантстве. Наконец, помимо главной темы, рассыпано в тех же сочинениях множество намеков, суждений, определений, характеристик и критических замечаний. В этом отношении Хомяков не только не берег себя, а напротив, разнообразием и множеством затрагиваемых им мотивов, вызывал споры и возражения со всех сторон. Само собою разумеется, что, указывая

Теперь, когда мы в общих чертах обрисовали значение Хомякова по отношению к тому, что было до него, что было при нас и что предстоит впереди, читатели вправе потребовать, чтоб мы определили его одним, заключительным словом.

В былые времена тех, кто сослуживал православному миру такую службу, какую сослужил ему Хомяков, кому давалось, логическим уяснением той или другой стороны церковного учения, одержать для Церкви над тем или другим заблуждением решительную победу, тех называли учителями Церкви. Как назовут теперь Хомякова — мы не знаем...

Как? Хомяков, живший в Москве, на Собачьей площадке, наш общий знакомый, ходивший в зипуне и мурмолке; этот забавный и остроумный собеседник, над которым мы так шутили и с которым так много спорили; этот вольнодумец, заподозренный полицией в неверии в Бога и в недостатке патриотизма; этот неисправимый славянофил, осмеянный журналистами за национальную исключительность и религиозный фанатизм; этот скромный мирянин, которого семь лет тому назад в серый осенний день, в Даниловом монастыре похоронили пять или шесть родных и друзей да два товарища его молодости; за гробом которого не видно было ни духовенства, ни ученого сословия; о котором через три дня после его похорон «Московские ведомости», под бывшею их редакциею, отказались перепечатать несколько строк, писанных в Петербурге одним из его друзей; которого еще недавно та же газета, под нынешнею редакциею, огласила иересиар-

на труды его, как на основание для будущего развития школы, мы имеем в виду то, что в этих трудах существенно, нисколько не думая отрицать, что в частностях, подробностях и в применениях главной идеи могут встретиться неточности, неоправданные гипотезы, даже ошибки. Затем мы должны еще просить читателей не забывать, что во всякой полемике положительное начало, в отдельных вопросах, часто выказывается как будто односторонне и выражается в определениях, не исчерпывающих всей его сущности. То же самое можно встретить и в брошюрах Хомякова; но у него недосказанное в одном месте всегда пополняется в другом. Поэтому мы просим читателей не произносить окончательного суждения о той или другой мысли, не прочтя всего и не выразумев отношения ее к целому. Соображение целого значительно облегчается «Опытом катехизического изложения учения о Церкви», помещенным в начале этого тома. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

хом; этот отставной штаб-ротмистр, Алексей Степанович Хомяков – учитель Церкви?

Он самый.

Называя его этим именем, мы хорошо знаем, что наши слова приняты будут одними за дерзкий вызов, другими за выражение слепого пристрастия ученика к учителю; первые на нас вознегодуют, вторые нас осмеют. Все это мы наперед знаем; но знаем и то, что будущие поколения будут дивиться не тому, что в 1867 году кто-то решился сказать это печатно и подписать свое имя, а тому, что было такое время, когда на это могла потребоваться хоть самая малая доля решимости.

Москва. Декабрь 1867 г.

Об отношении церкви к свободе

(вариант предисловия к богословским сочинениям А.С. Хомякова)*

Мы говорили выше о тех людях, которых отгоняют от Церкви недоразумения. Эти недоразумения разнообразны, но

* Приводя в порядок свои бумаги незадолго до своей кончины и делая при этом на них разные указания, Ю. Ф. Самарин на печатаемой рукописи отметил: «Неизвестно, что такое». Подлинная рукопись – черновая и не имеет заглавия. По сличению ее с предисловием, написанным Ю. Ф. Самариным к богословским сочинениям А. С. Хомякова, оказалось, что это отрывок из означенного предисловия; но в нем он напечатан в сокращенном виде. Очевидно, что эта рукопись составляет первый набросок, который остался недоконченным, потому что Ю. Ф. Самарин нашел нужным для «предисловия» изложить содержание его в более сжатой форме. Вопроса об отношении Церкви к свободе Ю. Ф. Самарин коснулся в статье, написанной им на немецком языке в Берлине незадолго до своей кончины («По поводу сочинений Макса Мюллера по истории религий». – *Э.З.*). Но нигде мысли Ю. Ф. Самарина по означенному вопросу не были выражены так ясно и так полно, как в этом отрывке. Он был напечатан в первый раз в апрельской книжке «Православного Обозрения» за 1877 год по заглавием «Об отношении церкви к свободе» и перепечатывается здесь с теми же примечаниями, которые были помещены в этом журнале. *(Прим. Д. Самарина).*

главнейшие сводятся к одному, а именно: к кажущейся невозможности согласить то, чему учит и что предписывает Церковь, с потребностью разумной свободы. Мы готовы принять это последнее слово в каком угодно значении и готовы подтвердить сказанное нами, перебрав все понятия, подразумеваемые под этим словом.

Прежде всего представляется понятие о *свободе гражданской,* в смысле отсутствия внешнего принуждения в делах совести. Вам говорят: «Дело известное, где искренняя вера, там фанатизм; где фанатизм, там преследование, принуждение, по крайней мере, понуждение. Разумеется, костров и пыток уже нет и не будет, благодаря тому, что правительство высвободилось из-под опеки Церкви; но все же и теперь перемена веры влечет за собою преследование по уголовным законам. Мало того, косвенное принуждение заставляет меня, положительно не признающего таинства евхаристии, ежегодно повторять за священником: еще верую и т. д. Меня самого это возмущает, мне досадно на себя: но вижу, что делать нечего: это свойство среды, видно, без этого Церковь обойтись не может». На этом, разумеется, не стоит долго останавливаться: можно пожалеть, что есть поводы к такого рода нареканиям, но едва ли нужно доказывать, что если бы дана была полная свобода всем *тем* мнимо православным христианам, которые ныне приносят Церкви свое лицемерное поклонение, открыто от нее отделиться, то она бы только очистилась и осталась бы тою же Церковью; остались бы в ней все добросовестно верующие или желающие верить. Церкви навязывается как непременное условие ее существования такой порядок вещей, в котором она вовсе не нуждается – здесь недоразумение очевидно.

Другое понятие – *свобода политическая,* в смысле участия граждан в государственном управлении. История всех христианских народов, события, совершающиеся на наших глазах, аналогические выводы из векового опыта доказывают нам, что политические формы изменяются и должны изменяться; что в жизни каждого народа наступает пора, когда участие его в собственной политической судьбе (всегда пред-

полагаемое или подразумеваемое) делается явным и гласным, облекается в определенную форму, требует себе признания как права, и что дальнейший ход развития ведет к постепенному расширению этого участия. Таков факт несомненный, неотразимый и в то же время разумный, факт, служащий выражением правильного прогресса. Безрассудно было бы это отрицать и одинаково безрассудно было бы, забегая вперед, требовать немедленного осуществления на практике необходимого в будущем и очевидно невозможного в настоящем, – требовать на том только основании, что требование логически верно и выражается в форме правильного силлогизма. – Да, говорят вам, а поперек политическому прогрессу стоит Церковь. – Почему же? – А потому, что Церковь определяет государственную власть не как делегацию, а как прирожденное, свыше данное право, следовательно, по ее понятиям, форма власти предустановлена и неизменна по существу своему, и всякое ограничение ее каким-либо иным правом получило бы характер посягательства на божественную заповедь. – Но где же доказательства? – А тексты, в которых говорится о царях, именно о царях, а проповеди, приветствия, комплименты, произносимые с амвона или на церковной паперти с крестом в руке и в полном облачении: кажется, довольно? – Довольно, чтобы доказать напыщенность церковной риторики, часто бесцеремонно обращающейся с текстами, и, к сожалению, принявшей окраску учения de jure divino, которого никогда не допускала Церковь. Вы указываете на тексты; сперва вникните в них и поймите их. Церковь говорила о царях, да вспомните, когда и с кем она говорила. Могла ли она говорить о парламентах, сеймах, президентах и камерах, когда ни понятий этих не существовало, ни слов для их выражения? Спаситель говорил, что кто хватается за нож, тот от ножа погибнет, значит ли это, что слово его относилось именно к холодному оружию и не применяется к огнестрельному? Церковь говорила о царях потому, что царская власть была в то время единственною формою государственной власти, но Церковь благословляла *идею государства* вообще, как народного об-

щежития под одною властию, и никогда не приковывала ее к той или другой форме ее исторического проявления, за исключением других, прошедших или будущих. К этой форме, к вопросу о том, как устроить, кому вверить власть, Церковь равнодушна* и так же мало стесняет свободу политического развития, как и развития торговли или языка. Повторяю: Церковь благословляет государство как свободное общежитие и требует от каждого лица подчинения признанной всеми государственной власти не токмо за страх, но и за совесть, ибо признает в государстве орудие для осуществления благих целей, которого действие не должно быть возмущаемо вторжением личного произвола; далее она не идет и, следовательно, нимало не стесняет свободы политического развития.

Третье понятие – *свобода мысли.* – Да, говорят нам, противоречие несомненно и остается только учинить выбор между двумя противоположными терминами, а соглашение немыслимо: дорожите вы свободою мысли — проститесь с вашею верою; нужна вам вера – знайте, что вы приносите в жертву свободу мысли. Недаром и в обиходном языке свободно мыслящий (libre penseur) противопоставляется понятию верующего... Кто не слыхал этих слов или подобных? Итак, вера будто бы исключает свободу мысли; но прежде всего желательно бы было уяснить, что значит свобода и чему противопоставляется. Очевидно, не принуждению внешнему и не насилию, о нем в области мысли не может быть и речи. Говорится о том

* Без сомнения, автор имеет в виду церковь вообще, церковь вселенскую. Что касается до нашей церкви, то она, будучи частию вселенской церкви, в то же время есть по преимуществу церковь народная, в самом точном смысле слова. Поэтому она не может проявлять своего бытия в народе русском только *благословением идеи государства вообще* и затем оставаться *равнодушною* и безучастною к форме исторического проявления власти государственной, к вопросу о том, как устроить, кому вверить власть, – не может потому, что не может быть равнодушною к общественному благу народа, в котором живет как душа его. И потому проповедует ли она ему устами пастырей учение о власти государственной и об отношениях к ней, – ее проповедь есть учение об истинном благе народа, основанное на откровении Божественном (Матф. 22, 21. 1; Петр. 2, 17; Римл. 13, 1. 2. 5; Притч. 24. 21). И честно исполняет она этот долг свой пред народом, хотя и есть, конечно, в наших церковных проповедях литературные недостатки. (*Прим. ценз.*).

рабстве, которому сам человек подвергает мысль свою, забивая ее в кандалы своими руками. *Сам, своими,* следовательно, в удовлетворение своему желанию, своей потребности, какой бы то ни было – ложной или истинной, болезненной или нормальной, но все-таки своей – следовательно, *вольно.* Из двух потребностей, будто бы взаимно исключающихся, потребности веры и потребности свободомыслия, дано предпочтение первой; можно было дать предпочтение второй. Что лучше, об этом пока ни слова; но то и другое одинаково *вольно.* – Да, говорят нам, акт веры, по отношению к верующему субъекту, есть акт воли, и в этом смысле свободный, как самоубийство; самое положение, в которое приводится мысль, есть положение неволи или рабства. – А почему? – Потому что, кто верит, тот признает авторитет, этим авторитетом полагает предел развитию своей мысли, обрезывает ей крылья и, в противность прирожденному ей стремлению доискиваться истины и только истины, сдерживает ее в неподвижности. – Авторитет... да этого слова Церковь не знает. Что значит авторитет? Под этим словом мы разумеем такую власть (будь это книга, лицо юридическое или физическое), которой мы условились подчиниться как истине и правде, хотя мы очень хорошо знаем, что в ней может и не быть ни той, ни другой. Мы подчиняемся судебному решению, вошедшему в законную силу, как гласу непогрешительной справедливости; но мы знаем очень хорошо, что оно может быть несправедливо – это авторитет. Мы слушаемся власти, как будто бы власть требовала от нас полезное и нужное; но мы знаем, и никто не запрещает нам знать, и даже говорить, что власть может ошибаться – это авторитет. Мне нужна рукопись, которой у меня нет под рукою, и я ссылаюсь на выписку из нее, которую нахожу у писателя, извлекшего ее из подлинника, потому что настолько доверяю автору и впредь до возражения и сомнения, возможности которых не отрицаю, я довольствуюсь его свидетельством, доверяю его добросовестности – это авторитет. Но какое же место авторитету в области веры? Неужели кто-нибудь думает, что, говоря: верую в Церковь, верую в Писание, мы под-

разумеваем: хотя, может быть, Церковь и заблуждается, хотя, может быть, Писание и не от Бога? Словом *вера* мы выражаем истину полную и безусловную: тем же словом мы выражаем и наше отношение к ней, внутренний орган, которым приемлется истина. Если вера, в объективном смысле, есть истина безусловная, то, принимая ее условно, я принимаю не веру, а нечто другое, нечто самодельное, и принимаю не верою, а убеждением или мнением; я *подчиняюсь, признаю, покоряюсь,* положим, но я не *верую.* Церковь предлагает веру и только веру, она вызывает веру и только веру. Условного признания она не приемлет. Кто признает ее, не веря в нее, тот не от Церкви. Где же тут рабство мысли, в чем посягательство на свободу? Если утратою свободы вы называете ту безусловность моей уверенности в истине, которая не допускает никакого сомнения и, следовательно, лишает меня свободы сомневаться, то не забудьте, что таково же свойство и того полного знания, к которому, по-вашему, стремится свобода мысли. Такого рода неволя или рабство есть требование ее природы. Не веря ни в Церковь, ни в Писание, ни в Предание, вы, однако, знаете, и знаете несомненно, о собственном вашем бытии; вы сознаете себя, и ваша мысль не может, она не властна, она не свободна усомниться в своем бытии; вы видите свет, вы чувствуете жар или холод, и вы это знаете, и вы не сомневаетесь в этом, не можете усомниться не потому, чтобы вы запрещали вашей мысли посягать на вашу уверенность, а потому, что сомнение противно ее природе, ее свободе.

«Положим, авторитет есть подчинение истине, в которую мы не верим и, следовательно, где вера, там авторитета нет; положим, что в этом отношении внутреннее созерцание, называемое верою, так же свободно, как и несомненное знание научное; но вот в чем разница и в чем рабство; мы знаем, почему мы знаем, ибо знаем только доказанное, вы верите и сами не знаете, почему вы верите, – в этом рабство». – Итак в основе – *знание**. Это уже ближе к истине, и мы начинаем

* Т.е.: итак, по-вашему, в основе всего лежит *знание. (Прим. ред. «Православного Обозрения»)*

понемногу выходить из области недоразумений. Остановимся на этом. Выходит по-вашему, что единственное законное, приличное мысли свободное знание есть знание логическое, всякое другое есть рабство. Но, во-первых, позвольте вам заметить, что всякое знание исходит от нескольких данных, воспринимаемых сознанием непосредственно, не выводных и не доказанных, их и доказать нельзя: таково ощущение моего *я* и *не я*, т.е. мира внутреннего и мира внешнего; таковы все познания, приобретаемые ощущением. Вера основана также на непосредственных данных, только не чувственного, а внутреннего опыта: сознание добра и зла, свободы и высшей воли, правящей судьбою человека. Затем весь дальнейший процесс мышления есть не что иное, как комбинации этих данных и выводы из них по законам логики. Итак, в чем же разница? Разница в том, что вы признаете *один* способ познавания – логический; другого вы не допускаете, по крайней мере, вы этим способом, как единственным критерием истины, поверяете всякое иное знание. Из этого само собою вытекает, что, по вашему мнению, этот способ постижения адекватен истине, то есть, что вся истина дается этим способом и что вы отрицаете участие воли в познавании; чем она пассивнее относится к логическому процессу, тем лучше; он должен совершаться сам собою, и результаты его в той именно степени ценны и достоверны, в какой они, так сказать, *навязываются* сознанию, а сознание *вынуждается* принимать их, покоряться им (таковы выводы математические – идеал научной истины). Мы же думаем, что этим путем дается только истина формальная; что полная и высшая истина дается не одной способности логического умозаключения, но уму, чувству и воле вместе, то есть духу в его живой цельности; что именно участие воли необходимо, потому, во-первых, что вполне постигается только то, что внутренним опытом переживается; во-вторых, что разумение истины *дается* в меру желания получить ее. Отчего такая разница в понятиях об условиях постижения? Оттого, что цель науки, ее задача — *узнать,* обогатить *знанием;* задача веры: *возродить* и *спасти.* Оттого она

обращается к воле. Теперь спрашивается: где свобода – там ли, где не только не требуется, но прямо устраняется участие воли, как помеха, или там, где признается необходимость ее содействия? Возьмем пример.

Несчастного юношу, будущего наследника богатых родителей, забрали в свои руки передовые люди, давно развязавшиеся со всякого рода авторитетами и …

По поводу сочинений Макса Мюллера по истории религий

I

Язык до сих пор некоторые считают гибким орудием, которое, находясь в распоряжении человека, должно приспособляться к выражаемым им понятиям; эти понятия предполагаются в его сознании как нечто само по себе уже готовое и зрелое.

Что на самом деле это не так; что первоначально образование понятий совпадает с образованием слов; что впоследствии, когда язык, как орган выражения мысли, совершенно сложился, его формы и законы оказывают могущественное воздействие на дальнейший ход идей; что новые понятия, возникающие под влиянием иных обстоятельств и расширившегося круга воззрений, сами (до известной степени) необходимо должны подчиняться особенностям готового уже языка; что через это самые понятия до некоторой степени преобразуются и принимают на себя оттенок односторонности или материальности, чуждый их собственному существу; что вообще слово и понятие никогда не покрывают себя вполне – все это наглядно доказано Максом Мюллером в области истории религий, и в этом, кажется мне, и заключается главная его заслуга. Она должна быть вполне признана за лингвистом (а не за

философом); но я желал бы, чтобы при этом не было упущено из виду одно обстоятельство.

Язык (в самом широком значении этого слова, как форма выражения вообще) разделяет и разъединяет народы, расы и века гораздо глубже и шире, чем понятия (взгляды, учения, догматы и т. д.). Различие формы обыкновенно подает повод к самым печальным недоразумениям даже и там, где можно было бы указать на согласие в содержании; из недоразумений возникает далее взаимное неуважение, пренебрежение, отвращение и ненависть. А как легко ненависть, доросшая до фанатического неистовства, и притом главным образом в области веры, возводится в долг совести и в нравственную заслугу – об этом знает что□ порассказать история.

Раз участие языка, как самостоятельного агента, в образовании религиозных воззрений определено, доказано и как бы выделено при рассмотрении их, так само собою отделяется ядро от скорлупы, и чистое понятие освобождается от оков, которые налагает на него язык. Через это мы приобретаем широкую, общую почву, на которой люди, далеко друг от друга отделенные происхождением, пространством и временем, могут лучше понимать, познавать и ценить друг друга и таким образом прийти к сознанию своего духовного единства в мышлении и чувствовании. Рассматриваемый с этой точки зрения труд Макса Мюллера, кажется мне, выигрывает не только в философском значении, но и в нравственном достоинстве. По крайней мере, я должен признаться, что после того, как я прочел его и обдумал, я почувствовал, что стою к браминам, идоло- и огнепоклонникам ближе, чем прежде. Тем не менее сочинение не вполне удовлетворяет читателя, и, закрывая книгу, он остается с неразрешенным вопросом.

Этимологически религия значит то же, что союз или общение, здесь очевидно между человеком и чем-то *другим.* Что же, однако, это *другое?* Существо ли это, имеющее бытие *само по себе и для себя* (признает ли его человек, или не признает, или даже отрицает — все равно), или это только *понятие,* другими словами: продукт человеческой способности отвлекать

всеобщее и идеальное от всего отдельного, конечного, случайного и несовершенного?

Утверждая, что вопрос этот остается неразрешенным, я не думаю, само собою разумеется, упрекать автора в том, что он не выбрал его главною темою своих лекций; я хочу поставить только на вид, что, хотя самый предмет исследования естественно вызывал его высказаться об этом вопросе, его личное убеждение выступает, однако же, так мало, что из его собственных слов могут быть выведены оба противоположные воззрения.

Высокое значение, которое Макс Мюллер придает вообще религии; его глубокое понимание и теплое сочувствие к каждому религиозному движению, к каждому искреннему стремлению души к Богу; многие места, где он решительно восстает против широко распространенного учения, будто религия есть уже преодоленная точка зрения, преходящий момент в диалектическом развитии человеческого духа к полному самосознанию; затем *главным образом* его критическая статья на сочинение Ренана (1860), в которой он веру Авраама в *единого* Бога приписывает прямому *откровению* — все это указывает на признание Бога как самого по себе и для себя сущего существа. Но к совершенно противоположным заключениям приходишь, когда в общих и главных чертах воспроизводишь в памяти его изложение истории религий. Он понимает ее как продукт *одного только* деятельного агента, именно человеческого духа, неудержимо стремящегося к Богу; о шествии Бога к нему навстречу, о прямом, преднамеренном воздействии с Его стороны на ищущего Его и призывающего Его человека нет нигде и речи. Бог кажется объектом, предносящимся перед человеческим стремлением к нему, и более ничем; нигде во всем историческом процессе не заметно ни малейшего следа какого-либо участия Бога как деятельного агента. Таким образом, Бог стоит в таком же отношении к верующему человечеству, как планеты к астрономам или силы природы к физикам. История религий, как ее понимает Макс Мюллер, изображает нам не диалог между

человеком и Богом, а монолог человека, в котором он сам старается уяснить себе, что он собственно должен думать о Боге. Но такого рода понимание очевидно равносильно атеистическому исповеданию, по крайней мере, оно заключает в себе последнее: так как Бог, который не хотел бы знать о стремлении человека к Нему, или не желал бы известить о себе свое создание, ищущее Его, совершенно немыслим, и не только *иллогичен,* но и *антилогичен.* Творец не творящий, судья не судящий, искупитель не спасающий, провидение, которое не предостерегает, не наказует, не помогает, не оказывает деятельного влияния на ход событий, разрешается в *ничто.*

Если бы Макс Мюллер, как я его понимаю (а я бы сердечно обрадовался, если бы оказалось, что я его неверно понял), был прав, если бы история религий не могла представить ничего иного, как ряд *человеческих,* обусловленных главным образом особенностями языка, понятий и представлений о лишенном воли, равнодушном объекте, который сам не раскрывает себя человеческому духу, *намеренно* не извещает о себе человеку посредством откровения, не обращает к нему речи, то с религиею вообще дело было бы покончено, с религиею в самом широком значении этого слова, и как учением и как нравственностью. Она должна бы была раз навсегда ниспасть в область астрологии и алхимии, так как нельзя же ожидать, чтобы разумному человеку могло когда-нибудь прийти на ум поклоняться или молиться тому, что он признал и считает *собственным* своим представлением и *собственным* понятием; но где умолкает молитва, там прекращается религиозная жизнь.

Сам ли Макс Мюллер не сознает этого противоречия в своих основных воззрениях, противоречия, которое обнаруживается при чтении его сочинений, или он, хотя вполне ясно понимает дело сам, из внешних соображений по отношению к своим слушателям, не хотел обнаружить своей основной мысли – об этом я не осмеливаюсь высказаться. Добавлю только, что первое предположение мне не кажется неправдоподобным, так как сердцевину означенного противоречия можно

открыть (что □□ я и постараюсь сделать) в неопределенности его основного воззрения (которое служит ему точкою отправления) на психологическое происхождение всех начальных религиозных стремлений.

II

В первом письме своем я намекнул на недостаток определенности в воззрениях Макса Мюллера на психическую основу религии вообще; теперь попытаюсь ближе выяснить этот недостаток.

Как видно из первого чтения Макса Мюллера, он признает за основу религии «врожденную наклонность человеческого разума *объять бесконечное»;* к этому стремлению присоединяется «сознание человеческой слабости и бессилия», – что собственно есть тождесловие, так как бессилие есть не что иное, как признанная, в противоположность к бесконечному, конечность человеческой жизни и человеческих сил. Таким образом, все сводится к понятию бесконечного, которое будто бы тождественно с понятием Бога (как оно первоначально и весьма неопределенно постигается человеком), или, по крайней мере, заключает его в себе как зародыш. А я полагаю, что оба эти понятия, *по содержанию,* хотя друг другу и не противоречат, однако существенно между собою различны, а *по происхождению* (по способу возникновения) ничего между собою общего не имеют, так что никакой логический переход от первого ко второму немыслим, следовательно, и не мог иметь места в историческом развитии.

В подтверждение можно было бы привести значительное число философских школ, которые хотя и признавали бесконечное (*субстанция* у Спинозы, *дух* у Гегеля, вечная *материя* у других), в смысле всеобщей основы и единого истинного во всем сущем, при этом, однако, решительно отвергали бытие Божие. Но такого рода указание, хотя и не лишенное эффекта, не имело бы силы доказательства для мужа науки, и я очень

охотно отказываюсь от него. Попытаемся просто разложить оба понятия и исследовать их родословную.

Уже при первом взгляде оказывается, что понятие бесконечного – чисто *отрицательное.* Я хочу этим сказать, что оно ничего более в себе не заключает, кроме добытого иным путем* понятия конечности с добавлением отрицательной частицы *без.* Бесконечность, сама по себе и для себя, совершенно не поддается определению, и если бы мы попытались определить ее, то должны бы были удовлетвориться перечислением того, *чего нет в понятии о бесконечном,* и сказать, что она есть нечто такое, что *не* имеет предела, что пребывает *вне* пространства и времени, что *не* может быть созерцаемо, что *не* может быть представлено, что *не* может по своей сущности изобразиться ни в каком явлении и т.д. До понятия бесконечности или до произнесения этого слова человека доводит просто то, что он свою собственную личность и все явления природы понимает как *конечное, определенное бытие.* Тем самым уже, как граница** определенного бытия и как лишенная всякого содержания противоположность ему, *полагается* и бесконечное. Но такого рода пустое, чисто отрицательное понятие по самой своей сущности не заключает в себе зародыша; в нем нет условий для развития из самого себя; никакой дальнейший шаг, который бы примыкал к нему как к своей исходной точке немыслим. Хотя бы человечество целые тысячелетия повторяло и склоняло на всех языках слово «бесконечность», все-таки ни одному человеку не пришло бы в голову молиться или поклоняться ей по той простой причине, что нельзя ни мыслию представить, ни почувствовать никакого *отношения* между абстрактно воспринятым, чисто *отрицательным понятием,* с одной стороны, и *живым существом,* с другой стороны.

Напротив, в понятии Бога заключается признание, что бесконечное дает о себе знать человеческому сознанию, *следовательно, в области конечного,* тем или другим образом, как

* В черновой рукописи прибавлено: (путем опыта). *(Прим. Д. Самарина.)*

** В черновой рукописи прибавлено: (иначе определение). *(Прим. Д. Самарина.)*

личность. Во избежание недоразумений, я теперь же должен обратить внимание на то, что я смотрю на свойство личности не как на определение Божества самого по себе, в его сущности (в этом заключается семя бесчисленных богословских противоречий прежнего и нынешнего времени), а как на определение его откровения *вовне* (ad extra). Таким образом, Бог отличается от бесконечности как идея (в гегелевском смысле) от понятия; Он есть каждого человека *знающая,* на каждого свободно *воздействующая* бесконечность и всемогущество; Его око открыто для каждого человека и ухо отверсто для каждого стремления к нему; Он говорит человеку, руководит и предостерегает его, призывает, судит и спасает. Содержание этой идеи очевидно есть *положительный факт* (действительный или мнимый – этот вопрос впереди); а факт, каков бы он ни был, человек сознает не иначе как через *восприятие,* следовательно, доходит до признания его исключительно путем *личного опыта* (испытания). Из этого следует, что религия и естествознание возрастают на одной и той же почве, так как и в чувственном восприятии глаза, уши и т.д. действуют только как посредствующие органы, а *зрение, слух, осязание и* пр. суть деятельность объекта, самого *я*; для этого неопределимого *я* предмет вне его стоящий делается объектом познания потому, что наше *я* посредством своих чувств *испытывает* действие его на себе. Если же все познание *реального* сводится к почувствованным воздействиям или к личным опытам, то почему стали бы мы отрицать у человеческого *я* способность переживать также такие воздействия и личные испытания, которые не нуждаются в посредстве внешних чувств?..

Верно ли или неверно указанное происхождение идеи Бога, все-таки прежде всего естественно возникает вопрос: соответствует ли этому субъективному, опытному познанию (восприятию) *действительный* факт, или оно только обман, призрачное восприятие (каково, имеющее значение только известного момента в развитии духа, понимание идеи как *иного,* у Гегеля, – каково фантастическое олицетворение человечества как рода, у Фейербаха и пр. и пр.)?

Но прежде чем я выскажу об этом свое мнение, позвольте мне мимоходом сделать одно замечание, важное в практическом отношении. Можно было бы, я думаю, доказать, что высокое значение, которое человек с полным правом придает своей личности, не может ни на чем другом основываться, как на идее Промысла, и не иначе может быть логически оправдано, как предположением Всемогущего Существа, которое не только каждого человека доводит до сознания его нравственного призвания и личного долга, но вместе с тем и внешние, от субъекта совершенно не зависящие события и обстоятельства его жизни располагает таким образом, что они находятся и пребывают в *определенном,* для человеческой совести легко *познаваемом отношении* к этому призванию. Только при условии признания такого рода отношения между тем, чем человек должен быть, и тем, что с ним *случается,* каждая человеческая жизнь слагается в *разумное целое.* Устраните в мысли действие Промысла, – и эта жизнь ниспадает до бессмысленной борьбы, в которой два непримиримые, не имеющие между собою ничего общего фактора – каковы: свободная воля, с одной стороны, и слепая, бессознательная, ей не подчиненная случайность, с другой – стараются друг друга побороть без всякой надежды, чтобы эта вечная противоположность когда-либо разрешилась в высшем начале. Таким воззрением в самом основании отравляется и искажается человеку его личное существование (шопенгауэровский пессимизм). Если затем мы бросим взгляд на жизнь всего человечества, то в воззрениях на нее мы также усмотрим немало логически неоправдываемых попыток увернуться тем или другим путем от этого полусознанного противоречия. Достаточно одного примера. По учению Гегеля, для постепенного саморазвития духа до полного самосознания в философии необходим весь ход всемирно-исторических событий; а так как вся фактическая сторона истории принадлежит к области случайности, которая ничего не ведает о духе и его потребностях, то между строками прокрадывается так называемая *необходимость* и занимает место устраненного Промысла. Иначе сказать: *ло-*

гической формуле предоставляется право высшего надзора и господствующая власть над всем фактически существующим и происходящим в истории, тогда как это право и эту власть отрицают у *живого существа* (Бога). Не чистая ли это магия, не самое ли чудесное из всех чудес, отвергаемых ради их неразумности? – Но это мимоходом, а теперь я снова поднимаю прерванную нить своего рассуждения.

Итак, мы стоим перед лицом столь многократно обсуждавшегося вопроса о доказательствах бытия Божия. По моему мнению, которое я прямо и высказываю, эти доказательства, все в совокупности (не исключая онтологического), не имеют никакой логической силы и притом по той совершенно простой причине, что, как сказано выше, *никакой* факт вообще, в строго философском смысле недоказуем. Конечно, чего не разумеют под словом *доказывать!* Обыкновенно пробавляются мнимыми доказательствами, как то: вероятностями, приведением свидетельств, указанием на удавшиеся опыты, ссылкою на всевозможные авторитеты, которые сами по себе остаются вечно недоказанными, и пр. и пр. Такого рода доказательства могут быть вполне оправданны и совершенно достаточны в жизни практической, в политике, в судопроизводстве и в отдельных отраслях наук*, из которых каждая основывается на посылках готовых, признаваемых за общепризнанные. Но совершенно иного рода требования в области философии, где дело идет о разрешении начальных и вместе конечных вопросов, которыми решительно обусловливается человеческая жизнь в настоящем и в будущем, способность субъективного самоопределения, вера человека в себя самого и пр. В строго логическом смысле доказуема только *возможность факта,* а отнюдь не реальность его или *действительное бытие.* Реальность факта можно только воспринять посредством *личного опыта* (что я хочу этим сказать – можно вполне выразить *только* на немецком языке, от этого я так охотно и пользуюсь им). Иными словами: где дело идет о *фактах,* можно доказывать только, что

* В черновой рукописи: «в так называемых прикладных науках». *(Прим. Д. Самарина.)*

они не заключают в себе никакого логического *противоречия,* следовательно, что они *не* неразумны, scilicet, не *невозможны.* А так как бытие Божие признается за факт, то очевидно каждый человек должен сам для себя, собственным опытом, в глубине своей совести решить поставленный вопрос: этот факт есть ли действительность и истина, или призрак и ложь; равным образом и другой вопрос, тесно связанный с первым: свобода воли (иначе способность самоопределения из самого *я*) есть ли факт или самообольщение? Считаю излишним вдаваться в дальнейшие разъяснения.

Из сказанного возникает, однако, новый вопрос. Так как личное восприятие и личный опыт легко могут ввести в обман (ибо немыслим никакой верный признак, по которому можно было бы безошибочно отличить действительное восприятие от восприятия мнимого) и так как нельзя подчиниться никакому внешнему авторитету (ибо дело здесь идет об искреннем убеждении, а не о внешнем послушании), то спрашивается: уместно ли вообще в деле религии убеждение твердое, исключающее всякое сомнение, и то, что называется *верою,* не есть ли нечто само по себе неразумное (антилогическое)? Определеннее и общее вопрос этот может быть выражен так: мыслимо ли вообще между конечным существом (человеком) и бесконечным такое отношение, при котором доступное первому восприятие последнего *само по себе* представляло бы совершенное ручательство в том, что воспринятое не есть обман, а отражается в сознании вполне истинно? Я, конечно, вправе признать за общепризнанную истину, что источник всех невольных обманов, лже-представлений, заблуждений и пр., а следовательно, и источник вполне справедливого недоверия человека к самому себе, заключается в том, что между объектом познания и познающим *я* находится *посредник,* без которого нельзя обойтись и которого нельзя устранить. Под посредником я разумею как совокупность чувственных органов, через посредство которых мы сознаем все внешние воздействия, так и духовный орган, способность умозаключения, посредством которой эти воздействия собираются в группы и приводятся в логические

сочетания. Но эти органы подчинены своим *собственным,* от нашей личной воли не зависящим законам, которые во всем своем объеме нам даже не вполне известны и над деятельностью которых наша личная власть ограничена. Отсюда следует, что органы могут видоизменять объективно-фактическое и доводить до восприятия нашего мнимо-фактическое. К этому прибавим еще и то, что объекты нашего познания оказываются либо совершенно равнодушными (как природа), либо бессильными, относительно того, какое слагается в нас о них представление. Цветок, который я рассматриваю, не знает меня и так же мало заботится о правильности возникающего во мне представления о нем, как мало и молния, падающая на меня, намеревается причинить мне смерть. Даже существо одинакового со мною происхождения, человек, когда говорит со мною и притом с сознательною и преднамеренною целью воздействовать на меня, не в состоянии, однако, безошибочно вызвать в моем сознании именно то представление, которое бы вполне соответствовало его мысли и желанию. Когда мы подписываем и произносим одно и то же исповедание и являемся совершенно согласными в слове и деле, все-таки остается широкое поле для непреодолимого сомнения – то же ли самое мы *понимаем* и не основывается ли на самообольщении представление о наших взаимных мыслях и стремлениях. Итак, исключающая всякое сомнение верность восприятия объективно-фактического предполагает *непосредственность* восприятия, но она возможна только при двух условиях: во-первых, то, что подлежит нашему восприятию (объективный факт), должно быть в состоянии прозирать в человеческом сознании весь процесс восприятия; во-вторых, необходимо, чтобы этот объект не только *хотел,* но и *мог* вызвать в человеке восприятие, соответствующее его воле, – иначе сказать, необходимо, чтобы он его *сотворил.* Конечно, сделать это может только Бог, а что *Он* это может и хочет, заключается уже в самом понятии Божества. Повторяю: логически это не доказуемо *как факт,* но это *логически возможно,* и нельзя в этом открыть никакого противоречия, ничего неразумного.

Итак, в непосредственном и личном *восприятии* сознательного и преднамеренного воздействия Бога на человеческую жизнь кроется корень религии вообще и каждой религии в частности. Это воздействие, – которое дает о себе знать и как бы навязывается человеческому сознанию в непроизвольных движениях совести, так же как и в мнимо-случайных событиях, – есть первоначальная форма так называемого *откровения;* оно необходимо предполагается всеми дальнейшими историческими откровениями, так как, если бы человек не испытал в сокровеннейшей глубине своей собственной индивидуальности ощущения присутствия Божия, то сообщить ему понятие об объективном откровении в Писании и на деле так же мало было бы возможно, как дать понятие о гармонии человеку от рождения абсолютно глухому, который никогда из опыта не мог узнать, что значит звук или тон.

Если бы Макс Мюллер обратил на это внимание, то все его исследование, конечно, выиграло бы в логической строгости, а между тем ему не пришлось бы отказаться ни от одного слова в своих лекциях. На этом я прерываю нить своего рассуждения, потому что, если бы я ступил еще один шаг, то перед нами открылась бы беспредельная область, исходить которую я совершенно не в состоянии, и мой снисходительный читатель, для которого я пишу эти строки, с полным правом мог бы указать мне дверь. Что я поступаю весьма неосторожно и во вред своему делу, раскрывая свои взгляды ex abrupto, кратко, оставляя их беззащитными, не имея возможности присовокупить к ним необходимых разъяснений и высказываясь об основных вопросах в смысле, совершенно несогласном с господствующими воззрениями, – это я сознаю вполне; но мне отрадно высказаться перед моим читателем совершенно искренно и не обращая внимания на последствия.

Мне кажется, что наше время страдает не *избытком,* а *недостатком* охоты и любви к свободному исследованию: иначе лучшие умы настоящего времени не стали бы так легко и безмолвно подчиняться деспотической власти ходячих *громких слов,* которых не стараются или не смеют

исследовать и уяснить. Накопилось, преимущественно в области религиозных вопросов, много *предрассудков* (как теологических, так и атеистических, – как радикальных, так и консервативных), которые отчасти порождены логическими недоразумениями и частью исходят из исторических воспоминаний давно минувших времен; они тяготеют над умами и совестями как твердые непроницаемые наслоения и задерживают всякое действительно свободное движение духа. Прежде всего следовало бы предпринять отделение и расчистку этих слоев. Если бы мы достигли того, что стали бы *понимать* друг друга, то, наверное, сами собою разрешились бы многие мнимо-непримиримые разногласия во взглядах. Я думаю, например, что тогда к числу таких предрассудков отнесли бы и мнение тех, которые абсолютно свободное и вполне независимое исследование (составляющее неприкосновенное право и нравственную обязанность человеческой личности) ставят в противоположность объективному откровению; тогда признали бы также, что корень этого предрассудка заключается в смешении и отождествлении *веры,* как самого глубокого, самого искреннего, достигшего высшей потенции *убеждения* (которое, само собою разумеется, *не может быть несвободным),* с верою как внешним, формальным, условным подчинением какому-либо авторитету.

Я берусь доказать это, и если такое притязание вам покажется нескромным, то примите в соображение, что вы сами повинны и ответственны в том, что доверие к собственным моим силам так возросло.

III

Если бы мне когда-нибудь снова пришлось вернуться к предметам, которых я едва коснулся, то я предложил бы сначала прийти к соглашению насчет нескольких предварительных вопросов, именно: я бы выставил и попытался доказать три положения.

Во-первых, что сознание личной свободы в первоначальном значении как способности самоопределения (из которого выводятся дальнейшие понятия гражданской и политической свободы), отношение человека к человечеству как духовному единству (гуманность), со всеми дальнейшими последствиями, каждое суждение, какое человек высказывает о самом себе, и (как основа всего права) сознание долга и личной ответственности в самом широком значении этого слова, вообще вся этика, – что все это утверждается на религиозной основе и предполагает религиозные убеждения; что, следовательно, этика, как скоро отрешается от этих убеждений, вместе с тем отказывается от своего собственного логического и единственно состоятельного оправдания и впадает в неразрешимое противоречие со своими собственными требованиями и притязаниями. Осмеливаясь высказать это положение, я, конечно, знаю, что против меня могут сослаться на авторитет Канта; но я сомневаюсь, вполне ли верно поняли этого великого мыслителя и сам он не находился ли вообще под влиянием господствующих предрассудков относительно религии. Я знаю, что против моего мнения можно выставить и факты, именно: неоспоримый подъем нравственного уровня, идущий во многих странах (Франции, Германии) рука об руку с атеизмом, как оказывается из истории и как видно и в настоящее время, затем массу высокостоящих в нравственном отношении личностей, которые, однако, в глубине своего сознания отрешились (или думают, что отрешились) от всякого религиозного учения. Я иду еще далее: в известные времена (при падении Римской империи, затем во второй половине XVIII века, а может быть, и в настоящее время) господствующие воззрения слагаются таким образом, что свежее, искреннее, нравственное стремление почти по необходимости может выражаться не иначе как в резком противоречии с религиею*.

* При чтении отрывка III не следует упускать из виду, что он печатается с чернового, первоначального наброска, в котором, очевидно, не могут не встречаться выражения не совершенно точные, не вполне ясно передающие мысль Ю.Ф-ча. *(Прим. Д. Самарина).*

Мне самому в течение жизни моей доводилось близко узнавать такие личности, перед которыми я должен был в душе глубоко преклониться, которые в царствии Божием будут стоять значительно выше, чем многие возведенные в разряд так называемых святых, епископы, монахи и князья*, и которые, однако, с полною верою признавали себя атеистами; эти люди, сами того не ведая, поклонялись Богу, которого, по-видимому, не признавали, но который их понимал и слышал. Допуская все это, тем не менее я утверждаю, что нравственность без религии равняется лишенному корня растению, что обычай, предание, привычка, личное настроение и пр., как скоро стоят в противоречии со своим собственным основанием, не способны к жизни и рано или поздно должны подчиниться всемогущему закону логической необходимости, потому что против такого рода противоречий история оказывается беспощадною и неумолимою. Если бы захотели отдать себе строго научный отчет в том, от чего человек логически и в действительности отказывается, как скоро он отрешается от Бога, то по крайней мере остереглись бы и ближе вникли бы в дело – это уже много бы значило.

Во-вторых, я бы исследовал, на что опирается господствующее вообще мнение, будто религиозная вера тождественна с рабским подчинением внешнему авторитету, следовательно, несовместима со свободным стремлением к истине и с безусловным правом исследования. Что это мнение основывается частью на иллогическом предположении, частью на произвольном расширении и обобщении исторических фактов, не трудно было бы доказать, если бы только захотели обращаться к фактам религиозной жизни так же беспристрастно и объективно, как в настоящее время обращаются в области науки с фактами физиологическими или

* Автор без сомнения говорит здесь не о святых, сущих на небе и прославленных Богом, но о тех, кому на земле, по сану или званию, ими носимому, людской обычай присвоил название святых, преподобных, благоверных и т.п. *(Прим. Д. Самарина).*

политическими. Ведь никому в настоящее время не приходит на мысль определять понятия свободы и равенства как оправдание насилия, убийства и поджигательства потому только, что эти понятия были превратно поняты, искажены и употреблены во зло Парижским конвентом и позже тамошними коммунарами.

В-третьих, я бы попытался разложить понятие чуда или так называемых сверхъестественных явлений. Я думаю, что если бы мы решились взглянуть прямо на этот предмет, отвлечь его от частных примеров и от действительных или мнимых происшествий и различить понятие чудесного от прилипающих к нему, хотя в основе своей и различных от него понятий неправдоподобного, исключительного и противологического, следовательно неразумного, то оказалось бы, что настоящий зародыш понятия чуда, его сущность ничего другого в себе не заключает, как признание фактического, прямого воздействия духовного начала или агента на материю. Повторяю, сущность чуда открывается в самых обыденных явлениях, именно в тех, где духовное начало (например, человеческая воля) – которое хотя и тесно соединено с материею, однако по своей природе не материально, следовательно, не может быть продуктом материи, – оказывается прямо воздействующим на материю, хотя бы и в самых тесных границах (например, в том явлении, что воля приводит в движение нервы и мускулы). Простое признание этого факта (а я не думаю, чтобы его можно было иначе отвергнуть, как отрицанием какого бы то ни было самостоятельного, духовного начала или какого бы то ни было духовного свойства, которое бы не имело основания в материи) заключает в себе признание *в принципе* (я говорю в принципе) так называемого чуда вообще. Если только в этом согласиться, то главное недоразумение будет устранено; все остальное (как то: степень вероятности различных чудес, о которых свидетельствует история, признаки истинных и ложных чудес и пр.) будет уже делом второстепенным.

Письма о материализме*

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

С особенным удовольствием погрузился я опять в холодную, отрезвляющую струю чистого умозрения; но, признаюсь вам, – не без некоторого беспокойства. Я так давно не заглядывал в область философии, что не доверял себе и даже теперь сомневаюсь, сохранил ли я способность дышать в без-

* Под заглавием «Письма о материализме к Н. П. Гилярову-Платонову» было напечатано в № 2 газеты «День» 21 октября 1861 года первое письмо Ю. Ф-ча к Н. П. Гилярову-Платонову, с которым он условился вести из Самары переписку философскую о материализме. Поводом к ней послужило то, что материалистическое учение все более и более распространялось тогда в нашем обществе, особенно в молодом учащемся поколении; сочинения Бюхнера в русском переводе переписывались и читались нарасхват в наших мужских и женских учебных заведениях. Вот как 9 лет спустя Ю.Ф. вспоминал об этой, к сожалению, прервавшейся на первом письме переписке своей с Н.П. Гиляровым-Платоновым, в письме своем от 7 декабря 1870 года к князю Д. А. Оболенскому: «Статьи моей, о которой ты меня спрашиваешь, у меня нет; но Аксаков обещался доставить тебе ее в полном экземпляре «Дня». Ее даже нельзя назвать статьею. Это было простое письмо, адресованное на имя Гилярова, с которым я условился совокупными силами уяснить и обсудить вопрос о материализме, в то время занимавший всех. Я вовсе не намеревался печатать этого письма и даже выговаривал Аксакову за помещение его в «Дне» без моего ведома и согласия. Ты в нем не найдешь решительно ничего; это был только приступ к делу; недописанное продолжение затерялось, а другие занятия (в то время я был членом Самарского Губернского Присутствия по крестьянским делам) совершенно отвлекли меня от философских вопросов. Лучшее из немногого писанного у нас против материализма заключается в довольно пространных статьях Юркевича по поводу статей Антоновича (если я не ошибаюсь). Статьи Юркевича помещены в Трудах Киевской духовной академии – года не припомню, но не ранее 1865 г. Он у меня есть, но, к сожалению, в деревне. Сомневаюсь, впрочем, чтобы они могли тебе послужить в каком-нибудь отношении. Вопросы о причинах возрождения материализма в наше время, об отношениях его к немецкой философской школе Шеллинга и Гегеля, к естественным наукам, к разным сторонам общественного быта и государственного устройства и т.д. не таковы, чтобы можно было разъяснить их правительству и втиснуть в докладную записку». *(Прим. Д. Самарина).*

воздушном пространстве и не сбиваться с прямого пути там, где нет ни верстовых столбов, ни других видимых и осязаемых примет. В последнее время я жил непраздно, но занятия мои все были такого рода, что они не только не благоприятствовали развитию и укреплению философского мышления, а совершенно наоборот, отучали меня от тех приемов мысли, которых требует философия. В практических вопросах мы почти всегда принимаем за исходную точку *вероятное* и стремимся к *приблизительно* верному; вопросы ставятся не такие, на которые может быть только один безусловно истинный ответ, исключающий все остальные как ложь; а из пяти или шести ответов, которые представляются вам единовременно, и все в одинаковой степени могут быть и истинны и ложны, вы выбираете, руководствуясь почти исключительно непосредственным чутьем наиболее *удобного* и *возможного* в данную минуту, тот ответ, который кажется вам пригодным, – и затем, из массы почти равносильных доказательств pro и contra, вы подбираете все для вас подходящее. Чем менее вы при этой работе отрешались от так называемой действительности, чем живее вы ощущали в себе потребности, болезни, страсти и надежды среды, в которой вы поставлены, – тем лучше. Этою резкою противоположностью приемов мысли в сфере философской и в сфере практической объясняется взаимное тупое непонимание истинных философов истинными практическими деятелями и последних первыми. Отсюда и взаимное их друг к другу презрение. Только мы, люди средние, люди ни то ни се, обладаем способностью понимать и тех и других, заглядывать туда и сюда.

Я прочел Бюхнера «Kraft und Stoff»* на пароходе в один присест, и хотя я очень легко поддаюсь на первых порах всякому автору попавшейся мне в руки книги, хотя я не только без усилия, но почти невольно иду за ним, куда он ведет, но я должен сказать, что этот господин ни единой минуты мною не владел, не потому, чтобы я упирался, а просто оттого, что не чуял в нем силы. Одно из двух: или он действительно

* «Сила и материя» *(нем.).*

очень плох, или я утратил способность к восприятию новой мысли – это уж решайте вы, как знаете; а я начну с того, что передам вам те мысли и впечатления, которые родились во мне *по поводу* книги Бюхнера.

Прежде всего мною овладело чувство беспокойства и даже страха, как бы не вздумали у нас или за границею искусственным образом подрезать крылья этому направлению, которому, очевидно, суждено еще долго расти и расти. Всякий человек имеет неоспоримое право – из всех органов познавания выбрать себе один орган, из всех путей избрать один путь и затем поставить себе задачею: исследовать все то, что доступно этому органу, идти вперед этим одним путем, не оглядываясь ни направо, ни налево, до тех пор, пока он вернется к своей исходной точке или ударится лбом об стену. В этом нет не только ничего предосудительного или грешного, но это conditio sine qua non* всякого развития. Затем, желательно бы было, чтобы каждый человек, принимая на себя то одностороннее определение, которое неразлучно с каждым движением, сознавал эту односторонность, не отрицал того, что лежит вне его области, не плевал на тех, кто идет другим путем; мы можем и должны этого желать, но мы не вправе этого требовать. Разрыв непосредственного общения человека с верховною истиною, которая есть вместе полная жизнь, не может никогда быть делом случая или неподвластной человеку необходимости; в основе одностороннего направления мысли, принимающего характер направления исключительного, отрицающего все, что вне его, лежит непременно порча нравственная, падение воли; но в этом отношении – личность суду человеческому неподсудна. Мы можем и должны требовать от нее только одного: логической последовательности в ее односторонности. Всякое другое требование, к ней обращенное, было бы не только бессильно и недействительно, но оно заключало бы в себе нечестивое посягательство на человеческую свободу. Безрассудно и грешно убивать мысль, потому что через это мы мешаем ей совершить над собою самоубийство, предопределенное всякой лжи. Закон

* Без всяких условий *(лат.)*.

логики – вот единственный закон, от которого она не вправе уклоняться; пусть же она подчиняется ему безусловно. К несчастию, повсюду, где, кажется, коренные условия умственной жизни должны бы быть известны всем как азбука, – это простое правило беспрестанно нарушается. Вы видите рядом, с одной стороны, непонятное равнодушие к тем непоследовательностям и нечистым пред логикою сделкам, за которыми ложь укрывается от собственных своих обличительных выводов; с другой стороны, вы беспрестанно встречаете искушение прихлопнуть мысль, последовательную до дерзости, накрыть, задушить ее. То и другое истекает из одного источника: неверия в силу и в окончательное торжество правды. Это общее свойство *солидных* людей всех времен и наций: господствующей иерархии, ученых корпораций и т.д. Вы явственно различите их голос в воплях и криках негодования, вызванных книжкою Бюхнера за границею, и в подлой снисходительности, с которою наши и тамошние фарисеи и книжники идут навстречу всякой сделке с торжествующим материализмом. Только при двух условиях направление это может быть действительно опасно: при грубом на него гонении и при слабости в обличении его непоследовательностей. Этих непоследовательностей и теперь уж не оберешься. Разверните любую книжку любого из модных журналов. Один и тот же борзописец, на одной и той же странице, объявит вам, что так называемый дух и материя одно и то же, что мы употребляем слово дух для обозначения тех явлений, обусловленных законами вещественной необходимости, которых мы еще не успели окончательно исследовать весами и мерою, и он же приходит в негодование при одной мысли о телесных наказаниях; другой скажет вам, что у женщины меньше мозга, чем у мужчины, и вслед за тем впишется в ряды поборников равноправности прекрасного пола и его эмансипации; третьему положительно известно, что между обезьяною и негром существует только квантитативная, а не квалитативная разница, что обезьяна гораздо ближе к негру, чем негр к англосаксонцу, и он же, разумеется, от всей души проклинает рабство и Южные штаты, и т.д. и т.д.

Я дорожу невозмутительным процессом законного самоубийства всякой лжи, не только как неотъемлемым правом свободной мысли, но еще и потому, что этим процессом достигаются положительные результаты: очищение правды и уяснение ее ad extra, в логическом ее понимании. В этом отношении мне представляется в будущем огромная польза от строго последовательного материализма. Я уже не говорю о том, что он призван покончить со всеми попытками – на чем-нибудь утвердить идею нравственности (понятие долга, чувство человеческого достоинства и тому подобное) вне православия (разумея под этим словом не одну доктрину, но Церковь как живой организм), что против него не устоит ни бесцветный, бескостный, дряблый гуманизм, ни социализм со всеми его бреднями и полуистинами, но для нашего положительного религиозного сознания он, мне кажется, имеет особенную важность. Материализм – это острая кислота, которая обмоет тусклый лик православия и возвратит ему блеск и чистоту. В наших, господствующих в массе верованиях (я говорю не об одних податных сословиях, но и о так называемом обществе, даже о нем в особенности) есть сильная помесь чисто материалистических понятий и представлений, в которых под обманчивым видом одухотворения плоти скрывается грубое *оплототворение* (можно ли так выразиться?) духа. Для пояснения моей мысли я приведу пример. Припомните то, что вы, конечно, не раз слышали от лиц благочестивых и образованных по поводу лечения магнетизмом, кружения столов и т.д., и скажите: далеко ли мы ушли от заклинательных религий, от того понятия, что посредством какого-нибудь чисто механического приема человек может привести себя, даже может быть приведен другим, без собственного своего ведома и сознания, в непосредственное общение с духом света или духом тьмы? Что человек может случайно погубить свою душу, так же как он может схватить где-нибудь лихорадку, и может точно так же спасти ее? ...В одном этом предположении, как в зерне, кроется весь материализм со всеми его дальнейшими выводами. Дайте ему свободно развиться,

на просторе, в другой среде: и вы увидите, что, по закону химического сродства, он привлечет к себе и увлечет за собою все эти однородные миазмы, от которых другим способом мы отделались бы не скоро.

Рассматривая материализм как один из моментов развития человеческой мысли, нельзя не признать его полноправности; но, с другой стороны, забудем ли мы, что это развитие совершается не в безвоздушном пространстве, а в данную эпоху, в известном обществе, в среде живых людей. Этот оборот сознания совершается между нами, он требует нескольких поколений, которые одно за другим пойдут как бы на жертву этому направлению мысли. И оно заест и сгубит их, пока само на себя не наложит руки. В этом заключается трагическая сторона явления. От материализма переходя к *материалистам,* я старался создать себе живой образ этих людей, перенестись на минуту в их понятия, проникнуться их побуждениями, усвоить себе их радости и печали, и вот к какому заключению я пришел: *настоящих* материалистов нет. Откиньте от себя понятие, что ваша жизнь есть полная художественная драма, слагающаяся из взаимодействия верховной правящей силы и личной вашей свободы; откиньте мысль, что вы содержите в себе живое средоточие, к которому известным образом относится все окружающее; вычеркните понятия добра и зла, предназначения и долга, совершенствования и упадка; потом разделайтесь со всеми привычками, которые только в этих понятиях и находят себе оправдание, например, с привычкою допрашивать свою совесть, судить себя и других, вообще порицать и хвалить что бы то ни было; наконец, отбросьте всю нашу обычную терминологию, все качественные определения, все обороты речи, вытекающие из тех же понятий, – и тогда вы убедитесь, что в этой *очищенной* среде вы должны бы были немедленно задохнуться: в ней нет возможности ни думать, ни действовать, ни чувствовать, ни говорить по-человечески. Единственный во всем мире последовательный и стройный материалист – это бессловесное животное. К сознанию этой истины Бюхнер подошел очень близко; недаром же он облича-

ет современное общество, указывая ему на бушманов, негров, эскимосцев и другие низшие типы человеческого рода. Но, спрашивается, если так, то откуда же материализм заимствует свою неоспоримую силу, свой соблазн и чем объяснить его громадные успехи? Мне кажется, что вся сила его не в нем, а вне его, – в том, что он отвергает; он силен воздействием на него отрицаемой им силы. Я объясню мою мысль сравнением. Озеро тихо и неподвижно; вплоть к берегу прижалась лодка. Она сама не может тронуться с места, но в нее садится рыбак. Он берет в руки багор, один конец упирает в берег, всею своею тяжестью налегает на другой конец, и лодка трогается, потому что он ее *оттолкнул от берега.* Теперь проведем это сравнение далее. Рыбак отчалил, лодка ушла далеко, и береговые очертания мало-помалу начинают сливаться в туманной дали; наконец, они исчезают совершенно. Не видя за собою берега, рыбак про него забывает. Ему уже кажется, что лодка пошла сама собою; но, по мере удаления от берега, движение ее замедляется, потому что сила первоначального *импульса* (impulsion — предлагаю это слово напрокат нашим журналам: оно не хуже *иллюзий, культа, эксплуатирования* и т.п.) естественно слабеет, а самодвижущей силы в лодке все-таки нет. Мне кажется, это довольно верный образ материализма. В ту же самую ошибку впадает и Гегель (по глубокому и верному замечанию покойного Хомякова), когда, дойдя до Seyn, до *бытия,* и, не видя возможности тронуться с места, он, чтобы перекинуть мостик к *Nichts,* придает своему Seyn предикат der Umbestimmtheit*, то есть он вдруг, бессознательно припоминает, что есть на свете бытие определенное в пространстве и во времени, целый мир действительности, Daseyn (о котором он не знает и не вправе знать), вносит представление об этом мире в свою область чистого мышления (забывая, что с действительным миром он уже покончил, что его нет, что надобно не *взять* его, как готовое, а *вывести,* то есть *сотворить),* сравнивает это замаскированное Daseyn с своим Seyn, и, по сличении, выводит, что Seyn — Nichts. Он точно так же от-

* Неопределенность *(нем.).*

толкнул от себя ногою мир видимой и осязаемой действительности, как материалист оттолкнул от себя мир духа, другую действительность. Логически одна последовательность обусловливалась другою. Эта зависимость утверждаемого от отрицаемого, усмотренная нами в логическом развитии учения материалистов, еще яснее и нагляднее выражается в их приемах, в их тоне, во всем их личном образе. Вы чувствуете, что все их одушевление, весь пафос их, вся сила и увлекательность их есть одушевление, пафос, сила и увлекательность борьбы. Они потому только не падают, что обеими руками обхватили своего врага, впились в него когтями и запустили в него зубы; не будь его, они бы не в состоянии были удержаться на ногах. Все, что в них есть сочувственного, жгучего и обаятельного, есть только отблеск того солнца, против которого они вопиют, как дикари верховьев Нила. Но это последние лучи светила, для них заходящего. Скоро будет темно и холодно, скоро все замрет, посохнет и съежится. Проследите влияние учения в живых образах преемственно развивающих его поколений, и вы согласитесь со мною. Возьмите для примера хоть нашу Москву. У нас еще в свежей памяти типы старших учителей Г. и Б.; от них пошли N. и N., а уж последние выродились в таких, на которых сами учителя смотрят теперь с тоскливым изумлением – смотрят и видят, яко се не добро. Скажите, когда ж это кончится? Близка ли реакция или надобно ожидать еще худшего? Вот что тяжело и грустно. Учение развивается своим порядком, по своим законам, но люди изнашиваются и портятся, пропадает безвозвратно кровь и мозг целых поколений*. По поводу чужих я вспомнил невольно о своих. Действительно, сходство между ними разительное. Возьмите Бюхнера и N. N., забудьте, что за первым есть богатая, ученая подготовка, а второй неуч, проповедующий в невежественном обществе; у обоих одна общая черта. Главное побуждение, главная двигательная пружина их деятельности – это наслаждение тою

* Хорошее, между прочим, готовится поколение юных докторов, которых большинство безусловно верит в Бюхнера, Молешотта и других! Не попадайся к ним в руки! *(Прим. Ю.Ф. Самарина).*

нестерпимою досадою, которую они в силах причинять казенным законоучителям, педагогам, блюстителям всякого рода благоустройства и т. д. Сами они ничего не любят, или, лучше, они любят свою мысль, как палку, которою можно больно бить других, любят в ней ту бессильную злобу, которую она против себя возбуждает. Это – свойство мелких и жиденьких почему-либо прокисших натур. Книга Бюхнера вызвала ропот досады и негодования. В этом ропоте – значительная доля страха. Немецкие Theologen, Schulgelehrten переглянулись с беспокойством: того и гляди кафедра, паства, акциденции, Бог, совесть, добро и зло, кормление, затверженные учебники, все это вывалится у них из рук и разлетится вдребезги. И страшно и досадно донельзя. А ему только это и нужно. Тут-то он и торжествует. Он прислушивается к оглушительному ропоту, какая-то сладострастная дрожь пробегает по всем его жилам. Но вот он собрался говорить; послушайте: «Так вот что, добрые люди! Вы спрашиваете: куда же деваться с вашим Богом, с вашею совестью, с вашею нравственною свободою, с Откровением и т.п. Вы спрашиваете, нельзя ли всей этой ветоши отвести хоть какой-нибудь уголок в бесконечном Reich der Natur – так знайте же, друзья мои: нет этому места нигде, все занято червями, инфузориями и мокрицами; да по правде сказать, с чего вы и взяли, что дело науки гладить вас по шерсти, да потакать вашим бредням, да усыплять вас детскими сказками? Скучно вам, тяжело, больно, душа рвется на части... Ага! Нам то и любо!» Вот его ответ на отзывы о его книге, и в этих строках он вылился весь, обнаружилась до последних изгибов эта эгоистическая натура. Как все это нам знакомо! Кажется, читаешь немецкую книгу, а точно писано по-нашему, по-русски...

Но я разболтался с вами о тех впечатлениях и мыслях, которые занимали меня по поводу книги Бюхнера в то время, как я, по прочтении ее, одиноко расхаживал взад и вперед на палубе парохода «Царица»; о самой же книге не сказал еще ни полслова. Пора к ней перейти. Но я отлагаю это до следующего письма.

ПРОГРАММА ВТОРОГО ПИСЬМА
И ОТРЫВКИ ИЗ НЕГО

* * *

Определение материи. – Его нет. – Почему. – Ее свойства. – Противоречия в этих свойствах. – Материя по себе – то же, что идея Божества. – Материя в явлении. – Как относится материя по себе к материи в явлении. – Если материя по себе есть отвлечение, абстракт, то показать, что все мыслимое, перешедшее в сознание, есть абстракт, отвлечение. – Переход от понятия к явлению: необходимый (вещественный или логический) или свободный. – Развитие и творчество. – Объяснение понятия творчества. – Идея творчества в основе бытия. – Причина недоразумений. – Вещественность представлений о Боге. – Бог по себе и Бог Творец. – Вопрос о времени и месте проявления творчества.

* * *

В первом письме моем, напечатанном во 2-м № «Дня», я выразил желание, чтобы то направление мысли, которое известно у нас и за границею под названием, может быть не совсем точным, материализма, высказалось на свободе до конечных его результатов. Отзывы, дошедшие до меня с разных сторон по поводу этого письма, еще более убедили меня в настоятельной, крайней необходимости этой свободы не только потому, что состязание, предполагающее полную равноправность спорящих сторон, во всяком деле есть вернейший способ раскрытия истины, но еще в особенности потому, что легкость, с которою распространяются и принимаются выводы материализма, указывает на коренной недостаток в нашем современном образовании вообще, недостаток, свойственный не одним сознательным исследователям этого учения, но и тем, которые относятся к нему наиболее враждебно и стоят за противопо-

ложное начало. Почва для материализма подготовляется вне его, и это составляет его силу. Встречаясь с общими, ходячими понятиями и представлениями, он находит в них точку опоры, называет по имени и тем самым как бы узаконяет то, что уже давно проникло в сознание совершенно иными путями. Если б одностороннее направление мысли, с которым мы теперь имеем дело, навевалось на нас случайно и со стороны, можно бы было до некоторой степени понять и извинить желание оградить себя от него предупредительными, полицейскими мерами. Но здесь не то; нам предстоит не одно отражение внешнего напора, а внутреннее очищение собственных наших понятий от грубовещественных представлений, с которыми они срослись без нашего ведома и соизволения. Сознательный и последовательный материализм, цепляясь за эту внешнюю оболочку, совлекает ее, уносит с собою и этим самым бессознательно оказывает нам огромную услугу. Но для этого необходимо предоставить ему право и простор обличать нас на свободе и выводить наружу все противоречия в наших воззрениях, которых мы сами не замечаем, потому что мы с ними сжились...

* * *

Свобода выражается даже там, где она себя отрицает. «Желал бы, но не могу – это сильнее меня». Что значит *меня?* Все желания, испытываемые человеком, – в нем; все в равной степени, в этом смысле – он; все в равной степени необходимы и обусловлены ходом бытия. Отчего об одном из этих желаний человек говорит *я,* в противоположность другим, которые называет *не-я ?* Потому, что, независимо от представлений, желаний, впечатлений, потребностей, в человеке существует еще сердцевина, как бы фокус, из которого бьет самородный ключ. Запершись в эту сердцевину, человек с этой точки зрения относится ко всему этому (желания, побуждения и т.д.), как к чему-то внешнему, как к объекту, к которому он относится как другой, из всей этой массы усваивая и отрицая, одобряя и отталкивая, что хочет. – Итак, *я, мое* в предыдущей фразе

значит: то из моих пожеланий, которое мною признано, одобрено, усвоено, то, на стороне которого перевес моего выбора, то, которое сделалось моим, *вольным.* Другой вопрос: вольное может ли быть слабейшим? Это обман...

* * *

В движении естественных наук замечаются два направления, которым соответствуют две группы деятелей. Одни, оставаясь в пределах избранных ими специальностей, располагая исключительно теми способами познавания, которые обусловливаются самым существом предмета (опытом, наблюдением и т. п.), не стесняясь в своих выводах никакими данными, добытыми другими способами и из других источников (напр., из Откровения, преданий и т. д.), но и не отвергая этих данных, постепенно обогащают науку результатами свойства *положительного.* Другие (напр., Фохт, Бюхнер, Картри и др.) облекают эти результаты в форму *отрицательную* и обращают их острием против системы убеждений, приобретенных другими способами и из других источников. В этой второй школе стремление к предвзятой цели решительно берет верх над логически законным, строго объективным и бесстрастным отношением к предмету. Нимало не обогащая естествоведения, группа людей, о которой идет речь, чисто механически переносит из него отрывочные выводы в совершенно иную область ведения, к сожалению, для них темную, и, вследствие этого, на каждом шагу принимает и выдает разноречия за противоречия. Наше несчастие состоит в том, что большая часть наших поклонников естествознания дорожит им ради именно этой отрицательной школы, приурочившейся к нему со стороны, а вследствие этого и противники естествоведения винят его в порождении учения действительно вредного, но в котором наука, в строгом смысле слова, решительно не причастна.

Несостоятельность отрицательной школы обнаруживается главнейшим образом, во-первых, в коренном, внутреннем противоречии ее стремлений, во-вторых, в крайней ограни-

ченности и пошлости ее понятий о том учении, против которого она ополчается. Нам говорят: так как многие из явлений, совершающихся в пространстве и во времени, обусловливаются законом вещественной необходимости, то и те явления, которых необходимость еще не выяснилась, обусловливаются тем же, пока еще, конечно, для нас закрытым законом; следовательно, понятие свободы есть не более как произвольная гипотеза, как выражение искомого, как своего рода X, который мы ставим до поры до времени там, где ускользает от нас связь вещественной причины с вещественным последствием. С этим, разумеется, должно рушиться понятие добра и зла, долга, вменения и обязательности всех существующих форм общежития и т. д. – чего и добиваются; но с тем вместе рушится и понятие *права* (всякого), ибо право семейное, гражданское, государственное есть не иное что, как черта, проведенная для ограждения в известных пределах именно свободы, а не чего-либо другого. Если свобода фикция, то и оберегание ее не имеет смысла. Если каждое явление в области единичного человеческого развития обусловлено исключительно законом вещественной необходимости, как движение светил, как процесс произрастания и так далее, то добиваться так называемой политической свободы так же смешно и неразумно, как стараться высвободиться из-под условий химических сочетаний и физиологических процессов.

Спрашивается: на каком же основании отрицательная школа позволяет себе выкидывать знамя политического либерализма и даже радикализма? Но это дело второстепенное и свидетельствующее о непоследовательности не столько самого учения, сколько его апостолов. Затем, в диалектических приемах и в системе доказательств обращает на себя внимание следующая общая черта. О каждом предмете существуют наглядные, обиходные, более или менее грубые представления, свойственные низшей степени умственного развития, и понятия более точные и строгие, по этому самому недоступные воображению. Мы, например, употребляем выражения: луна нарождается, убывает, солнце встает, садится и т.п., хотя они уже не соответствуют

тому, что мы знаем о движении солнца и луны и принадлежат к кругу представлений, из которого мы давно вышли. Что же делают Бюхнеры, Фохты и им подобные? Они противопоставляют строго научные понятия о мире вещественном младенческим представлениям о мире духовном (о Боге, о душе, об Откровении и т.д.) и празднуют каждое усмотренное между ними противоречие как торжество вещества над духом.

Область Откровения есть такой же мир, как и та совокупность всего существующего во времени и пространстве, которую мы обыкновенно называем вселенною или миром. Первый из этих миров не скуднее содержанием второго; он тоже имеет свои глубины, и исследование их требует не меньшего напряжения и труда, чем уразумение тайн геологии или химии. На нашу беду, сдав последний экзамен из так называемого Закона Божия, мы расстаемся навсегда с этою областью и уже на всю жизнь, сами того не подозревая, остаемся в ней детьми до седых волос, тогда как в сфере науки или права мы продолжаем расти и мужать. Отсюда наша ребяческая податливость при первой встрече с самым низкопробным неверием. Прежде всего, уяснили ли мы себе, что есть Откровение само по себе? Откровение не есть выражение божественного ведения, а слово Божие, обращенное к людям, следовательно, выражение божественного ведения в условиях конечности, в исторических формах человеческого разумения. Слово, обращенное к человеку и доступное человеческому разумению, предполагает употребление не только известных звуков и очертаний, но и целого круга известных понятий и представлений, которыми говорящий пользуется как готовым материалом, в который он влагает свою мысль. Иначе, Откровение – как разговор между лицом, существующим вне условий пространства и времени, и существом конечным – было бы невозможно. Конечная цель Откровения – восстановление нравственно павшего человека*.

* Последний отрывок, судя по почерку и по бумаге, написан был позднее, вероятно, в конце 60-х или в начале 70-х годов, и не предназначался для писем о материализме, но, по содержанию своему, он подходит к ним, вследствие чего он и был помещен в «Православном Обозрении» за 1877 год, как отрывок из 2-го письма о материализме. *(Прим. Д. Самарина.)*

Иезуиты и их отношение к России*

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Могу ли я надеяться, что подробные выписки из книги Бузенбаума, которыми я, вероятно, вам надоел, произвели на вас какое-нибудь впечатление и что влияние среды, в которой вы живете, еще не успело его изгладить?

Если могу, то позвольте мне, сославшись на это впечатление, взять его за исходную точку настоящего моего письма.

Представьте себе, что в каком-нибудь обществе, целый кодекс нравственности, систематически извращенной по указанным мною способам, положен в основание общественному воспитанию и принят в руководство духовниками в разрешении вопросов совести; вдумайтесь в вероятные последствия, и

* Сочинения Ю. Ф. Самарина об иезуитах появилось в 1865 году в издававшейся И. С. Аксаковым газете «День» (№ 45–52); оно напечатано там под заглавием «Ответ иезуиту отцу Мартынову, письма I–V», а в следующем 1866 году оно было издано «Русским Архивом» отдельною книгою под заглавием «Иезуиты и их отношение к России». В этом первом издании, кроме писем Ю. Ф–ча, перепечатанных с незначительными сокращениями и изменениями, сделанными самим автором, помещены вслед за предисловием издателя, выдержки из передовых статей газеты «День», объясняющие обстоятельства, вызвавшие полемику отца Мартынова с Самариным и Аксаковым, и именно письмо отца Мартынова к И. С. Аксакову, в ответ на которое и были напечатаны Ю. Ф–ем означенные пять писем.

Вторым изданием вышло это сочинение Ю.Ф. Самарина в 1868 году, причем самим автором сделаны были в нем некоторые незначительные изменения. Экземпляр первого издания с собственноручными поправками Ю.Ф–ча, с которого печаталось второе издание, хранится до сих пор в Городской Чертковской библиотеке. В этом издании вслед за письмами были напечатаны «Приложения» и в них помещены следующие документы и статьи: 1) В какой мере соблюдается иезуитами обет нищенства по уставу их ордена? 2) Может ли член иезуитского общества приобретать имущество по наследству? 3) О рукописи «Тайные наставления для руководства в обществе Иисуса», найденной в чешской Праге 4) Monita private societatis Iesu

вы сами, на основании чисто психологических данных, предскажете безошибочно судьбу иезуитизма.

Честные и строгие души, конечно, раньше других почуют фальшь и захотят спасти Христово учение от угрожающей ему подделки; искреннее благочестие и неповрежденное чувство правды будут на их стороне, но неумолимая сила логики будет против них. В борьбе своей с иезуитизмом, восходя постепенно от последствий к причинам, от применений к началам, они неминуемо доберутся до основных положений латинства и, против воли, вовлекутся в столкновение с тою церковью, из недр которой, по закону логической генеалогии, не мог не выйти иезуитизм. Напрасно будут они стараться выгородить ее из тяжбы, разобщив папизм с казуистикою, и провести черту между учением последователей Лойолы и учением своей церкви, напрасно будут они бросаться во все стороны, ища лазейки из заколдованного круга: теснимые со всех сторон своими строго последовательными противниками, они будут вынуждены объявить войну всему латинству и сквозь него пробить себе

5) Русский перевод этой рукописи и 6) Польский катехизис. Что касается первых двух приложений, то статьи эти написаны Ю. Ф–чем и были напечатаны как в «Дне», так и в первом издании иезуитов вслед за первым письмом как дополнение к нему. Третье приложение написано Ю. Ф–чем для второго издания иезуитов и служит предисловием к найденному им в Праге «весьма важному документу» **Monita private societatis Iesu, напечатанному** в 4-м приложении в подлиннике, а в 5-м в переводе. Наконец, в последнем 6-м приложении издатель П. И. Бартенев поместил «Польский катехизис» с следующею заметкою: «Польский катехизис, это плачевное практическое применение учения иезуитского, сделался впервые известен в русской печати во время последнего польского мятежа 1863 и следующих годов. Перепечатываем его из тогдашних русских газет».

В 1870 году «Русским Архивом» выпущены были «иезуиты» третьим изданием без перемены против второго. В таком же виде письма Ю. Ф–ча с приложениями к ним перепечатываются теперь и в полном собрании его сочинений.

Кроме этих трех изданий, «Иезуиты» появились во французском и польском переводах. На французский язык книга эта была переведена П. Бутурлиным и издана в Париже: Les Ie□suites et leurs rapports avec la Russie trad. Du russe par P. Boutourlin.1867. Paris. Cherbulier; а на польский язык – неизвестным нам переводчиком и издана в Варшаве: Iezuici i stosunki ich do Rossyi. Przel z russk. A. N. Warsz 1867. Оба эти перевода сделаны, очевидно, с первого русского издания, вышедшего в 1866 году. *(Прим. Д. Самарина.)*

новую дорогу или, запутавшись в противоречиях, выбиться наконец из сил и умолкнуть. Такова была судьба жансенизма, этой последней вспышки потухавшего во Франции благочестия; такова же, отчасти, была судьба Станислава Конарскаго и других пиаристов, на минуту, перед самым упадком Польши, пытавшихся исцелить ее язвы путем народного образования.

Между тем, большинство людей слабых духом, в особенности людей, привязанных к житейским благам, избалованных счастьем и самоугождением, весь этот легион ищущих убежища от упреков своей совести, *не исключая и людей лучших фамилий,* конечно, с радостью бросится вслед за снисходительными руководителями по указанному пути ко спасению и вверит им безусловно попечение о своих душах.

Поставщики дешевых отпущений войдут в моду и несомненно приобретут силу, но надолго ли и что будет после? После когда-нибудь правда вступит в свои права. Обольщенные души узнают наконец, что хитрые сделки с совестью не дают внутреннего мира, и тогда им опротивят широкие пути и настежь отверзтые двери; они стоскуются по Евангельской правде и по Евангельской простоте и захотят почувствовать опять на раменах своих Христово бремя и протесниться в узкие врата. Но они уже не найдут их. К тому времени тропа к ним зарастет наглухо, а ключ будет припрятан иезуитами. Тогда падет кредит сговорчивых наставников, и вместо прежнего, навсегда исчезнувшего доверия вспыхнет ненависть, беспощадная ненависть обманутых к обольстителям.

Откиньте второстепенные причины, придаточные обстоятельства, мелкие случайные поводы и скажите (если можно – без подразумеваемых оговорок): не такова ли была главная, коренная причина, и не в ней ли оправдание повсеместного изгнания иезуитов? Западная Европа, ими воспитанная, уразумела наконец, что они выкрадывали у нее верховное благо человечества – недосягаемость данного ему нравственного идеала, и владычеству их над совестями положил конец единодушный подъем общественной совести. Сомневаюсь, чтоб такой приговор подлежал обжалованию.

Итак, иезуиты изгнаны, самое общество их осуждено на смерть; но все это дело отрицательное; спрашивается: что будет дальше и кто займет очищенное место?

Можно наперед сказать, что, как всякая революция, вызванная отрицательными побуждениями, хотя бы и вполне законными, революция, сокрушившая иезуитов, послужит только отрицанию, то есть неверию. Факты и это подтверждают. Во всех обществах, в которых иезуиты хозяйничали и властвовали, они, на прощанье, оставляли по себе отраву, которая должна была пережить все их интриги и просочиться в умы самых отчаянных их противников так же, как и в умы их неисправимых почитателей. Эта отрава – не более как *недоразумение,* но недоразумение живучее, всюду проникающее и почти непобедимое. Оно заключается в отождествлении веры с рабством мысли, благочестия с вольным самообольщением или сознательным притворством, неизменности учения с суровою исключительностью, с духом преследования, и наоборот: неверия со свободомыслием, а равнодушия с терпимостью. Иначе и быть не могло. Как самое законное и естественное исчадие латинства, как его последнее слово, иезуитизм, в понятиях обществ, исповедующих латинство, связался наглухо и неразрывно с христианством. Разорвать эту связь, рассеять это недоразумение, одинаково заслоняющее от защитников христианства и от его противников образ Христовой церкви, не смогли частные, добросовестные усилия не только отдельных лиц, но и целых школ. До сих пор масса видит перед собою, с одной стороны, бездонную, с каждым днем расширяющуюся бездну голого отрицания, а с другой, олицетворение двоедушия и лукавства в образе Иезуита, стоящего у входа в церковь и самоуверенно побрякивающего ключами царствия. Трудно бы было придумать условия более благоприятные для проповеди неверия. Какие-нибудь отцы Гарассы, Лемоаны, Бони, Пето и другие, которых честный Паскаль тянул к позорному столбу, работали на энциклопедистов, прокладывали дорогу Вольтеру и заранее оправдывали его. Он это понял и проронил несколько слов в

их защиту, в то самое время, как вся Европа ликовала по поводу своей над ними победы. Недоставало только, чтоб сами иезуиты подобрали его слова, – и они действительно подобрали их. Мало того, они отвели им видное место в своих апологиях*. Ниже этого нельзя было упасть.

Я постарался раскрыть причину успехов и причину падения иезуитов; насколько это мне удалось, предоставляю решить читателям и обращаюсь опять к вашему письму, чтоб вы не упрекнули меня в уклонении от объяснений, которых вы требуете.

Вы спрашиваете: «что доказывает один факт изгнания, когда вы (то есть газета «День») не говорите – ни кем и какого рода людьми мы были изгоняемы, ни в какие времена и при каких обстоятельствах?»

Постараюсь удовлетворить любопытству вашему в возможно кратких словах.

* См.: Histoire des Jésuites par Crétineau-Joly. T. 5, p. 176 etc. Ravignan de l›existence et de l›Institut des Jésuites, p. 107. Les Jésuites par un solitaire. 2 édit. p. 108. Иезуиты всегда были крайне неразборчивы в выборе аттестаций, которыми они себя рекомендовали. Ils font flèche de tout bois, как говорят французы. Удивительно, как они до сих пор не поняли, что люди, отвергающие христианство, именно потому, что они его отвергают, гораздо снисходительнее судят всякую ложь в христианстве, чем люди верующие. По той же самой причине, отрицающие возможность чуда вообще относятся без всякого негодования к поддельным чудесам. Год тому назад, в то время как я был в Риме, в церкви S-ta Maria in monte coeli показывали вновь открытую, мнимо чудотворную икону Спасителя. Уверяли, что она водила зрачками и подмигивала. Народ повалил туда толпами, и доходы церкви от этого не пострадали; вслед за другими и я туда отправился в сопровождении американца (кажется, духовной особы) и молодого бельгийца, страстного поклонника Ренана. Мы, разумеется, ничего не увидели, кроме Patre Djiordano, который приводил в умиление собравшихся около него старух рассказами о курьезных чудесах открытой им иконы. Американец и я, мы слушали с изумлением, изредка посматривая друг на друга; а бельгиец все время самодовольно улыбался. По выходу из церкви, он обратился к нам с следующими словами: «Messieurs, franchement, je ne comprends pas votre indignation. De quoi vous scandalisez-vous? Une image qui joue de la prunelle? La belle affaire! Vous en acceptez bien d›autres. Et l›incarnation, et la résurrection? Ca vaut il mieux? A mon avis c›est tout un». Иезуит непременно записал бы эти слова и сказал бы: вы видите, ни во что не верующий человек и тот не так дерзко опорочивает нашу святыню, как вы, еретики и схизматики. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

Во-первых, позвольте заметить, что *один* факт изгнания слагается из многих фактов, из целого ряда разновременных изгнаний, повторявшихся по нескольку раз и повсеместно, где только водились иезуиты. Они были изгнаны из Трансильвании в 1588 году, из Венеции в 1606, из Нидерландов в 1612, из Богемии, Моравии и Венгрии в 1618, из Мальты в 1639, из Португалии в 1759 и 1834, из Испании в 1767 и 1820, из обеих Сицилий в 1767, из Герцогства Пермского в 1768, из Франции в 1595 и 1767, из Голландии и Бельгии в 1818, из России в 1688, 1719, 1815 и 1820 годах. Я указал только на самые крупные факты и мог бы увеличить этот перечень, приведя на справку Индию, Японию, Китай и Америку.

На вопрос: какого рода люди изгоняли иезуитов, пусть ответит вам папа Климент XIV; слушайте: «Даже те, которые всему миру известны с лучшей стороны, по своему благочестию и по наследственной своей благотворительности к иезуитскому обществу, наши возлюбленные чада во Христе, короли французский, испанский, португальский и обеих Сицилий, вынуждены были удалить и изгнать из своих держав всех членов этого ордена... Но те же короли, возлюбленные наши во Христе чада, убедились, что это средство не возымеет прочного действия и не достигнет цели – восстановления согласия в христианском мире, – если само общество не будет окончательно упразднено и уничтожено. Вследствие этого, они выразили Клименту XIII, предшественнику нашему, свое желание и свою волю, и в один голос, как лица, облеченные властью, предъявили требование, к которому присоединили мольбы и настояния, чтоб он упрочил навсегда указанною мерою спокойствие их подданных и общее благосостояние Христовой церкви... И до нас, едва только милость Божия возвела нас на кафедру Святого Петра, доведены были те же мольбы и настояния, а, наконец, множество епископов и других лиц, отличающихся высоким саном, ученостью и благочестием, присоединили к ним свои ходатайства и советы».

Итак, не враги Христова имени, не еретики и не схизматики, а правоверные государи, благодетели общества и благо-

честивые пастыри церкви вынуждены были изгнать иезуитов и требовать их упразднения. По крайней мере, таково свидетельство папы; я знаю, что ваши уверяют, что он хитрил и говорил не то, что думал; но если так, то кому же нам верить? И в какое положение ставите вы нас, несчастных, обращая нас к папизму и, с первого же слова, заподазривая правдивость папы?

Вы желаете еще, чтоб мы указали обстоятельства, сопровождавшие изгнание иезуитов; иными словами, чтоб мы вдались в подробности и дали бы вам возможность прицепиться к каким-нибудь спорным мелочам. Позвольте мне от этого остеречься. Всякому понятно, что обстоятельства, разумея под этим словом второстепенные причины и ближайшие поводы, не могли быть одинаковы в Венеции и в Париже, в первой четверти XVII и в первой половине XIX веков; но вот в чем они сходствовали. Всегда и везде, изгнание ордена следовало непосредственно за полным расцветом его многосторонней деятельности в области вероучения, науки и политики, за тою блистательною порою его существования, когда, по счастливому выражению вашему, он руководил совестью царей и народов. Изгонялись люди изведанные и испробованные, люди насквозь высмотренные, успевшие заявить себя в качестве проповедников, учителей, духовников и советников; изгонялись они поколениями, ими же воспитанными, их собственными, возмужалыми учениками и духовными детьми. В письме вашем вы указываете, между прочим, на множество поколений, перебывавших в ваших училищах, и взываете к их свидетельству. Вы, кажется, забыли, что они уже дали его; скрепы и подписи поколений, воспитанных иезуитами, вы можете найти под указами об их изгнании.

Хотите ли вы, чтоб я напомнил ближайшие обстоятельства, непосредственно предшествовавшие декрету об упразднении ордена? Извольте, в этом поможет нам опять-таки Климент XIV. Он сам взял на себя труд разъяснить всем правоверным, что «желая, в столь важном деле, избрать на-

дежнейший путь, он счел нужным употребить долгое время не только на самые точные разыскания, самое внимательное исследование и затем на обсуждение дела с тою осторожностью, которой оно требовало, но и на то, чтобы, непрестанными молитвами и воздыханиями испросить особенной помощи и вразумления у Отца Светов, не преминув предварительно подкрепить себя перед Богом молитвами верных и благочестивыми их делами». Далее, папа заявляет, «что, употребив все эти средства, признанные им необходимыми», он произнес свой приговор об упразднении Ордена, «при содействии, в присутствии и под вдохновением Святого Духа – по крайней мере, я смею так думать», скромно прибавляет папа. Неужели все это одна риторика, и решитесь ли вы сказать, что в канцелярской фразеологии Ватикана Дух Святой призывается лишь для приличия, по заведенному порядку, подобно тому, как мы в наших письмах подписываемся покорными слугами.

Этот декрет Климента XIV сидит у иезуитов как бельмо на глазу и чего ни придумывали они, чтоб ослабить его значение или перетолковать его. Право, не знаешь, чему более дивиться, – недобросовестности, дерзости или комизму этих попыток. Я приведу некоторые примеры для назидания читателей, чтоб они ознакомились с приемами иезуита *растерявшегося.*

Из вышеприведенных строк, в которых папа заявляет, что он не щадил ни времени, ни труда на исследование дела, – как вы думаете: что выводит один из новейших и даровитейших защитников иезуитского общества? Он заключает: «если бы в поступивших к нему жалобах папа нашел обвинения вполне достоверные, к чему бы ему вдаваться в многосложные разыскания? Если б он издал свой приговор добровольно, по собственному внушению, на что бы ему тратить столько времени?» – А поступи папа поспешно, необдуманно, иезуит сказал бы: что за приговор, произнесенный на ветер, без предварительного исследования и продолжительного обсуждения?

В другом месте папа заявляет что по его убеждению иезуитское общество стало *неспособно* приносить те обильные плоды и ту пользу, *ради которых оно было учреждено.* Тот же писатель, приводя эти слова, восклицает: «Итак, сам папа засвидетельствовал, что иезуитское общество *давало* обильные плоды!»

Заявив прямо от себя, как свое убеждение, что, пока существует орден, восстановление в церкви истинного и прочного мира невозможно, папа прибавляет, что «правила благоразумия и мудрого управления вселенскою церковью навели его и на другие соображения (в пользу упразднения ордена), которых он, однако, не высказывает и *которые хоронит на дне души своей*». Смысл этих слов, в связи с предшествующим и последующим, очевидно, тот, что, избегая соблазна и щадя иезуитов, он умалчивает о многих их преступлениях, хорошо ему известных; а новейший защитник иезуитов крупными буквами перепечатывает эти слова и выводит из них, что *настоящие* причины упразднения ордена нам не поведаны и что все высчитанные папою доводы вовсе не выражают его убеждения*.

Далее, тот же писатель объясняет своей публике, что папа как глава латинства издает троякого рода акты: буллы догматические, буллы дисциплинарные и *бревы* (bref, по нашему рескрипт); что буллы первого рода содержат в себе непреложные определения о предметах веры, буллы второго рода посвящаются *особенно важным* и издаваемым на долгое время постановлениям по части внешнего устройства церкви и ее управления; что ж касается до рескриптов (bref), то это не более как приказы, содержащие в себе какие-либо временные распоряжения или письма, вроде, например, тех поздравительных посланий, которые папа адресует авторам по поводу выхода полезных книг. И к этому-то последнему разряду, по его же словам употребляемому только для дел *неважных* и для распоряжений *временных,* защитник иезуитов относит декрет

* Les Jésuites par un solitaire. Paris. 1843.2-me édit, page 212 et suivantes. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

Климента XIV об окончательном упразднении иезуитского ордена на *вечные времена,* декрет, по уверению папы, *внушенный ему Духом Святым.* Странно! Неужели сам Климент XIV, с такою хитрою дальновидностью, облек свой приговор в форму, наименее сообразную с его содержанием[*], или все это не более как подьяческая придирка и иезуитское крючкотворство? Во всяком случае, дело назидательно. Но главный аргумент, над развитием которого трудились все новейшие корифеи современного иезуитизма, Кретино-Жоли, Равиньан и другие, заключается вот в чем. Папа государь независимый – это правда; но, в сравнении с другими соседями своими – государь слабый. Военные и денежные средства его ничтожны. Где ж ему совладать с кем бы то ни было? Во второй половине XVIII века составилась против иезуитского ордена политическая интрига, во главе которой стояли министры, заправлявшие верховною властью в Португалии, Испании и Франции, маркиз Помбаль, д›Аранда и герцог Шуазель. Они пристали к папе, обступили его со всех сторон и пригрозили ему. Что мог бедный папа против такой стачки? Он помотал головою, испустил несколько вздохов и спасовал. Сильные мира сего *вынудили* его согласие и, в буквальном смысле, *исторгли* у него декрет об упразднении ордена; все же, что говорится в нем о пастырской заботливости и о внушениях Святого Духа, вставлено для красоты слога. Иными словами: исторические разыскания иезуитских ученых приводят их к тому заключению, что Климент XIV вдохновился не Духом Святым, а примером Понтийского Пилата, и, будучи внутренно убежден в невинности иезуитов, выдал их на пропятие, страха ради народного.

Хорошо! Ну, а хваленая *независимость* Римского первосвященника, которою нам колют глаза вот уже без малого

* В 1775 году кардинал Антонелли писал: «По всему видно, что хитрый папа (Климент XIV) *преднамеренно* упустил все формальности, дабы брев его, против воли им подписанный, в глазах всех оказался недействительным». Это писал кардинал и повторяет с торжеством Кретино-Жоли, автор истории, продиктованной иезуитами. Hist. de la comp. de Jésus. 2-me édit. t. 5, p. 305. После этого верьте папам и верьте иезуитской преданности! *(Прим. Ю.Ф. Самарина).*

целое тысячелетие? Ведь, если я не ошибаюсь, по латинской теории, духовная независимость, то есть дар неустрашимой правдивости и неподкупной добросовестности, обусловливается непременно и вполне обеспечивается только независимостью политическою; по той же теории, наше православное духовенство, не пользуясь независимостью второго рода и даже не добиваясь ее, тем самым отрекается и от независимости первого рода. По крайней мере, я читал и слышал это много раз. Это одно из общих мест вашей полемики с Церковью, употребляемое вами с двоякою целью: с одной стороны, вы пользуетесь им, чтобы вселить в мирян чувство презрения к духовенству, по вашим словам, пребывающему в политическом рабстве; с другой, вы соблазняете духовенство, указывая ему на добровольное подчинение папе как на верное средство высвободиться из-под зависимости от светской власти. Как же вы так неосторожно проговорились о Клименте XIV? Неужели и ваша многоиспытанная ловкость попадает иногда впросак перед неотразимою силою логики в действии, то есть истории? Ведь если сообразить то, чему вы учите, то, что было и что вами же признано, то мы неминуемо придем к следующему заключению.

Дар независимости духовной составляет столь существенную принадлежность Христовой Церкви, что без нее Церковь немыслима – в этом мы все согласны; затем (это уж продолжаете вы одни) независимость духовная предполагает, как непременное условие, независимость политическую, ибо в ней она находит свою гарантию; но опыт доказывает, что обладание ограниченною территориею, хотя бы на праве полной государственной независимости, не застраховывает от внешнего насилия и фактической зависимости; а так как в вопросе о церкви совесть человеческая не может довольствоваться вероятностями, условными гарантиями и приблизительными разрешениями, то политическая независимость должна быть *действительная и полная;* иными словами, если мирская власть и вещественная сила необходимы для церкви, то эта власть должна быть властью единственною; эта сила не может допустить

рядом с собою другой, равной ей по праву и по могуществу. Если папа не может быть надежным и верным пастырем церкви, не будучи в то же время коронованным величеством, то в христианском мире не должно быть других величеств, а могут быть только подручники папы. Нужна власть, так вся власть, а не малая доля власти. Так действительно понимали свое значение и свое призвание, в западном христианском мире, папы последовательные, как, напр., Григорий VII и Иннокентий III. Но исторический опыт доказывает также, что светское едино- и полновластие как принадлежность верховной кафедры невозможно и немыслимо.

Сами папы давно отреклись от этого притязания, а с этим их отречением падает вся латинская теория о независимости церкви. В кругу латинских понятий тут нет середины и не может быть места даже для сделки. Остается французскому оккупационному корпусу, ныне стерегущему *независимость* западной церкви, сослужить ей еще одну последнюю службу, а именно: опустив знамена и ружья, выстроиться похоронным конвоем за гробом умершего папизма и церемониальным маршем проводить его до ватиканских склепов. Посреди этого крушения, вызванного внутренними противоречиями, остается нетронутым другое учение. Вы его знаете, по крайней мере, знали когда-то: духовная независимость сама по себе; политическая независимость сама по себе; между первою и второю ничего нет общего по совершенной их разнородности и несоизмеримости; вторая не может служить ручательством за первую; напротив, призванная в подкрепление и как бы для подбивки первой, она сгубила бы ее; независимость духовная обеспечивается только (но обеспечивается вполне) силою веры и любви, подкрепленных оскудевающею благодатью. Не взыщите, мы думаем остаться при этом учении.

Но и помимо указанного мною резкого противоречия между иезуитскими комментариями на декрет Климента XIV и учением о независимости Римских первосвященников, комментарии эти, с точки зрения исторической, не выдерживают ни малейшей критики. Несчастного Климента XIV вы-

ставляют подлым трусом*, забывая, по-видимому, что в его положении было гораздо рискованнее и страшнее оказать удовлетворение общему чувству негодования на иезуитов, чем заступиться за них. Преемнику Климента VII, Сикста V, Бенедикта XIV достаточно было пройтись по Ватиканским галереям и припомнить по висящим в них портретам судьбу Римских первосвященников, у которых доставало смелости стряхивать с себя гнет своей преторианской гвардии, чтоб угадать, с какой стороны угрожала ему опасность. Что он действительно сознавал ее и принимал меры предосторожности — это видно, между прочим, из того, что он держал при себе, в качестве повара, монаха, ему преданного, который один готовил ему пищу. Но, как известно всем (кроме иезуитов), ничто не помогло, и яд, подброшенный таинственною рукою, нашел свою жертву.

Итак, в отношении к личным побуждениям папы, комментарии иезуитов на декрет об их упразднении содержат в себе одну клевету, вдобавок неправдоподобную.

Но вот что оригинально: оказывается, что тот самый упрек в слабости и трусости, который взваливается новейшими иезуитами на память Климента XIV, он сам и в тех же выражениях, в том самом декрете, обращает на тех из своих предшественников, которые в летописях иезуитов аттестуются как ревностнейшие их благотворители. Если верить кардиналу Антонелли, Кретино-Жоли и Равиньану, приговор об упразднении иезуитского ордена был *исторгнут* у Климента XIV, а если верить Клименту XIV, то все буллы об утверждении новых монашеских орденов (в том числе и иезуитского), изданные после Латеранскаго собора (на кото-

* Кретино-Жоли прямо говорит, что даже не желание восстановить мир в Латинской церкви, а простое чувство самосохранения побудило папу к уступчивости. Начав с того, что он преклоняется безусловно перед авторитетом Римского первосвященника, этот писатель продолжает таким образом: «Климент XIV *знал,* что этот мир был не более как мечта; но он уверял себя, что рядом уступок он оградит от дальнейших насилий последние дни своей жизни». Cre□t. Joly. T. 5, p. 289. Равиньан говорит: Cle□ment XIV supprima, il est vrai, l›Institut, de la compagnie, mais sans *le condumner* (!?). De l’existence et de l’institut etc. p. 50. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

ром Иннокентий III безусловно воспретил на будущее время основывать вновь какие-либо Ордена), *были исторгнуты* у римских первосвященников докучливыми требованиями (importuna petentium inhiatio approbationem extorsit). Переходя к позднейшим временам, Климент XIV свидетельствует, что и брев Климента XIII, ближайшего его предшественника, которым он вновь одобрил учреждение иезуитского общества и осыпал его похвалами, был у него не испрошен, а исторгнут (extortus potius quam impetratus).

Все это для нас, сторонних людей, крайне поучительно. Исторжение (extorsio), как видно, играете немаловажную роль в истории латинства. Слово, произнесенное вчера, выдавалось за внушение Святого Духа; а нынче от него отступаются, и, чтоб не подать повода к упреку в двоедушии или ребяческой непоследовательности, то же слово выдается за исторжение. Не мешает принять это к сведению. Когда, с Божьею помощью, внутренние и внешние дела наши окончательно устроятся и Россия в глазах Европы сделается опять тем, чем подобает ей быть, Римский первосвященник, ныне неблагополучно властвующий, или его преемник (если у него будет преемник), вероятно, обрадует нас известием, что и разные послания о Польских делах, выходившие из Ватикана два года тому назад, и разные речи, произнесенные тогда же, были *исторгнуты* желанием угодить императору Наполеону или докучливыми просьбами Польских эмигрантов, но отнюдь не выражали того, что было у папы на уме и на сердце. Дай Бог! Поверьте, мы дорожим, как нельзя более, Апостольскими поучениями римских первосвященников: как барометр, выражающий состояние политической атмосферы, они несравненно надежнее передовых статей Теймса.

Впрочем, каковы бы ни были личные побуждения, водившие рукою Климента XIV в минуту подписания декрета 21 июля 1773 года, историческое значение этого акта нисколько ими не ослабляется. Он важен не как выражение мнения одного человека, а как отголосок мнения всей Европы и как

свод обвинений, раздававшихся во всех ее концах. Видеть в нем продукт придворной интриги, мелкой зависти и раздраженных самолюбий было бы так же противно всякой здравой критике, как сводить побуждения, вызвавшие реформацию, к покушению на церковные имения. Перечтите памятники XVI и XVII веков, начиная с известного пророчества, которое ходило по рукам в XVI веке, приписывалось Св. Гильдегарде и в котором иезуиты изображены совершенно в тех же чертах, в каких они выказались гораздо позднее, когда развернулись на свободе и овладели совестью царей и народов; переберите свидетельства не врагов латинства, а ревностных папистов, кардиналов, епископов и монахов, из коих многие известны были своим добрым расположением к иезуитам; я назову лишь Георгия Бронсфеля, архиепископа Дублинского, францисканца Людвига Сотело (мученика, причисленного латинскою церковью к лику святых), доминиканца Гарция, епископа Мексиканского Палафокса (также святого), Кононского Мегро, Кардинала Турнона, апостольских викариев епископов Розалийского, Юльопольского, Сисе, аббата Фавра, аббата Ле-Дье, Боссюетова секретаря. Вспомните переписку, речи и бумаги римских первосвященников Павла IV, Пия V, Сикста V, Александра VII, Климента VIII, Бенедикта XIV; наконец взвесьте свидетельства некоторых из членов и генералов вашего ордена: Марианы*, Мендозы, Франциска Борджиа**, Клавдия Аквавивы, Муция Вителлесхи – сопоставьте

* Когда сочинение Марианы «Des de□fauts du gouvernemant de la compagnie» появилось в 1625 году (разумеется, против желания ордена, который употребил все усилия, чтоб истребить издание), никто из иезуитов не решился заподозрить его подлинности; напротив, некоторые положительно признали ее: не ранее как в 1667 году они стали доказывать, что книга Марианы есть подлог, и тогда же, за один раз, вздумали уверять, будто бы они это заявили при самом ее появлении. См. Hist. des Je□s. par l abbe Guette□e. T. I, p. 445–447. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

** В 1611 году иезуиты напечатали целиком отзыв своего генерала в сборнике под заглавием Lettres annuelles des ge□ne□raux etc., а в 1635 году перепечатали его, смягчив некоторые выражения и выпустив самые резкия места, иными словами – сделали подлог. Аббат Гете приводит оба текста – Hist. des. Je□s. T. 1, p. 468. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

все это, и тогда вы убедитесь, что в декрете Климента XIV нет ни одного упрека, который бы не имел за собою целой, подкрепляющей его традиции, ни одного слова, которое бы не было высказано прежде, и не один раз, а многократно, в золотое время существования ордена, и притом такими лицами, которых правдивости вы сами не можете отвергнуть. Вы увидите, что в этом декрете общеизвестные и общепризнанные пороки иезуитского общества не только не преувеличены, а, напротив, смягчены и ослаблены; наконец, что падение его издавна предчувствовалось, даже предсказывалось людьми, желавшими предупредить его, и что на долю Климента XIV выпала лишь роль исполнителя задолго до него произнесенного приговора.

Подорвать значение декрета об упразднении иезуитского Ордена и отвергнуть обязательность его, очевидно, было невозможно; но можно было не исполнить его, укрывшись от ватиканских громов под крылом светской власти. Средство это было давно испытано иезуитами в Китае и в других землях, и они не преминули воспользоваться им вновь, в Америке, в Пруссии и в России; об этом ловком их маневре мы поговорим в следующем письме.

Но зачем же, спросят, может быть, читатели, останавливаться так долго на декрете об упразднении иезуитского ордена, как будто бы на последней, заключительной странице его истории? Даровитейшие из новейших его почитателей, правда, не совсем добросовестно толкуют его; но зато они, не без основания, указывают на кратковременность его действия. Наоборот, они ссылаются с особенным торжеством на позднейшую конституцию папы Пия VII 7 августа 1814 года, названную им *непреложною* (irre□vocable), которою общество их было восстановлено, как уверяет папа, вследствие единодушного желания почти всего христианского мира. Не служит ли это оправданием общества и как бы удовлетворением за крайнюю обиду, нанесенную ему в конце прошлого века?

Действительно, *вечность* (in perpetuum), о которой пророчил Климент XIV, продлилась ровно 40 лет и 16 дней; сколь-

ко времени простоит *непреложность,* возвещенная Пием VII, неизвестно; но я готов допустить, что она будет прочнее.

Объяснить возрождение, по-видимому, навсегда отпетых иезуитов, обставив его событиями, предшествовавшими 1814 году, и понятиями, в то время господствовавшими, было бы очень нетрудно. Не прибегая ни к каким натяжкам, я мог бы сказать и доказать, что одна лишь, не всегда дальновидная, реакция правительств против революционных начал, разнесенных Наполеоном по всему континенту, вызвала из мертвых иезуитский орден; что в то время, под влиянием страха, хватались без разбора за все орудия, казавшиеся пригодными для обуздания надежд, зарождавшихся в массах, и что этим настроением ловко воспользовались иезуиты, выдав себя за надежнейших телохранителей царствующих династий.

Казалось бы, простая справка с историею Стюартов и королевской власти в Польше должна бы была убедить в противном; но в 1814 и 1815 годах громадность новейших, только что совершившихся событий заслоняла собою прошедшие времена, и исторические справки, наводившиеся для практического употребления, не восходили далее начала Французской революции.

Таково было главное побуждение, заставившее некоторых государей ходатайствовать о восстановлении ордена, а других – не противиться этому. Лучшим тому доказательством служит, что инициатива ходатайств принадлежит не латинскому миру, а православному государю, Императору Павлу Петровичу, склонявшему в пользу иезуитов и турецкого султана. Но все это, в моих глазах, не имеет большого значения. Устраним внешние обстоятельства и случайные побуждения и постараемся определить внутреннее значение факта.

Вникнув в сущность латинства и припомнив последовательный ход его развития в области учения и церковной организации, нельзя не признать, что упразднение иезуитского Ордена Римским первосвященником составляло такую вопиющую аномалию, которая не могла продлиться, и что, наоборот, восстановлением его латинство, как будто выбро-

шенное на время из своей исторической колеи, вошло в нее опять и связало свое настоящее с законными преданиями всей своей старины. С того времени как Западная Европа, отрешившись от духовного общения с православным Востоком, самовольно уединилась, местные начала западноевропейской образованности не могли не взять в ней решительного перевеса над вселенским преданием. С этого началось перерождение христианства в латинство. Оно совершалось постепенно, но строго последовательно и безостановочно; вся сила развития была на его стороне; все, что двигалось вперед, росло и крепло, подчинялось этому общему направлению, а уцелевшие воспоминания вселенских преданий относились к нему лишь отрицательно, пассивно, сдерживая его по временам, иногда заявляя о себе громкими протестами, но не будучи в силах поворотить его вспять. Это двойство, эта борьба между двумя силами, из которых одна действовала наступательно, а другая только оборонительно, никогда не выражалась так знаменательно и не разыгрывалась с такою силою, как по поводу иезуитства. Причина понятна. Иезуитство, как я уже заметил в другом месте, было последним и самым законным исчадием латинства. Можно сказать, что все жизненные соки, вся душа латинства ушли в него и что с первой минуты своего появления на свет иезуитство воплотило в себе всю сущность, весь смысл латинства и стало на его место. Иезуиты недаром и не без основания отождествляют свое общество с Римскою церковью. По той же самой причине, иезуитство в самом латинстве должно было вызвать сильнейшее и последнее противодействие со стороны вселенского начала, все еще в нем тлеющего.

Представители этого начала понимали, что с торжеством иезуитства должны были окончательно погибнуть те, все еще живые, хотя и неполные, отрывочные предания, которые сберегались в Западной Европе от лучших времен и питали в ней христианское просвещение. Отсюда попытка очистить латинство, отсекнув от него иезуитство. Глядя на нее со стороны, мы, разумеется, не можем отказать ей в глубоком, почтитель-

ном сочувствии и не отдать полной справедливости тем великим деятелям, великим по умственным дарованиям, искреннему благочестию и благородству характера, которые обрекли себя на этот опасный подвиг; но в то же время, мы должны сознаться, что их попытка в пределах латинства была безумна, и что временное их торжество не могло быть прочно. Латинству отбиться от иезуитизма, от Молины, Эскобара, Санчеза, Бузенбаума, Лашеза и Летелье, также невозможно, также противно логике и истории, как протестантству отбиться от Штрауса, Бруно-Бауера и всей Тюбингенской школы.

В старинной восточной сказке повествуется, что какой-то нечестивый царь, которого долго и бесплодно обличал ревностный отшельник, получил от него на прощанье, в дар, таинственное зеркало. Особенное свойство его заключалось в том, что оно отражало в себе не внешние черты, а внутренний, душевный образ человека. Увидав в нем лицом к лицу свое безобразие, царь прогневался и разбил его вдребезги; но, к удивлению его, осколки сами собою сблизились, и гладкая поверхность зеркала опять предстала очам царя. Он велел закинуть его на дно морское, но зеркало всплыло на поверхность, и, на другое утро, проснувшись, царь увидал его перед собою и в нем свою прогнившую душу.

Такое же обличительное зеркало дано латинству в иезуитизме. Это его кара. Оно может проклинать его, но пока остается собою, оно не развяжется с ним.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Не знаю, признаете ли вы за нами, русскими, право иметь об иезуитах *свое суждение?*

В одном месте вашего письма вы замечаете редактору «Дня», что ему непременно бы следовало сказать, «что когда иезуитское общество было уничтожено во всей остальной Европе (то есть, говоря точнее, упразднено папою), оно продолжало существовать в России, под покровительством

Екатерины II, *прозванной Мудрою*». Этому обстоятельству вы придаете особенную *знаменательность*. В другом месте вы как будто отрицаете нашу компетентность в вопросе об иезуитах на том основании, что мы о них знаем будто бы «только по романам и понаслышке». «Просвещенной ли Москве, – восклицаете вы, – не хранить благочестивых преданий «Странствующего жида» (Iuif errant)? Ей ли не знать на память тайных увещаний (то есть наказов – Monita secreta) и тому подобных официальных документов?».

Казалось бы, если у русских, невежества их ради, отнимается голос на осуждение, то и слово заступничества или оправдания, идущее из той же темной глуши, не должно бы иметь для вас особенной знаменательности. Со стороны всякого другого, неиезуита, тут было бы противоречие, но с вашей стороны его нет.

Вы дорожите как нельзя более мнением правительства и приятно издеваетесь над мнением общества. Это понятно и не ново. Еще в XVII столетии папа писал, а иезуиты твердили Самозванцу: «Ты имеешь над Россиею полное право, обращай ее скорее в латинство, а подданные твои должны идти, куда их поведут».

Положим, что так; о праве мы теперь толковать не будем; но у правительства и у подданных есть одно общее достояние, принадлежащее обоим и которым ни правительство, ни подданные безнаказанно пренебрегать не могут. Это их собственный опыт, их история.

Мне кажется, вы цените ее слишком низко или слишком много рассчитываете на нашу забывчивость. Я уже сказал вначале и повторяю теперь: в том знании, которое приобретается не научным путем, а близким сожительством, мы, в отношении к иезуитам, по особенной милости Божьей, далеко и навсегда отстали от Западной Европы; но все же и мы имели случай кое-что испытать от них на самих себе и высмотреть их своими глазами, у себя дома или у ближайших наших соседей, а не в романах. Правда, мы читаем и романы; мы знаем, что в «Странствующем жиде» автор, враг иезуитов, изобразил

их в том виде, в каком он их себе представлял, и что публика их узнала; знаем мы, что издавался когда-то и другой роман, в форме писем (Lettres édifiantes et curieuses), в котором сами иезуиты изображали себя в том виде, в котором им хотелось представиться публике: знаем также, что из этого вышло нечто вовсе не похожее на ту действительность, о которой свидетельствуют очевидцы и официальные документы. Оба романа писаны эффекта ради и стоят один другого. Я готов даже признать, что в отношении правдивости, первый стоит немного выше второго, и даю вам слово ни на тот, ни на другой не ссылаться. Итак, в сторону романы и обратимся к несомненным фактам. Моя задача в настоящем письме дополнить ваше отрывочное указание на Екатерину II историческою справкою о предшествовавшем и последующем*.

Как вам известно, мы встретились в первый раз с иезуитами в лице Антония Поссевина, этого неугомонного дипломата-апостола, который, в продолжение двадцати с лишком лет, носясь по всей Европе и мелькая то в Мадриде, то в Лондоне, то в стане Батория, то в палатах Ивана Грозного, живым примером своим свидетельствовал о невмешательстве иезуитов в дела политики. Царю московскому понадобился не апостол, а дипломат, который бы склонил польского короля на мир; он обратился к папе с просьбою взять на себя посредничество между воевавшими сторонами, и, несмотря на крайне стеснительное свое положение, не только ничего не уступил, но даже не подал ни малейшей надежды на какую-либо уступку для сближения церквей. В этом отношении он

* Я пользовался следующими источниками и пособиями: Historica russiae monumenta, т. I, II, et suppl.; иностранными сочинениями и актами, изданными кн<язем> Оболенским; Полным Собранием Законов; Histoire des Iésuites par l`abbé Juettee, II, III; Histoire de la compagnie de Iesus par Crétineau-Joly, V, VI; сочинением Александра Линова о зловредных действиях иезуитов в России в конце XVI и в начале XVII века, Казань, 1856; Histoire de la chute des Iésuites au XVIII siècle par le C. A. de St.-Priest; La Russie et les Iésuites de 1772 à 1820 par Henri Lutteroth, Paris, 1845; и, особенно, превосходным трудом графа Толстого, открывшего нам terram incognitam наших отношений к латинской церкви: Le catholicisme rornain en Russie. I, II. Paris, 1863 et 1864. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

поступил так недвулично и честно, что папа, ожидавший совершенно иного, остался крайне недоволен его посланием. Римский первосвященник смотрел на дело с обратной точки зрения. Он нисколько не желал задерживать военных успехов Батория и отправил в Москву апостола лойоловой школы с секретным поручением, под предлогом заключения мира, накинуть на Россию петлю, посредством которой можно бы было впоследствии притянуть ее к подножию римской кафедры. Поссевин заверил Ивана Грозного в своей готовности положить за него душу, принял на себя хождение по делам Москвы и выдал своего доверителя. Во время переговоров о мире он выругал русских послов в присутствии поляков, вытолкал их из избы и выторговал Польше всю Ливонию, тогда как сам Стефан Баторий разрешал своим уполномоченным оставить за русскими несколько городов. Впоследствии сам Поссевин хвастался перед ним этою оказанною ему услугою. Таким образом, первая половина папской инструкции была исполнена: на поприще дипломатическом Россия была обманута и разбита. Затем начались диспуты о вере; но здесь надежды папского легата не осуществились. Он только узнал от Ивана Грозного, что папа *волк,* и уехал, потеряв всякую надежду на обращение царя. По-видимому, неудача была полная, но она отозвалась страшными последствиями в дальнейшей судьбе всей западной половины России. Увидав совершенную невозможность убедить, заговорить или обольстить Москву, Поссевин присоветовал папе круто повернуть атаку от центра к окружности и направить главные батареи не на Москву, а на Вильну и Киев, употребив в дело, ad majorem Dei gloriam*, материальную силу и государственное владычество Польши. Один этот совет и план кампании, составленный Поссевиным, для отклонения юго-западной России от естественного ее тяготения к Москве и Византии, для систематического подкупа высшего православного духовенства и для введения латинства, не касаясь на первых порах обрядовой стороны православия, – этот совет и этот план, по широте и

* Во славу Всевышнего *(лат.).*

смелости замысла, по необыкновенной дальновидности и поистине сатанинской злонамеренности в выборе средств, ставят Поссевина наряду с первоклассными политиками XVI и XVII веков, а нас, русских, заставляют отнести его к числу самых заклятых врагов России, нанесших ей наиболее вреда. Можно сказать, что вся последующая история введения унии, а затем перечисления униатов в латинство, с мерами, придуманными для отторжения высших сословий от народной массы, с целою специальною литературою, систематически извращавшею понятия о церкви, с нарочно подделанными изданиями богослужебных книг, с разнообразными варварскими преследованиями, которым подвергались епископы, священники и простой народ, остававшиеся верными православию, – все это содержалось как бы в зерне в инструкции Поссевина. Она приводилась в исполнение строго последовательно в продолжение целых двух веков, и в этот период времени иезуитская пропаганда при помощи шляхетских сабель достигла едва ли не крайних пределов успеха, доступного человеческой воле в антиисторическом посягательстве на духовную жизнь целого народа. Согласитесь, что помянуть Поссевина добром нам решительно не за что. Язвы, по его указаниям нанесенные юго-западной России, до сих пор еще не затянулись.

Через двадцать три года по отъезде его, Москва увидала опять иезуитов в своих стенах, в свите Самозванца. На этот раз ей удалось познакомиться с ними несколько покороче. Сами ли иезуиты выдумали и воспитали Самозванца или, столкнувшись с ним случайно, только подготовили, снярядили и завострили его для своих целей как боевое орудие против России? – этого вопроса, как окончательно еще не разъясненного, я не коснусь. Как бы то ни было, иезуиты несомненно знали, что Лжедмитрий не был сыном царя Иоанна, они сознательно служили ему, именно *как самозванцу,* самозванства его ради, и доказали это тем, что как только он сошел со сцены, они тотчас же пристали к другому самозванцу, известному под названием «тушинского вора». Итак, они про-

теснились к нам, преднося пред собою как свое знамя живую ложь и олицетворенный обман. Обстоятельство это также не лишено своего рода знаменательности и, кажется, замечено было нашими предками. Что замышляли иезуиты в Москве и какого рода советы они давали обоим самозванцам – известно всем. Известно также, что и в этот раз они не приобрели особенного права на нашу благодарность. Наконец, Русская земля повела плечами и стряхнула с себя всех облепивших ее самозванцев, претендентов, шведов и поляков, а вместе с ними и иезуитов. Это было первое их изгнание из России.

В конце XVII века несколько иезуитов, большею частью переодетых, пробралось в Москву в свите и под покровительством послов немецкого императора и пристроилось к колонии иностранцев, состоявших на русской службе. Им удалось приобрести дом, разумеется, на имя подставного лица, итальянца Гуаскони, также иезуита, но выдававшего себя за купца, и даже при этом доме устроить себе школу. Ободренные этим успехом и покровительством князя Василия Васильевича Голицына, они открыли обычные свои действия, то есть начали заманивать к себе православных детей на выучку, пускать в обращение разные свои книжонки и раздавать латинские образа. В то же время они подслуживались иностранным правительствам, и в особенности имперскому, секретными донесениями о том, что творилось в России. Уверенность их в себе скоро возросла до того, что один из них, Михаил Яколевич, возымел было даже надежду занять патриаршую кафедру и в частной своей переписке жаловался на москвичей, как видно, не обнаруживавших особенного желания иметь его своим верховным пастырем. Все это, разумеется, не могло нравиться тогдашнему патриарху Иоакиму; он обратил внимание царей Иоанна и Петра Алексеевичей на рассадник непрошеных учителей, и в 1688 году вся иезуитская колония выпровожена была на счет казны за литовский рубеж. Она оставила по себе на память любовную переписку благочестивых отцов, каким-то чудом уцелевшую в московском архиве. Удивительно, как она не пропала без вести, как пропадали

другие, позднейшие, еще более интересные документы о иезуитах. Это было второе изгнание их из России.

За иезуитов заступился усердный их ходатай и почитатель, поверенный по делам немецкого императора, Курций. Он убедительно доказывал, что для самого русского правительства было бы чрезвычайно выгодно развести в Москве колонию людей, которые, не требуя за это никакого жалованья от казны (в этом Курций за них ручался), занимались бы совращением в латинство детей православного исповедания и, в то же время (этот аргумент Курций, разумеется, приберегал для себя и для переписки со своим правительством), служили бы немецкому императору самыми надежными политическими шпионами; но красноречие Курция не подействовало, а потому, за неуспехом открытого ходатайства, пришлось прибегнуть к тайным средствам. Тут, очень кстати, помог генерал Патрик Гордон, ирландец по происхождению, ревностный папист и деятельный помощник Петра I. Под его крылом иезуиты успели в несколько лет возобновить на старом месте свое только что разоренное гнездо; при том же доме Гуаскони, вероятно, остававшемся в их руках, неожиданно выросла латинская церковь, построенная будто бы с разрешения царя (хотя он от этого отрекся); при церкви появилась школа; все это очень скоро разрослось в целую *иезуитскую слободу,* и вербовка учеников из православных возобновилась. Русский дворянин Ладыженский обратился в латинство, поехал в Рим и там вступил в общество иезуитов – это была едва ли не первая жертва их пропаганды, по крайней мере, из «русских людей лучших фамилий». Иезуитское общество в то время в России не признавалось; не менее того, оно поспешило предъявить от себя претензию на все имение новообращенного; как заявление, это могло на будущее время послужить точкою опоры. Но заботою о спасении русских дворянских душ и о приобретении, через них, русских же крепостных душ, деятельность усердных апостолов не ограничивалась. Раз набив себе руку, они не оставляли и другого занятия, может быть, менее богоугодного, но также не бесприбыльного. Немецкий

император, конечно, ad majorem Dei gloriam, ежегодно отпускал на их содержание по 800 р., а они, конечно из благодарности, отплачивали ему разными справками, которых бы он, вероятно, не получил официальным путем. Петр I не мог всего этого не знать или, по крайней мере, не подозревать; однако, из уважения к немецкому императору, он молчал до тех пор, пока дворы петербургский и венский жили в ладу; но как только последовала между ними размолвка, по поводу бегства царевича Алексея, немедленно вышел указ, 18 апреля 1719 года, о высылке за границу всех проживавших в Москве иезуитов. Этот указ писан в стиле Петра I, кратко и жестко. На этот раз благочестивые отцы были, как видно, заблаговременно предупреждены, ибо еще за три месяца до выхода указа прекратили, по приказанию своего генерала, отправку писем по почте и всю свою заграничную переписку повели через поверенного австрийского правительства. Таким образом, все, что подлежало тайне, могло быть в пору схоронено или уничтожено и, при осмотре уцелевших бумаг, ничего важного не открылось. Это было третье изгнание.

При императрице Екатерине II мы опять встретились с иезуитами, но в этот раз не они к нам пробрались, а мы сами приобрели их. Возвратив от Польши Белоруссию, Екатерина застала в ней иезуитов прочно водворенными* и немедленно, в 1772 году, предписала тамошним губернаторам составить список всех иезуитских монастырей и школ. К этому в указе было прибавлено: «Вы имеете учредить особенное наблюдение над иезуитами как над коварнейшим из всех латинских монашеских орденов, так как у них подчиненные ничего предпринимать не могут без разрешения своих начальников»**. Очевидно, императрица хотела сказать, что белорусские иезуиты пред-

* Сами иезуиты насчитывали в Белоруссии до 200 человек своих; у них были 4 коллегии, в Полоцке, Витебске, Орше и Динабурге, четырнадцать миссий, не считая церквей, домов и населенных имений. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

** Не имея подлинного текста, я перевожу буквально с французского перевода, по книге графа Толстого: Le catholicisme romain en Russie, II, p. 16–17. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

ставлялись ей особенно опасными потому, что по уставу их общества они подчинялись, непосредственно и безусловно, власти, пребывавшей не в России, а в Риме, и потому совершенно независимой от правительства.

На другой год Климент XIV обнародовал свой декрет об упразднении ордена, и с этой минуты иезуиты как будто приобрели благорасположение императрицы. Эту странность мы постараемся объяснить ниже. В высочайшем указе января 13, 1774 года Екатерина II объявила «свое намерение, чтоб находящиеся в белорусских губерниях иезуиты оставались *там* по-прежнему и продолжали преподавать в коллегиях своих юношеству науки». Под юношеством, как видно из связи слов и как это впоследствии не раз было разъясняемо, разумелись исключительно местные уроженцы латинского вероисповедания. В том же году, февраля 6, обнародована была жалованная грамота на установление Белорусской католической епархии, а в 1782 году, января 17, указ об учреждении в Могилеве архиепископства римско-католического исповедания.

Этими двумя актами могилевский архиепископ поставлен был во главе всего латинского духовенства в пределах России, не выключая и монашеских орденов; в консистории, учрежденной под его председательством, сосредоточены были все дела внутреннего церковного управления; архиепископ и консистории были непосредственно подчинены Правительствующему Сенату; сношения с Римом высшее правительство предоставило исключительно себе, строго подтвердив как самому архиепископу, так и подчиненному ему духовенству отнюдь не принимать никаких папских булл, ни от имени его писанных посланий, но все таковые буллы и послания препровождать прямо в Сенат. Иезуиты, *наравне с другими монашескими орденами,* оставлены были «неприкосновенны» не только при совершенной, ничем не ограниченной «свободе в публичном отправлении веры, но и при законном каждого владении и имуществе, со своими монастырями, школами, разными училищами и с принадлежащим их монастырям и им самим движимым и недвижимым имением». Но эти права предостав-

лены были *монашеским орденам не в смысле корпораций, рассеянных по лицу всей земли и подчиненных своим генералам и, через их посредство, папам, а исключительно русским подданным того или другого ордена,* или, как значится в указе: «...всякого ордена духовным католическим, доныне в подданстве нашем находящимся и впредь для жительства в Белорусскую губернию приезжающим и остаться в подданстве нашем желающим», притом: «...пока они сами верноподданнический долг и присягу непорочно сохранять будут». Определение к монастырям настоятелей или начальников признано было принадлежностью власти архиепископа, которому повелено было: «Тех из них оставить и вновь определить, кои в подданстве нашем родились или утверждены, а временно присылаемых из-за границы отрешить и впредь не терпеть, запретя прием оных под опасением мирского суда за преступление в неисполнении указов верховной власти». Далее подтверждено было, чтоб «все монашеские ордена римской веры, завися единственно от архиепископа могилевского, его коадъютора и консистории, не дерзали навлекать на себя зависимость от *какой-либо духовной власти, вне империи нашей пребывающей* (следовательно, и от папы), высылать им доходы или части оных, *или же иметь к ним какое-либо отношение* под опасением мирского суда за преступление в неисполнении указов верховной власти». Наконец, подтверждено было специально монашеским орденам не принимать «никаких булл папских или от имени его писанных посланий, а отсылать оные в Сенат».

Все это относилось до латинского духовенства вообще, как белого, так и монашествующего, без различия; собственно же иезуитам, как признанному правительством *обществу,* разрешено было в 1777 году открыть в Полоцке новициат и принимать новых членов, а указом 1782 года, июня 25, им было позволено «избрать из между себя генерального викария (т. е. викария к генералу), под которым провинциалы и прочие их начальники по правилам ордена их переменяемы будут; о таковом избираемом долженствуют они чрез архиепископа могилевского римской церкви представить в Сенат, а оному донести

императрице; впрочем предписать, что, хотя сей орден и обязан надлежащим повиновением *истинному своему пастырю* – архиепископу могилевской церкви, но упомянутый архиепископ имеет наблюдать, дабы правила оного ордена в целости и без малейшего к ним прикосновения сохраняемы были, *поколику оные согласны с гражданскими нашими установлениями»*[*]. По поводу избрания викария сенатским указом 13 сентября по высочайшему повелению еще раз и решительнее прежнего было внушено иезуитам, чтоб они, под страхом строжайшего взыскания, повиновались своему епископу и перестали отговариваться ссылками на свой устав от законного ему подчинения[**].

Таково было положение латинского духовенства вообще и иезуитов в особенности в царствование Екатерины II, прозванной Мудрою. Любопытно теперь исследовать, во-первых, что могло побудить ее признать иезуитов *как общество* и отвести им место в организации латинского духовенства; во-вторых, на каком основании сами иезуиты, упраздненные *как общество* декретом Климента XIV, могли воспользоваться этим признанием и принять это место.

Императрица Екатерина любила просвещение и уважала его; поэтому всякое учреждение, имевшее назначением обучать и воспитывать, особенно в земле, небогатой просветительными средствами, естественно могло рассчитывать на ее покровительство. В Западном, новоприсоединенном крае, общественное воспитание издавна было в руках иезуитов, и эта сторона их деятельности прежде всего обратила на себя внимание Екатерины. Таково было первое ее побуждение, но не единственное и даже не главное. Чтоб употребить с пользою педагогическую опытность и фискальные способности иезуитов, не было необходимости раздражать папу и, вопреки

* Пол<ное> соб<рание> зак<онов>, XIX, № 15443. Кретино-Жоли в 5 т < оме > своей Истории иезуитского ордена, на стр. 386 (по 2-му изд.) приводит этот указ целиком, но последнюю оговорку, содержащую в себе существенное ограничение, благоразумно пропускает. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

** Граф Толстой не упоминает об этом указе, но Кретино-Жоли (V., p. 387) приводит из него цитату. Действительно ли есть такой указ? *(Прим. Ю. Ф. Самарина.)*

общественному мнению всей Европы, заодно с одним лишь королем прусским Фридрихом II, присваивать им корпоративные права и восстановлять их как общество. Очевидно, Екатерина руководилась при этом другими соображениями, и мы едва ли ошибемся, связав их с общею системою ее действий по отношению к латинству.

Никогда, ни прежде, ни после, русское правительство не относилось к римской церкви так самостоятельно и решительно, так логично и просто и в то же время так прямодушно, как при Екатерине II. До нее правительство наше отбивалось от пап и старалось игнорировать их притязания; после нее оно задумало приискать формулу сделки для примирения своих интересов и своего достоинства с латинским каноническим правом и с требованиями римского двора. Екатерина II поняла, что с присоединением к России целой области, в которой часть народонаселения исповедовала латинство, нельзя было отказывать долее римской церкви в праве гражданства в пределах империи; с другой стороны, она угадала, что между самыми законными и существенными требованиями, от которых правительство, пока оно исповедует православную веру, никогда не откажется, и историческими притязаниями, составляющими неотчуждаемое наследие римской кафедры, прочная, для обеих сторон удовлетворительная сделка решительно немыслима. Она благоразумно остереглась от всякой попытки разрешить эту неразрешимую задачу и остановилась на глубоко обдуманной системе, основанной исключительно на ясно сознанных интересах империи. Система эта может быть выражена в коротких словах: не касаясь догматов, составляющих предмет веры, *локализировать в пределах империи латинскую церковную администрацию как предмет не внешней политики, а внутреннего государственного управления*. С этою целью нужно было: во-первых, дать латинской церкви в России возможно полную организацию; во-вторых, оборвать нити, связывавшие местную иерархию с римским церковным правительством; в-третьих, упразднить самостоятельность и иерархические привилегии латинских монашеских орденов и под-

чинить их, на одинаковом с белым духовенством основании, власти местного, епархиального начальства. Иными словами, Екатерина законодательным путем устанавливала у себя тот самый порядок вещей, которого, при всем своем желании, не успела завоевать для себя Франция – своего рода галликанизм, но более последовательный и, разумеется, с гораздо большим правом, чем Франция. На то она и была мудрая. Само собою разумеется, что она должна была заранее отказаться от надежды исполнить свои предначертания с благословения римского первосвященника; этим она ему и не докучала, да и он бы, вероятно, не благословил ее; но он благоразумно молчал и даже утверждал все ее распоряжения, когда она его об этом просила, ибо знал наперед, что в крайнем случае нашелся бы способ обойтись без него*. Позиция, которую занимало в то время русское правительство, была так тверда и так надежно защищена со всех сторон, что ловкость римской дипломатии не могла заставить его уступить ни единой пяди**. Опасно и трудно иметь дело с Римом только для тех, кто вступает с ним в состязание на почве канонического права; но Екатерина вовсе не претендовала на глубокие познания в этом праве, не считала себя призванною оберегать его и потому не признавала над собою его авторитета***.

---

* Екатерина II и папа очень скоро друг друга поняли и, вследствие того, жили вообще в ладу. На первых порах варшавский нунций предъявил было русскому посланнику, графу Штакельбергу, довольно резкую жалобу на могилевского епископа Сестренцевича за то, что он разрешил иезуитам открыть в своей епархии новициат, разумеется, с дозволения императрицы. Воспользовавшись этим первым случаем к объяснению, она продиктовала ответ, в котором, между прочим, значилось: «Позволительно ли утверждать, что императрица посягает на достоинство римской кафедры, поддерживая надежнейших поборников латинской веры (т. е. иезуитов)? Впрочем, императрица не привыкла кому бы то ни было отдавать отчет в распоряжениях своих в пределах империи». Cretinau-Joly. V. p. 382. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

** Общий тон, данный Екатериною дипломатическим сношениям с Римом, всего яснее выразился в ее письме к папе Пию VI в 1782 году. Le cathol<icisme> rom<ain> en Russie, II. p. 21–26. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

*** До какой степени императрица Екатерина II проникнулась сознанием исторической жизненности православия для русского народа, всего луч-

Для осуществления общего плана, очерченного здесь в коротких словах, судьба послала ей даровитого и вполне сознательного сотрудника в лице литовского дворянина, впоследствии архиепископа, а еще позднее митрополита Сестренцевича, в продолжение полустолетия с лишком, при четырех государях, управлявшего всею латинскою церковью в пределах России. На этом поприще он был для Екатерины тем самым, чем был при ней Суворов и Румянцев по военной части, Потемкин по делам восточной политики, Бецкой по общественному призрению и воспитанию, князь Вяземский и Безбородко по делам внутреннего управления и гражданского законодательства. Известно, что личность Сестренцевича всегда была ненавистна ультрамонтантской партии, и что он пал жертвою ее мести; но, в наших глазах, эта ненависть доказывает только, что деятельность его была направлена к пользам и выгодам России, а месть, на него обрушившаяся, выказала только искренность его убеждений и твердость его характера. Действительно, до самого конца своей жизни он оставался верен екатерининской системе и, в числе немногих, не изменил ей даже в то время, когда эта верность не только не вменялась в заслугу, а навлекала немилость. Далее мы увидим этому доказательства.

Но, спросят, вероятно, читатели: что общего между системою, которой следовала императрица Екатерина в отношении к латинской церкви, и покровительством, оказанным ею иезуитскому ордену? По-видимому, одно с другим не вяжется,

ше видно из отзыва ее 1793 года, на предложение неаполитанского двора женить великого князя Константина Павловича на одной из бурбонских принцесс. Предложение было сделано так, что предвиделась возможность великому князю после брака переменить веру. Екатерина отвечала: «Их Величества, вероятно, не знают, что Россия столь же привержена к восточной греческой вере, как они к западной латинской. Они не знают еще, что греческая вера должна быть исповедуема искренне и без затаенных мыслей, что латинское или греко-латинское наследие, покуда я жива, никогда не будет допущено; что никакой латинский наставник не получит доступа в мою семью; что папа всегда напрасно интригует, рассчитывая под каким ни на есть предлогом добиться главенства в России; что его и теперь, точно так же как в былые времена, выпроводили бы от нас каменьями». См. Русский Архив. 1863 г., изд. 2-е, стр. 384– 387. *(Прим. П. Барсенева.)*

даже сталкивается. Екатерина ищет в среде латинства точки опоры для противодействия папе и, несмотря на то, она протягивает руку усерднейшим слугам папизма! Чтобы объяснить эту странность, стоит только одну частицу заменить другою; вместо «несмотря на то», скажите «потому-то», и вы ощупаете основную причину благоволения Екатерины II к иезуитам. Решившись отвергнуть всякое вмешательство со стороны папы в дела местного церковного управления, она, конечно, предвидела, что дело без борьбы не обойдется, и благоразумно рассудила, что для начатия ее вопрос о иезуитах представлял повод для русского правительства самый благоприятный, как будто на заказ придуманный. Ответив римскому двору решительным отказом сделаться исполнительным орудием смертного приговора, только что разразившегося над ревностнейшими слугами папизма, Екатерина вызывала папу на состязание перед всею Европою и заставляла его принять вызов на самых для него невыгодных условиях; она становилась как бы заступницею латинства, а он – как бы врагом его. В такой борьбе она могла рассчитывать на полное сочувствие всех поклонников иезуитского ордена, особенно многочисленных и ревностных в странах слабо просвещенных, каковы были Западная Россия и Польша; ее новоприобретенные подданные и ближайшие соседи естественно должны были помириться с антиканоническим образом действий русского правительства ради цели, им выставленной, и этим наглядным примером научиться не смешивать интересов римского первосвященника с интересами своей веры. Это было начало схизмы, первый, приготовительный шаг к отторжению латинства от папизма, а этого-то именно и хотела мудрая Екатерина.

Расстроить ее глубоко обдуманный план могли только одни лишь иезуиты; для них это было легко. Им стоило для этого отвергнуть ее заступничество и до конца оставаться верными папе; но с этой стороны Екатерина была покойна. Их прошедшее ручалось за их поведение в настоящем. Не они ли во Франции, в 1612 и 1626 годах, обязались подпискою принять и охранять основные положения галликанства? Несколь-

ко позднее, в 1675 году, не они ли, заодно с парламентом, открыто восстали против ненавистного им папы Иннокентия XI и поддержали анти-канонические притязания Людовика XIV на доходы от вакантных церковных бенефиций (re□gale)? Не они ли же, наконец, в Америке, получив декрет Иннокентия X, отказались подчиниться ему на том основании, что тот декрет не был принят наместническим советом, действовавшим от имени испанского короля? Впрочем, и без дальних исторических справок нетрудно было понять, что иезуиты, приговоренные папою к смерти, хотели жить и твердо решились не умирать; сами они (как мы сейчас увидим) шепнули Екатерине о полной своей готовности ослушаться своего владыки и перед лицом всего латинства заявить свое ослушание, приняв из ее рук право на жизнь.

Итак, ей подвертывался случай, неожиданностью своего великодушного заступничества, произвести на все латинские совести потрясающее действие, уронить нравственный авторитет главы римской церкви, осветить новым блеском образ Северной Семирамиды, поднимающей отверженцев и спасающей гонимых, наконец, сманить у папы под свое схизматическое знамя и вывести в строй против Ватикана надежнейший из полков его гвардии. Виды эти были далеко не так несбыточны, как это могло бы показаться с первого взгляда; по крайней мере, было гораздо больше поводов и оснований рассчитывать, что иезуиты продадут русскому правительству свою службу, чем надеяться (как это случилось в другую эпоху), что данное ими слово воздерживаться от всякой пропаганды помешает им вести подкопы против православной церкви. Во всяком случае, дело стоило опыта; игра была, конечно, опасна, но зато ее вела осторожная и вместе твердая рука.

Из всего предшествующего можно, кажется, составить себе довольно ясное понятие о том, какими глазами мудрая императрица смотрела на иезуитов. Она не питала к ним ни уважения, ни доверия; не она бы, конечно, стала ходатайствовать у папы о восстановлении ордена в прежних его правах и не она бы освободила иезуитские училища от правительствен-

ного контроля; но она надеялась подчинить себе иезуитов как орудие, наиболее пригодное для ее целей, и уверена была, что в ее руках это орудие останется безвредным и покорным ее воле. На то она и была мудрая; но мудрость и энергия не наследственны, и потому, может быть, осторожнее бы было не пренебрегать чужим опытом и не связываться с союзниками, менее опасными для их врагов, чем для тех, кто принимает от них клятвы на верную службу.

Перейдем теперь к другой стороне вопроса. Мы сказали, что сами иезуиты навели Екатерину II на мысль подать им случай торжественного ослушания римской кафедре. Вот как это случилось.

Декрет Климента XIV об упразднении ордена на вечные времена подписан был 21 июля 1773 года и, следовательно, предшествовал всем указам Екатерины II, в пользу иезуитов изданным.

Этот декрет, по своей редакции, напоминает контракты, заключаемые с людьми подозрительной честности. Климент XIV знал, с кем имел дело, и, ожидая несомненного ослушания со стороны преданных слуг своих, принял заранее все предосторожности, какие только могли быть придуманы. В этом отношении это произведение ватиканской канцелярии представляет вид неприступной крепости, со всех сторон окопанной рвом, обнесенной валом и защищенной всякого рода брустверами и бойницами. Распорядительная часть (le dispositif) (о вступлении и соображениях было говорено прежде) в сущности содержит в себе следующее:

Иезуитское общество как собирательная юридическая личность упраздняется вполне, повсеместно и навсегда.

Все его конституции, уставы, регламенты, статуты, привилегии и обычаи отменяются.

Все общественные должности, управления, чины и функции уничтожаются.

Вся власть, которою пользовались генерал, провинциалы, визитаторы и другие начальники, у них отнимается и передается всецело местным епархиальным начальствам.

Прием в общество новых членов, произнесение вновь орденских обетов и посвящение членов общества в духовный сан воспрещаются.

Послушники (novitii) немедленно распускаются.

Члены общества, связанные так называемыми простыми обетами (vota simplicia) и не посвященные в иерейский сан, освобождаются от произнесенных ими обетов и увольняются для избрания себе рода жизни.

Членам общества, получившим священство, предоставляется на выбор: вступить в другой орден или в белое духовенство.

Больным, престарелым и не способным пристроиться на стороне разрешается пожизненное пребывание на жительстве в домах ордена, но без всякого участия в хозяйственном заведовании этими домами и, притом, не иначе, как под управлением поставленного над ними лица из белого духовенства.

Усмотрению местных епархиальных начальств предоставляются те из бывших членов ордена, которые перейдут в белое духовенство, допускать к исповедованию и чтению проповедей, но строго запрещается распространять это разрешение на бывших членов ордена, имеющих остаться на жительстве в бывших орденских домах.

Бывшие члены ордена, занимавшиеся преподаванием наук в качестве профессоров и учителей, устраняются вообще от этого дела; изъятие в этом отношении допускается в пользу тех лишь из них, которые подадут достаточный повод надеяться, что они отступятся от всяких учений суетных, ослабляющих нравственность и порождающих вредные препирательства*.

Бывшее общество теряет всякое право на дома, школы, коллегии, приюты и всякие другие принадлежавшие ему заведения, места и доходные статьи; из этих доходов имеет быть

* Нельзя, кстати, не заметить, что новейшие иезуитские писатели все-таки продолжают утверждать, будто бы Климент XIV в декрете своем ограничился прописанием обвинений, взведенных на иезуитов, но сам от себя будто бы не произнес против них ни осуждения, ни неодобрительного свидетельства. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

отчисляема часть на временное пособие нуждающимся членам бывшего общества; затем вся недвижимая собственность и все доходы бывшего общества имеют быть обращены на другие богоугодные предметы.

Всем христианским государям внушается, чтоб они употребили власть свою на обеспечение строгого, немедленного и точного исполнения воли римского первосвященника.

Всем и каждому, под страхом отлучения первой степени (excommunicatio major), воспрещается не только препятствовать исполнению сего декрета, но даже предъявлять какие-либо против него протесты, споры, жалобы и возражения, словесные или письменные; запрещается даже толковать о нем.

Все это расписано на семи страницах мелкой печати и подкреплено бесчисленным множеством повторений и всякого рода вставочных: *несмотря на и хотя бы.*

Но что могла сделать вся эта бумажная артиллерия против систематического ослушания, долговременным упражнением возведенного в степень особой опытной науки? В числе рецептов, ею выработанных, был один, драгоценный, не раз уже испытанный в дальних миссиях. Когда в Китае или Японии получалась строгая булла, устранявшая всякий повод к возражениям и толкованиям, иезуиты обыкновенно забегали с жалобою к императору и старались уверить его, что требования римского первосвященника шли вразрез с выгодами края и подрывали авторитет верховной светской власти. Этого рода апелляции на папу к императору почти всегда удавались в Китае: пекинский богдыхан сердился на римского богдыхана, издавал строжайшие запрещения исполнять его приказания и благодарил иезуитов за их верность. Большего и не требовалось. Они отписывали в Рим, что были бы готовы с радостью послушаться папы, но встретили со стороны импе-ратора *неожиданное* сопротивление, которого не могли преодолеть и которым пренебречь не смеют, так как это повлекло бы за собою гибель миссии. То же средство, с незначительными вариантами, они употребили и против декрета 1773 года в Пруссии и в России. Станислав Черневич, ректор Полоцкой коллегии,

от имени всех белорусских иезуитов, 23 ноября 1773 года подал Екатерине письменное прошение, в котором, свидетельствуя о безусловной своей покорности римской кафедре и повергаясь ниц у подножия престола, «*заклинал императрицу всем, что есть на свете священного,* дозволить иезуитам послушаться папы, то есть: умереть как общество законною смертью». Это прошение в своем роде идеал совершенства, и я сомневаюсь, чтобы в каком-либо архиве любого присутственного места или дипломатической канцелярии нашлось что-либо близко к нему подходящее. Между прочим, просители писали: «Ваше Величество, благоволив разрешить обнародование декрета об упразднении общества, *проявите этим Вашу царскую власть;* а мы, неукоснительным послушанием, окажем себя одинаково покорными как власти Вашего Величества, *имеющей дозволить исполнение* декрета, так и власти верховного первосвященника, требующей от нас исполнения»*.

Екатерина умела читать между писанных строк и отказала просителям; но она не могла утаить в себе иронии или, что еще вероятнее, захотела дать им почувствовать, что видит их насквозь. Вот ее ответ: «Вы обязаны послушанием папе в деле догматов, а во всем остальном – вашим государям. Я вижу, что вы совестливы! Впрочем, для успокоения вашего, я спишусь с варшавским нунцием через моего поверенного». И иезуиты удалились с разбитым сердцем; к смертному приговору, только что постигшему их из Рима, присоединилось новое горе – *невольное* ослушание папе, *вынужденное* деспотизмом Екатерины. Бедные иезуиты!

Но откуда взялась у них вдруг эта совестливость? Не далее как лет за шестьдесят перед тем находили же они средства не только без разрешения светской власти, но даже вопреки формальному ее запрещению, селиться в Москве, строить в ней церкви, заводить училища и совращать православных в

* Подлинное прошение было писано по-польски, а французский перевод читатели могут найти в Истории иезуитов аббата Гете, т. III, стр. 363, или в истории Кретино-Жоли, т. V, стр. 375, 376, по 2-му изд. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

латинство? И на что бы им, кажется, именно на этот раз испрашивать особого указа? Папа не требовал от них никаких *действий,* которые бы могли вовлечь их в столкновение с гражданскими законами; им стоило только воздержаться от всяких *общественных* манифестаций, разойтись, сдать епархиальному начальству свои дома и училища, а затем каждый из бывших членов общества мог бы по-прежнему порознь священнодействовать и преподавать. Недаром говорится, что иезуиты прибегают ко всякого рода средствам. В этот раз они употребили даже совестливость.

Как бы то ни было, цель была достигнута: наглое ослушание папскому декрету было прикрыто подобием предлога, и беззаконное, в глазах всякого добросовестного последователя латинства, существование ордена было обеспечено, хотя на время, в чаянии перемены обстоятельств в будущем*.

* Один обман естественно влечет за собою необходимость другого. Новейшие защитники иезуитов, чтобы чем-нибудь оправдать беззаконное существование ордена в России в промежуток времени от второй половины 1773 года по 7 марта 1801 года (то есть по день подписания папою Пием VII декрета о восстановлении ордена в Белоруссии), уверяют, будто бы Климент XIV, за несколько месяцев до своей смерти, от 7 июня 1774, рескриптом на имя епископа вармийского, разрешил иезуитам оставаться в Пруссии и в России в настоящем их положении, in status quo, впредь до дальнейших распоряжений, и указывают на копии с этого рескрипта, хранящиеся в церковных архивах Вармийском, Полоцком, Варшавском и будто бы С.-Петербургском; а так как из переписки варшавского нунция Гарампи, через которого производились все сношения Рима с Пруссиею и Россиею, видно, что он ничего об этом не знал, то прибегают к предположению, что Климент XIV тайком от своего нунция списался с епископом вармийским. Но, во-первых, подлинного рескрипта нигде не оказывается; во-вторых, о копии, будто бы хранящейся в Петербурге, граф Толстой, в книге своей о римско-католической церкви в России, ни единым словом не упоминает; в-третьих, что мнимый этот рескрипт не мог быть написан Климентом XIV 7 июня 1774 года, доказывается пятью другими, несомненно подлинными рескриптами того же папы, подписанными им позднее, 17 сентября того же года, за несколько дней до его смерти. В них он хвалит браунсбергских иезуитов, покорившихся его декрету, хвалит епископа вармийского, который сперва было противился исполнению его, за то, что он впоследствии одумался; наконец, убеждает всех прусских епископов последовать его примеру. В-четвертых, содержание мнимого рескрипта прямо противоречит всей переписке варшавского нунция, который, очевидно, ничего не знал даже о публикации его, и всем единовременным актам, исходившим из Рима. Вот,

Вы называете это существование под покровом мудрой императрицы явлением знаменательным. Я с вами совершенно согласен, но только нахожу знаменательность не в том, в чем вы ее полагаете.

Вообще, ссылка ваша на мудрую императрицу не совсем удачна; ее свидетельство обращается против вас, и благодарить вам ее не за что. Действительным вашим заступником и покровителем был император Павел I. При Екатерине иезуиты служили видам русской политики, при Павле русская дипломатия поступила на службу иезуитов; а вы величаете Екатерину и умалчиваете о Павле. Это неблагодарность.

Вскоре по вступлении императора Павла на престол рушилась система, которой предшественница его так неуклонно держалась во все продолжение своего царствования; рушилась не потому, чтоб нашлась для замены ее другая система, а потому, что вообще систематическая последовательность в действиях уступила место личным влияниям и личному вдох-

---

между прочим, что писал оттуда кардинал Корсини варшавскому нунцию от 15 марта 1774 года, в ответ на извещение его о просьбе, поданной белорусскими иезуитами Екатерине II и о последствиях этой просьбы: «Кардиналы, члены конгрегации, с горестью узнали, что проживающие в России члены бывшего общества все еще не хотят покориться декрету о его упразднении, выставляя как предлог запрещение, объявленное им светскою властью, конечно, *не без собственного их в том участия;* этим они покрывают свою непокорность в глазах прочих своих собратьев и всех людей добросовестных... Отцы священной конгрегации поручают вам внушить *ослушникам,* чтобы они не упорствовали и бросили этот путь, ибо они не только самих себя губят, *но еще подвергают опасности спасение душ, которым они беззаконно и недействительно преподают святые таинства, несмотря на то, что верховный первосвященник лишил их всякой на то власти».* Наконец, в декрете Пия VII, 1801 года, которым восстановлено было иезуитское общество в пределах России, не упоминается ни словом ни о каких предшествовавших на то разрешениях, а, напротив, прямо заявляется, что иезуитам *только этим декретом* предоставляется вновь право священнодействовать, проповедовать, исповедовать и совершать таинства. Следовательно, в глазах римского первосвященника, не только действия общества как юридического лица, но и самое совершение треб теми из его членов, которые были посвящены, во все продолжение тридцатилетнего периода от декрета Климента XIV до декрета Пия VII, были совершенно незаконныинедействительны.См.Hist<oire>desIe□suitesparl`abbe□Juette□e,III, p. 364—367; Cre□tinau-Joly, V, p. 377. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

новению. Между неожиданностями, которыми так богато это время, не последнее место занимает ходатайство, с которым император Павел обратился к папе в 1800 году о восстановлении иезуитского ордена в прежних его правах, и рекомендация в пользу иезуитов от имени русского двора, предъявленная нашим константинопольским послом турецкому султану. В том же 1800 году последовали высочайшие повеления: первое о том, чтобы в католической церкви св. Петра (в Петербурге) богослужение отправляемо было одними иезуитами; второе – о передаче иезуитам в полное их распоряжение католической церкви св. Екатерины со всеми принадлежащими к ней домами, экономическими заведениями и доходами; третье – о разрешении иезуитскому новициату в Полоцке умножать богоугодные его заведения и в других местах католического исповедания, и о возврате иезуитскому ордену, по мере открытия сих заведений, отобранных у него польским правительством имений; наконец четвертое, содержавшее в себе целое новое положение об управлении римско-католическим духовенством в России. Этим последним законом наносился решительный удар учреждению Екатерины. По-видимому, коренное начало, положенное ею в основание отношений правительства к латинской иерархии, было не только сохранено, но даже усилено и доведено до крайности: так, в параграфе 1-м значилось, между прочим, что духовенство «должно быть послушно начальству (государю) во всех *духовных* и мирских делах»; но это были одни слова, а в сущности все положение имело целью установить в пользу латинских монашеских орденов полную автономию и совершенно изъять их из-под всякой зависимости от местных епархиальных властей. Это нововведение было мотивировано тем, что епархиальным архиереям будто бы «трудно каждого в особенности ордена знать постановления и правила». По одной этой черте можно было бы опознать иезуитскую руку, если б мы даже не знали, чьим советам подчинялся император Павел.

В то время особенным его благоволением и полною его доверенностью по делам латинской церкви пользовался уже не

Сестренцевич, им же возведенный в степень митрополита, а верховный настоятель иезуитов в России отец Гавриил Грубер, хитростью и пронырством прославившийся даже в кругу своих. Обстоятельства сближения этой личности с императором Павлом довольно поучительны.

Мы уже видели, что апостолы лойоловой школы, отправляясь в Китай и в Японию, обыкновенно забирали с собою всякого рода игрушки и инструменты, а при въезде выдавали себя за купцов, лекарей, астрономов или механиков. Грубер приехал из Вены в Петербург под предлогом представления Академии наук каких-то своих изобретений по части механики. Ему удалось, благодаря прежним его связям, обратить на себя внимание высшего общества и распустить о себе молву, скоро дошедшую до дворца. Император потребовал его к себе и, при первом же свидании, был им до того очарован, что захотел немедленно пожаловать его кавалером; но умный иезуит смиренно отклонил от себя эту честь, ссылаясь на свой устав, и прибавил, что члены ордена посвящают себя на службу государям и их подданным единственно для большей славы Божией – ad majorem Dei gloriam. Слова эти почему-то окончательно пленили императора, и он позволил Груберу во всякое время являться к нему без доклада. Ряд приведенных выше указов доказывает, что частые посещения, за этим последовавшие, не пропали даром для иезуитов. Но предварительно им нужно было во что бы то ни стало погубить Сестренцевича и овладеть департаментом Юстиц-коллегии по делам латинской церкви, в котором он председательствовал.

Престарелый митрополит молча и с грустью смотрел на быстрое крушение прежних порядков, не одобрял нововведений, но и не отваживался на безнадежную борьбу. Грубер благоразумно устранился от прямого с ним столкновения; он притаился, ожидая минуты, когда его призовут на совет, а между тем, по старой, испытанной системе своего ордена, разными путями, через своих соумышленников, докучал государю беспрестанными жалобами на департамент Юстиц-коллегии. Это, наконец, надоело императору, и, чтобы узнать

правду, он потребовал к себе Грубера. Последствием их свидания был высочайший приказ о снятии с Сестренцевича Мальтийского ордена и о воспрещении ему въезда ко двору. Через несколько дней, в 11 часов вечера, полицейский чиновник объявил Сестренцевичу высочайшее повеление немедленно встать с постели, очистить для отца Грубера дом, в котором жил митрополит при церкви, и перебраться в дом Мальтийского ордена. В ту же ночь, к трем часам пополудни, это было исполнено. Отец Грубер не замедлил взять в свое распоряжение как дом, так и церковь и притом сказал своим приятелям из местных прихожан: «Каково я вымел церковь!» Между тем, Сестренцевич, желая разъяснить себе причину неожиданной немилости и дальнейшую судьбу свою, обратился за справками к графу Палену. «Право, я ничего не знаю, – отвечал ему граф и прибавил, – а в каких вы отношениях с отцом Грубером?». Сестренцевич понял, что в этом вопросе заключался ответ.

Вскоре после этого отец Грубер, пользуясь данным ему правом, явился к государю. «Что нового и о чем поговаривают в городе?» – спросил его император. – «Забавляются указом Вашего Величества в нашу пользу». – «А кто смеет?» – Иезуит вынул из кармана и подал государю лист бумаги, на котором выставлено было 27 имен, в том числе члены департамента Юстиц-коллегии и во главе их сам председатель митрополит Сестренцевич. Этим дело было повершено. Ноября 14, 1800 года Сестренцевич был уволен и сослан на жительство под надзором полиции в свое имение. Прочие лица, значившиеся в списке, частью подверглись той же участи, частью взяты были под арест. «Эти негодяи (ces lourques), – проговорил благочестивый иезуит, – никогда не вернутся». В этом он, однако, ошибся.

Вы знаете, из какой книги я перевел почти буквально весь этот рассказ, и потому, вероятно, не захотите оспаривать его достоверности. Мнения вашего о поступке благочестивого отца Грубера я не спрашиваю, ибо угадываю его. Он действовал ad majorem Dei gloriam, а употребленное им средство по

учению иезуитских богословов Эскобара и Бузенбаума позволительно и безгрешно.

Место удаленного Сестренцевича в департаменте Юстиц-коллегии занял его коадъютор, некий Бениславский, восполнявший совершенное отсутствие всяких способностей безусловною преданностью иезуитам. Таким образом, все управление делами латинской церкви перешло в их руки; они развернулись на свободе не только в Белоруссии, но по всей России, овладели несколькими церквями в колониях саратовских и новороссийских, в Одессе, в Риге, основали семинарию и школу в Петербурге и другие школы в Астрахани и Моздоке; несколько суконных фабрик они завели себе еще прежде, при Екатерине.

Между тем, в глазах папы, орден все еще считался упраздненным, и варшавские нунции, как при Екатерине, так и при Павле, не переставали громить ослушников и настаивать на исполнении декрета Климента XIV. Наконец, по кончине уже императора Павла, получен был исходатайствованный им декрет Пия VII, от 7 марта 1801 года, которым разрешалось не восстановление, а как бы учреждение вновь общества под названием Иисусова, притом в *одной лишь России,* а *не вне ее пределов,* и предоставлялось членам этого общества право законного священнодействия, проповедования, исповедования и совершения таинств.

Этот декрет сообщен был государственным канцлером отцу Груберу, в то время генералу ордена, при отношении от 8 сентября 1802 года, заслуживающем внимания потому, что в нем еще раз, в виде предостережения на будущее время, изложено условие, на котором правительство признавало орден в пределах России и оказывало ему покровительство. «Я докладывал, – пишет канцлер, – Государю Императору о намерении вашем ввести в ваших коллегиях преподавание всех наук на русском языке и позаботиться о том, чтобы в монастырях и коллегиях ваших отнюдь и никогда бы не было допускаемо *ничего предосудительного для господствующей церкви.* Его Величество надеется, что вы сдержите в точности *обещания,*

вами данные от имени вашего ордена, тем более, что Государю угодно, чтобы в случае их нарушения, а в особенности, *если бы дерзнули привлекать к принятию римско-католической веры кого-либо из молодых людей, исповедующих иную веру,* поступлено было со всею строгостью. Государь ставит в зависимость от этого непременного условия не только покровительство, оказываемое иезуитскому ордену, но и самое допущение его в пределах России».

Итак, условие со стороны русского правительства было высказано со всею определительностью, а со стороны иезуитов – формально и добровольно принято.

Можно легко представить себе, каким тонким сдержанным смехом залился отец Грубер в день получения этой бумаги, когда, вернувшись к себе домой и запершись в кругу своих, он сбросил маску и стал припоминать данные им обещания, с такою добросовестною уверенностью подобранные его покровителями. Гораздо труднее, при некотором знакомстве с историею иезуитов и с их учением о присяге и обязательствах, объяснить себе добродушную доверчивость правительства, полагавшегося на иезуитское слово; но в то время мы как будто только что начинали жить: все, даже административные предания ближайших екатерининских времен были как бы перерезаны притоком новых, со стороны занесенных к нам понятий; горькие опыты наших предков и наших соседей не имели для нас смысла, и нам приходилось, повторением чужих ошибок, всему учиться сызнова. Эта наука, как мы сейчас увидим, обошлась нам довольно дорого.

Иезуитское общество по своему назначению и, особенно, по своей организации, обречено на строгую неизменность в себе самом – sint, ut sunt, aut non sint (да пребудут каковы суть, или да не будут), – говорил недаром один из генералов ордена. Но эта внутренняя неизменность отнюдь не исключает приспособления средств к обстоятельствам и не мешает обществу являться перед публикою в разных ролях. Напротив, быстрота превращений, способность рекомендовать себя на всякого рода службы и умение выставлять в своей лавочке именно тот

товар, на который предвидится усиленный запрос, составляли всегда существенные условия иезуитской тактики. В старину апостолы, которых орден посылал ощупывать Россию, соблазняли наших царей разными титулами и надеждою, через покровительство папы, втереться в общество просвещенных держав; на Западе в XVI веке иезуиты рекомендовали себя правительствам как блюстители единоверия и беспощадные обличители всякого рода ересей; затем они преобразились в снисходительнейших духовников, впускавших в Царство Небесное за самую низкую цену; но все это, наконец, надоело и опротивело. В последних годах XVIII века и в первой четверти XIX боязнь ада и забота о спасении душ уступили место боязни революции и заботе об охранении безопасности царствующих династий. Иезуиты прежде всех смекнули в чем дело и преобразились еще раз. «Вы боитесь революции и не без основания; она вас непременно затопит, если вы не противопоставите ей надежного оплота. Этот оплот — мы. Никто чище нас не охолащивает народов. Мы знаем, чего вы хотите; вам нужны смирные и сносливые подданные; таких мы вам и поставим; вверьте нам только воспитание юношества и спите спокойно». Такого рода речи повели в Берлине, Вене, Париже и Петербурге иезуиты, прямые наследники иезуитов в первой четверти XVII века, провозглашавших начало народного самодержавия и законность цареубийства, и предки тех, которые ныне во Франции и Бельгии распинаются за неограниченную свободу ассоциации и преподавания.

На этом предпоследнем их превращении застала их Екатерина II. К концу ее царствования в правительственных сферах некоторых из немецких и итальянских государств они успели прослыть опорою политического консерватизма, а мы, забыв времена самозванцев, не умудрившись даже примером Польши, в наших глазах заеденной этими мнимыми оберегателями династических интересов, поверили, без дальних справок, свидетельству их о себе самих.

Иезуиты – заклятые враги революции и неподкупные стражи престолов – эта тема нередко мелькала в указах им-

ператора Павла и в официальной переписке наших государственных людей времен Александра I. Успешнее и настойчивее всех, со свойственной ему резкостью выражения, часто доходившею до цинизма, проводил ее главный руководитель иезуитов и тайный агент папы в России, в то же время советник и наставник наших министров, кумир высшего петербургского общества, по официальному своему положению – поверенный сардинского короля при нашем дворе, а по направлению всей своей деятельности, политической и литературной, своего рода enfant terrible* ультрамонтантства – граф Иосиф де-Местр. Он писал, между прочим: «Иезуиты – это сторожевые псы верховной власти; вы не хотите дать им воли грызть воров, тем хуже для вас; по крайней мере, не мешайте им лаять на них и будить вас». Переписка графа Местра с русским министром народного просвещения графом Разумовским, из которой извлечены эти строки, представляет для характеристики того времени неоцененный материал. Она началась по поводу ходатайства генерала ордена Бржозовского об освобождении Полоцкой коллегии от контроля Виленского учебного округа. К обычным истасканным и избитым аргументам в пользу педагогической системы иезуитов граф Местр присоединил новые, приспособленные к понятиям той среды, которую он обращал. «Неужели вы не понимаете, – восклицает он, – что всякий полк знает своего полковника и счел бы себя оскорбленным, если б вздумали подчинить его стороннему командиру? Полковое учение производится в виду всех, открыто, на плацу, и, если окажется, что маневры идут дурно, пусть вводят порядок генерал-инспекторы, на то назначенные от государя; но, под предлогом единства, отнимать у безукоризненного, прославившегося полка (т. е. иезуитов) право иметь свое начальство, подчинять этот полк и всех его командиров какому-нибудь капитану мещанской полиции, от роду не владевшему шпагою, это было бы до крайности забавно, а по последствиям было бы даже гибельно... Ставят иезуитам в упрек вмешательство их в дела политики. Да чем

* Сорванец *(лат.)*.

же они виноваты? Разве не властен государь, если вздумает, поручить управление государством офицерам своей гвардии? Они, разумеется, должны бы были исполнить его приказание. И за это впоследствии стали бы их уличать в интригах и требовать упразднения гвардии? Это просто безумие». Далее, вот что предлагает граф Местр русскому министру народного просвещения: «На что вам наука? Наука творит людей сварливых, самоуверенных порицателей правительств, поклонников всякой новизны, презрительно относящихся ко всякому авторитету и к народным догматам... Вы окажете, граф, величайшую услугу вашей родине, если внушите добрейшему русскому государю великую истину, а именно вот какую: Его Величеству поистине нужны только двоякого рода люди: храбрые и честные; остальное не нужно и придет само собою. Наука, по самому существу своему, при всякой форме правления, годна не для всех, даже не для всех принадлежащих к высшим сословиям. Например, военным (то есть 8/10 русского дворянства) отнюдь не подобает быть учеными. Да и большинство, особенно в высших слоях общества, никогда не захочет прилежно заняться науками. Поверьте, нет такого юноши в русском дворянстве, который бы не согласился охотнее сделать три похода и принять участие в шести генеральных сражениях, чем вытвердить греческие спряжения...»

А вера? «К чему толковать о вере, – продолжает граф, – правда, иезуитское общество крепко стоит за свою веру, да ведь по отношению к догматам она почти тождественна с вашею; к тому же никто никогда не только не обвинял, но даже не заподозривал иезуитов в самой легкой нескромности в отношении к местным законам; они уважают их как следует. И такому обществу не доверяют!» Расходившись, граф Местр дошел вот до чего: «Мы поставлены, как громадные альпийские сосны, сдерживающие снежные лавины: если вздумают нас вырвать с корнем, в одно мгновение все мелколесье будет занесено». Так иезуиты оберегали русскую церковь!

И это все принимал к сведению, по крайней мере, выслушивал русский министр народного просвещения! Мы не знаем,

что он отвечал, не знаем даже отвечал ли что-нибудь; но доказательством его беспримерного долготерпения служит одно уже то обстоятельство, что переписка длилась довольно долго (всего сохранилось пять писем по поводу Полоцкой коллегии) и все в одном тоне. Тон этот, как одно из знамений того времени, сам по себе назидателен. Поверенный иностранной державы, притом еще иноверец, впутывается в вопрос внутреннего управления, тесно связанный с интересами чуждой ему церкви; при этом он берется за дело не как ходатай, а как власть имущий, не просит, а обличает и тянет к ответу. Он подступает к русскому министру народного просвещения, уставив в него строгий начальнический взгляд, хватает его за ворот, трясет, поднимает с министерских кресел, садится на его место и, поставив его перед собою, как школьника, читает ему нотацию о том, что для России нужно и что не нужно, как управлять русскими : чему их учить или, точнее, чему их не учить.

В это же время министр иностранных исповеданий князь А. Н. Голицын, ближайший советник и друг императора, получил от подчиненного ему генерала иезуитского ордена записку такого содержания: «Ваше превосходительство усмотрите, что вам не много будет дела до монахов иезуитского ордена; ваша обязанность, в отношении к ним, ограничится выслушиванием их просьб, буде встретятся дела, по которым введение или исполнение чего бы то ни было потребовало бы разрешения правительства, и принятием от них жалоб, если бы белое духовенство вздумало каким бы то ни было образом досаждать им».

А между тем ни государь, ни ближайшее его окружение не питали к иезуитам никакого сочувствия. Граф Местр свидетельствует даже, что император Александр был предубежден против них более, чем кто-либо из современных ему государей; казалось бы, что и религиозное настроение князя А. Н. Голицына, каково бы оно ни было само по себе, должно бы было, при некоторой логической последовательности, по крайней мере, оградить его от их влияния; и несмотря на все это, в первые годы царствования императора Александра иезуиты

заговорили у нас таким голосом, какого, конечно, не потерпел бы ни Филлипп II, ни Людовик XVI. Вся сила их заключалась в духовном бессилии той среды, в которой они действовали. Здесь, то есть в высших слоях петербургского общества и, разумеется, только здесь, все им благоприятствовало.

С самого начала своей революции Франция сдала России целую толпу эмигрантов, которых мы, по своей привычке, приняли с распростертыми объятиями; иным из них удалось дослужиться до высоких чинов и видных должностей, другие приютились в семьях высшего дворянства в качестве нахлебников, третьи – в качестве гувернеров и учителей; последние дали тон домашнему воспитанию и наложили свою печать на целые поколения. Таким образом, почва была подготовлена для иезуитского сева. В те времена план воспитания для русского дворянина составлял по просьбе родителей какой-нибудь аббат Николь; ему же поручалось и приискание наставника; этот наставник учил всему, разумеется, по-своему, в крайности, даже и русскому языку. Какое место в таком воспитании отводилось русской истории и православной церкви, нетрудно себе представить. По чувству приличия, для прохождения краткого катехизиса приглашался приходский священник; но гувернер поглядывал на него косо, по окончании урока совал ему в руку билет и выпроваживал его из дому. Отсюда до отдачи мальчика в иезуитский пансион был один шаг.

Почти в одно время с эмигрантами обломки польской аристократии, собравшиеся в тесную группу около князя Чарторыйского, всплыли на поверхность и заняли видное место в правительственных сферах и в высшем петербургском обществе. Все это тянуло одно к другому, сближалось естественно, даже без преднамеренной стачки, и не только не распускалось в русской среде, а напротив, мало-помалу окрашивало ее в свой цвет. Само собою разумеется, что эта среда подчинялась не одним латинским влияниям. Отверстая для всего и ко всему восприимчивая, она проникалась еще охотнее либеральными стремлениями, совершенно искренними, но бесплодными по своей отвлеченности, и с особенною любовью лелеяла туман-

ные мечты о каком-то будущем духовном единении племен и правительств, в безразличном равнодушии ко всем формулам веры. Всякое, со стороны занесенное, учение, политическое или религиозное, всякая фантазия, всякий призрак могли, до известной степени, рассчитывать на успех и внушать сочувствие. Конечно, одно с другим не клеилось, но все вместе ускоряло разложение народных стихий, издавна начавшееся в нашем дворянстве. Таково свойство внутренней пустоты при легкой восприимчивости. По-видимому, все сияло благонамеренностью; зародыши всевозможных благих начинаний носились в общественной атмосфере; а между тем живое, народное самосознание гибло. При сильно развитом государственном патриотизме терялся народный смысл: историческая память была как бы отшиблена; непосредственное ощущение всего пережитого прошедшего в каждой минуте настоящего было утрачено; народный язык сделался как бы чужим, своя вера упала на степень всякой иной веры.

О вере в те времена рассуждали таким образом: все вероисповедания одинаково хороши – это был основной догмат передовых людей. «Следовательно, все одинаково дурны, – договаривали иезуиты, – и в сущности у вас нет определенной веры». В этом иезуиты были правы. На латинца, который бы вздумал перейти в православие, высшее общество взглянуло бы так же неблагосклонно, как и на православного, переходящего в латинство. И тот и другой, в его глазах, прослыли бы отступниками; мало того, оно нашло бы для второго обстоятельства, смягчающие вину – в обаянии высшей цивилизации и в искренности убеждения, заявленной смелостью поступка. Этот взгляд из общественной среды перешел в правительственную и прослыл терпимостью. Но под терпимостью подразумевалась не воздержанность от всякого правительственного вмешательства в дела совести и область веры, а напротив – вмешательство постоянное и кропотливое, только не в пользу какого-нибудь одного вероисповедания, а в пользу, или точнее, во вред всем, вмешательство во имя безразличия всех исповеданий.

«Удивительно, – писал министр духовных дел иностранных исповеданий митрополиту Сестренцевичу, – как это иезуиты не могут оставить в покое православных и лютеран? Ведь мы же подаем им пример, не позволяя даже господствующей церкви переступать свои пределы и посягать на другие вероисповедания». Понятно, что не свободе служила такого рода терпимость; напротив, она бессознательно умерщвляла духовную жизнь и рано или поздно должна была обратиться в пользу какой-нибудь хитрой и смелой пропаганды, избавив ее заранее от всякого честного противодействия.

И в эту-то дряблую и рыхлую среду, бессильную духом, оторванную от народной и церковной почвы, питавшей ее вещественно и духовно, врезались иезуиты с их строго определенным учением, во всеоружии многоиспытанной своей диалектики и вековой педагогической опытности. С какой стороны могли они встретить отпор? Со стороны ли последних монументальных обломков людей екатерининских? Но Шишков, Державин, Сестренцевич и немногие другие, уцелевшие от тех времен, угрюмо посматривали на новые порядки, не понимали их и не имели в них голоса. Со стороны ли нашего духовенства? Но в те гостиные, где царствовали иезуиты и где граф Местр доказывал, что православная церковь отложилась от римской и казнена растлением, наших священников не пускали; да притом, им ли, застенчивым, неловким, неопытным в управлении дамскими совестями, неспособным даже выслушать исповеди на французском диалекте, им ли было вступать в споры и выдерживать состязания, на которых судьями были бы князья и княгини, графини и графы, подкупленные вкрадчивым красноречием иезуитов и очарованные галантерейностью их обращения?

Дело обошлось не только без борьбы, даже без отпора. Дворянские души и дворянские капиталы сами собою устремились в раскинутые сети, так что необыкновенная легкость успехов иезуитской пропаганды удивила самого графа Местра и заставила его призадуматься. При всей бесконечной глубине своего презрения к русской знати, которого он и не

принимал на себя труда скрывать, такие результаты казались ему чудесными.

Припомним вкратце внешнюю, официальную обстановку иезуитов в те времена. По учреждении министерств все административные дела латинской церкви перешли из Духовной римско-католической коллегии в особое Ведомство иностранных вероисповеданий, порученное князю А. Н. Голицыну. Эта перемена смутила самого Сестренцевича, а граф Местр пришел от нее в ужас; но он скоро ободрился и увидел, что все пошло к лучшему – для иезуитов. О князе Голицыне он писал: «Уважаю его бесконечно как дворянина, как человека честного, умного, светского, как верноподданного, но во всем том, что бы надлежало ему знать, чтоб нас, т. е. латинскую церковь, понимать, об нас судить и управлять нами, он смыслит столько же, сколько десятилетний ребенок». Впрочем, и прежние действия нового начальника в то время, когда он был прокурором Святейшего Синода, кажется, могли успокоить покровителей латинства. Известно, что по возвращении из ссылки митрополит Сестренцевич, присмотревшись к крайнему расстройству вверенного ему управления, изготовил для поднесения государю подробный об этом доклад; но одному из членов Духовной коллегии, преданному душою иезуитам, удалось подкупить писаря, добыть копию с подлинной записки и предупредить ее действие, вручив государю возражение, в котором Сестренцевич выставлен был властолюбцем. Возражение было подано и подкреплено князем Голицыным, бессознательно послужившим орудием иезуитской интриги. Очень скоро вверенная ему часть утратила всякую инициативу и превратилась в простое агентство латинского духовенства, а он сам подчинился влиянию генерала иезуитского ордена Зборовского. Князь Голицын писал ему: «То, что нас с вами связывает – божественно» (ce qui nous unit est divin). Тут намекалось на какое-то таинственное, мистическое душевное сродство, и иезуит, конечно, не находил причины колебать в своем начальнике эту уверенность его во взаимном их обожании.

Выше было упомянуто, что при восстановлении Виленского университета учебному округу поручен был на общем основании надзор над всеми местными учебными заведениями, не исключая и иезуитских. Им захотелось от этого освободиться и, благодаря назойливости и ловкости своего ходатая, графа Местра, они достигли своей цели и получили даже то, на что в начале не смели и надеяться. По представлению министра народного просвещения, графа Разумовского, Полоцкая их коллегия была возведена на степень академии, то есть высшего учебного заведения; ей были предоставлены все права и привилегии университетов, наконец, все вообще иезуитские училища были подчинены ей непосредственно. Таким образом, у нас образовался новый учебный округ, иезуитский, обнимавший собою всю Россию.

Около того же времени министр внутренних дел князь Кочубей входил с представлением о разрешении иезуитам обращать в свою веру магометан и язычников. Херсонский генерал-губернатор герцог Ришелье вымаливал себе у князя Голицына партию иезуитов для местных колоний и вообще для просвещения края; сибирский генерал-губернатор Пестель требовал их также к себе для сношений с Китаем и для развития земледелия; их усердный покровитель и агент, Ильинский, водворял их на Волыни; маркиз Паулуччи тянул их в Ригу, граф Ростопчин звал их в Москву, а дети лучших фамилий ломились в их Петербургский пансион, без всякого на то разрешения, основанный ими для русских дворян. Все это вскружило им голову, и уверенность их в отсутствии чего-либо для них невозможного дошла до того, что они вошли с просьбою о передаче им Симферопольской соборной православной церкви и завели между собою переписку о том, что пора бы вовсе не допускать русских священников в русский пансион и совершенно устранить их от преподавания православного катехизиса.

Теперь посмотрим на результаты иезуитской деятельности в России. При императоре Павле латинская церковь в Петербурге была передана в их заведование, а в начале цар-

ствования императора Александра прихожане этой церкви подали просьбу об их удалении, показывая между прочим, что иезуиты запрещали им исповедоваться у прежних их духовников и допустили умереть без причастия многих, не хотевших исповедоваться у новых, непрошеных и вопреки их желанию навязанных им пастырей.

Иезуиты громко прославляли свою систему воспитания, уверяя, что она обратит юношество Западного края в надежнейших и вернейших подданных государя; между тем, часть воспитанников Полоцкой их академии, при вступлении Наполеона в Россию, перешла в его армию.

Они расточали перед правительством уверения в безграничной своей благодарности и, на словах, молили Бога даровать им случай доказать ее, а в 1812 году, когда, за отсутствием другого помещения в загроможденном городе, несколько русских раненых солдат положено было в полоцком академическом здании, они немедленно подали протест и потребовали, чтобы им не мешали в их занятиях.

В России и за границею они распускали молву о своих подвигах в наших дальних колониях на развитие просвещения и материального благосостояния местных обывателей, а главный судья попечительной конторы над саратовскими колонистами свидетельствовал, что благодаря вмешательству иезуитов хозяйственный быт колоний латинского вероисповедания приходил в упадок сравнительно с протестантскими. Подтверждая этот факт, инспектор немецких колоний Лашкарев прибавлял, что из приходо-расходных книг он убедился, что большая часть общественных доходов поглощалась содержанием иезуитов. Единовременно генерал-губернатор сибирский писал князю Голицыну: «Присмотревшись ближе к действиям священников ордена, я, наконец, убедился, что они вовсе не оправдали надежд, возбужденных при их водворении в Сибири, и что до сих пор край не получил от них ни малейшей пользы».

Иезуиты, в хозяйственном отношении, были у нас обеспечены с избытком. Лавки и всякого рода заведения, состоявшие

при переданной им Петербургской церкви, давали значительные доходы; в Белоруссии они владели недвижимыми имениями с приписанным к ним населением в 13500 с лишком душ; в одной Могилевской губернии – девятнадцатью мельницами и тридцатью тремя постоялыми дворами; наконец, не считая ни доходов от других церквей, ни добровольных приношений, они, продолжая восхвалять безвозмездность своего служения, получали от казны денежное содержание и поземельные наделы в размерах, далеко превышавших положение для православных священников*. При всем этом, их крепостные крестьяне терпели голод, а слепые и увечные целыми партиями бродили по окрестностям Петербурга, собирая подаяние.

Иезуиты не упускали ни одного случая закинуть камень в светские учебные заведения и заподозрить не только дух их преподавания, но и самую их нравственность; между тем, вот что пишет граф Толстой на основании иезуитских документов: «Чувство приличия не позволяет нам распространяться о противохристианских и даже противоестественных поступках некоторых из иезуитов, ни о постыдных пороках, *господствовавших в их училищах;* но мы считаем своею обязанностью заявить, что, если кто-нибудь из членов общества вздумает заподозрить правдивость нашего свидетельства, то мы будем вынуждены представить на суд публики подлинные документы, содержащие в себе неопровержимые доказательства гнуснейших дел, содеянных иезуитами». Книга графа Толстого вышла в Париже в 1864 году, но, сколько мне известно, никто доселе не принял его вызова; а это было бы гораздо доказательнее голословных заявлений вроде того, что иезуиты носят имя Иисусово, приносят бескровную жертву и сами ничего предосудительного о себе не рассказывают.

Наконец, иезуиты торжественно обязались воздерживаться от всякой пропаганды между православными и самым

* В Саратовской губернии и Новороссийском крае из одного государственного казначейства, не считая доходов из общественных сумм, на приход от 300 до 600 р<ублей> сер<ебром> и от 50 до 120 дес<ятин> земли; в Сибири на приходского священника – от 750 до 1800, на викария – от 250 до 300 р<ублей>. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

наглым образом нарушили свое слово. Не упоминая о многих других, они совратили, в глазах графа Ростопчина, его жену и в глазах своего покровителя, князя Голицына, несовершеннолетнего его племянника. Вы скажете, что пропаганда – назначение иезуитов и что следовало это предвидеть. Правда, но зачем же было давать слово, вопреки своему назначению? Вы скажете, что иезуитское слово не вяжет иезуитской совести и что вольно же было этого не знать – вы и в этом правы; но не удивляйтесь, что наведя справку и узнав, наконец, хотя и поздно, каких людей оно у себя приютило, правительство одумалось и показало им путь навсегда.

Вы утверждаете, что поводом к четвертому и последнему изгнанию иезуитов послужило будто бы «не иное что, как совращение православных в католическую веру», и советуете редактору «Дня», чтобы убедиться в этом, перечитать указ об их удалении. Позвольте и мне присоветовать вам перечитать кстати все четыре указа об удалении их из Петербурга и о закрытии их училища, от 20 декабря 1815 года, о распределении имущества и о долгах*, оставленных ими в Петербурге, от 25 мая 1816 г<ода>, и, наконец, о высылке их из России от 13 марта 1820 г<ода>. При самом беглом чтении вы удостоверитесь, что кроме совращений, на иезуитов падали и другие обвинения; а если вы захотите вникнуть в *смысл* высочайше утвержденного доклада министра духовных дел, то вы усмотрите, что иезуиты вызвали против себя негодование правительства и общества не пропагандою латинства вообще, а *обстоятельствами, ее*

* По высылке иезуитов из Петербурга насчиталось на них более 400 т < ысяч > р < ублей > долга; наличных денег, разумеется, не нашлось; но оказалось, что часть долгов была вымышлена и что часть показанных заимодавцев не объявила претензий; правительству пришлось, однако, принять на себя уплату за иезуитов половины показанных долгов, то есть более 200 т < ысяч > р < ублей >. В такую же сумму обошлась казне отправка иезуитов за границу. В бумагах иезуитов нашлась интересная рукопись: история общества иезуитского в России с 1772 по 1801. По свидетельству графа Толстого, в ней было 144 страницы; она содержала в себе обстоятельный перечень всех происшествий, относившихся до иезуитов, и всю их переписку с нашими министрами и с римским двором. Рукопись эта *пропала.* Как вы думаете, кто более всех заинтересован был в ее похищении? Я думаю, не жансенисты ли? *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

сопровождавшими: нарушением данного слова, употреблением во зло доверенности родителей, на слово отдававших им своих детей, наконец, вообще, *средствами,* употребленными ими в дело. Вы могли видеть из предыдущего, что я не принадлежу к числу безусловных поклонников александровской эпохи; но я отдаю справедливость людям того времени. При всей шаткости их понятий и неустойчивости их направления, они не терпели притворства, не мирились с обманом и ненавидели подлость: чувство чести и гражданской честности было в них живо и сильно развито. Это именно чувство и заговорило против иезуитов. Оно не вынесло их *воровских* приемов. Я произнес слово жесткое и не беру его назад. Пусть рассудят читатели, вправе ли я был употребить его. Иезуит, аббат Сюрюж, писал одному из своих собратьев о графине Ростопчиной, которую он совратил: «Несмотря на строгий мой запрет и несмотря на все мои увещания, она поведала тайну своему мужу... Этот необдуманный поступок срезал меня с ног». Он в другом письме объяснил следующее: «Зная край, я, из предосторожности, не возбуждаю рвения, а только направляю его, и в результате всегда оказывалось, что руководимые таким образом сами собою приходили к желанному концу. В сношениях моих с потаенною моею паствою (mes ouailles secre□tes) затрудняет меня более всего не исповедь, а приобщение. Исповедовать я могу во время гулянья, в гостиной, на людях, не возбуждая ни малейшего подозрения, но приобщая, я подвергаюсь гораздо большей опасности. Поэтому я просил бы вас сообщить мне ваше мнение об одном моем изобретении. Я придумал устроить серебряный ларчик, в который бы можно было укладывать святые дары (следует подробное описание его устройства и наставление как проносить его накануне в комнату причастника для того, чтобы он мог на другой день поутру, после обычной молитвы, приобщиться наедине). Таким образом, – продолжает изобретатель, – устранились бы, я думаю, все неудобства тайного приобщения».

Не забудьте, что в то время, как эти средства придумывались и приводились в исполнение, граф Местр писал и за-

верял, что иезуиты действуют всегда *открыто* и *гласно* или, как он выражался, маневрируют на площадях. Вы тоже в вашем письме повторяете «что иезуиты действуют *среди белого дня, открыто».* И после этого вы хотите, чтобы мы им верили на слово? Оставалось ряд этих проделок повершить отпирательством. Когда огласилось совращение молодого князя Голицына, иезуиты перепугались и поспешили заявить, что они не только не подговаривали его к переходу в латинство, а напротив, всеми мерами отклоняли его от этого. Вот как происходило дело, по их словам. Иезуит, гувернер князя, *почему-то* засунул в печь свой латинский часослов и как-то позабыл о нем, а молодой воспитанник его *какими-то судьбами* напал на книгу и *почему-то* впился в нее. Очевидно, тут действовали не люди, а благодать Божия! Но все это мелкое лганье бледнеет и исчезает перед уверениями орденского генерала Бржозовского. По высылке иезуитов из Петербурга, он написал государю: «Что касается лично до меня, то я никогда не отступал от высочайшего указа, воспрещающего кого-либо из русских привлекать в католическую веру; я даже неоднократно *внушал* моим подчиненным соблюдать его во всей строгости, и, сколько мне известно, никто из них не нарушал его. Ваше Императорское Величество сами в этом убедитесь, по миновании настоящего кризиса, и во всяком случае можете быть уверены, что у Вас нет в России подданных, более иезуитов послушных, верных и почтительных». Три года спустя государь проезжал через Оршу. Бржозовский не посмел к нему явиться, но в прошении, поданном им начальнику штаба, повторил следующее: «Я постоянно запрещал священникам моего ордена заниматься прозелитизмом в России и говорить о вере с русскими. Если кто-нибудь из иезуитов нарушил этот запрет, я заявляю, что это было без моего ведома, и умоляю Ваше Императорское Величество не вымещать на целом обществе вины одного лица».

Мне жаль, что нас разделяет такое огромное расстояние; если б я имел удовольствие быть с вами в одной комнате, я попросил бы вас на минуту отступить от орденского устава,

то есть поднять глаза и сказать мне ваше мнение: правду ли говорил генерал ордена или бесстыдно лгал, уверяя, что он запрещал своим подчиненным даже говорить с русскими о предметах веры и что он ничего не знал о совращениях?

Повествование свое об удалении иезуитов из России историк ордена Кретино-Жоли оканчивает следующими словами: «Род Романовых многим был обязан иезуитскому обществу (?!). Некоторые из членов его, против их желания (?), посвящены были Екатериною II и Павлом в разные тайны, семейные и государственные, и все-таки иезуиты допустили сына императора Павла удалить себя из России; они спокойно побрели в изгнание и *не захотели прибегнуть к мести, которая была бы для них легка»*.

Само собою разумеется, что все это ложь; никто никаких тайн иезуитам против их желания не вверял, и сведениями, выкраденными ими из России, они обязаны, конечно, собственному, долговременною практикою приобретенному, умению подслушивать и выглядывать; но не в том дело. Предположите на минуту, что иезуиты невзначай проговорились правдою, и вникните в значение этой самоаттестации в скромности: мы могли отомстить, огласив вверенные нам тайны, и мы смолчали; это выставляется как подвиг! Такая грозою подбитая похвальба лучше всего определяет нравственный уровень общества.

Теперь подведем итог под эту длинную историческую справку. Вы говорите: Екатерина, прозванная Мудрою, приютила в России иезуитов в то время, как вся Западная Европа их преследовала и выбрасывала; а я дополняю вашу ссылку: Петр I, прозванный Великим, застал иезуитов в Москве и выгнал их; Екатерина, прозванная Мудрою, дозволила им остаться в Белоруссии под условием ослушаться папы и перейти на ее службу; Павел I, никак не прозванный, принял их под особенное свое покровительство и испросил у папы восстановления ордена в России; император Александр, прозванный Благословенным, осыпал их милостями и дал им полную возможность развернуться на просторе, но затем,

узнав их короче, выпроводил их сперва из обеих столиц, а затем из России, и навсегда. Всего же с 1606 по 1820 год насчитывается пять изгнаний, кругом по одному изгнанию на каждое сорокалетие. Рассудите сами, что можем мы извлечь из нашего собственного исторического опыта.

На этом я мог бы остановиться, но мне остается дополнить этот беглый обзор наших отношений к иезуитам одною, хотя и мелкою, чертою, однако не лишенною для нас интереса современности. Вы помните, что граф Местр испрашивал для иезуитов права исправлять полицейскую службу или, как он сам выражался, права лаять на людей, если уж нельзя их грызть. Вы помните также, что еще до приезда графа Местра отец Груббер успел облаять митрополита Сестренцевича. Теперь вы увидите, что и по удалении иезуитов из России, после того, как правительство положительно и навсегда отказалось от их службы, лай, на сей раз действительно безвозмездный, не прекратился.

В 1840-х годах приехал в Москву, после долговременного пребывания в Париже, один из ваших собратьев, иезуит из русских, притом москвич, принадлежащий к одной из лучших наших дворянских фамилий, один из тех, которыми, по вашим словам, гордится Россия. Разумеется, он перешел в латинство и вступил в иезуитский орден тайно; никто в России об этом не знал, кроме одного из его друзей и товарищей его детства.

Он ехал домой с намерением ощупать почву, узнать настроение разных сословий и, по возможности, связать опять порванные нити латинской пропаганды. Покойный Чаадаев, принадлежавший по своему направлению к школе гр<афа> Местра, обрадовался подкреплению и ввел вашего собрата в общество московских ученых и литераторов. В то время оно распадалось на два кружка, так называемых западников и так называемых славянофилов. Первый и многочисленнейший группировался около новоприбывших из-за границы профессоров Московского университета и представлял собою отражение, в малом размере, господствовавшей в то время в немецком ученом мире правой стороны гегелевой школы.

В другом кружке вырабатывалось мало-помалу воззрение православно-русское, впоследствии выразившееся в трудах вам, вероятно, известных. Представителями его были Хомяков и Киреевские (припоминая эти давнопрошедшие времена, я брожу как на кладбище).

Оба кружка не соглашались почти ни в чем; тем не менее ежедневно сходились, жили между собою дружно и составляли как бы одно общество; они нуждались один в другом и притягивались взаимным сочувствием, основаным на единстве умственных интересов и на глубоком обоюдном уважении. При тогдашних условиях полемика печатная была немыслима, и, как в эпоху, предшествовавшую изобретению книгопечатания, ее заменяли последовательные и далеко не бесплодные словесные диспуты. Споры вертелись около следующих тем: возможен ли логический переход, без скачка или перерыва, от понятия чистого бытия, через понятие небытия, к понятию развития и бытия определенного (от sein, через nicht, к werden и к dasein)? Иными словами, что правит миром: свободно творящая воля или закон необходимости?

Далее: как относится православная церковь к латинству и протестантству: как первобытная среда начального безразличия, из которой, путем дальнейшего развития и прогресса, вышли другие, высшие формы религиозного миросозерцания, или как вечно пребывающая и неповрежденная полнота откровения, подчинившегося в Западном мире латино-германским представлениям и вследствие этого раздвоившегося на противоположные полюсы? Наконец: в чем заключается разница между русским и западноевропейским просвещением, в одной ли степени развития или в самом характере просветительных начал? Предстоит ли русскому просвещению проникаться более и более не только внешними результатами, но и самыми началами западноевропейского просвещения или, вникнув глубже в свой собственный, православно-русский духовный быт, опознать в нем начало нового, будущего фазиса общечеловеческого просвещения? Как отвечали на эти вопросы так называемые западники и

как отвечали на них так называемые славянофилы, объяснять нет надобности.

В Rue des postes № 18, вероятно, покажется странным, что люди русские могли в продолжение нескольких лет интересоваться подобными темами; еще невероятнее покажется, что люди неглупые могли так долго жить и жить умственною жизнью, в области отвлеченного умозрения, повернувшись спиною к вопросам политическим. Между тем, это несомненно. Я заявляю факт, заявляю его печатно, в такое время, когда еще живы некоторые из тогдашних деятелей, и смело ссылаюсь на их свидетельство.

О политических вопросах никто в то время не толковал и не думал. Это составляло одну из отличительных особенностей московского учено-литературного общества сороковых годов, которой не могли объяснить себе люди предшествовавшей эпохи. Они прислушивались и в недоумении пожимали плечами.

Ваш собрат принят был в так называемый славянофильский кружок с полным радушием. Таить было нечего, и никому бы в голову не пришло остерегаться. К тому же его общительный характер и живость располагали в его пользу и нравились всем. Он придирался к православной церкви, о которой не имел ни малейшего понятия, сыпал направо и налево выдержками из сочинений гр<афа> Местра и отца Розавена, проповедовал свое парижское латинство новейшего покроя открыто, свободно, ничем не стесняясь и, разумеется, без всякого успеха. Не ему было тягаться с Хомяковым. Скоро он это понял и уехал обратно в Париж, не успев даже раздать каких-то навезенных им чудотворных медалей. Там огласился его переход в латинство, и сношения его с Москвою прервались; по крайней мере, Москва потеряла его из виду.

Спустя лет шесть или семь, кажется, в 1850 или 1851 году, в Париже появилась книга*, посвященная вопросу о большей

* С месяц тому назад я получил от отца Гагарина (о книге которого здесь идет речь) литографированное письмо, в то же время разосланное им в редакции некоторых из наших газет. В этом письме о. Гагарин заявляет, между прочим, во-первых, что книга его (La Russie sera-t-elle catholique) вышла не в 1850 и не в 1851, а в 1856 году, во-вторых, «что он обращался в ней не к

власти, а к общественному мнению и никогда доносов не писал и писать не будет». Оба эти заявления требуют объяснения.

Четвертое мое письмо в ответ о. Мартынову я писал в деревне, не имея под рукою книги о. Гагарина; достать ее не было тогда никаких средств, и потому я определил время ее появления приблизительно, положившись на память, которая меня обманула. Охотно сознаюсь в невольной ошибке перед о. Гагариным и перед читателями.

Еще охотнее взял бы я назад мое суждение о направлении его книги; но, к сожалению, перечитав ее, я убедился, что в этом отношении память моя мне не изменила. Граф Местр в начале нынешнего века рекомендовал правительству иезуитское общество как надежнейшую из тайных полиций и, не без некоторого успеха, приспособил к России один из употребительнейших приемов латинской пропаганды: клевету, заподозревание намерения и возбуждение подозрения в представителях власти. На книгу отца Гагарина я сослался как на доказательство, что иезуиты и теперь не отказались от этой системы. Прав ли я был – об этом пусть судят читатели по следующим выпискам. Я привожу их буквально по переводу о. Мартынова.

«Взглянем теперь на приверженцев революции в старой московской партии (разумей: между так называемыми славянофилами). Всего соблазнительнее или, лучше сказать, всего обаятельнее действует на эту партию призрак троякого единства, духовного, политического и народного. Цель его – дать каждому из оных равный объем (?) и таким образом слить все в одно (??), и тем упрочить их торжество. Это начало применяется ко всей политике, как внутренней, так и внешней... Но кто не видит в этом огромном проекте революционного направления? И в самом деле, в глазах представителей помянутой партии, самодержавие ничто иное как путь к победе, орудие, необходимое для битвы, диктатура и т. д. Но когда пробьет для самодержавия роковой час, тогда, чтоб сбыть его с рук, выведут без всякого затруднения из этой же самой народности начала политические, как нельзя более *республиканские, коммунистические, радикальные.* Покамест эти начала стоят на втором месте, в тени; но они тем не менее важны в мнении людей, посвященных в тайны этой партии» (заметьте, по уверению о. Гагарина, он относится не к правительству, а к обществу).

«То же самое должно сказать о православии... В доказательство сказанного стоит только посмотреть, как скоро эти ревностные заступники православия ладят с последователями Гегелевой философии, касательно вопроса об отношении церкви к государству» (кто же это так легко ладил? Уж не Хомяков ли или Киреевский?).

«Наконец, даже и началу народности дано неестественное направление, делающее из нее постоянное орудие революции. Действительно, если бы желание удовлетворить требованиям славянской народности было искреннее, в таком случае *не следовало приносить народность польскую в жертву русской* (вот оно!), ни упускать из виду народность сербскую или чешскую» (это славянофилы-то упускали!).

«Из сказанного довольно видно, что кроется под пышными словами: православие, самодержавие, народность. Не иное что как революцион-

или меньшей вероятности обращения России в латинство. Автором ее был тот же ваш собрат. Сама по себе она замечательна только как признак крайней непроизводительности иезуитского воображения; в ней повторялись давным-давно выветрившиеся софизмы графа Местра с примесью нескольких, произвольно выхваченных и, разумеется, перетолкованных фактов; но все это служило только поводом или предлогом воспользоваться тогдашним настроением России. Книга вашего собрата появилась в очень для нас памятную эпоху, когда мы почему-то заразились чужим испугом и «убоялись страхом великим идеже страха не бе». Кто раздувал этот безотчетный, слепой и в то же время злобный страх, тот мог надеяться на успех. Ваш собрат это знал и указал пальцем на славянофилов как на кружок, в котором будто бы вырабатывалась *русская национальная формула революционной идеи.* Я знаю, что в те времена и у нас ходили такие же бредни; но они распускались людьми, не знавшими тех, кого они подозревали, или неспособными понимать их. Не таков был ваш собрат; по прежним личным своим связям он знал и, насколько был умственно развит, – *понимал.*

Для него нет оправдания в неведении. Что ж могло побудить его к заведомо фальшивому доносу? Ревность ли по доме Божьем, избыток ли христианской любви, сознанная ли несовместимость иезуитства с направлением мысли православно-русским или просто приказ начальства? Охотно принимаю последнее объяснение. Да, рукою его водила в то время не его личная воля; писал не человек, а труп, покорный жезл в чужой руке (per-inde ac si cadaver vel baculus).

ная идея XIX в. в восточном покрое. Сравните московских славянофилов с юною Италиею; вас поразит их сходство... Только сомнительно, чтобы западные демагоги, не исключая и итальянских, выдумали, для несомненного действия на массу народную, что-либо лучшее панславизма и т. д» (О примирении русской церкви с римскою, сочинение И. Гагарина, перевод И. Мартынова, священников *(sic)* братства Иисусова. Париж. А. Франк. 1858 г., стр. 80, 81, 83, 84, 85, 86).

Зачем о. Мартынов передал русской публике эти темные страницы из литературной деятельности своего собрата? Зачем сам о. Гагарин вынудил меня напомнить о них! *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

Над жалкою его книгою и над поступком автора покойный Хомяков в одной из своих брошюр сотворил суд и совершил казнь.

Вы эту книгу перевели на русский язык... Для кого? Не знаю; для той русской публики, про которую она писана, французский подлинник был бы понятнее. Не знаю также, сохранили ли вы то место, где говорится о наших революционных замыслах?

Один из новейших проповедников и писателей вашего общества в 1844 году предъявил смелое требование: j’oserais demander que l`on consentit a□ croire que nous so-mmes des hommes comme les autres et que nous n’avons ablique□ vraiment ni la dignite□ ni la liberte□ d’un esprit raisonnable*. Вы повторяете за ним и еще решительнее: «До сих пор я полагал, что у нас совесть та же самая, какая была до вступления в общество и такого же свойства, как и у всех прочих людей».

Что сказать на это? Без подразумеваемой оговорки, я не мог бы согласиться ни с Равиньоном, ни с вами. Позвольте мне лучше смолчать.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Перечитав еще раз ваше письмо к редактору «Дня», я нашел в нем несколько решительных заявлений, несколько намеков, советов и требований, о которых мне не пришлось еще сказать ни слова. Чтоб не быть перед вами в долгу, я постараюсь отвечать на все порознь и вкратце. Об одном лишь прошу заранее вас и читателей: не ждите от настоящего моего письма никакой связности; я иду по вашим пятам и подбираю оброн.

Кирилл и Мефодий, говорите вы, «вербовали славян в духовное подданичество папе», то есть проповедовали *папизм,* и потому латинская церковь причислила их к лику святых.

* De l`existence et de 1`institut des le□suites par le P. Ravignan, p. 112. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

Странно! Кирилл и Мефодий и тут же с ними рядом новопожалованный во святые Иоасафат Кунцевич: насадители православия и гонитель православия, учители славян и мучитель славян*. Кроме как в латинских святцах, нигде бы конечно им и не встретиться. Впрочем «мертвии срама не имут» и не протестуют, *ваши* это знают, и за недостатком живых крадут у православия покойников. Кстати, припоминаю я, что лет двадцать тому назад один из ваших собратьев вместе с покойным Чаадаевым решили на Новой Басманной признать папистами Киевских великих князей Ярослава и Изяслава, поговаривали даже о том, не захватить ли за один раз преподобного Сергия Радонежского, митрополита Филиппа и патриарха Никона, но, кажется, нашли, что еще рано. Что же касается до Бориса и Глеба, то они уж давно отвоеваны латинством.

Что ж из этого? Взводя на Кирилла и Мефодия эту оригинальную небылицу, вы конечно имели в виду подкрепить ее указанием на поездку их в Рим и на заступничество, оказанное им папою Иоанном VIII против притеснявших их латинских Паннонских епископов.

---

* У иезуитов давно принято за правило, всякого их собрата, погибающего насильственною смертью, чем бы насилие ни было вызвано, считать мучеником. В XVII веке генерал-губернатор Французской Индийской кампании Мартен, писал о них: s›ils sont assomes dans le pays pour leurs rapines on s›ils meurent de quelque mort violente, ce sont des martyrs (Hist. des Je□s. par l`abbe Guette□**е, т. II, р. 44). Не постигаю, как латинская церковь до сих пор не дога**далась причислить к лику своих мучеников Гришку Отрепьева? Он исповедовал латинство, обязался ввести его в Россию, благоволил к иезуитам, в чем только мог унижал православную веру, оскорблял благочестие наших предков и, наконец, погиб жертвою народного раздражения, им самим вызванного, точь-в-точь, как Кунцевич. Конечно, Гришке Отрепьеву предание не приписывает никаких чудес; но и этой беде можно бы пособить, по бывшим прежде примерам. Иезуит Рибаденейра, товарищ Игнатия Лойолы, в первом изданном им жизнеописании его сознавался, что Лойола не совершил ни одного чуда, и доказывал разными примерами, что обстоятельство это нисколько не умаляет его святости. Книга Рибаденейры вышла в 1572 году. Несколько позднее понадобилось произвести Игнатия Лойолу во святые; и тогда тот же Рибаденейра, в 1612 году, издал *сокращенную* его биографию, которая кишит чудесами. Право, подумайте об Отрепьеве, мы за него спорить не станем. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

Но разве это значит *проповедовать* папизм? Вы очень хорошо знаете, что отпадение Рима от Вселенской Церкви (по вашему – отпадение Восточной Церкви от Рима) совершилось не вдруг, не в один день и час, а совершалось постепенно и что в то время, когда подвизались славянские первоучители, оно еще не вошло во всеобщее сознание Церкви, как окончательно совершившийся факт. Вы знаете также, что в IX веке папизм в том смысле, в каком вы его понимаете, не существовал, или существовал в зародыше, и что притязание на главенство и непогрешимость развилось гораздо позднее и окончательно формулировалось не ранее как в XVI веке. В этом сознаются даже латинские писатели, сколько-нибудь серьезные и добросовестные.

Как же бы могли Кирилл и Мефодий *проповедовать папизм?*

Позвольте мне употребить сравнение и предложить вам на обсуждение вывод, совершенно аналогичный вашему. Во времена первой Французской республики генерал Бонапарт, командуя вверенными ему войсками, давал приказы и получал рапорты от своих подчиненных, служивших, как и он, единой и неделимой Республике. Доказывают ли эти рапорты и приказы, что сподвижники генерала Бонапарта, не дожившие даже до времени его консульства и сложившие свои головы в Италии и Египте, признавали в лице своего генерала *императора* Наполеона I?

А между генеральством и императорством расстояния меньше, чем между почетным первенством епископа престольного города и главенством непогрешимого первосвященника – государя.

Вы хотите нас уверить, что латинская церковь не только мирится *в настоящее время* с богослужебным употреблением славянского языка и с чином Православной Церкви, но искони благоволила к нашим обрядам. Давнишний замысел обратить православных в латинский обряд вы называете «голословным утверждением» (историю унии у вас давно положено игнорировать; пока успеют пересочинить ее). В

доказательство, вы указываете на известную буллу Бенедикта XIV, начинающуюся словами «*Allatae sunt*». Мы это слышали не раз, и не мы одни. Прием известен. Когда иностранные консулы доводят до сведения высокой Порты о периодическом возобновлении в Болгарии и Македонии резни, грабежа, насилий, поджогов и осквернения церквей, султан обыкновенно приходит в изумление и ссылается для своей очистки на всемилостивейшие фирманы, которыми обеспечиваются христианам личная безопасность и свобода веры. Глава правоверных на Западе делал и делает то же; но разница в том, что султан, может быть, и в самом деле, хотел бы оградить своих православных подданных от изуверства мусульман, да не имеет на то нужной силы, тогда как папы, в эпоху своего всемогущества, сознательно и преднамеренно допускали гонения. Понятно, что теперь им хотелось бы отбиться от докучливых напоминаний об этой эпохе; но как этого достигнуть?

Мы уж видели, что практика латинской церкви различает в буллах и декретах римских первосвященников как бы две струи: вольное и вынужденное или исторгнутое (extortum); мы видели также, что слывущее сегодня за вольное завтра может быть выдано за вынужденное, и наоборот. Бывали даже примеры, что, не выжидая другого дня, в то самое время как папа клялся в непринужденности своих слов и дел, правоверные его слуги уверяли весь мир, что он невольно подчинялся внешнему давлению и под влиянием страха или расчета не то говорил, что думал и не то делал, что хотел. Так Климент XIV заявил громогласно, что некоторые из его предшественников вынужденно утверждали привилегии иезуитского общества, а что он упразднял их свободно и по внушению Св<ятого> Духа; и в то же самое время, иезуиты уверяли, и теперь продолжают уверять, что наоборот, прежние папы действовали свободно, а Климент XIV позорно уступал угрозам. Несколько позднее, польский иезуит Бениславский распустил молву, будто бы Пий VI, беседуя с ним наедине, двукратно и решительно одобрил на словах восстановление ордена в пределах

России – «approbo, approbo!». Узнав об этом, папа выгнал его из Рима как отъявленного лгуна и в особенном, повсюду разосланном, послании, торжественно отрекся от приписанных ему слов. Казалось бы – чего же больше? Но иезуиты тогда же заявили и теперь повторяют в истории своего ордена, что лгал не их собрат, а папа, которого обстоятельства будто бы вынудили отпереться.

Кому же верить и когда верить? Что даровано и что исторгнуто? Где предел свободы и где начало принуждения? Разумеется, ни внешнего мерила свободы, ни верного признака принуждения нам не дают и не дадут; да оно и лучше: к чему отрезывать у себя пути к отступлению?

Та же тактика издревле применялась и к православным славянам. В массе булл, декретов и посланий, исходивших из Рима, действительно попадаются некоторые, благоприятствующие свободе языка и богослужебного чина; но встречается немало и таких, которыми притеснения оправдываются и даже вызываются. Латинским писателям хорошо теперь, смотря по надобности, ссылаться на те или на другие; да беда в том, что практика никогда не обращала внимания на первые и всегда руководствовалась вторыми. Этого отрицать нельзя; исторические факты не то, что папские буллы. Так велось искони и так продолжалось до тех пор, пока Римская церковь *могла* притеснять.

Чего же вы теперь от нас требуете? Вы хотите, чтоб мы согласились принять за *правдивое* выражение *свободных* внушений и *действительных* намерений римских первосвященников одни лишь акты первой категории; вы хотите нас уверить, будто бы все, что творилось вопреки им, делалось без ведома пап и в противность их воле, подобно тому, как, например, в России в начале этого столетия иезуиты совращали в латинство русских князей и графинь, будто бы без ведома и вопреки приказаниям своего генерала; наконец, ваши новейшие писатели настаивают на том, что, хотя бы далее сами папы в чем-нибудь и отступили от общей снисходительной системы латинской церкви, то и в этом случае мы напрасно стали бы их

обвинять, так как подобного рода отступления исторгались у них докучливостью польских прелатов.

Таким образом, какими-нибудь двумя или тремя листами бумаги думают теперь залепить еще не зажившие народные язвы Западной России и Украины.

Но почему же, по примеру самих иезуитов, не предположить обратного? Мне так кажется более правдоподобным другое объяснение. Я не отрицаю, что некоторые из пап, особенно в древнейшую эпоху, пока еще не успели погаснуть на Западе вселенские предания, оказывали иногда противодействие суровой исключительности, господствовавшей в их церкви; но это были исключения. Говоря вообще, латинской иерархии, начиная от папы и кончая последним приходским ксендзом, богослужебное употребление славянского языка и православный чин были всегда глубоко противны; она знала, что, пока народ остается при прежнем своем обряде, он внутренне держится прежней своей веры, и потому всегда и повсеместно стремилась ко введению форм латинских, допуская униатство только как переходную ступень*. Перегонка славян из православия в латинство производилась не в один, а в два приема и, сообразно этой системе, дано было общее направление латино-польской пропаганде. Понятно, что толкая униатов в латинство, нужно было в то же время заманивать православных в унию и для этого, хоть изредка, обнадеживать их обещанием неприкосновенности их обряда; нужно было также, по временам, сдерживать свирепую ревность ксендзов и шляхты, не в меру усердствовавших над униатами; наконец, в позднейшее время, когда Польша, измучившись на службе латинству, испустила дух, когда и в других землях отбился от латинства его заплечный мастер – le bras se□culier, на строгом лице первосвя-

---

* Это было высказано Антонием Поссевином еще около 1590 годов: illud considerandum videtur, num *ad tempus jam aliquid* Catholicis Ruthenis concedi posset, ut sacrum sive Ruthenice, sive Graece (sed Ruthenice imprimis) facere possent, ea enim magna videretur commoditas, sensim Ruthenos docendi et ad fidem Catholicam sic *alliciendi ut paulalim* a ritibus *minus bonis abducti,* aut antiques et legitimos Graecos amplecterentur, aut *deinde* ad *latinum ritum accederent.* Suppl. ad histor. Ros. Mon. p. 38, 39. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

щенника Римского заиграла улыбка благодушной терпимости. Этим бы ему и ограничиться, но, преобразившись в настоящем, он захотел покончить с преследованиями вообще и вздумал отречься от них задним числом за все истекшие века. Это уж гораздо труднее и едва ли когда-нибудь удастся. По моему мнению, в суровой исключительности и в гонениях выражалось *действительное* настроение латинства, а в проявлениях терпимости – невольная уступчивость, *вынужденная* рассчетом или бессилием. Говоря это, я имею за себя не только массу несомненных фактов, но и свидетельства самих папистов. Я указал вам на Поссевина, теперь укажу вам на одного из новейших, авторитета которого вы, вероятно, не отвергнете. Вот что пишет граф Местр в известной своей книге о папе: «В девятом веке, *слишком сговорчивый* первосвященник Иоанн VIII (pontife trop facile – это аттестация тому самому папе, который заступился за Кирилла и Мефодия против латинских епископов) разрешил славянам совершать богослужение на их родном языке, что, конечно, удивит всякого, кто прочел его письмо CXCV, в котором он сам *признает неудобства такой терпимости.* Григорий VII поспешил *отнять это разрешение;* но для России уж было поздно, и мы знаем, как дорого поплатился за это этот великий народ». Признаюсь вам, я думаю, что граф Местр посвящен был в тайны римской политики глубже, чем я и даже чем вы, и лучше нас обоих понимал ее дух.

Впрочем, какое бы чувство ни питали теперь ваши первосвященники к нашему церковному языку и обряду, это дело их, а не наше, дело их личного вкуса. На наши к ним отношения, на взгляд наш на латинство, оно не может иметь влияния. Пусть они восхваляют *почтенную* древность православной литургии и восхищаются *строгою красотою* нашего богослужебного языка – ни этими лестными эпитетами, ни даже безукоризненною правильностью церковнославянского шрифта, которым вы в таком совершенстве владеете*, нельзя замаскировать, хотя бы и в глазах благочестивой Москвы, глубоких, корен-

* Подлинное письмо отца Мартынова к редактору «Дня» писано было уставом. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

ных, непримиримых различий между Церковью и латинством. Что такое латинство и почему мы отвергаем его, объяснил вам покойный Хомяков в своих брошюрах, хорошо вам известных. Я утверждаю, что они вам известны именно потому, что все писатели ваши сговорились не упоминать о них; они охотно вступают в спор с Стурдзою и Сушковым, а от Хомякова отмалчиваются. Это благоразумно и осторожно; я даже думаю, что, будь он жив, вы бы не подали повода к настоящей нашей беседе. Более глубокого и полного определения *латинства* я не знаю. Но вам угодно предполагать, будто бы под этим словом мы разумеем только и исключительно латинский обряд; вы стоите на том, что одна лишь слепая привязанность к нашему церковному чину мешает нам повергнуться к стопам папы, и укоряете редактора «Дня» (если это не шутка) «в смешении веры с обрядом, существенного с второстепенным». Вольному воля. Это видно error invincibilis, как говорят ваши богословы, и я не берусь вас разуверить.

Латинская церковь, говорите вы, одна во всем мире осуществляет идеал *единства* и отличается от всех вероисповеданий своею *объединяющею силою;* в этом вы, разумеется, усматриваете признак полноты пребывающей в ней благодати. И это мы слышали много раз, притом не от одних латинцев, но, к удивлению, и от некоторых из наших единоверцев, отставших от одного берега и не приставших к другому. Отрешаться мысленно от всех вероисповеданий, сличать и взвешивать их недостатки и достоинства, с высоты своего бесстрастия творить суд над тем, чему толпа поклоняется – это своего рода невинная игра, которою до сих пор еще многие у нас любят побаловать себя в минуту безделья.

Единство, в области церкви, может относиться к доктрине и к жизни. Единство в доктрине значит определенность и неизменность догматов; в жизни единство значит согласие и любовь. У вас нет ни того, ни другого.

Вы указываете нам на раскол, то есть на разномыслие по вопросам о сложении перстов, о форме креста, о двоении или троении аллилуйи и тому подобных предметах. А я предло-

жил бы вам, если б не боялся слишком далеко зайти, навести справки в вашей латинской богословской литературе по вопросам более важным, например, хоть по вопросу о действии божественной благодати на человеческую волю или по вопросу о папе как главе церкви. Загляните в творения последователей блаженного Августина и в творения молинистов, перечитайте Беллармина и Боссюэта, и хваленое единство распадется в ваших глазах на самую нестройную разноголосицу. По каждому предмету, вы найдете, по крайней мере, два взаимно исключающих учения и между ними бесчисленное множество одно в другое переливающихся мнений. Пройдите потом в исторической последовательности ряд папских булл и цензур по тем же вопросам, и вы наткнетесь на осязательные противоречия, вперемежку с преднамеренными двусмысленностями. Без дальних объяснений, одно простое сопоставление их раскроет перед вами процесс сочинения догматов в ватиканской канцелярии. Вы поймете, отчего почти никогда папские буллы не оканчивали возбужденных споров, почему недовольные стороны продолжали, не стесняясь ими, отстаивать свои осужденные учения*, почему недоумения тянулись по целым векам и переходили в нескончаемые распри, почему наконец папы, для прекращения скандалов, так часто прибегали к обыкновенному в римской церкви, но странному средству, то есть, не решив дела в существе, издавали строгие запреты писать, толковать и говорить о спорных предметах. Средство, положим, очень простое; но, во-первых, для применения его нет надобности в непогрешимости, а во-вторых, это торже-

---

* Несколько примеров мы привели при разборе книги Бузенбаума; вот еще один. Известный иезуитский богослов Диана, разбирая вопрос, на который предложено было два ответа, положительный и отрицательный, говорит: «Мое мнение в пользу отрицательного; правда, что три папы решили вопрос в противоположном смысле; это доказывает, что они придерживались положительного мнения, но из этого вовсе не следует, чтоб отрицательное не было одинаково правдоподобно и безопасно на практике». В другом месте, тот же ученый, опровергая папский приговор, повторяет ту же мысль: «Не оспариваю, что папа сказал это *как глава церкви,* но все же он это сказал в сфере *своего* правдоподобия», т.е. в той мере, в какой его приговоры правдоподобны. Ellendorf, p. 72, 165. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

ство дисциплины, а не объединяющей силы, как понимает ее Церковь. Прокричать перед фронтом: смирно! не значить восстановить согласие и утвердить единоверие. В настоящее время богословские вопросы, так глубоко потрясавшие латинский мир в прошлых веках, сданы в архив и сделались достоянием специалистов; но под общим равнодушием кроется тот же хаос в понятиях о самых важных предметах церковного учения. Я уже не говорю о миллионах людей, числящихся католиками и ни во что не верующих; не говорю и о тех, которые сами себя называют католиками и считают папизм отжившим явлением; но попробуйте опросить нескольких взятых наудачу, из числа так называемых католиков, относящихся к своей церкви искренно и серьезно, притом из людей образованных, пожалуй хоть из духовных. Все, конечно, скажут вам в один голос, что папа глава церкви и непогрешим; но подите дальше и продолжайте опрос.

Тогда вы услышите от одного, что церковь *условилась* признать за папою непогрешимость, то есть *право* окончательного разрешения возникающих вопросов, потому что иначе споры длились бы без конца.

Другой ответит вам, что определения папы *действительно непогрешительны,* но в тех лишь случаях, когда они подтверждаются *согласием всей церкви* молчаливым, т. е. предполагаемым, или, в той или другой форме положительно выраженным.

Третий объявит вам, что церковь не более как обстановка папы, что он один ее единственный орган, что слово его *есть слово церкви* и, как безусловно обязательное само по себе, дальнейшего подтверждения *не требует* и даже не допускает.

Если вы захотите перейти к вопросу о том, что именно может быть объектом непогрешительного определения, то вы услышите от одного, что дар непогрешимости проявляется только в определениях о *предметах веры, то есть о догматах,* но не распространяется на разрешения *вопросов фактических.* Этого учения держались, между прочим, иезуиты в Китае и Японии, отвергая на этом основании обязательность

папских булл, в которых осуждались введенные ими языческие обряды.

Но вы услышите также, что в равной степени *непогрешительны и обязательны* определения пап по *вопросам фактическим* и что кто в этом отношении допускает какую-либо разницу, тот подрывает авторитет наместников христовых. Оказывается, что и это учение проводили те же иезуиты, правда, не в Азии, а во Франции, когда они напрягали все силы свои, чтобы выдать жансенистов за еретиков.

Вздумаете ли вы поразведать, как понимают так называемые католики отношение духовной власти к светской, и вам представятся три учения.

Вот одно из них: папе как главе церкви дана свыше *власть духовная,* и без нее папа немыслим. Власть светская, в пределах римской территории не более как факт *исторический;* она не составляет существенной принадлежности церкви и потому не безусловно необходима. Власть светская вообще, во всех ее формах (то есть королевская, народная и т. д.), ведет свое начало от Бога непосредственно и потому от папы *не зависит* и ему не подчиняется.

Вот другое учение, или точнее, оттенок первого: без политической независимости духовное главенство немыслимо, и потому светская власть папы, как государя, в пределах Римской территории, составляет *существенное* и *неотъемлемое* условие устройства самой церкви.

Вот третье учение: все исходящее от Бога идет через наместника Его на земле; поэтому *власть вообще, то есть всякая власть без различия, сосредоточивается в папе;* затем, переходя по делегации от него к епископам и к государям, она дробится на духовную и светскую; но представители той и другой, *как уполномоченные от папы* в двух различных сферах, подчиняются ему безусловно, и в этом подчинении находит свое оправдание и основание своей законности как духовная, так и светская власть.

Я указываю на понятия и взгляды не лютеран, не англиканцев, не православных, а так называемых католиков; все

они сталкиваются в пределах латинской церкви, внутри, а не вне ее. Каждое имеет в ней своих представителей, считающих себя правоверными и почитаемых таковыми; сама церковь это знает и не решается выйти из противоречий, в которых она запуталась; не решается потому, что непоследовательность всех существующих в ней школ, кроме радикальнейшей из них, так называемой ультрамонтанской, слишком очевидна, а ультрамонтанская, по самой своей логической последовательности, примыкает ad absurdum. В таком же безвыходном положении находится Латинская церковь и по вопросу о благодати; и здесь ей предстоит выбор между соблазном отречения и соблазном нелепости; она и воздерживается от выбора. Где ж единство?

Позвольте мне привести на память замечание, встреченное мною в одной из парижских Revues, в статье, писанной одною замечательно умною англичанкою, издавна поселившеюся во Франции: «Клерикальная партия не перестает уличать протестантство отсутствием единства и множеством сект, на которые оно дробится. Этого факта отрицать нельзя, особенно в Англии и Америке; но стоит лишь попристальнее всмотреться в здешнее общество, чтоб убедиться, что во Франции, даже в кружках, считающих себя правоверными, также мало действительного согласия и единства. Разница в том, что в протестантских землях каждое вновь возникающее учение, даже мнение, тотчас же дает знать о себе и, внутренне отделившись от господствующей церкви, добросовестно заявляет об этом фактическим от нее отпадением. Во Франции не берут на себя этого труда; религиозная производительность иссякла, а слабые отпрыски прежних учений давно побледнели и выцвели в общем равнодушии. Конечно, множество сект и пестрота вероучений далеки от евангельского идеала о едином пастыре и едином стаде; но если осуществление его предполагает искренность и последовательность, то протестантские общества едва ли не ближе к нему, чем латинские». Если б я счел себя вправе говорить о личных моих наблюдениях, то я прибавил бы, что это замечание применяется к Италии и Бельгии в той же степени, как и к Франции.

Говорить ли о бытовой стороне Латинской церкви и о единстве в жизни? Но вы сами знаете, что вся история ее представляет беспрерывную, скандалезную распрю монашеских орденов между собою и всех монашеских орденов с епископами. Где же согласие?

Наружное однообразие, которым прельщаются люди, не умеющие отличить однообразия от единства и никогда серьезно не изучавшие ни доктрины, ни практической стороны латинства, поддерживается в духовенстве деспотическою дисциплиною, а в массах равнодушием. Ничего особенно завидного я еще в этом не вижу. Вспомните, что делается у вас перед глазами. Папа издает окружное послание с целым каталогом, по его мнению, богопротивных тезисов, а французский министр внутренних дел забраковывает его, и Франция покоряется приговору своего министра. Итальянский король отнимает у папы две трети церковной области; папа протестует, грозит, отлучает, а Италия протягиваете руку за остальною третью. Все это совершается в конституционных землях, в которых правительства не могут же долго идти наперекор мнению и убеждению большинства. Чего ж вы смотрите? Если у вас такой избыток *объединяющей* силы, чтобы вам *объединить* сперва Италию и Францию? Мне кажется, это было бы нужнее всего для Римского первосвященника, которому угрожает остаться скоро не только без паствы, – это бы еще ничего – но и без французского конвоя и без бюджета, что гораздо накладнее.

Вы уверяете, что у нас в России «строгая фигура старообрядства растет» – и заявляете как *«совершенную правду,* что если б оно имело свою гласную иерархию, то в десять лет отторгло бы от Православия *все* крестьянство, *все* мещанство и даже *часть* купечества». Как это все ясно видно из Rue des Postes № 18!

Далее, вы сравниваете латинство с Православием и характеризуете последнее «внутренним бессилием, отсутствием свободной проповеди, ничтожностью результатов, страхом, отсутствием плодов духовной жизни и мертвою обрядностью».

В доказательство, вы ссылаетесь на Беллюстина, имея в виду, по всей вероятности, не только его статью, напечатанную в «Дне», но и известную книгу его о положении православного, приходского духовенства в России. Что ж нашли вы в ней?

Конечно, вы в ней прочли, что приходское духовенство в материальном отношении не обеспечено, в умственном, по скудости просветительных средств, мало развито, по системе воспитания и устройству своему замкнуто в касту, от произвола сверху не ограждено и призванию своему в отношении к вверенным ему паствам далеко не вполне удовлетворяет. Все это правда, хоть и не полная правда, а одна сторона картины, именно, та, которую автор счел нужным выставить. И это, по-вашему, улики против нашей *веры?* Это данные для сравнения Церкви с латинством? Удивляюсь, отчего вы не прибавили, что в России грамотность менее распространена, чем в Бельгии, полиция хуже, железных дорог меньше, а золото реже и дороже; кстати было бы подновить и старый аргумент, игравший такую важную роль в прежних полемических сочинениях латинских пропагандистов: я разумею турецкое иго, тяготеющее на наших восточных единоверцах; тогда бы вы окончательно победили Православие.

Заступаться за него я не стану. Теперь не время и не место. Каждая тема известным образом настраивает пишущего и читающего, и настроение это не может меняться с минуты на минуту. От разбора какой-нибудь ябеднической просьбы переходить прямо к комментарию на Апостольское послание, от Бузенбаума и отца Грубера к Святым Отцам Церкви, от казуистики в учении и доносов на практике к Православию, признаюсь, мне было бы даже совестно. Пожалуй, если измерять общественную нравственность количеством распроданных мнимо-чудотворных медалей, если принимать подложные откровения, вымышленные видения и другие оброчные статьи иезуитского хозяйства за признаки духовной жизненности, подпольные интриги за апостольские подвиги, театральность эффектов за чудеса живой благодати, искус-

ственное раздражение нервной системы за трезвое благочестие – то преимущество, без всякого сомнения, останется на стороне вашей.

Я ограничусь только одним замечанием. Иностранная литература богата сочинениями, в которых изображается яркими красками упадок римской церкви и жалкое состояние латинского духовенства*. Во многих из них слышна искренность скорбного чувства, добросовестность обличения и неподдельная жажда правды. В сравнении с этими книгами, статьи и книги Беллюстина бледны и бесцветны**. Ваш материал разнообразнее и богаче нашего – это первая разница,

* Для примера укажу на одну: De l›e□tat actuel du clerge□ en France par M. M. Allignol fre□res. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

** Я не хочу вдаваться в рекриминации, потому что считаю недобросовестным доказывать несостоятельность той или другой церкви равнодушием, невежеством или безнравственностью ее служителей; но чтоб читатели не подумали, что я воздерживаюсь от этого по недостатку улик, то приведу три факта. В XVII веке латинское духовенство, конечно, не могло пожаловаться на недостаток средств; при этом оно было несомненно просвещеннее других сословий и пользовалось огромным авторитетом у правительств и обществ. В это время 1) папа Пий V нашел нужным издать против Clericos Sodomitas строгие правила. Иезуитские богословы, Генрикес, Суарий и другие до того перепугались, что сочли необходимым ограничить их применение разными натянутыми толкованиями, между прочим, они стали доказывать, что папа подразумевал лишь тех, которые впадали в этот грех *многократно* и не умели предупредить огласки своего преступления. 2) Они же, то есть иезуитские богословы, говоря о законных и незаконных домогательствах непотребных женщин, нашли нужным упомянуть, в числе других категорий, о монашенках, промышляющих собою. 3) Они же, в исчислении случаев, в которых духовному лицу разрешается снимать с себя одежду, присвоенную его сану, признали нужным включить посещение непотребных домов. 4) Они же разрешили духовным лицам употреблять избыток от своих церковных доходов на приданое незаконным дочерям своим. Эти четыре указания могут служить масштабом нравственности, господствовавшей в цветущую эпоху латинской иерархии. Я заимствую их не из протестантских памфлетов, а из сочинений иезуитских богословов: это *не анекдоты, не частные случаи, не факты*, а *правила* и *толкования к правилам,* приспособленные к нравам сословия вообще. Ant. de Escobar, liber theologiae Moralis etc. Tract. I. Exam. VIII. Cap. III. praxis circa Sextum mandatum ex Societa Jesu doctoribus, pag. 201, §102. Trac. 6. Ex. VII. p. 103. p. 734. Tr. VI. Ex. 1. C. V. § 68. Ex. VII. C. VII. § 103. Filliucius. Tr. 31. C. 9 № 231. Ellend. pag. 71, 140, 242, 244. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

а вот другая. В статьях и в книге Беллюстина мы признали правду и внутренне поблагодарили автора, решившегося ее высказать; а вы всякому обличению противопоставляете систематическое отпирательство и преследуете обличителей как врагов вашей церкви. Иначе вы и поступать не можете. Мы смотрим правде, самой суровой и жесткой, прямо в глаза, потому что при всей нашей общественной и личной неправде, мы не боимся правды, зная, что наша вера есть сама правда; а вы отворачиваетесь от правды и невольно принимаете под свою защиту ложь и кривду, потому что торжество правды было бы гибелью для вашей веры.

Вы требуете для иезуитов права проповеди и состязания с нами во имя гласности и свободы. Вы повторяете слова редактора газеты «День»: «никто не приведет к связанному врага его и не скажет первому: борись с ним, но наперед развяжет связанного», и продолжаете: «связаны, конечно, не вы, а мы, (т. е. иезуиты); развяжите наперед связанных, или перестаньте бороться».

Здесь вы переходите на новую почву и затрагиваете чрезвычайно важный вопрос, не церковный, а гражданский – вопрос о терпимости. Позвольте же и мне предложить предварительный вопрос: вправе ли вы, как иезуит, возбуждать его и требовать для *своих* свободы состязания на одинаковых условиях с господствующею церковью? Я приведу справку, на сей раз последнюю.

У нас, в России, Антоний Поссевин, испрашивая *для себя* права оспаривать догматы Православной Церкви, умолял Иоанна IV *запретить лютеранам въезд в Москву* и получил урок веротерпимости от грозного царя.

В конце XVI века потребность коренного преобразования иезуитского ордена высказывалась повсеместно, так что даже некоторые из иезуитов сознавали ее; тогда генерал ордена испросил у папы Григория XIV строжайшего запрещения всем без изъятия, в том числе епископам, кардиналам и королям (выключая, разумеется, самого папу, иезуитского генерала и иезуитскую генеральной конгрегацию) не только в чем-либо

изменять или перетолковывать орденские конституции, *но даже возражать против них.*

В 1610 году, по поводу убийства Генриха IV, стали распространяться во Франции разные обвинения на иезуитов. Тогдашний главный их делец, отец Коттон, явился к генерал-прокурору с просьбою, от имени всего общества, позволить иезуитам обнародовать апологию в свою защиту, и в то же время издать *строжайшее запрещение кому бы то ни было отвечать на нее и оспаривать ее.* На сей раз отца Коттона прогнали.

В 1633 году возобновился во Франции и в Англии давнишний, в сущности, никогда не прекращавшийся, спор между епископами и иезуитами о правах и юрисдикции епархиальной власти. Много было написано брошюр, памфлетов и целых книг в пользу и против привилегий иезуитов; но, благодаря участию аббата Сен-Сирана (под псевдонимом Петра Аврелия) спор принял оборот для них невыгодный. Тогда они обратились к Людовику XIII с требованием королевского эдикта *о конфискации сочинений опасного противника,* которого они не в силах были опровергнуть и, добившись этого, сами спокойно *продолжали нападать на него.*

В 1658 году вышла книга под заглавием «Апология Казуистов», иезуита Пиро, вызвавшая во всем Французском духовенстве взрыв негодования. Парижский богословский факультет осудил ее, и почти все епископы, по поводу ее, издали пастырские увещания. Весь ход этого дела изложен был Парижским приходским духовенством в брошюре под заглавием *Дневник.* Отвечать было нечего, и духовник Людовика XIV, иезуит отец Анна поспешил *испросить высочайшее повеление о прекращении Дневника.* Таких примеров я мог бы привести сотни.

Вы понимаете, что я естественно должен заимствовать их из тех времен и местностей, в которых иезуиты пользовались авторитетом, имели на правительство влияние и потому могли проводить свои виды на практике. Не потребуете же вы, чтоб я вменил им в заслугу терпимость, ныне господствующую там, где они ни при чем, как, например, в Амери-

ке или Англии? Но я пойду далее и предоставлю вам самим разрешить вопрос. Скажите: если б вам удалось, теперь, во второй половине XIX века, отыскать уголок земли, в котором бы вам можно было овладеть совестью царя и народа или завести общественное и правительственное устройство совершенно по вашему вкусу (как это было в Парагвае в прошлом столетии); если б туда, к этому земному раю, пристала пария англиканских миссионеров и обратилась к вам с просьбою благословить ее на свободную проповедь и развязать ей руки на публичное состязание с вами – что бы вы ответили? Впрочем, нужно ли указывать на протестантов, когда можно сослаться на свидетельство латинских монашеских орденов, доминиканцев, францисканцев и других, которым иезуиты всевозможными интригами старались воспретить въезд в Японию? Я знаю, что вы теперь распинаетесь за свободу в тех государствах, в которых вы *не можете* ни притеснять ваших противников, ни даже контролировать чужие мнения; но есть и теперь отдельная небольшая область, управляемая по правилам строгого латинства. Пока она существует, посмотрим, что там творится. Как вы думаете, если б общество православных священников поселилось в Риме и вздумало попросить у папы разрешения издавать журнал для защиты Православия и облечения латинства, публично доказывать, что догматы об исхождении Святого Духа от Сына и о непогрешимости пап противоречат писанию и преданию; если б наконец это общество захотело обращать в Православие тех, разумеется, кого оно убедит, какой ответ на такую просьбу дало бы римское правительство?

Ссылаться на общее начало и требовать применения его к себе, может только тот, кто сам признает его и подчиняется ему. Оставаясь верными себе и латинству, вы, в настоящем случае, этого не хотите и не можете, а потому и мы не признаем за вами права обращаться к нам во имя свободы.

Признать или не признать ее, дать или не дать, если дать, то условно, и кому именно, или безусловно и всем – это дело наше, в котором вы не имеете голоса...

Моя беседа с вами кончена. Мне пришлось поневоле останавливаться долго на предметах, известных вам лучше, чем мне, тогда как лично для вас достаточно бы было кратких намеков, но вы сами пожелали, чтоб ваше письмо было напечатано и вызвали редакцию «Дня» на объяснение перед публикою. Пусть же она судит.

В заключение, позвольте мне дать вам бескорыстный совет: отложите попечение о России и не ищите в ней почвы для вашего сева. Поверьте, здесь ее нет. Недаром еще в 1571 году один из ваших первосвященников, Пий V, писал о русских: «не хочу иметь никаких сношений с этим диким племенем – cum lam feris gentibus». В утешение себе, вы можете повторить слова вашего братолюбивого пастыря.

Разбор сочинений К. Д. Кавелина «Задачи Психологии»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Статьи Ю. Ф. Самарина по поводу сочинения К. Д. Кавелина «Задачи Психологии» отчасти уже известны читающей публике. Первые две из них были включены К. Д. Кавелиным в его статьи, напечатанные в 1875 году в «Вестнике Европы» под заглавием «Психологическая критика, заключение Ю. Ф. Самарина на книгу Задачи Психологии». При этом, однако, К. Д. Кавелин с согласия Ю. Ф–ча, выпустил из его статей некоторые места, печатать которые представлялось в то время неудобным по соображениям личным и цензурным, а в других местах им была отчасти изменена редакция по тем же причинам. За смертью К. Д. Кавелина эти соображения утратили силу и значение, и потому теперь первые две статьи Ю. Ф–ча могут быть напечатаны без всяких пропусков и с восстановлением первоначальной редакции по подлинным рукописям.

Третья статья, состоящая из 16 отдельных замечаний, как по содержанию своему, так и по форме не предназначалась для печати и появляется теперь в первый раз.

Для лучшего уразумения статей Ю. Ф–ча, для объяснения, почему две из них, II-ая и III-я, являются в форме незаконченной, столь необычной для Ю. Ф–ча, необходимо изложить, на основании переписки его с К. Д–чем, все обстоятельства полемики их, продолжавшейся три года – с 1872 г. по 1875 г.; при этом мы не будем скупиться на выписки, так как переписка эта представляет интерес сама по себе и знакомит читателя с воззрением, правильность которого оспаривает Ю. Ф–ч в своих статьях. В мае 1872 года К. Д. Кавелин, выпустив в свет свою книгу «Задачи Психологии», послал один экземпляр ее Ю. Ф–чу и при этом, между прочим, писал ему: «Эдита Федоровна (Баронесса Раден) передала мне, что вы готовите замечания. Я их буду ждать с величайшим интересом (избегаю слово: нетерпение, чтоб вы не торопились и могли высказаться вполне). Едва ли нужно уверять вас, что только чистосердечное искание истины придает в моих глазах особенную важность вашему отзыву и вашему суду. Я ни одну минуту не обольщал себя мыслью, что вы согласитесь с основными предпосылками книги, но именно поэтому тем для меня важнее и дороже именно ваши возражения. Время взаимных благоразумных умалчиваний, лукавых словопрений давно прошло, принеся горький плод – совершенный хаос понятий о всех предметах первостепенной важности. Растление мысли требует радикального лечения, а оно одно только: правдивая проверка основных начал без задних мыслей и умолчаний, правдивая беспощадная критика. Вот чего я от вас жду, о чем усердно прошу. Что злоупотреблять доверием я не способен – вы это знаете. Здесь моя работа отозвалась как-то странно. Реалисты молчат и дуются. Вскользь выражается, что я мало знаком с естественными науками, что совершенно справедливо, но надо было бы показать, какое влияние имело это незнание на правильность выводов, а об этом реалисты молчат. Многие ставят мне в упрек, что, говоря о реалистах, я имею в виду одного Сеченова. Это тоже

справедливо, но зато Сеченов – единственный вполне последовательный реалист, проводящий свой взгляд, не морщась, до конца. С другими спорить трудно именно потому, что они не имеют строго проведенной доктрины и шатаются в разные стороны. Сеченов мне тоже обещал возражение (мы с ним много спорили на вечерах у Боткина), о чем я ему напомню письмом. Вообще же, судя по отзывам, которые мне удалось слышать о сю пору, оказывается, что люди у нас мало думают и больше пробавляются фразами. Признаюсь, я до сих пор считал лагерь реалистов и позитивистов крепче подкованным, чем есть на самом деле. Педагоги, от которых я тоже ждал серьезной критики, тоже молчат крепко. Получил анонимное письмо с разными комплиментами и с вопросом, отчего ни слова не говорю о религии и религиозном чувстве. А. Н. Аксаков упрекает, почему не изучаю спиритизма и в назидание прислал свою книжку об этом предмете. Вот и все. Есть и большие почитатели книги, но из них больше половины приписывает мне мысли, которых я не выразил и не разделяю. Потому ли, или вследствие того, что у нас разговоры и печать не выражают действительного общественного мнения, но книжка идет в продаже довольно бойко по теперешнему глухому времени. Еще нет двух недель, как она вышла, а уже экземпляров сто разошлось. Летом займусь критической статьей по поводу Гартмана «die Philosophie des Unbewussten». Книга выдержала три издания в два года, производит огромное впечатление в Германии, написана умно, общепонятно, содержит массу материала, недурно сгруппированного, множество дельных мыслей, но в целом показывает упадок, оскудение философской мысли в Германии. Мне хочется показать это и кроме того, воспользоваться книгой, чтоб разъяснить, дополнить свою работу. Необходимость связно, последовательно излагать мысль заставляет жертвовать эпизодами, пространными отступлениями. Все боишься нарушить соразмерность частей, гармонию целого. Критическая статья о книге развязывает в этом отношении руки и дает необходимый простор. Не знаю, успею ли кончить за лето. Одна толковая передача содержания книги возьмет много труда и времени. Ищу

переводчика для своей книги на немецкий язык и не нахожу. Платить я не могу за перевод, но предлагаю его проверить и исправить. Тургенев писал Юльяну Шмидту, но ответа пока нет. В Германии надо бы найти больше читателей, понимающих дело, чем здесь, на Руси. Готовлю также материал для очерка истории философии по программе, которую поместил в своей книге. Недавно читал историю философии Стекля (его есть замечательная история философии в средние века) и был несказанно обрадован, убедившись, что по высказанным у меня мыслям материал для истории философии располагается совершенно легко, просто и удобно. Теперь занимаюсь, в редкие минуты досуга, чтением истории Индии Дункера для загрунтовки изучения Индийской философии».

Ю. Ф. Самарин очень заинтересовался книгою К. Д. Кавелина. Среди своих общественных и публицистических трудов он с удовольствием уделял время занятиям философским и богословским. Эти «нерукотворные вершины человеческой мысли» с молодости привлекали к себе Юрия Федоровича; восходить на них служило для него лучшим отдыхом от трудов, посвященных злобе дня. Поэтому, он с полною готовностью взялся исполнить просьбу К. Д. Кавелина. Вот что он отвечал ему из Москвы 15 июня 1872 года на вышеприведенное письмо: «При первом чтении (книги «Задачи Психологии») я уже набросал кое-какие отметки, а все-таки я еще не уверен, удастся ли мне написать что-нибудь сносное. Я, разумеется, не буду гнаться ни за полнотою, ни за стройностью изложения, буду иметь в виду не публику, а исключительно вас, зная хорошо, что вас интересует предмет сам по себе, а не диспут о предмете; но все-таки мне хотелось бы, чтоб вы могли уразуметь из моего письма, почему не удовлетворяют меня те выводы, к которым вы пришли, и почему я не могу признать за ними свойства окончательности. Попытаюсь, и попытаюсь добросовестно, отложа в сторону всякое авторское самолюбие – вот покуда все, что я могу сказать. Предстоящий мне дальний путь за Волгу, может быть, поможет мне отрешиться от обычных забот и занятий и отыскать опять тропу в другую область, в ко-

торую мне уже давно не приходилось даже заглядывать. Здесь, к сожалению, мне ни с кем не довелось поговорить о вашей книге, хотя я выискивал случая. Участие к философским вопросам совершенно исчезло; даже те, которые, по-видимому, интересуются ими, в сущности только увлекаются полемическим задором. Их тешит безоглядный размах крайнего радикализма, а это, на мой взгляд, есть один из признаков той же умственной и душевной лени, которая заставляет людей иного темперамента или возраста искать такого руководителя совести, которому они могли бы раз навсегда поклониться своею духовною свободою. При всем моем коренном разномыслии с вами, я не только отдаю вашему труду должную справедливость, но искренне радуюсь ему». Согласно своему обещанию, летом 1872 года, Ю. Ф. <Самарин> занялся изучением книги К. Д. Кавелина, и в октябре окончил разбор основных положений и выводов, к которым пришел К. Д. в своих «Задачах Психологии». Разбор этот составил содержание обширного письма, которое печатается вслед за сим, как статья I-я.

К. Д. Кавелин, получив от Ю. Ф. Самарина этот отзыв о своей книге, немедленно отвечал ему письмом от 5 ноября 1872 года: «Третьего дня я получил ваше письмо, глубоко и душевно уважаемый Юрий Федорович. Весь лексикон слов для выражения хороших чувств так в наше время опошлился вследствие лганья, что я затрудняюсь, как бы передать вам приличным образом, сколько я быль польщен и тронут вашим участием и вниманием. У вас столько своего дела, что я не могу иначе принять ваше письмо, как жертву, которой предшествовала еще другая, большая – целый подвиг внимательного разбора книги. Что я польщен и вашим сочувствием и вашими строгими приговорами – это, конечно, в порядке вещей. Не только я, но и большинство людей более и более склоняется к той мысли, хотя покамест как-то чутьем, бессознательно, что суждение и приговор не есть акт одной интеллигенции, а прежде и больше всего – нравственного характера. Наконец, рассматривая ваше дорогое письмо с чисто внешней, объективной точки зрения, я вам за него благодарен, потому что оно до сих пор – единствен-

ная серьезная и сильная критика моей работы. Не считая похвал и ругательств, напечатанных в журналах и газетах, критик до сих пор появилось только две: Сеченова – в «Вестнике Европы» (ноябрь) – и в «Отечественных Записках» (август, октябрь и будет еще в ноябре); но обе сверх ожидания слабы, вертятся на мелочах, на недоразумениях и обходят суть дела. Только вы взглянули на вопрос в самой его сути и даете мне возможность проверить свои мысли с той стороны, с которой другие мои противники взглянуть на дело не в состоянии, – а это услуга неоценимая. Этого мне именно и недоставало. Первая мысль после внимательного прочтения ваших замечаний, в два приема, была отвечать вам на возражения капитальные и тем косвенно перенести вопрос с книги па самый предмет, составляющий основу глубокого разномыслия. Но потом я от этого отказался по двум причинам: во-первых, мне хотелось горячо поблагодарить вас как можно скорее, а чтоб вместе с тем и поднять разные вопросы, пришлось бы писать большое письмо, следовательно, оттянуть ответ надолго; во-вторых, я спросил себя: в какой мере я уполномочен дотрагиваться до вопросов, составляющих глубочайшее личное верование, в частном и личном обмене мыслей, когда точки исхода так радикально противоположны? Я просил у вас хлеба и вы мне дали хлеб. Что ж бы я был, если б в благодарность за это я поднес вам камень? Совсем другое дело – безличное обращение к публике; тут я высказываю то, что думаю, не стесняясь нимало тем, что мои выводы могут тому или другому не понравиться. Конечно, есть еще и средний путь: я могу отвечать на ваши возражения и замечания, насколько они касаются моей работы, насколько они раскрывают ее слабые стороны. Это я считаю обязанностью сделать и непременно сделаю в другом письме, чтобы не откладывать этого в долгий ящик… Теперь я засел за чтение психологических работ английских и французских, с которыми был знаком очень поверхностно, по отзывам. Меня упрекнули, и справедливо, в незнакомстве с тем, что сделано по вопросу, который меня интересует. Но до сих пор сделанное меня мало удовлетворяет. Есть превосходно обработанные

частности; в целом же недостает весьма капитального: сознание, самосознание, свободная воля – или едва поверхностно и неловко затронуты, или отвергается вовсе их объяснение из боязни впасть в метафизику, а без попытки ввести и эти предметы в круг положительного научного исследования психология не может иметь твердой научной почвы; самая среда, где совершаются явления, называемые психическими, остается зыбкой и спорной. Логически формы этой среды превосходно разработали немцы, но о них ни французские, ни английские исследователи-психологи знать не хотят, как о метафизиках. Выходит, что чутье меня не обмануло и что я прав, считая их труды очень односторонними. Совсем другое вы и ваш взгляд. Нас действительно разделяет непереступаемая бездна, и я пока напрасно ломаю себе голову, придумывая, на какой почве мы бы могли разрешить вопрос, кто из нас прав и в какой мере. У меня есть твердое, непреклонное убеждение, что на почве положительной науки можно побороть и материализм и отрицание свободной воли и нравственного мира, отворить наглухо закрытую теперь дверь к нравственному развитию личности. Но какими путями сойтись воедино с вами и вашими сторонниками – решительно не знаю. При других условиях цензуры, может быть, нашелся бы способ, хотя я теперь его и не вижу и не подозреваю... Теперь ближайшая задача – разъяснить по поводу возражений мысли о психологии, привести к молчанию крайних материалистов, которые смущают поверхностных людей своею непоследовательностью. В связи с этим начну на днях писать статью о новоявленном философе Гартмане, который собрал интересные факты о бессознательной целесообразной деятельности природы и человека, но сделал из них безобразнейшие выводы на Шопенгауэровский лад. Немецкая философия окончательно умирает».

Намерение, высказанное К. Д–чем, написать еще письмо, в котором он предполагал отвечать на возражения и замечания Ю. Ф–ча <Самарина>, насколько они касаются его работы, хотя и было осуществлено, однако нескоро и не совсем так, как он первоначально предполагал. Сначала он занялся другими воз-

ражателями на его книгу. «Читали ли вы статью Сеченова? – писал К. Д–ч 10 апреля 1873 года. – Ею недовольны даже его поклонники и реалисты по убеждению и по призванию. Статья по-моему тоже слаба. Такая profession de foi главы школы (в России) не послужит к утверждению доктрины. И то великое дело, что из неприступной высоты порешенных вопросов, из которой сыпались, в виде манны, одни аксиомы и изречения истин, школа опустилась на арену дискуссии, и каждый может теперь сам судить, кто прав и кто нет... Нынче летом займусь в деревне разбором всех возражений (часть уже написана) и к осени преподнесу моим противникам в «Вестнике Европы». Дело выясняется, и я этому до смерти рад. Это – большая заслуга моей работы, хотя бы от нее и не осталось живой строки». На вопрос о критике Сеченова, Ю. Ф. <Самарин> отвечал в письме 20 апреля 1873 года: «Я еще не дочитал статью Сеченова и потому не решаюсь судить о ней. Правда, произвольное сужение источников и путей познавания, вообще, видно на первых же страницах, но все же нельзя не признать в его приемах отсутствия некоторых пороков, очень у нас обыкновенных, и не вменить ему этого отрицательного достоинства в заслугу. Я разумею отсутствие безоглядочной заносчивости, своего рода скромность, свойственную человеку науки, и довольно ясное разумение границ достижимого при тех средствах познавания, которыми он орудует и сам себя ограничивает. С такого рода противником можно, по крайней мере, договориться до конца, то есть до существенного разномыслия в исходных положениях, которые принимаются, но не выводятся. Искренне и от всей души желаю вам успеха в предпринятом вами труде, от которого я ожидаю многого, может быть, большего, чем вы сами».

Окончив осенью 1873 года и сдав в печать ответ на возражения Сеченова и других оппонентов своих, К. Д. возымел мысль на возражения Ю. Ф–ча <Самарина> отвечать тоже печатно и по этому поводу обратился к нему с письмом от 8 ноября, в котором между прочим высказал следующее: «С религиозной точки зрения возражали мне кроме вас еще двое и все в письмах. По самому свойству возражений, ваше занимаете

первое место. Согласиться с вами я не могу, как и вы не можете принять мою точку зрения. Но как для нас обоих дело не в занимательности турнира со всеми его мнимыми победами и поражениями, а в разъяснении вопросов, с каждым днем вырастающих в своей жизненности и важности, то было бы, мне кажется, особенно полезно для дела, если б до сведения читателей было доведено в печати только то из нашего спора, что, по зрелом обсуждении с обеих сторон и с общего нашего согласия, оказалось бы действительно предметом разногласия, а не случайных недоразумений, вертящихся часто на одном недосмотре или неловкой фразе. О других соображениях, чисто личного свойства, я считаю совершенно лишним распространяться, так как они подразумеваются сами собою. Не только с вами, но и с самыми несочувственными из моих критиков и был бы рад точно таким же образом столковаться перед печатным ответом в виду важности и серьезности вопросов. Все это дает мне решимость просить вас вот о чем. Ваши возражения я хотел бы, пользуясь вашим позволением, пропечатать вместе с моим ответом. Вчерне эта часть работы окончена нынешним летом. Будьте так добры, не откажите прочесть и то и другое в рукописи. Если вы найдете, что некоторые из ваших возражений вызваны одними недоразумениями, в которых отчасти виноват я сам, примите на себя труд сделать в рукописи те перемены, какие признаете нужными, вообще, дайте ей тот вид, в каком вы бы могли согласиться на ее напечатание. Вы, конечно, не захотите обидеть меня сомнением, что, при глубоком различии взглядов, я могу, пожалуй, впасть в искушение злоупотребить вашим доверием. Фокусы-покусы не властны придать лжи вид истины и запятнать правду. Мне же особенно бы хотелось как можно рельефнее оттенить в моей работе различие взглядов рядом с полнейшим отсутствием всего, что имело бы хотя тень придирчивости и раздражения».

Соглашаясь вполне исполнить выраженное в этом письме желание К. Д. Кавелина, Ю. Ф. <Самарин> просил прислать приготовленную им рукопись и при этом писал ему 11 ноября 1873 года: «Я вполне понимаю ваше желание и, как нельзя бо-

лее, сочувствую мысли сопоставить ваш и мой взгляд в форме возможно точной и ясной; но я предвижу, что при этом встречу те самые затруднения, которые издавна парализировали литературную деятельность покойных моих друзей, Хомякова и Киреевского. В виду предупредительной и карательной цензуры, довольно нетрудно, усвоив себе условную терминологию (ключ к которой у всех в руках), оспаривать и опровергать те начала, которых она считается оберегательницею. Доказательством может служить вся литературная деятельность Белинского, Герцена (в России), Добролюбова и других. Гораздо труднее писать в защиту этих начал, потому что здесь самые простые и ни в каком споре неизбежные приемы принимают невольно характер обвинений, по крайней мере могут быть приняты за обвинения. Впрочем, повторяю, я попытаюсь».

Выразив Ю. Ф–чу <Самарину> сердечную благодарность за изъявленное им согласие, К. Д. писал ему 24 ноября и 2 декабря 1873 года: «Только таким образом вопросы и разномыслия могут выясниться скоро, и читатели, интересующиеся делом, получат возможность знать, что думать о споре, который им преподносится печатно. Вы говорите о трудности возражать, не впадая в публичное обвинение. Я нахожусь точно в таком же затруднении относительно тех возражателей моих, которые подрезывают под корень самые основания нравственности. Сказать им это печатно, при наших условиях, немыслимо. Но если перенести дело на чисто научную почву, то возражение делается совершенно возможным и приличным. Правда, оно делается доступным гораздо меньшему числу читателей, но когда подумаешь, что те, кому будет не под силу следить за спором, большею частью любители эффектов и скандалов, то и перестаешь жалеть, что арена спора суживается. Вопрос должен быть выигран по существу, а по существу он может быть выигран только в тесном кругу серьезных, понимающих людей. Кроме того, я убежден, что общие теоретические обвинения в такой переразвращенной среде, какова наша образованная, не могут иметь того характера и значения, какой они имели лет 30 тому назад. Те-

перь ставится в вину не неверие, а убеждение какое бы то ни было. В этом отношении мы сильно развились – вперед или назад, это другой вопрос. Положение во многих отношениях разительно сходное с тем, какое было в начале христианской веры... Работаю над статьей о Сеченове и признаюсь вам, чем глубже в него вчитываюсь, тем больше работа его теряет цену в моих глазах... Наконец, основная мысль, служащая ему точкой отправления, если ее высвободить из папильоток, в которые она тщательно завернута, крайне беднее основной мысли материалистов, не имея за себя тех оправданий, которые служат смягчающими обстоятельствами для материалистов. Взгляд Сеченова, кроме того, что он неверен, вдобавок и не долговечен. Его страшная распространенность и авторитетность есть весьма печальный аттестат нашему времени. Если б можно было открыто полемизировать с вами и с серьезными поборниками религиозной точки зрения, это – говорю не в виде угодливой фразы – имело бы несравненно более благотворные последствия для народного сознания, чем разрушение карточных домиков, построенных Сеченовым. При малейшем возмужании мысли, они рассыплются сами собою».

В январе 1874 года Ю. Ф. <Самарин> кончил работу, на которую вызвал его К. Д.; он рассмотрел его рукопись, оставил без всяких перемен свою первую статью (т. е. разбор «Задач Психологии»), но написал еще статью, в которой в восьми отдельных замечаниях ответил на возражения К. Д–ча. Замечания эти печатаются вслед за сим, как II-ая статья Ю. Ф–ча. <Самарина>. Посылая их К. Д–чу, Ю. Ф. <Самарин> писал ему 2 февраля 1874 года: «Первое мое письмо пусть печатается, как оно писано. Если б я стал его переделывать, то и вы, вероятно, захотели бы дополнить или сократить ваш ответ на него, и так далее без конца. Я сделал только одну, чисто редакционную поправку в конце, заменив безличною формулою неуместное в печати прямое обращение к лицу. По прочтении замечаний вы сами увидите, что они писаны для вас, а не для публики. Не могу же я печатно выводить из ваших слов противоречия тому, что не может быть предметом гласного диспута. Но если бы

в этих замечаниях что-либо могло подать вам повод к новым дополнениям и объяснениям, и если бы вы нашли наиболее удобным изложить их в форме ответов на мои возражения, то я охотно предоставляю вам полное право пропечатать из них все те места, которые покажутся вам к тому пригодными, включив их в первое письмо или в виде отрывков из другого письма, по вашему усмотрению».

В ответ на это письмо, К. Д. Кавелин писал Ю. Ф–чу 13 февраля 1874 года: «Благодарности моей вам нет конца, поверьте, не в фигуральном смысле. Я не только благодарен, но глубоко тронут вашим вниманием и великим одолжением, которое вы мне сделали. Ни один из оппонентов, с которыми у меня больше общего в исходных пунктах, чем с вами, не отнесся к моей книге с такою серьезностью и желанием понять, что я хочу сказать, как вы. Очевидно, мне придется многое переделать в моих возражениях вам и во многих местах пояснить неточные выражения в моей книге, подающие повод к недоразумениям. Кто, как вы, глубоко вдумывался в какой-нибудь предмет, тот вполне оценит, как дорого для ищущего истины и правды, когда посторонний укажет ему промахи в выражениях и в самых мыслях, к которым он пригляделся и которые его поэтому не поражают. Ничего подобного я не нашел у других моих критиков, только вы меня освежили. Пользуясь вашим позволением, я введу многое из ваших дополнительных возражений в мой ответ, который переработаю под влиянием ваших замечаний. Но само собою разумеется, что очень многое и, конечно, самое существенное в нашем коренном разномыслии не может быть предметом публичного печатного спора. ...На этих днях вышло новое сочинение Бэна: Geist und Körper. В нем высказалась вполне невозможность разъяснить задачу психических явлений, не вводя в исследование сознания, которое современные психологи тщательнейшим образом обходят. Чувствуется в этой интересной книге, что границы возможного на пути современного направления психологических исследований достигнуты, и далее идти нельзя, а между тем идти далее нужно, потому что вопрос далеко не исчерпан. Поворот

в направлении неизбежен. Весь вопрос в том, пойдет ли он в вашу или в мою сторону. Попробуемте это определить».

Так как самое существенное в разномыслии К. Д–ча и Ю. Ф–ча <Самарина> не могло быть предметом публичного спора, то К. Д. прислал Ю. Ф–чу пространное письмо (26 февраля 1874 г.), в котором изложил (не для печати) свою исповедь; затем он переработал, в виду замечаний Ю. Ф–ча, свою рукопись, приготовленную для печати, включил в нее не только первоначальный отзыв Ю. Ф–ча о книге «Задачи Психологии», но и замечания, сделанные им на рукопись в первой ее редакции, и прислал ее вторично Ю. Ф–чу на «предварительную цензуру». «Я обязан это сделать, – писал он Ю. Ф–чу 25 июля 1874 г., – даже в юридическом смысле, потому что привожу ваши слова, иногда заменяя вашу редакцию другою, по цензурным соображениям. Мою редакцию вы тотчас отличите по прерывающимся кавычкам. В этой части моей работы вы, разумеется, полный, безапелляционный судья и хозяин. Затем, я прибегаю к вашей дружеской *помощи* построже процензуровать мой текст и устранить из него все то, что могло бы заключать в себе выражение, выходящее, прямо или косвенно, из границ спокойного и совершенно беспристрастного обсуждения. Я особенно дорожу тем, чтоб моя статья не имела характера заявления, бьющего на эффект, вертящегося около мысли поразить противника чем попало. То, что я говорю против вас, должно быть совершенно свободно от всяких красноречивых фиоритур, строго ограничиваться одними аргументами. Повторяю, вы мне окажете дружескую услугу, отнесясь с этой стороны с особенною строгостью к моей работе. Отвечая вам, я полемизирую не против вас только, но против целого образа мыслей, который вы формулируете, и только это оправдывает мою просьбу к вам. Заключительная, четвертая глава есть собственно приставка. Она нарушает гармонию целого, но я не мог удержаться и включил ее, как заключительное слово всей полемики по поводу «Задач Психологии»... Вы, вероятно, прочтете в деревне ответ мне Сеченова в июльской книжке «Вестника Европы». На его «Несколько слов» я послал в тот же журнал

свои «Несколько слов» в том же тоне. Очевидно, мои четыре статьи произвели свое действие... Его «Несколько слов» плохо скрывают отступление... Особенно для меня отрадно и утешительно то, что психологически вопрос шевелится, что кое-кто интересуется полемикой Сеченова со мною. Еще в Петербурге я получил сочувственное письмо из Немирова; на днях получил другое из Тифлиса. Оказывается, что и там явились два противника, из которых один, на публичной лекции, отрицал свободу воли, а другой в печати защищал ее. Тон полемики – невообразимый. Аргументы с той и другой стороны – детские. Но так или иначе, а все-таки вопрос идет, и безусловный прогресс Сеченовского воззрения начинает понемногу приостанавливаться. Это добрый знак, которому можно радоваться. Значит, люди стали думать. И то хорошо! От нашей с вами полемики я ожидаю много доброго. Число интересующихся ею будет несравненно больше, чем в моем споре с Сеченовым. Ни мои, ни его взгляды по психологическим вопросам не пользуются особенным сочувствием вне очень тесного кружка. Напротив, ваши взгляды, правильнее сказать миросозерцание, которое вы собою представляете, обнимает огромную массу людей. Кроме того, враги и друзья ваши интересуются вашими воззрениями и тем, как вы их защищаете. Наконец, в нашей полемике будут затронуты предметы, которые в светской печати в последние сорок лет не трактовались, о которых все хранили глубокое молчание. Конечно, это обстоятельство лишило нашу литературу жизненного нерва, что многие начинают понимать. По всем вероятиям, ни вы, ни я не откажемся от спора под благовидным предлогом, что, дескать, у меня в запасе громы и молнии, но цензура мешает мне пользоваться этими неотразимыми аргументами. При доброй воле и при взаимном уважении друг к другу полемика может до конца держаться на той высоте, которая ей обязательно указывается важностью предмета. Личности между нами немыслимы. Мы с вами можем представить поучительный пример полемики, какою она должна быть и какою ей давно пора сделаться. Я убежден, что наш спор, как и мой спор с Сеченовым, сведется

на вопрос о методе изучения и о законах познавания, только с той огромной разницей, что мы с ним, стоя на почве науки, никак размежеваться не можем, и один из нас должен уступить место другому, тогда как, при правильной постановке вопроса о методе, мы с вами, я полагаю, размежуемся. Если б это удалось, то великое дело было бы сделано: для русской мысли открылись бы широкие пути, которые теперь завалены. Если б не сразу была засыпана пропасть, разделяющая наши миросозерцания, то по крайней мере с обеих сторон были бы повыдерганы те ядовитые жала, которые держат русский ум на двух крайних оконечностях, искусственно разъединяя людей даже в том, в чем собственно и не следовало бы никогда расходиться. Вот с какими надеждами я посылаю вам свою статью на просмотр и цензуру. Во всяком случае, спор наш не пройдет незамеченным и принесет свои плоды. Время крайнего реализма начинает проходить; я имею на это доказательства, словесные и письменные, в отзывах молодежи».

Ю. Ф. Самарину не скоро удалось исполнить просьбу К. Д. Кавелина. Письмо его от 25 июня застало К. Д–ча за границею, откуда он отвечал 27 августа: «Я здесь пробуду недолго и не успел бы заняться вашею статьею с должным вниманием. Что я исполню ваше желание с радостью, совестливо и в меру крайнего моего разумения – в этом вы, я надеюсь, не сомневаетесь. До отъезда из Москвы я только *пробежал* начало вашей полемики с Сеченовым и не успел втянуться в дело, так что я ничего о ней не могу сказать. Здесь на водах принялся я за чтение Гартмана (Philosophie des Unbewussten). Помнится, если я не ошибаюсь, вы печатно или в разговоре со мною отзывались об этой книге с некоторым пренебрежением. Признаюсь: она превзошла мои ожидания и сильно меня занимает; я, впрочем, прочел еще только одну треть и еще не дошел до метафизики. То, что он говорит о присутствии и участии во всех жизненных процессах несознаваемых представлений и *особенно* несознаваемой воли, как посредствующего органа между сознательною волею и механическими аппаратами (нервною системою и т. д.), заслуживает полного внимания. Чуть ли это не открытие,

по крайней мере для меня. Правда, я встречаю много предубеждений и много недоговоренного, но в то же время я сознаю очень еще смутно (даже не сознаю, а просто ощущаю), что выводы, к которым он приходит, могут со временем примкнуть к таким началам, о которых он и не думает или с которыми он давно покончил. Подземная траншея, которую он ведет, должна, мне кажется, встретиться с другим, давно проложенным, но потом заброшенным путем». На это письмо К. Д. отвечал Ю. Ф–чу 4 сентября 1874 г.: «Я не удивляюсь, что первая треть книги Гартмана произвела на вас сильное впечатление. Она – свод опытов и наблюдений и в самом деле интересна в высокой степени. Но читайте дальше, выводы: это совершеннейший упадок не только философской мысли, но, что гораздо хуже, – требований, которые ставятся философии, как «Жизнь Иисуса Христа» Ренана есть признак не отрешения от христианства, а полного непонимания христианского идеала. Гартман есть прямой продолжатель Шопенгауэра, и его книга есть последний камень, положенный на могиле германской философии. После этой книги, возрождение ее немыслимо, как после Наполеона III возрождение политической жизни и свободы во Франции. Не спешите возвращением моей статьи. Чем вы ее спокойнее обсудите, тем лучше для дела. Но, признаюсь вам, мне было бы особенно дорого узнать ваше мнение о моей полемике с Сеченовым. Вы, разумеется, не можете разделять моей точки зрения вообще, т. е., я хочу сказать, той точки зрения, с которой я против него полемизирую. Но мое авторское самолюбие сильно заинтересовано слышать ваше суждение о том, в какой мере моя полемика, говоря объективно, сильна или слаба. Мне хочется воспользоваться удобным случаем, который недавно представился, познакомить европейскую публику с существенными пунктами моего спора с Сеченовым, и по этому поводу связно высказать, в нескольких словах, свой взгляд. Дело не совсем легкое, но я хочу попытаться. Увидим, что из этого выйдет. Речь идет о статье в Revue des deux Mondes, которую предполагается написать. Не будь я убежден, что я так же далек от позитивистов, материалистов и реалистов, как от

метафизиков, идеалистов и мистиков, я бы, конечно, и не подумал заявлять своих взглядов в иностранном журнале. Побуждает меня к этому глубочайшее убеждение, что никакой успех, выходящий из ряда технических усовершенствований, не мыслим, пока основные философские вопросы будут оставаться в теперешнем тумане, и не будут расчищены пути, ведущие к правильной их постановке. В этом только смысле я считаю некоторые из своих мыслей заслуживающими более серьезной критики, чем разбор пр. Сеченова и других. Бедность мышления просто поразительная, объясняющая, как нельзя лучше, бедность и пустоту нашей жизни, обставленной снаружи всеми принадлежностями науки, знания, цивилизации. Авось либо в Европе посмотрят на дело по- серьезней. А впрочем, может быть и там не посмотрят никак. Оскудение жизни и там заявляет себя несомненными зловещими признаками. По крайней мер надо попытать».

Но и по возвращении в Россию, Ю. Ф–чу <Самарину> не скоро удалось приняться за дело, требовавшее сосредоточенного труда и внимания. «Мне перед вами так совестно, почтеннейший К. Д., – писал Ю. Ф. 24-го ноября 1874 года, – что я не могу не написать вам нескольких строк себе в извинение. По приезде в Москву, я прочел вашу рукопись, отметил два-три места и собрался было отвечать вам, но тут открылось, ранее обыкновенного срока, Земское Собрание; утра проходили почти даром в общих заседаниях, а все вечера, до поздней ночи требовались для спешных занятий по разным комиссиям, для писания докладов и т. д. По закрытии Собрания, я вторично прочел рукопись, но тут начались заседания Губернского Училищного Совета, куда я попал в качестве члена от земства, заседания крайне раздражительные и продолжительные. Мне и товарищу моему приходится спасать от радикального искажения начатки нашего начального образования. Этого рода занятия отнимают немало времени, а главное держат мысль в каком-то лихорадочном настроении, никуда не годном для спокойного обсуждения общих философских вопросов. В довершение, генерал Фадеев прислал мне свою брошюру («Чем нам быть»)

при письме, в котором он прямо вызывает меня на объяснение и настоятельно требует ответа. Дело такого свойства, что уклоняться от этого нельзя. Такие же письма получили Черкасский и Аксаков. Очевидно, с той стороны ощупывается почва. Нужен ответ, зрело обдуманный. Вот почему я до сих пор не мог и в настоящую минуту не могу еще исполнить вашего и моего собственного желания; но, не откладывая далее, вот что я могу сообщить вам теперь же. Относительно той части вашей статьи, в которой вы излагаете мое мнение, я не могу сделать ни малейшего замечания и готов подписать ее безоговорочно. Это главное. Относительно дополнительной аргументации вашей о свободе, по поводу моих возражений, мне кажется, что вы только отодвигаете вопрос, не разрешая его; но это уже есть дело разномыслия по существу, которое не может быть поводом к каким-либо изменениям или исправлениям. Наконец, по вопросу о нравственности и о связи ее с верою вы делаете из моих слов выводы, на мой взгляд, не вытекающие из них: об этом собственно я и намеревался писать к вам. Тут, может быть, есть доля недоразумения, но оно такого свойства, что читатели, знакомые с Богословием, мне кажется, усмотрят его сами, без объяснений. Итак, вы видите из моих слов, что статья ваша может быть напечатана в том самом виде, в каком она изложена. Задерживать ее долее, без вашего на то согласия, было бы с моей стороны чересчур бесцеремонно. Поэтому прошу вас совершенно искренне – нисколько не стесняться и написать мне прямо: хотите ли вы, чтоб я возвратил вам вашу статью для напечатания или чтоб я оставил ее у себя еще недели на три и возвратил бы вам ее с замечаниями? На то и на другое я, с своей стороны, изъявляю вперед полное согласие. Читали ли вы Гартмана die Selbstzersetzung des Christenthums? Замечательное совпадение во взглядах современного представителя немецкой философии со взглядами французских аристократов XVIII века: un peu de religion pour museler la canaille».

К. Д. Кавелин отвечал Ю. Ф–чу <Самарину> письмом от 27 ноября, что ранее февраля его статья не может быть напечатана и потому нет причины торопиться присылкою замечаний.

«Что до меня касается, продолжал он, то я очевидно в выигрыше от этого замедления. Оба пункта возражения, на которые вы намекаете, для меня не совсем понятны, а через месяц я могу надеяться их прочесть в вашем изложении. Вопросы психологии и философии решительно начинают понемногу опять всплывать у нас. Я прочел в общем собрании Общества литературного фонда несколько заметок, смысл которых был тот, что у нас философия была до сих пор несерьезным делом, как в Европе, где она отвечала на жизненные вопросы; что поводом и побуждением к самостоятельному развитию у нас философии послужит наша нравственная негодность и что потому на первой очереди стоит у нас разработка этики на новых началах. К удивлению моему, это чтение было принято с сочувствием, которого я никак не ожидал. И не думайте, чтоб это была учтивость. Нет, я удостоверился, что слушатели в самом деле заинтересовались поставленными задачами. Другой факт: сын Соловьева С. М–ча, юноша, говорят, очень знающий, защищал недавно диссертацию на магистра. Тема – кризис европейской философии. Диссертация направлена против позитивизма. Я, к сожалению, не был на диспуте, но, говорят, прения были оживленные и народу множество. Тезисы, по мне, очень спорны. Соловьев, по-видимому, видит в Шопенгауэре и Гартмане проблески нового философского направления, тогда как мне они кажутся факельщиками и гробокопателями старой. Корш хотел, чтоб я написал рецензию на эту книгу, что я бы сделал с удовольствием, только боюсь, что мне отведут в газете мало места, а случай был бы отличный высказаться. Старая философия умерла, ее желание и попытки найти язык и формулы для того, чему учит религия, есть или наивность или лицемерие и мешает ей высказать последнее ее слово. Последнее же ее слово есть законы психической жизни, которые она призвана изучить и формулировать как положительный факт, явление, не подлежащее дальнейшему анализу. Явление и законы психической жизни отдельного лица, индивидуума – вот предел философии, которого она не переступит. Жизнь человеческого общества и рода человеческого только развитие различных комби-

наций, вытекающих из сожительства людей, находящихся на различных ступенях психического развития. Комбинации эти слагаются отчасти сами собою, по законам присущим самим явлениям, частью преднамеренно и умышленно, деятельностью людей. Поэтому, необходимое дополнение к психологии есть этика, учение о нравственности и нравственной деятельности, которое скорее есть искусство, чем наука. Последняя может только указать ее условия, ее направление, а не ее законы, потому что она не имеет законов, предполагающих непроизвольность. В сию минуту этика меня особенно занимает. Я много думаю о ней и готовлюсь, конечно не назначая себе срока, изложить ее научные основания в особой работе, в pendant к «Задачам Психологии». Выкопать заживо похороненного под развалинами философских систем нравственного человека, вызвать в нем жизнь отрицательными приемами, т. е. опровержением всего, что мешает ему жить и воспрянуть, поставить его снова центром, из которого идет нравственная жизнь и к которому она возвращается, развить в нем нравственное чутье, укрепить волю, возбудить творческую нравственную деятельность – вот задача нашего времени и ближайшего будущего, вот откуда, по моему убеждению, только и может начаться возрождение растленного и расслабленного образованного мира. Это та же самая задача, которая поставлена христианством, но которая теперь должна быть формулирована иначе, сообразно с другими понятиями и представлениями людей, вследствие сделанных с того времени огромных успехов в положительном знании. Я убежден, что и идеалы новой этики не будут ни в чем расходиться с нравственными идеалами христианства, разве только ярче должна оттениться деятельная сторона, чем созерцательная, тогда как христианская мораль сложилась под преобладающим влиянием созерцательного элемента над деятельным, творческим. Удастся ли все это хорошенько обдумать и ясно, точно выразить – не знаю, но очень бы хотелось. Тогда и умирать было бы легче».

В январе 1875 года Ю. Ф. <Самарин> окончил свои замечания на статью К. Д–ча во второй ее редакции и отправил

их К. Д–чу при письме 20 января, причем писал ему: «По прочтении прилагаемых замечаний, вы увидите, что они писаны не для печати и не для публики, а для вас лично. Краткости ради я называл вещи по имени и ограничивался одними намеками, не вдаваясь в развитие моих мыслей. Для вас, надеюсь, эти намеки будут понятны после всей нашей переписки и происходивших между нами разговоров. Изменить в чем-нибудь вашу статью или напечатать ее, как она есть, я предоставляю безоговорочно на ваше собственное усмотрение. Не настаиваю я на переделке тех двух или трех мест, в которых я не могу признать верного выражения моей мысли, совсем не из равнодушия, а потому, что читатели, знакомые с учением Церкви (единственные читатели, от которых я могу ожидать беспристрастного суждения), мне кажется, сами легко дополнят то, чего я не договорил или что было выражено мною слишком не точно. К тому же, надобно же когда-нибудь признать нашу полемику законченною; сама собою она едва ли может исчерпаться».

Приложенные к этому письму замечания Ю. Ф–ча <Самарина>, печатаемые далее, как III-я статья его, хотя и не вошли в статью К. Д. Кавелина, но не остались без влияния на окончательную, третью редакцию ее, в которой она появилась в майской, июньской и июльской книжках «Вестника Европы» за 1875 год. «По вашим последним заметкам, – писал К. Д. <Кавелин> Ю. Ф–чу 7 февраля 1875 года, – я внимательно пересмотрел свою статью, выключил из нее все, что относилось к мнениям, которые вы не признаете за свои, и отбросил совсем последнюю главу. Я убежден, что, поступив таким образом, я действовал не под влиянием одних личных соображений, очень для меня дорогих, но остался верен и строгой научной истине. Мне предстояло бы доказывать, что мнения, которые я считаю последовательными выводами из ваших предпосылок, действительно из них вытекают с строгою необходимостью, а это потребовало бы особой работы и, собственно говоря, не уложилось бы в рамки моей статьи. Разработав ее еще в эту сторону, я из обороны перешел бы в наступление,

для чего у меня нет достаточного материала в ваших ответах и возражениях. Основные различия наших воззрений выяснились совершенно определительно и за сделанными исключениями, и этим результатом следует пока удовлетвориться, при невозможности ставить вопросы начистоту. Я остаюсь при тезисах: 1) что свобода воли имеет такие же объективные признаки, как и всякий другой психический факт, и потому может быть не только опознана, но и доказана столько же, сколько и факты материальные; 2) что нравственность, не в смысле свода нравственных правил, а в смысле нравственного стремления, не нуждается в предпосылке религиозного свойства и может быть открыта, определена и формулирована, как обязательный для индивидуального человека закон или факт, путем положительного знания и 3) что религиозное миросозерцание в объективном смысле есть лишь фазис психического развития, который может удержаться в виде личного чаяния и убеждения, но, как система объективных истин, должен уступить место выводам положительного знания. Последнюю тему я считал бы возможным развить в следующих направлениях: а) религиозное миросозерцание должно быть перенесено в область, недоступную положительному знанию; б) теперешнее религиозное учение (т. е. христианство, в настоящем своем определении) носит в самом себе неразрешимые противоречия, и в) оно не дает твердых оснований для учения о свободе воли нравственности и знанию, или науке. Сделайте милость не подумайте, чтоб вследствие этих тезисов, месяцев через шесть, я снова вздумал бомбардировать вас томами своих рукописей, как делал до сих пор целых два года. Это можно сделать раз в жизни, а не два. Темы эти я буду развивать в «Задачах Этики», работе, за которую теперь примусь и которая меня глубоко занимает. Большим утешением для меня, при мысли о том, как я вас нещадно мучил и как вы великодушно поддавались этим мучениям, служит то, что взаимное отношение воззрений, которые выражаются в наших мнениях, в существенных чертах, выяснилось и притом, как мне кажется, в результатах, которым можно радоваться.

Оказывается, что, стоя на противоположных полюсах, мы, из различных предпосылок, приходим, в практических выводах, к одним и тем же результатам. Вы считаете меня непоследовательным, а свой образ мыслей – имеющим мало защитников и последователей в современном обществе. Я обращаю это замечание, теми же словами, к вам. Ваше имя – легион, весь русский народ, а у меня нет ни одного союзника и последователя. И тем не менее, нашей полемике, которая теперь пройдет, вероятно, незамеченной, я придаю величайшую важность. Наступит время, когда она послужит лозунгом и программой для мирного и любовного сожительства воззрений, теоретически исключающих друг друга. Я позволяю себе думать, что этот результат не есть дело личное наше, зависящее от наших индивидуальных свойств и расположений, а коренится в самой постановке нами вопроса. Наша особенность в том, мне кажется, и состоит, что наших взглядов не разделяет многое множество людей из нашего же лагеря только потому, что они не доводят своей мысли до конца и останавливаются на половине пути. Наши объяснения положат начало взаимному сближению противоположных воззрений, не в виде сделки или коалиции, а в смысле взаимного уразумения друг друга и возможно точного размежевания, указания границ, за которые переступать не должно в виду высших целей общежития и совокупной деятельности. А там, далее, больший опыт, успехи знания и исследований покажут термины, на которых возможно еще большее объединение воззрений, еще дальнейшее упразднение пунктов разномыслия. Не называйте меня фантастом за крепкую веру, что это именно так, что таков действительный, важный результат нашей полемики. Время идет не на вражду, а на сближение и соединение. Если огромное большинство впало в апатию, равнодушие и безмыслие, то это только оборотная сторона медали; они доказывают, что период вражды и страстных противоположений изжит и приближается пора нового научного синтеза. В глубоком чаянии, что время это наступает, я тщательно повычеркал в своей статье все, что хоть издалека могло походить на бездоказательное

вкладывание в уста и мысль противника того, чего он не говорит положительно и ясно. Начало последней главы я переделаю заново, совсем выключу то, что там сказано о вас и Сеченове, и пущу особой статьей, потому что, сама по себе, эта глава мне нравится и напечатать ее полезно».

Так закончилась эта полемика или переписка, продолжавшаяся без малого три года, замечательная как по затронутым в ней вопросам, так и по тому, редкому между людьми столь противоположных взглядов и убеждений, как Самарин и Кавелин, спокойному и доброжелательному тону мирной дружеской беседы, который ни разу не изменил ни тому ни другому. Для обоих дело было в выяснении истины, а не в литературном турнире; оба интересовались самым предметом, а не спором о предмете. Поэтому и спор их велся так, что может служить поучительным образцом добросовестного научного диспута. «Когда-нибудь, – писал К. Д–ч <Кавелин> Ю. Ф–чу <Самарину>, – в удобное время, наш спор будет кому-нибудь полезен, особенно тоном спокойного и беспристрастного обсуждения, который утрачивается более и более».

Итак, I статья Ю. Ф–ча <Самарина> есть отзыв его о книге К. Д. Кавелина «Задачи Психологии»; II состоит из восьми отдельных замечаний на статью К. Д–ча «Психологическая критика» в первоначальной ее редакции; III-я заключает в себе еще 16 новых замечаний Ю. Ф–ча на ту же статью К. Д–ча, но в редакции, измененной им ввиду первых замечаний Ю. Ф–ча. Вторые две статьи написаны не в виде связного цельного изложения, а отдельными заметками, предполагающими со стороны читателя знакомство с теми местами статьи К. Д–ча, на которые Ю. Ф–чем направлено было возражение. В виду этого, в подстрочных примечаниях приведены нами выдержки из статей К. Д. Кавелина; к сожалению, не везде оказалось возможным это сделать, так как сами статьи К. Д. Кавелина переделывались под влиянием замечаний Ю. Ф–ча, и печатный их текст далеко не совпадает с тем текстом, который был перед глазами Ю. Ф–ча; в некоторых местах печатного текста значительно переделано изложение, в других вы-

пущено все то, что давало повод к недоразумениям, наконец, в нем совершенно исключена К. Д–чем вся заключительная четвертая глава или статья.

Несмотря на это, все возражения и замечания Ю. Ф. Самарина печатаются целиком, в том самом виде, как они были написаны. В этих отрывочных набросках и заметках найдется не одна новая черта для характеристики духовного строя Юрия Федоровича и задушевных его мыслей по таким вопросам, по которым ему, к сожалению, не суждено было высказаться вполне и поведать все, им опознанное.

Д. Самарин

I

Vaut mieux tard que jamais[1] – гласит пословица, и вы видите, почтеннейший Константин Дмитриевич, что я широко воспользовался правом, которое вы мне дали, не стесняться никаким сроком. Зато я прочел вашу книгу два раза, от доски до доски; некоторые главы прочитывал раза по три и при самых благоприятных для меня условиях, то есть в деревне, где я не хозяйничаю и потому остаюсь полным хозяином моего времени и моего внимания. Для оценки вашей книги нужны, конечно, читатели компетентные, к которым я не имею ни малейшего основания причислять себя; но могу сказать, что если между ними окажется хоть несколько таких, которые отнеслись бы к ней так же внимательно, как я, то вы будете в праве сказать, что потрудились не даром.

При чтении, я испытывал двойственное впечатление, частью отрадное, а частью грустное. С одной стороны, мне было приятно увидеть опять нерукотворные вершины человеческой мысли, давно меня манившие, и на которые я тоже пробовал когда-то взбираться; с другой, ввиду знакомой, ни в чем не изменившейся обстановки, я не мог не почувствовать живее, чем когда-либо, что умственное зрение мое притупилось, и что

ноги мои скользят на гладких подъемах. Потому не требуйте от меня многого. Предупреждаю вас заранее, что вы получите не разбор, а бессвязные впечатления старого инвалида, давно выписавшегося из действующей армии.

Прежде всего, ваша книга поразила меня богатством мастерски конденсированного содержания. В какой мере оно принадлежит исключительно вам и в какой мере было подготовлено другими, об этом я не могу судить по совершенному моему незнакомству с современною литературою вопроса. После Бюхнера и Лотце я почти ничего не читал по этой части. Для меня, по крайней мере, в вашей книге нашлось много совершенно нового. Почти одинаковое впечатление новизны произвела на меня безусловная совестливость ваших приемов. Под совестливостью я разумею очень и очень редкое свойство, именно: совершенное отсутствие всякого поползновения (очень, впрочем, естественного и часто бессознательного) заштукатурить словами прорехи в сцеплении понятий и округленностью фразы придать самой мысли обманчивый вид законченности, которой она не имеет. Это свойство должны оценить с особенною признательностью именно те из читателей, которых убеждения радикально расходятся с вашими. К ним вы, вероятно, заранее уже причислили и меня. Действительно, сочувствуя безусловно вашим требованиям и принимая безоговорочно многие частности, я никак не могу помириться с основными вашими положениями.

Вы нападаете одновременно на материалистов и на идеалистов; к первым вы, по-видимому, даже относитесь строже, чем к последним; но это только потому, что они стоят теперь во главе движения, и что победу их над идеалистами вы признали. В сущности же, вы, мне кажется, стоите с материалистами на одной почве; и если они не принимают вас с торжеством в отверстые объятия, то это доказывает только крайнюю их заносчивость, или точнее – слабость их логики. Правда, вы берете под свою защиту ненавистную им душу; но вы сами, адвокат ее, так беспощадно обобрали и общипали ее, вы так прочно закрепили ее за материею; вы, наконец, окорнали ее свободу до

такого неуловимого minimum'а, что самые жестокосердые ее гонители могли бы смело принять ее от вас «mit in den Kauf», как говорят немцы. В том виде, в каком она вышла из ваших рук, она для них безопасна; подрезанные у нее крылья не подрастут и не поднимут ее.

Психическая жизнь, говорите вы, и материальная жизнь истекают или выделяются из одного источника; этим объясняется с одной стороны, та степень их однородности, которая дает им возможность взаимно проникаться и друг на друга действовать, с другой – их обоюдная независимость. Мир материальный не продукт мира психического, и наоборот – мир психический не продукт материального мира; из одной среды в другую нет даже прямого перехода, который бы мог быть опытом дознан и логически формулирован. Этими положениями вы размежевываетесь с двух сторон, с материалистами и с идеалистами; далее, обращая ту же мысль против одних материалистов, вы формулируете ее в следующих словах: душа есть самостоятельный и самодеятельный организм (в отличие от организма физического). Таким образом, между ними установляется своего рода равноправность, если понимать последнее слово в смысле одинаковой, обоюдной зависимости и, в то же время – одинаковой, обоюдной же независимости. Но тут же мы узнаем, что первое побуждение к деятельности, первый толчок душа получает от материального мира и более ниоткуда; что все наши общие представления и понятия суть не иное что, как психические переработки материальных впечатлений; наконец общее, что организм психический имеет в материальном организме необходимую для первого *подбивку* или *подкладку.* Это значит, во-первых, что понятие жизни психической вообще и психической жизни человека вполне тождественны, die beiden Begriffe decken zich; иначе: вне человека нет психической жизни, по крайней мере, на равной или на высшей степени развития; во-вторых, это значит, что бытие человека в смысле самосознающегося субъекта оканчивается в момент расторжения связи души с телом. Между тем, из заявленного факта обоюдной их зависимости обратного вывода

сделать нельзя, ибо жизнь физическая отнюдь не обусловливается непременным сожительством с душевным организмом, а обнаруживается не только вне человека, но и в нем самом, множеством таких явлений, в которых нет и следа психизма. Итак, самостоятельность материального мира очевидна; но что стало с самостоятельностью души?

Основная мысль книги – определенное известным образом отношение психического организма к физическому – повторяется несколько раз в различных формах. Желание выяснить ее со всех сторон заставляет вас прибегать то к одной, то к другой. Я знаю, что говоря о предметах видимых и осязаемых, мы иначе не можем переводить их из своего личного представления в представление другого лица, как одухотворяя их, то есть приписывая им, как их свойства, наши субъективные ощущения, ими возбуждаемые, (веселое утро, сердитые волны и т. п.). Наоборот, излагая ход психических процессов, мы поневоле материализируем их, заимствуя терминологию из внешнего мира. Поэтому, я бы и не подумал придираться к неточности некоторых выражений, которую вы сами сознаете, конечно, лучше меня; но дело в том, что из-за них, как мне кажется, проглядывает несоглашенное двойство мысли. У вас идут вперемежку две серии формул, которым соответствуют два положения, взаимно исключающиеся. *Одно* из них (общее, нам недоступное исходное начало, из которого выделяются два, относительно друг друга самостоятельные, хотя и не разобщенные между собою) я привел выше; затем я читаю: почва души вполне физического свойства – основа души материальна – душа составляет органическую часть материального мира, «его *продолжение* и *высшую ступень».* Эти формулы, особенно две последние, выражают другое положение, а именно: душа прямой продукт или видоизменение физической природы, стало быть, исходит из нее и только *через нее (посредственно,* а не *непосредственно)* из общего их источника. По-видимому, вы придерживаетесь первого положения; но все ваши выводы выходят из второго и к нему же приводят; если идти обратным путем от заключений к точке отправления. Но

когда же трезвый и серьезный материализм добивался большего? Когда отрицал он, что в непрерывном развитии одних организмов из других, человек выше животного, животное выше дерева, дерево выше камня? Пусть только будет душа *продолжением* тела, и он останется доволен. Vous lui don nez gain de cause.

Признаюсь, я ожидал иного. Хотя вы повторяете вслед за Кантом, что человек имеет дело не с предметами материального мира, а с ощущениями, возникающими в нем самом, однако это не помешало вам признать объективное бытие этого мира. В самых этих ощущениях вы нашли как бы ручательство, вполне достаточное, и во всяком случае единственно возможное, его реальности. Мне казалось, что после этого процессы другого порядка (психические) могли бы навести вас на признание другой, одинаково реальной, и по отношению к человеку, – также внешней психической среды. Но вы о ней умалчиваете, а у нас, в печати, умолчание в этом деле равносильно отрицанию. Выходит, что в той мере, в какой психическая жизнь обусловливается содержанием и побуждениями извне, она поставляется в зависимость только от мира материального; все же факты свойства психического суть не иное что, как продукты внутренней психической переработки (сравнения, разложения и обобщения), следовательно, существуют только в нас, а не вне нас. Почему так? – я не вижу. Вы, мне кажется, впали в такую же ошибку, в какой сами уличили крайних идеалистов; то есть, вы отвергли реальность и объективность невещественного мира на том только основании, что *понятие* о нем зарождается в нашей субъективной среде.

Если бы вы придержались в строгости первого вашего положения, а именно, что как физическая, так и психическая жизнь исходят (не одна из другой), а каждая непосредственно из одного общего им обеим начала; тогда вы могли бы придти к иным заключениям.

Единое начало, служащее источником для двух различных начал, должно заключать в себе отличительные свойства обоих, и потому нет ничего антилогичного в предположении

живой связи и непосредственного общения психического свойства между душою, поставленною в зависимость от материального мира, и этим исходным началом всякой жизни. Если мне скажут, что нельзя себе *представить* акта начального творчества, и что поэтому ему нет места в положительной науке, то я, во-первых, отвечу, что одинаково недоступен представлению и процесс начального раздвоения бытия вообще на два вида бытия: материального и психического; при этом я позволю себе напомнить то, что говорит где-то забытый Гегель о дурной привычке sich dasjenige vorstellen zu wollen, was Sache des Denkens ist[2]. Во-вторых, я замечу, что и вы не обошлись без творчества. Вы также допустили его, хотя и в самых тесных пределах, как проявление психической свободы (в так называемых произвольных, в сущности, беспричинных действиях); а в понятии творчества обыкновенному сознанию претит не объем его и не степень его силы, а творческий акт сам по себе, этот salto mortale из небытия в бытие. Но об этом дальше, Мне кажется, что мысль о зависимости психической жизни только и единственно от материальной среды просто выхвачена из катехизиса материалистов, и что ничто не обязывало вас принять ее. Все, что приводится в ее пользу, далеко не убедительно и сводится окончательно к одному факту, а именно: к сравнительно позднему проявлению психического элемента как в истории человечества, так и в единичном развитии каждого лица. Но, во-первых, вывод из факта сам по себе не строг: последовательность двух явлений не доказывает еще, чтоб одно из них, позднейшее, было только продолжением предшествовавшего. Во-вторых, самый факт далеко не принадлежит к числу бесспорных и окончательно выясненных. Точно ли, в первой поре своего развития, человечество жило животною жизнью? – это еще вопрос. Очень может быть, что состояние дикости, представляющееся некоторым первобытною формою бытия, было не иным чем, как последующим одичанием. Конструкция древнейших языков и отрывочные остатки древнейших верований едва ли не доказывают, что человечество и в ту раннюю эпоху, когда, по-видимому, все помыслы его должны бы были

ограничиваться удовлетворением материальных потребностей, приступало прямо к самым отвлеченным и трудным вопросам, к тем недосягаемым вершинам, перед которыми оно стоит и теперь. Еще темнее для нас начало психической жизни в ребенке. Легкость, с которою он усваивает себе все, что ему говорится о мире невидимом, о Боге, о добре и зле, о совести и т. д. позволяет думать, что в передаваемых ему понятиях он находит только формулы или названия для предметов, как будто уже знакомых ему по внутренним ощущениям, вызываемым в нем действием невещественной среды. Разрешить этот вопрос путем каких-либо наблюдений над другими едва ли возможно. – Помню, что наша общая приятельница, Эдита Федоровна Раден, как-то раз сказала мне: la religion est avant tout une chose d'expe□rience personelle. В этих словах глубокая правда. Действительно, Откровение, данное всему человечеству в объективной форме, предполагает непременно непосредственное, личное откровение, слово, обращенное к каждому субъекту порознь и доносящееся до него через все события внутренней и внешней его жизни. Доказать этого, конечно, нельзя (точно так, как нельзя доказать произвольности того или другого поступка – ее можно только *признать);* вера, то есть опознание и признание этого голоса, не вынуждается никакими доводами; она есть акт свободы, оттого и приписывается ей спасительная сила. Но я утверждаю только, что признание *непосредственного* общения души с источником психической и физической жизни нисколько не противоречит одному из ваших положений (назову его первым) и исключается вторым единственно потому, что последнее само не мирится с первым.

Перехожу прямо к вопросу о психической свободе, или, как у нас принято называть ее, о произвольности*. Вы очень

* Здесь позвольте мне придраться к слову. Willkurlich (в противоположность к nothwendig), мы вообще передаем словом *произвольный,* которое тут решительно не у места, так как оно имеет другой оттенок, заключая в себе, кроме понятия невынужденности, еще и понятие противозаконности или антинормальности. Противникам свободы такое отождествление ее с произволом в слове очень с руки, ибо приучает исподволь к отождествлению самих понятий; но для сторонников свободы это крайне неудобно. Нужно

верно поняли и определили его важность. Действительно, в произвольности (я уж буду придерживаться принятой терминологии) заключается условие самостоятельности психической жизни и характерный ее признак, так что если б удалось материалистам ее wegzudemonstriren, то психическая жизнь окончательно слилась бы с физическою, и между психологиею и физиологиею установилось бы такое же отношение, какое существовало между алхимиею и химиею, пока первая совсем не исчезла. Ваша глава VII, посвященная этому вопросу, на мой взгляд, есть самая лучшая по тонкости анализа, по глубине и верности многих отдельных мыслей (особенно в отрицательной части), и в то же время самая неудовлетворительная в положительных результатах, на которых вы остановились. По внимательном, неоднократном ее прочтении, я все-таки остаюсь в недоумении: признаете ли вы произвольность в действиях или нет? Вижу только, что вам было бы крайне тяжело от нее отказаться.

На стр. 157 высказывается, как результат научных исследований, что в смысле *объективном,* ни произвольных, ни случайных событий быть не может и нет; что все они необходимы, только с оттенками, а именно: «события, приписываемые произволу, тоже необходимы, но их необходимость зависит непосредственно не от внешнего мира, а от воли лица, х*отя эта воля тоже определяется необходимыми мотивами*». Стало быть, случайность и произвольность существуют только в смысле субъективном. Я понимаю это таким образом: случайность и произвольность два условных термина; употребляя первый, мы даем знать, что мы отрываем одно событие от се-

бы, для противопоставления необходимости, подобрать термин, соответствующий латинскому *spontaneus, qui fil sponte sua.* Если почему-либо находят, что слово *свобода* для этого не годится, то остается прибегать к составным, присовокупляя к другим словам слово *само.* Например, willkürliche Zeugung (generatio aequivoca) вполне передается словами: самозачатие или самозарождение. Почему бы не ввести вместо: способность произвольно выбирать или вызывать в себе побуждения – способность *самопобуждения,* вместо: способность произвольно себя настраивать – способность *самонастроения и* т. д. Наша читающая публика скоро бы к этому привыкла. То ли еще она переваривает! *(Прим. Ю.Ф. Самарина).*

рии предшествовавших ему и ближайших к нему (которыми обусловливается его необходимость) и сводим его с другим событием, обусловленным другою серией причин и последствий; а, употребляя второй термин (*произвольность),* мы заявляем только, что психическая причина, вынудившая необходимость психического факта, в данном случае ускользает от нашего сознания – c'est un aven d'ignorance. На этом вы, мне кажется, должны бы были остановиться и отказаться от всякой дальнейшей гоньбы за произвольностью в действительности. Вы однако предпринимаете этот неблагодарный труд и начинаете с того, что откидываете действия непроизвольные, в надежде, что что-нибудь да останется. К непроизвольным вы относите: все действия рефлективные, все бессознательные, все поступки, хотя и сознательные, но выполняемые под неотразимым влиянием побуждений, физических или психических, которых человек не в состоянии одолеть. Далее оказывается, что сознательные действия, вышедшие из внутренней борьбы разнородных побуждений, также не входят в категорию произвольных, ибо борьба побуждений и победа одних над другими совершается по законам механики: сильнейшее берет верх над слабейшим, а степень их относительной силы в данную минуту обусловливается всею предшествовавшею жизнью человека, то есть рядом моментов, в которых исход борьбы всетаки обусловливался тем же законом. Этим упраздняется воля, как боевое орудие против невольных побуждений. Наконец, вы выражаетесь еще общее, говоря, что всякое определенное душевное состояние (иначе: всякое ощущаемое побуждение) «действует на человека необходимым образом и вызывает непроизвольные поступки».

Стало быть: где есть побуждение к действию, там нет произвольности в действии и потому, для спасения произвольности, нужно бы признать категорию действий сознательных и в то же время совершаемых без всякого побуждения. «Таких нет, – отвечаете вы, – ибо и произвольные действия совершаются не без побуждения, но отличительная их особенность состоит в том, что побуждение к ним вызы-

вается (или выбирается) произвольно *самим* действующим лицом». Но читателям было уже разъяснено выше, что самый акт вызова или выбора есть уже психический поступок, хотя юридически и невменяемый; здесь же говорится о побуждении, как об объекте этого поступка, о цели его, иначе о том, *что* вызывается, а нужно знать, *чем* производится этот вызов или выбор? – Вы отвечаете: «ничем; я *сам* его определил, *сам, добровольно,* поставил себя в зависимость от известного душевного состояния» и т. д. В другом месте: «в произвольных поступках побуждение вызывается *самим* действующим лицом *произвольно».* В третьем месте: «при произвольной деятельности, мотив вызывается в душе *произвольно,* без всякого необходимого побуждения (точнее было бы сказать просто: без всякого побуждения) собственным почином действующего лица» и т. д.

Из этих определений произвольной деятельности позвольте прежде всего вычеркнуть слова *произвольно* и *добровольно.* Сколько бы раз мы ни повторяли, что произвольно то, что произвольно, дело не уяснится. Я здесь придираюсь *к лишнему* слову только потому, что это, мне кажется, не простой lapsus calami. В сущности, произвольность улетучилась; ее уж нет, стало быть, нет и признаков, по которым бы можно было определить ее, и потому, когда дело дошло до определения, вы были вынуждены ввести в него, как признак, то самое свойство, которое оспаривается и требует доказательства.

Затем, полученное нами определение сводится к следующему: непроизвольны действия, которых причина в побуждении (каком бы то ни было); произвольны те, которых причиною *сам* человек. Ударение мысли падает на слово *сам,* и в нем заключается вся суть ответа.

С этим я лично готов бы был согласиться, но предварительно предложу вам некоторые вопросы. Отчего *сам* человек выступил на сцену так поздно, и где он скрывался в то время, когда с его ведома и при полном его сознании, в душе его бродили противоположные побуждения, как химические вещества, брошенные в медный сосуд? Отчего *сам* человек, с кото-

рым мы только теперь встречаемся, не вступался в их борьбу, не принимал в ней прямого участия, а предполагал, неизвестно с чего, что исход ее предопределялся законом механики? Если *самому* человеку дана власть творить в себе побуждения, знакомые ему из прежнего опыта, то что же мешало *самому* человеку, из многих скрещивавшихся в нем побуждений, дать перевес одному над прочими? Мне кажется, что в этом случае, укрываясь за механикою и ссылаясь на мнимую свою безвластность, *сам* человек обманывал самого себя и самопроизвольно отрекался от власти, которую сам же он нашел в себе не далее, как через две страницы.

Чуть ли не в ответ на этот вопрос, вероятно, предусмотренный вами, говорите вы далее, что произвольный вызов или выбор побуждений возможен только в спокойном состоянии. Но состояние совершенно спокойное не может быть условием ни выбора, ни вызова, ни вообще какого бы то ни было психического процесса, ибо оно исключает возможность всякого процесса. Такого состояния и нет в действительности. Бывают только состояния более или менее спокойные или, что все равно – более или менее беспокойные. Разграничить их невозможно, а так как за самим человеком признана уже способность *самонастроения,* то тем самым дается ему возможность, до известной степени, приводить себя в спокойное состояние – до какой именно степени? – этого никто даже лично про себя не может сказать. Таким образом, стирается сама собою черта разграничения произвольного с непроизвольным (на первый раз хоть в области психической); выходит, что круг произвольных действий может расширяться беспредельно и может также сжиматься до точки; выходит, наконец, что расширение и сжимание его зависят от самого человека.

Все это говорю я со своей точки зрения; но материалист отнесется, вероятно, к *самому* человеку гораздо строже. Он пожелает узнать, откуда взялся в последнюю минуту этот Deus ex machina, и спросит вас: да разве не сам человек мыслит, не сам чувствует, не сам испытывает побуждения? Что же за существо этот *сам* человек в отличие от человека мыс-

ляющего, чувствующего и желающего? Всмотревшись ближе в черты его, материалист, не без основания, заподозрит в нем старого знакомого, которого вы же выгнали из области положительного знания и который неожиданно прокрался в нее опять, под другим именем и с новым видом. Действительно, *сам* человек не иное что как *der Mensch an sich,* известный призрак чего-то будто бы существующего по себе, помимо и вне всех отличительных признаков своего бытия, стало быть, отвлеченное, бессодержательное понятие, которое вдруг олицетворяется и получает чудодейственный дар беспричинного творчества над самим собою. Это противоречит всему предыдущему. Нет последствия без причины, нет действия без побуждения, и действие выбора или вызова побуждения, как всякое иное действие, все-таки ничем иным обусловлено быть не может, как предшествующим побуждением, хотя бы моментальным и потому ускользающим от сознания. Отвлеченная мысль, на которой сознательно остановилось внимание, есть уже мысль, ставшая в известное отношение к ощущающему субъекту, и в примерах и сравнениях, приведенных на стр. 193 и 194, на самом деле происходит не выбор между многими отвлеченными понятиями и представлениями; а та же, механическая борьба когда-то пережитых, воскресающих побуждений, о которой было говорено выше. Мне кажется, что в диспуте с вами, основываясь на ваших посылках, материалист был бы не неправ, и, признаюсь вам, я об этом особенно и не тужу. Я дорожу вашею VII-ю главою именно как неудачною попыткою. Вы сделали положительно все возможное, чтобы спасти хоть малую толику свободы; но вы не спасли ее, и ваши усилия, исчерпывающие все средства защиты от материализма, служат для меня полным доказательством невозможности отстоять свободу при тех данных, из которых вы исходите, и в том смысле, в каком вы ее определяете, то есть только как принадлежность личного, индивидуального, человеческого существования (стр. 205).

В области науки мысль подчиняется только своим законам, то есть законам логики, и идет себе без оглядки к ко-

нечным результатам, не спрашивая, как и чем отзовутся они на практике. Поэтому и я не стал бы смотреть на ваш труд с этой стороны, если бы вы сами не раскрыли ее перед читателями, указав им на психологию, как на врачевание против нравственных недугов, которыми томится современный человек. В главе I-й и в заключении вам дались великолепные, глубокопродуманные и прочувствованные страницы о симптомах господствующей в наше время болезни, так верно вами названной оскудением или исхуданием личности. Но каким образом укрылось от вас, что вы прописывали ей, в виде рецепта, ту самую отраву, которою она испорчена, или, говоря языком нефигуральным, что корень болезни заключался в тех самых началах, на которых вы строили будущую психологию?

Современный человек, говорите вы, сам себя ни во что не ценит. Это, конечно, не значит, чтоб он стал слишком сговорчив и невзыскателен относительно внешней своей обстановки; в этом грешно бы было упрекнуть его. Ценность, которую человек придает своей личности, измеряется не тем, чего он требует *для* себя, а тем, чего он требует *от* себя, и в этом смысле нельзя с вами не согласиться. Но с чего же стал бы он относиться к самому себе чересчур взыскательно и строго? Все, что составляет содержание его внутренней жизни, весь запас его представлений и понятий идет от внешних впечатлений; там, в среде, ему неподвластной и о нем не знающей, начало и причина личного его бытия; под явным или скрытым, но в обоих случаях неотразимым влиянием той же среды проходит вся его жизнь. Даже в борьбе волнующих его разнородных побуждений не нашлось места для его самодеятельности. Выходит, что роль, на которую вы обрекаете бедную душу, не имеет уже ничего общего со старинным представлением о страннике, остановившемся на распутии и внимающем чьим то голосам, которые зовут его в разные стороны; она скорее напоминает другую легенду о прекрасной пленнице, которую ежегодно привязывали к столбу, покуда витязи, прискакивавшие с разных концов

мира, рубились и кололись из-за обладания ею. Сначала и она металась, но потом, убедившись, что ей не разорвать своих цепей, и привыкнув переходить из рук в руки, она угомонилась и впала в тупое равнодушие к битве, периодически возобновлявшейся в ее глазах.

Действительно, результаты, до которых дошла школа позитивистов и которые вы принимаете, отнимают всякое разумное основание у *самовменения.* Разберите, на чем держится это понятие. В одном месте вашей книги вы говорите, что «достоинство лица немыслимо без непреложных правил или начал, а такие правила или начала дает, кроме религии, только философия». Здесь я позволю себе оговорку; точнее было бы сказать, что философия *ставит* начала, но она не *дает их никому,* потому что ей вообще нет дела до субъектов, а начало или правило входит в жизнь субъекта только в той мере, в какой оно становится для него обязательным, иначе *долгом.* Между признанием начала и сознанием долга разница та, что во втором случае предполагается возможность исполнить требуемое. В этом смысле можно сказать, что религия действительно дает каждому человеку правило жизни, потому что религия приписывает живому началу всякого бытия не одну законодательную власть, но и творческую силу как над каждым субъектом, так и над окружающею его средою. Это понятие выражается в учении о *промысле.* Говоря языком не церковным, предполагается, что существует разумное отношение и правильная соразмерность между двумя факторами, из которых слагается жизнь каждого субъекта: между свободною деятельностью, исходящею от самого человека, и воздействием на него извне обстоятельств, ему неподвластных, между искушениями, которым он подвергается, и правоправящею силою, данною ему для отпора. При этом предположении одно и то же событие, независимо от общего своего значения в истории целого народа или всего человечества, вплетается в судьбу каждого субъекта, которого оно задевает не как случайность, расстраивающая ее, а как *слово*, прямо к нему обращенное, имеющее свой особенный смысл для него

лично. Я знаю, что в глазах положительного знания все это не более как фикции младенческого воображения, с которыми оно давно разделалось; пусть так, но тогда не скорбите об утрате других фикций, неразрывно с ними связанных, как то: самовменения, совести, суда человека над самим собою и т. п. Не удивляйтесь, что по изгнании из душевной храмины раскаянья, молитвы и беседы с Богом в ней ощущается теперь какая-то пустота и неприятный холод. Со средою нельзя беседовать; она глуха, слепа и не знает субъекта.

Вы замечаете, и очень верно, что в бессодержательной, бледной, неинтересной внутренней жизни современного человека нет больше сюжета для драмы. Да откуда же ему взяться? Можно ли задумать драму на тему: чашка, в которой лежало побуждение весившее пуд, перетянула чашку, в которой побуждение весило фунт; или: по закону вещественной необходимости выпал кирпич из стены, по закону психической необходимости шел мимо человек на свидание; эти две необходимости случайно встретились (я говорю *случайно,* потому что встреча, смысл имеющая, предполагала бы Промысл), и неисчерпанная, недожитая жизнь порвалась случайно. Но спрашивается: кто же отнял у субъективной жизни ее смысл и художественную полноту ее? Кто изуродовал ее во всех ее моментах отсечением от нее последнего действия, загробного суда, этой необходимой ее развязки, которой предчувствие составляет главный интерес земной жизни?

Опуская в могилу отслужившую плоть человека, Церковь провожает ее словами: земля еси и в землю отыдеши. Вы тоже вырыли могилу, назвали ее психологиею, и, приглашая больную душу современного человека улечься в ней заживо, вы обращаетесь к ней с теми же почти словами. Вы говорите ей: от земли еси и с плотью прейдеши. Этим ли вы надеетесь исцелить ее?

Вообще, книга ваша поражает меня глубоким противоречием ваших требований тем выводам, к которым вы пришли. Мне кажется, что они не могут вас удовлетворить и что вы долго на них не остановитесь. Вы стоите на острие ножа

и должны непременно склониться на ту или другую сторону, то есть окончательно усвоить себе материалистическое воззрение или взять назад многие из сделанных вами ему уступок. Я знаю, что гораздо легче сделать первое, чем последнее, но ваша книга свидетельствует о полной независимости мысли, не боящейся одиночества, – и потому трудность подвига никогда вас не остановит.

Я высказал вам мое мнение с тою резкою откровенностью, которой вы от меня требовали и на которую ваша добросовестность давала вам полное право. Повторяю опять, вовсе не как условную фразу, а совершенно искренно, что я все-таки не считаю себя судьею компетентным. Личное убеждение, самое даже твердое, далеко еще не дает условий, нужных для верного суждения о чужом убеждении. Считаю нелишним уведомить вас, что я проживу в деревне, вероятно, еще долго, до зимнего пути, но наверное не могу определить времени моего отъезда. Поэтому, если б вы вздумали отвечать мне и при том не скоро, то лучше адресуйте в Москву, на Ордынку, в Толмачах, в дом Графини Соллогуб, а если скоро, то прямо и просто в Сызрань. Впрочем, зимою я буду в Петербурге и там непременно с вами увижусь.

Глубоко вас уважающий и искренно вам преданный.

Ю. Самарин.

P. S. Я начал это письмо по кратким заметкам, которые делал при чтении, и не сообразил, что у меня, может быть, не хватит голубой бумаги, которой достать здесь негде. Пришлось кончить на белой. Извините уж заодно – разноцветность бумаги и бессвязность содержания.

с. Васильевское.

Октябрь 1872 г.

II

1) Ответ ваш начинается словами: «оба (неизвестный возражатель и я) переносят вопрос из сферы науки на почву

религии»*. На этом первом слове я должен вас перервать. Вы имели бы полное основание сказать это обо мне, если б я возражал вам текстами из писания и придавал силу непререкаемого, по себе достаточного опровержения простому обнаружению несогласия ваших положений с догматами веры. В таком случае вы просто ответили бы мне, что это несогласие нисколько вас не смущает, так как вы не признаете прилагаемого мною мерила, и все мои возражения разлетелись бы в прах. Зная это наперед, я и не думал прибегать к полемическому приему, который между нами был бы совершенно неуместен. Напротив, я, не задумываясь, стал на вашу почву и старался только показать вам, что из ваших положений некоторые (решительно несогласные с Откровением) противоречат другим *вашим же* положениям, а некоторые, при том именно те, которыми вы наиболее дорожите, предполагают, как подразумеваемую предпосылку, признание религиозных данных. Положим, что это мне нисколько не удалось, но в самом приеме я не вижу ничего ненаучного, ничего имеющего вид самовольного перенесения спорных вопросов на несвойственную им почву. Не скажете же вы, что никогда никакое убеждение, каким бы путем мы ни дошли до него, не найдет себе места в науке, если оно, на беду свою, совпадает с догматом веры и только ради этого несчастного совпадения.

2)** В видах разъяснения общего недоразумения, в которое, как вы замечаете, впали все возражавшие вам с противоположных точек зрения, вы предпосылаете ответам на частности определение задачи, метода, критериума и пределов науки, присвоившей себе название положительной. Вывод из него следующий: напрасно думают, что наука все то отрицает, чего

---

* Этих слов нет в статье К. Д. Кавелина «Психологическая критика: замечания Ю. Ф. Самарина на книгу «Задачи Психологии», в том виде, как она напечатана в «Вестнике Европы». Очевидно, что начало ее подверглось изменению вследствие 1-го замечания Ю. Ф–ча, а потому и замечание это было опущено в статье К. Д. Кавелина. *(Прим. Д. Самарина.)*

** 2 возражение Ю. Ф–ча напечатано с пропусками в вышеупомянутой статье К. Д. Кавелина в майской книжке «Вестника Европы» за 1875 год, стр. 381–385. *(Прим. Д. Самарина.)*

она не утверждает и чему не дает у себя места: она де отрицает только то, что прямо противоречит дознанным ею фактам, все же остальное она просто игнорирует. В той мере, в какой это разъяснение служить ответом в числе других и на мои сомнения, я понимаю его таким образом: пускай каждый, про себя, верит или не верит в Бога и в Его Промысл, признает или не признает в душе образ и подобие ее Творца, загробный суд, продолжение, после расторжения связи души с телом, личного ее бытия и т. д. Наука о душе ему в этом не мешает, потому что и ей эти убеждения нисколько не мешают; она довольствуется тем, что не пропускает их в область положительного знания.

Согласятся ли на такое размежевание двух сфер строгие последователи положительной науки – я не берусь решить за них; думаю, что люди верующие едва ли им удовлетворятся, сомневаюсь даже, чтоб вы сами окончательно на нем остановились. В подтверждение моего сомнения, я мог бы указать в вашей книге на многие места, в которых, несмотря на крайнюю, вынужденную обстоятельствами осторожность, с которою вы подходите к вопросам, стоящим на рубеже веры и знания, игнорирование само собою переходило в понятное для всех отрицание, например, на страницы 175 и 233 («Задачи Психологии»), где происхождение понятия о чудесном объясняется как «младенческая, неумелая попытка» выразить сознание присущей человеку способности комбинировать законы естества, следовательно, отрицается самая возможность чуда в смысле христианском, на ту же 175, 222, 229 и др. страницы, в которых нельзя не вычитать, что когда дело дойдет до объяснения происхождения религии, понятие о Боге явится такою же младенческою попыткою придать субъективное бытие и реальность идеальному представлению человека о себе самом и т. д.

Причина, по которой положительная наука считает себя вправе игнорировать содержание религиозных убеждений, заключается в свойстве тех фактов, которые она, за исключением остальных, признает достоверными, именно: «Она устанавливает и определяет только то, что для всех людей имеет или должно иметь несомненную, непоколебимую достовер-

ность, значение неопровержимой истины, то, чего люди не могли не признать за истину, ту нейтральную, бесспорную почву, на которой все люди могли бы сходиться в полном согласии,.... то, что□ люди признают за истинное по признакам всем доступным и для всех одинаково убедительным, иначе: самую внешнюю, осязательную сторону людских убеждений, то, что каждый, проверив, должен признать за истину и т. д.»* Стало быть, что религиозные убеждения не имеют и иметь не могут этих свойств неоспоримой достоверности – считается делом решенным. Почему? – я спрошу после, а теперь позволю себе обратить ваше внимание на силу и последствия этого решения.

Религия вообще и всякая религия в особенности стоит на предположении Откровения, не только в смысле проявления Божества, но в смысле проявления прямо, сознательно и намеренно обращенного к человеку. Воля Творца и Промыслителя знаменуется в жизни каждого субъекта; она непременно вернее, чем действие на него материальной среды, доходит до его сознания, навязывается ему, если можно так выразиться, и человеку остается только последовать ее призыву, или сознательно и намеренно уклониться от него. В этом предположении заключается разумное оправдание суда над личностью, ее спасения или осуждения. Итак, принципиальное выделение религиозных убеждений из области несомненно обязательно достоверного и низведение их на степень субъективных воззрений, чаяний, предположений, равносильно не простому игнорированию, а самому радикальному отрицанию Откровения как такового (als solcher).

Признаюсь, что рациональность этого выделения для меня не совсем ясна. Перечитывая стран<ицы> 190 и 191 рукописного ответа (из которых приведены выше некоторые цитаты), я задаю себе вопрос: заключается ли в самом факте общепризнанности чего бы то ни было ручательство несомненной достоверности этого чего-то, или достоверность определяется

* См. в майской книжке «Вестника Европы» за 1875 г., стр. 372, 373. *(Прим. Д. Самарина.)*

особыми приемами, по присущим ей признакам, вынуждающим признание, делающим признание обязательным, хотя бы в данную минуту и не было фактического признания? В первом случае, нельзя, кажется, не признать, что Откровение, в смысле прямого обращения Бога к человеку, как лица к лицу, принадлежит все-таки к числу «глубочайших верований человеческого рода... фактов, из века живущих в его сознании»*, следовательно, имеет за себя общее признание в той мере, в какой такое общее признание вообще возможно. Есть, правда, не только отдельные личности, а даже целые школы, отрицающие его; но разве не было людей, добросовестно сомневавшихся в реальности того, что считалось наиреальнейшим — мира осязаемого и видимого; но разве нет школ, притом ежедневно разрастающихся и вооруженных всеми усовершенствованными орудиями познавания, для которых и свобода воли есть фикция? Вы сами о них упоминаете и против них берете свободу под свою защиту. Откинем же факт общепризнанности и обратимся к признакам достоверности, присущим самому предмету, и к тем научным приемам, которыми они опознаются. Вы в точности не определили ни тех, ни других – это не входило в вашу задачу – и потому остается для меня открытым вопрос: оттого ли содержание религиозных убеждений в глазах положительной науки, не достоверно, что оно действительно не имеет объективной реальности, или оттого, что наука, придерживаясь одностороннего и слишком тесного понятия о достоверности, приступает к этому содержанию с поверочными приемами, решительно к нему неприменимыми и выработанными для исследования фактов другого порядка.

Я припоминаю, например, что Ренан устраняет из своей истории жизни Спасителя все чудеса как недостоверные на том основании, что свидетели их не делали над ними научных опытов. Случись подобное в наше время, продолжает

* См. в «Задачах Психологии» стр. 38: «Психическая свобода составляет глубочайшее верование человеческого рода», и на стр. 122: воля называется фактом, «из века живущим в сознании человеческого рода». *(Прим. Д. Самарина.)*

он, мы нарядили бы комиссию из экспертов; пригласили бы в нее чудотворца, претендующего на сверхъестественную силу, ощупали и осмотрели бы его с головы до ног, предложили бы ему тут же, при нас, воскресить труп или возвратить зрение слепому и составили бы на месте обстоятельный протокол. Положим, что ни за эксцентричности Ренана, ни за увлечения Огюста Конта положительная наука не отвечает. Я охотно откидываю все случайные, преходящие ее уродливости, по мнению вашему, свидетельствующие только о мучительном процессе ее зачатия и появления на свет, и все-таки, всматриваясь в самые характерные и общие ее черты, не могу не придти к убеждению, что позитивизм, как бы он ни открещивался от материализма, носит его в себе a l`e□tat latent. Мне кажется, что позитивизм как метод порожден не столько потребностью сдержать мысленный разгул идеализма, сколько чувством, похожим на зависть к физике, химии, астрономии и прочим естественным наукам. Быстрота их успехов и прочность их завоеваний могла естественно навести на мысль перенести их приемы, приспособленные к изучению вещественного мира, в другие области знания, создать анатомию, потом физиологию души, eine Naturgeschichte der Seele и т. п. Эти выражения, сами по себе совершенно невинные, не возбуждали бы никакого подозрения, если бы в них не доносилось до слуха требование и чаяние для психических явлений такой же достоверности, какою пленяют нас факты, исследованные естественными науками. Подчеркнутое слово такой же я разумею не в смысле достоверности равностепенной и равносильной, а однородной. Если не во всех формулах, то в темпераменте и природе позитивизма обнаруживается какая-то вера в осязаемость и наглядность, иначе: решительное предпочтение свидетельства внешних чувств другим способам познавания. Если, как вы замечаете, «наука, знание обнимает только самую внешнюю, осязательную, всем доступную сторону явления», то, конечно, достоверным по преимуществу окажется то, что доступно зрению, слуху, осязанию и т. д.; а факты психические естественно должны будут довольствоваться низшим ме-

стом по рангу достоверности. Мое ощущение скрытого материализма в позитивизме до некоторой степени подтвердилось сличением вашей книги с рукописною вашею статьею. В книге вы указываете, как на коренную ошибку материализма, на отождествление реального с действительно сущим, разумея под реальным то, что подлежит внешним чувствам (стр. 17), а в рукописных ваших возражениях, когда дело дошло до оправдания устранения религиозных убеждений из области позитивизма (а не реализма в смысле материалистов), вы пришли же к тому, что положительная наука признает свойство несомненной, для всех обязательной истины только за внешнею, осязаемою стороною людских убеждений. Выходит, что понятие несомненного, или действительного в смысле научном, сузилось-таки до понятия реального, в смысле внешнего и осязаемого, и что в конце концов, позитивизм улегся, как нельзя лучше, в границах материализма.

Признаюсь, я не без некоторого страха помышлял бы о будущих судьбах человечества, если бы действительно этим путем подготовлялась та нейтральная почва, на которой должны, со временем, сойтись люди различных племен, вероисповеданий, званий, личных убеждений и т. д., и если б из суммы выработанных таким процессом истин должен был сложиться фундамент будущего единения. Вы заявляете, как факт, что успехи положительного знания ведут к нравственному сближению, и что круг личных убеждений суживается, а круг общих объективных, напротив, расширяется*. Присматриваясь к происходящему на наших глазах, я замечаю иное. Если не на практике, то в понятиях все вообще начала, имеющие свойство нравственных, теряют постепенно свое объективное значение и сопряженную с ним обязательность; они отходят мало по малу на задний план, в область личного вкуса, субъективных симпатий и антипатий. Любопытен в этом отношении процесс постепенной нейтрализации начальной, народной школы во многих государствах Западной

* См. в майской книжке «Вестника Европы» за 1875 г. стр. 378. *(Прим. Д. Самарина.)*

Европы. Сперва из предметов обязательного преподавания и учения исключили, чтоб никого не коробить, все вероисповедное, стало быть религию вообще; потом, под влиянием тех же требований, постепенно стали суживать до размеров полицейского кодекса тот minimum нравственных требований, без которого все еще не умеют обойтись в народном воспитании. Правда, что одновременно в те же школы вводилось обучение рисованию и значительно расширялся размер преподавания популярной физики, ботаники и зоологии. Не знаю, можно ли ожидать много доброго от подобного рода нейтрализации. На мой взгляд, всякое нравственное требование предполагает, как единственную, оправдывающую его предпосылку, данные свойства религиозного и, с устранением последних в область сомнительного, само становится неразрешимым вопросом и теряет свою обязательность. Можно бы, например, доказать, что понятие о человеческом братстве (как выводное из того понятия, которое, на языке церковном, выражается словами образ и подобие Божие), будучи оторвано от своего корня, должно непременно утратить свою объективность и свои границы. Оно сделается чисто условными и тогда ничто не помешает ему сузиться, хотя бы до понятия об одном племени, об одной касте, одной семье, или, наоборот, расплыться до бесконечности, захватив в свой круг обезьян, потом всех млекопитающих, наконец, всех животных.

Желательно бы было когда-нибудь выяснить, определить и перечислить все то, от чего подразумевательно отрекается человек, покидающий религиозную почву, и что рано или поздно, в силу жизненной логики, непременно от него отпадет. Эта тема стоила бы разработки и, кажется, пришлась бы ко времени. На другую, также отрицательного свойства услугу, которой можно ожидать от науки, вы указали сами, допуская, как возможность, что, в конце концов, она выяснит несостоятельность тех возражений, которыми набрасывается тень сомнения на истины, доступные только внутреннему ощущению. Я убежден, что эта возможность осуществится, и вот

почему меня нисколько не пугает свободное движение науки, через что бы ей ни предстояло пройти.

В заключение моих замечаний на первую часть вашего ответа, считаю не лишним оговорить, что материалистическая закваска чувствуется в усвоенной вами методе гораздо более, чем в самом содержании вашей книги. От строгих требований методы вы часто спасаетесь счастливыми непоследовательностями, составляющими в моих глазах великую вашу заслугу. Если положительная наука захватывает только самую внешнюю, осязательную сторону убеждений и если, как вы совершенно справедливо замечаете в вашей книге, действие вольное никакими, ни внешними, ни внутренними признаками не отличается от действия, вынужденного законом необходимости («Задачи Психологии», стр. 65, 188), то свобода не может быть научным образом опознана, и для учения о ней не должно быть места в науке. Вы, однако, отстаиваете ее, хорошо понимая, что в ней ключ позиции. В сущности, вся аргументация ваша в пользу свободы, как я надеюсь показать ниже, сводится к следующему: я признаю человеческую свободу, потому что сознаю ее в себе; но если такой способ доказывания допускается положительною наукою, то с чего же стала бы она отворачиваться от человека, который вошел бы в ее святилище, не сложив у порога своих религиозных убеждений, и позволил бы себе сказать: «Я признаю действие Божие на человека, потому что сознаю на себе его действие?» Вы замечаете, что я нередко ссылаюсь на истины, которых доказать нельзя – это совершенно справедливо, но не я один так поступаю. В вашей книге не найдется, может быть, ни одного положения доказанного, в точном и строгом значении этого слова, иначе: выведенного. Такое свойство имеют только ваши отрицательные положения (опровержения), и мне даже сдается, что одна из отличительных особенностей так называемого позитивизма в том именно и заключается, что он вообще не столько доказывает, сколько показывает, иначе: предпочитает индуктивный способ дедуктивному.

Перехожу к частностям.

3.[*] Сказав, что вы, местами, подаете повод считать душу продуктом физической природы, я, кажется, только извлек смысл, заключающийся в выражениях «высшая ступень и продолжение материального мира»[**]. Отношение, подразумеваемое между фактами, из коих один происходит от другого или от ряда других, предполагает два условия: органическое их единство и последовательность их явления во времени. Оба условия даны в понятии продолжения. Теперь, удерживая условие единства, вы отвергаете последовательность, поясняя, что оба элемента, психический и вещественный, представляются, на разных ступенях развитая, искони сосуществующими «в неразрывной связи, в самых зачаточных явлениях природы»[***].

Иными словами: не только все проявления душевной жизни в человеке, в животных, в растениях, но и так называемые силы неорганической материи совокупляются в одно начало (194—195)[****] и между ними проводится своего рода генеалогическая связь. Что же, однако, общего между механическими, химическими и физическими свойствами тел, с одной

* 3-е возражение Ю. Ф-ча было напечатано целиком в статье К. Д. Кавелина в июньской книжке «Вестника Европы» за 1875 г., стр. 786. *(Прим. Д. Самарина.)*

** «Задачи Психологии», стр. 93. *(Прим. Д. Самарина.)*

*** Этих выражений не оказывается в статье К. Д. Кавелина в том виде, как она была напечатана в «Вестнике Европы», но они были в рукописи; это видно из того, что Ю. Ф., приведя эти выражения, сослался на 201 лист рукописи, и из следующих слов К. Д. Кавелина: «Мысль, что психическая жизнь есть высшая ступень и продолжение материального мира, или что невещественное начало заявляет себя, хотя весьма слабо и едва заметно, уже в зачаточных явлениях материального мира, есть, конечно, гипотеза, на которой я особенно не настаиваю и которая, строго говоря, лежит вне моей задачи». (См. статью К. Д. Кавелина «Психологическая критика» в июньской книжке «Вестника Европы» за 1875 г. стр. 786). *(Прим. Д. Самарина.)*

**** Ю. Ф. ссылается в этом месте на 194–195 листы рукописи. В печатной статье мысль эта выражена, по-видимому, в измененной редакции в нескольких местах. См. в майской книжке «Вестника Европы» за 1875 г., стр. 375 и 380 и в июньской книжке, стр. 785. *(Прим. Д. Самарина.)*

стороны, и памятью, самосознанием, свободою, с другой, кроме разве названия силы, придаваемой тем и другим? Кажется и Dubois Raymond, в недавно произнесенной им речи, сравнивал отношение души к телу с отношением материи к силам; но он выводил из этого сопоставления только необъяснимость обоих отношений и, сколько мне помнится, не шел далее. Производить душу от материи, или утверждать, что одно и то же начало, в различных моментах своего развития, является сперва в форме вещественных, а затем психических сил – одинаково произвольно. В научном отношении вторая гипотеза ничем не лучше первой, а на практике влияние обеих на темперамент и настроение души современного человека не может не быть одинаково.

4.* Приписав вам мысль, будто бы все наши общие представления и понятия суть не иное что, как психические переработки материальных впечатлений, я действительно выразился крайне неточно. Если бы, вслед за словом все я вставил слово: начальные, тогда моя фраза была бы повторением положения, встречающегося на многих страницах вашей книги (стр. 31, 42 , 43, 93, 110, 128, 139, 140, 144, 165, 166 и т. д.). Но здесь я имел в виду иную мысль, именно ту, которая

* 4-е возражение Ю. Ф–ча было напечатано целиком в статье К. Д. Кавелина в июньской книжке «Вестника Европы» за 1875 г. стр. 782. Оно служит ответом на следующее возражение К. Д. Кавелина, напечатанное, впрочем, в измененной редакции: «Ю. Ф. С–ин полагает, будто, по моему мнению, все психическое содержание человеческой души ограничивается внешними впечатлениями в непосредственном или переработанном виде, будто бы из сказанного в «Задачах Психологии» выходит, что «все наши общие представления и понятия суть не иное что, как психические переработки материальных впечатлений». Но такой взгляд я не могу принять за свой и привел места из своей книги (стр. 89. 95,103,105, 110, 139, 163 и 164) в доказательство, что, кроме внешних впечатлений, я признаю впечатления психические, которые приписываю фактам, не имеющим ничего общего с внешними впечатлениями; что душа отражает в себе свои движения, состояния и самое себя, вследствие чего в нашем уме есть представления, понятия, мысли, не имеющие прототипа во впечатлениях внешнего мира; что Локк, указывая на внешние впечатления и психические процессы, как на источники представлений, понятий и мыслей, не обратил внимание на третий источник – на прирожденные свойства психического организма». («Вестник Европы», июнь 1875 года, стр. 782). *(Прим. Д. Самарина.)*

в другом месте выражена у меня словами: в той мере, в какой психическая жизнь обусловливается содержанием извне, она поставляется в зависимость только от мира вещественного. Против этого вы, кажется, и не протестуете, ибо все остальное ее содержание (помимо впечатлений, получаемых от мира вещественного), содержание, которое, в свою очередь, может сделаться источником новых впечатлений, есть не иное что, как продукт психической переработки первоначальных впечатлений, полученных извне. Иначе и быть не может при отрицании прирожденности идей, категорий и схем, с одной стороны, и при игнорировали Откровения, с другой. Действие материального мира на душу – внешние впечатления – и действие души на эти впечатления – внутренние впечатления – вот из чего слагается психическая жизнь. Правда, дополняя Локка, вы указываете еще на прирожденные свойства психического организма («Задачи Психологии», стр. 164), но эти свойства делаются доступными сознанию только в психических процессах, в деятельной переработке внешних впечатлений и, как свойства, представляются не иным чем, как последующим отвлечением от целого ряда сознанных умственных операций, а не самостоятельным и изначальным источником внутренних ощущений.

5.* В книге вашей я вычитал, между прочим, что в борьбе невольно возникающих в душе побуждений нет места для проявления психической свободы и что поэтому она не может дать поступку, зарождающемуся в такой борьбе, характера поступка вольного. Вы отвечаете: этого я нигде не говорю и не думаю**. Последние два слова: не думаю – я принимаю с радостью, как существенное amendement к вашей книге, которое потребует, вероятно, некоторого дополнения главы VII-й. На начальные

* 5-е возражение Ю. Ф–ча напечатано в статье К. Д. Кавелина в июльской книжке «Вестника Европы» за 1875 г. на стр. 336 и 337 с опущением приведенных в возражении мест из книги «Задачи Психологии» и заключительных слов об Иуде. *(Прим. Д. Самарина.)*

** Ответ К. Д. Кавелина, по-видимому, в измененной редакции см. в июльской книжке «Вестника Европы» за 1875 г. стр. 335—336. *(Прим. Д. Самарина.)*

же слова «не говорю» – позвольте возразить справкою. В книге вашей я читаю: «Борьба побуждений и победа одних над другими имеет скорее механический характер и вполне удовлетворительно объясняется законами психической динамики» («Задачи Психологии», стр. 188). «Есть поступки, на которые мы решаемся после более или менее долгой и упорной борьбы. Такие действия обыкновенно считаются произвольными, результатом деятельности воли, но против этого очень справедливо возражают, что воля, собственно говоря, тут ни при чем. Внутренняя борьба, результатом которой являются такие поступки, предполагает существование в душе различных побуждений, из которых каждое стремится определить действие, склонить нас к тому или другому поступку. В этой борьбе относительная сила мотивов и одерживает верх... Совершается такая борьба по законам механическим, и когда все данные известны, ход ее развития может быть формулирован заранее, с математическою точностью» («Задачи Психологии», стр. 190–191). Далее, предположение принадлежностей и признаков произвольного поступка в действиях, происходящих вследствие борьбы нескольких мотивов, прямо названо «самообольщением и невольным обманом (191)». Та же мысль, повторенная и на стр. 194-й, еще яснее высказывается в определении условий, при которых только и может обнаружиться психическая свобода; все они решительно исключают то состояние, в котором находится человек в момент борьбы побуждений: «совершенное спокойствие, отсутствие всякого волнения или возбуждения или аффекта». Таковы же все подобранные примеры так называемой произвольной деятельности (стр. 192, 193, 196, 199).

Остается объяснить, почему признание за психическою свободою способности участвовать в качестве самостоятельного фактора в борьбе побуждений потребует переделки главы VII-й. Придется, вероятно, признать целую категорию поступков, вызванных побуждениями невольными, но овладевшими человеком и перешедшими в действие только потому, что эта присущая в душе способность на сей раз вольно об-

рекла себя на бездействие, воздержалась от употребления в дело самой себя, очистила место для законов механики и этим своим вольным безучастием и попущением все-таки отрицательно участвовала в поступке, который, вследствие этого, и получает характер вольного. Об этой категории нигде в книге не упоминается; она даже подразумевательно отрицается на страницах 190, 193, 198 и др. Заметьте, что я не утверждаю, чтобы все сознательные действия без исключения были положительно или отрицательно вольны, и нисколько не отрицаю категории действий, совершаемых роковым образом, в силу непреоборимых побуждений, даже не материальных, а психических. Возможность их объясняется возможностью предшествующего им момента самоубийства воли. На этот момент есть даже указание в Евангелии. Спаситель подал Иуде хлеб. Это была последняя минута, в которую задумавший предательство мог еще пересилить в себе искушение, но он упустил ее, принял предложенный ему хлеб, не отказавшись от своего намерения, и тогда, вместе с хлебом, «вниде в него сатана»; иными словами: с этой минуты побуждение прибрело над душою власть неодолимую, и она пошла ко дну, как камень, падающий в силу закона динамики.

6.[*] Вы спрашиваете: где я нашел в вашей книге, что всякое душевное состояние (т. е. всякое ощущаемое побуждение) действует на человека необходимым образом и вызывает непроизвольные поступки. Это буквальное повторение ваших слов на странице 194-й, вверху[**], с тою разницею, что оба глагола, употребленные у меня в настоящем времени, у вас стоят в прошедшем. Та же мысль встречается почти в тех же выражениях на той же странице внизу и в первых строках сле-

* 6-е возражение Ю. Ф–ча не было напечатано в статье К. Д. Кавелина, а было изложено только в сжатом виде. См. стр. 337 и 338 июльской книжки «Вестника Европы» за 1875 г. *(Прим. Д. Самарина.)*

** «Выбор мой не определялся ничем; я сам его определил, сам добровольно поставил себя в зависимость от известного душевного состояния, которое подействовало на меня уже необходимым образом, вызвало мои дальнейшие уже непроизвольные поступки». («Задачи Психологии», стр. 194). *(Прим. Д. Самарина.)*

дующей*. Примером поясняется, что человек, находящийся в совершенно спокойном состоянии, т. е. ничего не желающий и не испытывающий в себе никаких побуждений, может по произволу остановиться на той или другой общей, отвлеченной, холодной мысли; этим выбором мысли, предшествующим всякому душевному настроению или состоянию, ограничивается акт произвола; затем ощущение определенного душевного состояния наступает, как необходимый результат выбора, вследствие связи между холодною мыслью и центром чувствительности; «это состояние, — продолжаете вы, — действует на душу (т. е. побуждает ее) необходимым образом и вызывает дальнейшие уже непроизвольные поступки». Если таким, т. е. необходимым, образом действуют на человека побуждения, вызванные свободным выбором отвлеченной мысли, то очевидно не может действовать на него иначе мотив, возникший сам собою, без всякого участия психической свободы. Стало быть, я имел полное основание сказать, что всякое побуждение, как вызванное, так и без зова явившееся, обусловливает невольные поступки, и теперь, перечитав внимательно страницы 194 и 195 вашей книги и листы 206 и 207 ответа, я все-таки недоумеваю: чем я погрешил и подал повод к восстановлению точного смысла сказанного вами? На том же 207 листе вы заявляете, что «выбором, в действительном и точном смысле слова, может быть назван только тот, который делается без всякого побуждения». Не значит ли это, что ощущение побуждения, само по себе, исключает проявление психической свободы?

7.** О «самом человеке» или о «самой душе» как источнике вольной деятельности, я упомянул вскользь, не выяснив

* «Посредством общих отвлеченных мыслей, находящихся в прямой связи с центром чувствительности, произвольное на них действие вызывает соответствующие им чувства, желания, страсти, которые потом уже сами собою приводят душу в известные непроизвольные состояния и побуждают нас к непроизвольным поступкам». («Задачи Психологии», стр. 194, 195). *(Прим. Д. Самарина.)*

** 7-е возражение Ю. Ф–ча было напечатано на стр. 342–344 июльской книжки «Вестника Европы» 1875 г. *(Прим. Д. Самарина.)*

моей мысли, и оттого мое замечание легко могло показаться вам неосновательною придиркою*. Позвольте мне договорить недосказанное в первом письме.

Что такое с а м человек? Вы отвечаете: это человек, отрешившийся от окружающей его материальной среды, от своего тела, от своих представлений, мыслей, желаний, побуждений, страстей, от всего содержания своей психической жизни и от ее процессов («Задачи Психологии», стр. 201 и 202). Стало быть, дополняю я: человек, совлекший с себя все свои признаки, определения и свойства, короче: сущность человека. Но на странице 148-й мы уже прочли, что сущность или субстанция (Ding an sich) есть чистая отвлеченность, не нечто непостижимое, а «м и р а ж у м а». Каким же чудом этот мираж мог превратиться в олицетворение свободной творческой силы и сделаться волящим субъектом? Вы говорите, что освободившись от всего, душа вынуждается, наконец, искать точки опоры в себе самой, а я дополняю ваши слова: и не найдет ее, ибо с а м а душа то же, что сущность души, то есть опять-таки призрак.

Вы разрешаете это недоумение указанием на способность души отражаться в себе самой. Все ее внутреннее богатство

* Эти слова относятся к следующему возражению К. Д. Кавелина. Приводим его в той, очевидно, измененной редакции, как оно было напечатано в «Вестнике Европы» (июнь, стр. 340). «Против возражений, направленных на мою попытку ввести самопроизвольность в круг научного знания, отыскать его объективные признаки и определить его научную формулу я привел ряд опровержений, не понимая, впрочем, ясно той части аргументации, в которой Ю. Ф. Самарин особенно налегает на противоречие, будто бы существующее между моим представлением о самом человеке и моим отрицанием субстанции. В главе V-й «Задач Психологии»... я старался доказать, что существо, природа души недоступна нашему знанию; доступны нам только явления, т. е. свойства души и ее строение. О них я говорю очень пространно и... показываю, каким образом способность души, раздвояясь, обращаться к самой себе и к тому, что в ней содержится, есть источник ее самодеятельности и самопроизвольности, причина психической инициативы и свободной воли... Не касаясь недоступного знанию существа души, я старался объяснить механизм самопроизвольности – единственное, что науке доступно. Мне казалось, что это совсем не то, что метафизический и философский der Mensch an sich, человек по существу, и потому замечание, будто он является у меня в конце книги, как Deus ex machina, казалось мне несправедливым». *(Прим. Д. Самарина.)*

остается при ней, но она совершенно сознательно относится к нему, как к чему-то внешнему, постороннему; оттого-то де и может она сама черпать из него любое, выбирать оттуда, по собственному своему почину, мотивы, определяющие ее свободную деятельность («Задачи Психологии», стр. 199). Этою способностью самоотражения вы объясняете вольные психические действия и предлагаете свое объяснение, как дополнение к теории Ст. Милля, который, по замечанию вашему, оставил без ответа вопрос о том, каким образом воля может обратиться в побуждение? («Задачи Психологии», стр. 189 и 190).

Не знаю, верно ли я вас понял, но мне представляется здесь недоразумение. «Сам человек, сама воля, сама душа», все эти выражения, в настоящем случае, значат, очевидно, одно и то же, употребляются вами и Миллем в смысле самоопределяющегося субъекта. Объяснить нужно процесс самоопределения, но ни вы, ни он не объяснили его. Указанная вами способность души отражаться в себе самой есть не более, как одно из условий, без которых самоопределение было бы невозможно, а отнюдь не причина его, не пружина свободной деятельности. В самом процессе самоопределения, в том виде, в каком он вам представляется, я встречаю неразрешимое противоречие. Душа, обособившаяся от всего своего содержания, не ощущающая никакого побуждения, созерцает внутренним зрением множество как бы разложенных перед нею общих, отвлеченных мыслей, из которых каждая способна сделаться мотивом для действия. Вдруг эта душа на одной из них останавливается, устраняя все остальные; эту избранную ею мысль она себе усваивает, тем самым подчиняется ей и, таким образом, отвлеченная мысль превращается в побуждение к действию. Таков начальный момент вольной деятельности. Но, повторяю еще раз, чем же самая эта остановка, самый этот выбор, самое это усвоение не поступок по себе, помимо всех дальнейших последствий и проявлений ad extra, которые могут и не осуществиться? По свидетельству людской совести, это действительно и в полном смысле слова поступок, при том сознательный и вменяемый. Между тем, на странице 189-й было уже разъ-

яснено, что без мотива (иначе без побуждения) совершаются только действия бессознательные или хотя и сознаваемые, но происходящие рефлективно. Стало быть, выбор и усвоение отвлеченной мысли совершились в силу предшествовавшего им и сознанного душою побуждения; иначе она пребывала бы вечно в спокойном созерцании.

Откуда же взялось это побуждение в самой душе, т. е. в душе, отрешившейся от всяких внешних и внутренних мотивов, и как объяснить эту своего рода generatio aequivoca[3]? На этот вопрос не дали ответа ни покойные идеалисты, ни Ст. Милль, ни вы. Повторяю еще раз: все говорят в сущности одно и то же: человек сознает себя свободным, стало быть он свободен. Если ничего большего и сказать нельзя, то действительная или только кажущаяся несостоятельность этого вывода, сама по себе, не давала бы темы для критики собственно на вашу книгу, но дело в том, что вы сами отняли у себя право основываться на одном свидетельстве внутреннего сознания. «Если б одно только сознание, – говорите вы («Задачи Психологии», стр. 21), – установляло и определяло психические факты, то нечего было бы и думать о положительном, точном их исследовании». Психический факт вольного самоопределения оказывается именно таким. В той же вашей книге я читаю: «Только благодаря обнаружению психической жизни во внешних предметах и явлениях становится возможным, наряду с знанием природы, и положительное знание духовной стороны человека» («Задачи Психологии», стр. 23). Но несколько ниже вы же заявляете, что «по наружным признакам произвольное действие ничем не отличается от непроизвольного» (стр. 188), иначе: свойство вольности, присущее действию, не переходит в явление. И действительно, я сознаю про себя, что могу поднять руку или не поднимать ее, вытянуть ногу или не вытягивать ее; но раз то или другое действие исполнено, никто никогда не докажет, чтоб оно могло не совершиться. В виду всего этого, я и писал вам, что чистокровные позитивисты, к которым все-таки я не могу вас причислить, по всей вероятности, не без основания опрокинутся на вашу главу VII-ю о сво-

бодной деятельности души. Прибавлю теперь, по прочтении возражения проф. Сеченова, что мои опасения в этом случае не оправдались. Итак: сосуществование двух взаимно исключающихся факторов (с одной стороны – психической свободы, засвидетельствованной внутренним сознанием, с другой – роковой необходимости, открываемой во всех явлениях) и дознанная невозможность отыскать формулу их примирения – вот к чему, в конце-концов, приходит наука. По-видимому, оставалось бы самое это логическое противоречие признать за факт, иначе за признак пертурбации в самой жизни, но на этом я останавливаюсь, ибо дальнейший шаг, действительно, ввел бы нас в другую область.

8.* До сих пор я указывал вам только на те положения ваши, с которыми я не могу согласиться; как вы видите, разномыслий между нами немало, и они обнимают самые существенные предметы. Тем не менее, не говоря уже о ваших побуждениях и чаяниях, которым я безоговорочно сочувствую, есть много пунктов, в которых мы совершенно сходимся. В заключение упомяну о некоторых. В ответе вашем, вы, мне кажется, еще лучше, чем в самой книге выяснили акт научного произвола, в котором и материализм, и идеализм, в смысле философских систем, одинаково повинны. Оба от дознанного факта сосуществования и взаимодействия двух параллельно идущих рядов явлений (вещественных и психических) переходят каким-то совершенно иллогическим salto mortale к предположению причинной зависимости одного от другого. Ту же мысль, выраженную почти теми же словами, как у вас, я мог бы показать вам в неоконченной мною статье, которую я начал было писать в 1862 году, по прочтении первых брошюр Бюхнера**. Поразила меня еще другая ваша мысль, далеко не вполне развитая, брошенная как бы мимоходом и, по крайней мере, для меня совершенно новая. Я разумею вашу попытку отыскать в психологии то реальное содержание покойного идеализма, которого он сам в себе не сознавал, и переложить его

* 8-е замечание Ю. Ф–ча не было напечатано. *(Прим. Д. Самарина.)*

** См. далее в этом томе «Письма о материализме». *(Прим. Д. Самарина.)*

космогонические построения в логические формы мыслящей души* . Сказать об этой мысли решительное слово я не считаю себя компетентным, но она кажется мне в высшей степени богатою и плодотворною.

Январь, 1874 года.

III

1) Того, что приписывается мне на стр. 31**, я никак не думаю и, кажется, не говорил (см. стр. 7 и 8). Отрицание всего не подлежащего внешним чувствам есть только грубейшая форма материализма; в форме более научной и в высшем моменте своего развития (где он, как мне кажется, сливается

* По-видимому, Ю. Ф. имеет в виду следующие слова К. Д. Кавелина: «Немецкий идеализм имел дело исключительно с одним только психическим материалом, с фактами, явлениями и законами психической жизни; все его предпосылки – психологического свойства; законы, выдаваемые им за мировые, суть в действительности законы души и ее отправлений; атрибуты, приписываемые им божеству, на самом деле атрибуты человеческой души. Сведите мировые системы Фихте, Шеллинга и Гегеля к более скромным размерам учений о психической жизни, отнесите их исследования не к «всемирному духу» и законам вселенной, а к человеческой душе и ее законам, – и тотчас же бессмысленное в этих системах окажется исполненным смысла, кажущийся бред превратится в замечательные открытия, в тонкие, глубокие и превосходные психологические исследования, которые и теперь сохраняют безотносительную цену и важность в науке» («Задачи Психологии», стр. 117). *(Прим. Д. Самарина.)*

** В III-й статье Ю. Ф–ча сделаны везде ссылки на страницы рукописи К. Д. Кавелина, но так как, и после III-й статьи Ю. Ф–ча, К. Д. Кавелин «внимательно пересмотрел свою статью и выключил из нее все, что относилось к мнениям, которые Ю. Ф. не признавал за свои и отбросил совсем последнюю главу», то необходимо иметь в виду, что места, на которые возражает Ю. Ф. Самарин, могут оказаться измененными в той редакции, в которой они были напечатаны и в которой мы будем приводить их в подстрочных примечаниях. В 1-м замечании Ю. Ф. возражает, вероятно, на следующие слова К. Д. Кавелина: «Ю. Ф. Самарин думает, что положительная наука, которую он считает тождественной с позитивизмом, по существу своему, относится отрицательно к действительному, реальному, самостоятельному существованию всего того, что не имеет материального бытия и не подлежит внешним чувствам». («Вестник Европы», май 1875 г., стр. 371; сравни также стр. 387). *(Прим. Д. Самарина.)*

с позитивизмом) материализм, не отрицая особого порядка психических явлений, довольствуется тем, что признает материю необходимою подбивкою психического начала, не допуская существования последнего вне неразрывного сочетания с первою.

2) Не знаю, вполне ли точно выражена здесь* (стр. 88) ваша мысль? При чтении рождается недоумение: каким образом наука может знать о существовании того, что не обнаруживается (во внешних явлениях), если такое обнаружение составляет непременное условие всякого познавания, и наоборот: почему бы то, что доступно знанию, не могло бы быть предметом наблюдения? Наконец, если есть хоть один факт психический, ни в чем не обнаруживающийся, иначе отрешенный от всякой вещественной реальности, то как понимать положение о неразрывности и непременном сосуществовании двух элементов, психического и реального?

3) Из сравнения множества явлений, суммируя** более общие и отбрасывая исключения (другого способа доходить до законов наука не имеет), она, положим, выработает свод нравственных правил. Вопрос в том: каким образом общий закон сделается законом л и ч н о д л я м е н я (für mich) или: каким образом правило перейдет в субъективную о б я з а н н о с т ь? Вы

* 2-е замечание относится очевидно к следующим словам К. Д. Кавелина: «Но точно так же наука знает, что кроме психических фактов, приуроченных к внешним явлениям, могут быть и такие, которые не обнаруживаются в объективных признаках, остаются уделом личного сознания того, в ком они происходят, и потому навсегда остаются недоступными для ее наблюдения». («Вестник Европы», май 1875 г., стр. 389). *(Прим. Д. Самарина.)*

** Это замечание служит ответом на следующие слова К. Д. Кавелина: «Одни общие законы постоянны; их ни обойти, ни изменить нельзя. Эти законы, открываемые точным исследованием, с д е л а в ш и с ь п р е д м е т о м л и ч н о г о и н д и в и д у а л ь н о г о с о з н а н и я, о б р а щ а ю т с я в л и ч н о е у б е ж д е н и е и служат основанием того кодекса нравственности, которому мы считаем себя обязанными добровольно следовать не только во внешних своих поступках, но и во внутренних движениях, насколько они зависят от нашей воли. Я глубоко убежден в том, что законы нравственности, выведенные из положительного изучения антропологии и науки о человеческом общежитии, совпадают с правилами нравственности, которым учит Евангелие» («Вестник Европы», июнь 1875 г., стр. 779, 780). *(Прим. Д. Самарина.)*

прямо утверждаете, что общие законы, открываемые точным исследованием, принимаются личным сознанием, «обращаются в личное убеждение» и т. д. Но этим вопрос не разрешается. На мой взгляд, переход общего нравственного закона в субъективную нравственную обязанность обусловливается уверенностью в том, во-первых, что требование нравственного закона непременно фактически оправдается окончательным торжеством нравственного начала, не только в судьбе общества или всего человечества, но и в личной судьбе каждого субъекта (момент загробного суда, вечной жизни или осуждения); во-вторых, что в той мере, в какой дано личному сознанию уразумение нравственного закона, дана личной воле способность и возможность исполнить его; иными словами: что каждый субъект стоит перед лицом не безличного закона, а живого Законодателя, который есть вместе и Творец. Ни той, ни другой уверенности положительная наука дать не может, а помимо этих двух предпосылок, я не вижу возможности найти твердое основание для нравственности, разумея под этим последним словом не книгу, не свод законов общественного благочиния, а нравственную жизнь.

4) То, что здесь, (стр. 101)* мне приписывается, не выражает моей мысли, но я сознаюсь, что сам подал повод к недоразумению, не договорив того, что я понимал. Путем личного

* «По мнению Ю. Ф. Самарина, религия есть дело личной опытности, и только сознание свидетельствует об истинах религиозного свойства. В то же время Ю. Ф. Самарин утверждает, что всякое нравственное требование теряет свою обязательность, если не основано на данных религиозного свойства. Первое мне кажется бесспорным. Религия тем отличается от науки, что первая говорит личному сознанию, а последняя прежде всего стремится установить объективные, обязательные для ума признаки истины. Но с мыслию, будто нравственное требование, не основанное на данных религиозного свойства, необязательно, никак нельзя согласиться. Из слов Ю. Ф. Самарина следует, что люди, не носящие в своем сознании данных религиозного свойства, не могут быть нравственны в строгом смысле слова. Но данные религиозного свойства могут быть очень разнообразны и, смотря по вероисповеданиям, даже противоречивы. Согласно с тем и нравственные требования могут быть весьма различны и даже противоположны друг другу. Как же согласить их в общежитии?» («Вестник Европы», июнь, 1875 г., стр. 780). *(Прим. Д. Самарина.)*

опыта доходит до человека только начальное откровение, необходимая предпосылка дальнейшего. В своем личном сознании человек обретает свидетельство своего непосредственного отношения к Богу; он узнает, что Бог существует для него лично, и что он, как лицо, существует для Бога. Из этого вовсе не следует, чтобы истины религиозного свойства (догматы веры) не имели «объективных признаков и обязательного для ума характера».

5) Все, что здесь (стр. 102, 103 и 104)* приписывается мне как строгий вывод из моего воззрения, я считаю себя вправе устранить как произвольное предположение. Человек «не носящий в своем сознании данных религиозного свойства» (как говорите вы), – человек, самопроизвольно отворачивающийся от призывающего его к себе Бога (сказал бы я) – сам у себя отнимает возможность разумного оправдания тех нравственных требований, которым он подчиняется – вот все, что можно вывести из моих слов. Прудон отрицал разумность и правомерность собственности; следует ли из этого, что он был вор? – Следует только, что если б он обокрал кого-нибудь, то ему бы не за что было упрекнуть самого себя. Все следующие за этим вопросы, я мог бы обратить против вас, т. е. против обещанного свода нравственных законов, выведенных путем точного исследования. Уверены ли вы в том, что все школы совпадут в своих выводах о том, что нравственно и что безнравственно? А если вы уверены, что со временем упразднятся школы и наступит царство единой науки, то почему бы не допустить, что рано или поздно все вероисповедания сольются в одну веру? Спрошу и я: на что обрекаете вы всех тех, которые, без всякой с их стороны вины, просто оказываются неспособными по характеру, воспитанию, прирожденному слабоумию, привычкам и внешней, житейской обстановке, не только пройти научный путь точного исследования, но даже

* Замечание 5-е относится к концу приведенной выписки, но очевидно, что в этом месте в рукописи изложение было гораздо полнее, чем в печатной статье К. Д. Кавелина; в ней вовсе нет тех слов, которые в конце 5-го замечания приведены Ю. Ф-чем в кавычках как взятые из рукописи. *(Прим. Д. Самарина.)*

близко подойти к науке, далее узнать про ее существование? На вопрос, обращенный ко мне, я могу ответить: Бог ни от кого не прячется и никого не обходит призывом: следовательно, таких людей нет на свете, которые бы «жаждали правды, истины и нравственного совершенства и оставались бы (в силу внешних обстоятельств) за порогом истины и, при всей доброй воле, не могли бы быть нравственными». Может быть, я и ошибаюсь: но, во всяком случае, ваша аргументация против меня логически неправильна. Нельзя употреблять как улику такого факта, которого противник не только не признает, но которого прямое отрицание подразумевательно заключается в его исходном положении.

6) С точки зрения религиозной, такого вывода (стр. 104)* действительно защищать нельзя, потому что он противоречил бы понятию о непосредственном отношении Бога к каждому человеку, взятому порознь; но я не вижу, почему бы положительная наука не могла помириться с предположением возможности той категории несчастных людей, о которых упоминается в конце стр. 103-й.

7) Говорится (на стр. 106 и 107), что я «отверг и самое научное знание», что я «отвергаю возможность положительного знания психических фактов и т. д.»** Не могу на это ничего сказать, потому что не припомню, какие слова мои могли подать повод к этому заключению.

8) Не понимаю, каким путем дойдет человек до такого знания*** (стр. 127) и на каком основании положительная

* Замечание 6-е относится к тому же месту рукописи К. Д. Кавелина, сокращенному в печатной статье. *(Прим. Д. Самарина.)*

** «Прав ли Ю. Ф. Самарин, отвергая положительную науку психических фактов из-за нелепых выводов, которые из нее делаются... Ю. Ф. Самарин убежден, что положительной науке доступен только реальный мир и что она не может подняться до явлений психической жизни». («Вестник Европы», июнь 1875 г., стр. 782). *(Прим. Д. Самарина.)*

*** «Зная, что те или другие наши поступки должны иметь неизбежные для нас самих последствия, или непосредственный или чрез посредство общественного организма, мы тем с большим убеждением будем делать одно, не делать другого» («Вестник Европы», июль, стр. 788). *(Прим. Д. Самарина.)*

наука стала бы уверять его, что в его земной жизни, на нем самом, непременно отзовутся последствия его поступков, как нравственных или безнравственных? Учение о конечном суде, на котором все тайное обнаружится, и человек в первый раз увидит самого себя всего, понятно для меня только в связи с учением о Промысле и о загробной жизни.

9) К странице 187-й и следующим. Если я ошибочно понял вашу мысль в первых моих замечаниях*, то теперь я уже повторю от себя то, что неправильно приписывал вам. Не только с точки зрения естествознания, не только в многоразличных сочетаниях явлений внешней природы, служащих человеку для достижения его целей, нет возможности высмотреть самопроизвольности, но и в психической стороне поступков нельзя определить никаких объективных признаков, по которым бы можно было отличить самопроизвольное движение

* «Последний довод Ю. Ф. Самарина против попытки определить путем науки самопроизвольность состоит в том, что она есть факт личного сознания, который, не имея никаких признаков, не доступен научному исследованию. В доказательство он ссылается на мою книгу... Очень может быть, что я выразился не совсем точно и что слова мои подали повод к недоразумению... Чтоб объяснить точный смысл сказанного на стр. 188-й о невозможности отличить, по наружным признакам, самопроизвольное действие от непроизвольного, надобно сравнить его с тем, что я говорю на стр. 36. Здесь объясняется, что «с точки зрения естественных наук нельзя и догадаться, что существуют произвольные движения или свобода воли, так как каждое такое движение, каждый акт воли, производит во внешнем мире только те перемены, которые допускаются естественными условиями и законами». Итак, говоря, что произвольное действие по наружным признакам не отличается от непроизвольного, я, может быть, не совсем удачно выразил ту мысль, что сочетание внешних материальных фактов в действии, произвольном и непроизвольном, во всяком случае может происходить только по закону роковой связи причины и ее действия или последствия, и потому, если мы будем изучать только эту сторону, то такое изучение никогда не приведет нас к различению произвольного действия от непроизвольного. Между этою мыслью и тем, будто бы самопроизвольность доступна только личному сознанию и внешним образом ничем не выражается, есть очень большая и существенная разница. Мир психических явлений есть не только субъективный, но и объективный, и объективен он настолько, насколько выражается во внешнем мире доступным для всех образом. Только те психические явления, которые не обнаруживаются ничем, не могут быть предметом научного исследования» («Вестник Европы», июль 1875 г., стр. 350, 351). *(Прим. Д. Самарина.)*

воли от вынужденного. Что вольно и что невольно, – человек знает *только про самого себя*; о других он судит по догадке, предполагая в чужой субъективной среде присутствие своего чисто субъективного ощущения самопроизвольности, подобно тому, как ощущающий присутствие Божие в своей личной жизни предполагает то же ощущение и во всех людях. На стр. 189 и 190[*] вы приписываете «объективный характер факту самопроизвольности» на том основании, что, говоря о ней, люди друг друга понимают; но ведь и слова «Бог, Промысл, благодать» и т. д., имеют также определенный, всем доступный смысл. Утверждая, что факт самопроизвольности принадлежит к области субъективных убеждений, я нисколько не думал отрицать его всеобщности; я хотел только сказать, что каждый человек сознает его про себя, не будучи в состоянии указать его вне себя, потому что самопроизвольность ни в каком явлении не оставляет своих следов.

Дальнейшая ваша аргументация[**] и приведенные вами примеры, мне кажется, portent a□ faux[4], их, как говорят французы,

* Ю. Ф. ссылается на следующие слова К. Д. Кавелина, которые идут в печатной статье его вслед за приведенным отрывком: «Спрашивается: почему мы говорим, рассуждаем и спорим о свободной воле, о самопроизвольности? Очевидно потому только, что это психическое явление не осталось предметом личного сознания, и обнаружилось как-нибудь вовне, хотя бы только в слове, с которым люди соединяют известное представление, различаемое ими от других. Это, конечно, еще не доказывает, что самопроизвольность или свобода воли не обман ума, не самообольщение, но во всяком случае из этого несомненно следует, что *психический факт самопроизвольности*, каков бы он ни был, не есть удел одного личного сознания, а *достояние всех людей, и в этом смысле имеет объективный характер*». (Там же, стр. 351). *(Прим. Д. Самарина.)*

** «Другой вопрос – есть ли свобода воли реальный факт или мираж сознания?... Строгое подчинение внешней. материальной стороны самопроизвольного поступка законам природы отнимает... всякую возможность различить его, с этой стороны, от непроизвольного. Но эта сторона не есть единственная, доступная исследованию. Всякий материальный акт, в котором замешан психический элемент, имеет, кроме материального, и особый психический смысл; материальная сторона каждого такого факта служит психическим символом, по которому мы ее узнаем и которого непосредственное материальное значение совсем другое. Не распространяясь далее об этом предмете, я здесь замечу только, что сопоставление нескольких или многих выражений воли не по их материальной, а по психической

или бьют невпопад. Они доказывают только участие в человеческой деятельности мотивов психического свойства, чего толковые противники самопроизвольности и не отрицают; но между психическим мотивом и самопроизвольностью есть огромная

стороне – дает объективное представление о самопроизвольности. Как мы угадываем по действию или поступку о невидимой и тщательно скрываемой цели, как мы, рассматривая действие, заключаем об умысле или отсутствии умысла, точно так же, исследуя действие, мы различаем сознательные от бессознательных, самопроизвольные от непроизвольных. Все наше знание психических явлений основано единственно и исключительно на сравнительном изучении следов, оставляемых во внешнем мире психическою жизнью и представляемых значками или символами. Не будь таких следов, не знай мы, что психическая сторона символически выражается во внешнем мире, мы бы должны были согласиться с Ю.Ф. Самариным, что не только самопроизвольность и свободная воля, но и все вообще психические явления суть исключительно факты нашего личного сознания, не подлежащие положительному изучению. Но объективный характер явлений свободной воли выясняется вполне чрез сравнение их между собою, почему я и считаю эти явления доступными, наравне с другими, для научного знания. Доказательством может служить пример, на который я уже несколько раз ссылался... а именно: если бы кто-нибудь захотел доказать, что может, по произволу, выполнить все знакомые ему движения, или перечислить наугад известное число известных ему представлений, то, выразив словами или на письме такое свое намерение, он тем обнаружил бы его и оно таким образом перестало бы быть предметом одного личного его сознания, а сделалось бы объективным фактом, доступным всем и каждому. Затем, когда он начал бы приводить это свое намерение в исполнение, т. е. стал бы произносить, писать, или и произносить, и писать бессвязные представления о различных материальных и психических предметах, или делать различные движения, обозначая их сперва точно так же словами или на письме, то все такие действия его не были бы предметом одного его личного сознания, но сделались бы вместе и объективными фактами, доступными для всех и каждого. Из соображения этих фактов всякий должен будет вывести заключение, что действующее лицо в самом деле может но произволу совершать те действия, какие захочет. Я полагаю, что такое заключение как основанное на объективных фактах было бы совершенно правильно, и после такого опыта все узнавшие о нем должны бы были, по объективным признакам, согласиться, что представивший опыт в самом деле способен самопроизвольно вызывать из своей души различные хранящиеся в ней представления и вместе с тем выражать и приводить их в действие. Следовательно, не на основании одного личного сознания, но и по объективным данным, самопроизвольность и свобода волн должны быть признаны за психический факт, и этот факт, как мы видели, может подлежать научному исследованию, наравне с прочими» («Вестник Европы», июль 1875 г., стр. 351–353). *(Прим. Д. Самарина.)*

разница, которую вы сами выяснили. Действие предсказанное, иначе: согласие двух действий – из которых одно, предшествующее, выражается в слове или на письме, а другое последующее в исполнении заявленного – также ничего не доказывает, ибо намерение, само по себе, может быть определено, как сознанное побуждение и только. Признака самопроизвольности в нем все-таки нет; она только предполагается в нем на основании чисто субъективного убеждения. Я стою на том: что возможность в данном случае поступить так, а не иначе (понимая слово «поступок» в самом широком значении этого слова и подразумевая под ним акт внутреннего одобрения, выбора или попущения), остается всегда при субъекте и никогда не переходит в явление. Я произнес кряду 10 слов; вы никогда не докажете мне, что я мог *бы* произнести 10 других, или не произносить ни одного.

10) Предметом научного исследования могут стать не факты самопроизвольности*, а тот факт, что люди считают себя до известной степени одаренными самопроизвольностью, – притом далеко не все люди, ибо, как вы замечаете (стр. 140) противное убеждение прочно установилось в мыслящих слоях.

11) К стр. 198-й**. Целесообразность в действиях наперекор препятствиям видна и в неодушевленной природе: рас-

* См. конец предыдущей выписки и сверх того на стр. 353 и 351 польской книжки «Вестника Европы» следующие слова К. Д. Кавелина: «Повторяю: психические факты, доступные личному сознанию каждого, имеют во внешнем своем проявлении определенные условные признаки, по которым факты такого рода могут стать предметом научного исследования». *(Прим. Д. Самарина.)*

** На стр. 354 июльской книжки «Вестника Европы» К. Д. Кавелин в доказательство того, что самопроизвольность заявляет себя в объективных фактах, по которым можно ее исследовать, приводит в виде примера «движение парохода, совершающего правильные и срочные рейсы между двумя определенными пунктами, или игру артистов, исполняющих сегодня одну, через неделю другую музыкальную пьесу». Разобрав эти факты с их внешней стороны и затем как значки психических явлений, К. Д. Кавелин делает следующий вывод: «Из этих фактов, явно указывающих на целесообразность действий или поступков, предвиденных вперед, рассчитанных и выполняемых, несмотря на изменяющиеся обстоятельства и обстановку, часто наперекор препятствиям, видно, что роковым сцеплением причин и последствий руководила воля, приводившая в сочетание те условия, которые уже сами собою производили известное роковое явление». *(Прим. Д. Самарина.)*

тение из темного чулана тянется к свету и воздуху, раздвигая препятствия и т. д.

12) К стр. 199-й*. Натяжкою было бы только отрицание мотивов или побуждений свойства психического, притом иногда сознаваемых, а иногда бессознательных, а не самопроизвольности.

13) К стр. 204-й**. В заключение вашего ответа вы противопоставляете меня проф. Сеченову для олицетворения крайностей двух воззрений, обнимающих в совокупности тот круг, в котором вертится наше мыслящее общество. При этом, на мою долю естественно пришлось, в pendant к Сеченову, доказывать, что область науки ограничивается одним изучением законов природы, и отрицать ее компетентность в психологических вопросах. Позвольте мне, однако, на это заметить, что я решительно не вижу, почему бы я должен был признать своим то воззрение, которое приписывается мне на стр. 204-й.

---

* «Если взять внешнее действие, в котором выразился акт воли, и разъять его на составные его части, то в каждой из них нет возможности открыть выражение воли. Таким образом, в приведенных случаях и Ю. Ф. Самарин, и проф. Сеченов, согласные в отрицании воли как объективного факта, совершенно правы. Но как тот, так и другой могут не иначе, как с очевидной натяжкой отрицать внешнее выражение акта воли в целой совокупности явлений, в сочетании внешних фактов, обязанных своим происхождением не естественному или случайному ходу вещей, а руководящему вмешательству или направлению человека» (там же, стр. 355). *(Прим. Д. Самарина.)*

** Замечания 13–16 относятся к четвертой главе статьи К. Д. Кавелина, которую он, по соображениям, упомянутым выше, отбросил при окончательном установлении редакции статьи своей «Психологическая критика», имея притом в виду переделать заново начало этой главы, исключить из нее то, что в ней сказано о Ю. Ф. Самарине и проф. Сеченове, и пустить ее особой статьей. Однако мысль, развитая К. Д. Кавелиным в опущенной четвертой главе и на которую Ю. Ф. возражает в 13-м замечании, проскользнула и в конце 3-й главы статьи К. Д. Кавелина: «Ю. Ф. Самарин признает, что естественные науки изучают материальные факты по объективным признакам и потому не отрицает научного характера естествознания. Однако не трудно доказать, что и материальные, и психические явления суть в одинаковой мере факты нашего личного сознания и потому следовало бы признать одно из двух: или что никакие явления вообще не могут быть предметами научного знания, или что если материальные факты подлежат научному исследованию, то ему должны быть доступны, в одинаковой мере, и факты психические и т. д.». («Вестник Европы» июль 1875 г., стр. 353). *(Прим. Д. Самарина.)*

Я никогда не отождествлял понятия о действительном мире с понятием о совокупности явлений внешней природы и следовательно, не ставил психического элемента вне действительности. Я утверждал, что как, с одной стороны, ощущения, доходящие до сознания путем зрения, осязания и т. д., свидетельствуют о действительности мира вещественного и заключают в себе единственно возможное ручательство в его реальности, – так, с другой, целая серия ощущений психических свидетельствует о реальности другого мира, не прикованного к формам конечности, но располагающего ими для своего проявления ad extra, и имеющего по себе, помимо и вне нашего субъективного о нем знания, так же действительное бытие, как и вещественный мир. Иными словами: Бог знаменует свое присутствие в жизни каждого человека и Божественный голос, как призыв, обращенный к нему извне, непременно доходит до его сознания. Это факт, который может быть высмотрен, опознан и признан, но которого нет возможности доказать, т. е. вывести. Такова начальная форма субъективного откровения, необходимая предпосылка дальнейшего объективного в факте воплощения, в Церкви и т. д. Доселе моя мысль. Затем, полемизируя с вами, я становлюсь на вашу точку зрения, усваиваю себе приемы науки, называющей себя почему-то положительною, и стараюсь доказать, что с этой точки, для меня чужой, при этих приемах, которые я считаю недостаточными, признание самопроизвольности есть непоследовательность; что, выбрасывая из области науки понятие о Боге, о Промысле, о загробной жизни и т. д., и низводя их на степень субъективных чаяний потому, что их нельзя доказать теми способами исследования, которыми орудует положительная наука, приходится исключить из нее и свободу человеческой воли, ибо все ваши доказательства ее действительности ничем не лучше известных доказательств бытия Божия. Те и другие грешат затаенным предположением того, что должно быть доказано.

Итак, я не только не ограничиваю области науки, а напротив, не соглашаюсь с вами потому, что вы, на мой взгляд,

произвольно ограничиваете ее, допуская в этот круг один из фактов, доступных только субъективному сознанию и устраняя целую серию других потому единственно, что они доступны только личному сознанию.

14) К стр. 206-й. Если бы к слову «дается» вы прибавили: «каждому человеку в меру его желания познать эту истину и усвоить ее себе», – тогда мысль была бы полна, кажущееся противоречие устранилось бы само собою, и с тем вместе отпал бы повод к отождествлению практических выводов из обоих воззрений проф. Сеченова и моего. Может быть, я сам не договорил своей мысли, предполагая, как известное, учение, выраженное в словах: просите и дастся вам, толцыте и отверзется вам и так далее.

15) К стр. 207-й. Тут я решительно не узнаю своей мысли. Я, кажется, не говорил, по крайней мере, никогда не думал, чтоб «деятельность человека заранее соразмерялась с силою встречаемых им препятствий». Не деятельность, а способность к свободному направлению своей деятельности, к преодолению препятствий или к самопроизвольной уступке препятствиям. Допуская, как дело возможное, что человек, на пути к нравственному совершенствованию, встретит «непобедимые», непосильные ему препятствия и падет нравственно, не только без прямого участия своей воли, но вопреки ей (вследствие ее прирожденного бессилия, стало быть, по отношению к ней случайно, благодаря стечению внешних неподвластных ему обстоятельств, подобно тому, как он может нечаянно и негаданно заболеть или ушибиться), вы делаете предположение, радикально противоположное моему, и затем вывод из своего предположения приписываете мне.

16) К стр. 209-й. Два воззрения (проф. Сеченова и мое) сходятся еще в том отношении, что оба в одинаковой степени не имеют корня в Русской почве, и являются у нас какими-то безродными пришлецами, которых генеалогии нельзя найти в нашей среде. Предоставляя проф. Сеченову отвечать за себя, я постараюсь помочь вам в отыскании происхождения моего воззрения. Все, что вы могли найти в моих письмах

положительного, т. е. выражающего мои личные убеждения (оставляя в стороне указания на действительные или мнимые противоречия в ваших положениях) принадлежит не мне и сводится окончательно к Христианскому Катехизису. То же самое, может быть, в другой форме, вы услышали бы от всякого христианина по убеждению, а не по приписке к тому или другому вероисповеданию. Стало быть, родословная моего воззрения на нашей, Русской почве, восходит до 988 года и обнимает ровно 887 лет.

Я говорил вам о Боге, об Откровении в начальной его форме, о Промысле, о благодати и т. д. Вы всего этого не отвергаете, довольствуясь низведением догматов веры на степень ни для кого не обязательных, субъективных мнений и чаяний. Стало быть, вы отрицаете принципиально факт Откровения, в самом широком смысле слова, не содержание того или другого догмата или закона, а Откровение как таковое (die Offenbarung, als solche). Далее, вы объявляете наперед, что хотя положительная наука в настоящую минуту не имеет причины требовать от своих последователей радикального отречения от Христианского вероучения, и даже, может быть, возвратит им христианскую нравственность в исправленном и очищенном издании, но что она предварительно займется критическою поверкою всего этого и отсечет все то, что противоречило бы своду выработанных ею положений; ибо, так как ей одной доступна «истина общая», то она одна может указать субъективным убеждениям те границы, в которых они могут быть терпимы (стр. 129, 130)[*]. На этих основаниях положительная наука предлагает вере мирное сожительство в человеческой душе. По переложении терминов этой сделки на церковный язык, она выразилась бы в такой формуле: в начале Никейского символа заменить слово верую словом предполагаю, или мне кажется, а в конце, вместо аминь, поставить в скобках вопросительный знак. Только!

* «Вестник Европы», июль 1875 г., стр. 790 и 791. *(Прим. Д. Самарина.)*

Если я подвергаюсь упреку в «подозрительном и недоверчивом отношении к положительному знанию» собственно за то, что я отказываюсь подписать эту сделку, то я принимаю упрек. С моей точки зрения можно только пожелать положительной науке полной свободы в ее исканиях и самой беспощадной логической строгости в ее выводах, каковы бы они ни были. Это пожелание совершенно искренно не только потому, что всякое посягательство на свободу мысли безнравственно по себе, но еще и потому, что всякая последовательно проведенная односторонность кончает самоотрицанием, и, следовательно, косвенным образом, служит истине, уясняя логическую формулу какой-нибудь стороны ее.

Январь 1875 года.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ

<На чем основана и чем определяется верховная власть в России >

В инструкции, недавно изданной для образования воспитанниц женских учебных заведений, преподавателям вменяется в обязанность внушать, «что всемирная история именно служит доказательством необходимости монархического правления, к которому, после продолжительных смут и беспорядков, всегда возвращались народы».

В речи, недавно произнесенной за каким-то торжественным столом, лондонский лорд-мэр выразил свое убеждение, что последствием настоящей войны Западных держав с Россиею будет повсеместное введение в Европе английской конституции, вне которой не может процветать просвещение.

Если бы можно было вызвать на взаимное объяснение составителя инструкции и лорда-мэра, вероятно, обнаружилось бы некоторое разномыслие в их понятиях о том, что доказывает история и какая форма правления должна осчастливить человечество; но не разномыслие в этом случае заслуживает внимания, а, напротив, то, в чем сходится составитель инструкции с лордом-мэром. Оба убеждены в существовании единой, всесовершенной формы правления, формы, к которой все народы должны стремиться и вне которой нет спасения ни для одного из них; оба искали ее и оба нашли.

Вот в каком отношении мы позволили себе сблизить составителя инструкции с лордом-мэром.

Какая форма правления есть лучшая? Этот вопрос очень похож на следующий: по какой мерке всего лучше кроить платье? Задайте этот вопрос портному. Он вам ответит, что такой мерки нет и быть не может, а нужно кроить по росту и складу того, на кого шьется платье. Нетрудно применить тот же самый ответ к лорду-мэру и к составителю инструкции. Если бы первый мог отрешиться от своих национальных предубеждений, он убедился бы, что английская конституция как нельзя лучше облекает весь организм Англии именно потому, что она не с чужого плеча на нее наброшена, а ею самою построена по ее собственному вкусу, по ее потребностям и средствам. Он уразумел бы, что самая естественность и законность постепенного образования этой конституции из местных условий Англии представляет сильнейшее возражение против мечты о повсеместной ее применимости. В другой части света федеративно-республиканское устройство Соединенных Штатов может быть в той же степени прилично организму Северной Америки, и, вопреки любимой мысли составителя инструкции, трудно бы было отыскать в Соединенных Штатах признаки стремления к монархической форме.

«Но, – скажет, вероятно, составитель инструкции, – мы не знаем, что ожидает Соединенные Штаты, что будет с ними впоследствии, когда окончится борьба человека с природою и сменится борьбою страстей, интересов и мнений». На будущее ссылаться трудно, а между тем послушайте, что говорят республиканцы во Франции: «Конечно, двукратная попытка основать во Франции республиканское правление не удалась; Франция отдалась в кабалу, но подождем конца. Нравы изменятся, исчезнут предрассудки, проникнет просвещение в народные массы, и тогда столь же несообразною будет казаться монархия, сколь теперь невозможною кажется республика». Кто же прав? Составитель инструкции, называя республику отрицанием монархии, оправдывает ниспровержение республики как возврат к монархии. Республиканец, называя монар-

хию отрицанием республики, приветствует ниспровержение престола как возврат к республике и выводит из одних и тех же фактов прямо противоположный вывод. «История, по его убеждению, именно доказывает необходимость республиканского начала, которое, несмотря на все усилия царственных династий подавить его в самом зародыше, вопреки гонениям и коалициям всякого рода, все-таки постепенно развивается, более и более ограничивая монархическую власть, по временам проступает наружу, берет свое и со временем возьмет окончательно и навсегда».

Мы приводим эти слова, разумеется, не как верный вывод из всемирной истории, а единственно в доказательство, как легко и вместе бесполезно превращать всемирную историю в предисловие к какой бы то ни было форме правления.

Доискиваться единой, всесовершенной и безусловно применимой формы правления – такое же заблуждение в области политики, какое в области политической экономии – стремление к изобретению непреложного мерила ценности. Достоинство всякой формы заключается в полнейшей ее гармонии с содержанием. Чем свободнее форма облекает содержание, чем вернее проявляет собою сущность его, тем лучше форма и тем она прочнее.

Применение этой истины, очевидной до пошлости, к настоящему вопросу приведет нас к следующему убеждению. Всякий народ представляет собою не безобразный материал, из которого можно вылепить любую фигуру: козла, вола или Геркулеса, а нравственно-живое существо, так же своеобразно определенное, как и отдельная человеческая личность. Совокупность способностей, свойств и сил, данных народу от природы и движимых в известном направлении его верованиями, убеждениями и потребностями – жизнь народная в широком значении слова, – вот что соответствует содержанию. Правительство есть одна из форм, служащих выражением народной жизни. Чем полнее и вернее оно выражает жизнь народную, тем более между правительством и народом точек соприкосновения, тем теснее их взаимная связь, тем живее их сочувствие,

тем крепче и безопаснее правительство внутри, тем большими силами оно располагает в столкновениях внешних. Это также ясно, но и ясное, как скоро доходит дело до приложения, часто расплывается в тумане, а потому некоторые пояснения кажутся нам не лишними.

Представим себе правительство, ограничивающее свое призвание обязанностями страхового учреждения, заведенного для упрочения вещественного благосостояния и комфорта. Его дело — пещись о том, чтобы дороги были гладки и безопасны, чтобы никто произвольно не мешал другому в его занятиях, не стеснял свободы промыслов и торговли, особенно не дотрагивался бы до чужой собственности. Такое правительство связано с народом единственно потребностью материальных благ; насколько дорожит ими народ, настолько дорожит он и правительством, но не более. Всеми прочими своими потребностями и стремлениями он не соприкасается с ним, и потому правительство вправе ожидать от каждого своего подданного такого содействия, какое может получить страховая компания от своего акционера, т. е. до известной суммы пожертвований, представляющих в точности количество выгод, какое он надеется получить от компании. Но при этих условиях требовать, чтобы народ для спасения правительства принес в жертву свои материальные выгоды, тогда как он относится к правительству единственно в качестве производителя и потребителя, очевидно, правительство не вправе, не может. Материальные интересы представляют ли прочное основание для правительства? Думаем вообще, что нет, и присовокупляем, что чем богаче народная жизнь внутренним содержанием, чем более народ дорожит своею верою, своею национальностью, своим историческим призванием, тем менее он будет способен привязаться к воображаемому нами теперь правительству. Северная Америка до настоящего времени, можно сказать, занята обстройкою и обзаведением своего хозяйства; ее удовлетворяет правительство, служащее материальным целям. Во Франции такому правительству было бы трудно удержаться, потому что жизнь народная гораздо слож-

нее и разностороннее. Поэтому правительство Людовика Филиппа, искавшего себе опоры в возбуждении материальных интересов, исчезло без следа в 24 часа. Те, которые держались за него ради обеспечения своего вещественного благосостояния, разочли, что опасности меньше – посторониться и дать место грозе, чем встретить ее грудью.

Предположим, что правительство, управляя нациею или совокупностью наций, не признает на себе никакого национального характера. Оно не считает себя ни славянским, ни немецким, ни итальянским, а просто только правительством, отвлекая себя от всякого племенного определения. Подданные такого государства, как итальянцы, чехи, немцы, не существуют для правительства; очевидно, и правительство перестало бы существовать для них, если бы оно задумало предприятие во имя национальности. Освободив себя от всякого национального определения, правительство лишает себя возможности располагать теми силами, какие почерпает народ в любви к родной земле, в сочувствии к своим одноплеменникам. Пусть бы еще так, если б можно было обойтись без этих сил: но дело в том, что всякое пробуждение национального чувства для такого правительства не только бесполезно, но непременно гибельно. Безличность правительства в отношении к национальностям может выражаться двояким образом: полным к ним равнодушием или равным благоволением ко всем. В последнем случае правительство, смотря по тому, с кем оно имеет дело, меняет свой костюм, свой язык, даже выражение своего лица. Как проворный актер, оно явится на сцене в белом австрийском мундире, потом, переодевшись за кулисами, предстанет в виде венгерского гусара, даже, если нужда потребует, в свитке и кожухе пахаря-галичанина. Но подобная роль редко может быть выдержана до конца, потому что нельзя угодить ею всей публике. Каждое появление на сцене неминуемо вызывает единовременно рукоплескания и свистки, и наконец зрители могут догадаться, что только тот способен принимать на себя всевозможные роли, для кого вся жизнь есть только роль. Еще недавно венгерцы в поры-

ве усердия к своему королю так неосторожно прижали его к своей груди, что едва не задушили в своих верноподданнических объятиях в то время еще не вполне сложившегося австрийского императора. Впрочем, и самый здоровый организм, переходя поочередно из объятий одной нации в объятия другой, может измяться.

Представим себе третий случай. В государстве христианском, где-нибудь на краю земли, живут мусульмане. Правительство, исповедуя веру Христову, любит, чтобы его прославляли на всех языках, и с одинаковым благоволением принимает молитвы о его благоденствии, где бы они ни читались: в церквях, в костелах, в синагогах или в мечетях. Мусульмане не только свободно отправляют свое богослужение, но даже пользуются покровительством власти; им строят мечети, воспитывают для них мулл, издают для них Коран; чего им больше? Они довольны и при всяком случае рассыпаются в изъявлениях своей преданности. Наступает время доказать ее на деле. Загорается война, война за спасение православных от ига мусульман. Что сделают мусульманские подданные православного правительства? Чью сторону они примут? Памятуя неоднократные доказательства заботливости о их благе, станут ли они под знамя креста, в ряды того правительства, которому клялись в усердии, или не увлечет ли их в противоположную сторону блеснувший перед их глазами полумесяц? Сочувствуя правительству во всем, кроме веры правительства, будут ли они надежными слугами, когда дело дойдет до борьбы веры правительственной с их верою?

Сила и крепость правительства зависят всегда и везде от любви подданных; но любовь целого народа к власти, как и всякое явление разумной человеческой любви, предполагает общее, связующее начало. Народ сочувствует правительству, человек сочувствует другому за что-нибудь или в чем-нибудь. Это что-нибудь, это третье, общее между ними и их связующее начало, будет ли это родство, как в семейном союзе, тождество интересов, как в торговой компании, единство веры, как в церкви, есть основание и оправдание союза, основание,

говорим мы, ибо на нем стоят обе стороны; основание, то есть та часть здания, которая может существовать независимо от ярусов, на ней воздвигнутых, но без которой они существовать не могут.

Оправдание, сказали мы, полагая разницу между случайным сближением или насильственным совокуплением и делом воли человеческой, свободной и проникнутой сознанием. Чем основание шире, тем крепче союз, чем более обе стороны уважают его неприкосновенность, тем союз надежнее. Из этого следует, что отношение правительства к основным началам его союза с подданными есть отношение подчиненности, иначе – отношение служебное. «Как, – скажут нам, – да этим вы лишаете правительство его самостоятельности, вы полагаете пределы его действиям, вы ограничиваете его. Намекая на обязанности правительства, вы этим самым допускаете возможность поверки его действий, общественного суда над ним, тогда как сама верховная власть есть совесть общественная; что если совесть личная – для внутренних побуждений человека и неизобличенных его деяний, то власть верховная – для явных, исследимых его действий. И та и другая суть равно орудия Провидения». Иными словами: нельзя подводить действия правительства под категории добра и зла, пользы и вреда, ибо воля правительства сама есть безусловное мерило.

Если б этот образ мыслей выражен был частным человеком, конечно, можно бы было оставить его в стороне, но он имеет за себя авторитет, обязывающий нас вникнуть в него внимательно и выяснить, что под ним кроется. Вопрос сам по себе так важен, что было бы грешно говорить о нем иначе, как с полною откровенностью и без всяких недомолвок. Наше правительство самодержавно и полновластно, но оно само называет себя правительством православным и русским. Может ли правительство переменить народную веру, закрыть церкви и обратить их в костелы или кирки? Может ли правительство отменить официальное употребление русского языка и заменить его французским? Может ли оно ввести Россию в

состав Германского союза и подчинить ее действия решениям Франкфуртского сейма? «К чему такие вопросы? – говорите вы. – Это все несбыточно и невозможно». Пусть так; я мог бы выставить целый ряд предположений менее диких, но в сущности равно противных интересам правительства, духу церкви и народной чести; но я довольствуюсь вашим ответом и считаю себя вправе вывести из него, что наше правительство не полновластно. Оно не полновластно потому, что подданные признают над собою власть правительства православного и русского; перестав быть православным и русским, оно бы перестало быть для них правительством. Почему же не сказать, что правительство служит православной церкви и России, что вера и народность лежит в основании союза России с правительством, что именно потому и только потому правительство стоит так твердо как в отношении к самой России, так и в отношении к другим державам? Заметим здесь раз навсегда, что отношение верховной власти к народу может быть выражено по пунктам, в форме конституции или хартии, и может быть заключено в глубине живого народного сознания. В этом – вся разница, разница существенная, огромная, указывающая на отличительный признак русского народа или настоящей эпохи исторического его существования в сравнении с другими народами и эпохами. Но русский человек, хотя он и не домогается юридического, формального ограничения верховной власти, может быть, так же ясно сознает ее назначение, ее естественные пределы, как и англичанин, вычитавший все это в своей конституции, ибо кто признает определенное назначение власти, тот полагает тем самым ее пределы.

Кому же может прийти в голову предполагать, кто осмелится требовать, чтобы русские встречали с одинаковым чувством меры правительства, направленные к пользе церкви и к возвеличению России, и меры, вредные для церкви и унизительные для России, вроде тех, которые приводились в исполнение или подготовлялись во времена Иоанна IV, Бирона и Петра III? Принудить к покорности, страхом восполнить

недостаток сочувствия, воспретить всякое проявление общественного суда, привить к детям язву официальной лжи и заглушить в них всякую искренность, к стыду человечества, можно, хотя не надолго. Но для того, чтобы суд общественный упразднить, нужно сперва вырвать с корнем из сердца народа его веру и любовь к родине, иными словами: разрушить то, на чем стоит правительство.

Другие говорят: «Идея верховной власти не требует никакой посторонней опоры; ее основание – в ней самой; по отношению к ней не должно быть ни русских, ни татар, ни немцев, ни православных, ни католиков, ни мусульман, есть только верноподданные, и в этом определении сливаются, исчезают все вероисповедания и народности». Что ж такое эта голая, эта обнаженная от всякого характеризующего ее определения идея власти? Вы отняли у нее ее основу, ее назначение, ее пределы; затем осталось одно — идея силы. Власть, как вы ее понимаете, есть просто сила, ее отношение к подданным не может быть названо иначе, как насилие. Ищите ее олицетворение не в Иоанне III, а в Чингисхане, не в Михаиле Романове, а в Тушинском воре, не в императоре Александре в Москве, а в Наполеоне в Вильне. Понятна возможность подданничества отвлеченной власти, но где же место для верности? Можно ли назвать верным того, кто кланяется сильнейшему? «Нет, – говорят нам, – не всякая сила есть власть; власть как принадлежность правительства есть власть *законная,* и только такой власти обязаны подданные покоряться не только за страх, но и за совесть». Итак, мы получили ближайшее определение власти, с тем вместе мы подчинили ее условию законности. Это условие само по себе чисто формальное; оно не определяет ни назначения власти, ни обязанностей, ни пределов ее. Законная власть может быть употреблена и направлена так же, как и всякая другая власть, может служить орудием угнетения и зла; но все же, говорят нам, она законна и потому священна. Что же такое законность? Какими признаками отличается государь законный от незаконного? Законным должно почитать того, кому достался престол по праву наследства. А давно ли так?..

Царь Иоанн III, недовольный своим сыном, торжественно венчал и помазал на царство своего внука Димитрия, потом, недовольный Димитрием, он запретил поминать его в церковных молитвах и объявил наследником престола своего сына Василия. Понятие первого из русских самодержцев о престолонаследии выражено им как нельзя яснее в ответе псковичам: «Чи не волен я во своем внуке и в своих детях? Ибо, кому хочу, тому дам княжество». Понятие Петра I о том же предмете, изложенное по его заказу в особом трактате (Правда воли монаршей), в сущности, совершенно одинаково с Иоанновым, но гораздо знаменательнее по строгой догматической форме, в которую оно облечено.

В Именном указе 17 < 22 > года, < 5 февраля >, который назван Вечным уставом о наследстве престола Империи Российской, со свойственною Петру I суровою прямотою о праве первородства сказано буквально: «Сей недобрый обычай не знаю, чего для так был затвержен», а в конце: «За благо рассудили мы сей Устав учинить, дабы сие было всегда в воли правительствующего государя, кому оный хочет, тому и определит наследство, и определенному, видя какое непотребство, паки отменить..., того ради повелеваем, дабы все наши верные подданные, духовные и мирские без изъятия, сей наш Устав пред Богом и Его Евангелием утвердили на таком основании, что всяк, кто сему будет противен, или инако как толковать станет, то, за изменника почтен, смертной казни и церковной клятве подлежать будет». Слышите ли, господа защитники права первородства: смертная казнь и церковная клятва! Впрочем, не пугайтесь. Со времен Иоанна III. по высочайшим повелениям и именным указам, послушное духовенство столько раз налагало и снимало церковных клятв, столько приняло присяг перед честным крестом и святым евангелием и столько их нарушило, что к какой бы мысли или партии вы ни пристали, вы неминуемо подпадете какой-нибудь анафеме.

В приведенной выписке выражена основная тема Вечного устава, подробное же ее развитие, составляющее целую

теорию, изложено в «Правде воли монаршей». Там, между прочим, возбужден вопрос: что делать народу, когда государь умрет, не назначив по себе ни на словах, ни на письме наследника, и разрешается следующим образом: «Должен народ всякими правильными догадками испытывать, какова была или быти могла воля государева и которого бы из сынов своих нарекал он наследником, если бы о том дело было». Таков Вечный устав престолонаследия, изданный верховною властью и утвержденный присягою духовных и мирских чинов, под страхом смертной казни и церковной клятвы. Этот Устав – самое резкое, самое прямое отрицание всякого понятия о законности. Нельзя не заметить, что явная несовместность притязания на вечность с ничем не ограниченным произволом выразилась в следующих словах того же Устава: «Власть высочайшая, величеством нарицаемая, законам от человек, аще и добрым, яко к общей пользе служащим, не подлежит; и тако всяк самодержавный государь человеческого закона хранити не должен, колми же паче за преступление закона человеческого не судим есть». Можно ли было яснее приговорить к смерти Вечный устав?

После Петра I вступила на престол Екатерина не по праву рождения и не по завещанию, ибо Петр I не назначил по себе преемника, но, говоря языком Феофана Прокоповича, *вследствие догадки,* более или менее правильной, князя Меншикова, «понеже в 1724 была удостоена своим супругом короною и помазанием», как значится в Манифесте 1725 года, января 28 (№ 4643), изданном от «Сената обще с Синодом и генералитетом».

В силу Вечного устава, при ней перепечатанного вторым изданием, Екатерина I завещала престол Петру II, «как ближайшему по себе сукцессору», но, не довольствуясь тем, она определила и дальнейший порядок престолонаследия, в случае бездетной кончины Петра II, «в линиях цесаревны Анны, по ней Елизаветы и, наконец, великой княжны Наталии», сестры Петра II, с тем, во-первых, «чтобы мужеский пол всегда имел преимущество перед женским» и, во-вторых,

«чтобы никто никогда российским престолом владеть не мог, который не греческого закона или кто уже другую корону имеет» (1727, мая 7, № 5007).

Отсюда видно, что Екатерина I, распоряжаясь престолом в силу Вечного устава петровского, самым завещанием своим изменила и нарушила его. Изменила постановлением трех условий, о которых Петр I ничего не ведал; нарушила, ибо на несколько поколений вперед связала самодержавную волю своих преемников в свободном выборе наследников. Кажется, что сама Екатерина сознавала за собою эту непоследовательность и, мало надеясь на прочность своих распоряжений, последнею статьею завещания определила «римского цесаря гарантии на сие искать».

Таким образом, желание придать самодержавному произволу прочность законного порядка вынудило необходимое призвание посторонней высшей власти, и римский император сделался как бы опекуном над Россиею, блюстителем в ней законного порядка.

Петр II вступил на престол в силу Вечного устава, по завещанию Екатерины, и ни о каких других правах на престол в Манифесте, от его лица изданном (1727, мая 7, № 5070), не упомянуто.

По кончине Петра II и после неудачной попытки Долгоруких в пользу обрученной невесты покойного императора, вступила на престол Анна Иоанновна не в силу Вечного устава Петра I, равно как и не по завещанию, а, как сказано в манифесте 1730 г., февраля 4-го (№ 5499), по избранию, общим же на то согласием всего российского народа. Известно, впрочем, что это избрание было делом Верховного совета, который, за прекращением мужской линии, обратился к женской от Иоанна Алексеевича, как старшего сына Алексея Михайловича, и устранил старшую сестру Анны Иоанновны герцогиню Мекленбургскую, как состоящую замужем за иностранным принцем. Сообразно с условиями, предложенными Анне Иоанновне партиею, ее избравшею, условиями, двукратно ею подписанными, была составлена форма клятвенного обе-

щания в верности подданства, по которой учинена присяга в Москве духовными и светскими чинами, и начали присягать в других городах. Потом, по просьбе другой, несравненно многочисленнейшей, партии, императрица изорвала условия, ею подписанные, и соизволила восприять самодержавство, как издревле прародители ее имели (Манифест 28 февраля 1730 г., № 5509); и тогда же приказала отобрать клятвенное обещание, по которому ее подданные в первый раз присягнули, велели составить новую форму и всех привести вторично к присяге (Манифест 28 февраля, № 5509). Анна Иоанновна была избрана в два приема: раз – на ограниченное владычество, и другой – на самодержавство. В 1731 году она заставила еще раз присягнуть в верности подданства не только себе, но, ссылаясь на свои особенные попечения о подданных и на Устав Петра I, еще и наследникам ее, которые, по изволению и самодержавной ее власти, определены и впредь определяемы и к восприятию самодержавного престола удостоены будут (Манифест 1731 г., декабря 17, № 5909). Выбор ее пал на новорожденного сына ее племянницы, принца Иоанна Антоновича Брауншвейг-Люксембургского, о чем объявлено Манифестом 5 октября 1740 г. (не вошедшим в Полное собрание законов), и тогда же приведены к присяге нареченному наследнику все без изъятия, в том числе его родители и Елизавета Петровна. Следуя примеру Екатерины I, Анна Иоанновна определила в том же акте и дальнейший порядок престолонаследия, в случае бездетной кончины Иоанна Антоновича, назначив по нем братьев его, имеющих родиться, по старшинству. Сверх того, особым завещанием, коим назначен регентом герцог Бирон, она предоставляла ему вместе с Кабинетом, Синодом, Сенатом и генералитетом избрать императора, если бы Иоанн Антонович и его братья умерли, не оставив по себе потомства*. Очевидно, что все сии распоряжения совершенно отменяли завещание Екатерины I, но оправдывались Вечным уставом Петра I, кроме, впрочем, статей, связывавших волю

* См., между прочим, манифест об Остермане, Головкине, Минихе. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

ближайших наследников престола. Иоанна Антоновича провозгласили императором и ему присягнули так же, как и его предшественникам.

Первым нарушением завещания Анны Иоанновны было свержение Бирона и провозглашение матери его (т.е. Иоанна Антоновича – *Публ.),* принцессы Анны, регентшею с титулом великой княгини. При этом случае вторично присягнули малолетнему Иоанну. Другое нарушение, подготовленное Остерманом, Головкиным, Минихом и другими, хотя и не исполнившееся, замечательно как свидетельство о том, как в то время понимали законность. Намерение их было – распространить право на престол, в случае смерти сыновей в<еликой> к<нягини> Анны, на ее дочерей и, наконец, и на мать их, если бы все ее дети при ней скончались, не оставив потомства. Составитель этого проекта, Остерман, подрывал силу завещания Анны Иоанновны, доказывая, что узаконение о наследстве по духовной не подлежит (то есть, что в духовной нельзя определять порядка престолонаследия; иными словами, воля умершего государя не может стеснять воли живого), но что узаконение о наследстве зависит всегда от воли самодержавного (при его жизни), и потому советовал регентше, не теряя времени, обнародовать изготовленный им манифест и утвердить это распоряжение, по здешнему обыкновению, как от духовных, так и от светских чинов подписанными присягами. Впрочем, Остерман предлагал два способа исполнения: либо властью, то есть указом, или прошением от народа[*].

Все сии построения были разрушены в царствование Елизаветы. В первом ее Манифесте 25 ноября 1741 года[**] мы читаем: «...все наши, как духовного, так и светского чинов верные подданные, а особливо лейб-гвардии наши полки всеподданнейше и единогласно нас просили, дабы мы, для пре-

* Хотя эти сведения извлечены из приговора над Остерманом, явно пристрастного против него, но участие его в составлении упомянутых проектов никем из современников оспорено не было, и взгляд на престолонаследие, ему приписываемый в обвинительном акте, ничем не заподозривается. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

** 1741 г., 25 ноября, № 8473. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

сечения всех < тех > происшедших и впредь опа-саемых беспокойств и непорядков, яко по крови ближняя, отеческий наш престол всеми-лостивейше восприять соизволили, и по тому нашему законному праву, по близости крови к самодержавным нашим вседражайшим родителям, государю императору Петру Великому и государыне императрице Екатерине Алексеевне, и по их всеподданнейшему наших верных единогласному прошению, тот наш отеческий всероссийский престол всемилостивейше восприять соизволили...».

Итак, императрица Елизавета воцарилась *по прошению подданных,* вызванному их убеждением в *необходимости положить конец непорядкам,* и *по праву кровного родства,* то есть по тому обычаю, который в Вечном уставе петровском провозглашен злым, и в прямое нарушение воли Анны Иоанновны об избрании наследников.

В другом Манифесте, от 28 ноября*, подробнее изъяснены все обстоятельства, оправдывающие ее воцарение, с особенным ударением на завещание Екатерины I и с совершенным умолчанием о Вечном уставе. Названы незаконными переходы верховной власти от Петра II к Анне Иоанновне, а от Анны – к Иоанну Антоновичу (будто бы никакой же ко всероссийскому престолу принадлежащей претензии, линии и права не имеющего). В особенную вину вменяется регентше Анне и приписывается Остерману и Головкину сочинение *отменного о наследии нашей империи определения,* к конечному отрешению ее, Елизаветы Петровны, от ее *законного и по правам всего света к тому же и по крови* надлежащего наследия, но вовсе не объяснено, что подразумевалось под этим *определением, под законными правами всего света,* но по какому закону считалось в порядке престолонаследия кровное родство. Очевидно, всего этого и нельзя было объяснить при совершенном отсутствии всякого понятия о законности.

Как бы то ни было, все присягнули Елизавете Петровне, а за законные права несчастного Иоанна Антоновича только один человек заступился 20 лет спустя и к вящему ниспро-

* 1741 г., 28 ноября, № 8476 . *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

вержению идеи законности сложил голову на позорной плахе. Это был известный Мирович*. Остерман, Миних и их приверженцы отданы были под суд. Они, утвердившие своими подписями и клятвенными обещаниями завещание Екатерины I, нарушили его возведением на престол императрицы Анны, затем, на основании завещания последней, устранив Елизавету Петровну и присягнув Иоанну Антоновичу, они признали и это завещание ничтожным и предложили изменить его. Приговор о ссылке их в заточение за нарушение законного порядка и преступление клятвы подписала через три месяца по вступлении своем на престол императрица Елизавета. Она, выводившая свои права из завещания Екатерины I и нарушившая совершенно равносильное и позднейшее завещание императрицы Анны; Елизавета, которая, присягнув в числе других Иоанну Антоновичу, только что низвергла его с престола, и, объявив торжественно в своем манифесте, что отошлет его с родителями в Германию, всех их заключила навсегда в тюрьму, присяжные листы на верность подданству принцу Иоанну Елизавета повелела сжечь; указом 1742 г. октября 18 (№ 8641) она велела перелить монеты, отобрать книги, ему посвященные, или с заглавным листом за его именем. В конце манифеста о наказании Остермана, Миниха и прочих сказано, что он обнародован, дабы все верные наши подданные, смотря на то, признавали, что Бог клятвопреступников не терпит!**

Еще при жизни своей императрица Елизавета определила по себе преемником владетельного герцога Шлезвиг-Голштинского, яко по крови к ней ближайшего, вопреки условию, постановленному Екатериною в завещании, на которое опиралась Елизавета. В клятвенном обещании, по которому тогда же присягнули Петру Федоровичу как наследнику престола, ни словом не упомянуто о его правах по родству, а сказано только, что присягающий признает его наследником престола ради того, что он императрицею утвержден

* 5 июня 1762 года в Шлиссельбурге. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

** 1742 г., января 22, № 8506. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

и объявлен[*]. Это, однако же, не помешало новым интригам Бестужева-Рюмина, который, как кажется, задумал возвести на престол, помимо Петра, сына его Павла под регентством Екатерины, может быть, не без ведома последней.

В форме клятвенного обещания, изданной Петром III при вступлении его на престол, сказано: «Клянусь верным быть своему истинному и природному великому государю и по нем, по самодержавной его величества императорской власти и по высочайшей его воле избираемым и определяемым наследником»[**]. Следовательно, основное положение Вечного устава было во всей силе. Итак, Петру III вся Россия (кроме пашенных людей, от которых даже и не требовали клятвенных обещаний) присягала двукратно: раз – как наследнику престола, другой – как императору.

Известно, какою катастрофою окончилось его царствование.

Манифесты о вступлении на престол императрицы Екатерины II и о коронации ее[***] заслуживают особенного внимания. Без всяких притязаний на законность императрица прямо указывает, во-первых, на потрясение православной веры и угрожавшую опасность переменою древнего в России православия и принятием иноверного закона; во-вторых, на посрамление военной славы России, отданной в порабощение ее злодеям; в-третьих, на ниспровержение внутренних порядков, составляющих целость отечества; наконец, явное желание подданных.

О кончине Петра III России было объявлено[****], но это не помешало приведению к присяге всякого звания людей, кроме пашенных, не выключая даже малолетних[*****]. В клятвенном обещании в первый раз обычные выражения об избрании наследников были выпущены, и на ектениях началось в одно

* 1742 г., ноября 7, № 8658. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

** 1761 г., декабря 25, № 11391. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

*** 1762 г, июня 28, № 11582; июля 3, № 11598. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

**** Манифест 7 июля 1762 г. (№ 11599). *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

***** 1762 г., июля 3, № 11591. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

время возглашение имен императрицы Екатерины и наследника престола Павла Петровича*.

Таков был, начиная с Петра I, которого царствование резким рубежом отделяет старую Россию от новой, порядок престолонаследия, если можно употребить здесь слово «порядок». Разумеется, нет такого гражданского устройства, которое бы не могло хоть изредка быть потрясено торжеством силы над правом, но в нашей истории поражает не нарушение формальной законности, даже не малое к ней уважение, а совершенное и, может быть, единственное в мире отсутствие всякого о ней понятия. Да и могло ли оно развиться, когда основным положением служил Вечный устав Петра I, то есть безграничный произвол государя в избрании себе наследника, выведенный со всею логическою строгостью из самого существа самодержавия, как его понимал Петр I. Не было понятия о законности у самих государей, ибо, как видно из официальных манифестов, все могло служить оправданием притязаний на престол: и кровное родство, и завещание на несколько поколений вперед, определяющее порядок престолонаследия, и, наконец, предполагаемое желание подданных. Не было понятия о законности в духовенстве, которое услужливо отбирало присяги и, связав совесть подданных клятвенным обещанием перед Крестом и Евангелием, на другой день с равным усердием перед тем же Крестом и Евангелием благословляло на преступление клятвы. Не было его в служилом сословии, в Верховном совете, в Сенате, в генералитете, ни в гвардии, ибо на деле интриги этого сословия пролагали путь к престолу и низводили с него. Наконец, менее всего существовало это понятие в народе, от лица которого, но без его участия и ведома, подавались прошения; народа, который стоял в стороне, все видел и на все смотрел равнодушно. То же равнодушие к формальной законности находим мы и в памяти потомства. Какие права на престол имела Елизавета при живом Иоанне, Екатерина при живом ее муже и при взрослом сыне? Между тем, именно эти два самые беззакон-

* 1762 г., июля 2, № 11588. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

ные царствования потомство поминает добром. Россия знает, что с именем Елизаветы связано прекращение смертной казни, восстановление национальной чести и прекращение, хотя временное, наглого владычества чужеземцев. Россия помнит, на какую высоту Екатерина подняла знамя двуглавого орла; Россия сочувствует и теперь широким размерам ее политики; Россия никогда не забудет, что никто не верил так твердо, как она, в могущество русского духа, никто не умел пробудить и оценить по достоинству такое множество великих дарований. Вот чем приобретается у нас сочувствие подданных, и вот чем определяются их отношения к государям.

Но если недостаточно свидетельства истории для вразумления в той несомненной истине, что не формальная законность служит у нас основанием верховной власти, то нетрудно прийти к тому же убеждению и другим путем. Не было у нас законности; но этого мало; ее не может быть. Законность значит сообразность с законом. Закон же при самодержавной власти, как понимал и утвердил ее Петр I, есть выражение воли государя, ничем не ограниченной, и потому самому отнюдь и не связывающей волю его преемника; другого источника законодательной власти, другого рода законов, более обязательных, мы не знаем (см. Свод зак<онов>, т. 1, ст. 27–56; Полн<ое> собр<ание> зак<онов>, 1797 г., апр<еля> 5)*. Для подданных не потому обязательна воля государя, что она законна, а потому закон обязателен, что он есть воля государя. Это относится совершенно в равной степени к Вечному уставу Петра I и к акту императора Павла I о престолонаследии**. Как мог быть отменен этот Устав последующим актом, так и статьи 3–34 т. 1 «Свода законов» могут быть отменены в том же «Своде» указом, даже просто вылущены при новом издании «Свода» по вновь изобретенной системе необнародования новых законов.

---

* Названия: «основные, коренные, фундаментальные» выражают важность содержания закона, ничего не прибавляя к их обязательной силе в отношении к верховной власти. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

** Акт о престолонаследии 5 апр<еля> 1797 г., № 17910. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

Если независимо от самодержавной воли нельзя себе представить ничего законного, ибо в ней и более ни в чем мерило и гарантия законности, то, очевидно, что представитель верховной власти мог бы один свидетельствовать о законности своих прав, но по слову Спасителя: ...[*]

Итак, понятие о какой бы то ни было обязательной законности, по праву ли наследства или по праву избрания, у нас не выдерживает внимательной поверки; это такая же мечта, как < ... >[**]; оно не вытекает из нашей истории и не мирится с существом самодержавия, а потому, читая в наставлении для преподавания наук в военно-учебных заведениях, «что в продолжение тысячи лет в России, от самого основания Руси, власть русского государя – по праву призвания, а переход этой власти – по праву наследства», мы ничем иным себе не можем объяснить этого положения, как прибегнув к другому наставлению той же инструкции: «В истории каждого народа должен быть сделан самый строгий выбор событий». Но выбор событий не есть история, и наставления, почерпнутые из выбора, исчезнут скоро, когда внимательное изучение фактов и размышление приведут к убеждению, что посылками для вывода наставлений служил односторонний выбор и что самый вывод заключает в себе понятия несовместные. Первое условие для прочного образования есть правдивость наставников.

Повторим все сказанное. Не обаяние отвлеченной власти, иначе силы, и не формальная законность связывает в России подданных с государем. Русский народ видит и любит в своем государе православного и русского человека от головы до ног. В основании любви подданных к государю лежит вера и народность; такой широкой и твердой основы не имеет ни одно правительство, и вот почему у нас оно так сильно. За что дорожит Россия правительством, чем правительство сильно, тем самым определяется его историческое призвание, характер его действий, пределы его власти; пределы, полагаемые не хартиею, не буквою конституции, но самым

* Далее в автографе текст обрывается. (*Прим. публ.)*

** Далее в автографе текст обрывается. *(Прим. публ.)*

существом его, которое глубоко и живо сознается духом народным. Россия и правительство тесно сплелись, потому что растут на одном корню, оторвать корень правительства от корня народного и пересадить его на другую, искусственно созданную почву, – об этом могут помышлять только или враги правительства и России, или те близорукие друзья его, для которых наше прошедшее непонятно, настоящее мертво, а будущее страшно.

Чему должны мы научиться?

Итак, война окончилась. Россия согласилась на все уступки, вынесла все унижения, и мир подписан.

Такой исход, далеко оставивший за собою самые дерзкие надежды наших врагов, везде бы вызвал строгий запрос правительству и подал бы повод целому обществу искать на нем своего бесчестия.

Но русский царь не услышит упреков.

Его ли сердце не обливалось кровью при виде дымящихся развалин Севастополя, и у него ли не проступила на лице краска, когда ему довелось склониться перед вершителем судеб России, посланным к нему из Вены?..

Россия верит скорби своего государя, соболезнует ей и в то же время сознает, что он невинен.

Да, никакая человеческая сила не могла отвратить исторически законного исхода Восточной войны. Другого исхода быть не могло, и продолжение борьбы было бы безумным упрямством.

Россия вышла в дело, как полк *обескураженный* или некормленный, без убеждения в своей правоте, без уверенности в своей силе. В то время, как западные журналы и кабинеты осыпали нас пошлыми обвинениями и бесстыдными клеветами, мы стояли как уличенные преступники перед судьями,

беспокойно озирались кругом, ища защитников, лепетали какие-то робкие оправдания, лишь изредка позволяя себе указывать на противоречия в словах или непоследовательность в действиях наших противников, и с жадностью хватались за каждое слово в нашу пользу, случайно18 проронененное кем-либо из посторонних зрителей... Так ли говорят поборники святого дела, исполнители исторического призвания?

Правда, для внутреннего употребления был у нас другой язык. У себя дома мы храбрились, мы клялись не оставлять наших единоверцев, потом защищать наши собственные пределы до последней капли крови; мы осеняли себя крестным знамением и громко уверяли, ударяя себя в грудь, что с Божьей помощью нам никто не страшен; но кто же не знал, что все это говорилось для глупой черни, которая любит вплетать тексты в свою речь? Иностранцы очень верно оценивали наши воинственные воззвания. Они говорили: «Que voulez-vous! La gouvernement Russe subit la pression de l'opinion nationale*, – прекрасное выражение, нашими же дипломатами подсказанное и полное грустной правды. Именно так: правительство не вдохновлялось народным мнением, а уступало его давлению, как уступает оно теперь давлению западного союза.

На деле было то же, что и на словах. В общем ходе войны, за исключением Синопского дела и блистательных эпизодов за Кавказом, мы ни в чем не обнаружили предприимчивости. Мы выжидали, что сделает неприятель, и ни разу не предупредили его; даже в тех случаях, когда мы действовали наступательно, например: под Балаклавою, Инкерманом и на Федюхиных высотах, мы шли как будто против убеждения и почти не надеялись на успех. Какая-то во всем заметная, заранее обессиливающая боязнь неудачи постоянно брала перевес над твердым намерением нанести решительный удар и победить во что бы то ни стало. Мы, правда, рисковали многим, но рисковали без решимости. Простая оборона удавалась нам лучше. Оттого ли, что сомнение в правоте нашего дела отняло

* Что поделаешь! Правительство России уступало давлению народного мнения *(фр.)*.

у нас уверенность в нашей силе, или, может быть, оттого, что наши генералы встречались с такими недостатками в нашей военной организации, которых и не подозревает публика; как бы то ни было, мы должны сознаться в справедливости приговора одного из французских генералов: «Les ge□ne□raux manque <me>nt d'initiative»*.

Наконец, и вне круга действий дипломатических и военных, прислушиваясь к толкам о современных событиях в различных сословиях нашего общества, нельзя было не убедиться с горестью и стыдом, что настроение общественного мнения далеко не соответствовало обстоятельствам и что мы были нравственно не способны подняться до той высоты самоотвержения, которая одна могла бы победить шаткость правительства и восполнить скудость наших материальных средств.

Совокупность этих условий заключала в себе верный залог победы для наших противников и унижения для нас. Люди, умеющие испытывать времена, носили в себе предчувствие настоящего исхода, и как ни сменялись потом впечатления одно за другим во время войны, как ни естественно было увлекаться надеждою, что авось либо непредвидимая случайность перевернет все к лучшему; но это горькое предчувствие, на минуту заглушенное, снова подавало зловещий голос. И, наконец, оно оправдалось...

Для России, вышедшей из рук Николая I, ложно поставленной к Европе, ослабленной внутри разобщением правительства и образованного круга с народом; для России, отученной от всякого живого участия к общему делу, при застое запуганной мысли и всех производительных сил, при современном личном составе высших управлений, при господстве во всех отраслях администрации систематической лжи, преднамеренного обмана и злоупотреблений, известных всем, но о которых запрещено говорить и писать, борьба с Европою действительно была не по силам.

Но если юному государю выпал незавидный жребий пожать плоды чужих шибок, то ему же досталось в удел великое

* Общее отсутствие инициативы *(фр.)*.

и редкое благо. В самом начале его царственного поприща перед ним является *правда,* далеко озаряя собою и пройденный, и впереди лежащий путь; эта правда, недоступная разумению его предшественника, становится невозмутимо ясною для него, и вместе с тяжелым испытанием, которого бремя облегчит для него сочувствие всей России, Провидение посылает ему неоцененный урок.

Повторяем: Россия безропотно понесет свой крест, она забудет прошлое и не станет разыскивать виновных; но она вправе ожидать и требовать для пользы будущего, чтобы весь назидательный смысл понесенного нами унижения был исчерпан до дна. Это общее дело, дело всех и каждого.

В чем же заключается смысл современных событий, чему должны мы из них научиться?

Взглянем на внешнюю политику.

В продолжение 30 лет и более мы принимали деятельное участие в делах Европы, постоянно и усердно служили консервативному началу, всеми силами противодействуя революционному. Консервативное начало, как понимают его наши государственные мужи, объемлет и освещает все, существующее под фирмою внешней законности. Под это определение подходит, разумеется, не только владычество австрийцев над итальянцами, но и над славянами, так же как и самодержавные права турецкого султана над греками, болгарами и сербами. К революционному началу, без дальних соображений, относится все, расстраивающее существующий порядок, каков бы он ни был сам по себе, например: домашние распри государей с их подданными, волнения рабочих классов, лишенных верных средств к пропитанию, требования возмужалой, но еще не признанной народности, стремление к сближению единоверных племен и вообще все силы, приводящие историю в движение. Словом, что есть, то свято; чего еще нет и чего добиваются – преступно. С этой точки зрения, доступной каждому и потому чрезвычайно заманчивой, нет надобности справляться с характером племен, с религиозными верованиями, с историческими условиями и

местными особенностями, – все это исчезает, сглаживается. Божий мир обесцвечивается, и род человеческий распадается на две половины: законных владык и мятежников. К чему же нас привела эта политика: что мы спасли и чему помешали, чего достигли и что утратили?

Мы спасли существование Австрии и целость военных сил как Австрийской империи, так и Пруссии. Это наш главный, собственно нам принадлежащий и в свое время громко прославленный подвиг. Кроме этого, вместе с другими, мы сохранили Египет для турецкого султана, влиянием нашим содействовали сохранению Шлезвиг-Голштинского герцогства для Дании и династических прав владетельных домов Средней Германии.

Мы помешали естественному сближению России с Франциею, много раз подававшею нам руку; гнушаясь и боясь ее, как земли, одержимой бесом революции, мы мешали ей всеми силами играть ту первостепенную политическую роль, на которую ей даны неотъемлемые права; мы, сколько могли, мешали образованию центральной германской державы из мелких королевств, герцогств и княжеств; наконец, мы, может быть, замедлили развитие представительных учреждений во всех германских державах.

Мы достигли союза двух первостепенных морских держав – Англии и отвергнутой нами Франции, ненависти всей Германии и единогласного приговора всей Европы, оскорбленной нашим вмешательством в чужие дела и признавшей необходимым условием политического равновесия и прочного мира – унижение России. Эта бескорыстная к нам вражда выразилась повсеместно с такою силою, что ни один кабинет, даже из числа внутренне расположенных к нам, не решился замолвить слово в нашу пользу, боясь не столько гнева Франции и Англии, сколько негодования своих подданных, и что само прусское правительство вынуждено было употребить неимоверные усилия для того только, чтобы не дать увлечь себя потоку общественного мнения и не променять на расходы и бедствия войны неисчислимые выгоды бездействия.

Наконец, *мы утратили:* наши военные гавани и флот на Черном море, устье Дуная, часть Бессарабии, право покровительства над Дунайскими княжествами, право заступничества за наших единоверцев в Турции, наше политическое значение на Востоке, нашу военную славу, наше первенство в Европе.

Факты говорят сами за себя, и правда о нашей внешней политике обнаружилась теперь так ясно, что ее видит всякий.

Но и этот вывод, конечно, покажется многим несправедливым обвинением. Нам могут возразить следующее: «Пока Россия твердо держалась консервативной политики, она пользовалась почетом и доверием всей Европы. Другие державы завидовали ей и почитали за счастье быть с нею в союзе. Необдуманная, несвоевременная выходка покойного государя все испортила; но в чем тут виновата консервативная политика? Не она внушила мысль отправить в Константинополь князя Меншикова и занять княжества, не она подняла знамя единоверия. Напротив, ее смутил одобрительный отзыв о Фессалийском восстании, и когда раздались слова: *за угнетенных братьев,* ее покоробило от изумления и страха. Решившись действовать наперекор законности, во имя каких-то народных сочувствий, Россия добровольно отреклась от всех преданий консервативной политики, и только с этой минуты ее старые союзники повернулись к ней спиной. Пусть же одобрившие этот шаг отвечают и за его последствия».

И подлинно, из чего было поднимать тревогу? Правда, благодаря нашей долголетней беспечности, католики отнимали у православных Иерусалимский храм; значение России на Востоке упадало; с каждым днем в единоверных нам племенах хладело участие к России и вера в действительность ее заступничества; в Константинополе, в Персии влияние Англии быстро возрастало и вытесняло наше; требования наших уполномоченных и послов выслушивались с таким пренебрежением, что мы поставили себе за правило никогда ничего не требовать и притворяться, будто бы мы ничего не видим и не знаем; между тем, каждый намек британского или французского консула принимался за приказание... Так что

ж? Мы могли бы учтиво посторониться и пропустить вперед наших дорогих союзников; наши дипломаты придумали бы благовидные предлоги, и мы, без шума и огласки, уступили бы Восток западным державам; они бы заняли его без боя, без тех неимоверных усилий и жертв, которых им стоила победа, не принимая на себя незавидной роли защитников турецкого владычества над порабощенными христианами. Это было бы для них и легче, и приятнее... А мы? Мы остались бы верны консервативной политике, сохранили бы дружбу Австрии, и подкупленные нами газеты славили бы по-прежнему рыцарское великодушие русского государя.

Вот какое разрешение Восточного вопроса подготавливалось исподволь в Лондоне, в Вене и у нас в Петербурге, в том ведомстве, которое печется о делах иностранных держав; но какое-то неясное и слишком поздно проснувшееся в покойном государе сознание, что мы идем не своею дорогою, или говоря языком наших дипломатов, *его необдуманная выходка,* расстроила это глубоко надуманное предначертание – и слава Богу.

Правда, наша военная слава помрачилась, и Европа разуверилась в нашем могуществе; зато наши восточные единоверы, считавшие себя давно забытыми нами, уверились в нашем сочувствии. В глазах болгар, сербов и греков Россия пострадала за общее дело, и если теперь в их судьбе последует перемена к лучшему, никто не отнесет ее к усердию западных держав; ибо пример России заставил их сделать то, чего бы, вероятно, она не решилась сделать сама. Этого не забудут, и пролитая русская кровь пролита не даром. Едва ли скоро забудут и то, что ни в Англии, ни во Франции, ни даже в Германии ни один голос не раздался в пользу несчастной Греции, когда французы и англичане ворвались в Афины; долго и долго будут помнить восточные христиане, так охотно поддавшиеся обаянию западной образованности, что католический епископ благословлял турецкие знамена, что посол великобританский вывел на показ двух патриархов на своем маскараде, что богобоязливая Англия во всех закоулках

вербовала головорезов, отсад мусульманских племен, и что во главе набранных ею шаек красовались в чалмах и фесках венгерцы и поляки. Теперь между Западною Европою и православным Востоком залегли воспоминания, которых скоро не изгладят католические миссионеры и агенты Англии. Мы не имеем причины об этом жалеть. Пусть празднует Европа торжество своих материальных сил; если за ним последует вероятное ослабление ее нравственного авторитета над юными племенами, которым рано или поздно будет принадлежать Восток, победа будет за нами. Эта победа имеет свою цену, и мы одержали ее *вопреки* нашей консервативной политике.

Случалось нам также слышать жалобы иного рода: «Виновата ли русская, честная, последовательная политика в том, что злонамеренные клеветы вскружили головы всем европейским державам? Можно ли ожидать, что Австрия, недавно нами спасенная, первая нам изменит и кинется в объятия наших врагов? Кто бы поверил, что Англия, не признавшая Наполеона I в то время, как вся Европа перед ним склонялась, смирится перед его племянником и повергнет свои морские силы к его услугам? Кому бы пришло в голову, что обновитель преданий наполеоновской системы забудет историческую вражду Франции к Англии и в то же время решится на повторение борьбы с Россией, погубившей его дядю?..». В этих жалобах, повторявшихся много раз в официальных и полуофициальных статьях, писанных в пользу России, высказывается какое-то детски-простодушное, почти трогательное воззрение.

Как, вас удивляет политическая роль Австрии, Франции и Англии? Да чего же вы ожидали?

Вспомните, с каким упрямством Австрия противилась восстановлению Греции, как долго она роптала на Россию за ее участие в Наваринском деле. Вспомните, какими глазами она смотрела на движение русских войск во время турецкого похода 28-го года; какое расположение к нам она обнаружила на другой же день после сдачи Гергея, каким чувством к России проникнуты газеты, издающиеся под ее руководством,

и политические брошюры государственных людей, наиболее посвященных во все тайны ее политики; наконец, примите в соображение, что между Турецкою империею и Австрийскою существует теснейшее сродство, что обе основаны на государственном преобладании малочисленного племени над массою более или менее угнетенных инородцев, что как австрийцы, так и турки *кормятся* подвластными им славянами, что Австрия – та же Турция, с тою разницею, что ее Мекка в Риме; взвесьте все это и скажите: можно ли было ожидать, что, когда русские войска, распустив знамена единоверия, пойдут мимо Австрии на освобождение угнетенных христиан от турецкого ига, Австрия посторонится и отдаст нам честь?

Перейдем к Англии. Вам было известно, что после занятия нашими войсками Адрианополя вся Англия тряслась от бешенства и что только неподвижность Франции, в то время бывшей с нами в союзе, удержала ее воинственные порывы. Вы не могли не знать, что исстари в Константинополе, в Тегеране, в Афинах, в Малой Азии, на границах Бухарии и Китая, во всех пристанях, на всех морях и степных дорогах Англия с враждебною недоверчивостью следила за каждым нашим шагом и ударяла в набат, как только где-нибудь показывалась фигура одинокого казака; все это было вам известно, как и всему миру, и вы ожидали, что два-три ласковых слова задобрят Англию и что она пожелает нам доброго успеха, когда мы занесем руку на Турцию?

Вы отвергли Наполеона III, тогда как он искал с нами союза, по наущению Австрии, вы нанесли ему публичное оскорбление, и вы могли надеяться, что при открывшейся возможности, подавши руку Англии, поднять униженную Францию, занять ее войною, окружить себя блеском военной славы, стать во главе западного союза и расплатиться одним разом за поход 1812-го года и за поражение под Ватерлоо, он добровольно упустит этот единственный случай и предпочтет роль равнодушного свидетеля соблазнительной роли вершителя европейской борьбы? Странны эти требования, но еще страннее жалобы на других, что наши ожидания не сбылись.

Дело в том, что политика Австрии была искони и есть по преимуществу австрийская, политика Франции – французская, политика Англии – английская; но этой очевидной, до пошлости простой истины мы не могли понять потому единственно, что собственная наша политика была не русская, а мнимо консервативная. Вместо того, чтобы держаться твердого исторического предания, мы руководствовались в наших внешних сношениях мертвыми отвлеченностями, и, судя о других по себе, мы думали, что и прочие европейские державы так же легкомысленно, как и мы, принесут в жертву самые существенные свои выгоды формулам без всякого содержания, – личным дружеским связям или тщеславному желанию выслужить патент на рыцарское великодушие.

В политике, как и во всем, утратив сознание нашей национальной особенности, мы вместе утратили и смысл для уразумения национальной особенности других.

Иностранные дела, дипломатические сношения и военные силы поглощали большую долю внимания и забот правительства. Домашние дела были на втором плане, да и самая деятельность правительства, обращенная к России, имела постоянно характер политический. Она была как бы второстепенною отраслью нашей внешней политики и представляла собою применение к Русской земле тех общих понятий, которыми мы руководствовались в наших внешних сношениях.

Предполагалось, что в Русской земле, как и в Западной Европе, борются два начала: революционное, наступающее, стремящееся к ниспровержению законного порядка, и обороняющееся, консервативное; что правительство в России, у себя дома, находится в положении со всех сторон осажденной крепости и что первою его целью, постоянною его заботою должно быть обуздание враждебных стихий. Чувство страха и чувство самосохранения залегли в душу правительства, пустили в него глубокие корни и заглушили прочие благороднейшие побуждения. Под непосредственным влиянием этих чувств сложились те правила, которыми, частью

сознательно, частью бессознательно, но всегда последовательно руководствовалось правительство в делах внутреннего управления. Мы укажем те из них, которые ярче других успели выказаться.

Ласкать армию, ибо опыт последних годов в Париже, в Риме и в Неаполе ясно доказал, что военная сила, воспитанная в разобщении с народом, всегда возможет укротить мятежных подданных. Особенно надежна в этом существенном отношении гвардия. Гвардия это сомкнутое каре, штыками обращенное к России, в центре которого стоит государь.

Поддерживать заботливо рубежи, отделяющие сословия, и не допускать между ними сближения, ибо разобщение сословий препятствует единству стремлений, парализует действие масс.

Положить дисциплину в основание службы; не требовать, даже не допускать никакого участия убеждений и совести, довольствуясь беспрекословным послушанием; ибо совесть может заблуждаться, убеждения изменяются и требуют осторожного обращения, а дисциплина, переходя в плоть и кровь человека, обращается наконец в животную привычку.

Овладеть воспитанием и допускать развитие просвещения только в самых тесных пределах и в самом тесном кругу, в той мере, в какой оно неизбежно для службы; ибо в Европе избыток образования в массах, при скудости материальных средств, повсеместно порождал беспокойную тоску, неудовлетворение настоящим и мятежные замыслы.

Смотреть на службу не только как на орудие, предназначенное к достижению общих государственных целей, но вместе – как на средство делать людей безвредными и отвратить их от опасных для власти размышлений и занятий.

Не давать простора ни частному кредиту, ни самостоятельным промышленным предприятиям, но стараться, чтобы все капиталисты сделались заимодавцами или подрядчиками казны и через это поступили в прямую от нее зависимость; ибо капитал такая же сила, как и знание, а всякая сила, при известных условиях, может сделаться страшною.

Стараться, чтобы все вообще как можно меньше рассуждали и думали о политике, о действиях правительства, о пользах и нуждах отечества, а всякий занимался бы своим частным, домашним делом или своею службою, не простирая помыслов своих за пределы лежащей на нем ответственности.

Поощрять театры, пляски, карточную игру, гулянье и все, что развлекает молодежь, отнимает время у мысли, а у дела силы.

Мы ограничимся этими указаниями, считая совершенно излишним и даже невозможным перебрать все применения страха, возведенного на степень системы, к различным явлениям народной жизни. Мы хотим только определить характер общей цели внутреннего нашего управления по основным его побуждениям, и для большей ясности мы в заключение прибегнем к сравнению. Петр I и Екатерина II, почитая себя совершенно безопасными внутри России, хотели видеть ее просвещенною, богатою и могучею. В последнее же время правительство хотело только одного – чтобы Россия была *смирна.*

Тридцать лет настойчиво, добросовестно, без устали усмиряли бедную Россию, и вот, наконец, она присмирела до такой степени, что *общественный дух* в ней оскудел вконец.

«Общественный дух? Это что за новость? Мы про него и не слыхивали». Общественный дух... Как бы яснее выразиться – для русской публики? Это то же, что 1›esprit public. Мы разумеем под этими словами живое сознание ответственного участия каждого гражданина в судьбе отечества; но мы чувствуем, что и это определение требует пояснения. Племя представляет собою, если можно так выразиться, историческую стихию. Особенности физиологические и нравственные, из которых слагается его характер, проявляются в нем только как природные свойства, как *быт.* Впоследствии, если это племя предназначено к историческому развитию, от встречи с другими племенами пробуждается в нем сознание его единства, общих целей, наконец, общего исторического призвания; тогда племя преобразуется в *народную личность,* облекается в государственную форму и заявляет свою по-

литическую самостоятельность в отношении к другим государствам древнейшего образования. То, что мы здесь сказали в пяти строках, вырабатывается в продолжение веков, под влиянием неисчислимых исторических случайностей. Само собою разумеется, что целый народ не вдруг озаряется самосознанием; оно пробуждается, яснеет и развивается постепенно, даже не всегда прогрессивно; бывают эпохи затмения; общественные слои охватываются сознанием один за другим, и часто случается, что от неравномерного или неравнокачественного его действия на всю народную массу временно нарушается цельность народной жизни; происходит раздвоение, – явление совершенно сходное с тем, которое мы замечаем часто в развитии отдельных лиц; часть общества отрывается от другой, иногда расходится с нею далеко, и через это общность и единство теряется, дробится во множестве частных, особенных стремлений. Но такое состояние не может быть *целью* правильного развития. Это – болезнь к смерти или к укреплению и дальнейшему росту государственного организма. Целью же всех сознательных усилий должно быть преодолеть ее. Чем живее каждое сословие и каждое состояние сочувствует судьбе государства, чем ближе к сердцу каждый гражданин принимает общую пользу, общее благо и общий вред, чем менее существенного разномыслия в основных понятиях и эгоистического разобщения в стремлениях, тем ближе государство к своему идеалу, тем быстрее и свободнее в данную минуту собираются его силы и устремляются, куда нужно, тем оно крепче и прочнее. Это *живое участие* каждого гражданина в судьбе целого государства существенно разнится от *любознательности,* с которой мы следим за ходом дел в других землях, и притом разнится не только в силе и степени напряжения этого чувства, но и в самом существе его: у себя дома мы не просто *зрители,* а *прямые участники,* заинтересованные в общем ходе дел круговою порукою всех за каждого и каждого за всех. Сознание этой нравственной ответственности, которой никто сложить с себя не может, не разорвав духовной связи своей с отечеством, – вот что состав-

ляет основу отношений граждан к государству в полном его развитии. Напряженное внимание к событиям внутренним и внешним, прямо или косвенно действующим на судьбу отечества, общая скорбь о неудачах, гласное обнаружение и прямодушное осуждение ошибок, настойчивость в раскрытии коренных причин народных бедствий, неутомимое изыскание способов к их устранению, радость в случае успеха, вечная признательность усердным деятелям, трудящимся для общего блага, беспредельная готовность на всевозможные жертвы для спасения народной чести – все это внешние признаки, притом один от другого нераздельные, сильно развитого общественного духа, повторяем опять: живого и ответственного участия каждого гражданина к тому, что называлось у римлян res publica*, а у нас в старину – *земское дело.*

Теперь применим эти общие понятия к современной России.

Восточная война, по своей цели, по существу своему, бесспорно была народна, а потому и в явлении она могла бы принять характер народной войны. Нечего и говорить, что, по отдаленности ее поприща и по самому свойству употребленных в дело средств, жители городов и сел внутренних областей России никогда бы не могли принять в ней такого деятельного участия, каким прославился наш народ при отражении двух нашествий – 1612 и 1812 годов; но участие выражается не одним появлением партизанских шаек, и война, начатая во имя страждущих единоверцев, потом превратившаяся в оборону наших собственных пределов, казалось бы, должна была расшевелить до дна народную стихию и возбудить сочувствие в массах. Многие этого ожидали, но то ли сбылось? Имеем ли мы основание думать, что русский народ усвоил себе Восточную войну? «Да», – ответят читатели, судящие по официальным донесениям, по корреспонденциям «Северной Пчелы» из уездных городов или по двум-трем письмам будто бы от простых крестьян, напечатанным в той же газете с соблюдением всех ошибок для придачи живого

* Государственные дела; общественное благо *(лат.).*

колорита, – письмам, в которых столько же неподдельной народности, сколько в лубочных картинках, кем-то составляемых в Петербурге, или в так называемом народном гимне, которого и слова, и музыкальный мотив заимствованы целиком из английской песни. «Нет», – скажут с грустью, но в один голос, все те, которые в течение последних двух годов имели случай прислушаться в разных концах России к городской и сельской молве. Народ смотрел на Восточную войну как на всякую другую войну, то есть как на общее бедствие. Он не сочувствовал ее цели, которой даже не знал или не понимал; но он питал глубокое сострадание к ее бесчисленным жертвам, и в этом чувстве – источник обильной милостыни, которой напрасно придавали значение пожертвований. Он молился усердно, но не о достижении цели войны, а о скорейшем ее прекращении, и принял весть о мире с радостью, не спрашивая, какою ценою он куплен.

В чем же искать причины этого равнодушия к судьбе государства? В нежелании или неумении правительства произвести одушевление в массах? Может быть, и в том и в другом; но главная и коренная причина лежит гораздо глубже; она таится в исторических условиях, которых ничья воля переменить внезапно была бы не в силах.

Российское государство и русская земля, правительство и народ, так давно и так далеко разошлись друг с другом, что теперь они как будто раззнакомились; народ разучился понимать правительство, правительство отвыкло говорить языком, для народа понятным. Под языком мы разумеем не только выбор слов и оборотов, но и самые понятия, внушаемые слушателям или предполагаемые в них. Из одного источника истекает безграмотность языка и бесцветность мысли, господствующие в произведениях официальной литературы. Оттого последние манифесты, задуманные по-французски, со всеми двусмысленными тонкостями дипломатических нот, приспособленные к требованиям общественного мнения Западной Европы и потом пересыпанные текстами из Священного писания, достигали до народного слуха, не про-

никая в его душу. Ни один из них не произвел и не мог произвести впечатления полного и цельного. Представьте себе чиновника, сидящего перед снарядом электрического телеграфа на центральной станции, к которой примыкают проволоки, проведенные от разных точек; пальцы его усердно работают, перебегая по клавишам, и нет ему отдыха ни днем, ни ночью; вести и приказания, казалось, должны бы разноситься во все стороны с быстротою молнии, но – увы! Усердный труженик не знает, что уже давно перержавели и порвались все проволоки и что его работа пропадает втуне. Вот верный образ отношений правительства к народу или, точнее, к народному духу. Между мыслью, правящей судьбами государства, и народною жизнью не достает только одного – *живого проводника.* Итак, с одной стороны, правительство располагает одними вещественными средствами России как покорным и добротным материалом; оно набирает рекрутов, взимает подати, делает наряды; но нравственные, невесомые силы, заключенные в духе народном, остаются ему неподвластными. С другой стороны, народ, равнодушный к государственным событиям, принимает их как атмосферические явления, как ненастье и вёдро, и, продолжая жить бытовою, неисторическою жизнью, стоит в молчаливом раздумье, не подвигаясь ни на шаг к самосознанию. Дух общественный в народе *замер.*

Происхождение и ход этого органического недуга известны всем. Он начался с Петра I и усиливался постоянно до настоящей поры. С каждым днем внешние его признаки бросаются явственнее в глаза. Этими немногими словами мы невольно затронули один из самых важных и живых современных вопросов. Мы говорим «невольно» потому, что вовсе не имеем намерения поднимать его. Если нам скажут, что преобразование России в той именно форме, в которой оно совершилось, было делом исторической необходимости, разумно сознанной; что тяжелая рука, одним ударом разрубившая живую нить исторического предания, через которую питательные соки, накопляемые прошедшим, переливаются в будущее, нисколько

не поранила общественного организма; что все существенное, живое и предназначенное к дальнейшему развитию, что только имела в себе древняя Русь, спаслось и перешло под другими названиями в Россию преобразованную; что мы не оставили за собою ничего такого, о чем бы нам приходилось жалеть; что все, по-видимому, печальные последствия реформы происходят не от ее односторонности, не от излишеств ее, а, напротив, оттого, что преобразование еще не окончено и не доведено до последних его применений, – все это мы пропустим без всякого возражения; ибо мы ничего спорного не хотим вводить в изображение современного состояния России. Пусть же все будет так, как думают самые горячие и последовательные поклонники Петра I, но мы ожидаем и от них добросовестного признания, что современное разобщение правительства с народом было последствием, хотя бы даже косвенным или непредвиденным, его великого подвига, и что пока это разобщение длится, пока не восстановится тем или другим историческим процессом цельность нашего общественного организма, пока не потечет опять полною струею народная жизнь, до тех пор и политическая роль Российского государства будет постоянно ниже его призвания.

Мы сказали, что в народе общественный дух *замер сам собою,* вследствие давнишних исторических причин. В той же части русского общества, которая, оторвавшись от народа, была увлечена правительством, то есть в дворянстве, в духовенстве, в служебном сословии, гражданском и военном, общественный дух *заморен сознательно.*

В продолжение 30 лет нам твердили в казенных училищах, с кафедр, в церквях, перед аналоем, что все обязанности гражданина сводятся к одному беспрекословному послушанию; что совесть нужна нам только для домашнего обихода, для руководства нашего в частном быту; что в области гражданских отношений для нее нет дела, ибо там ее заменяет другая, высшая сила, воля начальства*, начальства без-

* См. инструкцию г. Ростовцева для кадетских корпусов. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

ошибочного, всегда и во всем перед подчиненными правого, начальства, вдохновляемого свыше, каким-то таинственным путем. «Кто вас просит думать и толковать о войне и мире, о наших политических союзах и разрывах, об устройстве армии, о беспорядках администрации, о путях сообщения и железных дорогах? Ваше ли это дело? Рассудите сами. Это дело начальства. На то существуют министры, губернаторы, посланники и всякие генералы, а вы себе знайте свое дело: если служите – так службу; исполняйте усердно и не задумываясь требования начальства; не служите, так занимайтесь своим домом, своим заводом, рысаками, клубом, картами; живите себе спокойно, наслаждайтесь жизнью, но помните одно: есть интерес личный у всякого человека, есть еще интерес казенный – это у людей служащих, а другого нет и быть не должно». Эти наставления, щедрою рукою посеянные, принесли плод сторицею. Систематическое осуждение всякого проявления свободного участия к общему делу, с точки зрения казенной догматики, казенной теории государственного права и жандармской практики, приучило людей неслужащих общее дело считать для себя чужим: а в служебном сословии дисциплина заняла место совести, боязнь формальной ответственности перед начальством заглушила благороднейшие побуждения и всякое понятие о нравственной ответственности перед отечеством.

Какие же были последствия этого воспитания? По-видимому, общество честно выполнило все то, что можно было ожидать от него в минуту испытания, и правительство осталось довольно. Мы подносили адресы, жертвовали, шли в ополчение. Так; но все это делалось *по наряду* или *из приличия,* во всем проглядывали те же знакомые побуждения, вследствие которых расхватывается в кругу подчиненных портрет *обожаемого* начальника, разбираются в губернских городах лотерейные билеты, раздаваемые губернаторшею, или повергается с шумом на землю при поминовении августейшего дома толпа кадетов, рассеянно внимавшая обедне.

Все наружные признаки патриотического одушевления были налицо; но пора наконец высказать, какая правда под ними таилась.

С трудом и напряжением, подбирая слово к слову при сочинении адресов, мы заботились не о том, как бы лучше выразить общую мысль, а как бы не сказать слишком много или слишком мало, как бы верно попасть в тон и угадать, каких именно чувств и мыслей, какого градуса патриотической теплоты желает правительство. И, естественно, выходили адресы бесцветные, натянутые, холодные, вроде риторических упражнений школьников на тему, заданную учителем, или поздравительных писем к престарелым дядюшкам и тетушкам, сочиняемых детьми по заказу дальновидных родителей. И эти адресы выдаются за голос России, и по ним будет о нас судить потомство!

Сигналы к пожертвованиям обыкновенно подавали генерал-губернаторы и губернаторы. Приняв от них добрый совет, предводители приглашали к себе на совещание почетнейших из дворян и в тесном кружке надежнейших из своих доверителей излагали дело, как есть: «Господа, вам известно, что все губернии жертвуют; очередь дошла и до нас; нельзя нам отставать от других; конечно, времена тяжки, урожаи плохи, но что же делать, рассудите сами! Недаром говорил губернатор, что и так уже высшее начальство дивится, отчего мы до сих пор молчим. Согласитесь, неловко. Если бы была в виду возможность избегнуть этой повинности, мы бы не стали вас беспокоить; но этого нельзя, решительно нельзя. Нам остается переговорить о том, по скольку мы положим с души». Вот общий смысл убеждений, которыми лучшие из предводителей склоняли дворянство к пожертвованиям; мы говорим «лучшие», оставляя в стороне тех, которые на дворянские деньги, почти без ведома дворянства, покупали себе ордена и чины. Те же речи повторялись потом и в уездах. С купцами губернское начальство обращалось прямее и както фамильярнее и, чтоб избавить их от хлопот, обыкновенно принимало на себя назначение суммы пожертвования, предо-

ставляя раскладку на волю платящих. Что ж касается до податных сословий, то с ними еще меньше церемонились, и в некоторых городах, например, в Москве, мнимо-добровольные приношения, в размерах огромных по отношению к средствам жертвователей, взыскивались с беспощадною суровостью, как военные контрибуции.

Но самое грустное и в то же время самое назидательное зрелище, без сомнения, представили чрезвычайные собрания дворянства для выбора офицеров в ополчения. Теперь уже известно, что почти везде их назначали без разбора, без баллотировки, не справляясь ни со способностями, ни с образом жизни, ни со средствами, ни с характером будущих начальников, которым вверялась земская рать. Чувство самосохранения, проступившее в цинических формах, полновластно правило действиями избирателей, торопило их, не давало одуматься и вытесняло всякие другие заботы. Обыкновенно начиналось с того, что присутствующие приносили на алтарь отечества своих отсутствующих собратьев, потом с жадностью устремлялись на ловлю охотников. В них редко оказывался недостаток для замещения высших должностей – начальников дружин; когда же доходило дело до низших, то выборы превращались в скандалезные торги. Не было никому отказа. Пользуясь случаем, председатели палат сбывали из своих канцелярий негодных и неисправимых чиновников; развратные, преданные пьянству помещики, с которыми никто из соседей не хотел знаться, отставные голыши, перебывавшие на разных службах и удаленные отовсюду за беспорядочное поведение, – весь этот отсед, этот брак благородного дворянства принимался торопливо и с радостью, только бы поскорее набрать комплект офицеров. О том же, каковы они будут на службе и каково будет ратникам от таких командиров, никто и не думал. Воля начальства исполнена, формальной ответственности быть не может, и – совесть покойна. Остальное – дело правительства.

Сохрани нас Бог отрицать исключения. Мы готовы допустить, что в каждом ополчении можно было бы указать не-

сколько таких офицеров, которые принесли бы честь любому войску. Некоторые из них пошли от нечего делать, из любопытства, другие потому, что в минуты, подобные настоящей, когда надолго решается политическая судьба отечества, томительное ожидание на дальнем расстоянии от сцены действий для людей живых и восприимчивых становится невыносимою пыткою; но все же это только яркие исключения, и если бы кто вздумал составить себе понятие о целом русском дворянстве по массе офицеров, выставленных им в ополчение, тот, конечно, получил бы о нем весьма невысокое мнение.

Замечательно, что нигде выборы не были произведены так противозаконно, недобросовестно, торопливо и с таким пренебрежением к общей пользе, как в сердце России, в столичном городе Москве, – именно в том городе, который с 1848 года, за дурное поведение и буйство парижской черни, впал в подозрение у правительства, отдан на исправление местному начальству и вышколен им так исправно, что московское дворянство даже не решается, подобно другим, прямо от себя обращаться к правительству, а испрашивает посредничества генерал-губернатора, который, конечно, и грамотнее дворянства, и лучше самого дворянства знает, что оно думает и чувствует. Пример Москвы да послужит уроком!

Мы коснулись действий дворянства в чрезвычайных обстоятельствах последней войны, потому что они у всех в живой памяти, и еще потому, что в такие минуты внутренние побуждения проступают яснее; но не должно думать, чтобы в мирное время, при обыкновенных обстоятельствах и в других сословиях, было лучше. Во всякое время и везде в России гражданская деятельность обществ дворянских, купеческих, мещанских и крестьянских (в казенных и удельных имениях) носит один общий характер безучастия и лжи. Везде недобросовестность в выборах, уклончивость от самых существенных обязанностей и целей, самовластное вмешательство коронных чиновников, безмолвно терпимое обществами, и мелкие интриги двух или трех частных лиц, обращающих в свою пользу равнодушие масс. А между тем, взглянув на живую сельскую

сходку или на артель, свободно образовавшуюся, мы убеждаемся, что нет земли, в которой бы совещательное начало и все виды общественной организации были так сродни народному быту, как именно у нас, в России. Развернув «Свод законов», мы также должны признать, что ни одно правительство так доверчиво не опиралось на общества, ни одно не возлагало на них таких значительных требований и не открывало им такого широкого участия во всех отраслях управления, как наше правительство. Отчего же при этих условиях нет земли, где бы все общественное было так вяло, ничтожно и лживо? Причину нетрудно открыть. Мы требуем *общественных* выборов, *общественных* распоряжений и *общественных* приговоров, и мы боимся *общественного духа,* мы преследуем его и поспешно заглушаем самое скромное его обнаружение. Таким образом, мало-помалу общественные права превращаются в тягостную повинность, а действия общественные – в мертвую обрядность. Само правительство, не находя орудий и поддержки, для него необходимых, вынуждено бывает произвольным вмешательством своей власти указывать, предписывать, изменять и доделывать то, на что не достает усердия и доброй воли в обществах. Этим вмешательством, разумеется, еще более искажается самый смысл общественных учреждений, и практика, вопреки духу законодательства, безнаказанно попирает ногами все ограничения и формы, стесняющие самовластие. Прочтите устав сельского управления в казенных имениях и посмотрите, как он применяется!

Исключительная заботливость об устранении формальной ответственности и безучастие совести в области гражданских отношений еще ярче проявляется в передовых рядах служебного сословия, во всех ведомствах. Министр, покровитель народного просвещения, пожимая плечами, притворяет двери в университеты; изгоняет низшее купечество из гимназий; кряхтя, упраздняет кафедру за кафедрою; вычеркивает иные года из русской истории; отнимает у публики писателей, которыми гордится отечество; склоняется перед безумною цензурою, его самого приводящею в трепет, и остается на своем те-

плом месте. Он — только исполнитель высшей воли, и совесть его покойна; а что уровень народного просвещения, видимо, опускается — это не его печаль. Другой, светлое око правосудия, подвергает уголовной ответственности, как клеветника, бедного помещика за то, что в конфиденциальном письме к своему предводителю он упомянул о каких-то плутнях чиновников шоссейного ведомства*; тот же министр, блюститель законности, сочиняет обвинительный акт против председателей нескольких гражданских палат за то, что они не успели к произвольно назначенному покойным государем сроку окончить всех гражданских дел о долговых взысканиях, и, будучи внутренне убежден в их невинности, настоятельно предлагает Сенату отдать их под суд. Он также действует не от себя, а руководствуясь чьими-то высшими видами, и потому он чист и прав. Третий, объявив циркулярно при вступлении своем в должность, что он считает важнейшим своим призванием оберегать права дворянства, на другой день объявляет указ, которым все мелкопоместные дворяне подчиняются обязательной службе, как в западных губерниях; а на третий, без следствия и суда, ссылает дворянина на безвыездное житье в деревню. Чем же он виноват? Его дело выполнить в точности, что приказано, а за нравственное действие этих распоряжений на всю Россию он не отвечает. Главнокомандующий, против своего убеждения, без всякой надежды на успех, зная, что он ведет вверенное ему войско на неизбежное поражение, дает сигнал к атаке неприступной высоты** и омывает себе руки. Не он задумал это несчастное предприятие, за пролитую кровь начальство с него не взыщет, а затем какая же еще ответственность?

Припомните теперь 1812 год, настроение тогдашнего общества, одушевление дворянства, могущество общественного мнения, вдохнувшего решимость в сердце императора Александра I, и сравните, что было тогда, с тем, что совершалось в наших глазах. Справьтесь хоть в Записках Дениса Давыдо-

* Дело псковского помещика Окунева, начавшееся после ревизии сенатора Пейшурова. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

** Дело на Федюхиных высотах и на Черной. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

ва, каким глазами русские офицеры после Тильзитского мира смотрели на французов, и прочтите в нынешних газетах, как весело пировали и потчевали друг друга шампанским русские и французы после Парижского мира, и где же – на развалинах бывшего Севастополя, в виду могил Корнилова, Истомина и Нахимова. Сравните манифесты Шишкова с манифестами графа Блудова, сравните Меншикова с Барклаем, Горчакова с Кутузовым, Закревского с Ростопчиным, и вам представится осязательно, что значит оскудение общественного духа. Вы измерите одним взглядом, насколько обмельчали у нас личности, насколько в нас всех убыло свойств, дающих нам право называть себя нациею.

Мы указали на корень внутреннего недуга, разъедающего наш общественный организм. Все прочие наши болезни и язвы, как, например, громадное развитие бесстыдного взяточничества, господство сознательной лжи в отчетах, донесениях, проповедях, приказах, пренебрежение к законам, устремление законодательной деятельности на мелочи и преднамеренное уклонение ее от существенных, но трудных задач, недостаток честного и добросовестного труда в рассмотрении самых важных предметов, отсутствие изобретательности и всякой инициативы в управлении, – все это наружные последствия коренного зла. Против него-то должны мы действовать с последовательною твердостью, отказавшись заранее от надежды на скорое выздоровление, ибо недуг запущен, и никогда не теряя из виду, что все наши внутренние соки требуют очищения. Со временем, когда освежится весь организм, болячки и струпья, его покрывающие, сами собою заживут и затянутся; залечивать же их теперь, потому что они колют глаза, действовать наружными, паллиативными средствами, не касаясь внутренней причины болезни, было бы делом и безумным, и неблагодарным. Но где ж искать врачевания? Какое указание для будущего почерпнем мы из печальной картины настоящего? Этого естественного вопроса мы не можем оставить без ответа и потому постараемся в возможно коротких словах представить положительные выводы из всего нашего обозрения.

Придерживаясь того же порядка, обратимся опять к внешней политике.

Политика России должна быть не *консервативная* и не *революционная,* а *русская.* Иными словами: она должна служить не отвлеченному политическому началу, а *историческому призванию России* как земли православной и славянской, поставленной Провидением во главе славяно-православного мира. Это – единственная, твердая и неподвижная цель нашей политики; все остальное имеет в ней только второстепенное значение как средство.

Историческое призвание России принадлежит ей одной, ей исключительно; между европейскими державами, как это ясно доказали последние события, *у нас нет друзей,* потому что нет ни с одною из них в существе тождественных интересов. Итак, ни родственные связи, ни наружное сходство государственных учреждений, ни выгоды других держав, ни так называемое равновесие Европы, которым мы так долго дорожили, не понимая всей пустоты этой формулы, не должны нас связывать. Но если нет у нас друзей, то могут быть *союзники.* Мы можем сближаться и действовать заодно с другими державами, *когда второстепенные цели нашей политики будут совпадать с их целями.* Не теряя ни на минуту из виду нашей главной, неподвижной цели, не принося ее в жертву ничему и никому, мы свободно можем избирать средства и не должны ни пренебрегать, ни гнушаться никакими союзами. Напротив, мы должны их искать везде. При политике самостоятельной в основном ее направлении все нам годятся в союзники: Англия против Франции, Франция против Англии и Австрии, Америка против западных морских держав, даже Австрия против Франции или Пруссии, граф Буль и папа, так же как и Кошут и Маццини.

Если наша внешняя политика должна быть выражением исторических преданий русской земли и, так сказать, продолжать в настоящем живой след народной истории, то орудиями и представителями ее *должны по преимуществу быть люди русские.* От иноверцев и иностранцев, связанных подданством

с Российскою империею, но которым чужда русская земля и ее вера, было бы несправедливо ожидать и требовать того, что могут понять, полюбить и сделать только русские люди. Последуем примеру других держав. Англия не отправит от себя послом в Париж ирландца-католика, Австрия не назначит своим представителем при иностранном дворе православного славянина. Только мы любим наполнять список наших дипломатов немецкими именами, и это не послужило нам впрок.

В отношении собственно к России правительству предстоит увериться единожды навсегда, что оно имеет дело не с завоеванным краем, готовым к восстанию, *а с землею, признающею власть его бесспорно и свободно.* Откинуть этот вечный страх и трепет, привитый к нему извне, питаемый видом беспорядков, в которых мы не причастны, очистить свою душу от эгоистической заботливости об охранении каких-то *особенных* интересов власти и убедиться, что возрастающее просвещение, богатство и могущество России не ослабит и не подорвет, а, напротив, усилит правительство. Понять, что если русское самодержавие в общественном сознании не должно смешиваться с деспотизмом, отжившим свой век на Западе, то, с своей стороны, и правительство не должно увлекаться обманчивым сходством и *заподозривать русское народное начало в революционном демократизме,* – а потому *не мешать сближению высших слоев общества с народом,* в каких бы, по-видимому, странных формах это сближение не начиналось; но, напротив, поощрить его облегчением перехода из одного состояния в другое и *изысканием мер к упразднению крепостного права.* Последнее есть дело настоятельной необходимости.

Признать значение общественного мнения и дать свободу его обнаружению. Полюбить правду, выслушивать ее терпеливо, как бы она горька ни была, и беспощадно преследовать ложь, эту ложь сознательную, преднамеренную, гнездящуюся во всех закоулках официального мира. Убедиться, что не лишение чинов, не ссылка в Сибирь, а гласное осуждение есть самый страшный бич для злоупотреблений всякого рода, и добросовестное указание на неудовлетворенные потребности

или на сделанные ошибки принимать не с угрозами, как оскорбление Величества, а с благодарностью, как признак любви к добру и России. Понять, что для каждого русского Россия *есть отечество, а не вотчина русского государя.*

Что ж касается до нас всех, не участвующих в действиях правительства, до нас, русских и подданных русского государя, то мы не должны воображать себе, что великое дело оживления народного духа могло совершиться одними законодательными и административными мерами. Мы смотрели до сих пор со стороны, из своего угла, на судьбу России, и в этом наш общественный грех, грех действительный и вольный, в котором напрасно бы мы стали искать себе оправдания. Напротив, должны начать с того, чтобы простить от души и предать забвению все то, чем бы мы могли извинить наше долголетнее безмолвие. Не будем поминать лихом усопших за их безгрешные заблуждения; не будем мстить в настоящем за прошлую невольную неправду. Не будем говорить: «Куда нам мешаться не в свои дела, ведь нас никто не спрашивал, нам было приказано молчать и улыбаться, – авось и теперь обойдутся без нас, – а коли худо, на себя ж пеняйте!».

Нет, мы не посторонние и безответственные зрители, созванные для того, чтобы хлопать в ладоши. Другое говорит нам совесть, другого требует время. Где бы мы ни стояли, высоко ли, низко ли, мы должны теперь почувствовать, что польза и честь России есть наше общее дело и личное дело каждого, что наступила пора безропотно обратить на служение отечеству не только руки, ноги и карманы, но совесть, мысль и сердце и что кто теперь будет таить про себя усмотренную им ошибку или не откроет ясно сознанного им вреда, тот примет на душу такой же стыд, как если бы он сошел до времени с севастопольского бастиона.

Эти желания и надежды, мы знаем это наперед, многих приведут в ужас, – знаем и не смущаемся. В последнее время столько совершилось неожиданного с нами, что, может быть, произойдет неожиданная перемена и в нас самих, в нашем образе мыслей. Нет, не пропадет даром горький, кровавый опыт

этих двух годов; не сдвинутся опять разбитые тучи недоразумений и предубеждений, столько лет над нами висевшие. Старая система, что б ни говорили, осуждена окончательно падением нашей военной славы, утратою нашего политического первенства. Поймите это, ради Бога, и не думайте продолжать ее. Что было при императоре Николае добросовестным, безгрешным заблуждением правительства, извинительным потворством запуганного общества, теперь, после Парижского мира, было бы признаком неисцельного ослепления, с одной стороны, преступного равнодушия – с другой.

<По поводу толков о конституции>

Носится слух, что в Москве готовится какой-то адрес к подписанию с требованием конституции. Я, разумеется, отказываюсь этому верить и всем говорю, что это вздор, неправда. Но в наше время столько случается невозможного и бессмысленного, что, пожалуй, чего доброго, и на эту тему разыграют какую-нибудь дурацкую пародию. Если это правда, то я предлагаю подписать и пустить в ход нечто вроде следующего. Как ни ничтожны два, три голоса в массе голосов, поднявших современную разноголосицу, как ни несомненно, что эти одинокие голоса будут заглушены криком, топаньем, свистом и всеми орудиями убеждения современных прогрессистов, однако в настоящую минуту молчать грешно. Мы настолько устарели в своих понятиях, что для нас свист – не опровержение, рукоплескание – не доказательство, а успех – не мерило убеждений. Без всякой надежды на успех, мы просто считаем долгом совести гласно и без всяких недомолвок высказать то, что мы думаем по поводу современных толков об ограничении самодержавия в России.

Мы не признаем выработанной западной схоластикой и нашим духовенством повторяемой с чужого голоса теории de

jure divino. Утверждать, что в силу Божественного закона верховная государственная власть принадлежит какой бы то ни было династии по праву, ей *прирожденному,* что целый народ отдан Богом в крепостную собственность одному лицу или роду, мы считаем богохульством. Закон Божественный благословляет власть государственную *вообще* и вменяет каждому лицу <в обязанность> покоряться ей, потому что государственный строй (*тот или другой*) как существенное условие общежития служит к достижению предназначенных человечеству целей. В этом смысле: «Несть власть, аще не от Бога». Но что такое *власть* и что признавать властью? Этого вопроса церковь не решает. Он до нее не касается. Спаситель и апостолы создали церковь и дали человечеству учение об отношении человека к Богу, но они не создавали государственных форм и не писали конституций. Выработать себе государственную форму, монархическую, ограниченную или неограниченную, аристократическую или республиканскую – это дело самого народа. Каждый народ создает себе *власть* по своим потребностям и убеждениям, и эта власть, им поставленная, получает значение власти, *обязательной* для каждого лица, к тому народу принадлежащего.

Высказав в этом отношении наше убеждение и устранив недоразумение, которое могло бы легко возникнуть из всего последующего, мы приступаем к современному вопросу и высказываем прямо, что всякую попытку ограничить самодержавие в настоящее время, в России, мы считаем делом безумным, потому что оно невозможно, а если бы оно и было возможно, то назвали бы его бедствием и преступлением против народа. Невозможным мы назвали это дело потому, что в земле Русской нет такой силы, на которую бы можно было опереться для ограничения другой силы – самодержавия. До какой бы степени помешательства ни дошли в настоящую минуту разгоряченные умы, нельзя считать казенных учебных заведений, университетов и литературных кружков того или другого цвета, – силою. Положим, все они могут сделать много зла, нагнав на Русскую землю тучу диких понятий,

извратив общественный смысл, сбив с исторического пути и сделав негодными для жизни несколько поколений; но все это – проявления силы чисто *отрицательной,* а не творческой и не зиждущей. Яд есть тоже сила, но сила умерщвляющая, а не дающая жизнь. У нас есть одна сила историческая, положительная, это – народ, и другая сила – самодержавный царь. Последний есть также сила положительная, историческая, но только вследствие того, что ее выдвинула из себя народная сила, и что эта последняя сила признает в царе свое олицетворение, свой внешний образ. Пока этими двумя условиями обладает самодержавие, оно законно и несокрушимо. Не дай Бог дожить до испытания его силы на какой-нибудь площади против какой бы то ни было горстки недовольных; но пора заранее отдать себе отчет в последствиях схватки, на которую вызывают его задорные люди. Пусть соединяются в одну кучу несколько сот студентов и воспитанников военно-учебных заведений, пусть пристанет к ним дюжина дворян, еще не успевших помириться с мыслью об утрате крепостного права, пусть к ним примкнет десяток свистунов-газетчиков, да еще человек пять, сбившихся с круга и до костей зараженных мещан и дворовых людей; одним словом: пусть все, что желает падения самодержавия, обступит Зимний дворец... Если вызванный криком царь приподнимется и через головы этой горстки людей только подмигнет народу, и если народ поймет, что царя об*ижают,* то что произойдет тогда? Скажет ли он: «Поделом ему», – или двинется к нему стеной на выручку? Тем, для которых разрешение этого вопроса сомнительно, мы советуем обратиться за справкой к мировым посредникам, которые в продолжение шести месяцев толкаются в народе и более, чем кто-либо, выслушивают правдивые выражения его неудовольствий и надежд. Они скажут в один голос, что сочувствие народа электрическим током тянет прямо к царю, через все посредствующие сословия, учреждения, общественные слои, не останавливаясь на пути своем *ни на чем и ни на ком;* что вся эта посредствующая среда в глазах народа существует только как препятствие к его соединению

с царем, и что между ними давно заключен невысказанный, а подразумеваемый и всеми понимаемый союз для взаимной защиты. Если, чего не дай Бог, им доведется встретиться в общем противодействии кому-нибудь, то не произойдет ли с этим что-нибудь то же самое, чему подвергается жиденькая лодочка, попавшая между двух валов, идущих друг другу навстречу? Есть еще предположение: «Может быть, когда раздастся на площади крик и зазвенят разбитые окна, Зимний дворец оробеет и подастся на сделку; может быть, удастся в минуту страха исторгнуть какую-нибудь уступку; или, если уж народ не способен воспламениться за прогресс, за цивилизацию и за тех, кто считает себя передовою дружиною, то нельзя ли чем-нибудь другим подогреть его, хоть, например, обещать ему, что не будет рекрутства, что податям конец и т. п.?» Иными словами: можно обойтись без народа и можно обмануть народ. Но и эти два средства испробованы. Анна Иоанновна подписала подвернутую ей конституцию и на другой день изорвала ее в клочки, а люди, в то время стоявшие за конституцию, были покрупнее нынешних; закал был надежнее. Это они доказали в ссылке. Был и другой пример: 14 декабря, *обманом,* вывели на Дворцовую площадь два гвардейских полка. Что ж из этого вышло? К тому же не надобно забывать одного: нынче на русском престоле сидит Александр II, который известен народу не по одним манифестам о ревизиях и рекрутских наборах. Он известен как *освободитель крестьян.* Народ на обман не поддастся. Итак, ограничение самодержавия – дело невозможное. Кроме того, мы сказали, что если б оно и было возможно, то мы сочли бы его бедственным и вот почему. Все современные недуги Русской земли сводятся к одному: наш государственный строй нам не по силам и не по возрасту; государство потребляет больше, чем вырабатывает земля, и мало-помалу заедает землю. Против этого зла конституционная форма правления не только не принесла бы врачевания, а наоборот, усилила бы недуг. Мы знаем по опыту, что где конституционная форма возникает не как самородный плод свободного развития народной жизни, а заимствуется

извне, как готовая форма, как покрой платья, – там прямое и неизбежное ее последствие: усиление централизации, не только административной, – в области правительственной, но и умственной – в развитии народного просвещения. Одна точка, один город делается самодержавным властелином целой земли. Туда, к этому средоточию политического движения, устремляются массы народа, капиталов, способностей, привлеченных заманчивой деятельностью на видном поприще; а между тем областная жизнь замирает, самодеятельность оскудевает, и мало-помалу все подпадает общей зависимости от направления, данного свыше. Первоначально централизация устанавливается вследствие этого сильного прилива народных сил к одному средоточию; потом она усиливается поневоле, вследствие постепенного истощения всего организма, как единственное средство восполнить пустоту и мертвенность в его оконечностях. Петербург, центр самодержавия, тяжел для России; Петербург, центр конституционного правительства, задавил бы ее окончательно.

Далее, первое условие правильного исторического развития есть искренность и правдивость. Под этим мы разумеем согласие того, что проявляется словом, делом, учреждением, обычаем, с тем, что есть, что составляет сущность народной жизни. Всякая конституционная форма правления основана на праве большинства, признанном как факт законного преобладания несомненной силы над слабостью и предполагаемой разумности, – над частными увлечениями и интересами. Но если бы название и права большинства присвоило себе меньшинство, то очевидно, что вся конституционная обстановка превратилась бы в возмутительную ложь. Таков бы был у нас характер ограниченной монархии; ибо какую бы ни придумали для нее форму, вся масса народная осталась бы вне ее, как материал, как орудие или как мертвое вещество. Что народ не может быть ни непосредственно, ни посредственно действующим лицом в какой бы то ни было конституционной форме правления – это, кажется, очевидно. Во-первых, народ не желает конституции, потому что он верит добрым намерениям

самодержавного царя и не верит решительно никому из тех сословий и кружков, в пользу которых могла бы быть ограничена самодержавная власть; во-вторых, народ безграмотный, народ, разобщенный с другими сословиями, народ, реформами Петра выброшенный из колеи исторического развития, не способен, не может принять участия в движении государственных учреждений. Народной конституции у нас пока еще быть не может, а конституция не народная, то есть господство меньшинства, действующего без доверенности от имени большинства, есть ложь и обман. Довольно с нас лжепрогресса, лжепросвещения, лжекультуры; не дай нам Бог дожить до лжесвободы и лжеконституции. Последняя ложь была бы горше первых. Теперь едва ли нужно объяснять, почему всякую попытку изменить форму правления у нас в настоящую минуту мы назвали преступлением против народа. Кто предъявляет подобные требования, воображая себе, что он говорит за народ и от его лица, о том мы можем только жалеть. Кто знать не хочет того, что думает и чувствует народ, кто сознательно пренебрегает им и от своего лица заносит руку на то, что создано народом и чем народ дорожит, – тот самозванец.

Мы твердо убеждены, что все современные толки о перемене формы правления не что иное, как пустая болтовня, чуждая не только правды, но даже искренности. России нужно не то. После освобождения крестьян, которое могло быть исполнено успешно и мирно только самодержавной властью, нам нужны: веротерпимость, прекращение полицейской проповеди против раскола, гласность и независимость суда, свобода книгопечатания как единственное средство выгнать наружу все зараженные соки, отравляющие нашу литературу, и через это самое вызвать свободное противодействие искренних убеждений и честного здравомыслия. Нам нужны: упрощение местной администрации, преобразование наших налогов, свободный доступ к просвещению, ограничение непроизводительных расходов, сокращение придворных штатов и т. д., и т. д. И все это не только возможно без ограничения самодержавия, но скорее и легче совершится при

самодержавной воле, чуждой страха и подозрительности, понимающей свою несокрушимую силу и потому внимательной к свободному выражению народной мысли и народных потребностей.

Первоначальный проект манифеста об освобождении крестьян*

В постоянной своей заботливости об упрочении общественного и частного благосостояния на незыблемом основании твердых** законов, Августейшие Наши Предшественники даровали поочередно всем сословиям права и учреждения, приспособленные к потребностям каждого из них и в равной степени обеспечивающие их самостоятельность и свободное развитие их деятельности***.

Одни крепостные крестьяне и дворовые люди, исправляя государственные повинности наравне с другими податными сословиями, не пользовались доселе гражданскими правами, последним предоставленными, и находились в непосредственной зависимости от их**** владельцев, на которых древний обычай и закон возложил попечение о их благосостоянии. Столь явная несообразность исключительного положения крепостных людей с началами Божественной

---

* Это первоначальный набросок Манифеста, написанный Ю. Ф. Самариным, в бумагах которого он сохранился. Печатается с черновой рукописи Ю. Ф. Самарина, на которой имеются многочисленные поправки, дополнения и замечания князя В. А. Черкасского, воспроизведенные нами в примечаниях. *(Все примечания в статье принадлежат Д. Самарину.)*

** Слово «твердых» зачеркнуто князем Черкасским.

*** В начале рукописи имеется следующее замечание князя Черкасского: «NB. Я полагал бы вообще, что лучше сделать одно *общее* изложение основных начал Положения, общее для всех местностей, разве лишь с *самыми краткими* дополнениями о Киеве, Литве и Малороссии».

**** Слово «их» зачеркнуто князем Черкасским.

правды и с коренными условиями прочного государственного благоустройства не могла укрыться от прозорливой попечительности Наших Августейших Предшественников и в особенности Императоров Александра I и незабвенного Родителя Нашего, в Бозе почившего Николая I. Не упоминая о других законоположениях*, имевших целью ограничить права владельцев на личность крепостных людей указами о вольных хлебопашцах и об обязанных крестьянах открыт был путь к постепенному установлению правомерных отношений посредством добровольных сделок между помещиками и крестьянами; даровано было крепостным людям право приобретать, с согласия помещиков, недвижимую собственность; введены были облегчительные правила для отпуска дворовых людей на волю; в Остзейских губерниях и в Царстве Польском крестьяне получили личную свободу и прочное** поземельное устройство, а в Западных губерниях Инвентарными Правилами определены были наделы крестьян и их повинности. Полное осуществление дальнейших благих предначертаний, задуманных в видах постепенного улучшения быта помещичьих крестьян, к несчастию, было задержано другими настоятельными заботами, вызванными внешними обстоятельствами; но начало было положено, путь был указан, и Нам оставалось только, выждав благоприятного времени, довершить великое дело, Прародителями*** Нашими Нам завещанное.

В самый день вступления Нашего на Прародительский Престол, Мы дали обет посвятить Богом дарованную Нам власть на мирный подвиг поощрения народного труда вещественного и умственного, на оживление производительных сил вверенной Нам Державы и на водворение в ней порядка, основанного на законе, всех в одинаковой степени ограждающем. Произнося во всеуслышание этот обет, Мы не скрыва-

* Вместо этого князь Черкасский предлагал: «Независимо от других законоположений».

** Слово «прочное» зачеркнуто князем Черкасским.

*** Вместо «Прародителями» князь Черкасский предлагал «Предместниками».

ли от себя, что Нам предстояло разрешить узы крепостного права и произвести коренное преобразование в порядке вещей, издавна укоренившемся в общественных понятиях и привычках; но мы знали также, что дух самопожертвования, постоянно отличавший Русское Дворянство и* еще недавно прославивший его в защите Отечества от внешних врагов, не оскудеет и на другом, не менее славном поприще мирного законодательства**.

С радостным сердцем узрели Мы, что надежды Наши не только сбылись, но даже были превзойдены Дворянством. Предупреждая желания Наши, передовое сословие, свободным изъявлением своей готовности приступить*** к улучшению быта крестьян, дало Нам возможность призвать избранных от Дворянства к самостоятельному участию в приготовительных законодательных трудах****, долженствовавших предшествовать изданию окончательных о крестьянах Положений. Верные своему назначению, Местные Комитеты, во всех губерниях учрежденные, добровольно отреклись от права на личность крепостных людей и, руководствуясь началами, Мною в Высочайших Рескриптах***** указанными, представили об устройстве хозяйственного быта крестьян обильный запас местных сведений и дельных****** предположений, без которых Правительство не могло бы, в течение короткого двухлетнего срока, обнять во всей полноте этот обширный предмет и установить правила, для обеих сторон безобидные.

С другой стороны, надеясь на разумную покорность народа, Мы не признали нужным скрывать от него готовив-

* После этого слова князем Черкасским вставлено: «столь многократно и притом».

** Вместо «мирного законодательства» князь Черкасский написал «подвига гражданского».

*** После слова «приступить» князем Черкасским вставлено «немедленно».

**** Слово «законодательных» князем Черкасским зачеркнуто.

***** Вместо «Мною в Высочайших Рескриптах» князем Черкасским написано «Нами».

****** Вместо «дельных» князь Черкасский предлагал «важных».

шуюся перемену в его судьбе, хотя Мы предугадывали, что великое предприятие, Высочайшими Рескриптами возвещенное во всеуслышание, не всеми будет оценено и понято одинаково верно и что* ложные слухи, плод напряженных ожиданий и незрелых понятий, возникнут неминуемо** и разнесутся далеко. Так, по доходившим сведениям, в некоторых местностях крестьяне тревожились опасением, что с приобретением личной свободы они утратят право на дальнейшее пользование помещичьею землею, необходимою для обеспечения их быта; в других местностях возникало, наоборот, неразумное ожидание, что, с выходом из личной крепостной зависимости, крестьяне удержат за собою состоящую в их пользование помещичью землю, не обязываясь впредь отбывать какие-либо за нее повинности; но сами крестьяне скоро убедились, что, если не возможно лишить их*** права на пользование землею, необходимою для обеспечения их быта, то в равной степени невозможно и противно справедливости****, пользуясь землею, принадлежащею помещикам, не отбывать за нее***** повинностей. Здравый народный толк не увлекся ни ложными опасениями, ни несбыточными надеждами. Продолжая по-прежнему трудиться в поте лица, крестьяне беспрекословною покорностию законным властям и терпеливым ожиданием лучшей будущности, приготовляемой для них совокупными трудами Дворянства и Правительства, явили себя достойными свободы и оправдали высокое Наше к ним доверие.

Ныне желание Августейших Наших Предшественников исполняется. Рассмотрев труды Губернских Комитетов, по указаниям Нашим исправленные и дополненные, вняв мнению Государственного Совета и призвав на великое сие дело******

* После «что» князем Черкасским вставлено: «быть может».

** Слово «неминуемо» князем Черкасским зачеркнуто.

*** Князь Черкасский предлагал «если они не лишаются».

**** Князем Черкасским вставлено «было бы».

***** Князем Черкасским вставлено «законных».

****** Князь Черкасский: «на сие великое и святое дело».

благословение Всевышнего*, Мы утвердили** своею подписью Положения о крестьянах и дворовых людях, выходящих из крепостной зависимости, и повелели разослать сии Положения вместе с сим Манифестом ко всем помещикам и во все сельские общества***.

Положения**** обнимают:

1) Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости.

2)……..

3)……..   и т. д.

Из сих Положений первые шесть предназначаются к повсеместному исполнению***** и разосланы будут повсюду; каждое из остальных относится****** до отдельной, более или менее обширной, местности и потому разослано будет только к тем владельцам и в те сельские общества*******, к которым оно применяется.

Вчитываясь и вникая в сии Положения, крестьяне и дворовые люди узнают как дарованные им права и льготы, так и возложенные на них в отношении к Правительству и к помещикам обязанности********; в то же время они поймут, что введение в действие столь обширных и сложных законоположений не

* Князем Черкасским вставлено: «Им же зиждутся Царства и утверждаются домы».

** Князь Черкасский: «скрепили».

*** Вместо «сельские общества» князь Черкасский предлагал «главные селения».

**** Князь Черкасский: «Новые сии законы».

***** Князь Черкасский: «к исполнению повсеместному».

****** Князем Черкасским вставлено: «исключительно лишь».

******* Вместо «в те сельские общества» князем Черкасским написано: «в главные селения тех областей».

******** Князем Черкасским добавлено: «они убедятся, что сии крестьянам предоставленные льготы и возложенные на них обязанности были тщательно соображены с местными обстоятельствами каждого края, губернии и даже уезда, и что по этому самому неравномерные предоставлены крестьянам в разных местностях земельные наделы и не везде равные установлены с них в пользу помещиков повинности».

может быть произведено внезапно и единовременно. Необходимо предварительно:

1) Учредить в помещичьих имениях сельские и волостные общества.

2) Назначить в уездах мировых посредников, которым поручается введение в действие Положения о крестьянах и разрешение дел, возникающих из обязательных отношений крестьян и дворовых людей к помещикам.

3) Открыть в каждой губернии Губернское по крестьянским делам Присутствие.

4) Составить, поверить и утвердить по каждому сельскому обществу* *уставную грамоту***, в которой будет в точности, на основании правил Местных Положений, обозначено*** количество земли, предоставляемое крестьянам в постоянное пользование, и размер повинностей, причитающихся с них в пользу помещика как за сию землю, так и за другие, получаемые ими от него выгоды****.

Из всего***** перечня необходимых предварительных распоряжений сама собою обнаруживается необходимость соблюсти постепенность в приведении в действие правил Общих и Местных Положений и установить сроки, в которые даруемые права и облегчения воспримут свое действие. Сроки сии, равно как и способ исполнения Положения, подробно изложены в Правилах о приведении в действие Положений о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Ограничиваясь указанием на сии Правила, Мы желаем, однако, чтобы крестьяне и дворовые люди немедленно по прочтении сего Манифеста уразумели нижеследующую, нами установленную постепенность в льготах, даруемых им, в видах улучшения их быта.

---

* Князем Черкасским добавлено: «или именно».

** Замечание князя Черкасского: «в какой срок?»

*** Это слово у Ю. Ф–ча пропущено; оно внесено князем Черкасским.

**** Князь Черкасский предлагал расположить приведенные пункты в следующем порядке: 3, 2, 1 и 4.

***** Князем Черкасским вставлено: «краткого».

Со дня обнародования Положений*

1) Отменяются немедленно и повсеместно всякие существовавшие доселе добавочные сборы с крестьян или дани сельскими произведениями (V ст. 13)**.

2) Отменяется подводная повинность, отбываемая крестьянами за пределами имения, к коему они приписаны (ст. 14).

3) Оброки, которые уплачивались крестьянами до 1-го января 1860 г., не могут быть увеличиваемы помещиками (ст. 15).

4) Крестьяне без их согласия не могут быть переводимы с оброка на барщину или на смешанную повинность, или со смешанной повинности на чистую барщину (ст. 15).

5) С крестьян издельных барщина требуется в количестве, не превышающем узаконенных 3-х дней в неделю, а в зимнее полугодие женская барщина уменьшается на одну треть и отбывается в количестве не свыше 2-х дней в неделю (ст. 12)***.

Со введения в действие уставной грамоты

6) Крестьяне переходят на новое положение и отбывают в пользу помещика только те повинности, которые определены будут в уставной грамоте на основании Местного Положения соразмерно с наделом и другими предоставленными им выгодами.

7) Крестьяне получают право выкупить в полную собственность по цене, в уставной грамоте означенной, свою усадебную оседлость, а также полевые угодья, если помещик изъявит на то согласие****.

---

* Против этого заголовка рукою Ю. Ф–ча написано: «для Великороссийских губерний». Здесь же рукою князя Черкасского сделана следующая отметка: «NB. браки и гражданские права».

** Князем Черкасским прибавлено: «кроме хлеба».

*** Против второй половины этой статьи (начиная со слов: «а в зимнее полугодие»), князем Черкасским замечено следующее: «Неясно, как будто летняя женская барщина не уменьшается до 2-х дней!»

**** К последним словам этого пункта князем Черкасским сделано следующее замечание: «Неясно; будто согласие помещика относится и к выкупу усадеб».

По истечении двух лет с утверждения Положений

8) Крестьяне, состоящие на барщине, получают право, не испрашивая согласия помещика, переходить на денежный оброк, в уставной грамоте определенный.

9) Дворовые люди* приобретают полную свободу и освобождаются от всяких обязательных отношений к прежним их владельцам**.

По истечении 9-ти лет с утверждения Положений

10) Крестьяне приобретут право отказываться от земли, отведенной им в постоянное пользование, и от повинностей, за нее установленных, с соблюдением тех условий, которые к тому времени определены будут***.

Все исчисленные права и льготы воспримут свое действие в установленные сроки в силу для всех обязательного закона; но независимо от постановлений закона сроки сии могут сократиться и весь порядок введения в действие**** Положений может значительно упроститься там, где помещики и крестьяне заключат между собою полюбовные сделки о количестве надела и о размере повинностей. Частые примеры щедрой попечительности владельцев и глубокой признательности крестьян за все заботы о их благе дают Нам повод надеяться, что добровольными соглашениями, для обеих сторон безобидными, разрешится большая часть неизбежных затруднений, могущих возникнуть из применения общих правил к разнообразным условиям отдельных имений. Сим способом облегчился бы***** переход от старого порядка вещей к ново-

* Князь Черкасский предлагал здесь вставить следующее: «в течение двух лет обязанные служить своим владельцам или (буде они уже состояли на оброке) платить им установленный оброк».

** Князем Черкасским добавлено следующее: «Вместе с тем и владельцы, по истечении сих 2-х лет, освобождаются от обязанности содержать и призревать прежних своих дворовых людей».

*** Поправка князя Черкасского: «которые на сей предмет для того времени определены».

**** Поправка князя Черкасского: «введения в каждом имении в действие».

***** Князь Черкасский: «облегчится».

му, и на будущее время было бы упрочено* взаимное доверие и доброе согласие**.

Воссылая к Всевышнему горячее моление, да исполнятся Наши желания, да обновится сельский быт, да возрастет народное благосостояние и да вознаградятся сторицею все неизбежные*** в настоящую минуту**** потери*****, Мы не можем в сей радостный для Нас и для всех верноподданных Наших день не повторить от лица всего Отечества изъявления****** признательности благородному Дворянству за ревностное и бескорыстное его содействие к осуществлению Наших предначертаний. Россия не забудет, что само Дворянство отреклось от упраздняемого ныне крепостного права******* и добровольно вызвалось ценою нелегких пожертвований в настоящем упрочить хозяйственную будущность крестьян. Пусть ныне каждый владелец довершит в пределах своего имения великий гражданский подвиг целого сословия, приняв на себя труд, в предупреждение превратных толкований

* Князь Черкасский: «упрочится».

** Князем Черкасским добавлено следующее: «В одном из издаваемых ныне Положений указаны подробные правила, согласно коим будет от Правительства нашего оказываемая помощь в виде перевода долгов кредитным учреждениям и новых ссуд тем из крестьян, которые вступят с помещиками в добровольные соглашения о выкупе в собственность вместе с усадьбами и полевых угодий. Таковое непринужденное для обоих сословий постепенное обеспечение крестьян поземельною собственностью на основании добровольных сделок с нынешними законными владельцами земли составляет конечную цель совершаемого преобразования, равно важную и для справедливого охранения выгод обоих сословий и для ограждения навеки мира и спокойствия государственного. К достижению сей важнейшей государственной цели Нами повелено устремить все усилия и направить, по мере возможности, все средства Государственного Казначейства».

*** Князем Черкасским добавлено: «для дворянства».

**** В подлиннике слово «минуту» пропущено, оно вставлено рукою кн. Черкасского.

***** Конец этой фразы, начиная со слов «да обновится сельский быт», Ю. Ф–чем зачеркнут, но князь Черкасский по этому поводу заметил следующее: «Напрасно зачеркнуто! Я бы восстановил все это место».

****** Князем Черкасским добавлено: «заслуженной».

******* Слово «право» в подлиннике пропущено.

и невольных недоразумений со стороны крестьян, разъяснить им смысл и силу изданных Положений.

К вам обращаемся Мы теперь, крестьяне и дворовые люди. Дворянство сделало все то, чего Мы ожидали от его великодушия. Новая, лучшая будущность перед вами открывается; но никакая власть на земле[*] и никакой закон не может водворить всеобщего довольства и всех нуждающихся возвести на равную степень благосостояния. Вещественные блага добываются не иначе, как усердным трудом и умножаются строгою бережливостью. Закон может только устранить препятствия к свободному развитию труда, даровать каждому возможность употреблять свои способности и силы на пользу себе и обеспечить каждому спокойное обладание благами, нажитыми честным трудом. Эта цель достигнута[**]. Вам[***] отведется земля в постоянное пользование, повинности[****] будут облегчены и соразмерены с предоставленными вам выгодами; вскоре вы получите право, перейдя на оброк, располагать совершенно свободно вашим временем и трудом; наконец, вам открыта возможность ежегодно накопляемые сбережения употреблять на приобретение земли в полную вашу собственность.

Терпеливым ожиданием возвещенного улучшения в вашем быту, примерною[*****] покорностью властям и закону и строгим исполнением лежащих на вас обязанностей вы заслужили Мое доверие и доказали, что вы созрели для даруемой вам ныне свободы.

Православные![******] не омрачите[*******] этого светлого дня ни диким разгулом, ни буйным весельем; но в трезвом сознании

* Поправка князя Черкасского: «земная».

** Князем Черкасским здесь вставлено следующее: «Вы, дворовые люди, по миновании краткого срока, необходимого для первоначального устройства нового помещичьего хозяйства, приобретаете полную личную свободу и значительные льготы по приписке к обществам городских и сельских свободных обывателей».

*** Поправка князя Черкасского: «Вам, крестьяне».

**** Князем Черкасским вставлено: «тягостные».

***** Слово «примерною» князем Черкасским вычеркнуто.

****** Это слово князем Черкасским исключено.

******* Князем Черкасским вставлено «же».

лежащих на вас обязанностей возблагодарите* Всевышнего, Подателя всяких благ, и, осенив себя крестным знамением, вступите бодро** в новую жизнь***.

А. С. Хомяков и крестьянский вопрос

Вы сообщили мне о намерении членов Общества любителей российской словесности посвятить чрезвычайное заседание памяти покойного председателя Общества, Алексея Степановича Хомякова, чтобы, на первый раз и впредь до будущей оценки этого великого деятеля в области мысли и слова, наметить, хоть в главных чертах, пределы его многосторонней деятельности. Действительно, одному лицу трудно бы было обнять ее во всей полноте. Ее нельзя определить извне, заключив ее в готовые рамки какой-нибудь специальной области знаний; светлый ум его бросал лучи во все стороны, и только когда будет собрано все, что он нам оставил, раскроется внутреннее единство его, по-видимому бессвязных, начинаний и обозначится строго выдержанная цельность его воззрения.

Мне Вы поручили сообщить Вам, что мне известно о взгляде его на современный вопрос о крепостном состоянии. Предмет этот, как Вам известно, занимал его издавна. Он написал о нем две статьи, напечатанные, кажется, в «Москвитянине» в 1842 году, и еще третью, дополнительную к ним статью, оставшуюся в рукописи; потом, в прошедшем году, он составил записку о выкупе крестьянами отведенных им угодий, которая была им отправлена без подписи в Петербург. К сожалению, всего этого я не имею теперь под рукою; приглашение

* Князем Черкасским добавлено: «теплою молитвою».

** Князем Черкасским вставлено: «и честно».

*** В конце князем Черкасским сделана следующая приписка: «В заключение – *необходим* текст (можно бы поискать в книге Иова), обнадеживающий человека в борьбе с трудностями жизни».

Общества застало меня врасплох, и, по краткости времени, я вынужден ограничиться моими личными воспоминаниями и несколькими выдержками из уцелевших его писем.

Вы, конечно, помните, какое впечатление произвел на нашу публику указ 1842 года об «обязанных крестьянах», во многих отношениях недостаточный, невыдержанный и, к сожалению, оставшийся почти без применения, но превосходно задуманный как первый приступ к делу. А. С. Хомяков, в числе весьма немногих, встретил его с искреннею радостью и, кажется, один печатно заявил свое сочувствие к основной его мысли. Статьи, по этому случаю им написанные, имели целью успокоить встревоженное общественное мнение, разогнать призраки, созданные безотчетным страхом, и показать, что можно перейти от личного полновластия и произвола к добровольным сделкам, не потрясая коренных основ нашего сельскохозяйственного быта. Устраняя вопрос о праве на личность, он основывал будущий порядок вещей на чисто поземельных отношениях между землевладельцем и сельскою общиною. Необходимость сохранить ее неприкосновенность при всех будущих преобразованиях составляла одно из коренных его убеждений. Он дорожил ею не только как самородным произведением народной жизни и как вернейшим средством застраховать право крестьян на землю от тех несчастных и неизбежных случайностей, которых бы не вынесли разобщение личности, но еще более как нравственною средою, в которой лучшие черты народного характера спасались от заразительного влияния крепостного права. Эта мысль в одном из его писем выражена в следующих словах: «Чем более я всматриваюсь в крестьянский быт, тем более убеждаюсь, что мир для русского крестьянина есть как бы олицетворение его общественной совести, перед которою он выпрямляется духом; мир поддерживает в нем чувство свободы, сознание его нравственного достоинства и все высокие побуждения, от которых мы ожидаем его возрождения. Можно бы написать легенду на следующую тему: русский человек, порознь взятый, не попадет в рай, а целой деревни нельзя не пустить».

Статья А. С. Хомякова, о которой я упомянул выше, вызвала возражение, на которое он отвечал печатно; потом он изготовил еще статью, читанную мною в рукописи, в которой, между прочим, он доказывал, что целым обществам легче приобрести землю в собственность, чем отдельным хозяевам; но эта статья по причинам, как говорится, не зависящим от автора и от редакции, не могла быть напечатана. Той же участи подверглось несколько других статей, доставленных из разных губерний; начавшийся по поводу указа 1842 года живой обмен мыслей, который, может быть, остался бы не без пользы, по крайней мере, для постепенного ознакомления общества с великим вопросом, в этом указе затронутым, прекратился надолго.

В первой статье своей, о добровольных соглашениях, А. С. Хомяков допускал еще возможность сделок, основанных на обязательной для крестьян в пользу помещика работе; по крайней мере, он не высказывал в ней положительно необходимости предоставить им право переходить на оброк. Впоследствии мнение его об этом предмете изменилось или, может быть, только решительнее выразилось в следующем отрывке из письма, написанного им по поводу инвентарных правил, изданных в 1849 году для западных наших губерний: «Главный недостаток инвентарного положения заключается в том, что оно, по-видимому, определяет окончательные отношения крестьян к помещикам и не содержит в себе никакого указания на дальнейшее их развитие. Деятельность крестьянина заключена в безвыходно тесном круге; ему даже не дано права требовать замены барщины оброком; пусть бы лучше положили высокий оброк, лишь бы крестьянин видел, что когда-нибудь да прекратится барщина. У нас, на Руси, барщина, усовершенствованная и подведенная под строгие правила, недолго продержится с упразднением помещичьего полновластия. Германия в этом случае нам не указ. Наш крестьянин терпеливее немца вынесет грубый произвол; но ему нужно больше простора, и он не поймет свободы в кандалах, хотя бы кандалы были законного веса и образцовой мерки».

Вот еще отрывок из другого письма к одному из его приятелей, который сообщил ему записку, составленную за три года до выхода первого рескрипта: «Вы подробно исследовали хозяйственную сторону вопроса, но вы мало обратили внимания на его нравственную сторону. У нас под рукою неисчерпаемый запас материалов для развития темы, заброшенной кем-то из французских писателей: «Le esclavage de□prave le maitre plus que l’esclave»*. Обращение с людьми, которых нравственный суд над нами до нас не доходит, приручает нас жить спустя рукава; а внутреннее, хотя и затаенное, сознание нашей неправды перед ними лишает нас всякой свободы суда над равными. Есть какая-то всеобщая стачка не проговариваться о том, что у всех на уме и на сердце. Отсюда – застой мысли, дряблость воли, бесплодность нашего негодования, и это расчетливое равнодушие к добру и злу, которое выносит все, кроме искреннего слова, затрагивающего совесть».

Первый Высочайший рескрипт обрадовал Хомякова, как ранний благовест, возвещающий наступление дня после долгой, томительной ночи. Вы помните, какое множество оттенков обозначилось в общественном мнении, когда в нестройном говоре, поднявшемся на всем протяжении Русского царства, мало-помалу начали выясняться понятия о характере и объеме возвещенной реформы. В то время, как большинство видело в ней не более как смягчение и ограничение крепостных отношений, Хомяков, из первых, понял необходимость полного освобождения крестьян и предоставления им земли в собственность посредством выкупа. Теперь эта мысль никого не пугает и ежедневно приобретает более и более поборников; но на первых порах многие видели в ней дерзкую мечту и посягательство на право собственности. Под влиянием этих толков составлена была А. С. Хомяковым записка, которой главная задача заключалась в раскрытии несостоятельности безвыходно обязательных отношений, в оправдании выкупа как необходимой, окончательной развязки предпринятой реформы, и в опровержении тех доводов, которые заявлялись противниками

* Рабство развращает господина больше, чем раба *(фр.)*.

выкупа, безоговорочно принимавшими начала, изложенные в Высочайшем рескрипте. Не вдаваясь в изложение финансовых средств, в этой записке указанных, достаточно прибавить, что еще прежде, чем она была составлена, правительство признало *необходимость стараться, чтобы крестьяне постепенно делались поземельными собственниками, и сообразить, какие способы могут быть предоставлены со стороны правительства для содействия крестьянам к выкупу поземельных их угодий.* Составленный в этих видах особый проект теперь уже поступил на рассмотрение высшего правительства.

Остается сказать несколько слов о практической стороне деятельности А. С. Хомякова как помещика, владельца нескольких населенных имений в разных губерниях. Сколько мне известно, он начал управлять ими сам в ранней молодости и с первого шага поставил себя в прямые, непосредственные отношения к своим крестьянам. Он часто созывал мирские сходки, выслушивал все требования и жалобы, делал все свои распоряжения гласно и открыто и никогда не прятался за личность своих поверенных, как делают это многие добрые помещики, которые сознают всю тягость крепостных отношений и не решаются принять на себя ответственность за порядок вещей, которым сами пользуются. За несколько лет до выхода Высочайших рескриптов он приступил к исполнению давнишней своей мысли отменить в своих имениях барщину и перевести крестьян на оброк. Он взялся за это дело не вдруг и не сгоряча, не под влиянием досады на хлопоты и неприятности, сопряженные с отбыванием барщины; но обдумав зрело все последствия и не скрывая от себя трудностей, которые он должен был встретить. Ему хотелось, во-первых, чтобы новый, задуманный им порядок, осуществился не в силу помещичьего полноправия, а по обоюдному соглашению с крестьянами, и, во-вторых, чтоб этот порядок оправдался в своих последствиях не как милость, на которую нет ни образца, ни меры, а как верный расчет, выгодный для крестьян и вовсе не разорительный для владельца. Переговоры его с крестьянами в имении, с которого он начал, продолжались довольно долго; каждый

пункт предложенных им условий обсуждался на сходках, и некоторые из них были изменены по требованию крестьян; по окончательном утверждении всех статей положено было, в случае споров и недоразумений, обращаться к третейскому разбирательству. Через два года крестьяне другой деревни, принадлежащей Хомякову, сами при мне приходили просить его, чтоб он и их перевел на то же положение, и, если я не ошибаюсь, теперь уже во всех или почти во всех имениях его барщина заменена оброком.

Вот все, что я мог собрать наскоро, в короткое время, в ответ на заданный Вами мне вопрос...

В числе немногих, собравшихся в Даниловом монастыре в день похорон, Вы, конечно, заметили крестьянина в дубленом тулупе, который не спускал глаз с заколоченного гроба и обливался горючими слезами. Эти слезы красноречивее всякого надгробного слова.

Современный объем польского вопроса*

При множестве появляющихся у нас статей о Польше и при различии точек зрения наших публицистов на так называемый Польский вопрос, кажется, наступило время точнее обозначить объем его, выяснить различные его стороны и подвести итог тому, что окончательно добыто, доказано, усвоено общественным сознанием и что находится еще под сомнением и требует разрешения. Тогда, вероятно, многие из противоречий в заявленных у нас мнениях и предположениях, при всей кажущейся их непримиримости, уяснятся сами собою, как воззрения противоположные только по их односторонности, в сущности же дополняющиеся взаимно.

Из всех когда-либо занимавших Европу вопросов польский едва ли не самый запутанный и сложный. Это оттого, что

* Напечатано в № 38 «Дня» 21 сентября 1863 г. *(Прим. Д. Самарина.)*

он слагается из *трех вопросов,* по существу своему *различных,* несмотря на их тесную связь.

Поляки – как народ, как особенная стихия в группе славянских племен.

Польша – как самостоятельное государство.

Наконец, Польша или, точнее, *полонизм* – как просветительное начало, как представительство и вооруженная пропаганда латинства в среде славянского мира.

Эти три понятия беспрестанно смешиваются и переходят одно в другое. Вся политика поляков заключается в их *отождествлении;* наша политика – в их *разъединении.*

Что поляки составляют отдельную, самостоятельную, хотя сравнительно с другими немногочисленную ветвь славянского племени – об этом нет и спора. Они обладают всеми условиями народной личности; у них свой язык, своя литература, своя историческая физиономия, свои бытовые предания. Признание этого простого и неопровержимого факта естественно ведет к признанию права на такое устройство, которое бы не нарушало свободы народной жизни во всех ее проявлениях, составляющих *необходимое условие всякой живой народности.* Мы разумеем под этим: свободу вероисповедания, официальное употребление народного языка в делах внутреннего управления и своеобразность гражданского быта. Из того же факта вытекает само собою и другое последствие. Поляки, во имя своей национальности, не могут требовать не только подчинения себе какой-либо другой народности, но даже какой-либо с ее стороны уступки, и потому притязания польской национальности не должны простираться далее пределов ее фактического господства. В этом отношении поляки, сербы, болгары, чехи совершенно равноправны. Вот все, что оправдывается народностью, все, чего можно во имя ее требовать, и законные границы этих требований.

Но известно, что притязания поляков этим не удовлетворяются. Польша, говорят они, должна быть самостоятельным государством; ей нужна полная политическая независи-

мость. Это, отвечаем мы, другой вопрос, или другая сторона общего Польского вопроса.

К числу *существенно необходимых и неотъемлемых* принадлежностей всякой живой, признанной народности мы не относим политической самостоятельности, потому что хотя народность и государственная форма – два явления, тесно между собою связанные, однако первое не обусловливает собою необходимости второго. Иными словами: в основе самостоятельного государства всегда лежит народная стихия более или менее цельная, составляющая как бы ядро его, и государственная форма служит одним из проявлений этой стихии, ее представительством ad extra; но это еще не дает права к обратному предположению, ибо не всякая народность и не во всякую эпоху своего существования способна облечься в форму самостоятельного государства: на это нужны, сверх того, другие, очень разнообразные условия, которые могут быть и не быть. Есть целые племена, еще не достигшие, может быть и не имеющие никогда достигнуть той степени зрелости, при которой самостоятельное государственное устройство становится возможным; наоборот, есть народы, пережившие свою политическую самостоятельность; есть мелкие, затопленные чуждыми им народностями, осколки живых племен, которым недоступна государственная форма по их числительной незначительности, есть государства крепкие и сильные, образовавшиеся из нескольких, химически сроднившихся народных стихий; чаще же всего встречаем мы государства, выработанные преимущественно одною народною силою и в которых эта сила преобладает; но в составе тех же политических организмов мы видим другие, подчиненные национальности, признанные или непризнанные и пользующиеся большею или меньшею степенью гражданской самостоятельности. Итак, с одной стороны, национальная особенность *сама по себе* еще не оправдывает притязания на политическую самостоятельность; с другой – сложившееся государство не может быть рассматриваемо *исключительно* как облик той или другой народности.

Каждый политический организм, как продукт сложного исторического развития, имеет разнообразные потребности и условия прочного существования, вытекающие не непосредственно из природы того племени, которому он служит представительством, а из интересов его как живого деятеля, занявшего в истории известное место и выполняющего в ней свое призвание. К числу таковых условий относятся, например: обладание морским берегом, свобода внешнего сбыта и привоза, естественная замкнутость в стратегическом отношении надежных границ и т. д. Если (о чем теперь не может быть и спора) признание народности еще не обязывает к признанию за нею права на политическую независимость и если нельзя требовать, чтобы пределы каждого государства в точности совпадали с территориальным размещением преобладающей в нем народности, то мы должны ставить вопрос о Польском государстве как вопрос самостоятельный, не сливая его с вопросом о народности*.

Польша была и перестала быть государством. Она имеет богатую политическую историю, в которой мы видим эпохи зарождения, возрастания, могущества, упадка и разложения. Может быть, ни одно из новейших государств не испытало таких превратностей, такого быстрого расширения и одинаково быстрого стеснения своих пределов. Было же время, когда Польша владела Ригою, Данцигом, значительною частью Балтийского поморья, всею Западною Россиейю, с включением Смоленска, Украиною обеих сторон Днепра и Галициею. Все это утрачено. Спрашивается: о какой же Польше идет теперь речь и в каких границах требуется ее восстановление?

* Эту существенную разницу уяснили *«Русский Вестник»* и *«Московские Ведомости»,* но, кажется нам, не без некоторого уклонения в другую противоположную крайность. Не отождествляя государства с народностью, нельзя, однако, не признать тесной их связи и зависимости первого от последней, как явления от силы, вызвавшей его к жизни. История представляет только один пример государства, совершенно отрешенного от всякой народности, – это Латинская церковь, церковь-государство, tota christianitas, в той форме и в том, далеко не вполне осуществившемся размере, в каком задумано было средневековыми папами отождествление церкви Христовой с царством от мира сего. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

На это обыкновенно отвечают: требуется восстановление Польши в ее *исторических границах*. Но какие же, спрашиваете вы опять, границы считать историческими, какие неисторическими: границы ли Болеслава Храброго, Казимира, Батория или Станислава Августа? На каком именно годе, месяце и числе закончилась, по мнению поляков, и оборвалась их политическая история?

Поляки (нельзя не отдать им этой справедливости), по крайней мере, своих притязаний не таят. Они прямо заявляют, что государство, заключенное в тесных пределах польской народности, то есть той территории, в которой числительное первенство местного народонаселения остается за ними, просто-напросто немыслимо. Во-первых, этих пределов географически определить нельзя; границы национальностей польской, русинской, белорусской, литовской и немецкой стушевались в неуловимых оттенках. Во-вторых, если б даже и удалось определить их, то такое государство, сдавленное Россиею, Пруссиею и Австриею), пользовалось бы только номинальною независимостью и никогда бы не выходило из вассальных отношений к своим могучим соседям. Итак, в сторону неразрешимый вопрос о государстве Польском, как исключительном представительстве польской народной стихии; вместо того, отдайте Литву, Белоруссию, Малороссию, Вильно, Гродно, Ковно, Смоленск, Киев и т.д. Подробности этого плана известны всем.

Ну а Россия? – Так называемая Россия, отвечают вам, не задумываясь, польские публицисты, то есть Московия, после этого вступит также в свои исторические границы, то есть в те, в каких ей следует быть, в границы времен Иоанна IV.

Всякий раз, когда случается читать или выслушивать предположения об исторических границах России и Польши, нам приходит на память анекдот из времени, непосредственно предшествовавшего освобождению крестьян. Одна почтенная барыня, проживавшая в Москве и получавшая оброк из степной своей вотчины, стала замечать, что доход ее мало-помалу убывал вследствие быстрого возрастания так называемых

вотчинных расходов, между прочим и на содержание дворни. Вытребовав к себе своего приказчика, она принялась за подробную ревизию книг о муке, крупе, столовом запасе и в них прочла, что в январе было отпущено взрослым, в том числе коновалу Поликею, 2 пуда муки. Барыня всплеснула руками: «Как, и Поликушке два пуда! Поликушка во взрослых! Видно, уж очень на мое беспамятство рассчитывали! Поликушку я помню, двадцать раз на руках носила, по грибы в сад посылала... Ведь он вот какой!» – и барыня рукою от земли отмерила аршин. Приказчик стал было на это возражать, что это было давно, в то время, когда Поликушка был махонькой, а что теперь ему 24-й год, что он женат, имеет детей и стал уж взрослым Поликеем; но барыня пришла в азарт, с сердцем твердила, что, видно, ее хотят разорить, что все как будто сговорились расти и множиться, а ей одной, видно, убывать да малиться, и кончила строгим приказом, чтоб впредь этого не было. Она не читала польских публицистов, а не хуже их определяла исторический возраст своего Поликушки, без ее ведома и соизволения выросшего в целого Поликея.

Но обратимся к делу. Мы видели, что для восстановления прочной политической независимости Польши необходимо принести ей в жертву около трех с половиною живых народностей, отличающихся от польской – языком, вероисповеданием, обычаями, целым складом общественной жизни и глубоко ей враждебных по всем историческим их преданиям. Вот куда мы зашли, исходя из начала о полноправии народностей и следуя по пятам за польскими публицистами!

Но они нас прерывают и говорят: «Зачем же *в жертву?* Мы вовсе не требуем жертв. Мы не дикие москали и не коварные немцы. Мы никого не думаем угнетать, а, напротив, всем без различия предоставим полную свободу развития. Мы даже *не умеем угнетать,* и уважение к чужим правам, даже излишнее и доведенное до забвения наших собственных интересов, было причиною нашего падения. У нас не поднялись руки подавить шайку мятежных казаков и интриганов-диссидентов. В те былые времена грубого насилия идеал, нам предносив-

шийся, не мог, к сожалению, осуществиться, и мы за него поплатились; но мы не расстались с ним и, при изменившихся обстоятельствах, докажем на деле, что значит любовный союз племен, основанный на полном равенстве прав и на неограниченной веротерпимости».

Кому случалось близко сходиться с образованными поляками и кто сколько-нибудь знаком с их современною литературою, тот не станет оспаривать, что лучшие из них говорят это совершенно искренно, обманывая не других, а самих себя. В то же время кому не известно, что эта всепримиряющая любовь, возведенная на степень основы политического организма, уживается на практике с самою суровою национальною и религиозною исключительностью, с самым дерзким, иногда доходящим до бессознательности, посягательством на чужую народность и веру. По свидетельству беспристрастнейших из польских историков и публицистов, две причины сгубили их родину: польский гонор не мирился с мыслью о равноправности белоруссов и малороссиян с поляками, а иезуитизм не мог допустить рядом с собою Православной церкви. В этом отношении умудрились ли поляки опытом веков и воздействовало ли сколько-нибудь историческое сознание, добытое трудами науки, на их натуру, на ее живые инстинкты и побуждения? На этот вопрос не может быть двух ответов. К современным полякам применяется в полной силе приговор, произнесенный Франциею над эмигрантами, вернувшимися на родину вместе со старшею линиею Бурбонов: «Ils n›ont rien appris et n›ont rien oublе pendant i›exil»*. Чтоб убедиться в этом, достаточно вспомнить образ действия вожаков современного движения в Царстве Польском, в Белоруссии и в Литве, пробежать любое воззвание, взятое на выдержку из любого № газет, издаваемых тайным правительством, припомнить эту бесконечную процессию зарезанных, повешенных, отравленных, изуродованных, потянувшуюся назад, вопреки ходу истории, из второй половины XIX века в самую глубь XVI и XVII, к темным временам герцога Альбы

* «В ссылке они ничему не научились и ничего не забыли» *(фр.).*

и Торквемады. Но если этого мало или если вздумают приписывать кровавые оргии повстанцев действию распаленных страстей, то найдутся и другого рода улики в целой литературе и в так называемых мирных манифестациях; не говоря о разжаловании всего великорусского племени в какую-то помесь финской крови с татарскою, ни о целом ряде попыток водрузить латинский крыж на место Православного креста, достаточно вспомнить, что горсть поляков, которых русские штыки одни спасают от топоров крестьян, недавно подавала просьбу об отписании всей Подолии к Польше. А еще все это только попытки и начинания; но по программе можно судить о том, в какой мере поляки расположены и способны понять и уважить права всякой чужой народности или веры. Простой народ, хранитель той и другой, понял это безошибочно.

Итак, обеспечение законных прав польской народности, по убеждению поляков, требует непременного восстановления Польши как государства, а Польское государство, по их же словам, немыслимо вне известных условий, для достижения которых несколько живых народностей должны быть принесены в жертву польской; иными словами: в отплату за расчленение Польши (démembrement) Европа призывается теперь к расчленению России. Спрашивается: ради чего и во имя чего?

С этим словом мы переходим к третьему вопросу.

Польша, говорят нам, это не то, что какая-нибудь другая ветвь общеславянской семьи, великорусская или болгарская, — а гораздо более. Это соль славянства, поддерживающая в нем жизнь и охраняющая его от тления; это образовательная закваска, брошенная в богатую, но неподвижную стихию. Это передовая дружина славянства, влекущая за собою целое племя к просвещению и свободе. Она жила и живет не для одной себя; не властолюбие и не страсть к завоеваниям, а историческое ее призвание неудержимо выносит ее далеко за пределы ее национальности; когда ей подчиняются другие племена, это не насилие, а естественный факт постепенного озарения низменностей тем самым светом, каким несколько раньше охвачены были вершины; это победа света над мраком. Кто ж положит

предел распространению света и кто решится закрепить правом мертвое царство тьмы?

Остудив этот лиризм, высокопоэтический у Мицкевича и доходящий до комизма у дюжинных писателей, мы получим следующее определение Польши, данное одним из современных ее публицистов, Мирославским, и довольно верно выражающее, с его точки зрения, историческое ее призвание в отношении к славянским племенам, ограничивающим ее с юго-востока, и к Римско-Германскому миру, ограничивающему ее с северо-запада: la Pologne est une modification du slavisme par l’éducation latine, en concurrence au slavisme grec et oriental des tribus danubiennes, de la Moscovie et de la Ruthénie[*]. По-нашему, это значит: Польша – это острый клин, вогнанный латинством в самую сердцевину славянского мира с целью расколоть его в щепы.

Глубокая несовместность и непримиримость латинства со славянством доказана историческим опытом веков, хотя у нас многие не решаются еще признать ее. Всегда и везде, чем добровольнее и искреннее латинство принималось славянскою природою, чем глубже оно въедалось в нее, тем быстрее, под влиянием этого тонкого и всепроникающего яда, она чахла, разлагалась и гибла. Ни одно из племен славянских не отдавало себя на службу латинству так беззаветно, как польское. Чехия восстала против него, требуя для всех приобщения из чаши; это был протест не против одних злоупотреблений латинства, а против самого духа его. Дело шло о спасении цельности славянской общины, в которую латинство вносило коренное раздвоение, и, может быть, никогда ни один исторический символ не выражал так поэтически и верно совокупности духовных требований, вызвавших его, как святая чаша в руке Гусситов. Едва ли не этому высокому протесту и следовавшей за ним гигантской борьбе, в которой она пролила свою кровь, обязана Чехия спасением своей народности.

* Польша – это модификация славянизма методом латинства; пагубен ее вклад в соперничество славянства греческого и восточного, Московии и Рутении *(фр.)*.

Племена, имеющие за собою такие воспоминания, как Гусситский подъем, не вымирают, и в недавнем своем возрождении к новым историческим судьбам Чехия получила награду за своих великих мучеников XV века. Не тем путем шла Польша. Мы обращаемся к свидетельству ее собственных историков и публицистов новейшего времени. Один говорит вам: история Польши представляет борьбу славянской народной стихии с латинским просветительным началом; другой договаривает: и попытку помирить их сделкою; да, прибавляет третий, но нельзя не сознаться, что всякий раз, когда латинство брало перевес, звезда Польши бледнела и гасла. В X веке, как только она, в лице Мечислава, присягнула Риму, внутренняя жизнь ее начала перестраиваться по западноевропейской программе; древняя община отодвинулась на задний план, а вперед выступило сословие, пожалованное в аристократию; города выделились из земства, и в самые села проникла германская колонизация; единовременно охватила землю Польскую сеть привилегий, изъятий и льгот, разрушивших прежнюю цельность народного быта; потом, мало-помалу, местная жизнь взяла свое; латинская терминология и формы феодализма уцелели на поверхности ее, но под ними и им наперекор, народные элементы сблизились, опознались и устроились в тот своеобразный склад, которого первые очертания сохранились в Вислицком статуте; правда, что этот склад уже не охватывал всей нации. Вне его осталась вся масса простонародья, навсегда осевшая под гнетом латинства; но, по крайней мере, в верхних слоях общества цвела крепкая, национальная жизнь. Этот неожиданный пророст славянской стихии сквозь двойную стену церковного и феодального латинства, за которою она была замуравлена, совпадает с лучшею эпохою Польши и следует прибавить: около того же времени она начала хладеть к латинству и, вслед за тем, на две трети передалась протестантству. Но на этом скате она встретила отпор. С Запада двинулось на нее ополчение иезуитов, которые вторично завоевали ее, шаг за шагом, довершили недоделанное в X и XI веках, то

есть окончательно прикрепили ее к подножию папского престола и привили к ней дух самой суровой нетерпимости. С этого времени высшее сословие окончательно замкнулось в себе самом и разбилось на партии; начались гонения на инородцев и иноверцев, и наконец Польша пала жертвою внешнего вмешательства, вызванного ее внутренним разложением. Итак, Польша *отбивалась* от латинства и по временам как будто одолевала его. Вот лучшее, что могли извлечь из ее истории собственные ее панегиристы. После такой исповеди что скажет кающийся? Конечно, вы ждете от него отречения от латинства и твердого обета навсегда повернуться к нему спиною? Ничуть не бывало. Он заканчивает свою скорбную повесть повторением старой присяги Мечислава; он вторично отдает латинству свою, на минуту как бы просветлевшую душу и, во имя вольной кабалы своей, обращает взор на Запад, прося сострадания и помощи. Он говорит Европе: «Заступись за меня – и, верный тебе слуга, я стану на страже, чтоб оградить тебя от дикой силы, порожденной сочетанием восточной схизмы с монгольским деспотизмом; развяжи мне руки, и враг наш исчезнет как призрак; Восток Европы будет твой, и я сам потяну к тебе моих скованных братьев». В этом обмене услуг, в этой подразумеваемой исторической сделке, которой основания положены в X веке, – разгадка сочувствия поляков к Западной Европе и обратного сочувствия Европы к полякам. Называйте его бессознательным, неразумным, противным политическим интересам первостепенных держав, положим; но тем оно для нас знаменательнее, как проявление глубокого инстинкта. Ведь исторический ток не весь умещается в трактатах и дипломатических нотах. Повторяем, толкуйте это сочувствие как хотите, но не пренебрегайте им и не отрицайте его очевидности. Оно выказывается ежедневно и повсеместно. Мы развертываем последний № *«Московских Ведомостей»* и читаем в нем под рубрикою «Италия»:

«Его святейшеству желательно, чтобы все особенно молились о Польше... Католическая Польша служит оплотом против нашествия ереси... Нужно молиться, чтоб она,

не изменяя своему характеру, оставалась верною данному ей от Бога назначению и сохраняла неприкосновенным католическое знамя». Это голос из латинского мира; а вот другой голос из Англии, голос *экономиста,* разумнейшего, конечно неподкупленного органа промышленных интересов, притом органа, решительно отвергающего всякое вмешательство Англии в дела Польши: «Несмотря на ненависть к русской тирании и на сочувствие к страданиям поляков, нам кажется невозможным что-либо для них сделать». Таких заявлений можно бы привести тысячи.

Несмотря на то, многие у нас все еще как будто не решаются признать огромного, в современном Польском вопросе, значения *полонизма,* как вооруженной пропаганды латинства. «Что нам до вероисповедания поляков?» – говорят нам. «Да и действительно ли они так усердны к своей Церкви? Да и кому в Европе какое дело до этой Церкви и до папы, который не нынче, так завтра, утратит свою мирскую власть, то есть характеристическое отличие Римской церкви»? Странная узость взгляда! Прежде всего заметим, что мы говорим не о Римской церкви в тесном значении вероучения и церковно-государственного учреждения, но о *латинстве.* Под этим словом мы понимаем не одни догматические и иерархические особенности, которыми отличается западный католицизм, но подразумеваем и все то, что выросло от семян его, всю совокупность нравственных понятий и бытовых отношений, обусловленных римско-католическим воззрением на отношение отдельных лиц к Церкви, на веру, благодать и духовный процесс оправдания. Не станут же отрицать, что вера несколько глубже прохватывает всю внутреннюю жизнь человека, чем, например, его политико-экономические убеждения, и гораздо сильнее воздействует на его сознание о себе самом и об отношениях его к ближним, в пределах семьи, общества и государства. Эти, так сказать, жизненные выводы из вероучения переходят в быт, обращаются в предания, проникают в плоть и кровь народа, делаются как бы нравственною атмосферою его, которою он дышит, которая сопровождает его повсюду. Мы

часто замечаем, что дерево, несмотря на то, что его сердцевина прогнила, что в нем образовалось дупло, довольно долго стоит и зеленеет; даже после того, как корни подрезаны, листья некоторое время сохраняют свой цвет и свою свежесть. То же бывает и в нравственном мире. Последствия долго переживают причины; жизненность в них держится, несмотря на то, что начало, породившее и воспитавшее их, утратило свою творческую силу и, может быть, забыто. Мы знаем, что поляки, особенно в одиночку взятые, не хуже каких-нибудь французов, не только глумятся над папою и над его светскою властью, но заходят гораздо дальше в критике своей веры, и, несмотря на то, они остаются в оковах латинства. Ведь в польских семьях ежедневно повторяется, в своеобразной форме, библейское сказание третьей главы книги Бытия: злой дух Польши, в образе ксендза-духовника, запускает свое жало в сердце жены, а жена, в свою очередь, мутит воображение и совесть мужа. Возможно ли такое общее явление в семье, воспитанной не в латинстве? Припомните другое явление – известный польский катехизис, давно находящийся в обращении, хотя и недавно оглашенный, в котором обман, воровство, клевета и взяточничество не только разрешаются, но возводятся на степень обязательных подвигов. Невольно задаешь себе вопрос: чем могли до такой степени помутиться и извратиться все самые коренные нравственные понятия в целом обществе, у которого нельзя же отнять врожденного смысла для разумения добра и зла? Как объяснить это помрачение совести? Вникнув в дело, мы убедимся, что это прямое последствие латинского представления об отношениях правящей Церкви к подвластным ей душам. Личность исчезает в Церкви, теряет все свои права и делается как бы мертвою, составною частицею целого; из нее, из этой частицы, то есть из души человеческой, вырезывается самая неприкосновенная ее святыня – *совесть* и отдается Церкви, личная совесть исчезает в какой-то собирательной совести, которая олицетворяется в Церкви и которой единственным органом служит ее воинство; а так как Церковь свята и непогрешима, то интерес ее совпадает с законом нравственным: что полезно для Церкви – то благо,

что для нее вредно – то зло. Проследите таким образом, до психологической их основы, все исторические явления, которыми сопровождалась прививка латинства к славянской стихии – образование ненародной, строго замкнутой и притянутой к Риму иерархии, постепенное возникновение около нее аристократии военно-политической, отторжение власти от подданных, высших слоев общества от низших, быстрое развитие цивилизации, в кругу привилегированных сословий, но цивилизации не проникающей в народные массы, и постепенное сгущение тьмы в низменных слоях общества и т.д. – и вы убедитесь, что все это совершалось не случайно.

Историческая задача латинства состояла в том, *чтоб отвлечь от живого организма Церкви идею единства, понятого как власть, облечь ее в видимый символ, поставить, так сказать, над Церковью полное олицетворение ее самой и через это превратить единение веры и любви в юридическое признание, а членов Церкви в подданных ее главы.* Эта задача, перенесенная в мир славянский, в историческую среду *общинности,* не в тесном только значении совокупления экономических интересов, *но и самом широком смысле множества, свободно слагающуюся в живое, органичное единство,* должна была возмутить естественное развитие народной жизни до последней ее глубины. Действительно, латинство, по свойству внутренних побуждений, из которых оно возникло, было враждебно в одинаковой степени: *общинности,* этой характеристической племенной особенности Славянства, и началу *соборного согласия,* на котором построена и держится Православная церковь. Понятно, что разрыв в пределах церковной общины приводил неминуемо к разложению общины гражданской, и что, наоборот, среда, в которой предназначено было развиться историческим силам славянства, так сказать, предопределялась внутренним сродством двух указанных выше начал – общинности и соборности.

Если нам возразят, что и западноевропейская жизнь не вся же улеглась в определениях и формах латинства, но открыла себе новую духовную среду в протестантском мире, то мы

ответим, что протестантство есть тоже латинство, только обращенное в отрицание, латинство с придачею к нему частицы *не*. Это крайняя противоположность латинства, но противоположность столь же односторонняя, как и оно. Это страстный протест личной свободы, отчаявшейся в возможности осуществить единство неискусственное, но протест, не выходящий из круга тех же разорванных, одно другому противопоставленных понятий, из которых одно воплотилось в Романском мире, а другое в Германском. Подобно тому как латинство, в окончательном своем результате, ограничивается требованием внешнего, юридического признания истины, облеченной в образ церковного самодержавия, так, наоборот, протестантство, жертвуя всяким объективным содержанием, обращается, наконец, к изолированной личности с простым требованием искренности и подчиняет все формы общежития договорному началу, то есть сделке, в которой личный интерес служит и побуждением и нормою. Оттого, несмотря на противоположность верований, воззрений и привычек, протестантская Европа, при всей ее враждебности к латинству, внутренно сознает свое тесное с ним родство и, проклиная папу, в то же время всеми своими сочувствиями склоняется к Польше, предносящей в ее борьбе с Россиею Римское знамя. В вопросе, где противопоставляется латинская Польша православной России, кардинал – представитель папы и Английский Экономист сочувствуют одному. Только в этом они и сходятся.

Но спросят нас еще: «Как убедиться, что из множества свободных стремлений может выработаться органическое и прочное единство? Почем нам знать, что православное начало действительно хранит в полноте живого явления две отвлеченные крайности, распавшиеся в западном мире на противоположные полюсы? Может быть, это единство, эта полнота есть только начальное безразличие, по существу своему неустойчивое? Может быть, и славянская общинность — не что иное, как признак первобытной неразвитости? Где ручательство, что в указанных началах лежит действительно зародыш своеобразной будущности?»

На сей раз, мы позволим себе ответить сомневающимся словами Фауста:

Wenn ihr's nicht fühlt, iht werdet's nicht erjagen*, и обратить их к известным брошюрам покойного Хомякова** и к статьям г. Гильфердинга «О значении Польши в Славянском мире», напечатанным в *«Дне».*

Впрочем, свидетельство истории (участие поляков в подавлении гуситов, в иезуитских гонениях, в походах Наполеона, в турецких резнях) само по себе достаточно уясняет, чего может ожидать для себя славянство в будущем от государственного возрождения Польши на тех самых началах, которым она доселе служила. Но, сделавшись отравленным мечом и орудием гибели для других, сама Польша, как племя славянское, хотя и изменившее своей природе, должна была прежде всех заразиться тою же отравою; действительно, ту же враждебную силу, во имя которой она ополчалась на своих братьев, она внесла в свою плоть и кровь. Далее самоубийства ни отдельное лицо, ни народ идти не может. Польша дошла до этого предела, но переродиться в племя неславянское, изменить свою природу или променять ее на другую, она все-таки не смогла. Это чувствуют поляки, еще более чувствует Европа. В отплату за их усердие и восторженное поклонение она снисходительно принимает их службу против славяно-православного мира, ободряет их, соболезнует и сочувствует им, но не понимает и не уважает их. Дело в том, что в складе не только русской, но и польской жизни, насколько она сохранила отпечаток славянства, Европа встречает какую-то темную, загадочную сторону, какие-то для нее необъяснимые требования и одинаково необъяснимую неспособность удовлетвориться теми началами и формами общежития, в которых улеглась латинская природа.

Незрелые мечтания поляков о всепримиряющей любви, как основе общежития, их дознанная неспособность подчиниться какому-либо внешнему порядку, их ревнивое оберега-

* «Если вы этого не чувствуете, вам его не ухватить» *(нем.).*

** Мы надеемся, что в скором времени они явятся в русском переводе. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

ние личной свободы, доходящее до отрицания всякой условности в сфере политической, вся эта осмеянная неустойчивость, это беспокойное метание, заклейменное ироническим термином der Polnischen Wirthscaft, все это не что иное, как живые улики неспособности славянской природы окончательно ужиться в тисках латинства. В самом деле, отчего в XVII веке, в то время, как в соседних землях не без тяжелых жертв всякого рода сплачивалось государственное единство, в одной просвещенной и начитанной Польше власть не только не крепла, а, напротив, отступала шаг за шагом перед небывалою в мире силою правильно организованного своеволия? Не оттого ли это произошло, что она переносила в область условных отношений, без которых немыслима никакая политическая организация, предносившийся ей идеал общежития, которому в области духа латинство не дало развиться? Даже в новейшее время, в мистицизме польских поэтов, историков и публицистов, нетрудно усмотреть отрывочные проблески народной стихии, выражающиеся то скорбными воспоминаниями о чем-то давно утраченном, то неясными откровениями другой, лучшей природы, изредка озаряющими личное сознание? Но все, что исходило прямо от этой забитой природы, всегда принимало нестройную форму дикого своеволия или фантастического бреда; все это было и остается бесплодным именно потому, что, как в былые времена, так и теперь, народные инстинкты Польши прорывались в среде закабаленной враждебному им началу, которое не могло ни поддержать их, ни умерить.

Европа сознает это по-своему и презирает поляков за безуспешность их вековых усилий вполне себя самих переделать по образу ее и подобию. Европа с своей точки зрения права, и большего от нее нельзя и требовать; но мы, русские, в этом отношении не вполне перед поляками правы. Мы слишком легкомысленно подписали приговор западной науки и политической мудрости о их несостоятельности и не умели ни оцепить, ни даже опознать славянской струи, вопреки всему пробегающей в их политической истории и в их литературе. Мы, нередко относившиеся слишком снисходительно к

их историческим преступлениям и ошибкам, не умели в их собственных глазах оправдать именно то, что мы одни могли понять и уяснить другим, – эти невольные проблески сочувственной нам народной стихии.

Может быть, нам удастся когда-нибудь развить подробнее эту тему, только мимоходом нами затронутую, а теперь мы спешим к заключению.

Как две души, заключенные в одном теле, славянство и латинство вели и доселе ведут внутри самой Польши борьбу непримиримую, на жизнь и смерть. В ней-то и заключается глубокий трагический интерес польской истории, и от неведомого ее исхода зависит будущность Польши. Это не международная, а внутренняя, домашняя ее тяжба, вопрос народной совести. Каким бы добровольным истязаниям ни подвергала себя Польша, как бы ни бичевала себя, чтоб окончательно очиститься в глазах латинства от первородного греха своей славянской крови, ей не переродиться; будущность ее, если только для нее есть будущность, – в славянском мире и в дружном общении со всеми ей сродными племенами, а не в хвосте латинства. Но спрашивается: достанет ли в ней силы, чтобы сознать свою историческую измену славянству и притупить в себе отравленное жало латинства, которое она с такою любовью носила и носит в своем сердце?..

Итак, всестороннее рассмотрение Польского вопроса приводит нас к заключению, что все построение политико-социальных притязаний Польши основано на двух противоречиях.

Во имя своей народности, она требует для себя политического господства над другими, равноправными с нею народностями и оправдывает это притязание обетом – служить орудием просветительному началу, которое сгубило и губит ее внутреннюю жизнь.

* * *

Уяснив себе объем и содержание Польского вопроса или, точнее, вопросов, подразумеваемых под общим названием

Польского, мы можем теперь отдать себе отчет в возможных способах их разрешения; но для этого необходимо согласиться в том, что разуметь под словом *разрешение.*

Оно понимается у нас в двояком смысле. Некоторые из наших публицистов под разрешением Польского вопроса разумеют устранение самых поводов к периодическим судорогам Польши. Очевидно, что только такое разрешение и может считаться *окончательным* и *полным.* Оно должно непременно обнять все стороны вопроса и *удовлетворить поляков.* Вне этого последнего условия окончательное и полное разрешение вопроса немыслимо. Из всех предположений, в этом смысле у нас задуманных, особенно выдалось одно, предъявленное *«Русским Вестником»* и *«Московскими Ведомостями»,* а именно: о полном слиянии России и Польши, в форме общего государственного представительства, основанного на коренных началах русского политического быта.

Как проект окончательного разрешения Польского вопроса, это предположение, кажется нам, грешит своею узостью и свидетельствует о непонимании всей глубины вопроса. По самому существу своему, как историческая тяжба двух просветительных начал, олицетворившихся в двух народностях, он не умещается в области политики, и потому нельзя ожидать полного и окончательного его разрешения ни от исхода генеральной баталии, ни от последствий дипломатической кампании, ни от какого бы то ни было преобразования в нашем государственном устройстве. Польша потому враждует с Россиею, что та и другая носят в себе совершенно различные идеалы, религиозные и политические; обе при этом сознают эту разницу. Поэтому политическое представительство, задуманное на русских началах, как понимает их *«Русский Вестник»,* то есть без принудительной власти и в смысле организации общественного мнения, было бы так же непонятно для поляков, так же несродно и несочувственно им, как Церковь без папы, олицетворяющего в себе ее непогрешимость и все духовные ее дары. И власть со всеми ее атрибутами, и политическую свободу поляки понимают не так, как мы; то, в чем бы мы наш-

ли удовлетворение, показалось бы им горькою насмешкою, и проект государственного учреждения, составленный по плану *«Московских Ведомостей»,* был бы ими принят как новое посягательство на их национальность. Это было бы, в полном смысле, не слияние, а поглощение Польши Россиею, поглощение, в котором бы на долю первой выпала чисто пассивная роль подчинения внешней силе. Можно ожидать политического слияния, как последствия внутреннего перерождения и духовного примирения, но нельзя предполагать обратного, то есть умиротворения и соглашения посредством насильственного и внешнего сочетания. Мера, предположенная *«Московскими Ведомостями»,* даже не прекратила бы борьбы, а только открыла бы ей новое, более широкое поприще, не на одной окраине, а в самом средоточии нашей политической жизни. Такая борьба была бы совершенно бесплодна для разрешения Польского вопроса, но далеко не безопасна для России, при той узости и шаткости народного самосознания, которую ежедневно обнаруживают самые искренние и даровитые поборники ее политических интересов.

Газета *«День»,* не формулируя окончательного разрешения, предложила только путь к нему, а именно: опрос самой Польши, всей польской нации в полном ее составе, с тем чтобы вызвать собственный ее голос и от нее самой узнать ее потребности и желания. Но предварительно газета *«День»* признавала необходимым усмирить мятеж и ввести новый элемент, крестьянство, в гражданскую жизнь Польши. По нашему мнению, такой всенародный опрос мог бы привести к положительным результатам только в том случае, если б сама Польша была с собою согласна, то есть не носила бы в себе внутреннего раздвоения. Но тогда бы не было и Польского вопроса в том объеме, в каком он нам теперь представляется. Сосуд надломанный, сверху донизу треснувший, не издаст цельного звука; по той же причине Польша не способна подать от себя голоса, который бы выразил полноту ясного, действительно народного самосознания. Сколько раз она сама себя спрашивала о том, чего она хочет, и никогда не могла самой себе дать ответа, уразуметь са-

мое себя. Повторенная попытка привела бы только к тому, что мы получили бы ответ чисто отрицательный, то есть в сотый раз повторенное нежелание жить в союзе с Россиею, и еще раз убедились бы, что никакой положительной основы для своей исторической будущности Польша не извлекла из вековых своих опытов. Лишний раз повторили бы мы: qu elle n'a rien oublie et n'a rien appris*.

Окончательное разрешение Польского вопроса, такое разрешение, которое бы удовлетворило поляков, *немыслимо без коренного, духовного их возрождения.* Нужно, чтобы Польша отреклась от своего союза с латинством и, наконец, помирилась бы с мыслью быть *только собою,* то есть одним из племен славянских, служащим одному с ними историческому призванию; нужно, с другой стороны, чтобы Россия решилась и сумела сделаться *вполне собою,* то есть историческим представительством православно-славянской стихии. Иными словами: нужно торжество не военное и не дипломатическое, а торжество, свободно признанное, одного просветительного начала над другим**. В этом смысле, повторим слова г. Страхова: «Польский вопрос есть и долго будет вопросом русским». На этом слове нас, конечно, перервут обычные восклицания: «Да это мечта! Это невозможно, немыслимо! Как ожидать перерождения целого племени!» и т.д. Но мы и не давали обязательства изобрести окончательное разрешение Польского вопроса, которое бы могло осуществиться скоро и легко. Напротив, далеко не считая духовного примирения Польши с Россиею делом решительно и навсегда невозможным, мало того, питая про себя полную веру в его несомненность, мы именно потому и взялись теперь за перо, что желали бы всех убедить, что мы напрасно убаюкиваем себя надеждою на возможность достигнуть полного, окончательного и скорого разрешения какими бы то ни было мерами – административными или политиче-

* Она ничего не забыла и ничему не научилась *(фр.).*

** Так, или почти так, понято разрешение Польского вопроса гг. Гильфердингом, Страховым, Бессоновым и Вернадским (в *«Инвалиде»). (Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

скими. Если удалось это доказать, то половина цели достигнута, а именно: собственно *политический* вопрос очистился и уже не выйдет из свойственных ему пределов.

Силою исторических обстоятельств, вопрос народной совести сделался вопросом государственным, а вопрос государственный принял размеры общеевропейского. Вековая тяжба славянства с латинством из области духа перешла в леса Литвы и в кабинеты дипломатов; льется кровь, пылают села, вернулись давно забытые времена разбоев под знаменем креста и мученичеств, достойных первых времен христианства; Европа взволновалась и грозит нам новою коалициею; наконец, нашла голос и Русская земля... Эти явления переносят нас в другую область Польского вопроса и побуждают искать на него ответа, но уже не в прежнем смысле. Здесь, в области политических комбинаций, и слово *разрешение* получает иное, ограниченное значение. Перейдя в эту область, мы должны, во-первых, откинуть всякую надежду найти в ней разрешение окончательное и полное; во-вторых, мы должны знать наперед, что мы не удовлетворим поляков; цель наша должна состоять только в том, *чтоб сделать их для России безвредными,* и потому изыскание средств обусловливается уже исключительно интересами России в пределах политически и нравственно возможного; наконец, в выборе средств и в постановке отдельных задач, из которых слагается эта общая цель, мы не должны забегать вперед, но строго держаться той последовательности, в какой они сами возникают. Эта сторона вопроса, *политическая* сторона, теперь уже настолько разработана, что нам остается лишь собрать воедино результаты, усвоенные нашим общественным сознанием.

Прежде всего необходимо в Царстве Польском подавить мятеж, употребив на то *самые действительные* меры и отнюдь не подчиняясь в выборе их тем или другим предположениям, касающимся разрешения общего вопроса о будущей судьбе Польши*. Две самые необходимые меры уже указаны: подчи-

* Мысль эту прежде всех выяснили *«Московские Ведомости». (Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

нение в Царстве всего гражданского управления военному и улучшение хозяйственного быта крестьян при единовременном устройстве сельского общественного управления*.

Возможно скорое подавление мятежа во что бы ни стало есть дело крайней и неотлагательной необходимости, между прочим и потому, во-первых, что без этого невозможно очистить почву для дальнейших распоряжений в русских западных губерниях и на Украине; во-вторых, что вразумление поляков и обращение их на другой путь немыслимо без предварительного и окончательного крушения их надежды – взять свое силою оружия и европейского за них ходатайства.

Единовременно необходимо *локализировать политический вопрос о Польше в пределах Царства,* подрезав в наших западных губерниях и на Украине все корни полонизма и обеспечив преобладание русской и православной стихии над латино-польскою. С этою целью прекращаются обязательные отношения крестьян к помещикам и вводится обязательный выкуп; собственно в западном крае местная власть передана из польских рук в более надежные; предполагается улучшить хозяйственный быт православного духовенства и учредить народные школы. Прибавим, что школы должны быть непременно в ведении *православного духовенства, а не в чьем-либо другом;* что учреждение их должно иметь целью распространение *просвещения, православно-русского,* а не общей цивилизации, то есть не набора бессвязных, мертвых и бесхарактерных сведений; что иначе новые народные школы, подобно старым училищам, через год превратились бы неминуемо в передовые посты латино-польской пропаганды; что необходимо облегчить и поощрить восстановление древних православных братств; что мировые учреждения должны быть преобразованы во всех тех местностях, где окажется невозможным устранить из них польско-помещичий элемент; наконец, что ожидаемые земско-хозяйственные учреждения, если только состав их будет приспособлен к условиям западных губерний и Украины и если в

* Об этом предмете мы надеемся в скором времени представить читателям особые соображения. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

особенности несчастная мысль об устранении из них православного духовенства будет отвергнута, могут служить самым надежным орудием для обеспечения в местном обществе решительного перевеса русской стихии над польскою.

Когда законная сила окончательно подавит мятеж в Царстве Польском, в западных губерниях и на Украине, когда в присоединенных от Польши областях России народная сила станет на ноги и приобретет достаточные средства для самоохранения и саморазвития, *Польский политический вопрос будет в руках России.*

Мы должны непременно завоевать его снова, отбить его у других и взять в свои руки, каковы бы ни были наши дальнейшие виды относительно Царства. Само собою разумеется, что виды эти будут зависеть не от одной нашей воли, но и от совокупности многих обстоятельств. Это вопрос не настоящего, а будущего, и теперь можно только указать на те пути к разрешению политического вопроса о Царстве, которые откроются для России. Таковых путей может быть только два, не более: во-первых, нераздельное сочетание Польши с Россиею учреждением в первой – власти, в русских руках сосредоточенной и настолько сильной, чтоб убедить поляков в безнадежности всякого восстания; во-вторых, добровольное и полное отречение России от Польского Царства. Все промежуточные комбинации, как, например, политическая раздельность под скипетром одной династии или приближающаяся к полной раздельности административная автономия, осуждены опытом и в будущем не должны повторяться. Нераздельное сочетание может, разумеется, осуществиться в форме военной диктатуры и в другой, менее резкой, допускающей, в известных границах, участие народонаселения в делах местного управления. Выбор той или другой формы зависеть будет от внешних обстоятельств и от общего политического настроения края: но каково бы оно ни было, правительство должно удерживать за собою полную свободу действий и не связывать себя никакими обязательствами в применении той или другой системы внутреннего управления.

Другой исход, то есть отречение от Польского Царства, *сам по себе* не заключает ничего ни невозможного, ни безусловно противного интересам России. Мы высказываем в этом отношении убеждение наше прямо и откровенно и просим только понять, что мы говорим об этом исходе *вообще,* не в отношении к настоящей минуте и не к ближайшей будущности; что мы вовсе не рекомендуем его, а только считаем его, при известных благоприятных обстоятельствах, возможным; наконец, что, по мнению нашему, этот способ разрешения предполагает непременно соблюдение следующих условий:

Во-первых, отречение должно быть не только добровольно *по своему внутреннему побуждению,* но должно быть всею Европою признано за добровольное; следовательно, Россия может приступить к нему лишь в ту минуту, когда ее сила и политическое ее первенство будут явны и несомненны для всех.

Во-вторых, поднимая по собственной своей воле Польский вопрос во имя умиротворения Европы, то есть того самого начала, которое теперь обращено против нас, Россия должна неразрывно и наглухо связать свое отречение от Польского Царства с единовременным разрешением, в том же духе, вопросов об Италии и о подвластных Турции племенах славянских.

В-третьих, отступаясь от Царства, Россия должна отнестись к будущему его политическому устройству по возможности *отрицательно,* устранив лишь несомненно для нее самой невыгодные комбинации, но не принимая на себя обязанности гарантировать прочность, самостоятельность и целость новой Польской державы против покушений со стороны соседних.

Повторяем еще раз: мы отнюдь не утверждаем, чтоб такой исход был положительно возможен, но думаем, что никто также не назовет его ни безусловно невозможным, ни вредным для России. Во всяком случае, этот вопрос еще далеко впереди от нас. Довлеет дневи злоба его, то есть забота, теперь на нас лежащая; ее и так довольно. Но, к счастью, мы уж успели в ней оглядеться и уяснить себе, чего от нас требует наше время.

Как относится к нам римская церковь?

В домашнем быту хуже всего отношения невыясненные, клонящиеся к разрыву, но по наружности сохраняющие вид доверия и дружбы. Такие же отношения по временам устанавливаются между целыми обществами, церковными и государственными. В основе их обыкновенно лежит, с одной стороны, затаенное, но совершенно сознательное недоброжелательство, выжидающее благоприятной минуты и до тех пор принимающее вид заискивающей предупредительности; с другой, недостаток решимости сорвать маску и вызвать на объяснение. Отношения такого рода не только непрочны, они даже не совсем честны и, разумеется, всегда обращаются в ущерб невинному, то есть тому, кому таить про себя нечего, кто смотрит с недоумением в глаза другому, выжидая, что будет, и спрашивает самого себя: верить или не верить? Открытая борьба гораздо лучше, и потому, когда сами обстоятельства срывают маску и обличают ложь, непростительно бы было сокрушаться.

Тому назад лет пятнадцать или двадцать, прежде чем латинская пропаганда сосредоточила свои силы на славянских племенах, медленно выбивающихся из-под турецкого ига, будущность России сильно занимала римско-католическое духовенство. Земля обширная, непочатая, почти что нетронутая латинством, земля, не имевшая случая узнать его насквозь, как Западная Европа, и потому безоружная против его приемов; нечего сказать – добыча была завидная и довольно крупная. Забрать бы ее в свои руки, и там, вдали от обличительных воспоминаний, связанных с каждым уголком Европы, начать бы сызнова нечто вроде средневековой истории или хоть бы даже только привить к свежим племенам все те страсти, чувства и увлечения, которых уж никаким огнивом не высечешь от старых, перегоревших, все это переживших сердец. В са-

мом деле, какой будущности могла ожидать для себя латинская церковь в Западной Европе? Англия была утрачена давно и безвозвратно; три четверти Германии тоже. Франция? – Да разве Франция во что-нибудь верит, кроме как в самою себя? Франция давно покончила с религиею, она уж даже перестала кощунствовать, даже не отрицает Бога, а просто забыла про него. Правда, по счастливому и глубокому выражению гр. Местра* (который, произнося эти слова, сам не понимал, что он изрекал смертный приговор латинству), французы нашли средство остаться католиками, перестав быть христианами; но ведь от этого церкви было не легче. Точно, они остались католиками, иными словами, они сохранили притязание на *вселенскость;* но ведь они отнесли его к себе самим, к своему языку, к своей литературе, к своим учреждениям, к формам народного своего общежития. Затем – Испания и Португалия; те, действительно, не забывали латинства и оставались ему верны; да зато их самих забывала и мало-помалу обходила история. Наконец Италия! Но об Италии лучше было и не думать. Ведь это была *своя,* ближайшая соседка, с которою церковь издавна обращалась запросто: Римская курия показывалась перед нею не в праздничном, парадном облачении, а в домашнем, будничном, не очень привлекательном наряде. При таком тесном сожительстве все грязные захолустья, весь сор и хлам, вся подноготная латинства, Италиею высмотрены были насквозь, а от слишком близкого с ним знакомства – могло ли оно остаться в выигрыше?

Положение его у себя дома было незавидно. Оно пробовало обновиться и приспособиться к современности, вмешавшись в политические вопросы и прицепившись к партиям, попеременно властвовавшим. Отслужив правдою и неправдою службу абсолютизму, латинство вздумало полиберальничать. Мы, дескать, всегда обожали свободу и так только, по каким-то странным недоразумениям, прослыли заклятыми врагами

* Le monde sera sauve quand les Anglais deviendront catholiques et quand les Francais, qui sont catholiques, redeviendront chretiens[1]. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

всевозможных ее проявлений. Да, мы любим ее больше вас всех, нам мало ваших либеральных учреждений, а подавай нам разом все: и поголовную подачу голосов, и право учить всему, что только взбредет на ум. Да, если на то пошло, мы демократы, даже социалисты. Вот что! Мы готовы кадить ее разгулявшемуся величеству самодержавной парижской черни, и действительно кадили в 1848 году. Но все это шло не впрок. Заискивание латинского духовенства или, говоря современным русским языком, его *авансы* всеми принимались сухо и холодно. Что делать? Видно от *своих* ждать было нечего (слишком уж многое пришлось бы им перезабыть), и потому естественно, что подвернулась мысль, притом же вовсе не новая, а очень и очень старая, мысль, периодически оживающая, поискать на стороне людей новых.

И взялись за русских. Пощупали одного, другого... ничего! Русский в езде оказался хорош. (Большею частью, за границею, все такие попадались). В своей вере невежда когда-то вытвердил наизусть краткий катехизис и дальше не пошел, да и тот перезабыл. Уставов и преданий своей церкви не соблюдает, живет в ней, как чужой, и потому не любит, да и не может любить ее. С народною средою, из которой вышел, ничем не связан, кроме наследованного от дедов русского имени, которое ему не к лицу, да еще доходов, ежегодно в его пользу собираемых с православных мужиков. Заняться им, польстить ему – он растает и сделается рыхл, как тесто, и мягок, как воск. Словом, человек знакомый! Нетрудно было чем угодно наполнить эти пустые сосуды. Передался один, другой, третий, – да, может быть, еще какое-нибудь одинокое, разбитое, истерзанное сомнением или горем сердце предпочло духовное рабство исканию истины по тернистому пути и заживо себя схоронило в стенах какой-нибудь Бенедиктинской обители.

Эти неожиданно легкие успехи возбудили надежды: недаром говорят, что утопающий хватается за соломинку. Латинское духовенство стало внимательнее вглядываться в Россию и придумывать план кампании. Как же взяться за

дело, с чего начать, с какой стороны повести атаку? Решили вот что: «Русские с латинством соприкасались только в лице Польши. Польша под знаменем Римской церкви когда-то завоевывала Россию и чуть ведь было не завоевала. (Эх, время-то было! Ну, да что об этом, его не воротишь!) Русские, отбиваясь от поляков, возненавидели их и заодно возненавидели латинство. Вот главное препятствие к обращению русских. Нужно бы их разуверить, нужно бы их убедить, что «Польша сама по себе, а Римская церковь сама по себе». Разумеется, задача состояла не в том, чтобы обратить всю Россию или всех русских, а в том, чтобы склонить правительство русское хотя бы к союзу или только к сближению, а там что Бог даст. Не мешает, конечно, поодиночке ловить и русских, но главное – задобрить правительство. Ведь земля безгласна, конституции нет, как в других странах; нигде, ни в чем не высказано, чего не может сделать правительство; следовательно, оно может сделать все. Так аргументировали мудрые вожаки латинства и взялись за дело. Просачивалась ли эта мысль в дипломатических сношениях наших с Римским двором, этого, разумеется, мы не знаем. Не можем и предполагать, чтоб кто-нибудь и когда-нибудь решился отнестись с ней прямо к лицу правительства; но она существовала и была *задана* по крайней мере некоторым органам клерикальной партии как тема, которая разрабатывалась в журнальных статьях, брошюрах, речах и в частных беседах с русскими – на это есть доказательства.

«Мы не за поляков. Сохрани Бог! Напротив, мы к ним относимся строже, чем кто-либо. Мы не можем им простить одного: зачем они вас разлучили с нами? Зачем связали свое народное государственное дело с высоким и святым делом церкви? Зачем претворили мирное обращение, которое мы задумывали, в завоевание и насилие? Прежде чем они впутались в дело, мы дружелюбно с вами сносились. Ведь вы еще долго оставались в общении с нами после отпадения Восточной церкви; вы не скоро последовали примеру греков. Право, так! Все Польша, одна эта несчастная Польша, стала и вам,

и нам поперек дороги. Бог с нею, с Польшею! Теперь она вас озабочивает, и собственно латинство-то ее и составляет ту присущую ей силу, которая с вами борется. Так подадимте же друг другу руки, и тогда вам нечего опасаться Польши. Мало того, мы это говорим по секрету: с вами заодно мы так ублажим ее, что не будет о ней и помину». Таков был приступ к дальнейшему. Это была своего рода captatio benevolentiae, придуманная ad usum Russorum[2].

При строгой критике, можно бы было, разумеется, на все это построение кое-что возразить: между прочим, во-первых, что мы вовсе не ненавидим поляков; во-вторых, что латинства мы чуждаемся всеми нашими помыслами и чувствами совсем не потому, что поляки когда-то осаждали Псков и взяли Москву, а потому, что дух латинства противен нашей вере, нашим убеждениям и всему строю нашей духовной жизни; наконец, в-третьих, что русская земля признает своим государственным представителем самодержца не потому, чтобы она ничего не мыслила, не желала, не любила и чтобы все на свете было ей все равно, а потому, что ее государственный идеал заключает в себе представление власти, свободно вдохновляемой народною жизнью. Но всего этого служители латинства не знали и не могли знать.

Как бы то ни было, елейные их речи, обращенные к нам, по крайней мере озадачивали. Чего они хотят, в самом деле? Верить им или не верить? Эти вопросы естественно возникали, и нельзя же было разрешать их только на основании справок из прошлых веков. Ведь время тоже много значит и делает свое дело независимо от воли людской.

Действительно, время свое дело делает, и прежде всего оно обличает всякую ложь и неправду. Эту услугу оно и нам оказало. Из недавно прошедшего перенеситесь в настоящее.

Сцена совершенно изменилась. Польша волнуется. В костелах распевают что-то не похожее ни на ектеньи, ни на молебны. Дамы, по чьей-то команде, облекаются в траур. В городах слышатся дерзкие речи и встречаются дерзкие взгляды. Нация, о которой еще недавно один из ее поклонни-

ков некстати печатно возвестил, что она даст тысячи мучеников и ни одного убийцу, эта нация спешит уличить его во лжи и в каких-нибудь три месяца выставляет из своих рядов столько убийц и отравителей, что на долю ее хватит и за прошедшее, и на будущее. В глазах и с попущения той же нации, величающейся мягкостью своих нравов и рыцарским своим настроением, на улицах оскорбляют женщин, носящих русское имя, режут спящих солдат, а отбивающихся сжигают в наглухо запертых сараях. Давно уже мир не видал ничего подобного.

Бедная нация! Не тогда ты кончилась, когда израненный свалился с лошади и взят был в плен один из лучших твоих сынов; ты теперь кончаешься, и не от чужой, а от своей руки: чужие руки могли тебя изрубить, но ты одна могла запятнать себя...

Посмотрим, однако, что делает духовенство. Оно на виду. Из густого леса пробирается в деревню вооруженная шайка, или (опять-таки, говоря новейшим русским языком) *банда инсургентов.* Впереди всех едет ксендз. Не более как час тому назад, он, может быть, приносил на алтаре бескровную жертву. В одной его руке остался крест, а в другой... что бы вы думали? Уж не Петров ли меч, не символ ли духовный власти? Нет, этот меч, дававший некогда размахи на всю вселенную, давно уж выпал из одряхлевшей руки. Он сдан в арсенал, и, вместо меча, в руке служителя латинской церкви шестиствольный револьвер. Где не берет слово, там возьмет пуля и пробьет насквозь не поддающийся увещанию череп, будь он мужской или женский. Перед судом церкви ведь все равны.

Но зачем же, скажут нам, обобщать обвинения и сваливать на ответственность церкви преступление нескольких извергов? Действительно, не все, далеко не все, – желали бы мы убедиться, что лишь немногие в них причастны; но дело в том, что участие бывает различно. Вы приберегаете название убийцы для того, кто спустил курок; а как вы назовете того, кто разрешил убийство, того, кто попустил его, нако-

нец, того, кто отворачивает глаза от убийства и притворяется, что не видит его?

В самом деле, что делают лучшие люди? Что делает высшее духовенство и как относится оно к действиям своих подначальных? Вот что бы мы желали узнать; но, к удивлению, об этом-то мы ничего и не слышим. Никто, однако, не обвинит латинского духовенства в недостатке чуткости и не заподозрит его организации в отсутствии дисциплины. Мы знаем, что на всякое событие, даже на мелочное движение, в чем-либо его задевающее, оно немедленно отзывается ясно и внятно. Знаем, что слово его передается быстро, сверху донизу, по всем ступеням иерархии, и слово это раздается не даром, а исполняется в точности. Что ж значит в настоящем случае это упорное молчание? Ведь, кажется, есть в Варшаве архиепископ и местный представитель латинства. Недавно еще мы слышали, он занимал совет какими-то мерами об ограждении самостоятельности и свободы лиц. Сказал ли он хоть слово о том, что обращать богослужение в орудие для возбуждения политической страсти значит оскорблять и позорить святыню? Напомнил ли он, что своды церквей должны оглашаться словами любви и мира, а не рифмованными памфлетами и диким призывом к насилию? Подумал ли он о том, чтобы оградить хоть жизнь своей паствы от необузданного рвения подвластных ему пастырей? Неужели он ничего не видит и не замечает? Или в его глазах все, что творят теперь в Польше его разгулявшиеся ксендзы, не более как невинные шалости ad majorem gloriam Dei et sanctae Apostolicae sedis?

Но поднимитесь выше. Что желает глава латинства? Осажденный своими подданными в стенах своей столицы, из-за тройной ограды французских штыков, он перемигивается издали с какими-то темными людьми, тоже по-своему, не хуже польских ксендзов, служащими латинству в лесах Неаполитанского королевства, и в то же время, со вздохом обращая свой взор на Север, он умильно просит, чтобы заступились добрые люди *за угнетенную* в пределах России Римскую Церковь...

Итак, отношения выяснились. Настоящее бросило свет на прошедшее, теперь видит всякий, чего мы можем ожидать от латинства. Пусть же оно высказывается: мы будем прислушиваться и мотать себе на ус.

<Материалы о Польше>

История поляков до сих пор слыла поучительным примером сумасбродства и своеволия. Этому народу, так дерзко поплатившемуся за свои преступления и ошибки, суждено было испытать от историков особенного рода позорную казнь. Ему отвели место в науке как безобразному пугалу, к которому подводят посетителей с единственной целью – поразить их смертельным страхом и научить благословлять дисциплину, в какую бы цену она не обходилась.

Западные ученые, действительно, не могли извлечь иного смысла из продолжительных передряг, в которых истощились силы Польской нации. Они не могли понять, почему народ, так много занявший от Западной Европы, так неловко или неохотно пользовался полученным от неё достоянием; почему в то время, как другие народы, наследовавшие, осуществили на деле итог своих убеждений, поляки, по-видимому, разделявшие их, не давали им хода, противились им, препятствовали им, не уважали их.

Особенно же странно было им видеть, что полякам никогда не удавалось заключить своей национальной жизни в правлении государственной родины, в то время как у западных их соседей эта задача разрешалась если не легко, то, по крайней мере, последовательно и успешно. Весь этот пустяк объясняем преобладанием страсти над разумом, неограниченным своеволием, затемнившим в народном сознании понятие о собственности благой, отсутствием логики в жизни и тому подобное. Разрушительно с этой точки зрения – до-

пустить, что Польша призвана была идти по одному пути с народами западными, трудиться над одною с ними задачей, стремиться к одним уделам, – допустить, что в попытках польского народа придумать для себя конституцию в роде западных, выражалась здоровая, разумная сторона его жизни, что Польша знала, чего хотела, но не сумела исполнить, – с этой точки зрения нельзя было удержаться от страха приговора или улыбки природы.

Но странно, но непростительно, – хотя и очень объяснимо, – что мы подписали приговор западных историков и не умели извлечь из польской истории другого наставления. Утратив живое понимание, смысл собственного прошедшего, мы, конечно, не смогли узнать и оправдать в прошедшем единого нам племени, общие родные начала которого не чуять позволительно было немцам.

Мы не догадались, что по одной и той же причине, глубоко сокрытой в духе славянском, государственные функции никогда не могли осуществиться в Польше, и так легко, так без сопротивления, так полно осуществиться в России. Эта причина заключается в недоверчивости к условным формам, извне определяющим человека, в сознании ограниченности, всегдашней неправоты закона высшего и глубокая <вера> во спасительную силу свободного убеждения, сил нравственных и духовных. Россия, сохранившая до времени Петра неиспорченную чистоту своей народности, никогда не требовала от законов и учреждений того, что дает одна жизнь; она не простирала далеко свои надежды на государство, не ожидала от него разрешений своих вопросов, задач своего благоденствия, но признав его необходимым как высшее условие своего существования, со всею его условностью и ложью, допустившего его и без противодействия дала ему расти и развиваться. Не таково было положение Польши. При самом вступлении своем на поприще всемирной истории она имела несчастье подпасть под влияние более развитого, более образованного племени Германского; она совершила преступление против своей народности и против кровного родства

с другими славянскими племенами, отдав себя в услужение германской политике. Приняв от Запада и религию, и первые начала гражданственности, она полусознательно втянулась в его жизнь, усвоила себе его историю, стремления и цели. Таким образом, вопрос государственный, вопрос о праве, о возможностях отдельного человека и его отношении к обществу – заняли первое место в истории умственного её развития, но народная славянская стихия не могла вполне искорениться, хотя, отделенная, подавленная, она все еще жила и проявлялась; и вот отсюда брались те странные нелепости для немцев, требования, которые поляки перенесли в сферу государственного развития – отрицание всего условного, высшее уважение к человеческой свободе и ко всяким убеждениям мысли о единосогласии и тому подобное. Требования, действительно, неосуществимые в сфере условного, в пределах государства, нелепые, как скоро для них искали соразмерного выражения в формах, но сами по себе своевольные и высокие.

И вот причина всех беспорядков, всех неустройств, всех разногласий польских. Польша не могла отречься от полноты своих требований и зародившись вдруг в государство, искала формул для требований жизни, по существу своему не подлежащих определению в формах. Отсюда во всех ее стремлениях странные следы высокой правды и идеи. Не потому не удалось ей сложиться в сильное государство, что в ней недостает умения, как думают немцы, а потому, что слишком глубока и широка была ее славянская природа, что, может быть, <означает> невозможность для народа полного самоубийства. И потому не цели, к которым она стремилась, должны сочувствовать, но этому постоянному неудовольствию, этому ряду неудач, этой нелепости, присущей её истории. Как сказал бы немец, этому отсутствию всякой логики, мы сочувствуем как родные.

Польша приняла чужую роль – в этом ее преступление. Она разыграла ее дурно – в этом её оправдание.

<1863–1864>

Революционный консерватизм

Письмо Р. Фадееву по поводу его книги «Русское общество в настоящем и будущем (чем нам быть)»

Милостивый Государь, Ростислав Андреевич!

Я, конечно, ничем лучше не докажу Вам моего глубокого уважения к Вашему труду и моей признательности за присылку его как последовав Вашему приглашению и высказав Вам с полною откровенностью мои сомнения, скажу прямо – тот страх, от которого я не мог защититься по прочтении Вашей книги. Это Вас, конечно, не удивит: Вы сами не ожидали от меня единомыслия. Действительно, мы расходимся радикально почти во всем: в понимании нашего прошедшего, в оценке настоящего и, более всего, в представлениях о желательной будущности. То, в чем Вы видите наше спасение и ничем не заменимое условие нормального развития нашей общественности, пугает меня как программа исподволь подготовляемой *революции*, притом революции худшего свойства, вызванной каким-то, на мой взгляд, незаслуженным недоверием к обществу и к учреждениям, которыми оно наиболее дорожит.

Я позволил себе краткости ради употребить выражение резкое и в то же время довольно неопределенное, а потому требующее немедленного объяснения: конечно, ни Вы, ни я не считаем испорченной мостовой, оборванных блузников, растрепанных женщин и красных знамен существенными принадлежностями всякой революции и не отождествляем её не только с уличным бунтом, но даже с более широким понятием о беззаконном и насильственном посягательстве на существующий порядок вещей. Не переставая быть тем, что она есть в существе своем, она может исходить как сверху так и снизу и, в первом случае, оставаться в пределах формальной законности. По моим понятиям, революция есть не иное что как *рационализм в действии*, иначе: формально правильный

силлогизм, обращенный в стенобитное орудие против свободы живого быта. Первой посылкой служит всегда абсолютная догма, выведенная априорным путем из общих начал или полученная обратным путем – обобщением исторических явлений *известного рода*.

Вторая посылка заключает в себе подведение под эту догму данной действительности и приговор над последнею, изрекаемый исключительно с точки зрения первой – действительность не сходится с догматом и потому осуждается на смерть.

Заключение облекается в форму повеления, ВЫСОЧАЙШЕГО или нижайшего, исходящего из бельэтажных покоев или из подземелий общества и в случае сопротивления приводится в исполнение посредством винтовок и пушек или вил и топоров – это не изменяет сущности операции, предпринимаемой над обществом.

Откинув из Вашей книги все вводное (в том числе несколько очень верных мыслей, напоминающих учение отпетых Вами славянофилов, много метких наблюдений и счастливых слов) можно бы, нисколько не искажая основной мысли произвольным её расширением или стеснением, добраться до следующего силлогизма, составляющего как бы остов ее.

Первая посылка: степень живучести и устойчивости всякого общества зависит безусловно от толщины и цельности верхнего, культурного слоя, иначе: от силы сознательного консерватизма, сдерживающего бродящие под ним стихийные силы, всегда готовые прорваться сквозь всякую расселину и затопить поверхность.

Вторая посылка: у нас, в России, культурный охранительный слой не иное что, как дворянство – «другого нет». Но преобразованиями последнего тринадцатилетия (предоставлением крестьянам полного самоуправления, введением начала всесословности в земские и судебные учреждения и т.д.) дворянство как сословие было расшатано, искрошено и распущено в массе».

Заключение: для спасения русского общества от угрожающей ему анархии нужно прежде всего сплотить разби-

тое дворянство, поставив его во главе общества как сословие властное и наделить его новыми правами, соответствующими потребностям времени. Дойдя до этого заключения, Вы, вероятно, на минуту призадумались – пред Вами открылись два пути. Можно было для составления потребного капитала дворянских привилегий урезать кое-что от полноты правительственных прав; но Вы убедились, что это было бы несогласно с национальным характером и историческим призванием нашего единодержавия как понимает его Россия.

Можно было также сколотить этот капитал насчет других низших сословий, или попросту обобрать их, например: отняв у крестьян и передав дворянам выбор волостных начальников, лишив учащуюся молодежь недворянского происхождения права на казенные стипендии, устранив земские собрания в выборе мировых судей и т.д.

Этот путь был глаже, и Вы, естественно, предпочли его. Таким образом, из двух посылок и заключения сложилось нечто вполне законченное, пленяющее своею гармонической стройностью.

Ознакомившись с целым, всмотримся ближе в части и, следуя тому же логическому порядку, начнем с первой посылки.

На вопрос, прежде всего возникающий в уме читателя: откуда взялся и как сложился начертанный Вами образ общества вообще, стало быть, всякого общества, с твердым культурным слоем наверху, застроенным, засаженным и цветущим, и с растопленною, кипучею лавою внизу? – дает вполне удовлетворительный ответ Ваша вторая глава. Вы всматриваетесь в общества французское, английское, немецкое (в Швецию Вы, конечно, не заглядывали: тамошний общественный склад не только не дал бы материала для догмы, которую Вы вырабатывали, а напротив заставил бы усомниться в ее всеобщности); Вы изучали с особенным вниманием их прошедшее в минуты пережитых ими кризисов, когда составные элементы общества здоровые и больные, творческие и разрушительные, вызывались обстоятельствами на борьбы, исход

которых наглядным образом обнаруживал их относительную силу, и плодом Ваших наблюдений явилось представление о площади вулканической формации, местами цельной, местами треснувшей и угрожающей провалом. Итак, Вы просто вывезли из западноевропейского исторического музея готовую картину и перед тем, как повесить ее в Петербурге, Вы наклеили на нее два ярлыка. Под верхним, консервативным слоем Вы написали «дворянство», под нижним, стихийным – «простонародье» и для окончательного вразумления публики не упустили прибавить: «если на западе прочность государственного общественного устоя зависит вполне от крепкой связи культурного слоя, как, несомненно, доказывает новая история, то это непременное условие существует еще в большей мере для нас».

Здесь, прежде чем задавать себе вопрос о том, похожа ли выставленная Вами картина на нашу действительность, читатель, сколько-нибудь внимательный, непременно вспомнит только что пройденные им Ваши же прекрасные страницы, в которых Вы так ясно раскрыли главный источник «всех промахов нашего воспитательного периода сверху и снизу, вплоть до новейшего нигилизма». – «Наше образованное общество (говорите Вы) воспитывалось на иностранной жизни, то есть на иностранных литературах, и огулом почерпало из них не столько мысли как названия с подведенными под них заключениями, а потом, не задумываясь, применяло эти названия и заключения к своему домашнему быту, к явлениям русской жизни, имеющим совсем иное содержание. Эта переноска названий и готовых выводов на неподходящие к ним предметы спутала наши понятия до хаоса» и т.д.

Нельзя было охарактеризовать вернее употребленного Вами приема и произнести над Вашею книгою более строго приговора.

Особенно замечательно при этом то обстоятельство, что, обладая, как не многие, способностью отрешаться мысленно от определений и выводов, заносимых к нам со стороны, Вы пользуетесь ею *иногда* и на некоторые явления нашей действи-

тельности смотрите совершенно прямо, приберегая *для других*, притом всегда для одних и тех же, так сознательно отвергнутый Вами прием безоглядного применения готовых прозвищ и результатов чужого опыта. Приведенное выше место, в котором Вы предостерегаете нас от опасности, угрожающей западноевропейским обществам снизу, т.е. от стихийных сил, оканчивается словами: «мы не можем считать себя исключениями из рода человеческого».

Через несколько страниц мы, однако, узнаем, «что Россия представляет *единственный в истории* пример государства, в котором весь народ без изъятия, все сословия, не признают никакой самостоятельной общественной силы вне верховной власти; что с другой стороны *в одной лишь России* осуществилась верховная власть всесословная, несвязанная особыми личными отношениями ни с какою гражданскою группою, почему она внушает одинаковое доверие людям всех общественных подразделений; что в этом последнем отношении *мы составляем единственное исключение*; что *у нас одних* только мнение, раз вызревшее, никогда не оставалось без удовлетворения: что такого учреждения (как наша земская всесословная монархия) *не существовало еще нигде, кроме России; что в одной России* осуществилась *впервые* истинная народная монархия, народная в смысле всесословности верховной власти, одинаково беспристрастной и доброжелательной ко всем разрядам подданных, народная по отсутствию каких-либо насильственных форм, навязанных извне завоеванием» и т.д. Многократное повторение этой мысли в Вашей книге доказывает, что Вы особенно ею дорожите, и, конечно, не без основания. Практический вывод Вами указан: будучи сама небывалым в истории, единственным в своем роде явлением, верховная власть, сложившаяся у нас, имеет полное основание и от всех своих подданных ожидает исключительного к себе доверия. К такой власти не было бы причин относится подозрительно и применять к ней общепринятые в Западной Европе меры предосторожности, на которые тамошнее общество наведено было своим мест-

ным историческим опытом. Стало быть, в этом отношении мы не только можем, а непременно должны считать себя исключением. Далее мы узнаем, «что такого учреждения как наш культурный наследственный слой (то есть наше дворянство) также *не существовало еще нигде, кроме России*. Европе оно неизвестно, в своем роде *единственно*, дело *в истории новое*» и т.д. Особенность его заключается в том, что дворянство наше, во-первых, никогда не было общественной силой по себе, независимо от правительства – «а было всегда его орудием, принадлежащим ему в собственность, в буквальном смысле совокупность его людей»; во-вторых, будучи всегда открыто снизу и обновляясь постоянным притоком оттуда, оно тем самым застраховалось от всяких односторонних, исключительно сословных поползновений. Таковы исторические его права на полное доверие сверху и снизу – «против такого дворянства (заключаете Вы) трибуны не нужны». Итак, вот уже второе исключение из рода человеческого, которым нас благословила судьба.

Не оказалось ничего, исключительно нам свойственного, только в стихийной нашей силе, в русском простонародье. Вы так уверены в этом, что даже не сочли нужным всмотреться в его физиономию с тем вниманием, с каким Вы изучали наше единодержавие и наше дворянство. В применении к народу слово «стихия» употребляется Вами не как метафора, а как самое точное определение. Никто не предполагает разницы между углеродом XVI века и углеродом XIX, никто не спрашивает, чем отличается кислород немецкий от кислорода французского. Такова же по-Вашему и народная стихийная сила: она везде одинакова и всегда тождественна себе самой. Никаких идеалов в ней нет и быть не может, и поэтому, рассуждая строго последовательно, Вы не допускаете даже возможности такого явления в народной жизни, которое имело бы свой корень *в сознании* общих начал, составляющих внутреннее ее содержание. Это равносильно отрицанию в ней того, что называется духом. Привожу подлинные Ваши слова: «эти слои, представляющие собою почти допотопный

человеческий быт, даже в случайных произведениях своей силы движутся не собственными замыслами, а руководятся вожаками из исторически созревших верхушек – все равно: на парижских ли баррикадах, на французском ли или немецком всенародном голосовании, или в решениях русских гласных от крестьян на земских собраниях», а так как стихийная сила во Франции, Германии и Англии уличена в поползновениях прорваться через культурные слои и вообще всегда вела себя дурно, то – практические выводы угадать не трудно и мы с ними встретимся ниже.

Каким же, однако, чудом могла русская стихийная сила, ничем в существе своем не отличающаяся от такой же силы, французской и немецкой, ознаменовать себя в истории рядом явлений совершенно новых и в своем роде небывалых, каковы указанные Вами выше? – Положим даже (по-Вашему), что не она их создала; кто-нибудь помимо ее придумал и осуществил их; но все же она себе их усвоила, по крайней мере, она, и она одна, ужилась с ними или подчинилась им? На этом вопросе стоило бы приостановиться, но Вы благополучно пронеслись мимо.

Итак, мы имеем дело с тремя общественными факторами: верховною властью, дворянством и стихийною силою – вся книга Ваша посвящена исканию формулы исторически нормальной их комбинации. К последнему из этих факторов Вы, не задумываясь ни минуты, применяете готовые определения, и суждения, и приговоры, взятые из западноевропейского, преимущественно французского опыта, и строго воздерживаетесь от применения совершенно однородных результатов того же опыта к двум первым факторам по совершенной их исключительности. Это естественно приводит Вас к результатам, не особенно благоприятным для стихийной силы. От нее требуется, чтобы она, не смущаясь никакими долетающими до нее из другой среды общими наговорами на верховную власть и на дворянство, относилась к *своей* местной верховной власти и к *своему* местному дворянству с тем неограниченным доверием, на которое дает им право их исключительная, доселе

невиданная в истории безукоризненность, в то же время, прислушиваясь к того же рода наговорам на стихийную силу вообще, идущим из той же чуждой для нас среды. Вы пишете целую книгу для возбуждения недоверия к нашей стихийной силе и возводите его на степень политической догмы. Логическая произвольность Вашего приема разрешилась вопиющею несправедливостью.

Но если без вулканического элемента так уж обойтись нельзя и если Вы сочтете совершенно необходимым дать ему место в изображении нашего общества (хотя, признаюсь Вам, я в нем его не высматриваю), то я позволил бы себе обратиться к Вам с предложением, которое, на первый взгляд, может быть, покажется Вам несколько странным.

Попробуйте опрокинуть Вашу картину так, чтоб растопленная лава очутилась наверху, а твердый материк внизу. Тогда символическое ее значение, может быть, раскрылось бы перед зрителем без всяких комментариев. Публика увидала бы на поверхности общества образ силы, движущей во всех ее видах от разумного прогресса до революционного зуда, и узнала бы в ней дворянство или, пожалуй, культурную среду, а под нею – простонародье в образе силы, умеряющей движение, охраняющей равновесие и в крайних своих проявлениях переходящей в коснение. Само собой разумеется, что и в таком виде картина эта, как всякий символ, грешила односторонностью и, в известном смысле, была бы натяжкою. Она не могла бы служить полною характеристикою ни дворянства, ни народа, но это потому, что содержание общественной жизни нигде и никогда не исчерпывается комбинациею двух сил; по крайней мере, она дала бы, мне кажется, более верное понятие о взаимном их отношении в нашем обществе.

Призвание дворянства и его историческая роль, как Вы сами говорите, заключались в государственной службе.

Свойство ее естественно должно было определяться характером правительственной деятельности, а деятельность эта, со времен Петра направленная к достижению разными перекрестными влияниями, преобразовательных или, как Вы

их называете, воспитательных целей, никогда, как известно, не грешила чрезмерным уважением к историческим преданиям и не задумывалась слишком долго перед сложившимися фактами. Как покорное орудие, безоговорочно приспособлявшееся именно к такого рода деятельности, дворянство «обезличилось» – я повторяю Ваше слово: оно омывалось в купели западно-европейской культуры от всего национального закала. В этом, коли хотите, была своего рода заслуга, которой я нисколько не думаю умалять; но едва ли последовательно, выставляя ее ребром, в то же время выдавать наше дворянство за сословие по преимуществу «охранительное и проникнутое, не только государственными, но и общественными преданиями исторической России».

Никто бы, конечно, не затруднился ответить на вопрос: что создало и что приобрело культурное дворянство для России, но что же оно уберегло?

Вы признаете в русской жизни только два начала, «стоящие охранения», – Православие и всесословное державство, сосредоточенное в одном полновластном лице.

Обратимся же к ним. Вспомните, устаивало ли когда-нибудь наше догматическое и обрядовое предание, хотя бы в границах семейного, частного быта, при встрече его с латинством в тех общественных слоях и местностях, где к оберeганию чистоты Православия призывалась силою вещей не стихийная сила, а дворянская культурность?

Вспомните еще: не из высших ли наикультурнейших сфер исходили покушения, которым всегда без участия и ведома народа подвергалась именно всесословная цельность верховной власти, начиная от первого царя из дома Романовых (по свидетельству Кошихина), потом при Анне Иоанновне, до катастрофы 14 декабря; и не от того ли все попытки ограничить ее в пользу одного чина, одной группы или одного сословия были так редки, так несостоятельны, и наконец, навсегда прекратились, что культурная наша среда как в XVII, так и в XVIII веках более или менее ясно сознавала, а в наше время уразумела вполне, что стихийная сила никогда бы не допусти-

ла осуществления ее политических идеалов? В конце концов, не она ли, не эта ли заподозренная сила уберегла для России и то историческое понятие о земском (не сословном) державстве, в котором мы, культурные люди, так недавно начали опознавать существенное условие нормального прогресса без внутреннего раздвоения? Вспомните, наконец, сколько раз под влиянием понятий, взращенных культурным же слоем, в умах самих носителей верховной власти мутилось сознание ее национального призвания и образ земского царя вытеснялся наносным идеалом монарха-дворянина – roi et premier gentilhomme? Даже в книге Вашей не мелькают ли следы этого последнего представления там, где Вы заявляете право дворян на какое-то особенное к себе доверие, как к людям по отношению к власти *своим*, как будто забывая, что у нас для верховной власти нет и не должно быть людей не *своих*?

Проходя историю нашего дворянства для отыскания в ней какого-нибудь подвига свойства консервативного, я нахожу один – в прошлое царствование дворянская оппозиция три раза сдерживала преобразовательный почин покойного Императора в деле упразднения или ограничения крепостного права. Уж не в этом ли усмотрели Вы проявление того сосредоточенного мнения, которое, по Вашим наблюдениям, недавно еще у нас существовало, в теперь исчезло?

О крепостном праве Вы говорите вообще очень неохотно и слегка, умаляя его значение и уверяя даже, что оно было «*насильно* навязано помещикам», чего я, признаюсь Вам, даже не понимаю. Во всяком случае, дворянство, как видно, усвоило его себе глубже и оценило его выше многих других своих прав, как на пример, сословного выбора из своей среды начальников уездной полиции и председателей Судебных палат. За первое оно в свое время все-таки постояло, насколько это было возможно, а утраты последнего оно как будто и не заметило. Мне кажется, что государственное сословие, проникнутое духом политического консерватизма (которого Вы, конечно, не смешиваете с умением оберегать свои карманные интересы), поступило бы обратным порядком.

От общей темы или от первой Вашей посылки перехожу ко второй, и именно к диагностике нашей современной общественности. Так как Вы подводите ее под норму, заимствованную из чужой исторической среды, то нетрудно предусмотреть, что Вы осудите в ней не только слабость и неполноту практического осуществления начал, положенных в ее основание, но самые эти начала, самую сущность учреждений шестидесятых годов, в особенности самостоятельность крестьянского общественного управления и всесословный характер мирового суда и земских учреждений. Радикальная несостоятельность нашего общественного устройства представляется Вам настолько общепризнанною и бесспорною, что Вы не находите нужным тратить слова на серьезную критику, а отделываетесь указаниями на фельетонные статьи, двумя или тремя анекдотами и несколькими брошенными свысока насмешками – исключение в этом отношении составляет только глава VI, посвященная разбору военной организации.

Я позволю себе, однако, усомниться не только в справедливости, но даже, и прежде всего, в своевременности Вашего приговора. Всякое из опыта выведенное суждение о каком бы то ни было учреждении предполагает предварительное испытание его в продолжении достаточного срока и при нормальных условиях. Спрашивается, можно ли считать этот срок истекшим для сельских и волостных учреждений, введенных в действие двенадцать лет тому назад, для земских учреждений, постепенно открывавшихся с 1864 года, для мирового суда, созданного годом позже, и не рано ли теперь ставить вопрос о том, быть им или не быть? В отношении к другим учреждениям мы были не в пример терпеливее и воздержаннее в наших требованиях. Без малого сто лет ожидало правительство, что дворянские выборы дадут России сносную полицию и честный суд – они дали только неисчерпаемую тему нашей обличительной литературе от Капниста и фон-Визина до Гоголя и Щедрина. Вы сами, проектируя перестройку всей системы волостной, уездной и отчасти губернской организации, предупреждаете читателей, что ожидаемые от нее ре-

зультаты обнаружатся не ранее как лет через тридцать, когда народится другое поколение дворян, сложившееся при новых условиях в политическое сословие. Кажется, простая справедливость требовала бы по крайней мере на такой же срок воздержаться от окончательного приговора над «мужичьим самоуправлением», как Вы выражаетесь. Нельзя же не знать, что в настоящее время должности старост, старшин, судей и гласных от крестьян занимают люди сорока- и пятидесятилетние, сложившиеся умственно и нравственно под прессом крепостного права, люди, которых понятия и практика представляют достаточные данные для окончательного суждения разве только о просветительном и воспитательном влиянии вотчинных контор. Теперь принято указывать на так называемое полновластие «плутоватых писарей», как на какую-то язву, прирожденную «мужицкому» самоуправлению, и Вы не побрезгали этою истасканною темою: но вольно же не ведать, что в общественной среде безграмотной личность грамотная как единственная личность, владеющая ключом к писанному закону и способная сноситься с начальством, естественно и неизбежно приобретает над массою в делах известного рода решительный авторитет, который, однако, также неизбежно и естественно будет постепенно падать по мере распространения в той же массе умения читать и писать? Совершенно параллельное явление встречается иногда до сих пор на самой вершине культурного слоя, в фактическом порабощении государственных сановников, не привыкших в молодости к умственному труду, состоящим при них секретарям, читающим, пишущим и думающим за них. Между волостным сходом, молча ставящим кресты под приговором, который подсовывается ему «плутоватым писарем» и тем высокопоставленным сановником, который по выслушивании бумаги спрашивал у своего докладчика: «мы ли это пишем или к нам пишут?» – вся разница в том, что мужики чистосердечно называют себя людьми темными, до поры до времени нуждающимися в наемной помощи для узнания своих прав и своих обязанностей, тогда как чиновный барин считает себя

как будто кем-то обиженным и ропщет на деспотизм своего секретаря, не будучи даже в состоянии понять, что вся сила последнего заключается в собственной его умственной немощи. Крестьяне со временем, и притом скорее, чем мы думаем, станут на ноги; но очень сомнительно, чтобы чиновный барин, о котором идет речь, и легион ему подобных когда-нибудь вышли бы из-под опеки. Им остается одно утешение: поблагодарить Вас за те страницы Вашей книги, в которых они услышат отголосок своих бесплодных жалоб на всевластие бюрократов.

Вы затронули также вскользь и другую тему, на которой покойная газета «Весть» в свое время разыграла столько вариаций: сами де крестьяне донельзя тяготятся своим общественным управлением, жалуются на своих судей и предпочли бы помещичью расправу. Если бы так было действительно, то аргумент заслуживал бы полного внимания: но ведь, когда мы принимаем на себя роль истолкователей суждений, предпочтений и сочувствий народа, которого никто в массе не опрашивал и который сам не имеет никаких органов для заявления своих желаний, мы поневоле основываемся на своем личном опыте, всегда очень ограниченном, или на частных же наблюдениях других лиц. В подобных делах крайняя осторожность была бы уместна. Вы сами спрашиваете: «кто возьмется говорить от имени всего народа, даже одной губернии, даже одного уезда, а если возьмется, не будет ли такая речь явною ложью?» Действительно: подвести безошибочно итог под множество подслушанных, отрывочных суждений, которых никто не считал; отличить подсказанное или вызванное тоном опроса от неподдельного и свободного выражения мысли опрошенного; откинуть слова, естественно вырывающиеся под влиянием моментального впечатления и сохранить изречения, в которых кристаллизуется отстоявшийся многолетний опыт; уловить верно основной мотив нестройного гула и так сказать переложить на ноты народный говор – очень и очень нелегко. Не говоря уже о том, что для этого требуется со стороны истолкователя народного настро-

ения полное отсутствие всякой предвзятой темы и необыкновенно верный слух; все мы знаем, что по многим причинам и прежде всего благодаря давлению крепостного права, этого (по Вашим понятиям) «незначительного нароста, случайно вскочившего на поверхности русского общества» или (по моим понятиям) этой отравы, испортившей надолго все его соки – стихийный слой стал к культурному слою в отношения, до крайности затрудняющие откровенные между ними объяснения. Отвечая на вопрос, предлагаемый ему человеком из другой среды, крестьянин прежде всего старается угадать ту затаенную цель (она всегда предполагается), с которою его опрашивают, и уяснить себе заранее, какие последствия может иметь для него тот или другой ответ. В результате перебора разных догадок оказывается обыкновенно, что во всяком случае безопаснее нажаловаться на свое положение, чем признать себя довольным, по тем же соображениям, по которым лучше прикинуться бедняком, чем обнаружить свою состоятельность. Это тем удобнее, что в причинах быть недовольным действительностью нет недостатка. Крестьянину не дает покоя податный груз, лежащий на его плечах; он ощущает его каждую минуту своего бытия – это главный повод к жалобам; но, выражая их, он почти никогда строго не различает причин и не уясняет сам себе, от чего и от кого происходит и из чего слагается ощущаемая им тягота. Наконец, эти сетования крестьян на теперешнее их положение вообще имели бы прямое отношение к занимающему нас вопросу только в том случае, если б они вытекали из сравнения существующего порядка вещей с прежним и заключали в себе хоть какой-нибудь признак предпочтения последнего или чего-нибудь на него похожего. Я позволю себе думать противное и, если б это было возможно, предложил бы выбрать для опыта любое селение, наименее знакомое с произволом помещичьей власти и наиболее натерпевшееся от неурядиц общественного самоуправления. Пусть бы в таком селении дали предварительно мирскому сходу полную свободу вдоволь нажаловаться на выборных старост, старшин и судей, и затем предложили

бы ему на выбор: остаться при теперешнем порядке или подчиниться расправе помещика, хотя бы и переименованного в попечительство, притом не помещика, излюбленного самим обществом, а *местного* помещика, кто бы он ни был, или помещика, избранного в попечители дворянством; и я думаю, что, за исключением, может быть, какого-нибудь приказчика, старосты или нарядчика былого времени, в ответ на такой вопрос раздался бы дружный хохот. Это, конечно, мое личное убеждение, вывод из частных моих наблюдений, которого я никому не навязываю и о котором даже не стал бы упоминать по поводу Вашей книги, если бы в ней же я не находил ему косвенного подтверждения, в моих глазах далеко не лишенного важности. Вы выдаете за несомненный факт, «что мужичье управление становится для самого народа нестерпимым, что крестьяне в своего брата, то есть в выборных из своей среды, не верят и полагаются больше на правду *господ*, считая господином не какого-либо забредшего на их сторону студента или либерального чиновника, а своего местного, коренного помещика». Это повторяется более шести раз. Стало быть, думает читатель, Ваша программа (установление вотчинного попечительства и передача всего земского управления в руки дворянства) совпала бы черту в черту со стремлениями и желаниями народа. Между тем, несколькими страницами далее Вы оканчиваете проект перекройки нашего земства словами: «с сохранением земских собраний, хотя бы в несколько измененном составе, переход к новому виду самоуправления совершился бы легко *и был бы мало заметен для народа, что также важно*», и наконец, общему перечню всех предлагаемых Вами мер, Вы предпосылаете такую же рекомендацию: «перевод из нынешней русской бесформенности в благонадежный общественный организм может быть осуществлен несколькими *мало заметными для нашего народа и Европы дополнениями к действующим постановлениям*». Я не спрашиваю, в какой мере это действительно возможно; не спрашиваю также, сообразно ли с достоинством правительства путем заметных дополнений и пояснений, вы-

скабливать из свода законов торжественно оглашенные права – прошлое царствование такого приема не знало; сколько мне известно, он испытан был в первый раз при безгласной отмене в Лифляндии предбрачных обязательств, и этот первый опыт едва ли мог поощрить к дальнейшим; но, повторяю, вопрос покуда не в этом.

Двукратно выраженный Вами совет, которому, как видно, приписывается особенная важность, останавливает на себе внимание еще по другой причине. Дожив до одной из тех счастливейших и редких минут, когда верховной власти давалась бы в руки возможность поднять высоко одно сословие, не только не оскорбляя других и не требуя от них никаких жертв, а напротив, исполняя тем самым заветные желания всего народа, с чего бы стало правительство прятаться от взоров России и Европы, стыдливо прикрывать свои намерения и как будто уклоняться от всеобщей признательности? В подобных случаях обыкновенно палят из пушек и бьют во все колокола. Наоборот, если действительно считается нужным и особенно важным осуществить замышляемое преобразование без огласки и незаметно, то не высказывается ли тем самым невольное признание неправды приписываемых народу желаний и решительного противоречия между задуманными мерами и его действительными стремлениями?

Ваше осуждение мужицкого самоуправления содержит в себе еще один намек, которого я не могу пропустить. Вы говорите: «одновременно с освобождением крепостных руками их же помещиков *были приняты меры для ограждения освобожденного народа от прямого влияния последних*, вследствие чего и руководство безграмотного народа во всех отношениях с отстранением *официального культурного класса* стало переходить в руки одной бюрократии», и в другом месте: «хотя самый трудный шаг в этом деле (??) личное освобождение – был совершен самим дворянством, местными помещиками, но тем не менее понятно, что в те годы считалось более удобным *разъединять сословия*, чтоб окончательно упрочить самостоятельный быт освобожденных. Эта мера: *разъединение сосло-*

вий и между собою и самих в себе (!) установилось надолго и обратилось в руководящее начало» и т.д.

Стало быть, разъединение сословий, социальный антагонизм и т.д. – все это было даже не непредусмотренным последствием невольного законодательного промаха, а *целью*, сознательно поставленною теми полунигилистами (как Вы их называете), в руки которых попала подготовка крестьянского положения. Здесь критика дела переходит уже в критику намерений. Признаюсь, в первую минуту этот полемический прием меня несколько удивил. Не потому, чтоб он был нов, а потому, напротив, что он истаскан и даже несколько опозорен, я не думал, что встречусь с ним в Вашей книге; казалось, что легко бы было и обойтись без него при обилии припасенного Вами иного рода оружия и при Вашем умении владеть им, но, как видно, авторская свобода в выборе средств не безусловна и в известной мере ограничивается самим существом защищаемого дела. Как бы то ни было свойство обвинения, пущенного Вами в людей теперь уже частью умерших, частью стоящих в стороне от всякой официальной деятельности, требовало бы, кажется, предъявления каких-нибудь доказательств, улик или, по крайней мере, справок. Вы рассудили иначе, рассчитывая, вероятно, что большинство читателей поверит на слово. Действительно, в наше время все как-то неимоверно быстро изглаживается из людской памяти. То, что происходит на виду у всех, о чем спорила, что читала и комментировала вся грамотная Россия пятнадцать лет тому назад, теперь уже настолько позабыто, что нет такой небылицы, такой напраслины и такого поклепа на опальные годы и опальных людей, которых бы нельзя было пустить в оборот с надеждою, что они по крайней мере благополучно сойдут с рук, не вызвав ни негодования, ни протестов.

Позвольте мне, однако, сделать Вам одно предложение: не угодно ли Вам будет во втором вероятном и очень желательном издании Вашей книги или теперь же, не выжидая второго издания, указать те места в докладах бывшей редакционной комиссии или в проекте ее, или в объяснительной к нему за-

писке, или в разборе возражений губернских депутатов, или те статьи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного положения 19 февраля 1861 года, или те пояснительные к нему циркуляры, вышедшие до перемены фронта в общем направлении крестьянского дела, в которых хотя бы косвенно обнаружилось *намерение* оградить освобожденный народ от прямого влияния помещиков и разъединить оба сословия. Со своей стороны, я охотно принимаю на себя обязательство ответить на Ваши указания печатно и доказать, что нет не только причины, но даже благовидного предлога приписывать такое намерение или желание кому-либо из деятелей конца пятидесятых и начала шестидесятых годов, сотрудничеством которых в то время пользовалось правительство.

Теперь же ввиду всеобщей забывчивости я ограничусь короткою справкою с единственной целью напомнить в немногих словах историю общественного мнения по занимающему нас вопросу. Все, следившие за нею сколько-нибудь внимательно, могли заметить в ней два периода, отличавшиеся один от другого более или менее резко, смотря по местностям. Первый, начавшийся с обнародования ВЫСОЧАЙШИХ рескриптов и с открытия губернских комитетов, продолжался до тех пор, пока большинство помещиков где раньше, а где позднее, окончательно убедилось в бесповоротности сделанного правительством и ими самими шага, то есть в совершенной невозможности, как в былые времена, затормозить дело, не доведя его до конца.

Программа большинства в этом периоде могла бы быть выражена в следующих словах: пожертвовать с первого слова правом на личность (о котором не было почти и споров, так как это была *самая легкая* сторона вопроса), продлить обязательные отношения крестьян к помещикам; отвести надел, возможно, скудный и на возможно ограниченный срок; растянуть елико возможно срок обязательной барщины, по крайней мере, вспомогательной (сгонные дни); наконец, сохранить в возможно широких пределах помещичью расправу и вотчинную юрисдикцию над крестьянами. Последнее требование обусловливалось пер-

выми; оно имело значение и цену не само по себе, не в смысле политического права, а как средство, как гарантия помещичьих имущественных интересов при обязательных отношениях и особенно при издельной повинности; оттого им дорожили гораздо менее в местностях издревле оброчных. В этом духе составлена была большая часть проектов, представленных большинством губернских комитетов (известно, что каждой группе разрешалось представить свой проект и что обыкновенно их поступало из губернии два, а иногда и более). Но как только для всех стало ясно, что дело на сей раз не окончится на словах, а непременно перейдет в жизнь, дворянская программа изменилась. Не было, конечно, формальных отречений от прежних условий; но они отошли далеко на задний план, отчасти даже были брошены сознательно, и вместо них сказалось новое, громкое требование, обращенное к правительству: дайте нам скорее возможность развязаться с крестьянами начистоту.

Быстрота, с которою произошла эта перемена фронта в рядах помещиков, составляет самую характерную черту крестьянской реформы у нас в России, в отличие от параллельных реформ в разных частях Германии и на нашей Балтийской окраине. Объяснение этой особенности лежит глубоко в народном русском темпераменте, отчасти в прирожденной нам смелости духа и сравнительно большей готовности на жертвы всякого рода для достижения высоких целей; отчасти же (этого также отрицать нельзя) в нерасположении нашем к законному сутяжничеству и к той кропотливой, настойчивой и ежечасной борьбе с препятствиями, в которой наши остзейские сограждане не имеют себе равных. Как бы то ни было, поворот оказался так неожидан и крут, что правительство стало в тупик. Незадолго перед тем оно приходило в раздражение при малейшем намеке на возможность выкупа, а тут ему пришлось почти со дня на день отложить свое предубеждение и уступить давлению общественного мнения. Можно сказать, что положение о выкупе было исторгнуто у него дворянством. Под развязкою начистоту разумелось, прежде всего, прекращение повинностей; но так как и прежде помещики держались

за вотчинную полицию главнейшим образом как за средство обеспечить свои законные доходы, то с открытием выхода из обязательных отношений в области хозяйственных интересов естественно должно было измениться и прежнее воззрение на вопрос о сельской администрации. В книге Вашей раз десять повторяется, что дворянство «*пользовалось доверием народа, вело его за собою*» и что это водительство было у него отнято заговором бюрократов, столкнувшихся со славянофилами и с нигилистами. Позвольте Вам сказать, что Вы ошибаетесь. В то время, когда разрешался крестьянский вопрос, все стояли к правде лицом к лицу и тешить себя подобного рода фикциями положительно было некогда: всем, как сторонникам, так и противникам реформы, было хорошо известно, что ожидания крестьян шли очень далеко, что новое положение ни в каком случае не могло удовлетворить их; что в минуту его обнародования наступит критический момент; что если народ увидит в новом законе произведение «своей же собственной организованной нравственной и умственной силы», как Вы называете дворянство, то разочарование его должно было принять опасную форму и что, наоборот, можно было надеяться на мирный исход дела в том лишь случае, если этот закон будет принят массою как непосредственное выражение личной мысли и воли Царя, помимо всяких дворянских внушений. Повторяю: никому не могло придти на ум уверять себя и других, будто бы дворянство, не только в то время, но и прежде когда-нибудь располагало доверием народа и вело его за собою – минута была слишком серьезна. После долгих совещаний и по зрелом обсуждении выработался следующий план: поставить крестьян перед лицом правительства и людей, от него назначенных, действующих его именем, по уполномочию от него, хотя и взятых из местной дворянской среды*: разграничить

* В первоначальном проекте редакционных комиссий предполагалось, придерживаясь того понятия, которое выражается в самом названии Посредника, предоставить выбор мировых посредников крестьянам, но непременно из местных помещиков. В то время трудно было предусмотреть, что крестьяне на первых порах отнесутся к положению вообще недоверчиво и пассивно и что, отказавшись от участия в выборах, они тем самым могли бы

сельское и волостное общественное управление с вотчинным и тем предупредить всякие между ними столкновения в области администрации и суда; в то же время в области хозяйственных интересов открыть широкий простор всякого рода соглашениям, возможным лишь при обоюдной независимости договаривающихся сторон, а вне круга этих интересов не только *не ограждать* крестьян от влияния помещиков, а, напротив, вызвать, облегчить и узаконить его, представив последним право третейского суда, право ходатайства и заступничества за крестьян, право попечительства и т.д.

Я утверждаю, во-первых, что эти главные основания были выдержаны в положении в той мере, в какой это было возможно; во-вторых, что они вызвали со стороны настоящих помещиков, то есть людей, лично управляющих своими имениями и по опыту знакомых с практикою сельского быта, гораздо менее возражений чем все остальные части положения; в-третьих, что систематически враждебно отнеслась к ним только небольшая группа петербургских квазиконсерваторов в государственном совете и вне его, группа, в ту страдную пору осторожно державшаяся в стороне, не принимавшая на свою ответственность никаких точно формулированных и практически осуществимых предположений и всплывшая на поверхность для спасения России гораздо позднее, когда все трудности исполнения были благополучно побеждены без ее участия. Ту же самую роль разыграла она и перед лицом Польского мятежа.

В ожидании доказательств противного перехожу к земским учреждениям. Вы к ним относитесь еще беспощаднее, чем к «мужицкому управлению». С голоса какого-то большинства, каких-то опытных и знающих людей, Вы признаете их без дальних справок мертворожденными. С самого начала дело не пошло. Всем и все стало даже хуже и дороже прежне-

затормозить исполнительную операцию. Это была важная ошибка, в пору исправленная государственным советом. Я считаю себя тем более вправе заявить это, что я лично, едва ли не настойчивее прочих членов комиссии, защищал (против мнения покойного Н. А. Милютина) первоначальное предположение *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

го: дороги, мосты, больницы и т.д. эта позорная для нашего общества неудача объясняется, конечно, всесословным характером земских учреждений, то есть в сущности допущением в их состав гласных от крестьян или «*из батраков*», как Вы для большего эффекта их называете, хотя Вам не безызвестно, что батраки в гласные не выбирают и не выбираются. Чужим опытом дознано, что на парижских баррикадах и на немецких избирательных митингах стихийная сила служила чужой мысли и творила чужую волю; стало быть, рассуждаете Вы, и наши гласные от крестьян делают то же на земских собраниях, то есть «голосуют бессознательно». Попав в такую кампанию, дворянство обиделось и устранилось от дела.

Вся беда произошла оттого, что правительство не устояло против общественного поветрия, господствовавшего у нас после Крымской войны, «и подчинилось сборному голосу всех оттенков, от славянофилов до нигилистов, требовавшему в то время всесословности» этой – как Вы ее называете: «вопиющей, сочиненной и опасной лжи против русской действительности».

Здесь я должен начать с исторической справки. Мне кажется, что выделенная Вами генеалогия всесословности от общественного настроения пятидесятых и шестидесятых годов и от нигилизма в особенности не совсем верна. Еще в московском периоде в XVI и XVII веках у нас выработалась, и уж, конечно, не по какому-либо готовому образцу, не путем подражания, а от собственного корня, самородная форма государственного представительства всей Русской земли, так называемые земские думы или земские соборы, иногда созывавшиеся царями на совет, а иногда, в эпохи междуцарствий, собиравшиеся для восстановления верховной власти. Вы сами на них указываете, но Вы прибавляете, «что верховная власть относилась к народу в лице его выработанных слоев», из чего можно заключить, что простой народ участвовал на соборах как бы подразумевательно, а не самолично. Я не знаю, на чем основано это мнение. Сколько мне известно, в состав земского собора входили целиком

как готовые учреждения, собор церковный и боярская Дума, а около них собирались выборные от всех чинов и состояний без исключения, в том числе и от самых, по Вашей терминологии, невыработанных слоев, т.е. от черных людей. Это был чистейший тип собрания всесословного в полном смысле слова. Прибавлю, что по духу нашей истории никакое иное, ни одно- ни многосословное собрание не могло бы прослыть за представительство всей земли. Вглядываясь без предвзятой мысли в это знаменательное явление, нетрудно высмотреть тесную органическую связь его с историческим характером русской верховной власти, которая (повторяю Ваши слова): «сама выросла на всесословной почве и не видела противников, а потому и не нуждалась никогда в союзниках внутри государства». Такая в своем роде, действительно, единственная в мире власть, призывая всю землю на совет, не могла никого обходить: она изменила бы своей собственной природе и отреклась бы от своего исторического призвания, если б она признала за одним сословием право загородить собою простонародье, подавать за него голос и так сказать перервать его непосредственное прямое тяготение к Самодержцу. «Всякий народ, – говорите Вы, – отражается в своей верховной власти». – Принимая безусловно этот верный и удачно выраженный афоризм, я прибавляю: и наоборот – власть отражается в народе, вследствие чего верховная власть, *всесословная* естественно, могла признать за представительство народа только собрание *всесословное*. Так было на Руси до тех пор, пока наши предки жили своим умом и руководились собственным опытом. Позднее, в конце XVIII века, когда правительство в первый раз приступило серьезно к приведению в порядок внутреннего хаоса, произведенного Петровскою революциею, начало всесословности выступило опять довольно ярко. Все сословия должны судиться, если не исключительно равными, то при участии выборных из своей среды, а в делах общего местного интереса – предоставленных ведению общества, все чины и состояния должны иметь голос – эти две мысли легли в основание екатерининских

учреждений. Первая побудила ввести заседателей от однодворцев, черносошцев и государственных крестьян в нижний земский и в совестный суды рядом с исправником и с заседателями от дворянства, и заседателей от купечества и мещанства в губернский магистрат, словесный суд, управу благочиния и т.д. Вторая нашла полное и стройное осуществление в Городовом положении, в общей и шестигласной думах от всех шести городских сословий с выборной головою.

Вы утверждаете, что выборное начало, введенное Екатериною II, было «лишь либеральной формальностью и не пошло впрок: выборные от мещан топили печи в присутствии, а выборные от крестьян мели двор». Действительно, при господствовавшей у нас до последнего времени системе формального суда и исключительно письменного делопроизводства во всех коронных местах в них не могло быть для людей, большею частью безграмотных, настоящего дела; но ведь Императрица Екатерина II строила свои учреждения не на один день: она имела привычку заглядывать довольно далеко вперед и на своих заседателей от крестьян и мещан смотрела, вероятно, такими же глазами, какими Вы смотрите теперь на отношения культурного слоя к народу и на окончательное их сочетание, то есть: «не в настоящем, не через туман переходного состояния, *а в ожидании*» лучшего в будущем. Во всяком случае, важен сам по себе поставленный ею принцип всесословности в общественном представительстве, важен особенно потому, что в этом отношении Западная Европа (за исключением Швеции, с которою мы в то время перестали уже справляться), кажется, не давала готовых образцов. Прибавлю, что изданное в прошлое царствование городовое положение для Петербурга было не нововведением, а простым обновлением Екатерининского, отчасти выродившегося учреждения, и восстановлением именно всесословного его характера, который в течение времени на практике сгладился. Из этого следует, во-первых, что всесословность ведет свое начало не от нигилизма и «призрачных идеалов шестидесятых годов», а родилась гораздо раньше и от другого

корня, ибо, сколько известно, ни Императрицы Екатерины II, ни Императора Николая I никто до сих пор не заподазривал в нигилизме; следует, во-вторых, что в шестидесятых годах не было повода «сочинять», а оставалось только признать всесословность как одну из немногих твердо и издавна установившихся у нас законодательных традиций. Тип для земских учреждений по отношению к их составу из собрания гласных от всех сословий, заинтересованных в земском деле, и из распорядительной инстанции, избираемой этим собранием, дан был Николаевским учреждением городской общей и распорядительной Думы 1846 года; при проектировании и обсуждении положения о земских учреждениях вопрос о допущении или недопущении в них выборных из крестьян, кажется, даже и не возникал. Он считался в существе давно разрешенным, а если бы кто-нибудь в то время вздумал возбудить его, то вот в каком виде пришлось бы его формулировать: не следует теперь, то есть после и по поводу упразднения крепостного права со всеми его последствиями, лишить крестьян того самостоятельного голоса в делах общего интереса, который в принципе был за ними признан еще в то время, когда крепостное право давало тон всему управлению и когда даже крестьяне казенного ведомства считались крепостными правительства? Вся вина деятелей шестидесятых годов сводится окончательно к тому, что на этот вопрос, если б он был в то время представлен, они без всякого сомнения ответили бы отрицательно. Смею думать, что в этой вине своей ни один из них не покаялся бы и в настоящее время, несмотря на изменившееся настроение в высших кругах.

Посмотрим теперь на практику. Перебирая те места Вашей книги, в которых Вы так решительно утверждаете, что темная толпа (то есть гласные от крестьян в земских собраниях) «подает голос бессознательно, по произволу своего инстинкта, а не по разуму, который в ней не зреет, решает дела на три четверти ей недоступные и увлекается случайными течениями, перебрасывающими ее со дня на день в противоположные стороны» и т.д., я невольно припоминал один слу-

чай из собственной моей земской практики, который позволю себе передать Вам для дальнейших соображений. На одном из первых земских собраний Самарского уезда (втором или третьем) подлежали разрешению, между прочим, два вопроса первостепенной важности: об основаниях поземельного обложения и о переложении земских натуральных повинностей на деньги. Явились к назначенному сроку и посещали собрание: дворян-помещиков с включением председателя – 5 вместо 29, чиновников от ведомств удельного и государственных имуществ – 2, купцов от города – 3 вместо 9, священник – 1, колонист – 1, крестьян – 18 вместо 21. По принятой Вами терминологии, представители стихийной силы к представителям культурности (причисляя к последним и колониста и горожан) относились как 1 : 2/3. управа состояла из двух помещиков, одного чиновника и одного крестьянина, бывшего удельного волостного писаря, первенствовавшего в управе по своим способностям и по своей деятельности. Из этого собрания по большинству избирательных голосов вышла приготовительная комиссия, в которую вошли 2 помещика, 2 чиновника и 6 крестьян. Для ясного уразумения комбинации тамошних местных интересов остается прибавить, что в большей части Самарского уезда бывшие крепостные крестьяне владеют одною, полученною ими в дар усадебною оседлостью, так называемым сиротским наделом, следовательно, сравнительно с другими местностями менее заинтересованы в правильности и умеренности обложения земли. Упомянутая комиссия, конечно, не без труда и не без продолжительных прений выработала основания обложения недвижимых имуществ вообще: земли с разделением всего уезда на полосы, мельниц и других оброчных статей; собрание приняло ее проект, и хотя с тех пор на последующих съездах относительное наличие членов по сословиям изменялось, и большинство иногда переходило на сторону помещиков, принятые в то время основания не возбуждали протестов и оставались в существе не тронутыми. На сей раз «разрушительная и ветреная стихийность», как видно, отнеслась к делу

серьезнее, чем «консервативная и солидная культурность», и в то же время первая не употребила во зло решительного перевеса, который она получила благодаря беспечности последней. Тому же съезду предстояло разрешить следующее довольно оригинальное предложение, сделанное в предыдущем собрании: независимо от установления общего всесословного сбора взамен натуральных земских повинностей со дня их переложения на деньги вознаградить податные сословия за все истекшее время, в продолжении которого они одни отбывали их за весь уезд. Автором этого предложения был дворянин-помещик и, признаюсь, я ожидал результатов голосования не без некоторого беспокойства. Но дело не дошло даже до прений; предложение было отвергнуто единогласно, и ни один крестьянин в пользу его не вымолвил слова. Давши этот урок культурности, стихийная сила разъехалась по домам. На парижских баррикадах дела, кажется, обходятся не совсем так.

Я привел этот частный случай только потому, что он не имеет в себе ничего исключительного и совершенно подходит под общий вывод из всех моих наблюдений над участием гласных от крепостных в ходе земского дела. При самом открытии земских учреждений крестьяне вошли в их состав с точно определенною и, сколько мне известно, почти повсеместно одинаковою программою, заключавшею в себе два требования: установить общий денежный сбор для замены наймом натуральных земских повинностей или для выдачи вознаграждения за их отбывание и привлечь все земли, кому бы они ни принадлежали, к равномерному обложению. На первых съездах пока обсуждались эти вопросы, имевшие для них первостепенную важность, гласные от крестьян являлись в значительном числе, иногда даже в полном комплекте. Оба требования, как известно, не встретили нигде принципиального сопротивления со стороны привилегированных сословий и были повсеместно удовлетворены в меру возможности и крайнего разумения. С тех пор крестьяне как будто успокоились и стали показываться на земских съездах, особенно гу-

бернских, сравнительно с первыми годами в меньшем числе. В настоящее время их занимают более всего вопросы о размножении сельских школ, на которые они вообще не скупятся, о способе оценки строений для взаимного страхования и о направлении дорог. Немногие гласные от крестьян, постоянно приезжающие на губернские съезды, посещают собрания вообще исправно, редко пропуская заседания, говорят мало, никогда не напрашиваются на занятия, им непосильные, но слушают внимательно и очень верно отличают дело от либеральной болтовни и консервативного пустословия. К тому и другому они относятся одинаково равнодушно.

Такого случая, в котором бы их участие оказалось вредным и помешало осуществлению полезного дела, я положительно не знаю; но могу заявить, что сами они извлекли из последовательного посещения собраний двоякую пользу: во-первых, оно сблизило их с людьми культурного слоя и заметно стало пересиливать в них старое, взращенное крепостным правом, предубеждение мужиков против господ; во-вторых, оно поставило их лицом к лицу с разного рода трудностями и невозможностями, встречаемыми на пути ко многим желанным улучшениям и заключающимися в самом существе дела, а не в недостатке доброй воли со стороны орудующих ими, как могло казаться прежде людям, не отдававшим себе ясного отчета в причинах отсрочки или устранения их справедливых ожиданий. Таково вообще воспитательное влияние земских учреждений, которым, на мой взгляд, пренебрегать нельзя, на гласных от крестьян, а через них на все простонародье. Независимо от этого, их участие приносит самому делу прямую пользу, очевидную для всякого наблюдателя, способного отрешиться от готовых представлений и привести свои требования в разумную меру.

Предложения, идущие от крестьян, свидетельствуют подчас о незнании законов и об ограниченности кругозора, но они всегда имеют свою цену как правдивые заявления действительно ощущаемых потребностей и в этом смысле служат важными указаниями, на которые можно смело по-

лагаться. Их возражения на меры, обсуждаемые в собраниях, очень часто происходят от недоразумений, которые легко устраняются, но зато нередко служат к обнаружению таких сторон и обстоятельств, которые без этого положительно не обращали бы на себя внимания, а на практике при первом приступе к исполнению тормозили бы все дело или давали бы ему фальшивое направление. Имея дело преимущественно с народом, земские деятели хорошо понимают необходимость соображать свои распоряжения, даже свой язык с его понятиями, обычаями и потребностями, а возможность такой предварительной поверки, избавляющей от многих и многих промахов, дается в лице присутствующих в собраниях гласных из среды крестьян. Наконец, никто, вероятно, не станет оспаривать, что земским учреждениям потому только и удалось в короткое время собрать значительные средства на предметы необязательных расходов, никогда и нигде не встречая систематической оппозиции, даже не возбуждая ропота в среде податных классов, и без того не по силам обложенных, что требования исходили не из другой среды, не от «властного» сословия, а от всесословного, открытого для них учреждения, в котором и они наравне с прочими имели самостоятельный голос.

Я уже оговорил выше невозможность окончательного суждения о состоятельности или несостоятельности нашего земства по десятилетнему опыту; тем не менее, я не вижу причин уклоняться от вопроса о том, что сделано земством в этот короткий период времени. Сделано следующее: во-первых, выработаны основания обложения земли, которыми уже теперь (по крайней мере, в некоторых губерниях) пользуются кредитные учреждения при определении размера ссуд под залог имений и которыми воспользуется высшее правительство при предстоящем ему установлении поземельного государственного налога в замен подушного.

Во-вторых, почти весь груз натуральных земских повинностей, лежавший на одних податных классах, разложен на все сословия в виде денежного сбора с недвижимых имуществ.

В-третьих, введено взаимное страхование от пожаров в деревнях.

В-четвертых, по поводу правительственного проекта об отмене подушного налога, предъявлено ходатайство о привлечении к участию в платеже податей всех сословий без исключения и указано на возможность этой ныне всеми ожидаемой реформы – (я не могу объяснить себе, почему Вы приписываете это заявление одному дворянству).

В-пятых, двинуто дело начального народного образования, о котором до открытия земских учреждений никто серьезно не помышлял, и в короткое время открыто довольно много сельских школ.

В этом перечне указано только то, что сделано во всех губерниях и преднамеренно опущены действия земства в некоторых губерниях, например: открытие учительских семинарий, педагогических съездов, сберегательных касс, земских почт и новых шоссейных дорог.

Я вовсе не оптимист и далек от мысли, чтобы нигде при более благоприятных, даже при тех же условиях нельзя было сделать больше и лучше того, что сделано; но думаю, что беспристрастно судить о степени состоятельности одного учреждения можно только по сравнению его с другим однородным, взятым из той же или из близкой среды. Почему бы, например, не составить того же перечня главных результатов деятельности дворянства, даже не за 10, а хоть бы за 70 или 80 лет, разумея, конечно, не исключительно сословную, а земскую его деятельность в области так называемых «общих польз и надобностей», той деятельности, которая не только разрешалась ему, но на которую оно даже вызывалось своим учреждением. По сравнении обоих перечней я охотно предоставил бы Вам самим решить, есть ли основание укорять земские учреждения в бездействии и так положительно утверждать, что вверенное им дело не пошло и не пойдет? Мне кажется, также опять-таки по моим наблюдениям, что и физиономия дворянства в современном русском обществе схвачена в Вашей книге не совсем верно, не потому что отдельные черты, Вами собранные, не

были свиты с натуры, а потому что Вы списали их с небольшой, сидевшей перед Вами и вдохновлявшей Вас группы, которую вы приняли за тип целого сословия.

По Вашему представлению, дворянству в шестидесятых годах нанесена была незаслуженная обида, которую оно глубоко почувствовало. По призыву правительства оно совершило великий подвиг гражданского самопожертвования: отреклось от крепостного права на личность и этим само разрешило часть вопроса, притом самую трудную – такою Вы ее признаете неизвестно почему, вопреки общему мнению. За такое бескорыстие оно вправе было ожидать вознаграждения, и правительству вслед за крестьянской реформой ничего бы не стоило предоставить ему замещение в волостях и уездах судебных, полицейских и вообще всех «властных» должностей, сосредоточив исключительно в его руках земское самоуправление. Вместо этого под влиянием того же нигилистического поветрия, о котором было говорено выше, дворянство было «глубоко потрясено даже в общественном отношении, как будто в чем-то заподозрено, оттерто и принесено в жертву всесословности». Тогда, почувствовав себя оскорбленным, само дворянство устранилось от дел, в которых ему предоставлялось участие слишком ограниченное и, по его и Вашим понятиям, не сообразное с его достоинством. Вследствие этого «земству пришлось довольствоваться одним *оборышем* людей». Уезды опустели; в них уже не встречается тех образованных и, что важнее – уважающих себя людей, которых Вы знавали во всех захолустьях до призыва их к самоуправлению.

Отсюда общие жалобы на безлюдье; но люди не перевелись, они только стали не видны, потому что разбрелись, махнув на все рукою, и эмигрировали за границу или же неизвестно куда; отсюда же какое-то оскудение общественного духа и отсутствие всякого связного мнения, по Вашим наблюдениям, характеризующее настоящую минуту в отличие от недавнего времени, лет десять тому назад.

Жалея о таком добровольном самоустранении дворянства, Вы, однако, находите его естественным и оправдываете

его. «Нельзя, – говорите Вы, – винить прямо разъехавшихся за границу помещиков в бесплодии русского слова или прямо ставить в укор остающимся безжизненность земских учреждений, в которых они представляют только свой класс. Не добиваться же им в местном обществе преобладания, которым они хотят пользоваться как своим законным правом?» Правительство перед ними провинилось, а потому ему же предстоит сделать первый шаг к примирению.

С другой стороны, от Вас не могло укрыться, и действительно не укрылось, что, несмотря на всесословный характер новейших учреждений, фактическое первенство в них осталось все-таки за дворянами. Не только должности председателей и членов земских управ, но и должности мировых судей, попечителей школ, выборных от земства в училищные советы, председателей приходских попечительств, председателей и членов множества народившихся недавно комитетов и комиссий заместились людьми, которых общественный выбор выдвинул вперед преимущественно из дворянской среды. То же самое видим мы и в значительных городах. Всем известно, что это сделалось естественно само собою, без особенных настояний со стороны избирателей, без притворного ломания со стороны избираемых, не в силу закона, нисколько не стеснявшего свободы выборов, не под влиянием административного давления сверху и не благодаря какой-либо искусственной агитации, о которой никто и не помышлял. Мудрено ли, что при таком никогда и нигде небывалом запросе на людей в них оказывается недостаток? Мне кажется, что если принять еще в соображение опасную конкуренцию, встречаемую как правительством, так и земством со стороны железнодорожных кампаний, банков и разного рода промышленных предприятий, то в этом чрезвычайном требовании на личный интеллигентный труд мы найдем самое простое объяснение двух однородных и параллельных явлений, из которых одно обратило на себя внимание: значительного числа офицерских вакаций в армии и недостатка священников для замещения праздных приходов.

По Вашему выходит, что дворянство надуло губы, скрестило руки и стало к общественному делу спиною; в то же время дворянство добровольно усвоило себе новое призвание, указанное ему доверием общества, взяло в свои руки земское дело и стало во главе местного самоуправления – Вы и это заявляете. Чему же верить?

Дело в том, что преобразования шестидесятых годов действительно поразили что-то насмерть, только не *дворянство*, а *барство*. При новой нашей общественной обстановке стало, конечно, не так легко как прежде в домашнем быту, жить без бюджета и расточать, не собирая, даже не считая; еще труднее стало первенствовать в губернии, в городе или в уезде, не имея ни способностей, ни навыка, ни охоты к умственному труду, а в случае надобности пробиваясь чужим умом и заказною работою; наконец, стало почти невозможно прослыть деловым человеком, никогда не прилагая руки ни к какому серьезному делу.

Такого рода притязания теперь очень скоро осаживаются. С этой точки зрения, нельзя действительно не признать, что общественные условия, сложившиеся на наших глазах, были для всего дворянства своего рода испытанием, которому пришлось подвергнуться не перед экзаменационной комиссией, а в самой жизни, на практике, у себя в имении, в земских собраниях, на мировых съездах, на выборах и т.д. Уклонившиеся сами над собою изрекли приговор. Рассудите, в самом деле: во что ценить консервативную силу тех помещиков, которые, не выдержав неприятностей двухлетнего переходного состояния, обратились в бегство из своих имений перед грозными фигурами местного мирового посредника и волостного старшины? Чему могли служить охраною такого рода охранители, и что охраняли они в действительности, кроме своего личного комфорта? Или те, Вами упоминаемые «стойкие господа, полные уважения к своему званию и доброжелательные к низшим, к которым ходил судиться весь околодок». И которые не захотели баллотироваться в мировые судьи, находя рискованным или унизительным для своего величия вызвать гласное заявле-

ние общественного к себе доверия, которым они по-видимому пользовались? Не доказали ли они тем самым, что их домашняя расправа была для них не более как потеха от скуки, приятно щекотавшая их барскую спесь?

В известном смысле Вы совершенно правы, утверждая, что наше дворянство утратило свою прежнюю цельность; действительно, в среде его произошла своего рода естественная браковка, нечто похожее на так называемую разделку, предпринимаемую над вымолоченным зерном для отделения чела от ухвостья. Часть дворянства, к нашему счастью, значительнейшую, можно бы назвать деловою. Люди этого разбора свыклись уже с новою обстановкою, в которой и мест и занятий оказалось для них вдоволь; они давно перестали жаловаться на отсутствие твердой почвы под ногами, потому что они на ней стоят и не увлекаются гоньбою за сборным мнением, потому что они сами, каждый в своем скромном кругу и все вместе за общим делом, сознательно или бессознательно творят его. Эти люди окончательно приросли к земству; они действительно с каждым днем более и более привлекают к себе народ и приучают его к своему руководству, но это удалось им именно потому, что они отнеслись к нему не как члены *«властного»* сословия, а как *выборные* от земства, выдвинутые вперед его доверием. Признаюсь, я не вижу, чтоб это была потеря для них, и не убеждаюсь, чтоб об этом следовало скорбеть с консервативной точки зрения. Другую, к счастью, очень немногочисленную, но, к несчастью, влиятельную и беспокойную, группу я не решаюсь назвать бездельною только потому, что это слово утратило свое первоначальное этимологическое значение. Эта группа bonde et ne resquille pas[1]. В Вашей книге ее довольно нескладный ропот в первый раз нашел себе отчетливое выражение.

Остается познакомиться с ее чаяниями и узнать, чем бы можно было уконтентовать ее. Болезнь современного русского общества, говорите Вы, выражается одним словом – разброд, разумея под этим отсутствие связного мнения и общих идеалов, возможных только при связности людей, то есть при проч-

ной сословной организации культурного слоя. К несчастью, как Вам кажется, мы в последнее время разбросали собственными руками начатки, готовые сложиться в организованное целое; общественные группы, которые и прежде у нас были слабы, были совсем выполоты при новой перепашке русской почвы – стало быть, чтобы получить опять сборное мнение надобно сложить орган для его проявления, собрать людей в коллективную личность, иначе: организовать сословие из культурных слоев нашего общества. Такова главная насущная задача настоящей минуты.

Пусть так – я готов признать, что диагностика Ваша верна, хотя она и не исчерпывает всех признаков болезни и не указывает на первую ее причину. Нельзя также отрицать, что во всяком здоровом обществе, *на известной степени развития*, существует всегда как сборное мнение, так и форма для его проявления; но вопрос в том: по каким законам и каким порядком совершается это развитие? Внутреннее ли единство частных убеждений, взаимно опознавшихся и сплотившихся органически в нечто цельное, вырабатывает себе соответственную форму и облекается в образ собирательной личности или наоборот? Вы склоняетесь ко второму мнению и ожидаете несомненного образования внутреннего единства в понятиях, взглядах и убеждениях от внешнего совокупления личностей в одно сословие, прежде даже, чем они ощутят потребность сблизиться. Эта мысль пропущена как красная нитка через всю Вашу книгу. Приведу подлинные слова: «разброд мнений всегда доказывает, меду прочим, разброд людей: одно связано с другим нераздельно». Далее: «Нельзя выработать сознания без связности между людьми, разрешающейся в связность мнений. Поэтому задача текущего времени заключается для нас преимущественно в осуществлении связности общественных групп». – «Наша сознательная сила, нравственная, еще вовсе не сложилась; а *главное* – в настоящее время у нас не видно даже органов, способных выработать и установить ее. – Надобно, чтоб свежая сила была *готова* в виде сплоченного русского общества, *сплоченного на*

первых порах хотя бы только положительным законом. Это цельное тело не замедлит проявить и цельный дух».

Итак, Вы верите в чудодейственную силу формы, в способность ее творить из себя дух. Глубине и искренности этой веры могли бы позавидовать даже покойные славянофилы, так насмешившие Вас своею «верою в сокровенную мощь русского народа». По Вашим словам, они мечтали о таком свободном обществе, какого еще не существовало на свете, прибавлю, подобно тому, как Вы мечтаете о беспримерном в истории дворянства и о небывалой в мире монархии. В этом отношении вы и они стоите на одной почве; есть, однако, между их верою и Вашею существенная разница. Они, по Вашим словам, уповали на сокровенную мощь народа; Вы же возлагаете свои надежды на проявленную и Вам самими засвидетельствованную немощь дворянства. Что, говоря это, я отнюдь не навязываю Вам своей мысли, в этом Вы, я думаю, убедитесь, дослушав меня до конца. В книге Вашей несколько раз повторяется сравнение нашего народа с неподвижным телом без головы – я привожу подлинные слова. Вы советуете приставить отвалившуюся голову к осиротевшему туловищу, и тогда организм заживет полною жизнью. При этом, однако, упущено из виду одно довольно серьезное обстоятельство, Вами же дознанное. Вы подвергли дворянскую голову самой добросовестной, внимательной аускультации; Вы переворачивали ее во все стороны, приставляли к ней ухо, постукивали в нее пальцем в надежде вытрясти из нее что-нибудь и в результате констатировали сами, что живая личность, когда-то в ней обитавшая, окончательно выветрилась. «Дворянство как сословие *обезличилось*» – это меткое выражение повторяется в Вашей книге несколько раз. Но безличная голова уже не голова, а просто череп или гипсовая форма головы, и эту-то форму насаживаете Вы теперь на туловище в твердой уверенности, что под нею непременно и в скором времени вырастет настоящая голова. Я воображаю себе, как обрадуются и в то же время как изумятся, дочитав Вашу книгу до этого места, бедные бюрократы, на которых Вы наступаете так бес-

пощадно, противопоставляя им дворян как людей другой породы, и забывая, что у нас бюрократ есть тот же дворянин в вицмундире, а дворянин – тот же бюрократ в халате. С чего Ваш гнев? Ведь и бюрократы, по крайней мере, культурные, поклоняются форме и лелеют ее не ради ее самой, а только потому, что и они, как Вы твердо уверены, что была бы графа, а содержание явится, была бы форма – народится и дух. Их вера и Ваша вера – одна вера; но Вы сгоряча не опознали своих и опрокинулись на них с тою запальчивостью, которою всегда отличались междоусобные распри от недоразумения в среде исповедников одного учения.

К несчастью, рекомендуемый Вами соблазнительно легкий прием испытывается нашим законодательством более полутораста лет, достигаемые результаты доселе не оправдывали ожиданий. Возьмем хоть один пример из многих. Вот, что говорилось в конце прошлого века: у нас нет долговечных и прочных ремесленных фирм, традиции в мастерствах, преемственной передачи капиталов, практики и опыта; соберем же рассеянных мастеров в правильно организованное цеховое сословие, поделим его на группы, в каждой из них установим степени, дадим им выборных, управы, старост, значки, права, все нужное, даже свыше нужного – авось пробудится ремесленный дух и зашевелится совокупная жизнь. Ждали долго, но дух не пробудился, и цеховой устав остался по сю пору, чем был девяносто лет тому назад – мертвою буквою. Теперь задумывается однородный опыт учреждения чина или сословия русских «полуевропейцев», и небывалость в истории подобного явления Вас на сей раз не смущает. Подобно тому, как прежде объединяющим началом ставилось для дворянства «благородство – как следствие служебных заслуг», а для людей «среднего чина» – «трудолюбие и добронравие», так теперь предполагается собрать разбежавшиеся личности под знамя *культурности*. Прежнее деление на три чина «людей благородных, средних и низких» упрощается и заменяется делением всего русского общества на полосы: культурную и стихийную, из коих только первая получит сословную орга-

низацию. По Вашему мнению, двойство естественнее троичности и сообразнее с нашими бытовыми условиями; оно же находит свое оправдание «в народном понятии о *господах* и простонародии». Мне кажется, однако, что это последнее сопоставление несколько произвольно. Исторический корень понятия о господах лежит в идее ветхозаветного рабства и в нашем крепостном праве, но не имеет ничего общего с культурностью. Оттого деление на господ и простых людей, или (по официальной терминологии XVIII века) на людей благородных и подлых, никогда не обнимало всего русского общества; оно не захватывало ни духовенства, ни купечества, ни служилых людей низших чинов и выражало только понятие полноправия в противоположность понятия полного личного бесправия. Потом так как понятия и приемы, выросшие на почве крепостных отношений раскидывали свои ветви далеко во все стороны и переплетались со всеми видами служебных отношений начальства к подчиненным, то и понятие о господстве естественно расширилось и утратило свою первоначальную определенность. Корень его теперь иссох, оно отошло в область исторически пережитого и не годится для прививки к нему чего-либо нового. Ваш проект напоминает мне другой опыт из недавно прошедших времен. Покойный Император пробовал поделить всех жидов на «полезных и бесполезных» – это было одно из самых ярких проявлений того правительственного произвола, не лишенного своего рода грандиозности, которым отличалась вторая половина прошлого царствования, наступившая после 1848 года. Опыт стоил жидам неимоверно дорого и решительно не удался, хотя положительные признаки полезности были определены довольно точно. Я очень сомневаюсь, чтоб легче было поделить всю Россию на культурную и некультурную, и убеждаюсь в этом тою бесцеремонностью, с которою Вы, например, отделались от церковного чина. Можно ли в самом деле признать исчерпывающим нашу русскую культурность такое общество, в котором для всего духовенства не оказалось места? На первом же слове Вы изменили своему началу. В сущности,

Вас занимает не культурность, а дворянство; что же касается до высшего купечества и до людей умственного труда (по западной терминологии – литераторов), то они захватываются Вами в дворянскую среду главнейшим образом с тою целью, чтобы вне ее не оставалось ни единой группы, которая могла бы послужить стихийной силе признанным органом.

От Вас самих, конечно, не могла утаиться крайняя искусственность предлагаемой Вами организации и, ожидая возражений именно с этой стороны, Вы прикрылись указанием на исключительность нашего теперешнего положения. В естественном росте русского общества последовал полуторавековой перерыв, тем временем государство ушло далеко вперед и развилось до громадных размеров, общество отстало и замерло. Теперь ощущается настоятельная потребность в земской организации, приспособленной к условиям настоящего времени и к тяжести лежащего на ней государства; но действительность не представляет готовых форм, которыми правительство могло бы воспользоваться: былые формы давно разбиты, новых не выработалось. Между тем ввиду государственных нужд и внешних отношений России к соседним державам нам некогда выжидать естественного пробуждения общественной производительности и медленного нарождения нового земского организма. Необходимо заставлять изобрести и создать его. Я передаю Вашу мысль хотя и в сокращенном виде, но, кажется, верно. В ней есть, несомненно, значительная доля правды; но в подобных случаях, когда сложившиеся издавна, роковые условия вынуждают правительство забегать вперед и предрешать вопросы жизни, политическое благоразумие требует строгого воздержания от всякого ненужного стеснения ее творческой силы. В этих видах законодательная власть естественно должна, во-первых, предпочесть формы простые сложным, широкие тесным, упругие слишком твердым; во-вторых, и это главное, по установке тех или других форм не расшатывать их и не подкапываться под них, а дать им время осесть как следует и сплотиться. Ваши предложения, на мой взгляд, грешат про-

тив обоих этих правил. Мы, наконец, дошли до практических выводов из всего предыдущего. Меры, Вами предлагаемые, захватывают очень широкий круг, которого я не в состоянии обнять и потому на первых же порах ограничу мою задачу. Прежде всего, я совершенно устраню вопрос о военной организации (Гл. VI) по безусловной моей некомпетентности в этом деле; затем я не войду в рассмотрение оригинальной мысли, изложенной в главе IV, о разграничении правительственной администрации с земскою не по предметам занятий, или (как Вы выражаетесь) «не в сущности, а только в степени и последовательности инстанций», с передачею уездного управления всецело земству и с оставлением губернского за правительством. На мой взгляд, это значило бы то же, что отрубить у правительства пальцы, оставив при нем одни руки; но все, что можно против этого сказать, конечно, скажут другие за меня и гораздо лучше меня. Наконец, я не коснусь и предложения Вашего о восстановлении общеобязательной поголовной служебной повинности дворян. Говоря откровенно, я не считаю его серьезным; оно могло понадобиться на первый раз, чтоб оправдать те привилегии, которыми Вы желали бы наградить дворянство, установлением некоторого равновесия между правами и обязанностями; но на практике осуществление его встретило бы в дворянской среде такое сопротивление, что без всякого сомнения пришлось бы от него отказаться и изыскать средство добыть первые, не налагая вторых. Я остановлюсь на проекте преобразования земских учреждений и волостной администрации.

От земских учреждений, ныне действующих, осталось бы немного.

Предполагается, во-первых, вовсе упразднить губернское земское собрание, в котором, по Вашему мнению, не представляется никакой надобности; с этим естественно сопряжено и упразднение губернской земской управы как распорядительной делегации от собрания; но это, конечно, не значит, чтоб упразднилось губернское земское хозяйство. Губернский бюджет останется, и губернский сбор будет взимать-

ся по-прежнему – без него очевидно нельзя обойтись на покрытие надобностей, несомненно, земских по их свойству, но превышающих средства каждого уезда, взятого порознь, как на примере взаимного страхования от огня. Понятно, что одинаково необходима какая-нибудь губернская инстанция для заведования земскими делами всей губернии, как то: для раскладки государственного налога на недвижимые имущества в городах, для производства операций, требующих единства и одновременности распоряжений в нескольких уездах (например, по ремонту и постройке шоссейных дорог), для выборов членов от земства в разные губернские присутствия, комитеты, советы и т.д. Все эти права и обязанности предполагается передать губернскому предводителю дворянства и нынешнему депутатскому собранию (уездным предводителям и выборным дворянства). Но откуда же, спросит читатель, возьмутся денежные средства и кем будет установляться размер обложения на губернские потребности? Вы отвечаете: «*Даже* в случае необходимости какого-либо общего налога на Губернию (это *даже* покажется, вероятно, несколько странным всякому видевшему хоть один губернский бюджет) он может быть голосован на месте (то есть на местах, в уездах) большинством по счету уездных собраний». Во всей книге проводилась мысль, что сборное мнение может выработаться только в группе собранных вместе людей; теперь же в применении к земству отдается предпочтение противоположному приему: сборное мнение всей губернии будет выводиться посредством арифметических операций – сложения и вычитания частных, уездных мнений, образовавшихся порознь, без взаимной поверки, и в полном одно о другом неведении. Я удивляюсь только тому, что, напав на эту мысль, Вы не дали ей дальнейшего развития и не ступили еще одного, ближайшего шага. Вместо того, чтоб созывать уездные съезды, не гораздо ли проще рассылать гласным готовые вопросы на дом и отбирать письменные на них ответы от каждого из голосующих порознь?

Во-вторых, значительно суживаются, даже в пределах уезда, права и круг действия земских учреждений. У них от-

нимается «право вести сношения с высшими инстанциями о местных потребностях и об общих вопросах; отнимается также выбор мировых судей и вообще должностных земских лиц, обличенных исполнительною властью, пользующихся правом полиции, суда и нравственного надзора за населением». Все это отходит к дворянству. За уездным земским собранием оставляется исключительно утверждение земских налогов, притом кажется, только необязательных, рассмотрение *денежной отчетности* (только денежной), заявление об общественных нуждах и выбор лиц, *распоряжающихся* или *заведующих* общественными суммами. Из текста довольно трудно уразуметь, предполагается ли под заведыванием и распоряжением самое исполнение хозяйственных операций, как то: производство построек, заключение подрядов, открытие школ и т.п. или казначейское дело приема, хранения и отпуска сумм по ассигновкам? Вы, кажется не без намерения, оставили этот вопрос открытым; но принимая в соображение, что земскому собранию предоставляется поверка одной лишь *денежной* отчетности, а не сравнение сделанных расходов с достигнутыми результатами, что главною целью всей проектированной ломки полагается «объединение в руках дворянства местного управления» и что, по Вашему мнению, «вести управление могут только выборные дворянства», позволительно заключить, что Вы присоединились бы к второму толкованию. На этом впрочем, как на вопросе спорном, я останавливаться не буду и, ограничиваясь тем, что не представляет повода к недоумениям, постараюсь раскрыть вероятные последствия изложенного проекта собственно по отношению к Вашей, главной цели, то есть к внутреннему объединению нашего общества.

При предложенном новом порядке вещей, средства на ведение всего земского хозяйства будут также как и теперь получать от земства. Но в настоящее время, облагая земство на губернские потребности, губернское собрание отдает ассигнуемые суммы в распоряжение избранной им управы, с которою оно связано сознанием нравственной ответственно-

сти и которую оно может привлечь к ответу и даже сменить. Словом, собрание относится к своей управе как доверитель к своему поверенному и если теперь, как замечено было выше, не слышно о систематических отказах управам со стороны собраний в испрашиваемых первыми ассигновках, то это обуславливается в значительной мере свойством этих отношений. По Вашему проекту они изменятся в существе. Вместо прежней, излюбленной губернским собранием управы, новое учреждение чисто дворянское, нечто вроде депутатского собрания с губернским предводителем во главе, будет ежегодно протягивать руку за деньгами ко всем уездным земским собраниям. Спрашивается: при этих условиях одинаково ли легко будут сводить проекты бюджетов; не слишком ли смело было бы рассчитывать на продолжение теперешней сговорчивости собраний и не гораздо ли вероятнее, что, имея перед собою управление, совершенно от них независимое, они естественно захотят подчинить его своему влиянию и в этих видах прибегнут к урезке смет и к отказам в ассигновках? Такие же поводы к небывалым прежде пререканиям самого раздражительного свойства возникнут и в более тесной области уездного, земского управления. В настоящее время весь персонал, получающий содержание от земства, им же избирается; это его излюбленные люди. По Вашему проекту, все они, как то мировые судьи, вероятно, также лекаря, учителя и т.п., будут выбираться дворянством, а на обязанности земства останется ассигновка жалованья персоналу, по отношению к нему упавшему с неба, может быть, вовсе ему не угодного и о котором оно, конечно, будет судить не в пример строже, чем прежде. Вы сами даете земству в руки это, правда, единственное, но зато всемогущее орудие. Привожу Ваши слова: «Земство имеет естественное право ставить свое согласие на требуемые от него жертвы в зависимость от удовлетворения заявляемым им нуждам». Таким образом, в пределах каждого уезда, между дворянством и его избранниками, с одной стороны, и всесословным земством, с другой, установились бы в микроскопических размерах отношения сходные с теми, какие мы видим в консти-

туционных государствах между министерством от короны и камерою депутатов от земли. По рассмотрению проекта сметы земство скажет своему дворянскому министерству: извольте, мы согласны ассигновать испрашиваемую вами сумму на 10 стипендий в гимназии, но с тем, чтобы 7 из них приберегались для стихийной силы и только 3 для культурного сословия, а не наоборот, как вы предлагали; или, пожалуй, мы примем расход на жалованье председателю и членам губернского коллегиального присутствия заведующего делами земства, но с тем, чтоб из него выбыли господа такие-то и такие-то, избранные дворянством, но нам неугодные – et si non – non! Между тем, у Вас же в той же книге несколькими страницами ниже, мы читаем: «Из этого si non – non! не имеющего у нас никакой почвы, вырос весь современный европейский порядок, выросли все конституции и революции». И все это предлагается для «постановки объединения на место разлада!» Мне остается по поводу земского самоуправления указать Вам на еще одно обстоятельство несколько загадочное. Выше было замечено (и Вы этого, вероятно, оспаривать не будете), что Екатерининское городовое положение, подновленное в прошлое царствование, представляет собою самое полное осуществление начала всесословности в общественном учреждении. В позднейшем городовом положении 1870 года всесословность уступила место полной бессословности. Вы считаете всесословность «несостоятельною, бесплодною, опасною и губительною», а потому совершенно последовательно требуете, в применении к земским учреждениям, перестройки всей нашей общественной организации из всесословной в односословную, то есть в дворянскую. Почему же Ваша рука как будто дрогнула и опустилась, как только Вы дошли до города? Тут, у городской черты, неожиданно кончается Ваш поход против всесословности и бессословности и Вы не только оставляете ныне действующее городское самоуправление не тронутым, но даже советуете «распространить его в самые маленькие городки». Между тем, по Вашим же словам, «мещане ничем не отличаются от крестьян». Это одна и та же стихийная сила. Опасная в уезде

там, где она разбита на мелкие группы и силою вещей приросла к почве, может ли она считаться не опасною в городе, где она скучена и по разнообразию доступных ей занятий гораздо подвижнее, чем в деревнях, а потому самому гораздо восприимчивее для всякого рода возбуждений со стороны, где, наконец, постоянно открытая перед нею выставка беспечной праздности, довольства и роскоши высшего общества подвергает ее ежечасным, особенного рода искушениям? Если бы создание нравственно цельного общества и ограждение его на будущие времена от внутренних потрясений действительно стояло у Вас *как цель*, а сосредоточение политических прав в руках дворянства рекомендовалось Вами *только как средство*, то после проектированного разгрома земской организации, помилование городской шло бы в разрез со всеми общими данными, на основании которых Вы подчиняете стихийную силу общества его разуму. Но стоило бы сделать перестановку в терминах, а именно: поставить *средство на место цели* и это кажущееся противоречие объяснилось бы само собою. Всякий понял бы, что для дворян-помещиков несравненно важнее захватить в свои руки местное управление в уездах, чем приобрести такую же власть в городах. Пощада, оказанная Вами городовому положению, бросает неожиданный свет на основной мотив всей книги.

Перехожу к вопросу о волостной организации, который особенно интересовал меня, так как, мне кажется, с этой стороны угрожает ближайшая опасность от непрошенных благодеяний.

По-видимому, Вы сочувствуете так называемой всесословной волости и считаете ее «неотложным вопросом текущего времени», но, к сожалению, Вы не определили, что подразумевается под этим названием, и, занявшись исключительно вопросом о волостной полиции, оставили совершенно в тени волость как общество. Это тем более прискорбно, что именно от Вас читатели, вероятно, узнали бы, отчего враги всесословности вообще, домогающиеся упразднения ее там, где она введена, то есть в пределах уезда и губернии, так

горячо рекомендуют введение ее там, где ее нет и не может быть, то есть в пределах волости?

Теперешняя наша волость состоит, как известно, из двух, трех или четырех сельских обществ, иногда из одного, и обнимает только земли, отведенные им в надел. Вид этой односословной, «мужицкой» волости и рядом с нею, стоит помещик и лежит его земля – других элементов в нашем уездном, по крайней мере, Великороссийском мире не имеется. Стало быть, учреждение, взамен односословной, всесословной или, точнее, двусословной волости потребовало бы, во-первых, введения в личный состав ее одного или нескольких помещиков, с предоставлением ему или им права голоса в общественных делах и доступа к общественным должностям; во-вторых, причисления помещичьих земель к территории волости, как новой статьи обложения на общественные волостные потребности, составляющие, за очень немногими изъятиями, предмет исключительно крестьянского интереса. При первом же взгляде, бросается в глаза крайняя разнородность состава предполагаемой двусословной единицы. По воспитанию, образу жизни, понятиям, потребностям и средствам между помещиками и крестьянами лежит целая бездна, образовавшаяся в продолжение полуторавекового отчуждения и нет посредствующих звеньев, которыми бы они связывались в непрерывную цепь – небольшая группа лиц, приписавшихся к волости только в полицейском отношении, исчезает из виду по своей малочисленности. Далее, в сфере хозяйственного сельского быта, имущественные интересы помещика прямо противоположны имущественным интересам крестьян – я оговариваю: не *враждебны* одни другим, и отнюдь не *непримиримы*, но *противоположны по существу*, как интересы покупщика и продавца, кредитора и должника, производителя и потребителя. Помещик сдает свою землю, крестьяне снимают ее; помещик рядит на работу, крестьяне нанимаются; помещик открывает кредит, крестьяне должают. Сделки этого рода, по своей первостепенной важности в сельском быту, дают ему тон; они вплетаются во все подробности деревенской жизни и определяют характер взаимных

отношений двух сторон на всех точках их соприкосновения. С чего бы ни началось дело между помещиком и крестьянами, оно неминуемо сводится к вопросу о земле, о лесе, о долгах или о работе. В этой области интересы всех крестьян, будучи противоположны помещичьим, в то же время тождественны между собою и потому первые, при встрече со вторыми, почти никогда не дробятся, а сливаются в один голос. Итак, не мешало бы принять наперед к сведению, что в двусословной волости зайдет ли речь о предстоящих обществу расходах или об изыскании средств к их удовлетворению, перед лицом помещика всегда будет стоять не множество лиц, а одно коллективное лицо. Эти два лица будут облагать друг друга! При таких условиях можно ли надеяться, в тесных пределах волости придумать такую комбинацию составных ее элементов, помещичьего и крестьянского, или, по Вашему – культурного и стихийного, которая, не отдавая одного из них в жертву другому, и в то же время, не нарушая самостоятельности и цельности общества, предупредила бы бесконечный ряд безвыходных между ними столкновений и установлением между ними прочного равновесия обеспечила бы удовлетворение законных требований обоих? – Мне кажется, что в самой постановке этого вопроса заключается и ответ на него. Создать двусословную волость из наличного материала так же невозможно, как сложить самоуправляющееся общество из купеческой фирмы и снабжающихся у нее потребителей, или из домовладельца и квартирующих у него постояльцев. Вы это поняли и потому, замолвив мимоходом слово в пользу любимой мечты наших домашних эмигрантов, перебравшихся из своих деревень в столицы благоразумно воздержались от ее формулирования.

Сами же Вы идете к делу гораздо прямее. Вам нужна всесословная волость в смысле не *общества,* а административной единицы. Вы хотите, чтоб управление волостью, то есть полицейская власть в самом широком объеме, так же как и мировой суд, сосредоточивались под скромным, не новым и в этом случае крайне неточным названием попечителя в лице «местного помещика по выбору дворянства всего уезда, но из

лиц, живущих в волости или близ нее». При этом, добавляете Вы, «крестьянское самоуправление под надзором волостных попечителей, данных ему дворянством, могло бы остаться почти в нынешнем своем виде». Невежественная толпа, пожалуй, и не догадается.

Доказывать, что предполагаемое попечительство не имеет ничего общего, кроме названия, с тем, о котором упоминается в положении 19-го февраля 1861 года, едва предстоит надобность. Речь идет, очевидно, об учреждении совершенно иного рода.

Чтоб отдать себе ясный отчет в его характере, нужно, прежде всего, снять с него ту фантастическую оправу, в которой оно обыкновенно выставляется напоказ. Предполагается или говорится, что волостной попечитель будет править свою должность бесплатно и самолично.

То и другое одинаково несбыточно, и ни того ни другого никто, знакомый по личному опыту с деревенским бытом, серьезно не ожидает. За несколько дней до получения мною Вашей книги в Московском губернском земском собрании обсуждались представления уездных присутствий по призыву к отбыванию воинской повинности о суммах, потребных на их содержание; воспользовавшись этим случаем, два уездных предводителя просили назначить им жалованье от земства. Я сообщаю Вам этот факт как pendant к Вашему анекдоту о присяжных от крестьян, просящих милостыни у дверей присутствия. Служба серьезная, не номинальная, а трудовая, отнимающая большую часть времени у исправляющего ее и в добавок сопряженная с действительною ответственностью, при теперешнем состоянии нашего общества не может быть даровою; она требует оплаты в полную свою стоимость. Это доказано окладами мировых судей, председателей и членов земских управ и всех вообще должностей по общественной службе, как земской, так и городской. Мы не Англия – можно об этом жалеть, но пособить этому нельзя. Помещики, круглый год проживающие в своих деревнях по недостатку средств для переезда в город хотя бы на полгода, занимаются

сами своим хозяйством и не захотят, потому что не могут, бросить его без вознаграждения для дел волости, а помещики зажиточные, приезжающие в свои деревни на летнюю пору и большую часть года хозяйничающие заглазно, не соблазнятся должностью попечителя, а если и примут ее, то, конечно, не с тем, чтобы нести тяготу ее на собственных плечах. Легко сказать, управлять волостью, иными словами, делать то, что делают теперь становые пристава и волостные старшины: стоять по целым дням на базарах, разводить и подбирать пьяных, ловить конокрадов, отписываться на предписания и требования всевозможных начальств, выжимать недоимки и т.д. Все это имеет в себе мало привлекательного, особенно вблизи у самого дела. Это не могло от Вас утаиться, и Вы поспешили открыть два выхода для попечителей-дилетантов. Во-первых, на предпоследней странице в общем перечне предлагаемых мер статья о волостном попечительстве формулирована Вами гораздо общее: «поставить над волостями попечителей по избранию дворянства». Здесь уже не требуется, чтоб попечители избирались непременно *из помещиков*, а только, чтоб выбор их предоставлен был дворянству. Сопоставляя это место с другими, в которых Вы доказываете, что цензовое дворянство как избирательное сословие представляет вполне достаточные гарантии в добросовестной разборчивости выборов, что затем не было бы никакой надобности стеснять его свободу определением каких-либо условий избираемости и что нужно не избрание в земские должности из дворян, а, напротив, – избрание в эти должности дворянами – кого угодно, можно, кажется, придти к заключению, что Вы допустили бы попечителей, удостоенных выбора, какого бы звания они ни были. Тогда, конечно, в кандидатах недостатка не будет. Они наперед указаны: это те бывшие помещичьи управляющие, приказчики, кассиры и писаря, которые ищут места или на занимаемых ими местах не слишком обременены домашними делами, словом – это весь персонал вотчинных контор. Вот куда из помещичьих кабинетов переберется мало-помалу настоящая не номинальная власть, а действительная власть

и где она окончательно сосредоточится; там же найдет она и готовые административные приемы – прежние традиции крепостного права, к которым она естественно примкнет; от самого же помещика эта власть получит не вдохновение и не направление, а одну гербовую печать.

Вотчинная контора, по-остзейски, die Gutsverwaltung – это сосуд крепостного права, разбитый у нас в 1861 году. Задача состоит теперь в том, чтобы собрать его осколки, склеить их и постараться уверить народ, что с перекраскою и переименованием этой издавна знакомой ему чаши (казалось, навсегда миновавшей его) прежнее горькое ее содержание претворилось в сладкое. Только при этих условиях и только в этой форме может осуществиться так называемое попечительство. В сущности, так его себе и представляют наши петербургские и баден-баденские охранители, хотя они обыкновенно не дорисовывают пленяющей их картины.

Во-вторых, Вы соглашаетесь оставить при попечителе в качестве помощника его волостного голову, выборного от крестьян, и даже поручаете последнему временное исправление должности попечителя в случаях кратковременных отлучек последнего; стало быть, в этих случаях Вы подчиняете ему и весь персонал вотчинной администрации. Признаюсь — я бы на это не решился даже на короткий срок. Как бы то ни было, вся черная работа по управлению понятным образом ляжет на голову. Теперь спрашивается: чего потребуют крестьяне от своего избранника? Того ли, чтоб он подчинился избраннику дворянства добросовестно, без задней мысли, с твердым намерением помогать ему во всем или чтоб он, по возможности, парализовал его распоряжения, неугодные мирскому обществу? Сам голова будет ли смотреть на себя как на орудие волостной администрации или как на орган общественной оппозиции? Последнее, кажется мне, в общей сложности более вероятным, но я готов допустить первый, самый благоприятный случай. Сам помещик взялся усердно за попечительство, а голова служит ему охотно. Даже при таких, совершенно исключительных условиях, трудно ожидать, чтоб между ними установилась на

практике непосредственная и живая связь. Перед тем как идти с докладом к господину-попечителю, рассудительный голова все-таки непременно заглянет в ту же вотчинную контору — порасспросить и посоветоваться; там его доклад предварительно выслушается и, в чем окажется нужным, исправится; там же между четырех или шести глаз придумается резолюция и все дело обделается в существе. По переложении идиллии на деревенскую практику и консервативной риторики на язык грубой правды – таков очень не мудреный смысл всех современных толков о всесословной волости, о восстановлении благодетельного влияния культурных людей на массу (которого никто никогда не устранял), о руководстве невежественной толпы, о попечительстве и т.д.

Ступим, однако, еще один шаг in medias res и постараемся на нескольких частных случаях, взятых для примера из нашего деревенского обихода, уяснить себе, при каких условиях пришлось бы волостному помещику-попечителю, самому добросовестному и усердному, орудовать вверенною ему полицейскою и судебною властью.

Первый случай: начальство посылает ему строжайшее предписание принять решительные меры для немедленного взыскания податных недоимок. Тон бумаги не допускает промедления; попечитель созывает сход и объявляет крестьянам требование начальства. Ему отвечают: «Откуда же взять нам денег? Мы, было, собрали, хотели отвезти еще за три недели, да приехал Ваш приказчик и приказал нести в контору вторую половину оброка за Ваше отрезное поле. Ослушаться мы не посмели, а мы, было, надеялись, что Вы нам окажете льготу. Отсрочьте на полгода платеж за землю, тогда мы как-нибудь недоимку пополним». Попечитель, конечно, ответит, что одно казенная недоимка, а другое частный долг, и будет прав; но в то же время не почувствует ли он, что одному и тому же лицу не совсем удобно из одного и того же кармана выбирать и государственные подати, и свои частные долги?

Второй случай: к попечителю как местному мировому судье приходят судиться два крестьянина, положим, Иван

Петров и Петр Иванов, тот самый Петр Иванов, которого накануне помещичий лесник накрыл на воровской порубке. Лесник и крестьянин крупно побранились, чуть не подрались и разошлись, угрожая друг другу. Мировой судья терпеливо выслушивает истца и ответчика и добросовестно взвешивает их доводы; претензия Ивана Петрова оказывается основательною и Петр Иванов присуждается к удовлетворению. Он уходит из камеры и говорит встречному крестьянину: «Вишь, проклятый лесник! успел-таки нажаловаться!» Нечего и говорить, что на суде о порубке не было и помина; помещик даже и не вспомнил о ней при разбирательстве, а в произнесенном им приговоре все-таки послышалась оплата за порубку.

Третий случай: к попечителю прибегает вестовой с известием, что подгулявший крестьянин Семен Недотыка побил старосту, разогнал соседей и буянит на все село. Пять дней тому назад этот самый крестьянин на общем сходе уговорил всю волость не наниматься к местным помещикам на молотьбу за прежнюю цену, а выторговать прибавку, чем поставил вотчинные конторы в затруднение и в необходимость разослать рядчиков в дальние места. По распоряжению и в присутствии помещика, сотские и десятские хватают расходившегося Семена Недотыку и тащат его в волостную избу; он упирается и кричит собравшейся около него толпе: «Эх вы! Чего смотрите? – за вас терплю, все ведь за молотьбу, а то сами весте: кто ж не гуляет!» Крестьяне переглядываются и думают про себя: «Пожалуй, что и впрямь за молотьбу».

Подобные мелкие случаи будут повторяться ежедневно, и всякий понимает, что дело нисколько бы не улучшилось, если бы помещик безусловно был устранен от попечительства в собственной своей вотчине и если бы два владельца одной волости попечительствовали друг у друга. При таком порядке между ними могла бы установиться своего рода круговая порука и во всяком случае родилось бы подозрение, что она существует.

Я предполагаю волостного попечителя, решительно недоступного никаким корыстным поползновениям – не все

же будут таковы; предполагаю, что, имея дело ежедневно и ежечасно с одними и теми же людьми, как помещик, как начальник волости и как судья, он строго выдержит в своих действиях этот тройственный характер; что никогда помещик не забредет в область попечителя, а начальник не проглянет в суде – что вовсе нелегко, и затем я все-таки спрашиваю: поверит ли этому общественная среда, в которой он будет рядить и судить? Создавая правительственную или общественную власть, какую бы то ни было, гражданскую или военную, административную или судебную, обыкновенно стараются поставить того, кому она вверяется в такие отношения к его подчиненным, которые не только по возможности устраняли бы от первого всякое искушение обратить ее в орудие личных целей, но и предупреждали бы со стороны вторых всякий повод к сомнению в ее беспристрастии. Здесь же наоборот: предполагается в тесных пределах волости отдать начальство в суд помещику именно на том основании, что он помещик и что его помещичьи интересы тесно переплетаются с противоположными им интересами того самого крестьянского общества, которое должно быть ему подсудно и подначально. Не значит ли это, с одной стороны, добровольно подрывать веру в самую власть, с другой: подвергать носителей ее опорочению и оставлять их в вечном подозрении?

И это все «в видах объединения, для восстановления цельности нашего общества»!

И после этого Вы обвиняете деятелей шестидесятых годов в намеренном разобщении помещиков с народом!

И для чего, наконец, все это? – Чтобы заманить опять каких-то разбежавшихся помещиков в их осиротевшие вотчины!

Мы узнали недавно из документов, оглашенных по поводу процесса над гр. Арнимом, что прусское правительство, в своей внешней политике всегда руководящееся исключительно национальным своим интересом, а не служением отвлеченным принципам легитимизма, консерватизма или либерализма, преднамеренно старалось продлить елико возможно политическую неурядицу во Франции, чтоб не дать

ей собраться с силами и обратить их на внешние дела. Какая-нибудь общая и твердая программа, конечно, существует издавна в прусском кабинете и для представителей его при нашем дворе; но если б она составлялась вновь с такою же целью, то есть в видах систематического ослабления России возбуждением в ней общественной розни и несуществующей покуда сословной вражды, то князь Бисмарк, на мой взгляд, не мог бы пожелать ничего лучшего как противопоставления в области земства дворянской управы всесословному собранию, а в пределах волости – подчинения старшины от крестьян попечителю от дворянства.

Вы говорите в одном месте, что наше общество в настоящее время не было бы в состоянии ответить на вопрос: чем ему быть и чего бы ему пожелать для себя; в другом Вы допускаете, что оно, может быть, заявило бы потребность в *сосредоточении.* Мне кажется, что оно могло бы извлечь из своего самосознания требования несколько более определительные.

Если б в настоящую минуту правительство вздумало опросить, не говорю уже всю Россию, но хоть бы одно культурное общество, даже одно дворянство, то оно, вероятно, услышало бы от громадного большинства людей, думающих и делающих, два пожелания.

Во-первых, чтоб ряд совершенных преобразований увенчался неотложным упразднением деления русского общества на податные и обеленные состояния и чтобы взамен подушной подати введена была система всесословного обложения, по возможности пропорционального ценности облагаемых имуществ и доходам плательщиков. Это даже не догадка с моей стороны, а совершившийся факт, ибо в таком именно смысле, как известно, выразились все опрошенные правительством земские собрания, за исключением, кажется, одного. В Вашем обзоре явлений современной общественной жизни вопрос о податной реформе не нашел себе места, хотя в социальном отношении он не менее важен, чем в экономическом. Если бы дворянство действительно дорожило своею политическою будущностью и сознавало, чем обусловливается для него единственно воз-

можный вид общественного первенства, то оно, мне кажется, должно бы было настойчивее других классов ходатайствовать о скорейшем осуществлении этой реформы, хотя бы для того, чтоб отнять у податных состояний основательный повод к зависти, избавиться навсегда от попрека, хотя бы и не высказываемого гласно, и самому себе развязать язык; ибо трудно допустить, чтоб лицам, не платящим податей, прилично было в качестве наставников и попечителей над крестьянами, через силы обремененными податями, проповедовать им святость труда, необходимость бережливости и обязательность жертв на общую пользу.

Во-вторых, люди, мыслящие и трудящиеся на разных поприщах общественной деятельности, вероятно, выразили бы желание, чтобы правительство дало России вздохнуть. Они постарались бы убедить его, что нужно позволить ей осмотреться в обновленной обстановке, и заняться на свободе ее устройством, не отвлекаясь от начатого дела тревожными слухами о замышляемых перестройках, слухами, периодически возобновляющимися и отнимающими всякую уверенность в завтрашнем дне. Без твердой веры в прочность учреждений, требующих со стороны общества свободной инициативы, настойчивый, правильный и большею частью мало заметный труд в уездных захолустьях положительно невозможен.

Правда, со времен Петра I наше правительство никогда не отличалось строгою последовательностью в своих начинаниях, по крайней мере, по внутреннему, гражданскому управлению. В этом отношении мы не избалованы. Начало всякого нового царствования почти всегда знаменовалось законодательным кризисом; иногда даже кризис наступал в середине царствования. В таком случае, оно распадалось на две половины, из которых вторая посвящалась ломке всего построенного в первой. Поколение, ныне стареющее, испытало это в 1849 году. Но нельзя не сознаться, что в последнее время реакции стали наступать гораздо неожиданнее, чем в былые времена и непосредственно за каждым шагом вперед. Опросите еще свежие у всех воспоминания.

В одно прекрасное утро Россия принимает праздничный вид – правительство открывает новое сооружение, только что возведенное им по зрело обдуманному плану, и вводит в него общество, выражая последнему свои надежды и полное свое доверие. Общество кланяется, благодарит и выражает свою безграничную веру в правительство. Правительство, в свою очередь, благодарит общество за доверие, и обе стороны расходятся в умилении. На другой день из высших правительственных сфер падает на новое здание первый косой взгляд. За ночь люди, стоявшие в стороне покуда кипела работа, открыли в нем какие-то капитальные пороки, возбуждающие сомнение в его прочности. Обыкновенно как особенно опасное выставляется то обстоятельство, что фундамент слишком широк и заложен чересчур прочно, а верхние надстройки слишком легки; гораздо бы лучше наоборот: на жидком фундаменте поставить грузное здание. На третий день правительство выходит на площадь, кается всенародно в своих ошибках и пугает общество грозящим крушением. Общество, только что разместившееся на своем новоселье, оглядывается в недоумении и уходит, покачивая головою; работа, начавшаяся внутри довольно живо, естественно утихает. На четвертый день отряженными мастерами этого дела замазываются некоторые окна и заколачиваются некоторые двери. На пятый правительственное сооружение отдается под стражу, наряжается следственная комиссия и объявляется конкурс на тему: «как бы разнести здание, но так, чтоб не было ни стука ни пыли и чтоб этого не заметили ни русской народ, ни Европа?» Этой только минуты и выжидали «охранительные люди», как Вы их называете; почуяв ломку, они оживают, скликаются, напрягают свое воображение и проекты сыплются со всех сторон.

Вспомните, кем приводилось в исполнение положение 19 февраля и как относились внутренне к этому делу высшие его руководители по выходу из министерства покойного С. С. Ланского; вспомните, как встретил Святейший Синод попытки общества воспользоваться положением о приходских попечительствах; переберите дополнительные и пояснительные указы

и циркуляры к положению о земских учреждениях; перечтите рескрипты на имена князя Гагарина и графа Толстого; просмотрите роскошные издания комиссии по исследованию сельской производительности в России и другой комиссии о волостных судах, кажется, не вполне понявшей или не захотевшей понять, чего от нее ожидали; сравните первое положение о цензуре с ныне действующими правилами и с теперешнею практикою, положение о народных школах 1864 с положением 1874 года; примите, наконец, в соображение придуманную в последнее время систему постепенной урезки круга действий общественных учреждений и передачи целых категорий вверенных им дел разным коллегиальным инстанциям смешанного состава, с перевесом чиновничьего элемента над общественным, и затем рассудите: разумно ли ожидать полного успеха от учреждений, ежедневно колеблемых, и можно ли при таких ненормальных условиях требовать от общества единства во мнениях и выдержки в действиях? К несчастью, эти условия, как видно, не скоро минуют.

По слухам, доходящим из Петербурга, за программу, изложенную в Вашей книге, идет теперь сильное течение в официальных кругах; уверяют даже, что в будущем, судя по нынешнему расположению лиц, представляющих будущее, успех ее почти обеспечен и что даже ныне или завтра он весьма вероятен.

Слухи эти находят косвенное подтверждение в совершившемся факте. Вопреки смыслу Высочайшего рескрипта 29 января 1865 года, огласившего на всю Россию, что «ни одно сословие не имеет законного права говорить именем других сословий», петербургскому дворянству недавно было разрешено в сословном своем собрании подвергнуть обсуждению вопрос всесословного интереса о новой организации волостей, вопрос земский по существу, и перед тем только что обсуждавшийся в земских собраниях.

Итак, наступает, по-видимому, новый законодательный и вместе общественный кризис; надвигается новая историческая напраслина сверху, и нам остается привести себя в такое

же настроение духа, с каким покорный пациент, привязанный к постели, готовится встретить не по разуму усердного фельдшера, охотника до трудных операций и сбирающего учинить опыт над anima vili.

Неисправимый славянофил, я все-таки верю, что Россия, уйдя внутрь себя, оттерпится и на сей раз и не умрет под ножом; но когда она очнется, ощупает себя и станет на ноги, найдет ли она при себе прежнюю свою веру в правительство, в крепость его слова, в твердость его намерений, в прочность и надежность его творений? – вот, мне кажется, о чем следовало бы подумать прежде, чем браться за лом.

Ответ мой на Ваш обязательный вызов далеко перерос позволительные размеры письма, а вопрос все-таки далеко еще не исчерпан. В надежде, что Вы при случае не откажете мне в возможности продолжить на словах беседу, начатую письменно, прошу Вас покорнейше принять уверение в глубоком моем почтении и преданности.

Юрий Самарин.

НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ

Два слова о народности в науке

В программе «Русской Беседы» сказано между прочим, что одною из главных целей сего издания будет посильно содействовать к развитию русского воззрения на науки и искусства. Эти слова вызвали со стороны «Московских Ведомостей» замечание, «что ведь науки и искусства допускают лишь одно воззрение, *просвещенное,* следовательно, *общечеловеческое».* Издатели «Русской Беседы» в следующем № «Ведомостей» сказали несколько слов в защиту своей программы; а «Московские Ведомости», удерживая за собою свое мнение, повторили его с некоторыми пояснениями.

Напоминая об этом читателям, мы вовсе не думаем возобновлять полемику с уважаемою нами газетою, не с этою целью беремся мы за перо. Но мы считаем небесполезным сказать несколько слов для уяснения общего вопроса, которого вскользь коснулись «Московские Ведомости» и о котором не раз толковали другие наши журналы: вопроса о значении и законном участии народности в развитии науки. Сперва постараемся определить как можно беспристрастнее и точнее тот взгляд, из которого вышло сомнение, выраженное «Московскими Ведомостями».

Задача науки – в постижении сущности явлений. Чем полнее и чище они отражаются в познающем разуме, чем

менее возмущается этот процесс духовного отражения случайным характером познающего лица и посторонними обстоятельствами, тем свободнее и стройнее явления собираются в группы, тем яснее выдается их внутренний смысл из случайной их обстановки, тем безошибочнее определяется закон их последовательного развития. Народность может быть предметом постижения как объект науки; но народность, как свойство постигающей мысли, ведет к произволу, односторонности и тесноте воззрения. Таким же образом проявляется в ученом труде влияние века на мыслителя и вообще преобладающее влияние какого бы то ни было условия или начала, которому сознательно или бессознательно подчиняется мысль. Мысль, по существу своему, бесстрастна и бесцветна, и потому ученый, не умевший или не хотевший очистить себя от представлений, понятий и сочувствий, прилипающих невольно к каждому человеку от той среды, к которой он принадлежит, не может быть достойным служителем науки. Кто вносит случайное и частное в область мировых идей, тот выносит из нее, вместо общечеловеческих истин или верного отражения предметов в сознании, представления неполные, образы изуродованные и прихотливо расцвеченные.

Совершенно то же говорилось и печаталось у нас еще недавно о художестве. Поэзия есть воспроизведение идеи или сущности явлений в живом образе. Идея достояние всего человечества, а форма, хотя и взятая из области случайного, очищается от всего случайного и просветляется насквозь идеею; следовательно, в художественном творчестве участие народности незаконно. Это последнее применение общего понятия об отношении человеческого к народному теперь устарело и откинуто вместе с бесчисленным множеством всяких предубеждений, вытесненных неразумным сознанием, но, по закону моды, переживших свое время и успевших надоесть публике от частого их повторения; да и ошибочность его слишком явно бросалась в глаза. Самое поверхностное изучение великих памятников искусства, в

связи с местом и временем их появления, приучило нас не дичиться народности в сфере художества. Мы поняли, что не создал бы «Божественной комедии» Данте, если б он не был итальянцем и католиком; что Гёте был одним из полнейших проявлений германского духа. Наконец, со времени появления между нами Гоголя, мы уразумели, что не только неисчерпаемое богатство художественных представлений, которых и половины он не успел нам открыть, почерпнуто им из нашей народности, но что он сам как художник своеобразен и велик именно потому, что его воспитала Россия, а не другая народная среда. Было бы позволительно предоставить времени произвести такую же реакцию и против теперешнего гонения на народность в деле науки; но мы мало ценим успех от пресыщения и потому, не избегая и не откладывая спора, приступаем прямо к уяснению возбужденного нами вопроса. Недоразумения лежат на нем, как отвердевшие слои наносных понятий, и мы будем довольны, если нам удастся снять хоть самые тонкие.

Боссюет, католик и француз, один из первых ученых, пытавшихся постигнуть закон всемирной истории, смотрел на Реформацию как на уклонение человеческого разума от нормального пути и объяснял ее вторжением страсти и произвола в область вечной, общечеловеческой истины. Немецкие и английские историки, протестанты по вероисповеданию или по образованию, смотрят на то же явление как на блистательную победу, одержанную духовною свободою человека над ограниченностию средневекового религиозного сознания. Которое из этих двух воззрений просвещенное и общечеловеческое?

Мы вправе в вопросе о национальности указать на противоположность воззрения католического и протестантского, во-первых, потому, что католицизм есть такое же несомненное проявление в области религии романской стихии, как протестантизм – проявление германской; во-вторых, потому, что, говоря о русской народности, мы понимаем ее в неразрывной связи с православною верою, из которой истекает вся

система нравственных убеждений, правящих семейною и общественною жизнию русского человека.

Придерживаясь понятия о народности в более тесном и материальном смысле, было бы так же легко подобрать в первоклассных творениях примеры противоположности полных, выработанных воззрений на историческое значение и характер целых племен, истекающей из народных сочувствий или предубеждений великих писателей, которым, однако же, никто не откажет ни в просвещении, ни в общечеловеческих заслугах. Еще очевиднее проявляется влияние политической партии или теснейшего круга людей, с которыми автор связан сочувствием. Мы недавно видели тому пример. Маколей, одно из светил современной исторической науки, в «Опыте о войне за наследство испанского престола» определяет следующим образом существенную разницу между партиею ториев и партиею вигов. Виги – голова, а тори – хвост; где ныне стоят первые, туда через сто лет доползут вторые, из чего следует, что историческое оправдание целой половины британского общества, заявившей себя на всех страницах английской истории, заключается в отрицательном свойстве тупоумия. Весьма вероятно, что историк, равносильный Маколею по дарованию, но воспитанный в сфере других понятий, не изменяя общечеловеческим началам и просвещению, не затруднился бы ответом на этот приговор.

Не только в области истории, но и в других науках, занимающихся человеком, а не природою, например, в науке права, в философии, в политической экономии, встречаются на каждом шагу столь же резкие противоположности, которых корень – в различии точек зрения на один и тот же предмет, основных убеждений и прирожденных сочувствий, на которых, как на данном материке, воздвигается веками народное и личное просвещение. Как не потеряться в них, как сохранить свободу мысли? Как избегнуть невольной односторонности? – «Очень легко; держитесь крепко просвещенного и общечеловеческого, не подчиняйтесь ничему народному» –

так теперь говорят у нас. Сто лет тому назад во Франции говорили: «Suivez la divine raison, elle vous sauvera de l'erreur»*; но много ли уцелело из того, что было отмечено клеймом «de la divine raison»? Увы! Еще не родился тот гений, который бы размежевал всю область человеческого ведения на две полосы и поставил между ними столбы с надписями: «образованное и человеческое – ложное и народное».

Когда, по закону исторического преемства, народ вызывается во главу человечества и к нему переходит умственное достояние всех племен, отслуживших до него свою службу, сделанные ими открытия в области механики, естественных наук и введенные ими усовершенствования в материальном быту перенимаются просто и бесспорно. Но не так легко обходится дело при усвоении лучшей доли умственного наследства: замкнувшаяся система просвещения принимается под условием строгой поверки самых основных ее положений; то, что казалось навсегда поконченным, подвергается пересмотру и часто делается снова вопросом, разрешением которого поглощается много и много свежих сил. Фактическое и постоянное участие народности в образовании самостоятельных воззрений на предмет науки, кажется, не подлежит спору; но этим еще не оправдывается направление, называющее себя народным. Нам могут возразить: «Примерами, вами же приведенными, подтверждается, что народность и односторонность в деле науки – одно и то же; это – неровное зеркало, в котором искривляется отражаемый предмет; в применении к живому организму, это – недуг, болезнь ума; а вы, вместо того, чтобы приискивать против нее лекарств, даете обещание стараться всеми силами, чтоб она плодилась!».

Допустив основательность возражения и обратив его положительною стороною, мы получим, в применении к прежним приведенным нами примерам, следующее требование: историк не должен быть ни католик, ни протестант, ни француз, ни немец; он не должен принадлежать ни к какой поли-

* Следуйте заповеди Божьей, она спасет вас от прегрешений *(фр.)*.

тической партии, ни к какой философской системе; он должен быть просто историком. Пусть так! Но возможно ли это, и не предъявляем ли мы такого условия, при котором сама наука существовать не может?

Определяя ее задачу как постижение сущности предметов, как возведение в понятие дробных явлений, не выражаем ли мы требования отделить существенное от случайного, законное от незаконного? Вникая в логическую связь целого ряда однородных явлений, не исходим ли мы из того основного убеждения, что все живое развивается, а понятие развития не заключает ли в себе понятия внутренней цели, идеала, стремящегося к полному своему проявлению? Закон человеческих стремлений в какой бы то ни было области, верховный закон, которому все они подчиняются, задача человеческого развития, цель человеческого бытия – все эти понятия могут ли быть усвоены иначе, как в форме положительного учения, определяющего точку зрения мыслителя? Без них невозможна даже история, в которой, по-видимому, все дается объектом, а от мысли требуется только мудрое воздержание; но и сама история, как простое записывание случившегося, уподобилась бы ряду метеорологических наблюдений над погодою и потеряла бы достоинство науки.

Конечно, потребность возведения всех понятий, ежечасно нами употребляемых, к стройному единству, потребность разумного их усвоения, сродная человечеству и каждому народу в лице двигателей его просвещения, может не встречаться не только в массах, хранящих в себе народность как духовную стихию, но даже в так называемой образованной публике. Каждое общество имеет свой собственный капитал, с которого большинство получает проценты и пробавляется ими, не спрашивая, велик ли он, в чем состоит и как образовался. От поверхностно, но многосторонне образованных людей, которые так недоверчиво смотрят на общие начала, определяющие характер нашего воззрения на все окружающее, мы слышим беспрестанно суждения и отзывы, ясно указывающие на присутствие в них основного слоя отверделых

понятий и представлений, о котором они сами не ведают; но внимательная мысль, не совсем чуждая философских приемов, легко открывает этот неприкосновенный умственный капитал, лежащий в их голове, как лежат в сундуках под надежными замками акции торговых компаний. Попытайтесь взять под руку этих людей, всегда готовых ополчиться на всякое определенное, по их же понятиям, ограниченное воззрение, и довести их по ступенькам от применения к основным посылкам, от частного к общему: и они придут в изумление, открыв в себе свод понятий, систему, определенные предпочтения, к которым они приобщились умственно, сами того не замечая. На поверку выйдет, что мнимое беспристрастие, общечеловечность и отрицательная свобода их воззрений в сущности есть бессознательность. Правда, между разумным приобщением своей мысли к определенной системе понятий и бессмыслием существует середина. Можно избегнуть той и другой необходимости, приняв за правило все новейшее провозглашать совершенным; но что значило бы в области науки подчиниться тому закону, который полновластно господствует в области моды?

Мы, по-видимому, уклонились от предмета, но только по-видимому. Мы сказали, что всякое воззрение предполагает точку зрения, всякий акт мышления – исходное начало. Если от избранной или данной точки зрения зависит характер воззрения и самый вывод, то бесспорно мы должны признать в ней как возможность ошибки, так и необходимое условие всех открытий и успехов в области знания.

Искренний католик, по резко определенной ограниченности своего взгляда, лишается способности высказать полную правду о борьбе римской церкви с Реформациею: зато он постигнет и внесет в науку не только все великое и общечеловеческое, созданное католицизмом, но и самые глубокие, психологические условия, вызвавшие явления западного католицизма.

Ревностный протестант не оценит мирового значения римской церкви; но зато ему как протестанту удастся объяс-

нить всем двигательную силу, смысл и дух Реформации. Если бы Маколей не сдружился всем существом своим с вигизмом, кто знает, увидали ли бы мы живой, изящный образ Галифакса? Немецкий историк, может быть, превратно представит в своем рассказе характер борьбы германских государств со славянскими племенами. Он не уразумеет вполне восстания гусситов и увидит в них не более, как грубых предвестников Лютера и Кальвина. Он проглядит заслугу, оказанную Западной Европе Польшею, сдержавшею в продолжение целого века напор турецкого завоевания, и заслугу России, изжившей на себе давление монголо-татарского племени, победившей его и через это укрепившей за собою право мирного на него воздействия. Зато он яснее других почувствует и живее передаст мировое значение германского племени в судьбах человечества: ни одно проявление германского духа не ускользнет от его сочувствия и, через его народное воззрение на историю, хотя бы и не чуждое односторонности, войдет в общее достояние науки и сделается доступным для общечеловеческого разумения участие в истории одного из великих народных деятелей.

Мысль, познающая как орган науки, достигает до полного своего развития и могущества только при условии совокупного и сосредоточенного участия в процессе постижения всех сил и способностей духа. Воля придает мысли постоянство напряжения, побуждая и сдерживая ее; теплое сочувствие согревает мысль и вооружает ее безошибочностью духовного инстинкта, угадывающего в исторических явлениях едва проявленные движения человеческой души. Мы говорим здесь не о той, если можно так выразиться, отвлеченной любви к предмету, без которой никакой истинно ученый труд невозможен, которая рождается от самого труда, возрастает по мере встречаемых препятствий, но которая вовсе не зависит от прямого отношения познающего лица к объекту; так, например, специалист пристращается к букашкам или к одному виду растений. Не об этой любви к предмету идет речь. Между мыслью, воспитанною в среде

народности, и рядом исторических проявлений той же народности на всемирном поприще существует более прямое и близкое сродство, вследствие которого мысль преимущественно становится способною овладеть для науки именно теми явлениями, в которых она сама с собою встречается и узнает себя. Можно ли отрицать, что русскому, потому что он русский, и в той мере, в какой он русский, дух нашей истории, мотивы нашей поэзии, весь ход и все настроение народной жизни откроется яснее и полнее, чем французу, хотя бы последний овладел вполне русским языком и такою массою материалов, какою никогда не располагал ни один русский ученый?

Повторяем опять: все это применяется не только к истории в тесном смысле, но и к другим наукам. В развитии политико-экономических теорий учение физиократов, раскрывших участие производительных сил земли в образовании народного богатства, должно было возникнуть во Франции, а меркантильная школа – в Англии. Даже в той науке, которой предмет, по-видимому, отрешен от всякой связи с народностью, – в исследовании законов отвлеченного мышления, – французы, по особенному складу своего ума, были, по преимуществу, призваны раскрыть процесс постижения путем опыта, исчерпать процесс образования понятий из ощущений, передаваемых путем внешних чувств; а Гегель имел полное право сказать, что всю свою философию он извлек из немецкого языка, иными словами: он высвободил, уяснил и облек в наукообразную форму те понятия, которые лежали как элементы в народном сознании; ибо язык есть творение целого народа и, может быть, самое светлое отражение его духовной природы.

Мы приходим к убеждению, что именно народность мысли, определяя как бы специальное ее назначение в области науки, наводит ее на пути к открытиям, постепенно раздвигающим пределы общечеловеческого знания. Это, кажется, бесспорно, но еще не все. Заключая в себе возможность односторонности воззрения или пристрастия, народ-

ность познающей мысли в то же время представляет нам ручательство за постепенное освобождение от пределов, ею же полагаемых.

Если католик внес в область науки свое ограниченное воззрение на римскую церковь, если лютеранин так же односторонне определил значение Реформации, если ни от того, ни от другого мы не можем ожидать последнего слова, определения взаимного отношения двух вероисповеданий, то почему не допустить, что произнести это слово призван тот, кто не участвовал в борьбе, не заразился возбужденными ею страстями и, по возвышенности своей точки зрения, стоит над сторонами, ведущими между собою спор? Если таково призвание православного мыслителя, то не ясно ли, что оно выпадает ему не ради превосходной силы его ума, а единственно потому, что мысль его воспитается в другой духовной среде и что примирение противоположностей будет ему доступно не только как требование религиозного сознания, но как осуществленный факт в полноте духовной жизни православной церкви. Обнаружение односторонности выработанных воззрений и примирение их путем возведения противоположностей в высший строй явлений, может быть, предстоит нам и в других областях знания.

Может быть, вопросы об отношении личной свободы к общественному предустановленному порядку, о соглашении выгод сосредоточенности поземельного владения (la Grande propriété) и раздробления земли на мелкие участки (la petite propriété) и многие другие найдут свое разрешение именно у нас, вследствие того, что наука найдет их в жизни и взглянет на самые вопросы с новой точки зрения, на которую поставит ее народная жизнь. Может быть так же, что это мечта; но возможность подобного участия в решении поставленных вопросов оправдывается прошедшими веками. В ответ на мировой запрос история не приносит логической формулы, а выводит на сцену нового деятеля, живой быт свежего народа, и, много спустя, мысль, воспитанная в сочувствии с ним, возводит его на степень поня-

тия и переносит из действительности в область науки как понятие, как закон.

Итак, призвание народности в деле науки представляется в двояком виде. С одной стороны, сродство мысли познающей с мыслью, проявившею себя исторически, заключает в себе одно из существенных условий постижения внутреннего смысла и побудительных причин, вызвавших эти проявления. С другой, непричастность народного воззрения к предубеждениям и односторонностям, налагающим свое клеймо на воззрение других народов, дает возможность общечеловеческому воззрению постепенно расширяться и освобождать себя от тесных рамок, временно его ограничивающих. К сожалению, эти понятия, столь простые и, кажется, ни для кого не обидные, сделавшись предметом литературных толков, породили вокруг себя множество совершенно произвольных представлений. Потребность народного воззрения многие принимают за желание во что бы ни стало отличиться от других, как будто бы в этом отличии заключалась цель направления. Им кажется, что ученый, садясь за свой рабочий стол, задает себе задачу выдумать, изобрести русское народное воззрение, например, хоть на феодализм. Нельзя же ему повторять, что сказали Гизо или Гриммы: то были немцы! И созданный воображением труженик, несчастная жертва воображаемых дурных советов, грызет перо, потирает себе лоб и губит время в бесплодной гоньбе за оригинальностью. Но вольно же в такой форме представлять себе участие народности в развитии науки! Неразумное, безотчетное и преднамеренное отрицание чужого потому только, что оно чужое, при недостатке своего, при внутренней пустоте, не поведет к расширению области знания; этого никогда никто и не утверждал. Напротив, при обилии понятий, почерпнутых из народной жизни, при богатстве внутреннего содержания, никогда пользование чужими трудами не поработит мысли. Здравое понятие о народности ограничивается, с одной стороны, боязнью исключительности, с другой – боязнью слепого подражания.

Эта последняя боязнь, имевшая бесспорное основание в первоначальных приемах науки, пересаженной в Россию из Западной Европы, теперь начинает исчезать. Мы слышим беспрестанно, <что> слепое подражание не годится, и мы готовы сочувствовать всякому противодействию его крайностям. Но все ли, повторяющие эти слова, ясно сознают, что такое золотая средина, что такое крайности и при каких условиях, какими средствами можно от них уберечься? Вооружившись скребками и ножницами, подскабливая и обрезывая то, что покажется нам крайностью в чужом воззрении, мы не спасем своей умственной самостоятельности; перепечатывая чужое творение с заменою превосходной степени положительною там, где почудится нам признак излишнего увлечения, мы только обесцветим чужую мысль или откинем выводы, признавая основные посылки. Всех этих механических приемов чуждается живой процесс усвоения народным сознанием чужой образованности. Если нужно для уяснения его прибегать к сравнению, мы указали бы на разнообразные проявления закона химического сродства. Когда, при известных условиях, какой бы то ни было элемент приводится в соприкосновение со сложным телом, он осаживает некоторые из составных начал его, а другие привлекает к себе в силу какого-то внутреннего сочувствия и, сочетавшись с ними, преобразуется в новое вещество. Но такое усвоение чужого в химическом процессе, так же как и в умственном заимствовании, требует не пустого вместилища, а совершенно самостоятельной, качественно определенной стихии. Чем больше в ней силы и чем она цельнее, тем неотразимее она притягивает к себе и отталкивает от себя. Итак, этот выбор, это заимствование, под условием устранения крайностей, это предварительное испытание чужого, к которому нас приглашают, требует прежде всего надежного закала испытующей мысли в живой струе народной жизни. Народность есть больше, чем объект для мысли; сама мысль должна получить от нее свое образование; ибо как в истории общечеловеческие начала проявляются не иначе, как в

народной среде, так и в области науки мысль возводит эти начала в сознание через ту же народную среду.

Таковы понятия наши о значении народности в науке и об отношении народного к общечеловеческому. Если нам скажут, что эти понятия уже приняты всеми бесспорно, то нам остается только радоваться, удостоверясь, что цель «Русской Беседы» совпадает так верно с господствующим направлением общественной мысли. Это убеждение вознаградило бы нас вполне за отсутствие оригинальности, которая бы отделила резкою чертою наше литературное предприятие от других современных изданий. Мы не гоняемся за оригинальностью. Если все заодно с нами, тем лучше для нас. Область русской народности так обширна и богата, что излишества рук нет повода опасаться и, сколько бы ни явилось делателей, каждый, не стесняя других, найдет себе посильный урок.

О народном образовании[*]

В № 23 и 24 «Земледельческой Газеты», имеющей, как известно, огромный круг читателей и заслуженный авторитет, напечатана недавно статья г. Великосельцева, доставленная из Пензенской губернии, под заглавием «Заметки о связи между улучшенною жизнью, нравственностью и богатством в крестьянском быту». С этою статьею желали бы мы познакомить читателей «Р<усской> Беседы», как с новою и любопытною, данною для разъяснения вопроса, в настоящее время занимающего многих, – об отношении нашей народности к западному просвещению.

Мы слышим с разных сторон, что период рабского подражания давно миновал у нас, что предостерегать против подражательности в настоящую пору дело не только запоздалое, но даже вредное, и что уже теперь с противоположной

* Напечатано в «Русской Беседе», 1856, № 2 *(прим. Д. Самарина.)*

стороны угрожает нам новая беда – безмерная самонадеянность, неуважение к науке и невежество*. Эти смертные грехи, говорят нам, неразлучны с убеждением, что всякий цельный народ живет своею, а не чужою жизнью, что в живом народном быту проявляются не одни только способности, ни на что не направленные, а положительные стремления, указывающие на определенные начала, и что из них развивается самостоятельное воззрение, которому суждено рано или поздно занять место в науке. Откровенно сознаемся, мы не умели высмотреть этой опасности; даже теперь нам кажется, что чувство самонадеянности так же естественно может быть возбуждено созерцанием наших собственных, действительных или мнимых, открытий, преувеличенною оценкою того, чем мы обязаны самим себе или что себе приписываем, как и благодарным признанием даровых преимуществ, которыми мы обязаны народным началам или историческим условиям. Мы также не видим причин отказаться от прежде высказанного мнения, что мы далеко еще не освободились от подражательности; но, напротив, убеждаемся более и более, что, по своей живучести, она беспрестанно меняет свои формы и через это ускользает в нас самих от самого зоркого наблюдения. Правда, мы теперь уже не решаемся с прежнею наивностью проповедовать поклонение чужеземному, потому что оно чужеземно; но какая в том польза, если умственные плоды долговременной подражательности до сих пор еще составляют обильный запас не фактических сведений, которыми мы бедны, а бессвязных, не соглашенных между собою понятий и представлений, когда-то принятых на веру, потом усвоенных привычкою и теперь применяемых нами бессознательно, как общечеловеческие истины, как безусловные законы и правила? К несчастию, нам удалось уверить себя, что, присвоив себе наставнические приемы и ставши в наставническую позитуру перед своею народностью, мы через это будто бы поднялись на высоту, недоступную никакому пристрастно-

* См. «Русский Вестник», № 9 (стр. 69 в отделе Совр. Лет.), статья о народности в науке г-на Чичерина *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

му увлечению. Оттого-то нам так трудно убедиться, что под этим мнимым бесстрастием скрывается невольное пристрастие к чужому и неумение сочувствовать своему.

При таком настроении умов ничто не может принести такой пользы, ничто не заслуживает такого признательного внимания, как именно те явления мысли, в которых наши несознанные заблуждения резко выступают наружу и, как будто невольно, сами напрашиваются на заслуженное осуждение. Никогда самые строгие противники господствующего воззрения не нанесут ему таких ударов и не разоблачат так беспощадно слабых его сторон, как неосторожные его последователи, верные основному началу и безбоязненно, не оглядываясь по сторонам, проводящие его сквозь все применения. Пускай другие от них отрекаются и называют их выводы крайностями. Мы сами знаем, что очень часто здравое чувство истины и меры у большинства действительно образованных людей спасается через непоследовательность от требований логики. Это счастье, и было бы непростительно не ценить его и приписывать всем или многим крайности одного. При всем том, повторяем, крайности для всех поучительны. На них невольно останавливается внимание, и самый рассеянный ум, поражаясь их уродливостью и в то же время сознавая их неоспоримую связь с целым кругом господствующих понятий, естественно побуждается исследовать, не скрывается ли в самых этих понятиях незамеченное прежде, может быть, нечувствительное уклонение в сторону от прямого пути, и наконец, самое начало, из которого эти понятия исходят, не носит ли односторонности в своем корне. Дело критики, по возможности, проследить родословную нечаянно явившейся мысли; затем принять или не принять ее – дело читателей.

Прежде всего мы должны подробно и, по возможности, словами самого автора изложить содержание его статьи.

Он задает себе вопрос: отчего пензенский крестьянин лишь оторвется от забот, то тотчас ищет развлечения вне дома, тогда как, наоборот, промышленный ярославец от

своего дела спешит домой, в семью, перемолвить слово с женою? Отчего второй вообще смышленее первого, нравом мягче, не дичится улучшений, сына учит грамоте и живет опрятнее*?

«Пензенский крестьянин, — отвечает сам себе автор, — страдает ленью ума, и ничто в его быту не подстрекает его избавиться от этой болезни. Остановитесь дорогою в избе, заговорите с полуграмотным мужиком, о чем угодно; вы заметите, что он охотно заведет речь о чугунке, о паровике**, даже о рычаге и грамоте, все это в меру своих младенческих понятий; но видно, что все это его бессознательно интересует, что ему хотелось бы обо всем этом поближе разузнать; еще шаг – и его положительный ум приведет его к мысли о необходимости поучиться. Но что-то пыхтит близко вас и ворчит

* Кажется, этот вопрос разрешается очень просто. Мы обыкновенно ищем развлечения вне обычного круга наших занятий; пахарь же круглый год – дома, в деревне, а промышленник – на стороне, в городе. Промышленник испытывает более разнообразных впечатлений извне, образуется снаружи; поверхность его скоро шлифуется, иногда в ущерб нравственности; наоборот, пахарь, заключенный в более тесной и однообразной среде, образуется размышлением, если можно так выразиться, изнутри, гораздо медленнее, чем промышленник, зато прочнее. Он более дорожит своими убеждениями и держится их тверже. Промышленник склоннее к грамоте, потому что она для него нужнее, а живет опрятнее потому, что его занятие чище. Таковы общие отличительные свойства земледельческого и промышленного сословий, и не в одной России, а повсеместно *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

** Не понимаем, какая может быть охота заводить мимоходом разговор о чугунке и о паровике с полуграмотным степным крестьянином, который никогда их не видал (дай Бог, чтобы увидел!) и не может составить себе о них никакого представления, ни даже вразуметь самой их возможности по недостатку необходимых приготовительных понятий. У нас думают, что можно в крестьянине пробудить охоту к учению, озадачив его на первых же порах рассказами о предметах самых отдаленных от его обыкновенного круга понятий и действий! Напрасно! У крестьянина так мало досуга, что в жизни его почти нет места для любопытства. Он примет с участием только то, что имеет непосредственное отношение к духовным и нравственным вопросам, близким каждому человеку, особенно же русскому крестьянину, или что применяется к его быту, – иными словами, что может содействовать к его образованию. Конечно, гораздо легче сразу обдать его массою отрывочных сведений, чем самому научиться новое предлагать ему в связи со старым, уже знакомым ему *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

в досаде; это пыхтящее существо есть безобразная *чучела**, безобразно, грязно одетая, которая развалилась на печи, на полатях или на скамье, не помышляя о том – благопристойна или нет ее артистическая поза; это существо – *баба;* она услышала что-то для нее особое, непривычное – и испугалась, чтобы эта выдумка не подействовала на нее».

«Отчего же происходит это замечательное различие между нашим мужиком и бабою? Дело просто: мужик более развит, он *и работает, и ездит на базар,* видит и слышит то и другое; невольно ум его приходит в некоторое движение; трудом тела возбуждается также до некоторой степени и труд ума**. Баба же сидит дома, никого и ничего, кроме поля да печи, не видит***, ничто не привлекает****, ничто не *рассеевает******, ничто не интересует, следовательно, ничто не развивает ее; ей бы только *поесть и поспать*******. Других потребностей она не знает, даже потребности нравиться, столь сродной женскому характеру*******, что□,

* Сколько в этом изображении гуманности и сочувствия к меньшей братье! *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

** Стало быть, в Пензенской губернии женщины не работают; мы это примем к сведению *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

*** Крестьянин сверх того видит еще и базар: это, по мнению автора, главная школа образования *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

**** Итак, муж, дети, дом, все это для нее не существует? *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

***** Рассеяние – вот первое, существенное условие образования *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

****** Хотелось бы спросить: кто в Пензенской губернии на ранней заре отправляется за водою, потом затапливает печь, месит тесто, печет хлеб, готовит обед и ужин, кто ежечасно отрывается от дела и подбегает к люльке, чтобы накормить расплакавшегося грудного ребенка; кто копается на огороде, убирает сено, раскидывает навоз, жнет и укладывает снопы на телеги; кто треплет лен и коноплю, стрижет овец, доит коров, моет шерсть, прядет, выделывает холст и сукно, шьет и чинит белье на весь дом, и пр. и пр.? Вероятно, на все это имеется в каждой избе особая кормилица, гувернантка, стряпуха, швея, а для ряженых работ батрачки. Завидное житье пензенских неработающих баб! *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

******* Мы увидим ниже из слов самого же автора, что баба во всем приноравливается к требованиям и вкусу своего мужа, следственно, старается ему нравиться, только не так и не в том, в чем бы хотелось автору *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

однако же, как известно, нисколько не образует беспорочности и не мешает в этом мире, так называемым в романах*, *нежным слабостям;* только здесь они являются в виде простого скотского побуждения или ради пары грошей».

«Это беспечное нежелание нравиться баба, разумеется, сохраняет в особенности к мужу; муж, возвращаясь домой, не находит ничего для него привлекательного, кроме печи. Естественная стихия женщины есть изящество; источник этой стихии, играющей столь важную роль в образовании человека, для мужика не существует; оттого он и придерживается кабака».

«Само собою разумеется, что, при указании на эту причину, рассматриваемый индивидуум (индивидуум, которого автор подвергает рассмотрению, есть тот же пензенский крестьянин) не согласится с вами, как китаец не согласится с убеждением европейца. Он убежден (то есть китаец или русский мужик), что так это и должно быть, что бабе в доме не командовать** и что нечего о ней заботиться. Вследствие этого баба грязнеет и опускается».

«Не знаю отчего, но только трудно найти страну, где бы деревенские женщины так дурно одевались и сами были так дурны, как в здешней (Пензенской). Мужчины – другое дело: при окладистой бороде и широких плечах, они смотрят ничем не хуже какого угодно из европейских земледельцев***, хотя несколько приземисты; но женщины! о, они настоящие

---

* Ниже автор признает необходимым ввести в круг образования крестьянок чтение романов. Уж не с тем ли, чтобы научить их называть нежными слабостями то, в чем выражается скотское побуждение или корыстолюбие? *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

** А разве, по мнению европейца, написавшего статью, должно быть наоборот? Советуем ему справиться, каково бывает житье в тех домах, где командует баба *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

*** Лестно! но не слишком ли много уступлено? Как бы не породил этот отзыв такого же самохвальства, какого опасаются от выраженного желания, чтобы мы, подобно другим европейцам, смотрели на самих себя и на весь мир своими глазами и думали своим умом? *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

бабы[*], и неведомо отчего это происходит, но только, не говоря о муже, даже на посторонних вид их не может не наводить уныния...»

«Но кто же виноват в этом безобразии крестьянок, в их неопрятности, в их закоснелости, даже в их безобразной одежде? Отчасти и сами крестьяне, которые умышленному неизяществу жен своих покровительствуют, а иногда его и требуют»[**].

«Только до замужества крестьянки наши стараются нравиться[***]; выйдя же замуж, они, кажется, употребляют все меры, чтоб казаться как можно безобразнее, и в том даже по-

---

* Кажется, это слово, в понятиях автора, имеет какое-то особенно выразительное значение. Что бы сказал он, узнав, что даже в Германии простой человек называет женщину бесцеремонно Weib (женщиной под рукой. – *Нем.),* даже Weibstuck (бабешкой. – *Нем.),* тогда как у него под рукою meine Dame, gnedige Frau? (благородная фрау. – *Нем.) (прим. Ю.Ф. Самарина).*

** Итак, вот в какой безвыходный круг мы попали. Мужик пьянствует и дремлет умом, потому что дома ему скучно; дома же скучно, потому что жена его безобразная чучела, лежащая на печи и наводящая уныние своим видом; но на поверку выходит, что сам же муж убежден, что баба должна быть именно такою, какова она есть: он сам этого от нее требует. Как же быть? С кого начать, за кого приняться? Чувствуем, что хлопот будет много и что дело не обойдется без благодетельного вмешательства посторонней власти, которая одна может привить стихию изящества к русским китайцам *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

*** В этом замечании много правды. Из наших народных песен и обычаев (как это заметил первый К.С. Аксаков, от которого «Р<усская> Беседа» ожидает подробной статьи о народном быте по песням) действительно видно, что в понятиях русского человека женщина только до замужества живет для себя и, говоря словами автора, старается нравиться, кому хочет. С выходом замуж эта веселая, беззаботная пора сменяется другою, более строгою. Начинается труд, подвиг жизни и постоянное жертвование собою мужу, семье и дому. Жена, мать, хозяйка живет уже не для себя, а для других и все свои требования и вкусы подчиняет желаниям и воле своего мужа, главы семейства. Ему одному она старается угождать и нравиться, как это ясно вытекает из слов самого же автора. Но весь этот порядок (мимоходом будь сказано, в основных понятиях совершенно сходный с воззрением англичан на семейную жизнь) не нравится автору. Так ли процветает семейная жизнь в тех обществах, где девушек до замужества держат в монастырях или пансионах и где с выходом замуж они вырываются на волю и начинают искать развлечения? *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

ставляют какое-то полудикое достоинство. Как это ни покажется с первого взгляда странным, но для благосостояния страны нужно, чтоб и крестьянские женщины в известной степени были красивы, развиты умом и даже... прошу не прогневаться, хорошо одевались; то есть не то чтобы в богатые ткани, а в свои бедные, но с некоторою заботливостью об опрятности, даже со вкусом, и вкусом не каким либо калмыцким или китайским, а *общеславянским,* для чего можно принять за образец *Малороссию**, где, на взгляд многих, и народная женская одежда хороша, и сами женщины недурны... Поверьте, что эти кажущиеся пустяки принесут большую долю счастья стране, точно так же, как глоток какой-нибудь благодетельной микстуры, глоток, *данный насильно***, поднимает человека с одра болезни и заставляет впоследствии благословлять свою судьбу».

«Скажу более, и не ради шутки, а ради дела: вовсе бы не худо деревенским женщинам, примерно хотя до 30 лет, заботиться о своей талии. Здесь не в корсете дело; но неужели нельзя обойтись без безобразной и вредной своим нажимом повязки сверх грудей? Женщина без талии то же, что мужчина в халате; женщина с талиею то же, что мужчина в сертуке***. От сертука человек развязнее, ловчее в своих движениях; развязная же женщина во всех отношениях и полезнее, и милее мужу, и при такой жене муж будет чаще дома, следственно, больше прилагать попечения о хозяйстве».

«Приобретя таким образом влечение к изящному, крестьянин и со скотом будет лучше обходиться, станет заводить улучшенные породы рогатого скота и лошадей, будет лучше

* За снисходительное допущение общеславянского вкуса приносим искреннюю благодарность; но не лучше ли прямо, без всяких переходов, одеть всех баб по *общечеловеческой моде? Если* вкус *малороссийский* жалуется в *общеславянский,* мы, право, не видим, почему бы не ввести, например, *швейцарский* костюм, произведя его предварительно в *общечеловеческий? (Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

** Просим обратить внимание на эти слова *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

*** Здесь так и просится в приложение модная картинка, по которой, кажется, образовался эстетический вкус автора *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

строиться*, начнет подстригать несколько свою бороду**, сделается сам ловчее, развязнее, не допустит за собою недоимки, уже не из опасения побоев, а просто от стыда***, и, взятый в рекруты, скорее сделается штуцерным стрелком...»

«Припомните, что все бывает грубо в обществе до тех пор, пока женщина не *просветится.* Смейтесь, сколько вам угодно; но, по-моему, необходимо надобно *добиться* до таких семейных отношений, чтобы крестьянин считал большим удовольствием поцеловать руку своей жены****. Не правда ли, это очень смешно?***** Мужик будет целовать руку у бабы! Если б об этом услышали наши деды, они бы удивились этому больше, нежели железной дороге. Но истина важнее всяких дедовских предубеждений. *Добейтесь* до установления таких *учтивых, нежных отношений* между мужиком и бабою, и все пойдет иначе: и воспитание детей, и исполнение общественных повинностей...»

«Но каким образом достигнуть всего этого? Не так трудно, как думаете. Вкус, умягчение нравов, как уже сказано, достигаются образованием женщины, а женщина лучше всего образуется примером... Но важный вопрос в том, что это за *вещество******* это пресловутое образование и как его пони-

* Итак, главная причина, почему у нас в деревнях нет еще улучшенных пород, а в степных местах дурно строятся, заключается не в недостатке хороших кормов, не в периодических падежах, не в отсутствии верного сбыта, не в скудости строительных материалов и затруднительности их привоза, а в неразвитости эстетического вкуса *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

** А со временем завиваться и помадиться? Будем надеяться! *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

*** Все это от введения малороссийской одежды и талии! *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

**** Итак, вот в чем состоит главный признак просвещения. Городничиха, в «Ревизоре», выражала то же понятие, но по-своему: ей хотелось, чтобы в доме все было *амбре...* Да! трудно будет этого *добиться* от русского мужика, и прежде чем *добьются,* придется многое и многих *добить (прим. Ю.Ф. Самарина).*

***** Правда, но в то же время и грустно! *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

****** Образование – вещество; просим заметить это слово. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

мать? Многие понимают его в наружном лоске, но это вздор*. И лоск, конечно, не мешает, но сущность образования главнейше должна состоять в понятиях о всем видимом мире, в знакомстве с человеческою деятельностью на пространстве всей вселенной; стало быть, тут нужна история и *хорошая*** география; не худо также прочесть несколько хороших романов. Что же касается до материального образования, до математики свыше арифметики, то подобные вещи женщинам почти не нужны***...»

«В помещичьих имениях цель лучше всего достигается, если умные, молодые помещицы будут окружать себя своими крестьянками хотя в виде *дворовых девушек*****, почаще с ними заниматься и разговаривать. Образованных таким образом *дворовых девушек* и должно *выдавать за крестьян******. Кажется, что брадатых мужей тут нечего пугаться******. Право, иная небритая борода, в особенности если она нежидкая и окладистая, красивее многих гладко выбритых».

«Здоровье и красота сельскому классу, в особенности женщинам, как матерям и образовательницам грядущих поколений, лучше всего достигается через улучшенную пищу и через некоторое облегчение в самых тяжелых крестьянских

* Действительно, есть такие люди; но автор так положительно уверяет, что это вздор, что ему нельзя не поверить. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

** Хорошо еще, что не *дурная! (Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

*** Программа составлена так мастерски и отчетливо, исчисленные предметы так полно и всесторонне обнимают очерченный круг образования – весь видимый мир и человеческую деятельность на пространстве всей вселенной, – что трудно было бы прибавить к ней или выкинуть из нее что-либо. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

**** Итак, прививка образования к крестьянам через дворовых – вот к чему сводится вся система автора. Нельзя отрицать строгой логики в выборе средств и совершенной их сообразности с целью *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

***** Заметьте: *выдавать.* Этого также нужно будет *добиваться,* и мы ручаемся, что из многих *насильных глотков,* ожидающих русского крестьянина, такая женитьба будет для него не самым сладким *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

****** В ком предполагается страх бороды, в дворовой девушке или в помещице? Вероятно, автор имеет в виду успокоить опасения помещицы, потому что она *выдает;* подбор женихов к невестам – ее дело *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

работах*, которые в таком случае следует мужчинам брать на себя**. Но обыкновенно*** преобладает мнение, что пища не имеет тут ни малейшего влияния...»

Автор доказывает, что это несправедливо, и продолжает: «Перемена крови в настоящем случае, как ясно каждому, невозможна, а потому и остается другими средствами улучшать наружность племени: поменьше золотух, чесоток, *побольше пляски, даже танцев*****, и других гимнастических упражнений, получше стол, и вот пройдет поколение, как прежнего племени уже не узнаете*****».

«Так вопрос об образовании сельского класса, взяв середину между опрометчивым преуспеянием и упрямою неподвижностью, может быть двинут вперед, не раскаиваясь в последствиях... Истина будет на стороне умеренных, на стороне избирающих середину».

* * *

Довольно! Просим чистосердечно извинения у издателей «Земледельческой Газеты», если мы неумеренно воспользовались правом всякого рецензента – приводить целиком замечательные места из разбираемого сочинения; но мы за-

---

* Помнится, выше было сказано, что бабы не имеют других занятий, кроме еды, спанья и лежания на печи; а теперь открывается, что они же исправляют еще какие-то тяжелые крестьянские работы. Не изменится ли от этого открытия и самое предположение о целовании рук? *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

** Этот совет очень хорош. Мужчины, как известно, ведут почти праздную жизнь, досуга у них много; так как бы им не взять, сверх обыкновенного своего, еще лишний урок? *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

*** Где же ведется такое обыкновение? *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

**** Любопытно бы знать, в чем разница между пляскою и танцами? *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

***** Заманчивое житье: тяжелые работы побоку, вместо их пляски, даже танцы, какие-то гимнастические упражнения, чтение романов... все это готовится деревенским бабам; и в заключение муж, принявший на себя всю тяжелую работу, по возвращении домой сочтет себя достойно награжденным, если жена позволит ему приложиться к своей руке. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

труднялись в выборе: мы боялись, представив одно сжатое извлечение, возбудить сомнение в верности передачи, и, наконец, мы хотели сохранить это живое движение подлинной речи, этот особенный колорит изложения, которым так удовлетворительно объясняется непосредственное отношение мысли писателя к русскому человеку, предмету его наблюдений и будущих опытов. Что же касается до читателей «Русской Беседы», то они, конечно, не упрекнут нас за длинные выписки. Не всякий же день удастся прочесть такую статью. Она говорит сама за себя, и мы уверены, что чтение ее не раз будет прерываться невольными восклицаниями. Но первое впечатление, произведенное неожиданностью, скоро остынет, и тогда, вероятно, многим представится вопрос: каким образом такая статья могла сложиться в уме писателя, из каких общих понятий и представлений мог возникнуть этот взгляд на вещи, какими сторонами он соприкасается с современным движением общественной мысли? Вот что бы мы желали теперь по возможности разъяснить. Переходя от частного применения к общим вопросам, мы естественно должны будем, кроме статьи г-на Великосельцева, принять в соображение и другие литературные произведения, неизмеримо далекие от нее по своему достоинству, но не лишенные с нею связи в цепи господствующих понятий.

Прежде всего нас поражает неоспоримая оригинальность этой статьи. Очевидно, что ничего похожего на нее не могло бы выйти в свет ни в Англии, ни во Франции, ни в Германии. Это чистый самородок, продукт нашей русской современной образованности. Здесь выразилось особенное, у нас развившееся отношение мыслящего наблюдателя к народной среде, из которой он вышел и на которую хочет действовать. Это отношение носит на себе ярко отрицательный характер, чего вовсе и не скрывает автор. Он весь проникнут сильным желанием добра меньшей своей братье; но, всматриваясь в нее, он морщится, грустно качает головою, отводит глаза с отвращением и сознается, что не находит в ней никаких зародышей, а разве только одну возможность при-

вивки желанного добра. Русский крестьянин – это какой-то китаец, закоснелый, бесчувственный, грубый, с превратными понятиями обо всем, не понимающий даже, чем должна быть для него жена, едва сохранивший способность вслушиваться в поучительные речи проезжего барина. Его жена – это какой-то урод по наружному виду и по отсутствию всех нравственных свойств, украшающих женщину; это не женщина, а чучела, словом – это баба. Вот что представляет действительность.

Но отрицательная сторона воззрения непременно дополняется положительною. Всякое суждение, без которого не может быть полного разумения чего бы то ни было в человеческой жизни, предполагает если не сознанный, то предчувствуемый закон. Мы говорим: это дурно, этого быть не должно, потому что следует быть иному. Мало того: понятие, хотя темное, хотя непосредственное, об идеальном совершенстве или о конечной цели, всегда слагается заранее и предшествует критическому взгляду на жизнь, ибо критика выражает потребность сличить то, что есть, с тем, что должно быть. В настоящем случае русскому простонародному быту противополагается понятие *образованности.* Оно дает тон всему воззрению и потому требует ближайшего определения.

Образованность, образование – корень этих слов и самое употребление их указывает на свободное, изнутри совершившееся или продолжающееся развитие того, что заключено в предмете, что составляет его сущность и собственною своею производительною силою стремится к обнаружению во внешних формах, к воплощению себя в образе.

Всматриваясь ближе, мы находим, что это определение слагается из нескольких предполагаемых понятий. Во-первых, мы вносим в него понятие о живой цельности образующегося организма; во-вторых, понятие о внешнем мире, охватывающем и проникающем его со всех сторон; в-третьих, понятие о живом процессе внутренней переработки всего воспринимаемого извне. Растение, заключенное в зерне, и то же растение, развернувшееся, пустившее из себя

ствол, ветви и листья, никогда не утрачивает свойств цельного организма: живого сочувствия всех его членов между собою, способности ощущать себя как нечто единое. Внешние стихии, в различных сочетаниях воздуха, воды и пр., беспрестанно к нему приливают, и весь материал, от них заимствуемый, оно перерабатывает и претворяет в себя процессом внутреннего питания. Таким образом, в каждую минуту его существования, на каком бы моменте мы ни захватили образовательный процесс, он никогда не представляется нам ни самодеятельностью, отрешенною от всякого соприкосновения с внешним миром, ни чисто страдательным подчинением его давлению.

Употребляя слово «образование» без различия, когда мы говорим об органической, неодушевленной природе и о человеке, мы этим самым ясно указываем на подмеченное нами единство условий и законов, по которым совершается в обоих случаях раскрытие внутреннего во внешнем.

Эти понятия так элементарны и просты, что в них не должно бы быть ничего ни странного, ни нового; но именно в наше время необходимо иногда повторить эту азбуку философского образования, эти давно пройденные зады. Что делать! У нас с некоторого времени вошло в моду такое безотчетное и вовсе неутешительное предубеждение против всех так называемых отвлеченностей и такое исключительное доверие к осязаемой стороне голого факта, что уяснение самых близких к нам вопросов становится, ради этого, бесконечно трудным. Наши споры часто напоминают знаменитый диспут двух дам в «Мертвых душах» Гоголя: «Милая, пестро! – Ах, не пестро! – Нет, пестро», и так далее, до изнеможения. Да и может ли быть иначе? На той почве, на которой столкнулись противоположные понятия или представления, спор не может разрешиться ничем. Нужно подняться выше, от частного к более общему, от выводного к начальному; нужно, наконец, чтобы обе стороны дошли до такого убеждения, в котором они сходятся, и затем от него спустились бы опять вниз, ибо только тогда

может обнаружиться, которая из них верна в своих выводах исходному началу.

Что ж, это трудно или бесплодно? Судя по тому, с какою горькою иронией отзываются некоторые из наших молодых ученых о каждом свободном движении мысли, невольно подумаешь, что наступила пора если не законного, то, по крайней мере, понятного умственного пресыщения и что теперь на поприще науки выступило поколение, выдержавшее полный философский искус и вынесшее из него чувство тяжелого разочарования. С почтительным состраданием смотрим мы на развитие этой болезни в Германии; но у нас, когда вспомнишь, что философский искус ограничивался Логикою Кизеветтера, те же признаки возбуждают совершенно иное чувство. И в самом деле, что дало нам право так беспощадно осуждать всякую попытку внести в науку несколько более чем группировку фактов или выдавать за единственный надежный метод в науке тот механический процесс разработки материалов, которым составляются из метрических книг статистические таблицы?

Не воспитав своей мысли, не усвоив себе ни положительных, ни отрицательных результатов современной философии, не приобретя даже навыка возводить представления в понятия, мы бросились из одной крайности, известной нам понаслышке, в другую, гораздо худшую, худшую уже потому, что она не требует напряжения мысли и находит свою поддержку в том мире, который действует на нас извне, без участия нашей мыслительной способности и воли.

Мало-помалу застилаются самые элементарные понятия, и на место их всплывают грубо вещественные представления. Мы надеемся это показать, обставив идею образованности теми представлениями, из которых сложилось воззрение г. Великосельцева на образование русского народа.

Понятие о духовной цельности человека постепенно вытесняется дроблением его на отдельные способности и силы, из которых каждая развивается и действует по своим особенным законам и в полном разобщении с другими.

Возникает представление о каком-то ящике с глухими перегородками: вот в этой клетке место для догматики – это по части благодати; а рядом, за перегородкою, помещается искусство – это департамент вкуса; там, в стороне, наука, куда никакая другая способность, кроме отвлеченной мысли, проникать не должна; а там и нравственность. Очень естественно, что для того, кто свыкся с этими представлениями, трудно допустить, что все способности человека подчиняются высшей духовной силе сознанием просветленного самообладания и что в сущности у всех одна задача – создание цельного образа нравственного человека. Зато нам становится понятным человек, как равнодушное вместилище, в котором укладываются разные способности, и мы продолжаем толковать о высоком значении личности, не замечая, что мы же подорвали его, откинув понятие о внутренней цельности. Нам не представляется нисколько невозможным, чтобы один и тот же человек верил в одно, знал другое, восхищался третьим; и мы охотно взялись бы передать на примере китайцу или мусульманину общечеловеческое понимание истории европейских народов, лишь бы только на время уроков он становился на объективную точку зрения, т.е. позабывал бы свою веру, свои нравственные понятия, свою народность, – одним словом, весь китаизм свой, оставаясь, впрочем, китайцем в своем эстетическом вкусе, в своих юридических понятиях, в своей жизни*. Стоит только открыть один ящик, а все прочие закрыть.

Мы согласимся признать, что каждый исторический народ является с запасом нравственных и умственных сил; но мы при этом упустим из виду, что с понятием силы связано понятие творчества, а всякое творчество предполагает содержание. Мы выразим на той же странице убеждение, что всякий народ может сравняться с другими народами не иначе как силою оригинального действия, оригинального слова; а на следующей странице мы не задумаемся назвать народность

* См. «Русск. Вестник», № 9. Статья г. Чичерина о народности в науке. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

сосудом, в который вливается общечеловеческое содержание (то, в чем уже не предполагается никакой оригинальности), *местом,* которое нужно застроить*.

А если сказать, что это место занято и никогда не бывает пусто, это покажется невероятным. Удержим все эти понятия: они нам пригодятся.

Как познавательная способность действует в полном разобщении с прочими, так, разумеется, и наука, в объективном ее значении, как плод этой способности, не может иметь ничего общего, например, хоть с нравственностью. Самое предположение какой-либо между ними связи в общем развитии народного просвещения кажется нам дикою мыслью; но прежде чем прийти к этому изумлению, мы должны были позабыть, что все науки – ветви одной науки, что существует только одна наука и что самые существенные, коренные ее вопросы формулируются умом и в то же время глубоко захватывают совесть; что от этих основных данных, так или иначе разрешенных сознанием, во всей его жизненной цельности, каждая наука берет исход и к ним же окончательно сводится.

Да не мечта ли это? – «Какая связь между добродетелью и химиею, между смирением и ботаникой?»** Не правда ли, самый вопрос возбуждает смех в читателе, а возбужденный смех есть уже почти согласие?

«Истина одна» – это мы знаем. Вот, например: дважды два четыре, следственно, не пять. Но попробуйте сказать, что истина *едина* по существу своему и что все частные истины сводятся к одному явлению истины, и вас закидают вопросами: «Да где ж эта предполагаемая связь? Переведите ее в цифры, дайте ее ощупать! Разве не говорит нам противного ежедневный опыт? Вот, например, лежит перед нами про-

* См. «Русск. Вестник», № 11, стр. 220—223. В этой замечательной статье, писанной, между прочим, с целью показать сбивчивость понятий о народности, выраженных в первом № «Русской Беседы», автор называет народность *силою, орудием, сосудом и местом.* На чьей стороне сбивчивость понятий и неопределенных представлений? *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

** См. «Русск. Вестник», 1856, № 9, стр. 69. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

грамма гимназического экзамена; мы в ней читаем: № 1, Закон Божий; № 2, История; № 3, Физика. По первому предмету пятерка, по второму единица, по третьему двойка; а поведение само по себе: это отдельная статья. Все это положительно и ясно, да где же тут связь?»

Действительно нельзя не сознаться, что все подобные представления, к которым мы привыкаем с детства, подкупают своею обманчивою определенностью. Нетрудно усвоить себе рубрики или подразделения, основанные на внешних признаках. Зато мы видим, как трудно бывает от них освободиться и сквозь разграфленную бумагу уловить движение жизни, безостановочно текущей через все границы и затопляющей все заборы.

Уяснив себе популярное представление о человеке или народе, которому предстоит образоваться, и о том, что входит в круг образованности, рассмотрим теперь, каким образом совершается усвоение готовой образованности необразованным существом, каким образом оно постепенно образуется.

Кому случалось следить за развитием умственных и душевных способностей в ребенке с самого раннего возраста, тот, вероятно, замечал, что прежде всего внимание его останавливается на самых общих, отвлеченных и в то же время самых практических вопросах, по их прямому отношению к личности каждого. Он старается уяснить себе, что такое Бог, свое отношение к Богу, в чем выражается Промысл, откуда добро и зло; он вслушивается в первое лепетание своей совести и с жадностью расспрашивает об отношении мира видимого к миру невидимому, которого первоначальное, темное ощущение проявляется в особенном чувстве ужаса, неизвестно откуда западающем в душу ребенка. Потом, по мере того, как расширяется круг его ощущений, и новые представления, одно за другим, выделяются из сплошной массы явлений, он прежде всего старается по-своему приладить их к понятиям, уже приобретенным им, связать новое со старым, и все, что делается с ним или в его глазах, применить к себе, обратить в урок для себя. Неожиданность этих при-

менений и быстрота, с которою суждение следует за каждым наблюдением, часто бывают поразительны и указывают на внутреннюю, никогда не перестающую работу души. Там, на каком-то неугасающем огне, весь материал, приобретаемый извне, как будто растопляется и в новом виде немедленно идет в дело самообразования. Кажется, что главная задача воспитания состоит именно в облегчении этой внутренней работы, так чтобы содержание, потребное для нее, никогда не оскудевало и в то же время не подавляло самодеятельности своим обилием.

И в развитии целого народа начальное по существу своему усваивается и определяется вначале. Возьмите любую образованность, завершившую полный круг своего развития, и вы найдете в основе ее систему религиозных верований. Из них вытекают нравственные понятия, под влиянием которых слагается семейный и общественный быт, а бытовые отношения выливаются в юридические формы законов и учреждений, дополняющиеся неписаным кодексом условного общежития. Нельзя себе представить цельного и свежего народа, который бы не имел веры*; а где есть вера, там нет и быть не может исключительной национальности, в смысле народного самопоклонения, в том единственном смысле, в каком национальность может быть противопоставлена развитию человеческого образования. Вера предполагает сознанный и недостигнутый идеал, верховный и обязательный закон; а кто усвоил себе закон и внес его в свою жизнь, тот через это самое стал выше мира явлений и приобрел над собою творческую силу; тот уже не прозябает, а образует себя. Очевидно, что достоинство выработанной народом образованности

* Вера в частных лицах может являться в положительной и в отрицательной форме; но и отрицание, хотя оно присваивает себе самостоятельное значение, заимствует всю свою силу от отрицаемого положения. Оттого можно бы было доказать, что у всякого человека есть вера; но один сознает, какой он веры, другой, исповедуя свою веру каждым словом и делом, не сознает ее и, может быть, приходит к убеждению, что он ничего не принимает на веру. Это грубейшая форма суеверия – вера в самого себя. *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

будет зависеть преимущественно от чистоты его духовных убеждений и от объема и глубины его нравственных требований, – очевидно, но не для всех.

Вещественное представление о человеке и об образованности естественно приводит если не к полному отрицанию всякой самодеятельности, то к крайнему стеснению ее участия в процессе народного образования, к преувеличенной оценке внешнего общения, образующего снаружи, а не изнутри, к искусственному прививанию образованности не от живого начала, а от последних ее выводов, наконец, допущению принудительных мер, как механического применения понятий, взятых из области механики.

Нашему народу твердят одно: «учись, учись, учись»*. От души спасибо, ответит на это русский человек, хотя и подумает про себя, что он уже давно сказал то же самое в известной поговорке: век живи, век учись. Но не в этом дело. Совет был бы безукоризненно хорош, если б он был предложен не в виде противоядия или спасительного предостережения от предъявленного требования самостоятельности народного мышления. В настоящем случае цель, с которою употреблено слово *учись,* и понятия, которыми оно обставлено, дают ему особенное значение: «вступая в область знания, не забирай с собою того, чем ты дорожишь как русский, с чем ты сроднился и сжился; опусти спасительную перегородку между жизнью и знанием, откажись наперед от всякого *суждения* о том, что будут тебе внушать, даже не смей выбирать, ибо выбор есть тоже суждение; учись, учись, учись!»

Да что же, спросим мы, значит учение без свободного усвоения, без внутренней оценки, без суждения и выбора? Так можно *учить* дитя, но разве так можно *учиться?* – Ответ под рукою: «Давно ли спрашивает *сосуд* у хозяина, чем его наполнят? Какое дело пустому *месту,* избранному для постройки, чем и на какую потребу загромоздят его?»

Итак, познавательная способность превратилась в какое-то вместилище, равнодушное к своему содержанию, а живое

* См. «Русск. Вестник», № 9, стр. 71 ***(прим. Ю.Ф. Самарина).***

усвоение плодов чужой образованности – в процесс механического втягивания в себя или, точнее, в начинку памяти не побежденным мыслью *веществом,* которое останется в ней неразложенным, как тяжелая, несваримая пища, обременяющая желудок, но не питающая человека. Да, г. Великосельцев недаром назвал образованность веществом. Факт, в сыром виде, не побежденный мыслью, мысль, принятая не вследствие свободного выбора, не переработанная и не усвоенная жизнью, каково бы ни было ее достоинство, остается в живом организме на степени *вещества.*

Мы, впрочем, не думаем оспаривать, что и вбирание в себя чужих трудов способно до некоторой степени наполнить жизнь и принести человеку удовлетворение. Когда из души, томимой жаждою живого знания, вырывались слова:

Erquickung hast du nicht gewonnen,
Wenn sie dir nicht aus eigner Seele quillt*,

Вагнер, осуждая этот самонадеянный порыв, отвечал своему учителю:

Verzeieht! Es ist em gross Ergetzen

Zu schauen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht etc**.

Этот голос будет раздаваться до скончания века; но нельзя требовать, чтобы целый народ ему вторил, да и Гёте вывел в лице Вагнера не воспитателя народного, а олицетворение цехового воззрения на науку.

Другие понимают несравненно шире и глубже процесс образования; но, допуская, что каждый образованный исторический народ являет собою оригинальное и самостоятельное развитие, полагают, как главное и самое существенное условие этой оригинальности и самостоятельности, внешнее общение и взаимодействие с другими народами. Нам гово-

* Ты не получишь наслажденья, Если из собственной души твоей не бьет источник *(нем.).*

** Простите! Большое наслажденье видеть, как мудрый задолго до нас думал *(нем.).*

рят: «Сам по себе, отдельно взятый, народ не может иметь истории в истинном смысле слова, не может быть ни самостоятельным, ни оригинальным, потому что не в чем будет выразиться его самостоятельности и оригинальности. В этом отношении народ есть то же, что и человек. Не думайте, что характер человека будет тем оригинальнее, чем он будет разобщеннее от всех и от всего. Повторите в воображении эту старую и уже скучную историю о переселении человека-младенца на необитаемый остров, и вы согласитесь, что не только оригинального характера не получите, да и человека не получите»*.

Неужели это воззрение историческое, плод наблюдения? Китай и Япония жили в полнейшем разобщении с остальным человечеством; но, сколько нам известно, никто до сих пор не оспоривал у них оригинальности развития. Правда, они стоят, может быть, ниже всех в семье человечества, но вовсе не по неразвитости или бесцветности своего развития, а по ложности духовных начал, из которых вытекла их неоспоримо богатая образованность. Возьмем другой пример в Европе. Из всех западных народов в сравнительно большем разобщении с другими развивалась Англия; со всех сторон обнесенная морем, она, по самому своему положению, вела более сосредоточенную в себе жизнь, чем Франция или Австрия; но помешало ли это оригинальности и самостоятельности ее развития? Вправе ли мы думать, что она менее внесла от себя и более заимствовала у других общечеловеческих истин, чем ее соседи на Европейском материке?

Не имея намерения разбирать в подробности все туманные представления, возникшие у нас по поводу вопроса о народности, мы остановимся на выраженной мысли, что народное образование зависит не столько от богатства и достоинства внутреннего содержания (которого и нельзя предполагать в орудии или сосуде), сколько от внешнего общения. Не то же ли самое говорит г. Великосельцев, утверждая, что школа образования есть *базар,* а условие образования *развле-*

* См. «Русск. Вестник», № 11, стр. 221 *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

чение? Это – применение общего взгляда к частному случаю и в тесных размерах.

Несколько выше мы старались показать, из каких представлений сложилось воззрение автора на образованность. Он смотрит на нее не как на живое явление творческого народного духа, но с внешней ее стороны, как на факт, отрешенный от живых начал, которыми он создан, как на *вещество.* Такой взгляд бесспорно находит свое законное применение в тесных пределах житейского быта. Всякое органическое существо развивается от центра к окружности; эта окружность, доступная осязанию и зрению, сама по себе не могла бы явиться на свет, ибо вся жизненность ее зависит от непрерывной ее связи с внутренними органами; но, по самой своей вещественной плотности, она иногда переживает их и некоторое время поддерживается со всеми внешними признаками жизни, хотя органический процесс обращения соков давно прекратился. Так относится кора к дереву.

Образованность, этот живой продукт человеческого духа, имеет также свою вещественную оболочку, свою кору. Силою предания, привычки, сцеплением житейских выгод, поддерживается иногда, во всей своей цельности, внешний быт, выработанный народом, между тем как происхождение его давно забыто, внутренний смысл утрачен, а живые начала, которыми он создан, лишились своей производительной силы, может быть, даже отвергнуты обществом, которое, по старой привычке, пробавляется выводами без основных посылок, результатами без причин, формою без содержания. Тогда самый быт получает значение условной формальности. Для этого понятия наружной образованности французы придумали прекрасное выражение: la civilisation des chemins de fer – все нужное для того, чтобы проехаться по Европе, никого не задев, не оскорбив и не давши себя обидеть, принимать участие в разговорах между пассажирами, не возбуждая смеха и не обращая на себя всеобщего внимания. Совокупность этих требований обнимает весь широкий круг общечеловеческой образованности, *в смысле общих*

мест; все это приобретается извне и остается в памяти или врезывается в привычку, не проникая человека насквозь, не образуя его изнутри. Это та полировка ума, воли и чувства, которая достигается долговременным трением или частым обращением с людьми.

Чтобы яснее понять отношение формальной образованности к внутренним, духовным деятелям народного образования, возьмем в пример хоть эту утонченность обращения, в которую входит и целование рук и от которой г. Великосельцев ожидает такой пользы для народного благосостояния. Изучите происхождение внешних форм общежития, усвоенных нами от Западной Европы, приподнимите их, и вы найдете под ними идею рыцарской чести и особенный взгляд на женщину, выразившийся в средневековом романтическом понятии de la galanterie, der Huldigung[1]. Спуститесь глубже, и вы откроете в основе их общехристианские понятия о достоинстве человека и о духовном значении женщины, но только преломленные в призме германского национального представления. Какой же смысл, какое плодотворное значение, какую образовательную силу могут иметь эти формы, внесенные в цельный быт народа, не принимавшего участия ни в средневековой жизни германцев, ни в поэтическом ее отражении в романтизме?

Живое растение плодится только от семян или от корня. Если же вы снимете одну кору и обвяжете ею другое растение, то неужели эта кора прирастет к нему и оно пойдет в ход скорее и лучше прежнего? Имея дело с живым народом, г. Великосельцев не мог не ощутить глубокой непрактичности такого способа воспитания. Если б он не выходил из своего кабинета, может быть, он бы поверил, что нетрудно образовать целый народ снаружи; но, будучи с ним знаком наглядно, он предчувствует упорное, хотя и пассивное, сопротивление. Он не скрывает от себя, что весь этот внешний быт, так беспощадно им осуждаемый, коренится в образе мыслей первобытного русского человека и что едва ли крестьянин окажет много добровольной восприимчивости не только к

чужим обычаям, не видя причин отложить свои, но даже и к познаниям, не приведенным в живое соотношение и согласие с целою системою его убеждений. Да полно, нужно ли стесняться недостатком доброй воли и выжидать, пока проснется свободная потребность? Оно бы, конечно, было необходимо, если бы дело шло о воспитании народа изнутри, об органическом развитии народности; но ведь уж мы пришли к тому, что образованность есть вещество, народность – сосуд или место, а условие образования – внешнее общение. Так над чем же долго задумываться?

Забирайте смело крестьянских девок к себе во двор, пусть они потолкаются около господской передни; потом подберите к ним женихов из бородачей, выдайте их замуж; добейтесь этого, разожмите челюсть упрямому *сосуду* и влейте в него целебное вещество... Личность, сама по себе и независимо от ее направления или содержания, имеет такое бесконечное достоинство, что, когда признается за нужное освободить ее от невежества и застоя, не грех и приналечь на нее.

Будем справедливы к г. Великосельцеву: он довел до логической крайности, в применении к народному воспитанию, вещественные понятия, блуждающие в нашей литературе, и в этом его заслуга; а вещественность этих понятий заставила его помириться с вещественностью средств: в этом его извинение.

Начавши читать его статью, мы ожидали встретить под нею подпись князя Луповицкого, знакомого читателям «Русской Беседы»; но, добравшись до предлагаемых мер, мы разуверились и в то же время заметили в первый раз довольно важную ошибку в характере благодушного преобразователя, выведенного на сцену г. Аксаковым. В действительной жизни могут встречаться самые невероятные противоречия между основными понятиями человека и его образом действия, но в типическом образе их не должно быть, и, для художественной верности изображения, с теоретическими понятиями князя Луповицкого должно было идти неразлучно практическое воззрение барона Салютина.

Замечания на «заметки «русского вестника» по вопросу о народности в науке*

«Ограничивая вопрос исключительно делом науки, мы должны сказать, что здесь разные точки допускаются лишь по отношению их к одной, всеобъемлющей, единственно обязательной точки зрения истины» и т. д. (стр. 312).

Здесь опять странное недоразумение. С каждой точки зрения открывается *что-нибудь*; чем возвышеннее точка зрения, тем шире круг, ею обнимаемый, и наоборот. *Истинность и ложность* точки зрения – понятия *относительные*. Истина может заключаться в какой-нибудь *одной высмотренной стороне предмета*; эта сторона в нем *есть*, и потому перенесение ее из области явлений в область знания есть неоспоримое обогащение науки *новою истиною*. Ложность может заключаться в определении значения *всего* изучаемого предмета *по одной этой стороне*, далеко не обнимающей его во всей полноте, или в приятии *случайной, несущественной* стороны за существенную, определяющую характер и смысл явления.

* Статья Ю. Ф. Самарина «Два слова о народности в науке», помещенная в № 1 «Русской Беседы» за 1856 г., вызвала в свое время горячую полемику между «Русскою Беседою» и «Русским Вестником». В 9-м выпуске «Русского Вестника» 1856 г. (стр. 62–71, в отделе Совр. Лет.) явилась, под заглавием «О народности в науке», критика Б. Н. Чичерина на статью Ю. Ф. Самарина, а в № 11 (219–223 стр. в отделе Совр. Лет.) «Заметки Русского Вестника – Русская Беседа и так называемое славянофильское направление». В ответ на эти две статьи была написана Ю. Ф-чем помещенная выше статья «О народном образовании». Затем, в № 12-м того же журнала (312–319 стр. в отделе Совр. Лет.), была помещена от редакции вторая критическая статья под заглавием «Заметки Русского Вестника – вопрос о народности в науке». На эту статью были в свое время написаны Ю. Ф-чем печатаемые теперь замечания. Хотя они и не назначались для печати, а были написаны только для тесного круга сотрудников «Русской Беседы», тем не менее, так как они значительно поясняют мысль автора, сжато изложенную им в статье, вызвавшей такую горячую полемику, мы решились напечатать их с черновой рукописи, сохранившейся между бумагами К. С. Аксакова *(Прим. Д. Самарина.)*

Поясним это примером. Когда началась разработка русской истории иностранными учеными и русскими, воспитанными на иностранный лад, установилась особенная точка зрения на наше прошедшее. Мы стали искать в нем не того, чего искал и требовал от жизни сам русский народ (его идеалы и требования были для нас темны и чужды), а того, что выработали и в чем проявили себя народы западные, и, разумеется, мы ничего не нашли, – иными словами, наши поиски доставили нам отрицательные результаты. Мы удостоверились, что у нас *не было* завоевания, *не было* феодализма, *не было* богатого развития личности и т.д. Все это *истины*, хотя чисто отрицательные, но далеко не пропадающие даром в общем ходе науки. По этим отрицательным признакам мы начали определять русскую историю, и вышла ложь, – ложь потому, что мы применяли к ней не тот масштаб, которым мерила сама себя Россия. Не умели же мы применить к ней ее собственного масштаба потому, что мы утратили сочувствие с теми духовными силами, которыми управляется русская жизнь.

«Познание не может и не должно иметь никакого иного характера, *кроме истинного»* (стр. 312).

Что значит здесь познание? Если под этим словом разумеется познавательный процесс, способность мышления, понятая *отвлеченно и формально*, то никакого нет сомнения, что ее законы и формы совершенно одинаковы, неизменны и не подлежат условиям времени и народности. Например, силлогизм, в котором бы от частного делалось заключение к общему, мы имели бы полное право назвать ложным; но в статье, очевидно, идет дело не о познавательной способности, *а о ее применении*. Применение же ее предполагает: *объект мышления и мыслящий субъект. Отношение*, в которое становит себя субъект к объекту, есть именно то, что называется *точкою зрения*. Мыслить о каком бы то ни было предмете, не *установившись* перед ним, – *невозможно*; требовать, как г. Чичерин, чтобы точка зрения *выработалась* сама собою, как плод изучения, *немыслимо*, потому что изучение предполагает взгляд на предмет, следовательно, и на точку зрения.

Чем же *подготовляется и определяется* этот приступ к предмету, эта *точка зрения*? – Отвечаем: *воспитанием* мыслящего субъекта в самом широком значении слова: коренными его убеждениями, всецело наполняющими его и которыми он проникается постепенно, вдыхая в себя воздух семьи, родины и т.д. Точка зрения есть плод всего *личного и народного развития*. У каждого человека и у каждого народа есть *точка зрения*; само собою разумеется, что народная имеет всегда *значительность историческую*, которой может и не иметь личная.

«Умственная самостоятельность основывается на потребности чистой истины, хотя бы с пожертвованием всяких других воззрений. Дух науки требует, чтобы в уме человеческом или в обществе человеческом была возможность раскрываться мышлению, не имеющему иной цели, кроме истины....» (стр. 312).

Трудно бы было понять, что, собственно, в этих словах имеет значение возражения против нас, если бы из них же не было видно, до очевидности, что автор не понимает или не хочет понять поставленного нами вопроса. Он воображает себе, что, имея перед собою *точку зрения*, с которой обнимается *все*, и рядом множество точек зрения народных, с которых видна только *часть* предмета, мы сознательно избираем низшую, ограниченную, тесную, *потому что* она *народна*; далее – что мы, *познав ложность* народных убеждений или предубеждений, а следовательно, познав и провидев *истинные начала*, все-таки советуем держаться первых; наконец, что в науке мы добиваемся не открытия истины, а обнаружения *своей оригинальности*, хотя бы и *в ложности и ограниченности выводов*. Что за странная мысль! Во-первых, под народностью мы разумеем не только *фактическое проявление* отличительных свойств народа в данную эпоху, но и те *начала*, которые народ признает, в которые он верует, к осуществлению которых он стремится, которыми он поверяет себя, по которым судит о себе и о других. Эти начала мы называем *народными*, потому что целый народ их

себе усвоил, внес их как власть, как правящую силу, в свою жизнь; но эти же начала представляются народу *не народными* (т.е. не историческими и ограниченными), а *безусловно истинными, абсолютными*. Потому-то народ и вносит их в свою жизнь, что он в них видит полную и высшую истину, за которою, свыше, и далее которой не хватает его сознание. *Народность* этих начал, в смысле их ограниченности, для него не может быть видна; ибо, уразумев их ограниченность, он бы бросил их и принял бы другие (Россия до Владимира и Россия, принимающая христианство). Одним словом, народ никогда не выходит из пределов своей народности, не перерастает себя; следовательно, ему не предстоит никогда возможности выбора между народным, *сознанным как ложь*, и истинным.

Мы дорожим народностью потому, что в ней мы видим жизненное осуществление начал *истинных*, в сравнении с теми, которые внесены романскими и германскими племенами, которые нам представляются *односторонними*, т.е. относительно ложными.

Для нас, как и для всех, цель составляет *истина*, а не *народность*; но мы говорим о народности, и из слов наших, *по-видимому*, вытекает, что народность для нас есть цель потому, что в *настоящее время, вследствие всего воспитания нашего*, мы стоим не на истинной, а на *инородной* точке зрения, мы приобщились к *инородному* взгляду на вещи.

Народность есть существенное *условие* успешного развития науки и движения науки вперед. Мы утратили это условие и, сознавая свою утрату, говорим о ней; значит ли это, что мы полагаем целью, конечною задачею науки – вырабатывание оригинальных, народных диковинок?! Просто нас не хотят понять!

«История имеет дело не с одними народами. Нечто еще совершается во времени, кроме развития народов, да и самое развитие народов получает свой высший смысл в чем-то более общем и высшем. Кроме народностей в мире совершается еще история человечества, история идей, управляющих че-

ловеческой жизнию, история науки, образования, гражданственности» (стр. 313).

Бесспорно, в мире совершается история человечества, но не *кроме народностей*, как выражается очень неточно «Русский вестник», а *через* народности, и *только через* них, как драма на сцене, *разыгрывается действующими лицами и только ими*. Если бы не было народностей, не было бы живого органа для осуществления и заявления общечеловеческих начал.

Положим, что, изучая развитие идей в прошедшем, мы приходим теперь к убеждению, что после древнего, языческого мира наступила пора для явления *личности*. Мы говорим: общий ход истории требовал, чтобы выступила личность, и она должна была выступить. Германское племя внесло это начало в историческую жизнь. Все это, может быть, очень глубокомысленно и верно, как объяснение *совершившегося*; но ведь германцы вышли из своих лесов, не имея еще в руках готовой исторической программы. Они внесли в историю всю глубину, силу, все могущество, всю гордость, все благо и все зло исключительной личности не потому, что этого требовала история человечества, точнее не *потому*, что в XIX веке Гегель *объяснил* разумность обновления человечества приливом свежей крови в его расслабленные жилы, а просто потому, что *такова была природа германцев*. Они не доказывали и не проводили идеи, которой сами не сознавали, а просто *жили*, выражая новое *начало* своею народною жизнью. История движется вперед *свободным совпадением народностей с высшими требованиями человечества*. Чем свободнее, глубже и шире это совпадение, тем выше стоит народ.

«Нет, *не нужно* дожидаться гения, который бы размежевал область человеческого ведения и отметил нам для пользования общечеловеческое и образованное» (стр. 313).

Не нужно – для нас, потому что мы *не противопоставляем* народное (как ложное) общечеловеческому (как истинному); не нужно – для нас, потому что мы знаем хорошо, что общечеловеческое осуществляется в истории и постигается

через народность; не нужно – для нас, потому что мы уверены, что мысль, воспитанная в среде живой народности, при встрече с готовою инородною образованностью, *сама собою* усвоит себе общечеловеческое и *не примет народного*. Но как же вы-то обойдетесь без этого межевания, – вы, которые изо всех сил хлопочете о том, как бы вконец *обезнародить* нашу мысль, – вы, которые утверждаете, что народное и ложное в науке – слова тождественные, и в то же время сознаетесь же, что есть эта закваска народности и в западноевропейской образованности? *Не нужно*!.. Мы-то очень знаем, что *не нужно и что нельзя*! Да это ваш вопрос, от которого вам не отвертеться и которого вы не разрешите.

«Нравственный закон – один для всякой совести, равно и разум один для всех умов» (стр. 313).

Должен быть один и *может* быть один, когда он постигнется и не только постигнется, а осуществится во всей его *чистоте* и *полноте*. Понимает ли «Русский Вестник», куда переносится его мысль? А что он, по-видимому, уже признаёт это единство осуществившимся – то это доказывает только ограниченность, отсутствие глубины в требованиях и поверхностное знание фактов. Нарушения нравственного закона в деле и противоречия, несообразности в правилах жизни с вечным и абсолютным нравственным законом идут всегда рука об руку, ибо исходят из одного источника – из несовершенства, точнее, из поврежденности человеческой природы.

Где есть, где возможно уклонение от нравственного закона в жизни, там есть и ограниченность в понимании нравственного закона, а всякое *ограниченное понимание* может быть до бесконечности разнообразно. Неужели, например, нравственные понятия католика, протестанта, мормона, ирвингиста, сенсимониста одинаковы? Пройдите хоть современную литературу. Неужели вы скажете, что в романах французских (мы разумеем самые замечательные, определяющие характер общества) выразилось такое же понятие о браке, такой же взгляд на супружеские обязанности, как и в романах английских? А вы знаете, что понятие о браке и о супружеских обязанностях есть

корень общественной нравственности. Дело в том, что «Русский Вестник» понимает нравственность в смысле *сообразности с требованиями общежития* – gesellige Zweckmassigkeit. Вора, шулера везде ловят и казнят, *как нарушающего права других, их спокойствие и безопасность*. На том же основании истребляют волков и медведей. Неужели этим ограничивается требование нравственности!

«Нам говорят, что человек в той мере, в какой принадлежит своему народу, «яснее и полнее поймет дух его истории, мотивы его поэзии, весь ход и настроение его жизни, нежели человек, принадлежащий другому народу». Это кажется очевидным, и однако же тут есть неясность, которую мы сейчас и обнаружим. Француз, например, может легче и полнее другого понять все относящееся к своему народу, потому что материалы для образования понятия у него под руками, и в большем изобилии, чем могут быть у другого; но *действительно* поймет он жизнь своего народа *не в той мере, в какой он француз*, а по мере своего образования, по мере своего умственного развития, по силе общих понятий и воззрений, присущих его сознанию. Народы, в которых нет этих условий, не достигают до самопознания, или же теряются в уродливых и нелепых о себе представлениях. Турки едва ли так хорошо понимают себя, как понимает их образованный европеец; и кто же наконец примет за верное и истинное то понятие, которое имеет о себе китаец?» (стр. 314).

В статье, напечатанной в «Русской Беседе», я сказал, что народность имеет в науке двоякое назначение: *сочувствие и сродство* мысли, воспитанной в народной среде со всеми историческими проявлениями той же народности, придает ей особенное чутье и ясновидение, в силу которого она высматривает, угадывает и открывает для всех внутренние побуждения, сокровенные духовные силы, правящие жизнью целого народа, отражающиеся в его философских воззрениях, в его учреждениях, в его художественных произведениях. Далее, я же сказал, что *непричастность* познающей мысли к изучаемой народности дает ей возможность освободить науку от тех

исключительно народных понятий и представлений, которые внесены в нее учеными, воспитанными в этой народности. Выходит, по-видимому, так, что русский, как *таковой*, по преимуществу способен и в то же время, *как русский* же, по преимуществу не способен понять Россию, русскую жизнь во всех ее проявлениях, русскую историю. По-видимому, здесь есть противоречие, но *только по-видимому*, и если бы «Русский Вестник» взял на себя труд внимательно прочесть мою статью, он разрешил бы его без труда. – Дело в том, что понимание имеет различные *степени и постижение постижению* рознь. Для ясности перенесем вопрос в область личности. Кто лучше мог рассказать биографию Гоголя: сам Гоголь или посторонний человек, равнодушный к нему, но собравший о нем все факты, даже те, которых не помнил сам Гоголь? Очевидно, каждый человек знает о себе много такого, чего не знает никто или что узнает другой только от него самого. Итак, для *полного* уразумения жизни человека необходимо, чтоб он ее рассказал сам. Предполагая в нем полную искренность, он расскажет, и он один в состоянии будет рассказать так, что вы не только узнаете, но и почувствуете, чего он искал в своей жизни, к чему стремился, чем поверял самого себя. Но этими признаниями исчерпывается ли вся задача биографии? Вовсе нет. Оценить убеждения и правила, которыми руководствовался человек в своей жизни, *определить* его отношения не только к прошедшему, из которого он вышел, но и к последующему, произнести над ним беспристрастный суд – это дело того, кто стоит выше его по силе личного дарования или по времени. То же самое и о народностях. Каждый народ должен сам себя *рассказать, объяснить, раскрыть* и определить свое отношение к *другим народностям, до него сошедшим со сцены* и уступившим ему право первенства. Он один может выполнить эту задачу, и если он ее не выполнит, то для потомства останется навсегда многое неразгаданным и темным в его истории. Затем произнести над ним исторический приговор, собрать воедино и оценить сумму его приобретений, показать, что он сделал и чего не мог сделать, определить его

значение в отношении к последующим судьбам человечества может только другой народ, тот народ, который примет от него умственное наследство. Я довольно ясно указал на это на странице 39 «Русской Беседы».

Недостаточно быть инородцем, чтобы получить право или способность произносить суд над народом. Китаец, хотя и непричастен к западноевропейской жизни, не может не только оценить, но даже понять ее, потому что он стоит ниже ее; но может тот народ, который выступил на сцену позднее романо-германских племен, понимает их вполне и в то же время чувствует, что их образованность не исчерпывает всех его требований.

Нам теперь не нужно превратиться в греков и в язычников, чтобы понять историю Греции, во-первых, потому, что Греция *сама рассказала свою историю* и через это дала нам возможность, так сказать, переноситься в *ее жизнь*; во-вторых, потому, что мы переросли ее и видим не только тот горизонт, который был ей доступен, но и бесконечно дальше. Повторяю опять: постижение всякого человеческого явления предполагает уразумение побудительных причин его, и чем полнее и непосредственнее сочувствие к нему, тем яснее это разумение; затем следует оценка, суд, приговор, требующий от мыслителя полного разумения теоретического и полной непричастности жизненной к рассматриваемому явлению.

«В человеке могут совмещаться различные сферы, различные характеры, которые не находятся друг к другу в отношении противоречия, а остаются более или менее чуждыми друг другу, не производят друг на друга никакого действия. Каждому особому признаку, которым определяем мы данного человека, соответствует что-нибудь особое в действительности. Как француз, он есть нечто особое; как католик, он также есть нечто особое; сверх того, он бретонец; далее, он легитимист; он занимается ботаникой; у него есть разные сочувствия и предпочтения, из коих каждое имеет свой угол, свою силу в его душе, и по-своему ее настраивает, когда разыграется. Все эти различные сферы в нашем человеке могут отчасти быть друг

другу совсем неизвестны; иным, может быть, никогда не случится столкнуться между собою, другие, может быть, весьма часто вступают между собою в борьбу; возможностей представляется бесчисленное множество. Каждым из этих интересов выражается в душе нашего человека окружающая его действительность, различные исторические силы, и подчиняют его себе. По особенности организации и развития человека, может случиться, что один интерес займет такое место в его душе, что все прочие станут к этому интересу в отношения более или менее служебные. Так, например, он станет фанатическим католиком или исключительным французом. Все, какие в нем есть, понятия, вся его мыслительность потеряют в его душе силу раскрываться и действовать независимо, выходя на свет только тогда, когда потребует того совсем другой интерес. Собственного интереса они не имеют. Как только зашевелится мысль, тотчас же явится господствующий интерес и направит ее в свою сторону. Такой человек не может ни одной минуты пробыть наедине со своим разумом, не может образовать ни одного понятия без чуждой примеси. Но зато не может ли он по крайней мере дать нам полное и верное понятие о том предмете, который так господствует над его умом? Об этом-то предмете всего менее может он дать желаемое понятие, ибо этот предмет никогда не был предметом для его ума. Ум его всегда находится только в служебном отношении к этой силе. Самая эта сила никогда не развивалась в нем под формою понятий и суждений, а всегда давала себя знать только повелительными возбуждениями. Она никогда не хотела, даже на время, из области действительности взойти к общим началам и сообразить себя с требованиями разума и с другими силами действительности. Человек, нами описанный, повторим, не даст нам полного и верного понятия о том, что его занимает и чем сообщается ему его исключительный характер; он представит нам собою только факт, материал для образования понятия. Напишет ли он книгу, наука воспользуется ею, но не признает в ней себя; наука воспользуется ею как более или менее интересным материалом, почти в таком же смысле, в каком ботаник пользуется, для составления своих понятий,

экземплярами растительного царства, а зоолог – экземплярами животного царства, как историк пользуется историческими актами, видя в них лишь материал для своей науки, но отнюдь не орган науки, не самую науку.

Мы с умыслом распространились об этом примере, чтобы яснее представить мысль, которую мы соединяем с самостоятельностью науки. Если речь идет о науке как относительно отдельного лица, так и целого народа, то надобно прежде всего требовать, чтобы наука имела в их жизни свою собственную область и свои неотъемлемые права, так чтоб в этой области познающая мысль могла развиваться по собственным побуждениям, не руководимая никакими *предпочтениями* и *сочувствиями*, кроме любви к чистой истине, кроме одного желания знать» (стр. 313 и 316).

Редко можно встретить две страницы, в которых бы столько было собрано частью ложных, частью сбивчивых понятий! Во-первых, что за понятие о «человеке, в котором совмещаются различные сферы, которые остаются более или менее чуждыми друг другу, не производя друг на друга никакого действия»? Заметьте, что это совмещение в себе разнородных определений, совершенно равнодушных друг к другу, приводится *не как факт*, не как результат наблюдений над человеком, каким он является, а как закон. По мнению автора, *так должно быть*. Дело в том, что этот мнимый закон находится в прямом противоречии с коренным требованием человеческой природы и со стремлением всего человечества. «Сознание человеческое не есть нечто односложное», – говорит автор; конечно, не односложное, но *согласное* или стремящееся по существу своему к согласию. Вы хотите нас уверить, например, что католик, оставаясь по утрам и по вечерам верным учению своей Церкви, мог бы днем, действуя *как гражданин*, защищать чисто протестантскую теорию общественного контракта; что тот же католик, оставаясь католиком, мог бы путем химических исследований дойти до результата, напр., хоть о вечности материи, и что это убеждение ужилось бы спокойно, нисколько не ссо-

рясь с прочими его убеждениями; или, например, что испанец мог бы сделаться протестантом, и при этом нисколько бы не изменились его взгляд на историю его народа, все его общественные, семейные отношения, его характер, как испанца, его народное определение! Да неужели ж *не должно* быть у человека таких убеждений, которые важнее, существеннее, дороже других, и неужели незаконно, неразумно врожденное всякому человеку стремление все свои убеждения *согласить* с коренными, все свои привычки, вкусы, предпочтения, занятия *подчинить* разумным и свободным убеждениям? Да что же значит в таком случае человек? Неужели только в его внутренней жизни не может и не должно быть той гармонии, которая составляет закон всего существующего?.. Отрицая эту потребность внутреннего единства и цельности, раздробляя дух человеческий на отдельные, совершенно между собою разобщенные функции, не знаю, удастся ли нам вывести у себя породу ученых специалистов, но, наверное, не удастся воспитать крепкого и цельного человека, годного для подвига жизни... «Русский Вестник» несколько далее оговаривается: «Эти развитые сферы, может быть, весьма часто вступают *между собою в борьбу*: возможностей представляется бесчисленное множество». – Спрашивается: должна ли эта борьба чем-нибудь кончиться или ей следует продолжаться до изнеможения сил? Если должна кончиться, то, очевидно, не чем иным, как тем, «что один интерес займет такое место в его душе, что все прочие станут к нему в отношения более или менее служебные». Значит ли это, «что все его понятия и вся его мыслительность потеряют в его душе силу раскрываться и действовать независимо?» Значит ли это, что ум его поработит себя; что сила, которая возьмет в нем верх над прочими, никогда не была предметом для его ума? Нисколько. Это значит только, что из двух столкнувшихся убеждений, если человек признал их несовместными, он удержит то, которое покажется ему истинным, и откинет ложное, или последует тому, которое для него дороже, ценнее, шире, и пожертвует более тесным.

Если свободное убеждение, а не внешнее насилие выразится в этом выборе, то каким бы процессом ни совершился выход из внутреннего разлада и из борьбы, – какое право имеем мы сказать, что человек этот парализировал в себе один орган, лишил себя способности мыслить и т.п.? Предположим, что католик, которого автор приводит в пример, убедился, что легитимизм несовместен с католицизмом или что католицизм губит Францию. Может ли он остаться при этом убеждении католиком и легитимистом, католиком и французом? Может ли он успокоить себя тем, что это две сферы разные и что каждой нужно отвести особый уголок? Едва ли. Если он человек, а не тряпка, он откажется от своих политических убеждений и останется католиком, или, если для него дороже Франция, чем католицизм, он отречется от папы. Может быть, он ошибется в выборе – это другой вопрос; но неужели из этого мы вправе вывести, что этот человек никогда не даст нам полного и верного понятия о католичестве, о легитимизме или о призвании Франции?

Кажется, что автор сам себя хорошо не понимает. Он говорит то об убеждении вообще, то об убеждении рациональном в тесном смысле, об убеждении как выводе отвлеченного разума. Убеждение в человеке развивается различными путями; но искренность, сила и *законность* убеждения *совершенно независимы* от того или другого пути. Всеми путями человек может прийти к убеждению вполне разумному, искреннему, твердому и законному. Законность убеждения вовсе не есть принадлежность или исключительная *привилегия* одного пути*. Мы соглашаемся с автором только в одном, но зато не только соглашаемся, но и вполне сочувствуем ему, а именно: в требовании *искренности*. Искренность в области науки значит право каждого, занимающегося ею, высказывать *только то*, что он признает за истинное, в чем он убежден (каким бы процессом ни сложилось в нем убеждение), высказывать *всю* правду, насколько он ее видит, и *только правду*; но мы

* В сущности, этого-то и добивается ученый цех *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

требуем того же права не для одной науки, но и для искусства и для всех других сфер.

В конце своей статьи автор говорит:

«В каких бы идеях что-либо ни обращалось, все одинаково противно уму, если обращается без внутреннего убеждения, без всякого самостоятельного умственного и нравственного участия, а только по навыку, по силе обычая или, прибавили бы мы, из подражания.

Идеи могут быть сами по себе прекрасны, истинны; они могут оказывать самое лучшее, самое плодотворное действие в тех умах, где они приняты с внутренним убеждением и с самостоятельною мыслью; но проявление их без этих условий* лишает их истины и значения. Собственно говоря, уже не они, не идеи, являются в таком бесславном виде, а их тени, их смерть. Что бы такое они ни были сами в себе, они действуют убийственно в таком проявлении» (стр. 317 и 318).

Искренно благодарим автора за эти прекрасные слова. Лучше и сильнее нельзя было изобразить характера западной образованности, перенесенной на нашу почву. Советуем обдумать это место г. Чичерину, который требует от русского народа, чтоб он отказался от самостоятельного мышления и учился, учился и учился, не смея судить о том, чему его учат.

По поводу мнения «Русского Вестника» о занятиях философиею, о народных началах и об отношении их к цивилизации

Заметка «Русского Вестника» о статье «Роковой вопрос», напечатанная в майской книжке, должна была обратить на себя внимание по многим причинам и совершенно независимо от обстоятельства, ее вызвавшего. В ней, едва ли не в первый

* Например, когда выводная идея из истории одного народа переносится в быт другого народа *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

раз, так определительно выразились отношения этого журнала к нашей публике и взгляд его на некоторые общие вопросы, которые он до сих пор осторожно обходил.

Поводом, как известно, послужила статья*, которой мы не беремся ни разбирать, ни опровергать, ни оправдывать. Она возбудила в нашей публике негодование, доселе небывалое, и «Русский Вестник» поспешил принять это новое заявление общественного мнения под свое покровительство...

Все, говорившие до сих пор о русской цивилизации по отношению к западной, различали, во-первых, степень развитости цивилизации, ее возраст – от ее содержания, определяющего ее достоинство; во-вторых, различали цивилизацию наносную, заемную, от цивилизации как органического и своеобразного продукта народной жизни.

Едва ли нужно доказывать важность этих различений. Когда, после вознесения Сына Божьего, малое стадо Апостолов оставалось на земле представителем нового просветительного начала, долженствовавшего обновить человечество, – христианская цивилизация, не имевшая еще ни выработанной догматики, ни полного устройства церковного, без всякого сомнения, была менее развита, чем юдаизм. Когда германские племена ворвались в пределы Римской империи, они были в отношении к римлянам в полной силе варварами; но именно потому-то и зачалась от них новая историческая эра, что своеобразность народной жизни не подчинилась высшему развитию иной цивилизации, а сохранила веру в свои инстинкты, хотя в то время наука не имела для них ни формул, ни оправданий. Всякое творчество, личное и народное, всякое движение вперед предполагает непременно веру в силы, еще не проявленные, именно *веру,* то есть живое извещение чаемого, способность предчувствовать будущий факт в тех внутренних побуждениях, которые должны в нем

* Статья г. Страхова «Роковой вопрос (заметка по поводу польского вопроса)», с подписью «Русский», была помещена в апрельской книжке 1863 г. журнала «Время», который подвергся за нее запрещению *(прим. Д. Самарина).*

выразиться. Поэтому, когда русские цивилизованные люди, с самодовольной улыбкой искушенной мудрости, говорят: «Да где же эти пресловутые народные начала, покажите их, дайте ощупать и взвесить, тогда и мы охотно им поверим», – они этим заявляют только свою неспособность к участию в народном творчестве и добровольно, как бы выписываясь из среды своего народа, становятся к нему в отношения сторонних зрителей. Те также не откажутся от признания, когда все будет высказано, проявлено и доказано.

Различение цивилизации заемной и наносной от самородной также вполне основательно. Типическое выражение первой мы видим теперь в лице молодого поколения турок, довершивших свое воспитание в Париже, – молодой Турции, исповедующей по-прежнему исламизм или не исповедующей никакой веры, болтающей на трех европейских языках, усвоившей себе все, что можно *перенять,* глубоко презирающей свою родину и совершенно неспособной принести ей какую бы то ни было пользу. Конечно, в статье, на которую ополчился «Вестник», действительно не было выяснено понятие цивилизации вообще, одно из самых неопределенных и сбивчивых; даже не было указано на понятия более тесные, из которых оно слагается. Следовало оговорить, во-первых, что под словом «цивилизация» подразумевается не одно накопление сознанных фактов, не одно обогащение человеческого опыта и не одно усовершенствование внешних условий жизни, ибо все это всегда и везде перенимается и заимствуется; во-вторых, что большая или меньшая плодотворность и живучесть начала, правила или учреждения не зависит исключительно от внешних условий, сопровождавших его принятие, что, осуждая в народной цивилизации *заемное,* мы разумеем не все то, что прежде явилось у других народов и от них заимствовано, а только то, что сохранило характер заемности, характер чужого, что не было и не могло быть усвоено народным организмом, не претворилось в его плоть и кровь, потому ли, что это заемное представляло собою не более, как вывод из данных, не перенесенных в жизнь, или что оно по

существу своему было противно организму, к которому прививалось. Но дело в том, что и «Русский Вестник» этого всего не выяснил. Мы узнаем, что г. Страхов «причисляет себя к последователям Гегелевой философии, *давно умершей, похороненной и всеми забытой* (?)». Это приводит редакцию в негодование: «Не печальное ли это явление! – восклицает она. – Люди занимаются сами не зная чем, сами не зная зачем. Бог знает каким образом, вдруг, возникают у нас разные направления, учения, школы, партии. Какие действительные причины могли бы возбудить у нас в человеке потребность не вымышленную, а серьезную, заниматься гегелевскою философиею, и что значат эти занятия, ничем не вызываемые, ничем не поддерживаемые, ни к чему не клонящиеся, ни к чему не ведущие? С какими преданиями они связываются, к чему они примыкают, на чем стоят? И действительно ли развился у нас так широко философский интерес, что у нас могут являться специалисты по разным немецким системам? Какой смысл представляет из себя русский человек, становящийся последователем системы, выхваченной из целого ряда немецких систем, и отдельно не имеющей никакого значения ни у себя дома, ни для постороннего наблюдателя?» Если бы мы не сами прочли эти строки, а кто-нибудь сказал бы нам, что они нашли место в журнале, выходящем под редакциею бывшего профессора Московского университета, преподававшего психологию и при постоянном сотрудничестве другого профессора-филолога, мы приняли бы этот слух за пошлую клевету. В самом деле, почему же именно *у нас* никакая действительная причина не может возбудить в ком бы то ни было искренней потребности заняться философиею вообще и гегелевскою в особенности? Мы думали до сих пор, что эта потребность довольно общая, сродная человеку вообще. Начало философии – в акте самосознания, в различении *я* от *не я;* отсюда – потребность постигнуть закон мышления и воли, отношение их к объективному миру, отношение свободы к необходимости, понятия к явлению. Философия началась вместе с человеком и в развитии своем предшествовала обособлению

других сфер знания в самостоятельные науки. В том-то и заключается грубейшая ошибка новейших преобразователей нашей системы воспитания, что они воображают себе, вопреки опыту всех веков и народов, будто бы вопрос о происхождении грома, молнии и паров ближе к человеку, раньше в нем возникает, чем вопросы о разуме и о совести. Отчего же нам, русским, неприлично, не приходится заниматься философиею, то есть останавливаться на тех коренных задачах, разрешением которых обусловливается весь строй человеческих понятий? Кажется, что, не выходя даже из области совершившихся фактов, присматриваясь к внешнему ходу нашего просвещения, которое «Русский Вестник» так заботливо прикрывает своим могучим крылом (как будто бы кто-нибудь намеревался растерзать его), нетрудно бы было убедиться, что, за исключением Германии, может быть, нигде в Европе философия не встречала такого сочувствия и не имела такого значительного влияния на образование вообще, как именно у нас, в наших университетах и академиях. В этом отношении мы не только не отстали от Франции и Англии, а опередили их. Это что-нибудь да значит. Начиная с родоначальника науки в России, начиная с Ломоносова, мы не переставали никогда относиться к философии с живым участием. Нужно ли напоминать «Русскому Вестнику» о том времени, когда профессор Павлов и некоторые из его товарищей увлекали своих слушателей, указывая им на новые горизонты мысли, открытые Шеллингом, и о позднейшем, нам всем более памятном времени, когда другое поколение профессоров внесло в университет новый взгляд, осмысленный философиею Гегеля? Целые курсы, так сказать, заражались ею, именно заражались, то есть подчинялись ее влиянию, принимали на веру ее выводы, не подвергая строгой критике основных ее начал. Один из даровитейших ее противников, покойный Киреевский, который действительно глубоко изучил ее, не без основания называл тогдашних молодых гегельянцев людьми, давшими себе слово не читать самого Гегеля, а довольствоваться тем, что о нем писалось или говорилось. Нашелся, однако, человек,

который, как заявляет «Русский Вестник», специально изучил философию Гегеля и не бросил ее, когда прошла на нее мода, и на него-то именно, к удивлению, и обрушился гнев редакции. «Русский Вестник» относится с каким-то особенным пренебрежением к нашим философским школам и партиям, потому, по-видимому, что их возникновение и смена одних другими представляются ему явлениями совершенно случайными, не имеющими у нас корня. Мы не ожидали этого именно от «Русского Вестника». Преемство философских систем зависит не от внешних, исторических условий, а выражает собою последовательное движение человеческой мысли, обыкновенно переходящей от одного одностороннего определения к другому, противоположному, и потом стремящейся примирить обе крайности. Правда, что это развитие совершалось не у нас, а в Германии, что в этом выражалась особенная, прирожденная германскому духу сила, участие германской народности в развитии общечеловеческой науки, и что преемство философских понятий у нас, в России, было только отражением этого развития; но что ж из этого следует? Разве не то же самое мы видим и в ходе других наук; разве, например, в области политической экономии, находящейся в гораздо теснейшей связи с местными, бытовыми условиями, смена протекционизма системою фритредеров у нас, в России, не была точно таким же случайным явлением, которого разгадка не в нашей жизни, а в экономическом развитии Англии? Да и давно ли «Русский Вестник» начал так строго относиться в области науки ко всему заемному, не обусловленному народною жизнью и не имеющему в ней корня? Противополагая значение философии в Германии ее значению в России, допуская ее законность и необходимость там и отрицая даже потребность в ней у нас, не склонился ли он с разумным жаром новообращенного к мнению об участии народности в развитии науки? Мы было это подумали; но в той же статье мы прочли, «что все друг у друга заимствуют, все друг у друга учатся, что кто бы ни помог нам выучиться – это все равно» и т.д. На чем же, наконец, остановиться и чему верить?

По мнению «Русского Вестника», последователь не одной только гегелевской философии, но какой бы то ни было философской системы представляет собою в России какое-то безобразное, дикое явление; но, хотя бы даже приговор этот относился к одним гегельянцам, он был бы одинаково легкомыслен. Система Гегеля, говорят нам, «давно умерла, похоронена и всеми забыта». Подумаешь, что дело идет о каких-нибудь брошках или наколках. Да неужели в самом деле, и в области отвлеченного мышления отступление от моды так же непростительно, как и в нарядах, и точно ли система, довольно долго направлявшая, за немногими исключениями, развитие человеческой мысли, могла умереть бесследно, не оставив по себе никакого наследства и так-таки просто исчезнуть из человеческой памяти? Гегеля теперь читают немногие, это правда; но можно ли сказать то же именно у нас о его последователях крайней левой стороны, с Фейербахом и Максом Штирнером включительно? Если мы вникнем в происхождение школы материалистов, которой, к несчастью, нельзя еще отнести к числу умерших и отпетых, не обнаружится ли нам тесная ее зависимость именно от системы гегелевской? Обыкновенно возрождение материализма во второй половине XIX века объясняют громадными завоеваниями и открытиями естественных наук; но в этом только *повод,* а не *логическое оправдание.* Успехи естественных наук могли внушить особенно высокое понятие о приемах, ими употребляемых, переходящее в какое-то пренебрежение к другим способам познавания, так сказать – приучить к безусловной вере в безошибочность зрения, осязания, слуха и выводов, основанных на данных, этими путями приводимых в сознание. Но, повторяем, этим только обусловливалось субъективное предрасположение к материализму, подготовлялась для него восприимчивая почва. Сам же по себе, как учение, материализм вовсе не вытекает из естественных наук. Физиология, химия, физика говорят нам, каждая в своей области: вот что мы высмотрели, взвесили, ощупали, измерили и разложили. А материализм прибавляет: и, кроме этого, ничего нет; все

остальное (для чего, однако, на человеческом языке существуют слова) не существует вовсе. Очевидно, что естественные науки отнюдь не причастны в этом выводе. Он объясняется иным. Оторвавшись от учения о свободно творящем духе, Гегель по-своему идентифицировал знание с бытием, признав только то бытие действительным, которое оказывалось разумным, то есть оправдывалось как проявление моментов духа, по закону логической необходимости стремящегося к полноте самосознания. Но этим путем можно было вывести и оправдать только *возможность* или *необходимость,* а не самое бытие явления. От мира явлений, с которым он не совладал, Гегель думал отделаться, окрестив его презрительным названием случайности, и таким образом весь этот мир, не уложившись в его системе, так сказать, выпал из нее. Понятно после этого, что по общему закону логического возмездия, материализм взялся за обиженного, заступился за него и, не выходя из круга понятий гегелевской философии, нашел оправдание самосущности материи в том же законе необходимости, только не логической, а вещественной. Мы знаем наперед, что все это, в глазах многих, пустые отвлеченности, бесплодная игра фантазии, набор слов и т.д.; но такое генеральское пренебрежение к усилиям мысли, вне области дипломатических нот и финансовых комбинаций, даже не представляет ручательств за сильное развитие практического смысла. А между тем не этим ли модным пренебрежением объясняется отчасти одно из самых прискорбных явлений нашей современности, а именно, что направление мысли и образование молодых учащихся поколений ускользнуло из рук присяжных служителей науки и в их глазах было подхвачено другими? Редактор «Русского Вестника» (мы обращаем его к нашим общим воспоминаниям) согласится, что в прежнее время было не так.

Занятия философиею, говорят еще, у нас *ни к чему не ведут;* но вопрос в том, кто к чему идет? Конечно, нет надобности изучать Гегеля, чтобы иметь право голоса в Дворянском Собрании, попасть в предводители или быть избранным

в Английский клуб. Да ведь есть же и у нас и всегда водились люди и с другими потребностями. К тому же, скажите на милость, к чему, например, ведет, чем вызывается у нас изучение филологии, санскритского или латинского языка? Не правы ли будут те, которые прямо заявляют, что у нас это все роскошь и излишество, что пора бросить за борт, вместе с логикою, и греческий синтаксис, и вместо этого налечь на технологию, механику и обществоведение; по крайней мере тут очевидно, к чему ведут приобретаемые познания: они научат строить железные дороги, мосты, составлять краски, обороняться от придирок станового пристава и т.д. «Современная Летопись» в ряде статей, которых очень серьезное содержание, может быть, укрылось от читателей под остроумною формою, в которую они облечены, восстала против этой системы умственного холощения, а «Русский Вестник» этой системе вторит по поводу философии!

Досталось г. Страхову за Гегеля; но за ним открылся и другой, не менее тяжелый грех. Оказалось, что он еще вдобавок славянофил. Послушайте: «С гегелевскою философиею у г. Страхова соединилось еще какое-то особого рода славянофильство, состоящее в искании каких-то начал народных, ни на что не похожих, нигде не существующих, но долженствующих откуда-то прилететь, в искании какой-то почвы – словом, в повторении того, что так словообильно говорится у нас везде, где только возникает речь о материях важных... Народные начала! Коренные основы! А что такое эти начала? Что такое эти основы? Представляется ли вам, господа, что-нибудь совершенно ясное при этих словах?» Как все это грозно, как надменно, что за недосягаемость самоуверенности и силы! Итак, эти *какие-то* народные начала, *эти звери,* ни на что не похожие, как называет их «Русский Вестник» в той же статье, нигде не существуют и должны откуда-то прилететь. Ну, а если они уж прилетели? Если нам удастся доказать вам, что вы сами, в минуту жизни трудную, прибегли к их помощи и ухватились за них? Припомните весьма недавнее. «Московские Ведомости» несколько времени тому

назад пустили в ход мысль о разрешении Польского вопроса совершенным объединением Польши и России в общей политической конституции. Целый ряд статей заканчивался этим облигатным финалом, очень напоминавшим известную Verfassungsfrage*, на которой выезжали прусские публицисты лет двадцать тому назад. Общая конституция рекомендовалась, как вернейшее средство, во-первых, удовлетворить Польшу и в то же время нейтрализовать ее силу как самостоятельной, народной стихии; во-вторых, – отнять всякий предлог иностранного вмешательства. Против этого были предъявлены следующие возражения: если в настоящее время Польша не может жить спокойно, когда на каждую ее косу приходится десять русских штыков, то кто же поручится, что она смирится, когда на один польский голос будет насчитываться десять голосов русских? Не то же ли это владычество числительности или силы, только выразившееся в другой форме, и потому не будем мы ли вынуждены так же, как и теперь, прибегать беспрестанно к силе штыков, чтобы придать обязательность перевесу голосов? Далее, странно придумывать систему для устранения *предлогов* к иностранному вмешательству, тогда как оно, очевидно, само себе служит *целью,* а за предлогами или поводами никогда дело не станет, как бы ни управлялись Россия и Польша? Наконец, еще страннее, отстаивая не только внешнюю независимость, но и внутреннюю самобытность России, в то же время и с единственною целью угодить полякам и ублажить Западную Европу, навязывать России форму правления, может быть, вовсе ей несродную, не уяснив себе, даже не упомянув о том, нужна ли для России и желает ли она подобной перемены? Надобно было что-нибудь ответить, и «Русский Вестник» начал с того, что различил понятие о конституции в широком смысле всякого государственного учреждения, выражающего собою сознание народа о значении власти и об отношении его к ней, от понятия о конституции в том теснейшем смысле, в каком его понимает Англия, Франция, Пруссия, Италия и Австрия, – словом,

* Конституционный вопрос *(нем.).*

вся Европа, кроме нас. Конституционную форму, в этом последнем смысле, он подверг решительному осуждению в самой ее сущности, как сделку, основанную на пондерации (т.е. взвешивании) властей и на взаимных гарантиях, вызванных взаимным недоверием; словом, он признал несостоятельность ее и внутреннее противоречие, в ней таящееся, отверг ее для России, заявил, что эта форма ей несродна и что наши *особенные, народные начала,* как видно, не похожие на западноевропейские, требуют совершенно иного государственного строя. Вот подлинные слова: «Выработалась общая схема политического устройства, которая, под именем *конституции,* считается обязательною для всякого государства, желающего стать с веком наравне. Все европейские государства народились в конституции... Откидывая в сторону все смутные представления, всю ту внешнюю обстановку, которая соединяется с значением этого слова, мы получим в остатке понятие, на котором более или менее сходятся разные люди, как на самом существенном смысле его. Это понятие есть договор, или контракт, между верховною властью страны и народом. В таком договоре или контракте и поклонники, и порицатели так называемого конституционного устройства, готовы видеть главное значение конституционного порядка, хотя до сих пор не находится нотариуса, который мог бы скрепить этот акт, и не оказывается судилища, которое могло бы гарантировать его силу... Теория общественного контракта и договорного начала в организации государств есть одна из фикций, которыми так обильно было прошлое столетие... И в самом деле, не явное ли бессилие в этих попытках основать отношение между верховною властью и народом на договоре или контракте? Не явная ли ложь в этом искусственном разъединении двух сил, которые в действительности неразрывно соединены между собой? Не явное ли зло в этом организованном недоверии между верховною властью, которая ничего не значит без народа, и народом, который ничего не значит без верховной власти?.. Бессильный предупредить зло, контракт достаточно силен, чтобы коренным образом испортить отношения между

верховною властью и народным представительством и сообщить как той, так и другому, не свойственный им характер, развить в них отдельные интересы и себялюбивые инстинкты и поставить их в ложные отношения и т. д.»

Итак, конституционная форма и ее теория, обошедшая кругом всю Западную Европу, эта форма, в которой современная наука видит высшее проявление государственного развития и самый решительный признак политической цивилизации, – *есть явная ложь.* Теперь посмотрим, в чем же заключается правда, по крайней мере правда для нас, русских, и откуда мы ее возьмем? Выписываем опять подлинные слова: «Страна, призванная к великой исторической жизни, Россия, имеет свой *оригинальный тип и свойственный ей ритм развития.* Не одни племенные особенности чисто русского народонаселения России определили этот тип; он есть результат многих условий исторических и географических... Этот общий тип, выработанный долгою, трудовою, до сих пор исключительно ему посвященною историею, способен ко всевозможному усовершенствованию и может в дальнейшем развитии *удовлетворить всем потребностям человеческой жизни и человеческого общества».* Здесь мы не можем не остановиться. Россия имеет оригинальный, ей одной свойственный ритм развития, какой-то тип, призванный к удовлетворению всех потребностей человеческих; а над славянофилами глумятся именно за то, что они стараются выразуметь этот тип и попасть в этот ритм! Но посмотрим далее, как определяется русский государственный тип: «Основная черта этого типа, который выработан Россиею и от которого Россия не может отречься, есть доверие между верховною властью и народом. Россия не может допустить ничего похожего на договор или контракт между монархом и его поданными. Всякий волен сочинять про себя какой угодно проект политического устройства, но всякий, не лишенный здравого смысла, должен понять: что, во-первых, монархическое начало не только есть коренное начало для России, но есть сама Россия, и, во-вторых, никакое разделение невозможно в России между верховным пред-

ставителем этого начала и народом. Вот основания, которые должны быть неизбежно приняты и вне которых невозможна никакая политическая комбинация в России... Система доверия, исключающая всякую мысль о договоре между верховною властию и народом, – система, полагающая в основание полное и неразрывное единство между ними, способна к великому и плодотворному развитию. Русь запечатлела всею своею историею верность этому началу: она выдержала самые суровые испытания, она вытерпела Ивана Грозного, с его опричниной и лютыми казнями, она принесла всевозможные жертвы для того, чтобы сохранить нерушимо и утвердить это начало... Отказаться от него, значило бы отказаться от самой себя... Если разного рода конституции, основанные на контракте и представляющие собою организованное недоверие между двумя, в действительности свято и неразрывно соединенными силами, представляют собою фикцию бесплодную, бессильную и часто пагубную, то России может быть свойственно только такое политическое устройство, которое представляло бы в своем основании полное, взаимное доверие между властью и народом». Далее развивается та мысль, что «принцип власти должен быть один и принадлежать безусловно главе государства, что народное представительство не должно быть ничем иным, как правильно организованною силою общественного мнения, то есть правильным заявлением действительных потребностей, интересов и чувствований страны, с другой стороны – надежнейшим проводником закона в народную жизнь; но что представительство это отнюдь не должно быть замышляемо с характером власти, ограничивающей или уравновешивающей верховную власть; что оно не должно иметь ни тени мысли, что оно имеет власть издавать законы или что согласие его необходимо для издания законов; что мнение представителей, хотя бы оно соединило в себе все голоса, должно оставаться не более, как простым мнением, и сколько бы оно ни проходило испытаний, не должно приобретать ни малейшей юридической обязательности, не должно становиться ни полузаконом, ни четвертью

закона, ни сотою долей его до решения верховной власти». На этом мы остановимся. Устраняя вопрос о том, в какой мере верна мысль, высказанная «Русским Вестником», и ясно ли она выражена, мы спрашиваем: если действительно государственное устройство, выработанное нашею жизнью и высмотренное «Русским Вестником» в присужденных русскому народу инстинктах, заключает в себе особенное политическое начало, противоположное тому, которое осуществилось в Западной Европе и на котором остановилась наука; если это начало указывает на высшие требования и призвано к удовлетворению человечества, то не ясно ли, во-первых, что оно займет место в науке как новая дополнительная глава к ныне господствующей теории государственного права и что, следовательно, народность имеет свое неотъемлемое значение в развитии науки; во-вторых, что «Русскому Вестнику» далеко не так безызвестны эти *какие-то, так называемые,* русские коренные начала, от которых он отбивался? Ведь вот, приспичила необходимость, и вы сами указали на одну из них. К чему же это надменное немогузнайство? Правда, не вы первые обнаружили особенность русского воззрения на государственное устройство; всю эту систему вы заимствовали целиком и почти буквально выписали из статей Константина Аксакова об отношении земли к государству; но ведь вы же ее себе усвоили и повторили от себя, даже не указав на источник. С Богом! Мы искренно этому радуемся, но в то же время позволим себе напомнить о русской пословице, не советующей никому плевать в колодезь; тем паче не следовало бы плевать в него тому, кому довелось накануне почерпнуть из него глоток воды.

Третье обвинение, также направленное против г. Страхова, еще оригинальнее первых двух. Ему ставится в упрек его старание глубже вникнуть в вопрос! «Русский Вестник» восклицает: «Он старался глубже вникнуть в вопрос! Вот в том-то вся и беда. Вместо того, чтобы смешаться с *живыми* (?) людьми, вместо того, чтобы заодно с ними мыслить, чувствовать и действовать, он пустился вникать глубже в вопрос.

Он забыл и почву, и народное чувство, и события, происходящие теперь у всех перед глазами, и погрузился в метафизику вопроса». Право не знаешь, что и отвечать на это. Подобные наставления, и именно в этом возмутительном тоне, слышались только в эпоху блаженной памяти крепостного права. Бывало, крепостной бурмистр, не совсем точно исполнивший барский приказ, стоит перед раздраженным помещиком и оправдывается: «Осмелюсь доложить вашей милости: я думал, что так будет лучше». А барин вскакивал со стула и кричал на него, обращаясь к своему соседу: «Прошу покорно, он *думал!* И он туда же — вздумал думать! А кто тебе велел думать? А? Вот в том-то и беда, что ныне все хотят думать и т. д.» Бурмистр, разумеется, молчал и только вздыхал; но ведь это происходило до 19 февраля 1861 года. Положим, однако, что благодаря заслуженному авторитету «Русского Вестника», кто-нибудь откажется от прав мыслить своим умом и в меру своих способностей углубляться в вопросы, а поставит себе за правило – заодно с так называемыми живыми людьми мыслить, чувствовать и действовать. Как же он это исполнит? Как отличит живых людей от неживых? Значит ли это вообще ни в чем не отставать от большинства и ни в чем не опережать его? Но ведь и это опасно. Не так давно, на Литве и в Белоруссии, русские люди (конечно, не простой народ и не духовное сословие), не считавшие себя мертвыми, вменяли себе в честь мыслить, чувствовать и действовать *как все,* т.е. как польские дворяне. Недавно также, живые люди сбирались отдать Польше весь Западный край, восстановить ее государственную независимость, и один Карамзин, всю жизнь свою углублявшийся в исторические вопросы, решился против этого возразить, сославшись на прошедшее России и на будущие ее судьбы. Он тоже был выскочкою из круга своих современников. Не правда ли? Наконец, кто поручится, что и теперь у многих людей, также считающих себя живыми, и живыми по преимуществу, не закружится голова даже и на той глубине, до которой спустился «Русский Вестник», рассуждая о конституции и об отношении земли к государству?

«Русский Вестник» объявляет читателям с свойственной ему докторальностью, что противопоставление России, как особого мира, Западной Европе, как другому миру, и русской цивилизации – западноевропейской есть *фантастическая космогония, порождающая всякую нелепость.* «В действительности есть, во-первых, одна *всеобщая всемирная* цивилизация, которая связывает все народы, которая втягивает, наконец, в свою сферу и Китай, и Японию, и, во-вторых, есть *индивидуальные* цивилизации отдельных исторических народов – цивилизации, в которых выразился труд их жизни и которые составляют капитал каждого народа в особенности. Европейские народы, находясь под условием общей всем и обязательной для всех цивилизации, тем не менее глубоко и существенно разнятся между собою. Стоит только взять две самые крайние (?) западные страны, чтобы видеть, как в одно и то же время обязательна общая цивилизация и как резко обрисовывается индивидуальная цивилизация Англии и Франции во всем, начиная от религиозных и политических учреждений до мельчайших подробностей быта. Россия точно так же подлежит условиям общей цивилизации, обязательным и для государства русского, и для каждого русского человека в отдельности. Но в то же время русский народ и русское государство обладают свойственными им условиями быта и развития. Вместе с европейскою или, лучше сказать, всемирною системою цивилизации, к которой существенно принадлежит и Россия, возможна и необходима особенная, русская, самостоятельная цивилизация. Но обе эти цивилизации не исключают одна другую; напротив, они живут одна в другой, взаимно друг друга усиливают и образуют неразрывное единство».

Давно и искренно желали мы выразуметь, что именно подразумевается под словом *цивилизация,* так недавно вошедшим у нас в моду, так часто повторяемым и почти совершенно вытеснившим из употребления слово *просвещение.* По-видимому, оба выражают одно и то же или по крайней мере выражают понятия, до того между собой близкие, что

в обыкновенном разговорном и литературном языке мы их даже строго не различаем. Но если мы отбросили одно слово, притом слово коренное русское и, по замечанию Гоголя, не переводимое ни на какой европейский язык, если мы единодушно, не сговариваясь, усвоили себе для того же употребления другое, то надобно предполагать, что это произошло недаром. В истории модных слов, в последовательной смене одних другими почти всегда отражается история общественных понятий. Определения цивилизации мы, конечно, не найдем в выписанном нами отрывке; по крайней мере он даст нам возможность, хоть путем отрицания, уяснить себе, чего обыкновенно не подразумевают под этим словом и каким представлениям оно соответствует. Есть цивилизация общая, всемирная, сближающая народы и для всех обязательная, затем есть еще цивилизация частная, свойственная каждому историческому народу и следовательно, для других необязательная; но обе эти цивилизации не исключаются взаимно, а напротив, живут одна в другой. В чем выражает себя общая цивилизация – нам не объяснено; по крайней мере, сказано, что частная выражается, между прочим, в религиозных и политических учреждениях. Из всего этого мы можем вывести следующее заключение: в деле цивилизации главное, существенное, есть общее и обязательное; общему подчиняется частное, как второстепенное и необязательное. Теперь спрашивается: каким образом все это живет одно в другом и как представить себе процесс обязательного усвоения общего, с которым бы гармонировало частное? Например: «Русский вестник» поведал нам, что Европа, за исключением России, признает за идеал государственного устройства осуществление контрактных отношений между власть имущими и подвластными; наоборот, Россия всею своею историею и современным своим бытом отрицает это начало и полагает свой государственный идеал в единстве и в полноте взаимного доверия; вот два понятия, диаметрально противоположные. Они могут относиться между собой или как высшее к низшему, то есть, как степени, или как виды,

то есть как равносильные, так сказать, равноправные, одинаково односторонние понятия, подчиняющиеся третьему высшему, обнимающему их в своей полноте. Приняв сперва второе предположение, по-видимому, более сообразное с воззрением «Русского Вестника», мы должны будем отнести оба понятия к области частных, индивидуальных цивилизаций; но тогда где ж мы найдем третье, общее, всемирное и для всех обязательное, которое бы примирило их, не противореча ни тому, ни другому? Возьмем другой пример. Мы видим перед собою церковь православную, латинство и протестантство, со всеми его подразделениями; надобно полагать, по теории «Русского Вестника», что все эти явления религиозного сознания также находят себе место в кругу частных индивидуальных цивилизаций. Спрашиваем опять: где ж явление общей, обязательной цивилизации в той же области религиозного сознания? Как представить себе обязательное усвоение христианства вне православия, латинства и протестантства? Оказывается, что это невозможно. Итак, мы поневоле должны прийти к заключению, что из сферы общей, обязательной, всемирной цивилизации надобно прежде всего исключить религиозные и политические начала, равно как и все то, что выросло и вырастает от этих корней; иными словами – все, что образует людей изнутри, чем обуславливается их нравственный уровень и основной характер их общежития. На такую операцию как-то трудно решиться, и потому мы сперва испытаем другое предположение. Допустим, что указанные нами понятия относятся между собою, как различные степени сознания, что белый луч христианства сохранился во всей своей полноте в православной церкви, а на Западе, преломившись в национальных призмах латинских и германских понятий, так сказать, окрасился в них и раздробился на два противоположных полюса; западного католичества и протестантства. Прибавим к этому, со слов *Русского* же *Вестника* (но, разумеется, из другого №), что государственное устройство, основанное на контракте, есть ложь, а основанное на взаимном доверии, то есть то, которое

осуществилось только в России, призвано к удовлетворению потребностей всего человечества; допустим, пожалуй, – не мы против этого будем спорить; но дело в том, что из этих предположений вытекает много такого, чего «Русский Вестник», кажется, и не подозревает. Вытекает, что начала общей цивилизации, по крайней мере по отношению к религии и государственному строю, хранит в себе Россия, тогда как Западная Европа живет в началах исключительно индивидуальных своих цивилизаций; следовательно, что нет ничего *нелепого* в противопоставлении цивилизации западноевропейской, или католико-протестантской, цивилизации православно-русской; а напротив, непризнание громадной разницы между этими двумя мирами есть признак замечательной близорукости. Вне двух исчерпанных нами предположений мы не усматриваем возможности уяснить себе отношение общей цивилизации к частным. На котором же из них остановиться?.. Но вот что нам приходит теперь на мысль. Может быть, мы совершенно неправильно отнеслись к статье «Русского Вестника», вздумав отыскивать какого-нибудь определенного смысла или продуманного понятия в слове *цивилизация* и в сопровождающих его предикатах? Может быть, «Русский Вестник» и не подразумевает ничего ясного и точного, а употребляет слово *цивилизация* совершенно безотчетно, по примеру так называемых *живых* людей, с которыми он советует думать заодно, ссылаясь не на логическое, строго продуманное, а на житейское понятие, сложившееся из множества разнородных представлений, случайно между собой сцепившихся? Действительно, это едва ли не вероятнее всего.

Русский человек запасается паспортом и отправляется за границу. Едва только он успел ее переехать, как приливают к нему со всех сторон новые впечатления. От железных дорог по разным направлениям тянутся шоссейные, проселочные дороги, деревенские дома, крытые черепицею; нигде ни одного клочка праздной земли: все обработано, возделано и тщательно огорожено; попутчики учтивы и оказывают друг

другу всевозможные, мелкие услуги; никто не заденет локтем, не извинившись, никто не протянет ног на чужое место; полиция и должностные лица обворожительно предупредительны; гостиницы не только опрятны, но даже роскошны и изобилуют комфортом; улицы ярко освещены; в каждом городе много открытых музеумов, собраний, библиотек; везде читаются публичные лекции, новейшие изобретения разносятся мгновенно; масса новых сведений приобретается без труда, почти невольно... Очарованный русский человек чувствует потребность поделиться своим восторгом с подсевшим к нему спутником и слышит в ответ: «Monsieur, vous avez bien raison; la voila□ cette grande civilisation universelle, qui fait le tour du monde, civilisation des chemins de fer, civilisation obligatoire pour tous, monsieur, civilisation, que nous allons porter en Chine et en Afrique avec nos colonnades et nos verroteries»*. Русский человек задумывается. Так вот она, цивилизация! И в представлении его в один миг проносятся дорожные ухабы, топкие гати, душные лачуги, грязные гостиницы, необтесанные становые приставы и вся та внешняя, знакомая обстановка русской земли. При этом впечатлении он остается и закрепляет его навсегда подсказанным ему словом *цивилизация*! Очевидно, в этой сфере не может быть и места для противопоставления России, как самостоятельной исторической среды, Западной Европе. Здесь Россия не является чем-либо по себе, а определяется только по отсутствию в ней или по низшей степени развития этой, так называемой, общей цивилизации. Но, спрашиваете вы: отчего же русский человек останавливается на первом выводе из внешних впечатлений? Почему бы ему не всмотреться глубже в условия религиозного, политического, общественного и семейного быта западных народов? Может быть, тогда он открыл бы внутренние противоречия и неразрешимые вопросы, которыми подтачивается цельность

---

* Сударь, вы совершенно правы; вот эта великая цивилизация, обошедшая всю землю, цивилизация железных дорог, цивилизация, обязательная для всех, сударь, цивилизация, которую мы введем в Китай и Африку со всеми нашими колоннадами и стекляшками *(фр.).*

их внутренней жизни и обуславливаются периодические сотрясения ее основ. Может быть, обратившись к России, он почувствовал бы в ней присутствие других, более широких начал и биение жизни, хотя и не вполне развитой, но здоровой и крепкой? – Почему? А потому, что русский человек не любит углубляться в вопросы и основательно изучать предмет; потому, что его к этому не приучают; мало того, потому, что на него за это сердятся и советуют ему думать, чувствовать и жить, как так называемые живые люди. И русский человек остается при одном смутном представлении о цивилизации, то есть о какой-то нестройной совокупности всякого рода условий житейского комфорта, накопленных фактических знаний и внешних форм общежития. Кажется, что и «Русский Вестник» другого не подразумевает. Не оттого ли и понадобилось нам слово *цивилизация,* что мы сохранили какое-то бессознательное уважение к слову *просвещение* и что нам становилось как будто совестно употреблять его по мере того, как самое понятие мельчало, грубело и пошлело?

Мы, однако, не теряем надежды на чем-нибудь сойтись с «Русским Вестником» и предлагаем ему следующую сделку. Надеемся, что он примет ее благосклонно ради ее дипломатического характера.

Когда говорится о западном и русском мире, «Русскому Вестнику» чудятся какие-то Омаровские замыслы против библиотек, наук, искусств и музеумов; мы уважаем этот страх, как бы неразумен он ни был, и не будем говорить ни о двух мирах, ни о двух цивилизациях. Вместо этого, мы придумаем какие-нибудь другие термины или просто другие знаки, как X и Z. Но зато, не согласится ли «Русский Вестник» признать, во-первых, что между Россиею, землею, населенною славянским племенем, землею православною, имевшею свою особенную историческую судьбу, и всеми латино-германскими и католико-протестантскими землями существует разница более существенная, более глубокая и резкая, чем та, которая усматривается при сравнении этих земель между собою или с Польшею; во-вторых, что во всем,

что обусловливается в жизни началами религиозным, политическим и племенным, Россия должна развиваться самобытно, и хотя бы результаты, к которым она придет, расходились далеко с результатами развития народов западных, однако мы этим нисколько не должны смущаться; в-третьих, наконец, что заимствование должно ограничиваться тою областью, которая относится индифферентно к этим коренным началам, то есть областью фактического знания, внешнего опыта и материальных усовершенствований. Кажется, после статьи о конституции, в смысле русской истории, нет причины с этим не согласиться, а мы тем охотнее предлагаем эту сделку, что она не требует ни малейшей жертвы, ни даже уступки в прежних наших убеждениях.

«Русский Вестник» отрицает также всякую искренность в сочувствии Западной Европы к Польше и объясняет современное движение в ее пользу одним подкупом журналистики. «Вестник», кажется, мирится с этим явлением очень легко и находит его совершенно естественным. «Кому неизвестно, – спрашивает он, – что там, где печать имеет силу, она, *как и всякая ценная вещь,* становится предметом купли-продажи и найма?» Выходит, что вся продажность мысли и слова есть также одно из проявлений цивилизации, притом, вероятно, общей и для всех обязательной. Что подкупы участвовали в направлении журналистики, это, действительно, не подлежит сомнению; но искать в них единственной причины единодушного возбуждения общественного мнения против России – это так же правдоподобно, так же исторически верно, как придуманное иезуитами объяснение побудительных причин Реформации одним желанием найти предлог к отобранию монастырских имений.

Далее, «Русский Вестник» не хочет и слышать о значении латинства как существенной преграды к примирению поляков с Россиею и наивно уверяет, что разрешение польского вопроса затрудняется единственно безумными притязаниями поляков, забывая при этом, что самые эти притязания только потому и засели так глубоко в умах и сердцах поляков, что

вытекли непосредственно из всей исторической роли Польши как передовой дружины латинства в Восточной Европе. Но об этом «Русский Вестник» как будто и не слыхал. Вот до какой степени привычка толковать о вопросах, не давая себе труда углубляться в них, отнимает способность к уразумению самых простых и сподручных явлений.

Затем, «Русский Вестник» успокаивает публику заверением, что «Европа нуждается в нас, что могущественная, крепкая, самостоятельная Россия незаменима в системе целого мира; что Россия есть одна из самых коренных сил Европы; что в числе пяти великих держав, она составляет Европу в теснейшем и собственном смысле и только как великая европейская держава известна она целому миру, *только в таком качестве имеет она значение и силу».* Есть, конечно, в этих словах и доля правды, а между тем все вместе крайне неприятно отдается в русском ухе. *Европа нуждается в нас* – да, действительно нуждалась, например, Австрия при Елизавете в русской крови и в русских штыках, чтобы спастись от штыков прусских; позднее нуждалась Пруссия в России, чтобы спастись от Наполеона; затем и Англия прибегала к той же помощи против того же врага, задумавшего континентальную систему; наконец, Австрия опять ощутила крайнюю нужду в России, когда венгры наступили ей на горло; сколько услуг, сколько оказанной помощи! Но вот что замечательно и чего бы не следовало забывать: вздумалось, наконец, России сделать что-нибудь для самой себя, а не для других, поступить хоть один раз в духе своей исторической политики, именно в вопросе Восточном, и в тот же день сложилась против нее общеевропейская коалиция. Теперь повторяется то же самое, по поводу вопроса Польского: союзные державы расходятся между собою в точках отправления и в самых существенных своих интересах; но они сходятся в одном – в желании всякого зла России, и это одно поддерживает самый искусственный из всех, когда-либо бывших союзов...

До какой степени знаменитая пятерица и основанное на ней равноправие прочны и незаменимы, трудно сказать; по

крайней мере очевидно, что Западная Европа этого мнения не разделяет и очень легко помирилась с мыслью обеспечить за собою перевес – введением в совет первостепенных держав Италии и даже Турции, ослабить наполовину могущество России, разорвав ее историческую связь с Востоком, и передать половину ее могущества той же Турции, Швеции и восстановленной Польше. К чему же обманывать себя? Наконец, неужели в чьих-либо глазах Россия действительно имеет значение и силу *только* как великая европейская держава? Неужели не имеет ни силы, ни значения земля Русская, Святая Русь? Если даже, в чем мы не сомневаемся, «Русский Вестник» заявляет не свое понятие о России, а взгляд на нее Европы, то, кажется, следовало бы не усваивать его себе с каким-то непонятным самодовольством, а, напротив, со всею силою отвергнуть это *только* как величайшее оскорбление нашей народности. Вот тут-то, действительно, негодование было бы кстати. Пора же наконец убедиться, что ничто так не извратило нашего народного самосознания и так не повредило нам в мнении добросовестнейших представителей Западной Европы, как это беспрестанное величание нашим внешним могуществом и представление России в виде какого-то колоссального олицетворения вещественных сил. Это тот самый призрак, которым теперешние поляки пугают Европу...

Но довольно. Не охота к полемике вовлекла нас в разбор статьи «Русского Вестника», а желание разъяснить, по возможности, односторонность воззрений, в ней выраженных, на многие существенно важные вопросы. Впрочем, несмотря на коренное наше разномыслие с «Вестником», мы на сей раз прощаемся с ним, вовсе не отказываясь от надежды на скорое сближение. Надежду эту подкрепляет в нас память о прошлом. История «Русского Вестника» распадается на два периода: *до* и *после* открытия Англии. В первом периоде он проповедовал от имени науки, выдавая ее за вполне законченную систему непреложных положений, как бы за свод законов своего рода, и отстаивал право самодержавного ее владычества над народною жизнью, во всех проявлениях последней.

Справкою с *наукою* решались в то время все практические вопросы, без дальних соображений с понятиями и потребностями, выработанными жизнью. Так, между прочим, он отнесся к вопросу о нашей сельской, хозяйственной общине. После открытия Англии, этот взгляд существенно изменился к лучшему. Притязания науки стали значительно скромнее; пример англичан внушил уважение к народному быту, к правам жизни, к ее свободе и своеобразности. «Вестник» сделался даже ревностным ее адвокатом и в этом отношении принес общественному делу существенную пользу. Нам кажется, что в настоящую минуту он стоит у преддверия третьего периода, который начнется для него открытием русской земли. По крайней мере статья, в мартовской книжке, о том, «что нам делать с Польшею», может служить ручательством, что эта надежда осуществится.

До тех пор, если это доставляет «Русскому Вестнику» удовольствие, пусть он продолжает издеваться над «этими господами» славянофилами, как он их величает; пусть пишет на них карикатуры: мы первые, когда блеснет в них остроумие или веселость, принесем ему дань заслуженного смеха.

Предисловие к отрывку из записок А. С. Хомякова о всемирной истории*

Помещая в нашем журнале первый отрывок из рукописи, найденной в бумагах покойного Алексея Степановича Хомякова, мы должны сказать несколько объяснительных

* Статья эта напечатана во 2-й кн. «Русской Беседы» за 1860 г. в виде предисловия «От редакции» к отрывку из Записок А. С. Хомякова. Она написана Ю. Ф. Самариным, что подтверждается следующими словами его в письме от 12 декабря 1860 г. к К. С. Аксакову: «Мы с Гильфердингом приготовили для последнего нумера «Беседы» отрывок из «Семирамиды», к которому я написал небольшое предисловие». «Семирамидою» покойный Хомяков в шутку назвал свое историческое сочинение *(прим. Д. Самарина).*

слов о происхождении и характере труда, из которого он заимствован. Мы считаем это тем более необходимым, что труд этот отличается не только внутреннею своеобразностью проведенного в нем воззрения, но и внешнею оригинальностью своего построения, так что, не составив себе предварительного о нем понятия, трудно бы было читателю стать на надлежащую точку зрения для его оценки и уяснить себе, чего можно от него ожидать и чего должно от него требовать.

Тому назад лет двадцать, когда историческая будущность славяно-православного мира начала переходить из области темных гаданий и поэтических предчувствий в отчетливое сознание, естественным образом возникла мысль проследить в прошедшем историю его образования и, так сказать, воссоздать его полузабытую генеалогию. Прежде всего, нужно было отыскать славян и живые следы православного вероучения, более или менее затертые позднейшими наслоениями, выделить, из разных примесей, народные и религиозные стихии и назвать их по имени. Но задача не могла ограничиться определением внешней, осязаемой стороны исторических фактов. Возникли новые вопросы: к чему предназначено это долго непризнанное племя, по-видимому осужденное на какую-то страдательную роль в истории? Чему приписать его изолированность и непонятный строй его жизни, неподходящей ни под одну из признанных наукою формул общественного и политического развития: тому ли, что оно, по природе своей, не способно к самостоятельному развитию и только предназначено служить как бы запасным материалом для обновления оскудевающих сил передовых народов, или тому, что в нем хранятся зачатки нового просвещения, которого пора наступит не прежде, как по истощении начал, ныне изживаемых человечеством? Что□ значит эта загадочная Церковь, по-видимому, задержанная в своем развитии и как бы оставшаяся в стороне от истории, с тех пор как христианство на Западе распалось на свои два противоположных полюса? Наконец, какая таинственная связь соединяет эту Церковь с этим племенем, которое в ней одной

свободно дышит и движется, а вне ее неминуемо подпадает рабскому подражанию и искажается в самых коренных основах своего бытия? Очевидно, что на эти вопросы нельзя было искать готовых ответов в трудах западных ученых. Если бы мы приняли на веру и безоговорочно результаты науки, выработанные в Германии, Франции и Англии, мы тем самым бессознательно подписали бы свой собственный приговор и обрекли бы себя если не к смерти, то к историческому ничтожеству и к вечному хождению по чужим следам. Каждый народ, в понимании чужой жизни, невольно ограничивается пределами своего собственного созерцания; он усваивает себе внутренний смысл тех явлений, в которых выражается собственная его личность, в которых он узнает самого себя, или, по крайней мере, личности других народов, связанных с ним единством духовных стремлений; все, что лежит вне этого круга, естественным образом представляется ему своею отрицательною стороною и определяется им по ощутительному для него отсутствию тех начал, в которых заключаются для него цель и идеал человеческого развития. Таким образом, воспроизводя прошедшие судьбы человечества, из всего забираемого им исторического материала он невольно строит как бы пьедестал самому себе.

В беседах своих с молодыми людьми, воспитанниками Московского университета, собиравшимися около него, Алексей Степанович Хомяков часто указывал на эту неизбежную односторонность готовых выводов, заимствованных нами без надлежащей критики из иностранных литератур; но он знал, что отвергать выводы науки можно только во имя самой науки, противопоставляя полнейшее знание знанию неполному или поверхностному, и потому он настаивал на необходимости обратиться к источникам и по ним проверить все исторические оценки и суждения, повторяемые нами с чужого голоса. Под его руководством задумано было в то время обширное издание, посвященное исследованиям о прошедших судьбах и настоящем положении славяно-православного мира: первый том его вышел в свет под названием Славянского Сборника,

и уже много было заготовлено материалов для следующих выпусков; но ранняя кончина главного распорядителя работ, покойного Валуева, в лице которого русская наука лишилась незаменимого деятеля, положила конец этому предприятию. Тесный кружок, собравшийся для общего дела, мало-помалу рассеялся в разные стороны, и Хомяков один принял из рук Валуева наследство им же задуманного труда.

О самом ходе его работ мы еще не могли собрать точных и подробных сведений. Кажется, он начал с изучения религиозных сект, волновавших православный Восток в первые века христианства в связи с движением народов, прорывавшихся с разных сторон в пределы Римской империи; далее, попавши на живой след восточных религий в христианском мире, он углубился в древность, перешел из Греции в Индию и Египет, из области богословия и истории, в тесном значении слова, в область этнографии и филологии. Круг его исследований мало-помалу расширялся, и, наконец, он обнял весь древний мир до самых ранних воспоминаний рода человеческого. Таким образом, не ограничивая заранее предмета своих занятий, не задавая себе целью сочинить книгу, он втягивался в работу понемногу, и труд его, незаметно для него самого, разросся до огромных размеров.

Обыкновенно, отправляясь в деревню, он забирал с собою целую библиотеку летописей, словарей, новейших исследований и путешествий; в один год, из-за границы, выписано им было книг на 10 т. рублей. При необыкновенной силе его ума он одолевал весь этот сырой материал в течение лета, осени и начала зимы, и затем, почти не прибегая к выпискам, но, полагаясь на свою громадную память, никогда ему не изменявшую, он заносил в особые тетради и в самой сжатой форме результаты, выработанные им из всего прочтенного. Так в течение приблизительно десяти лет набралось у него два толстых тома из 21 мельчайшим почерком исписанных тетрадей, обнимающих собою всемирную историю от древнейших времен до распадения Скандинавского севера на отдельные племенные группы, после

полумифического царя Гаральда-Гильдетанди, погибшего в сражении при Бравалле.

Сам автор не озаглавил своей работы, и мы решились назвать ее *Записками о Всемирной Истории.* Они дошли до нас в том черновом, первобытном виде, в каком они постепенно разрастались под его пером. Чтобы понять внешний их характер, необходимо иметь в виду, что Алексей Степанович Хомяков вел эти записки не для публики, а для себя; поэтому он заносил в них далеко не все то, что нужно было бы знать читателям для точного уразумения его мыслей, а только то, что в собственном его представлении выливалось окончательно в полное целое, или то, в чем он расходился во мнении с писателями, которых он изучал, или, наконец, новые отрывочные мысли, приходившие ему на ум, иногда простые намеки, сближения, даже вопросы или предположения, требовавшие дальнейшей проверки.

Едва ли найдется другой труд, который бы до такой степени соединял в себе два свойства, по-видимому противоположные: глубокое внутреннее единство основной мысли, при отсутствии всякого видимого единства, всякого систематического порядка в расположении частей и при пестроте содержания, на первых порах отталкивающей читателя. Борьба *религии нравственной свободы* (начала Иранского, окончательно осуществляющегося в полноте божественного откровения, хранимого Православною церковью) *с религиею необходимости вещественной или логической* (начала Кушитского, которого позднейшее и полнейшее выражение представляют новейшие философские школы Германии), эта борьба, олицетворяющаяся в вероучениях и в исторической судьбе передовых народов человечества – такова основная тема, связывающая разрозненные исследования в одно органическое целое. При этом в одной и той же тетради мы находим полный обзор какого-нибудь события или учения, который бы мог, почти без всякой переделки, занять место в оконченном труде; рядом – целые страницы филологических корней и самых дробных разысканий о смешении наречий, о

превращении слов и понятий, при переходе их от одного народа к другому; наконец, отрывочные замечания, взгляды, брошенные в сторону, иногда забегающие далеко вперед, в другую историческую среду, по поводу какого-нибудь нечаянно промелькнувшего сближения. Все это следует кряду, одно за другим, без разделения на главы или периоды, без ссылок и указаний источников, без кратких повторений пройденного, без приготовительных вступлений и, вообще, без всех тех общепринятых приемов и условий, которыми облегчается изучение труда, предназначенного для публики. Дело в том, что автор никогда и не думал издавать свои *Записки;* он смотрел на них, как на неистощимый запас материалов, отчасти уже переработанных, которого достало бы на несколько книг или на целую серию статей и из которого он намеревался, в свободное время, извлекать для печати отдельные части, подвергая их предварительному пересмотру и окончательной обработке. Так исследования о ересях в православной церкви послужили ему для полемико-богословских брошюр, изданных им за границею на французском языке и доселе еще мало известных нашей публике; другой отрывок, о династии Меровингов, он хотел обработать в виде отдельной статьи для «Русской Беседы», но в последние годы внимание его было обращено на другие предметы. Ему не было суждено не только довести до конца великий, задуманный им труд, но даже воспользоваться тем, что уже было им исполнено; а чего он не успел совершить, того, конечно, не возьмет на себя никто. Мы можем только сохранить для потомства богатое наследство его мысли в том виде, в каком оно до нас дошло.

Нет сомнения, что в таком обширном, многосложном и окончательно непроверенном труде, каковы *Записки* Хомякова, найдутся недосмотры, ошибки, противоречия и произвольные, а еще чаще неоправданные догадки; на них укажут, их исправят специалисты, коротко знакомые с источниками, и в то же время, мы в этом не сомневаемся, они оценят по достоинству великий ученый подвиг покойного автора. Представители ремесленности в науке, не находя на его труде сво-

его цехового штемпеля, отвернутся от него с пренебрежением; одно отсутствие разделения на главы и рубрики надолго доставит поживу самодовольной критике; мы предоставляем ей это легкое торжество над трудом, который, в этом отношении, является перед нею безоружным; большинство читателей найдет в нем чтение, конечно, нелегкое, но которое с избытком вознаградит всякое усилие мысли. За последнее можно смело поручиться.

В непродолжительном времени друзья покойного Хомякова надеются приступить к изданию всех его сочинений. Два рукописных тома «Записок о Всемирной Истории» составят от четырех до пяти томов печатных. Помещаемый в этом № отрывок взят из тетрадей 161-й и 17-й и занимает в подлиннике менее 20 страниц.

Письма из Риги

май — июнь

1848

I

Занятия мои в Риге подходят к концу, и я надеюсь скоро отсюда выехать; но до того времени мне хотелось бы на месте собрать впечатления, произведенные во мне здешним краем, и общие результаты двухлетних занятий, посвященных его истории и современному устройству города Риги. Кроме желания проверить самого себя и тем разделаться с пристрастиями, почти неизбежными при долгом устремлении мысли на один предмет, меня побуждают к этому и другие причины. Время, проведенное мною в Риге, было богато происшествиями, возбудившими в Москве и Петербурге всеобщее участие и самые противоречивые отзывы, впрочем, редко благосклонные и еще реже основанные на знании дела. Вы помните, как

доверчиво принимали за достоверные слухи очевидно пристрастные; вы не забыли тех изъявлений истинно рыцарского сочувствия к мнимо угнетенным, тех взрывов благородного негодования на угнетателей, которыми петербургское общество ознаменовало свое беспристрастие; наконец, вы знаете, каким обвинениям подверглись даже те, которые, хотя и не принимали прямого участия в мерах правительства, но заступались за них в разговорах, или только не хотели верить возгласам, так легко доставляющим в наших гостиных почетную известность. Все это возбуждает во мне желание прибавить несколько фактов к числу известных всем и оправдать – не себя, а образ мыслей, не мне одному принадлежащий, но которого я не скрываю и не имею причины скрывать. Позвольте же мне обратиться к вам с отчетом в форме писем и попросить вас выслушать меня и рассудить.

Современное состояние Остзейского края так тесно связано с его прошедшим, что нет возможности судить о первом, не припомнив существенных условий его исторического развития. Поэтому я начну с него, заранее предупреждая вас, что я ограничусь очерком и буду говорить подробнее о тех только фактах, которые или мало известны или ошибочно толкуются.

Балтийское поморье, занимаемое нынешними губерниями Курляндскою, Лифляндскою и Эстляндскою, в XII веке тянуло к соседним русским княжениям. Князь Владимир Полоцкий владел Курляндиею, Ярославль получал дань от Дерптского округа, а восточная часть Эстляндии входила в состав Новгородской земли. Немецкие летописатели признают это единогласно; у них же мы находим свидетельства о мирном распространении православия между туземными племенами*.

* В дополнение к статье епископа Рижского Филарета об этом предмете, я приведу слова немецкого летописца, недавно изданного. Вот что пишет Фома Гиерн, живший в XVII в., но сообщающий о первобытном состоянии Латышей и Эстов самые подробные и точные сведения: «В 1206 году Летголы были обращены Алабрандом; но сначала они не смели принимать крещение от Рижских священников, ибо были подвластны Псковитянам, которые, от времени до времени, посылали своих священников крестить

Казалось, России предназначено было вести за собою Балтийский край к просвещению гражданскому и церковному, но внезапное нашествие немецких купцов, проповедников и крестоносцев надолго расстроило естественный ход начавшегося развития. Немцы отняли у Русских Балтийский край, католицизм отнял его у православия; но это свершилось не без борьбы. Кто видел нынешних Латышей и Эстов, тот мог бы усомниться в достоверности рассказов о долгом и отчаянном сопротивлении, ими оказанном, если бы все летописатели не свидетельствовали о нем единогласно. Под Икскюлем, Ригою, Дерптом происходили страшные битвы, или точнее резни, в которых Русские постоянно являются то предводителями, то союзниками Финнов. Но силы были слишком неравны: почти всегда крестоносцы, с головы до ног закованые в железо, выходили победителями, а после битвы воины креста принимались с равным усердием за роль палачей. Пощады не было, и, несмотря на то, толпы Латышей стремились одна за другою на отмщение братьев, то есть на верную смерть. Земля Балтийская досталась победителям вся пропитанная слезами и кровью мучеников. Наконец, война прекратилась. Немцы уже считали туземцев навсегда покоренными, однако три раза они поднимались и на время сбрасывали с себя ненавистное иго. Но в этой борьбе как будто истощилась вся энергия этого несчастного племени; его первые подвиги были в то же время его предсмертными судорогами. За победою следовало порабощение. Завоевателям нужна была не земля, а личная служба, и вследствие того тяжкое иго, сопряженное со всеми видами феодального насилия, пало непосредственно на жителей Балтийского края.

тех, которые добровольно изъявили желание обратиться к христианству… Латыши находились издревле в подданстве у короля или князя Полоцкого. В 1211 году он имел свидание с епископом Рижским и старался ласкою и угрозами отклонить его от крещения язычников; ибо Русские, по обычаю своему, покоривши народ, довольствовались тем, что облагали его податью, но никого не принуждали силою принимать христианство, кто не соглашался на то по доброй воле» *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

Я нарочно настаиваю на этом, потому что вся разница между рабством, до недавнего времени существовавшим в Остзейском крае, и крепостным состоянием, существующим у нас, объясняется происхождением того и другого. Там завоеватель по праву сильнейшего начал с того, что наложил руку на земледельца и уже вследствие этого присвоил себе дом, его жену и, наконец, его землю. У нас помещик занял землю, которую правительство назначило ему в кормление; земля же была нераздельна с личностью земледельца; она была издревле крепка ему. Столкнулись эти два права на один и тот же предмет: первое, т.е. право помещика, обусловленное служебными обязанностями и потому подкрепленное правительственною силою, перетянуло и распространилось, вследствие причин, независимых от чьей либо воли, от земли на земледельца, который, к счастью, предпочел утратить свободу, чем землю, и не дал себя оторвать от нее.

Вторым последствием завоевания и порабощения было уничтожение общинного устройства. Села и города, о которых упоминается в эпоху прибытия немцев, были стерты с лица земли, и разбитое народонаселение начало совокупляться вокруг замков и на почтительном расстоянии от городов, в которые его не пускали.

За угнетенный народ несколько раз поднимали голос римские первосвятители; благословив крестоносцев на завоевание, они оплакивали его последствия; разложив огонь, тушили пламя. Они старались внушить суровым победителям высокую мысль, что гражданское рабство несовместно с духовною свободою и не должно быть долею искупленных от смерти греховной; но эта мысль была не по времени, и запоздалые увещания, не подкрепленные принудительными мерами, остались бесплодными. Судьба народа определилась на много веков. Он был устранен от всякого участия в развитии собственной его земли и так далеко отодвинут на задний план, что история потеряла его из виду*. Впрочем, об этом

* Кроме отрывочных описаний обычаев и нравов простолюдинов и кратких свидетельств о жалком их положении, мы ничего не находим у Остзейских

нечего распространяться, потому что так было не в одной Ливонии. Угнетение, разрыв между высшими сословиями и народом, презрение и насилие с одной стороны, ненависть и жажда мести с другой — таковы условия внутреннего быта всех колоний, основанных на завоевании. Остается только сказать, что может быть нигде разобщение между туземцами и пришельцами не было так глубоко и гибельно для тех и для других, как в колонии Остзейской. Мы видим, что в других землях завоеванных Германцами, после нескольких веков туземцы сливались с пришельцами, по крайней мере сближались с ними, выучивались немецкому языку, проникались началами германской образованности, за неимением своей, и развивали их более или менее своеобразно. В Остзейском крае не было ничего подобного: жизнь народная была так подавлена, что не могла развиваться самобытно, а от германской жизни она ничего не заимствовала.

Это отсутствие внутреннего влияния сильнейшего племени на племя, во всех отношениях слабейшее, объясняется: во-первых, недостатком восприимчивости в характере финнов; во-вторых, малочисленностью первоприбывших колонистов и, в-третьих, наконец, зависимостью местной жизни от западноевропейской. Последняя причина требует пояснения. В XIII веке крестоносцы и купцы приезжали в Остзейский край на промысел и возвращались оттуда: первые с заслуженными индульгенциями, а вторые с барышами. Позднее, хотя и образовалось оседлое немецкое население, занявшее край, но, тесно связанное с Германиею, оно было постоянно обращено к ней лицом. Духовенство двигалось по мановению папы, Орден тянул также к папе и императору, города вошли

летописателей. Вот образчики тех и других. Фома Гиерн, уже цитированный мною, пишет следующее: «Стало известно, что Финны, уже после обращения их в христианство, имели обыкновение при похоронах класть мертвому в руку топор и приговаривать: иди, несчастный, на тот свет; там ты будешь господином над Немцами и будешь, в свою очередь, мучить их так же, как они нас мучают на земле». Вот другое, много раз повторявшееся свидетельство Кельха: «Лифляндия (в XIV веке) была для дворян небом, для духовенства раем, золотым дном для иностранцев, а для крестьян – адом». *(Прим. Ю.Ф. Самарина.)*

в Ганзейский союз. Итак, все средоточия и пружины деятельности политической, духовной и торговой, в которой Остзейские сословия принимали участие, находились вне Балтийского края; местная жизнь возбуждалась общеевропейскими интересами, вовсе недоступными и непонятными для простого народа; она не могла найти себе целей в самом крае, ни сосредоточиться в нем. Поэтому начала образованности, ею выработанные, не переступили грозных стен, рассеянных замков и уединенных городов, не привились к народу и остались для него бесплодными.

Народа, не в смысле низшего состояния, а как живого совокупления всех сословий в свободном общении, в этом, последнем, смысле, народа в Остзейском крае не было и нет – поэтому не могло сложиться самостоятельного государства. Развитие этого вывода со всеми его неизбежными последствиями составляет содержание прошедшей истории Остзейского края и продолжается в настоящем. Нравственное зло, совершившееся при встрече германцев с финнами, плодится доселе, и всего хуже то, что нынешние потомки завоевателей XIII века не понимают зла, по крайней мере, не только оправдывают его, но даже гордятся им*.

* Я позволю себе сделать отступление и на минуту перенестись в современность. Вот эпиграф, избранный, для первого периода Истории Лифляндии, г-м Киницом, издающим теперь в Дерпте историю своей родины в 24-х частях: «Aber es liess sich unbezweifelt in den Kämpfen doch auch der endliche Sieg erwarten, der Sieg für das Licht des Christenthums, der Sieg reinerer Gottes Erkenntniss, der Sieg für den Geist deutscher Bildung, deutscher Denk – und Lebensweise, deutschen Rechts und deutscher Sitte». Слово в слово: «Но (это *но* относится к самому содержанию первого периода, т. е. к резням и опустошениям, оставляющим в читателях грустное впечатление, а вслед за *но* автор предлагает читателю в утешение блистательный результат, по его мнению, вполне освящающий средства) можно было сквозь борьбу предвидеть несомненно конечное торжество для света христианства, торжество для духа немецкой образованности, немецкой мысли и жизни, немецкого права и немецких обычаев». – А вот что мы читаем в первом № лучшего из остзейских журналов (das Inland) за 1848 год в статье о характере лифляндцев, эстляндцев и курляндцев: «Die Deutschen in den Ostsee-Provinzen herrschen seit lange uber eine dienende und arbeitende Bevöl kerung die durch Blut, Sitte, Kleidung und Sprache von ihnen geschieden war. Dieser Gegensatz zweier Elemente der Bevölkerung war zwar nicht so hart wie der zwischen schwarzen Negern und

Устранив туземцев, посмотрим теперь на немецкое население, взятое отдельно. И здесь, не смотря на единство происхождения, веры, языка и даже многих интересов, мы найдем такое же преобладание начал враждебного разъединения, но не племенного, а сословного. Основные стихии, вошедшие в состав всех западных государств, были перенесены немецкими выходцами в их Балтийскую колонию, за исключением одной. Духовенство, дворянство, среднее сословие имели здесь представителей и развивались в том же духе как и в Западной Европе, повторяя в меньших размерах все ее средневековые явления; но недоставало того начала, которое

weissen Pflauzern, er war aber bei weitem entschiedener als die Kluft, die in Deutschland das Landvolk von der höhern Schicht der Gessellschaft trennte. Wie aber die feinste Blüthe aristokratischer Bildung in den Haüsern der reichen Plantagenbesitzer in West-Indien, der Madyarischen Adelsgeschlechter in Ungarn, der auf unterlage der celtischen Irländer gebauten englischen Aristokratie sich entfaltet, so schlug sich auch in den Ostsee-Provinzen das Gemeine und Niedrige wie ein Bodensatz an die beherrschte Bevölkerung nieder. Mage s seine Gefahren haben, herschende Klasse zu sein, Herschaft ist doch schön. Nur darum war in Griechenland so viel Adel und Geist, weil alle Nothdurft und Arbeit in der Niederung des Sclavenstandes zurucrblieb, der Grieche selbst aber bloss der freien Darstellung seiner menschlichen Anlageu und in ihr eintm heitern Selbstgenusst lebte». (Немцы в остзейских губерниях издавна господствуют над племенем, исправляющим всякую службу и всякого рода труд, и которое разнится с ними происхождением, обычаями и языком. Эта противоположность двух стихий народонаселения была, конечно, не так резка, как та, которая отделяет черных негров от белых плантаторов, хотя , с другой стороны, гораздо глубже черты, отделяющей в Германии сельских жителей от высших слоев общества. Но подобно тому, как лучший цвет аристократической образованности распускается в домах богатых вестиндийских плантаторов, в мадьярских дворянских родах в Венгрии, в аристократических английских родах, возносящихся над массою кельтического населения в Ирландии – так и в остзейских губерниях все грубое и низкое, как осадок, спустилось вниз и пристало к подвластному племени. Конечно, не безопасно быть господствующим племенем; пусть так, но зато как прекрасно господство! И в Греции потому блеснуло столько благородства и духовных сил, что нужда и труд были предоставлены в удел низкому классу рабов, сам же грек жил только для свободного воплощения своих духовных стремлений и для веселого самонаслаждения в своих созданиях. – Не правда ли, что тот, кто написал эти строки, нынешний грек-остзеец, обличил в себе богатый запас menschlichen Anlageu? Спасибо ему за признание. Мы видим теперь, чего ожидать для народа от потомков крестоносцев XIII века, от достойных продолжателей их подвигов *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

в Германском мире приняло в себя историческое наследство Римской монархии, накинуло сеть государственности на феодальный мир, внесло в него идею о благе общественном и водворило правомерный порядок и административное единство на развалинах средневекового разновластия. Начало верховной власти в Остзейском крае не имело местного представителя; заменить же его не могли ни папы, ни императоры (считавшиеся верховными владыками края, но слишком от него удаленные и потому бессильные), ни ландтаги или земские сеймы, собиравшиеся временно, никому не подчиненные, состоявшие исключительно из представителей тех же враждовавших между собою сословий и потому являвшие в себе тот же хаос в сокращенном виде.

И вот почему во всей истории Остзейского края, ни в какую эпоху, не встречается ни одного события, в котором бы послышалось биение цельной жизни и проявилось бы единодушное стремление к какой бы то ни было цели; почему всякое нападение извне производило внутреннее распадение на партии; почему в минуты всеобщей опасности или всеобщих бедствий выступал не дух самопожертвования для блага земли, а чувство самосохранения, эгоистической заботливости о сословных правах и частных выгодах; почему, при высоком развитии внешней образованности в Балтийском крае выработались провинциальные пристрастия, чувство сословной чести, сознание сословных интересов и ничего лучшего; почему, наконец, Остзейцы не могли возвыситься до идеи Отчизны.

Нужны ли доказательства? В XIII и XIV веках рыцари воюют с архиепископом и наводят на Ливонию диких Литовцев; города подстрекают дворяне и духовенство к междоусобной брани и обманывают тех и других. На истощенную и, по свидетельствам всех летописателей немецких, до костей развращенную Ливонию поднимается царь Иоанн IV. Она покупает постыдным обещанием право прожить в роскоши и наслаждениях еще несколько лет; этот срок проходит в бездействии, и грозный царь посылает на нее тучу Татар. За-

горается война. В ней, несмотря на познания в ратном деле и доблесть нескольких полководцев Ордена, несмотря на отчаянное мужество нескольких отрядов, обнаруживается вся бессвязность общества и непрочность его устройства. Дворяне и города защищаются и договариваются врозь, отнюдь не думая помогать друг другу; народ сначала вовсе не действует и даже обнаруживает расположение к русским; но, потом, раздраженный бедствиями войны и жестокостью татар, он начинает без разбора резать и грабить своих и чужих. Все государи, домогающиеся владычества над Лифляндиею, находят в ней приверженцев, готовых помогать им против своих единоземцев; образуется польская партия, шведская партия Магнуса, наконец, даже Иоанну Грозному, которого все проклинали, усердно служат Таубе и Крузе с шайкой. Настает для Остзейского края решительная необходимость прибегнуть под защиту одной из соседних держав, и он распадается на части. Это совершается как-то легко и без сожалений. Эстляндия пристает к Швеции, Лифляндия к Польше, Курляндия, под покровительством Польши, удерживает некоторую самостоятельность. Взгляните теперь на каждую из этих областей, взятых отдельно; вы не найдете ни единодушия, ни общего совета. Орден заключает с Польшею особенный договор, архиепископ с своими вассалами другой, и уже вся Ливония принадлежит Польше, а Рига еще несколько лет держится отдельно и помышляет о том, как бы подчиниться Немецкому императору.

Итак, вследствие образования Остзейского края он не мог извлечь и выработать государственного начала из самого себя; оно должно было проникнуть в него извне. Утрата политической независимости была обнаружением его внутренней несостоятельности. Таков естественный вывод из первого периода его истории, обнимающего четыре века, от XIII до конца XVI.

Я сказал, что до сих пор в борьбе сословий, в развитии их прав и учреждений, гражданских понятий и религиозных верований, повторялся исторический процесс средневековой

Европы. Сочувствием и тесною связью с Германиею поддерживалось в ее Балтийской колонии начало деятельности и совершенствования; Остзейский край шел по пятам за Германиею и подвигался вперед. Так, добрался он до Реформации. Но когда соседние державы оторвали колонию от метрополии и притянули первую к себе, начало самостоятельного развития в ней замерло. Она отстала от Германии, не пристала ни к Польше, ни к Швеции и обрекла себя на неподвижность. С этого времени деятельность Остзейских сословий приняла отрицательный характер. Постоянное противодействие духу времени, упорное отрицание исторических требований во имя отжившей старины, борьба провинциализма и начала сословного разъединения с государственным и народным — вот что представляет второй период истории Остзейского края.

Подчинение Лифляндии Польше было, очевидно, историческою случайностью; ибо один страх, наведенный Иоанном Грозным и его татарами, заставил немцев прибегнуть под ее защиту, как ближайшей державы, давнишней соперницы России и в то время соперницы счастливой. Несмотря, однако же, на это, несмотря на нескладное устройство самой Польши, не умевшей водворить единства в своих пределах, необходимость государственного начала в Остзейском крае была так очевидна, призвание его так ясно определено заранее, что польское правительство не могло ошибиться в своих целях, а разве только в средствах. Оно стремилось: скрепить случайную связь Ливонии с Польшею, усилив действие верховной власти свободным содействием частных интересов, самим правительством созданных; водворить единство в порядке суда и администрации учреждением общих инстанций и заменою обычного произвола писанными законами; сблизить сословия между собой уравнением их дотоле исключительных прав; наконец, поднять но возможности угнетенный народ. Вот чего хотело правительство и что выразил Стефан Баторий в своих конституциях; но из всего этого очень немногое осуществилось. Я не намерен вдаваться в рассмотре-

ние средств, употребленных для достижения исчисленных целей; но я не могу не остановиться на том, что относится до первой из них. Польское правительство понимало, что до тех пор, пока местные сословия будут заключать в себе одних Остзейских уроженцев, воспитанных в понятиях феодальных времен, государственное начало будет бессильно, ибо не только не найдет в них сочувствия, но даже встретит неминуемое противодействие. Нужно было ввести в них людей новых, преданных правительству и способных служить посредниками между ним и местными уроженцами. С этою целью, польские короли роздали своим служилым людям, Полякам и Литовцам, в поместное владение множество земель, казенных и конфискованных у частных лиц. Число этих новых помещиков постоянно увеличивалось, так что (как видно из протоколов комиссии, ревизовавшей католические приходы при Стефане Батории) в некоторых округах вовсе не осталось землевладельцев из немцев. Первые, т.е. поляки и литовцы, занимали все высшие коронные должности, как то: воевод, старост, кастелянов; заведовали, наряду с лифляндцами, делами сословного управления; имели право выбора, доступ ко всем должностям; участвовали в составлении проекта рыцарского права и посылали депутатов в комиссию, ревизовавшую дворянские имения, словом: они пользовались в Ливонии всеми сословными правами, предоставленными коренному дворянству того края; напротив того, лифляндские уроженцы первоначально пользовались своими правами в одной Лифляндии, и лишь позднее некоторые из них в награду за оказанную ими верность были причислены к дворянству польскому. Итак, литовцы и поляки с самого начала получили все то, чего могли требовать в новоприобретенном крае; немцы же не только не сохранили никаких преимуществ пред ними, но оставались в положении завоеванной и обиженной нации. Таким образом, мера, придуманная для сближения, не была выдержана; вместо того, чтобы принести пользу, она только раздражила и посеяла вражду.

Возвышая поляков и литовцев насчет немцев, польское правительство, в то же время и с тою же целью, не довольствуясь покровительством католиков, силилось поднять римскую церковь в Лифляндии с явным угнетением протестантства. Свобода протестантского вероисповедания была торжественно обеспечена многими договорными статьями; из этого последователи его выводили, что никакое другое вероисповедание не должно быть у них терпимо: так протестанты понимали свободу. Но польское правительство понимало ее в противоположном смысле. Стефан Баторий даровал своим единоверцам право беспрепятственно отправлять богослужение, уравнял их во всех отношениях с протестантами, строго запретил городским магистратам удалять католиков от должностей, разрешил свободный переход из лютеранизма в римскую церковь, основал католическую кафедру в Вендене, наделил ее вотчинами, дал епископу второе место в высшей судебной инстанции, возвратил в Риге две церкви католическому духовенству из числа отнятых у него и основал Иезуитскую Коллегию. Все это было справедливо и законно, но польское правительство этим не ограничилось: скоро запрещено было протестантскому духовенству проповедовать в деревнях, и обнаружились признаки готовившегося гонения. Здесь также мера была переступлена, и прозелитизм Польши, не находивший сочувствия в народе, раздражил духовенство и среднее сословие и приготовил отпадение всего края.

При подчинении Лифляндии шведскому владычеству, повторилось то же, что было при подчинении Польше. Дворянство первое изменило и пристало к победителям; Рига продлила сопротивление и сдалась на выгоднейших условиях. Между Остзейским краем и Швециею было, конечно, более сродства и сочувствия, чем между ним и Польшею: их связывало единство вероисповедания, чрезвычайно важное в ту эпоху, когда вся Западная Европа резко делилась на две половины, католическую и протестантскую. Но, с другой стороны, Швеция приобрела Остзейский край точно так же, как

и Польша, т. е. случайно, как бы мимоходом, в минуту сверхестественного напряжения всех ее сил, за которым должно было следовать неминуемое падение; она могла завоевать его, но не была в состоянии удержать. Шведское правительство во многих отношениях следовало примеру польского. Треть имений лифляндских была роздана шведам; при учреждении ландратской коллегии (дворянского представительства) было постановлено, чтобы половина членов ее выбиралась непременно из шведов; помещики шведские назначались с утверждения генерал-губернатора в должности судей в ландгерихтах и в гофгерихтах, участвовали на ландтагах с правом голоса и вообще пользовались всеми правами местного дворянства, а многократные просьбы лифляндцев о принятии их в состав дворянства шведского были отвергнуты правительством. Первые меры конечно не выходили из пределов строгой справедливости, но последняя очевидно носила на себе печать односторонности, погубившей польское правительство, и в этом случае возбудила одинаковое нерасположение к Швеции. К этому присоединилась другая причина неудовольствия: это беспрестанные наборы, увеличение налогов на торговлю и промыслы, земских повинностей вещественных и личных, и наконец редукция, возбудившая в дворянстве всеобщий плач и негодование.

Так как эта последняя мера играет важную роль в истории земского сословия, которое оправдывало ею свою измену Швеции, я должен сказать о ней несколько слов. Редукция учреждена была с двойною целью: отобрать в казну все государственные имущества, по существу своему неотчуждаемые, но поступившие по различным поводам в частное владение, и обратить имения, розданные в поместное владение и впоследствии перешедшие в вотчинное, к их первоначальному значению. Необходимость этой меры могла бы быть доказана тем, что по требованию шведских чинов она была приведена в исполнение в самой Швеции несколькими годами ранее, чем в Эстляндии и Лифляндии; но она становится очевидною, если вспомнить, что в то время все служебные обязанности

вытекали из поместного владения, и потому правительство, лишившись казенных земель и своих прав на поместья, через это самое лишилось бы всякой возможности содержать войско и чиновников. Законность шведской редукции, в существе ее, также могла бы быть выведена из тогдашних начал земского владения; но я не намерен вдаваться в этот многосложный предмет и замечу только, что ее оправдывают: во-первых, примеры предшествовавших веков, ибо несомненно, что в эпоху гермейстеров не раз производились редукции имений казенных или столовых, как называли их в то время; во-вторых, пример самого дворянства, часто прибегавшего к конфискациям, но, разумеется, для своих сословных выгод, как мы увидим далее. Впрочем, с какой бы стороны ни смотрели на редукцию, в том виде, в каком шведское правительство применило ее к Лифляндии, она была разорительна для дворянства, ибо лишила его трех четвертей его недвижимого имущества. Но этим не ограничились его бедствия: сопротивление, оказанное лифляндцами действиям местного начальства, и произвольное учреждение сословного представительства pro salvanda re puclica справедливо раздражили Карла XI, который одним ударом упразднил должность ландратов, отнял у ландтагов право подавать жалобы и поставил их в совершенную зависимость от генерал-губернатора. Таким образом, перед началом Северной войны дворянство утратило и материальные и юридические условия своего существования как сословия.

Итак, в период времени, обнимающей немного более полутораста лет, две державы пытались утвердить свое владычество в Остзейском крае, но безуспешно; ибо ни та ни другая не имела на то ни призвания, ни достаточных сил. В самых действиях их, во многом между собою сходных, выразилось как бы невольное признание исторической беззаконности их притязаний. Как польское, так и шведское правительство смотрели на Остзейский край как на случайное приобретение, на жителей его как на чужих; оба для своих целей, вводили в него своих коренных подданных; но ни то ни другое даже не

пыталось привлечь к себе остзейцев; напротив, оба держали их в стороне и отдалении от себя. Кроме того, Польша насильно старалась восстановить в нем церковь, не имевшую в крае приверженцев; Швеция беспощадно разоряла его для восполнения своей казны. Оба правительства действовали как представители начал и интересов, умышленно противопоставленных местной жизни; ни то, ни другое не проявило в себе достойным образом государственных начал, и потому нельзя безусловно винить остзейцев, которые, противодействуя мерам обоих правительств, не признали этого начала и не помирились с ним.

Не менее того, нельзя отрицать великих заслуг Польши и Швеции: они сделали первые шаги, всегда самые трудные, на пути государственного устройства Балтийского края; они внесли в хаос сословного разновластия некоторый навык к подчиненности, в мир обычного произвола несколько твердых юридических начал изданием различных уложений и уставов; наконец, они постоянно были верны своему назначению: быть заступниками простого народа.

Польское правительство первое, после бесплодных увещаний римских первосвятителей, замолвило несколько слов в его пользу. Стефан Баторий изъявил скромное намерение привести его в сносное положение, ибо, как выражался королевский наместник в 1586 г., дворянство позволяло себе в обращении с крестьянами жестокости, неслыханные даже между язычниками и варварами; но ранняя смерть Батория помешала осуществлению его мыслей. При шведском владычестве, Карл IX предложил несколько мер для обуздания жестокого обращения помещиков с крепостными людьми; Густав-Адольф отнял у землевладельцев право уголовного суда над крестьянами и позволил последним в некоторых случаях приносить жалобы на своих господ; Карл XI на ландтаге 1681г. предложил уничтожить крепостное состояние. Но на все подобные вызовы дворянство отвечало, что народ груб и не оценит блага свободы; что народ дик и употребит всякое право во зло; что нужно держать его в страхе,

иначе в нем прока нет и т. д. Эти общие места, о которые, к сожалению, не в одном Остзейском крае долго разбивались все благие намерения верховной власти, помешали шведскому правительству настоять на исполнении его предположений; не менее того, оно принесло земледельческому классу существенное облегчение твердым определением барщины и других повинностей в соразмерности с ценностью отданной ему в пользование земли. На этом основании составлены были так называемые вакенбухи, доселе служащие исходною точкою при составлении контрактов о крестьянских повинностях.

Таковы были лучшие результаты деятельности польского и шведского правительств, завещанные ими России как начинания, которые предназначено ей было довершить, и как указания на новые предстоявшие ей подвиги.

Самый беспристрастный взгляд на события XVII века приводит к заключению, что присоединение Остзейского края к России было не случайным результатом удачной войны, не делом хитрости или насилия, но событием исторически необходимым, подготовленным прошедшею судьбою обеих земель и географическим их положением. Неспособный, вследствие причин, изложенных мною в начале этого письма, облечься в форму самостоятельного государства, Остзейский край должен был неминуемо пристать к одной из трех держав, с половины XVI века споривших о первенстве на северо-востоке Европы. Из них две, Польша и Швеция, пытались, но безуспешно, удержать его за собою; после них естественно очередь доходила до России.

Она могла предъявить на него право первого занятия; она заключала в себе источник его богатства, ибо он получал от нее предметы своей торговли и, следовательно, в этом отношении всегда был ей подчинен; наконец, Балтийское поморье, занятое Остзейскими областями, составляло естественную границу России; она подвигалась к ней медленно, но постоянно, со времен Иоанна Грозного, и должна была достигнуть ее: ибо стремление русской политики в этом

случае было проявлением исторического закона и как бы ростом живого организма. При этом нельзя забыть и того, что немецкая колония, занявшая берег Балтийского моря, умышленно заслоняла от нас Европу и всеми силами мешала нам заимствовать плоды западного просвещения, задерживая ученых, художников и мастеров, которых с XVI века вызывали Московские цари и преграждая русским выезд за границу. Кажется, мы могли требовать, чтобы эта преграда исчезла.

Но если Россия имела на Остзейский край исторические и даже естественные права, то это самое налагало на нее обязанности, которых не имела в отношении к нему ни Польша, ни Швеция. Россия должна была и могла принять его не только в свое подданство, но в свой состав, признать в нем неслучайное приобретение, а часть самой себя, временно от нее отпавшую и теперь воссоединившуюся с нею навсегда. Так она и поступила в лице Петра. Сознавал ли он историческое предопределение, по которому ему достался Балтийский край, или, может быть, радость, овладевшая им при виде моря, ему подвластного, расположила его к великодушию, как бы то ни было, он добровольно пожертвовал правом завоевателя, подписал, не задумываясь, все предложенные ему условия, купил, не торгуясь, то, что мог бы просто взять и удержать. Таким образом, остзейцы, при первом акте русского владычества поставлены были в положение, совершенно противоположное тому, в котором их держали Польша и Швеция. Петр I не спешил вводить русских искусственными мерами в местные сословия, но он открыл Россию для жителей Остзейского края и пригласил их к участию в ее политической и общественной жизни. Они вошли в состав Империи не как чужие и покоренные, но со всеми правами господствующего племени, как усыновленные землею, за которую они не страдали и не приносили жертв.

Итак, Россия в отношении к ним права, даже более чем права, но правы ли они в отношении к ней? Это другой вопрос.

II

Действия Польши, Швеции и России представляют одну только сторону исторического развития Остзейского края; остается дополнить ее, показав, что делали сословия со времени их подчинения государственной власти.

Здесь должно рассмотреть: во-первых, отношения сословий к государству; во-вторых, взаимные их отношения одного к другому.

Сословия Остзейские покорились государственному началу против воли, как неизбежному злу, но внутренне не отреклись от своих притязаний, уже несовместных с новым порядком. Каждое из них по-прежнему почитало себя чем-то полным и замкнутым в себе самом, вне своих выгод не признавало над собой никаких высших целей, не считало себя нравственно связанным никакими иными обязанностями и заботами. Все, что существовало вне его, было для него по существу своему чуждо, могло по обстоятельствам делаться союзным или враждебным, но, во всяком случае, эти отношения определялись все-таки интересами самих сословий.

Поэтому, все стремления сословий были диаметрально противоположны государственным. Выше было показано, чего хотели правительства, и какие меры они принимали; а вот чего хотели сословия: поставить себя, так сказать, вне государства, но под его защиту, устранить всякое вмешательство верховной власти в дела края, иначе как по вызову самих сословий; ни в каком случае не допускать с ее стороны инициативы; ограничить соприкосновения с правительством делами казенного интереса; наконец, ни под каким видом не сближаться с иноплеменными подданными того же правительства и не допускать их в свое общество. На каждую из этих фраз я мог бы привести вам десятки примеров и выписок из богатого собрания Остзейских привилегий, но это было бы вовсе не нужно, ибо тайные и явные цели, мною выставленные, никем оспорены не будут.

Изумительно – успешному достижению их наиболее способствовало именно то обстоятельство, которое, по-видимому, должно бы было помешать ему: это – троекратная перемена верховного владычества. Польша, принимая Остзейский край в свое подданство, подтвердила его привилегии, права, обычаи и всю старину его; то же самое сделали впоследствии Швеция и наконец Россия. Но значение этого акта понималось различно всеми тремя правительствами и Остзейскими сословиями. Первые почитали себя обязанными охранять учреждения и преимущества, дарованные краю, поколику они были согласны с общественным благом и с публичным правом; это ограничение мы находим в грамотах польских, шведских и русских государей: все они вовсе не считали себя обреченными на созерцательное бездействие. Наоборот, сословия хотели, чтобы верховная власть признанием существующего порядка связала себе руки; они утверждали, что ничто не могло быть изменено в нем без их согласия, но что им, как единственным законным судьям в своем собственном деле, предоставлено было право входить с представлениями и приглашать к принятию мер, ими придуманных; они же и связывали, они же и разрешали. Столкновение этих двух противоположных взглядов было неизбежно при первом свободном движении со стороны верховной власти. Польское правительство открыло борьбу с сословною исключительностью; оно начинало приводить местные учреждения к стройному единству, ограничивая или отменяя слишком резко выдававшиеся остатки феодальных времен; но оно не успело окончить своего дела. С переменою владычества, все труды его пропали, и Швеция должна была с самого начала возобновить борьбу. Она повела ее бойко и даже круто, ломая привилегии одну за другою и давая простор современным требованиям; но и Швеция вскоре должна была уступить неверное владычество над Остзейским краем.

Россия приняла его в свое подданство, и Петр I одним почерком пера уничтожил все, что было сделано Швециею, так что старые средневековые понятия и антигосударствен-

ные начала, уже до половины побежденные, снова вызваны были не к жизни, а к противодействию всему живому. При русском владычестве то же самое явление повторялось иногда при начале нового царствования, даже при смене одного генерал-губернатора другим; так все учреждения Екатерины II в Остзейском крае были отменены императором Павлом, который отодвинул через это победу государственного начала на сто лет назад.

Итак, в действиях правительств, при очевидном единстве, господствовала непоследовательность почти неизбежная; напротив, противодействие сословий, при еще большем единстве направления, развивалось последовательно, без перерывов, обогащаясь опытом веков. Мудрено ли после этого, что Остзейский край доселе доживает средние века, как единственный во всем мире образец явлений, давно исчезнувших, невредимо уцелевший благодаря умению защищать себя от влияния свежего воздуха?

Я сказал, что никогда не изменявшим средством противодействия государственному началу служили привилегии; действительно, чего не делали и чему не мешали во имя привилегий? Это слово имело до нынешних времен какую-то магическую силу, как veto Римских трибунов, а между тем очень немногие имеют ясное понятие о его значении, и почти никому неизвестно, какими средствами Остзейцы поддерживали свои привилегии и как ими пользовались.

В тесном и определенном смысле, привилегия значит жалованное право; в пространном же и более употребительном под привилегиями разумеют всякого рода договоры, уставы, указы, судебные решения, вообще все письменные акты, служащие к определению юридического положения области, города, сословия или лица. К ним как необходимое дополнение присовокупляется всегда обычай или старина. Уже из этого видно, что утверждение привилегий и обычая равнялось узаконению всего в минуту выдачи подтвердительной грамоты существовавшего порядка; но этого мало. Так как письменные документы, на которых сословия основывали свои права и

притязания, восходили до XIII века, потом списывались с различными изменениями и дополнениями и часто совершенно отменялись; так как обычай, по самому существу своему, не мог быть неподвижен, то, очевидно, должно было встречаться множество противоречий при сличении письменных памятников между собою и писанного права с обычаем. Поэтому при утверждении привилегий возникала необходимость предварительно отделить те из них, которые имели юридическое значение и силу законов действующих, от тех, которые сохранили только историческое значение памятников былого порядка. Но до этого-то именно Остзейские сословия и не допускали. Они представляли к утверждению не своды, а сборники привилегий, начиная с самых древнейших времен. Таким образом, в данном случае, для возражения на какую бы то ни было меру, предложенную правительством, или для подкрепления своих, притязаний, им стоило порыться в грудах своих привилегий, выбрать из них любой документ и представить его, умолчав благоразумно о позднейших актах, лишавших его силы или прямо противоположных. Приспособлять таким образом свидетельства истории к своим нуждам значило ссылаться на старину. У каждой области, у каждого города, у каждого сословия была своя старина; все эти старины не только не были согласны между собою, но даже каждая из них изменялась с году на год, смотря по надобности. Из этого видно, как было легко, не выходя из пределов формальной легальности, придать всякому действию правительства вид нарушения законного порядка и оправдать каждое антигосударственное притязание. Но этим не ограничивалось бесцеремонное обращение со стариною; часто прибегали к средствам, еще менее добросовестным, например: представляли привилегии не в настоящем их виде, а в сокращениях и с пропусками, иногда, наоборот, прибавляли кое-где в тексте по нескольку слов, иногда в переводах заменяли одни понятия другими. Так как все, что я сказал теперь, не совсем согласно с господствующими понятиями о безукоризненной добросовестности немцев, то я считаю долгом привести несколько примеров.

Густав-Адольф выдал городу Риге грамоту, списанную с незначительными изменениями с грамоты Стефана Батория; в ней перечислялись существенные права, предоставленные городу, но не сказано было, чтобы кроме их не было еще других, и вследствие этого, по поводу разных жалоб и требований, немедленно начались ссылки на старые привилегии, специально не поименованные в королевской грамоте, но которые, по мере надобности и одна за другою, появлялись из запасов городского архива. Это, наконец, наскучило шведскому правительству, и в 1637 году оно предписало магистрату прислать в Стокгольм полное собрание всех городских привилегий, надеясь чрез это прекратить на будущее время все неожиданные открытая; но магистрат не исполнил этого требования. По истечении десяти лет оно было повторено, и тогда он прислал собрание, но неполное. В 1648 году, уже в четвертый раз, королева Христина приказала ему прислать все без исключения привилегии, предупредив его, что если затем некоторые из них будут утаены, то они через это самое потеряют всякую силу, и уже никакие на них ссылки принимаемы не будут. Но эта угроза не помогла. В 1663 году дан был год сроку на исполнение, и несмотря на это в 1675 году магистрат все еще занимался браковкою своих привилегий. В одном из городских архивов находится протокол келейного совещания того же года, в котором сказано, что ратсгеры и ельтерманы решили не вносить в составляемый ими свод декрета королевских комиссаров 1599 года, ни инструкции для должности бургграфа, из объявления Сигизмунда III 1593 года исключить целую статью, и т. д.; наконец, попадается длинный список привилегий, договоров, уставов, которые магистрат усомнился включить – quos Magistratus dubitavit inseri.

Вот другой пример. В одной из грамот Сигизмунда III-го было сказано: «Мы повелеваем, чтобы, как доселе, так и впредь на все времена, жиды не имели пребывания в Риге»*, а

* Volumus etiam ut quemadmodum hacteuus, ita deinceps quoque perpetuis temporibus, a Judacorum mansionibus civitas nostra Rigensis libera sit *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

при Густаве-Адольфе город, ссылаясь на эту статью, передавал ее следующим образом: «Чтобы жиды и *иностранцы* не были терпимы в *крае*»[*].

Третий пример. Цех рыбаков на запрос комиссии, ревизующей Рижское муниципальное устройство, объявил, что он имеет привилегии XIII и XIV веков на исключительное производство своего ремесла; по сличении же переводов этих привилегий с латинскими подлинниками, которые цеховые старшины имели неосторожность приложить, оказалось, что во всех статьях, где сказано было, что рыбная ловля отдается гражданам (civibus), в переводах, вместо последнего слова, стояло: цеху рыболовов.

Безнаказанность систематического обмана обеспечивалась систематическим подкупом коронных чиновников. К этому средству начали прибегать при польском владычестве, и его с успехом употребляют до сих пор. Вот несколько примеров, заимствованных из рукописных записок рижских ельтерманов и из рижского же магистратского архива; я должен ограничиться ими, потому что другие тайные архивы были мне недоступны. «В 1613 году магистрат предложил гражданам посредством подкупа выхлопотать в Польше передачу блокгауза городу, вскоре после того советовал сделать приношение королевской канцелярии: но граждане воспротивились, изъясняя, что город разорен и находится в упадке; что все уже и без того жалуются, что рижане избаловали польских чиновников; что другие города дают гораздо меньше; что герцог Курляндский всего-навсего посылает ежегодно 500 талеров, тогда как город жертвует по 1000 флоринов. Через несколько времени послали в Польшу депутата, который истратил 4500 рейхс-талеров, а когда старшины стали жаловаться на такие непомерные расходы, истощавшие городскую казну, один из бургомистров отвечал им: если вы станете к этому придираться, то через десять лет город утратит все свои привилегии». Независимо от чрезвычайных посольств, которых было в про-

[*] Dass keine Juden. und *Fremden* im *Lande* gelitten warden ***(прим. Ю.Ф. Самарина).***

должение переговоров о сдаче города Сигизмунду Августу не менее одиннадцати, Рига постоянно содержала при польском дворе агента и адвокатов. При шведском правительстве в городском бюджете, составленном в 1628 году, показано 8000 талеров, истраченных депутатами, и помещена, в числе обыкновенных расходов, статья на подарки сенаторам; наконец, сохранилась резолюция шведского короля, содержащая в себе строгий выговор городским депутатам за взятки, розданные ими коронным чиновникам.

Итак, произвольные ссылки на старину и подкупы – вот средства, которыми отклонялись меры, исходившие непосредственно от правительства.

Другая цель, постоянно бывшая в виду остзейцев, как я уже сказал, была преградить доступ в местные сословия полякам и шведам. Вот что рассказывает Дионисий Фабриций: «При Сигизмунде III дворяне лифляндские, успев оправиться во время мира, подняли голову и начали между собою совещаться о том, как бы удалить из края поляков и литовцев, получивших поместья, дабы остаться в нем господами. Некто Давид Гильхен, сын рижского гражданина и синдик, предложил им свои услуги. Он былъ человек образованный, постигнувший в тонкости судебную практику и нравы королевской канцелярии, но хитрый и пронырливый. Рижане почитали его за полубога, и на их деньги, розданные им королевским сенаторам, он успел приобрести благосклонность последних, так что по их рекомендации король возвел его в дворянское достоинство. Тогда Гильхену показалось унизительным служить гражданам, и с этого времени он сделался ходатаем дворян, но это самое навлекло на него подозрение граждан, которые вскоре, узнав про какую-то его плутню, заключили его в тюрьму, а когда он оттуда бежал, то осудили его заочно и предали имя его позору. Этому-то Гильхену дворяне поручили привести в исполнение их замысел. Прежде всего, он присоветовал богатейшим из них удалить поляков, владевших староствами, выкупив их имения или взяв их в арендное содержание, с остальными же, по его мнению, совладать

было нетрудно. Потом он уговорил дворян дать ему значительную сумму денег на поездку на Варшавский сейм 1598 года, дабы он мог через сенаторов проложить себе дорогу к королю. Тогда Гильхен зажил роскошно и начал сыпать деньгами между придворными магнатами. Затем, исходатайствовав аудиенцию у короля, он употребил следующую хитрость: дал королю совет послать в Лифлянднию комиссаров для приведения в известность доходов, получаемых от имений и замков, ибо, говорил он, владетели их (capitanei) обманывают казну, доставляя в нее не более того, что получалось от них в то время, когда Лифляндия только что была отнята у русских, а с тех пор вся страна значительно разбогатела. Король обещал последовать этому, по-видимому, благому совету, и тогда Гильхен присовокупил еще, что в Лифляндни было много дворян, владевших имениями без всяких прав, или на правах противозаконно приобретенных от королевской канцелярии, что могущественные дворяне притесняли слабейших, у коих дальнее расстояние отнимало возможность приезжать с жалобами на сеймы, что поэтому было бы необходимо сообщить тем же комиссарам полную власть учреждать в Лифляндии суды, замещать судейские должности, и если найдутся дворяне, не по праву владеющие имениями, то отобрать их и раздать более достойным, с утверждения короля. Все это Гильхен придумал на тот конец, дабы, под предлогом справедливого дела, раздать все высшие должности немцам, отнять у поляков все имения неродовые и передать их тем же немцам, через что вся власть перешла бы в их руки, и уже не трудно было бы тогда удалить из края мелкопоместных поляков. Пользуясь тем же случаем, Гильхен надеялся изгнать из края католическое духовенство, так что Немцы в делах церковных и гражданских сделались бы полными господами. Прежде даже, чем были назначены члены комиссии (из коих двое были поляки, а прочие немцы), Гильхен выпросил себе при ней должность нотариуса. Лифляндцы немедленно стали склонять комиссаров в свою пользу денежными приношениями, но последствия ревизии были

противоположны ожидаемым, ибо все важные должности и поместья розданы были полякам, а немцы получили лишь незначительные и немногие. Обманутые в своих надеждах, они жалели о потерянных деньгах, розданных на сейме и комиссарам, и обратились к другому средству, а именно вступили в переговоры с герцогом Зюдерманландским, выступившим с шведскою армиею против поляков».

Итак, вот происхождение польской редукции, по поводу которой в историческом вступлении к Своду Остзейских узаконений сказано, что «права собственности подвергались беспрестанным нарушениям *со стороны правительства*». Она была придумана и присоветована агентом дворянства для пользы немцев, и неудача ее подала им повод к измене. При шведском правительстве возобновилась совершенно подобная попытка. Самые обширные и значительные поместья в Лифляндии, сохранившие польское название староств, розданы были шведам, которые, на собственные деньги, прикупили несколько мелких имений у соседних лифляндских дворян. Тогда лифляндцы в 1678 году поручили своему депутату Густаву Менгдену исходатайствовать им у правительства право выкупить у шведов эти имения, по их выражению, поглощенные староствами. На этот раз полный успех увенчал их происки, но эта же самая просьба подала повод к началу казенной редукции. Первоначально ей подверглись шведы, и пока их обирали, лифляндцы, как говорит Янау, радовались и пересчитывали по пальцам права казны; затем воспоследовало предложение о распространении редукции на все отчужденные имущества, и в этом предложении король изъяснил, между прочим, что он намерен последовать благому примеру самого дворянства. Действительно, вся разница между редукциею 1678 года и позднейшею заключалась в том, что первая сопряжена была с нарушением несомненного права частной собственности в пользу немецких помещиков, вторая же с таким же нарушением не всегда законно приобретенных прав в пользу всего государства. Но у сословного эгоизма была своя логика. Кратковременная радость обратилась в негодование,

и дворяне уклонились от заслуженной кары, отложившись от Швеции и пристав к России. Итак, мера, двукратно ими предложенная, послужила поводом, а в их глазах оправданием, к двукратной измене.

Противодействие сословий государственному началу и иноплеменникам обозначено. В этих двух отношениях дворянство и городские жители действовали совершенно одинаково, из одних побуждений, но отнюдь не вместе и не заодно. Столкновение с государственным началом не только не сблизило их между собою, а напротив, еще более разъединило. Они сложили на правительство последнее попечение о благе общественном, и каждое из них, еще исключительнее, чем прежде, посвятило себя служению своим интересам. Поэтому, внутренняя история Остзейского края в эпоху владычества польского и шведского представляет, рядом с противодействием государственному началу, беспрерывные междоусобные распри. До войны, конечно, не доходило, но тянулись бесконечные процессы. Курляндское купечество жаловалось на невероятные притеснения со стороны рижан. Рижане, не отрицая их, домогались закрытия Либавской и Виндавской пристаней и уничтожения склада русских товаров в Дерпте. Напрасно доказывали им, что это повело бы к разорению целых областей: им была непонятна такая заботливость. Дворянство старалось похитить у среднего сословия право приобретать имения; жители городов оспаривали у дворян право покупать дома в городских станах и решительно не позволяли им продавать своего хлеба заморским купцам. Духовенство спорило с помещиками о характере крестьянских повинностей на содержание церкви: первое доказывало, что они суть личные и потому должны увеличиваться с наращением народонаселения; вторые, напротив, признавали их за поземельные и потому неизменяемые. Наконец, в самих городах враждовали магистраты с гильдиями, старавшимися отнять у первых право безотчетного распоряжения доходами, а гильдии спорили между собою о разграничении промыслов и кормлений.

По всем этим делам до высшего правительства доходили беспрестанные жалобы. Каждая сторона силилась задобрить его в свою пользу и очернить в его мнении своих врагов.

В подобных случаях, не только не боялись произвола верховной власти, не только не уважали привилегий, на которые ссылались противники, но, напротив, находили, что правительство действует слишком робко и слишком много дорожит гнилыми хартиями. Так, например, при шведском владычестве граждане рижские в споре со своим магистратом беспрестанно твердили правительству, что нечего смотреть на привилегии: ибо тот, кто дал их, имеет право толковать их и даже отменять, если найдет противными общественной пользе. В другом споре, о праве пивоварения между большою и малою гильдиями, первая самым недобросовестным образом подкапывалась под привилегии второй, употребляя такие доводы, которые, будучи приложены ко всем однородным случаям, уничтожили бы все привилегии Остзейского края.

Об ожесточении городских обществ на их магистраты свидетельствуют памятники того времени, а отношения дворянства к среднему сословию Густав Менгден в конце шведского владычества, называл заклятою ненавистью.

Таким представлялся Остзейский край сам в себе.

Он противодействовал государственному началу во имя политической своей самостоятельности; но не очевидно ли, что, нося в себе семена раздора и ни одного начала примиряющего, он сделался бы жертвою междоусобной войны, если бы верховная власть от него отвернулась и предоставила его на миг самому себе?

Он огораживал себя от иноплеменников во имя немецкой национальности; но какое право называть себя нациею имела горсть пришельцев, попиравших ногами иноплеменный народ, и в то же время склонявших головы перед другим народом, распространившим на них свое государственное владычество? Неужели всякий обрубок, без корня и верха, вправе присваивать себе значение нации? Мы доживем, наконец, до того, что немецкий клуб в Москве заговорит о своей народности.

Итак, оба начала, из которых Остзейский край выводил свои притязания, не заключали в себе ничего положительного, никакого зародыша, никакой будущности.

III

В первых двух письмах моих я старался показать, какие начала заключал Остзейский край сам в себе, как действовали на него Польша и Швеция, какое встретили в нем противодействие и, наконец, в какое отношение поставила себя к нему Россия. Это отношение было такого рода, что Остзейцы могли и должны были отказаться от принятого ими враждебно-оборонительного положения. Пока с ними обходились как с чужими, им было позволительно держать себя в стороне и в умышленном разобщении с их победителями. Но это время прошло; их встречало государство, чуждое всякой исключительности, не делавшее никаких различий между своими коренными и вновь присоединенными; перед ними растворялась жизнь народа, просветленного сознанием ожидавшей его будущности; им дана была полная возможность приобщиться к ней, но под одним условием – отречения от духа сословной и национальной исключительности, по себе отрицательного и бесплодного. И этой-то жертвы они не хотели, или, может быть, не в силах были принести!

Вместо того, чтобы последовать указанию судьбы, призывавшей их к возрождению, они обрекли себя па неблагодарную борьбу с историею, на вечное противоречие с действительностью, выражающееся в настоящем отношении здешнего края к России, к правительству и к русским. Балтийский край, как бы ни тяжело было немцам в том сознаваться, все-таки принадлежит России; но остзейцы не признают Россию своею отчизною; у них нет отчизны, в том смысле, какой это слово имеет у нас. Для бюргера ее заменяет город, в котором он пользуется правом гражданства, для дворянина – его сословие и родовая вотчина; наконец, для того и для другого существует какая-то отвлеченная отчизна, к которой влечет

их сочувствие бесплодное – они знают это сами – и которое никогда не перейдет в дело. Эта отчизна не есть ни Пруссия, ни Австрия, ни Рейнский край, но вообще германский мир, или какое-то отвлечение от немецкой жизни. Невинная, платоническая любовь остзейцев к этому призраку, разумеется, ни к чему их не обязывает, кроме вздохов, сожалений и некоторой зависти. Она ничего не внушит и никогда не потребует никакой жертвы – тем-то, может быть, она и хороша. Но она потому вредна, что в предающихся ей она питает смешное и вместе дерзкое пренебрежение к действительности, забвение существенных обязанностей и отвращение к тому, что предлагает жизнь. Так, вместо того, чтобы породниться с Россиею, жить и действовать в ней и для нее, остзейцы полагают честь свою в том, чтобы не знаться и разобщаться с нею. Это заметно во всем. Если б вам попался в прошлом году листок рижских газет, вы прочли бы в объявлениях, что такие-то выехали за границу – nach Ausland, а, затем такие-то в Россию – nach Russland, так что вам невольно пришло бы в голову, что это пишется не в России, а вне ее. По приказанию генерала Головина, форма объявлений была изменена; но я жалею об этом, потому что она верно выражала отношение края к России, и каждого приезжего русского готовила к целому ряду однородных впечатлений, его ожидавших. Заговорите в любом обществе, в Риге или Ревеле, о Берлине, Гамбурге, Дрездене или Вене: со всех сторон отзовутся на вашу речь; вам станут прославлять учреждения, законы, образ жизни, удобства этих городов; вам перечтут по пальцам все трактиры, железные дороги, достопримечательности, журналы и т. д.; вас поразит эта многосторонность сведений, это живое и бескорыстное участие, но более всего поразит вас ученическое смирение, которым проникнуто каждое слово: никто не порицает, никто даже не судит. Но если вы захотите убедиться, что ученое подобострастие не исключает невежественной гордости, вам стоит только навести разговор на Россию. Мигом переменятся физиономии, сладкая улыбка перейдет в улыбку пренебрежения, посыплются резкие отзывы; откуда возьмет-

ся и докторальный тон, и смелые приговоры, и снисходительные наставления. Тогда вы узнаете о России так много нового, что вы должны будете допустить одно из двух: или что вы до тех пор сами жили не в России, а принимали за нее Китай, или, наконец, что ваши собеседники совсем не курляндцы и не лифляндцы, а какие-нибудь островитяне, раз или два в год получающие известия о России из Allgemeine Zeitung и брошюр, вроде тех, которыми разразилась Германия в последнее время. Вы услышите, например, от барона, служащего в высшем губернском присутствии, что православным епископам уставами церкви запрещено употреблять за столом ножи и вилки; от купца, торгующего на миллионы и рассылающего свои мануфактурные изделия по всей России, что у нас судебные приговоры часто постановляются и подписываются одним лицом, и мало ли чего вы еще не услышите!

Но это было бы не так важно, если бы те лица, которые занимают высшие должности, не щеголяли тем же невежеством. К сожалению, они-то и подают пример. Гражданский губернатор скажет вам, что он никогда не видал Свода Законов в глаза, а член лютеранской консистории, что он знать не хочет русских законов. И это происходит не от лености, а от убеждения, возведенного в систему. В прошлом году вышла книга под заглавием: «Das Liv- und Esthländisclie Privatrecht». Автор ее, бывший профессор, слывет первым юристом и знатоком остзейских древностей, знает по-русски так же хорошо, как вы и я, и стоит по образованию своему гораздо выше остзейской публики. Между тем, в статье об источниках гражданского права, он говорит: «Вопрос о применяемости Свода Гражданских Законов в Лифляндии и Эстляндии, притом только как вспомогательного источника, должен быть вообще разрешен отрицательно», напротив того «в Эстляндии ссылки на сочинения древних и новейших ученых юристов не только приняты обычаем, но даже имеют законное основание.... Вопрос о том, какие вспомогательные источники должны быть употребляемы в тех случаях, на которые в местных источниках нет разрешений, до сих пор еще составляет предмет спорный, особенно

в Лифляндии, где практики признают одно Римское право за вспомогательный источник»*. Итак, можно разрешить дело на основании диссертации какого-нибудь доктора или магистра прав, а на общие законы империи нельзя ссылаться даже в тех случаях, которые не разрешаются местными законами. Ту же самую участь испытал, разумеется, и русский язык. Почти все образованные люди говорят чисто по-английски, не чисто по-французски, и редко-редко, даже между чиновниками, вы встретите такого, который бы был в состоянии понимать русскую книгу. В 1773 году сентября 9, по повелению Императрицы Екатерины II, было объявлено всенародно следующее: «Правительствующей Сенат с удовольствием видит, что благородное российское юношество тщательно обучается разным наукам и некоторым иностранным языкам, дабы себя чрез то не только к службе Е. И. В. учинить способными, но и достигнуть тех степеней, каковые каждого достоинства ему доставить могут; напротив же того, примечает, что немецкий язык у многих остается в совершенном небрежении, почитая, может быть, что и совершенное знание оного языка не может им доставить тех выгод к службе, каковых от прочих ожидают... Правительствующей Сенат за нужное признал сим Е. И. В. указом обнародовать, дабы российское благородное юношество знало, что совершенное знание немецкого языка более послужит каждому к получению в службе преимущественного определения, и для того обращали бы прилежание свое и на совершенное знание немецкого языка; притом не может оставить и того, что в немецких провинциях в гражданской службе состоящие чины совсем не стараются о знании российского языка, невзирая на те выгоды, каковые от знания сего произой-

* Die Frage über die Anwendbarkeit des Swod der bürgerlichen Gesetze in Liv- und Estliland namentlich über die bloss subsidiäre, muss im Allgemeinen verneinend beantwortet werden... In Esthland ist das Citiren von älteren und neueren Schriften der Rechtsgelehrten nicht nur allgemein üblich, sondern auch gesetzlich begrüudet... Die Frage, welche Hülfsrechte in Anwendung kommen, wenn die einheimischen landrechtlichen Quellen schweigen, ist besonders in Livland streitig, wo von den Practikern gewöhnlich nur das römische Recht zu den Subsidiärrechten gezählt wird *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

тить могут, тем менее уважают неминуемую для них надобность. Для чего, чрез сие подтверждается, дабы и они достигли совершенного знания российского языка и по неведению своему не лишились тех выгод, какие им знание сие принесть может». С тех пор русское благородное юношество выучилось немецкому языку; но из остзейских чиновников, может быть, из тридцати один понимает по-русски. Люди степенные говорят: «как же нам учить детей своих по-русски, когда здесь нет русских учителей?» На это им отвечают: «И в России преподаватели немецкого языка не растут как грибы, надобно взять на себя труд приискивать и приглашать их; будет требование, будет охота учиться, явятся и учителя». Тогда возражают: «К чему нам выписывать учителей, когда у нас нет никакой надобности знать по-русски, и можно прожить век спокойно, ни разу не ощутив в нем надобности?» На это опять отвечают: «У вас введен Свод местных узаконений, которого подлинник издан на русском языке, и велено в случаях, на которые в нем нет постановлений, руководствоваться общим Сводом Империи». Тогда восклицают: «Как можно было вводить русские законы, когда мы не знаем русского языка и, не имея учителей, не можем даже обучать ему наших детей!» И говор одобрения покрывает голос оратора; а вас провожают взором, выражающим соболезнование к побежденному. И подлинно, как не остаться побежденным! Впрочем, есть люди, поступающее прямее. Рассказывают, что один из здешних помещиков, очень почтенный человек, объявил наотрез своему сыну, что он лишит его наследства, если он выучится по-русски; а не так давно, в присутственном месте один из заседателей, увидав бумагу, писанную по-русски, скомкал ее и бросил в сторону, восклицая: das verfluchte Russisch!* Язык не пустая вещь, не дело личного вкуса; кто ненавидит язык народа, тот не может любить самого народа. Недавно один из здешних чиновников одолжил одному из моих знакомых для прочтения какую-то немецкую книгу, украшенную собственноручными его заметками, в числе которых была найдена следующая, написанная

* Проклятый русский язык! *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

на поле против слова: «Treue» – das haben die Russen nie gekannt[*]. Наконец, не могу пропустить без внимания и этих выражений, ежеминутно поражающих слух: Ja, in Russland ist es so, aber bei uns...[**] Все это подходит одно к другому и, взятое вместе, многозначительно. К чему обманывать себя? Неприязненное, систематическое разобщение с Россиею – вот положение, в которое поставил себя к ней Остзейский край.

Много раз я старался добраться до причины этого странного явления и убедился, что она довольно сложна. В основе ее лежит сознание исторической неудачи и происходящая от этого досада на самих себя. Времена независимости, воспоминания о Плеттенберге и славном прошедшем тяготеют, как упрек, на потомках ливонских рыцарей, и хотя просвещеннейшие из них не могут не чувствовать, что лучшей исторической судьбы они не умели заслужить, но признаться в том не достает духа; ибо способность ясным оком оглянуть себя и покориться справедливой участи есть свойство сильных организмов, а не отживших обществ.

Вознаграждением за все утраченное служит чувство племенной спеси, ничем не оправданная хвастливость и смешное презрение к России и ко всему русскому. Если вы прочли очень замечательную книгу, вышедшую года два тому назад: les Allemands par un Francais, вы, конечно, помните, как остроумно и верно растолковано в ней, почему племенная спесь немцев невыносимее и сопряжена с большею несправедливостью к другим племенам, чем национальная гордость французов или англичан. Последние гордятся своими подвигами, своими законами, своими победами, и потому, если другой народ на всех этих поприщах сравняется с ними, они, может быть, и не полюбят его, но, по крайней мере, в состоянии будут признать его себе равным или достойным соперником. Немец же доволен тем, что он немец; более ничего не нужно для его славы, и это одно в его глазах ставит его выше всех племен. Немцем же, кто не имел счастия родиться им, никто не сделается. Нам ли

* Верность – этого русские никогда не знали *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

** Да, в России это так, но у нас... *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

этого не знать? Племенная гордость германцев проявляется во всей невежественной слепоте ее в отношении к Славянскому племени вообще; но в Остзейском крае это чувство было развито еще особенными обстоятельствами. Вспомните, что в то время, как мы завоевали Балтийское поморье, мы перенимали у Западной Европы, и особенно у германцев, техническую сторону их образованности. Петр I увидел возможность облегчить этот труд заимствования через присоединение к своей державе края, который мог служить посредником между нами и Европою. Он, который набирал со всех сторон в свои полки и коллегии французов, шотландцев и голландцев, обрадовался возможности употребить на то же дело немцев – не наемных, а своих подданных, и вследствие этого они были приняты как учители и наставники. В 1734 году вот в каких выражениях вербовали в службу русских и остзейцев: «подтвердить новыми крепчайшими указами, чтоб все к службе годные недоросли и молодые дворяне сысканы и при армии, артиллерии и флоте определены были». Это относится к нашим дедам; а вот обращение к немцам: «публиковать пристойными указами, чтоб в Лифляндии и Эстляндии из дворянства и купечества охочих в службу военную принимать». Принимались же они на таком же положении, как и иностранцы, т. е. получали против русских двойные оклады. Вот как правительство баловало остзейцев, но стыдиться этого нет причин. Ученик с тех пор превзошел своего учителя в том, чему мог от него научиться. Стыдно учителю, который не умел понять и оценить ученика и вышел из дома, в котором он принят был как родной, с чувствами неблагодарного наемника.

Странным это кажется, а между тем несомненно, что в настоящее время, когда вся Европа уже признала нас совершеннолетними, остзейцы продолжают смотреть на нас глазами недальновидных современников Петра I. Они понимают реформу его следующим образом: в народе, не заключавшем в себе ни одного задатка будущности и развития, явился человек, который понял его ничтожество и отдал его на выучку немцам как лучшим представителям человеческих начал. Он

завещал России не быть Россиею, а претвориться по возможности в Германию: ибо Россия и невежество, Германия и просвещение – слова тождественные. Таким образом, в понятиях остзейцев дело шло совсем не о школе, сквозь которую мы должны были пройти, но о вечной кабале. Der einfältige Lette и der genieine, или der robe Russe*, по роду и племени, суть ученики, мастерами же над ними сама природа поставила тех, die von guter deulscher Nation**; это – выражения исторические, встречающиеся в летописях и актах и доныне сохранившиеся в разговорном языке. Кстати, я приведу вам отзыв одного из рижских городских чиновников. Узнав от меня, что цель комиссии, к которой я был прикомандирован, заключалась в ревизии рижского муниципального устройства и в составлении предположений об улучшении его, он мне сказал: «Напрасно правительство затевает реформы; если б оно оставляло в покое Остзейский край, он мог бы служить России оплотом в случае нападения извне – ein Bollwerk gegen fremden Angriff, посредником между нею и германскою образованностию – eine Vermittlerin zwischen ihr und der deutschen Bildung, наконец: образцом во всех отношениях – ein Muster in jeder Hinsicht.

Заметьте: Россия в случае, если кто пригрозить ей, уйдет под крыло Остзейского края; нам, знающим немецкий язык, будут служить посредниками с Германиею люди, которые не знают и не хотят знать по-русски; наконец, будет служить образцом край, который в XVII веке остановился в своем развитии и окаменел в средневековых понятиях. Все это, конечно, покажется вам только смешным, когда вы прочтете мое письмо в Москве, в кругу русских; но не забывайте однако: что в этих понятиях воспитываются те, которые занимают в наших имениях должности управляющих, а в наших домах –наставников; что тот господин, который пачкал свою книгу остроумными афоризмами о характере русских, завтра, может быть, купит имение в одной из наших губерний и будет иметь крепостных людей; что он уже теперь занимает по службе важное место

* Глупый латыш и низкий или грубый русский *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

** Которые принадлежат доброй немецкой нации *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

и сделается когда-нибудь губернатором; что за ним потянется целый рой мелких чиновников, его приятелей и клиентов, одного с ним образа мыслей; наконец, что в зависимости от этих людей живут наши соотечественники, поселившиеся в остзейских городах. Но хотя Балтийский край внутренне разделяет, теперь уже несомненные, чувства Германии к России, однако здесь к ним примешивается местное начало, которое, если не облагораживает, то, по крайней мере, парализует их. Германия боится России, приписывая правительству какие-то властолюбивые замыслы на ее счет. Остзейцы, напротив того, знают, что их устарелые средневековые учреждения, привилегии и сословные интересы, которые дороже для них самой Германии, рушились бы от одной их ветхости, если бы их не поддерживала Россия; что ни одна держава в мире не оставила бы их пяти дней при тех преимуществах, которыми они пользуются; что единственная их надежда заключается в добродушной беспечности и доверчивости нашего правительства, которое одно способно верить на слово, подписывать привилегии не читая, забывать события, сделавшиеся достоянием истории, и благодарить за изъявления вынужденной необходимостью преданности; наконец, они внутренне сознают и действиями своими в последнее время подтверждают справедливость слов, писанных Меркелем* в 1880 году: die russischen Bayonetten, al-

* Почтенный Меркель принадлежит к числу очень немногих лиц, которые, будучи сами Остзейскими уроженцами, возлюбили правду паче сословных выгод и решились объявить во всеуслышание то, что принято было скрывать от правительства. Насмотревшись на жестокое обращение помещиков с крестьянами, на пренебрежение пасторов о вверенной им пастве, убедившись, что все благие меры правительства оставались бесплодными, вследствие злонамеренности местных исполнителей, он решился открыть правительству глаза и, выехав за границу, напечатал в Лейпциге книгу, исполненную любопытнейших подробностей и замечательную не только новизною «актов, но верностью суждений и увлекательным изложением. Она вышла под заглгвием: Die Letten, vorzüglich in Liefland, am Endt des philosophischen Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Völker- und Menschenkunde; но, как уверяют, рижский магистрат скупил все издание и уничтожил его. Как бы то ни было, эта книга принадлежит к числу библиографических редкостей, автора огласили изменником, подвергли всякого рода оскорблениям и теперь он доживает свой век в неизвестности, если не ошибаюсь в Вольмаре *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

lein, stützten, bis jetzt, den deutschen Despotismus in Liefland (до сих пор русские штуки поддерживали одни деспотизм немцев в Лифляндии). Остзейцев честили не по заслугам, их награждали не в меру, им ни в чем не было отказа, и странно – все это породило чувство противоположное тому, которого бы можно было ожидать. Вы, вероятно, замечали эту темную сторону души человеческой: есть люди, которые скорее простят оскорбление, чем незаслуженное благодеяние; то же самое встречается иногда в отношениях целых обществ или народов друг к другу. В таких случаях, чем сильнее сознание зависимости, чем ощутительнее потребность чужой защиты и помощи, тем глубже укореняется неприязнь к тому, кто подает ее; как будто униженное самолюбие находит себе утешение в этом чувстве, как в безопасной скрытной мести. Итак: досада на самих себя, презрение к России, перенятое у Германии, сознание потребности в помощи правительства, все это сливается вместе и выражается в тоне, с которым произносятся эти слова: Ja, wir sind Unterhanen des russischen Kaisers, aber mit Russland wollen wir uns nicht vermengen*. Обратите внимание на эту фразу: она заключает в себе задушевную мысль остзейцев. Мы будем иметь дело исключительно с правительством, но не хотим иметь дела с Россиею, и если нас вздумают в том упрекать, мы зажмем рот обвинителю этими словами: мы верноподданные государя, мы служим ему не хуже вас, больше вы ничего от нас требовать не вправе. Так думают и говорят остзейцы, и не мудрено; но, признаюсь, мне становится досадно и грустно, когда я вижу, что эта мысль, возникшая в кругу людей, для которых не существует отчизны, в нашем обществе не только не возбуждает негодования, но даже находит одобрение.

Мы видим, как прочно и надежно это последнее отношение. Давно ли венгерцы, в порыве верноподданнической преданности, пылали готовностью умереть за короля своего Марию Терезию, а теперь, не они ли нанесли Австрии первый

* Да, мы подданные русского Императора, но с Россиею мы не хотим смешиваться *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

и самый тяжелый удар? Я не сужу их, но я хочу только сказать, что не венгерцы создают и не они упрочивают величие и крепость государств. Я думаю, что если бы наши предки воспитались в правилах венгерско-остзейской теории, они, в XVI веке, может быть, не нашли бы в себе сил вынести царствование Грозного, а в XVII, весьма вероятно, воссел бы на Московский престол не Михаил Романов, а королевич Владислав. Неужели и у нас считают возможным быть верным подданным русского государя и в то же время презирать русских, гнушаться русского языка, ненавидеть православие, одним словом, питать враждебное расположение ко всему тому, что составляет лучшее достояние народа, а следовательно и силу правительства? Неужели полагают, что Русский Царь позволит кому-нибудь посягнуть на нераздельность его выгод с благом народным, захочет сложить с себя то значение, в которое облекла его наша история: значение первого человека русской земли и первого сына православной церкви, и что это неотчуждаемое достояние своих предков, это неизгладимое помазание променяет на личные отношения западных вассалов к их господину?

Из понятия об отношении частных лиц к верховной власти вытекает и понятие о службе и ее значении. В наших глазах, служба есть воздаяние должного родной земле; в глазах остзейцев: это сословный промысел, кормление дворянина, подобно тому как торговля составляет кормление мещанина большой гильдии, а ремесло – кормление цехового мастера. Строгому разграничению промыслов соответствует разделение добродетелей по сословиям. Купцы и ремесленники гордятся аккуратностью и честностью, а дворяне выгородили для своего сословия чувство чести и верности знамени, тому, которое поднято выше: польскому, шведскому или русскому. Я не спорю, что и такого рода служба может быть употреблена с пользою, как порох, как паровая машина, вообще как орудие; еще менее думаю я отрицать заслуги, принесенные многими из остзейцев, на ней подвизавшихся; но разве хуже служили нам женевец Лефорт, шотландец Гордон, и неужели Россия не

вправе требовать от остзейцев ничего большего, как то, что предлагают за деньги всем государям наемные швейцарцы? Пусть честят и награждают каждого; но лучше бы не величаться своими заслугами, а в особенности не думать, чтобы безукоризненною службою государю можно было купить право отвергать общение с народом. Во всяком случае, если уже остзейцы находят выгоды и полагают честь свою в том, чтобы помимо земли скреплять союз с правительством, то, по крайней мере, можно бы полагать, что правительство в их крае всесильно и в своих предприятиях находит единодушное содействие; но и в этом разуверит хоть кого ежедневный опыт. Отношение местных начал к государственному, сравнительно с прежними временами польского и шведского владычеств, изменилось не в пользу последнего. Разумеется, в некоторых отношениях, оно не могло не усилиться: так многие части управления и сопряженные с ними доходы из рук сословий перешли к нему; но дух сословной и провинциальной исключительности не только не побежден, он даже окрепнул в борьбе. Меры правительства (разумеется, не те, которые испрошены одним из местных сословий для угнетения другого, а те, которые исходят от самого правительства и клонятся к достижению общественной пользы) встречают здесь такое же систематическое сопротивление, как и в XVI и XVII веках. Те же средства употребляются с неизменным успехом: ссылки на привилегии и недобросовестное их толкование, проволочка времени и подкупы. Чтоб убедить вас в этом, я представлю вам несколько примеров, взятых из того очень ограниченного круга, который был мне доступен: они сами собою свяжутся с приведенными мною во втором письме.

В 1752 году какой-то латыш просил, чтобы его приняли в городское общество; но ему как латышу отказали. Он сослался на статью изданного в Риге Полицейского Устава, ясно гласившую в его пользу, и выиграл дело в Юстиц-Коллегии; но городское начальство перенесло его в Сенат. Так как смысл статьи был очень ясен, то, не имея возможности перетолковать ее, магистрат Рижский не задумался отвергнуть весь устав,

из которого она была заимствована, как никогда не имевший силы закона. Вот его доводы: Полицейский Устав очень не полон, в магистратском архиве не находится документального с него списка; на списках, хранящихся у частных лиц, не выставлено года его составления; наконец, он не был утвержден верховною властию, и по всему этому он очевидно только проект закона, а не закон. Во всех этих показаниях, что слово – то ложь или недобросовестная увертка; ибо из всех городских законоположений, изданных в Риге, Полицейский Устав есть полнейшее. Действительно ли его не было в магистратском архиве, трудно решить; случалось же, что документы очень кстати в нем пропадали, а потом отыскивались не менее кстати; так, например, бургомистр рижский, Мелхиор Фукс, в половине XVII века, писал, что подлинники древних привилегий, которых требовало шведское правительство, частию пропали, частию сгнили, а теперь вы можете видеть их в архиве ратуши. Но если и не было Полицейского Устава в магистрате, то он хранился в архиве большой гильдии, где я сам отыскал его, и на нем выставлен крупными цифрами год издания его; утвержден он точно не был, но последнее издание Городского Уложения (Stadtrecht), в то время действовавшее и действующее доселе, но новейшая редакция *шраг*, или Устава Большой Гильдии, и многие другие документы, составляющее основание городской конституции, никогда никем специально утверждаемы не были, содержат в себе пробелы, до крайности неполны, и наконец составлены неизвестно в каких годах. Почти все эти возражения привела Юстиц-Коллегия, присоединяя к ним еще и то, что сам магистрат много раз ссылался на Полицейский Устав – и что бы вы думали? Сенат решил, что магистрат был прав, что ссылка недействительна, и отказал просителю. Предоставляю вам угадать, какими средствами рижане вызвали такое решение. Впрочем, это не прошло даром магистрату. Несколько спустя, в 1767 году возникло вновь совершенно однородное дело. Некто Эфлейн, иностранец, женился на племяннице того же латыша и, вступив в русское подданство, просил, чтобы

его приписали к большой гильдии, или к купечеству города Риги. Ему отказали с негодованием, потому что, вступив в брак с *подлою* Латышкою, он обесчестил себя и опозорил свое немецкое имя (sich verniedrigt). Дело дошло до Сената, и большая гильдия оправдывала свой отказ, между прочим, ссылкою на статью цехового устава рижских мясников 1731 года, запрещавшую цеховым мастерам брать жен из латышек, и рассуждала, что «яко бы Эфлейнова жена и не может сделаться мещанскою женою (то есть женою гражданина), равно как ее дяде указом отказано в мещанском праве (то есть в праве гражданства), и несчастны де будут его, Эфлейна, из сего брака прижитые дети, потому что не можно будет об них свидетельствовать, что рождены от немецких родителей, а в противном случае большая гильдия имеет претерпеть сильную обиду и неугасимое бесчестье», то есть, если признают достойными права гражданства латышку и ее детей. Но на этот раз сенатская канцелярия, как видно, действовала без всяких посторонних влияний; ибо как доклад, так и решение могут служить образцом логики, знания дела и вместе приличной иронии. Сенат нашел, «что прописанное рассуждение для благонравной большой гильдии весьма порочно, а еще порочнее ссылка их на сочиненный мясничьим цехом шраг, который оным цехом написан для самих себя, а не в закон большой гильдии (состоящей исключительно из купцов); да и для малой гильдии, хотя может быть и написан в соблюдение своего цеха мещанских вдов и дочерей, однако, как то и магистрат с рижским мещанством в 1752 году отзывался о Полицейском Уставе, что ни которым верховным начальством не конфирмован, почему и в закон не следует». Далее: «что оный шраг ни с какою справедливостью не сходствует, что неповинных, законом рожденных латышек ставят на ряду с незаконнорожденными и в пороках известными женщинами... К тому же, весьма не надлежало по однородным делам иметь разных и противоречащих ссылок, как то по делу о латыше (изложенном выше), в 1752 году, рижский магистрат и мещанство сами отторгнули действие Полицейского Устава

1548 года, затем, что монаршей конфирмации на оный Устав нет; а ныне, большой гильдии мещанство и без высочайшей конфирмации действительным законом принимает мясничий шраг, написанный не прежде как в 1737 году.... что само по себе для благонравного общества весьма странно». Теперь уже эти странности до такой степени вошли в обычай, что они никого не удивляют.

Вот вам пример, взятый из другой общественной сферы и из настоящего времени. В 1828 году остзейский генерал-губернатор, маркиз Паулуччи, возбудил вопрос о необходимости подчинить суды, учрежденные для крестьян, наравне с другими судебными инстанциями, надзору прокурора и стряпчих; но его заглушили. В 1837 году барон Пален поднял его снова, по поводу дошедших до него сведений о беспорядочном ходе дел в этих судах, которые, вопреки общему установленному порядку, наотрез отказывали стряпчим даже в доставлении сведений, основываясь только на том, что в Положении 1819 года, изданном для лифляндских крестьян, это не было формально вменено им в обязанность. Лифляндское губернское правление и прокурор нашли эту отговорку неосновательною и объявили генерал-губернатору свое мнение в пользу необходимости подчинить крестьянские суды общему правилу; но барон Пален этим не удовольствовался и повелел учредить для рассмотрения вопроса общее губернское присутствие, пригласив также ландрата, представителя дворянского сословия. Вы увидите, какое влияние имело последнее обстоятельство. На совещании всех палат, происходившем в 1843 году (следовательно, шесть лет спустя после того, как началось дело) ландрат объявил, что дворянство составило проект положения о ежегодных ревизиях низших судебных мест высшими (приходских судов уездными), внесенный уже в Государственный Совет; а так как вопрос о подчинении их надзору прокурора и стряпчих находился, по уверению ландрата, в тесной зависимости с проектом дворянства, то он советовал отложить разрешение его до другого времени. Никто этому не противоречил, и дело опять было потушено. Между

тем, два прокурора, один после другого, жаловались как на приходские и уездные суды, так и на отделение гофгерихта по крестьянским делам, прямо отвергавшие всякое вмешательство с их стороны, как противозаконное и бесполезное; жалобы эти дошли до Сената, и преемнику барона Палена, генералу Головину, поручено было войти в рассмотрение этого дела. В 1845 г. он донес Сенату, что, по его мнению, между проектом дворянства и настоящим вопросом не было никакой связи, что срочная ревизия низшей инстанции высшею не заменяла постоянного надзора, и что обнаруживать допущенные беззаконности и подвергать за них ответственности совсем не то же, что предупреждать их своевременными предложениями и протестами. Снова велено было палатам собраться и войти в рассмотрение дела. Они собрались, но ничего не сделали; ибо тот же ландрат объявил, что предложенный вопрос так важен, что он намерен представить его на рассмотрение будущего дворянского конвента (или собрания); а прочие члены присутствия нашли необходимым ознакомиться с делопроизводством 1828 года по тому же предмету. Генерал-губернатор немедленно поручил губернскому правлению ускорить доставление требуемых актов, а затем снова созвать палаты. После этого, более четырех раз повторено было то же самое, и всякий раз губернское правление отвечало, что оно еще не успело достать необходимых актов, так что с апреля 1846 по 1 января 1847 г. не было ничего сделано. Наконец, генерал-губернатор, поставив все это на вид губернскому правлению, велел созвать палаты в месячный срок, не приглашая ландрата, ибо вопрос, касаясь пределов власти коронных чиновников, а вовсе не отношений помещиков к крестьянам, не подлежал обсуждению представителя интересов дворянского сословия. Дело тронулось и было разрешено Высочайшим повелением о распространении власти и надзора прокурора и стряпчих на все места, учрежденные для крестьян; но кончилось ли оно, достигнута ли цель? Не знаю. Крепко не хотелось дворянству лишиться права безотчетного суда в собственных своих делах с крестьянами; теперь, по-видимому, оно отойдет

от него; но есть простое средство обратить требуемый надзор в обеспечение произвола: сто́ит назначать прокуроров и стряпчих из местных дворян. Пусть только приведут в пользу последних отличное знание немецкого языка и незнание русского, знакомство с местными учреждениями и совершенное незнакомство с государственными; пусть еще сошлются на привилегию Сигизмунда-Августа 1578 года, которую шведское правительство признало подложною, и я готов побиться об заклад, что дело будет выиграно дворянством.

Приведу вам еще один пример, последний. В 1835 г. Лифляндское губернское правление предписало рижскому магистрату ввести в исполнение закон, предоставляющей присяжным, избираемым городскими обществами из их среды, постановлять приговоры об отдаче в рекруты или об отсылке на поселение заведомо порочных членов этих обществ. Так как этот закон давал городским обывателям, записанным в окладах ремесленном, мещанском и рабочем, право голоса, сословное представительство, и через это до некоторой степени ограничивал безусловное господство, которое присваивает себе над ними общество привилегированных граждан, то магистрат объявил наотрез, что выбор присяжных был бы сопряжен с неудобствами и противен городским привилегиям; но, отвергая закон в том именно, в чем он благоприятствовал обывателям, магистрат захотел конфисковать в свою пользу право отдавать в рекруты вне очереди и ссылать на поселение. С этою целью, он построил следующий силлогизм: удаление заведомо порочных членов общества относится до податных сословий, а дела о податях и повинностях ведает податное правление, состоящее из представителей городского общества; поэтому право, предоставленное присяжным, следует перевести на податное правление. Чтобы судить о добросовестности этого вывода, вы должны знать, что податное правление в Риге состоит из ратсгера, избираемого высшим магистратским сословием, и заседателей от купечества и цеховых ремесленников, пользующихся правом гражданства. Ни ремесленники, в общество граждан не принятые, ни ме-

щане, ни рабочие не только не назначают от себя депутатов в податное правление, но даже не участвуют в выборе заседателей от других сословий; поэтому, называть это правление представительством городского общества по делам о податях значит то же, что выдавать наших предводителей дворянства за выборных от крестьян, потому только, что первые занимаются раскладкою повинностей на вторых. Между тем, губернское правление не рассудило за благо разъяснить это невинное недоразумение, и, вполне удовлетворившись отзывом магистрата, молчанием своим узаконило похищение права простых обывателей. В 1836 году генерал-губернатор, узнав об этом совершенно случайно, нашел распоряжение губернского правления неосновательным и предписал ввести законный порядок. Прошло два месяца, в продолжение которых магистрат, отнюдь не приступая к исполнению, сочинял возражения против полученного им указа, и наконец подал генерал-губернатору длинный рапорт, в котором просил его отказаться от своего намерения и не отменять старого порядка, будто бы *оказавшегося благодетельным.* Просьба эта была основана на том, во-первых, что учреждение присяжных было бы противно привилегиям, по которым судебная власть принадлежит магистрату – как будто дело шло о судебной власти; и во-вторых, что предоставление обывателям права выбирать присяжных было бы сопряжено с бесконечными трудностями – как будто во всех городах империи оно не было введено. Но генерал-губернатор настоял. Прошел еще месяц – и магистрат снова повторил свое ходатайство, присовокупив, *что введение присяжных было бы стеснительно для податных сословий, подвергло бы городское начальство и граждан обязанности отвечать за свои действия и подало бы повод к столкновениям всякого рода, которых вперед определить нельзя, но коих последствия могут быть уже теперь рассчитаны* – эта фраза переведена слово в слово. Со стороны генерал-губернатора ответа не было, а магистрат принял молчание за знак согласия, и дело остановилось. В следующем 1838 году, опять так же случайно, губернское

правление узнало, что законный порядок все-таки не введен; прежнее приказание было повторено в четвертый раз магистрату, который, истощив все возражения, обратил свои усилия на то, чтобы, посредством неправильного применения лишить закон всякой силы. С этою целью, он прописал ряд мнимых затруднений, будто бы им встреченных, и просил наставлений, как ему поступать; а в ответ на это, губернское правление, уже в конце 1838 г., разрешило ему приспособить выборы присяжных к городским привилегиям. Только этого он и желал. Устранив совершенно всех обывателей, т. е. ремесленников, не имеющих права гражданства, мещан и рабочих, он пригласил к выборам одних граждан, купцов и цеховых, но те и другие отказались под тем предлогом, что дело до них не касалось. Об этом отказе магистрат донес губернскому правлению 7 сентября 1840 года, следовательно, через год и восемь месяцев по получении последнего указа. Переписка тянулась еще долго; магистрат два раза повторял все прежние свои возражения; губернское правление, перейдя на его сторону, ходатайствовало также у генерал-губернатора об утверждении старого порядка, *о котором будто бы все жалели,* живыми красками описывало бедствия, ожидавшие Ригу, если податным сословиям дано будет присвоенное им по общим законам право; наконец, уже в 1841 г., генерал-губернатор дал опять приказание приступить к выборам, и, несмотря на все это, они доселе еще не происходили. Вместо того, полиция, без ведома и согласия общества, наряжает кого вздумает для исполнения должности присяжных, так что после шестилетней борьбы с главным начальником губернии, произвол и местные предубеждения одержали победу над законом и справедливостью.

Я ограничиваюсь этими примерами, чтобы не наскучить вам сухими выписками из докладных записок; они дадут вам ясное понятие о прочих делах по городскому управлению. Ход их всегда одинаков: правительство или частное лицо предлагает какое-нибудь улучшение; лица, заинтересованные в соблюдение старины, если дело важно, стараются выставить

его в глазах своих могучих покровителей в Петербурге стремлением к монополизации русского духа – так выражаются здесь – и распускают предварительно жалобы на угнетение немецкой народности; таким образом, частный, административный вопрос переносится в сферу международных отношений. Затем, на предложение правительства, здешнее присутственное место или сословное представительство прямо от себя или через надежного агента отвечает, что оно противно привилегиям, гибельно для торговли, подрывает учреждения, тесно связанные с выгодами монархического начала, обнаруживает вредную политическую тенденцию и грозит развитием демократического духа – это пугало употреблялось в последнее время с большим успехом. Правительство требует доказательств; через год или более представляют ряд ссылок на привилегии и груду статистических фактов, пересыпанных адвокатскими рассуждениями и кривыми толками. После многих усилий правительство обнаруживает, что приведенные привилегии подложны или не относятся к делу, что статистические факты выдуманы, что рассуждения недобросовестны; тогда, не имея возможности прямо защищать свою старину, заинтересованные в ее сохранении отговариваются недостаточною обработкою вопроса и просят отсрочки, между тем, в канцеляриях высших присутственных мест деньги действуют, и дело затягивается, а про людей, старающихся дать ему ход, распускают под рукою худую молву. Сперва обвиняют в запальчивости и пристрастии, потом с таинственным видом намекают на какие-то злые намерения и наконец, к их именам привешивают ярлыки с названиями якобинцев, коммунистов или шпионов. Тысячи голосов повторяюсь эти слова частью в шутку, частью серьезно, и клеймо остается на всю жизнь*. Если же, наконец, правительство, убедившись в необходимости предположенной меры, предписывает окон-

* Впрочем, к чести остзейцев, должно сказать, что это средство гораздо менее употребительно в самом Остзейском крае, чем в Петербурге, и что онемечившиеся русские владеют им едва ли не лучше немцев *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

чательно ее исполнение, то представители старины, выждав удобный час, снова подают возражение; им не дают ответа, и они, принимая молчание за отмену прежнего приказания, преспокойно оставляют его без исполнения.

Чтобы убедиться, какую роль играют подкупы в отношениях здешних сословий и присутственных мест к коронным чиновникам, достаточно пробежать камеральные (или келейные) протоколы рижского магистрата, которые удалось открыть при ревизии. В 1767 г. бургомистр рижский подкупает в законодательной комиссии, учрежденной в Москве; в 1800 г. город старается подкупить двух ревизующих сенаторов; в 1801 г. городское начальство сознается, что добровольные приношения – dons gratuits (это местный термин), подносимые ежегодно генерал-губернатору и другим чинам, суть известного рода подкупы; в 1805 г. граф Кочубей объявляет городскому начальству высочайшей выговор за то, что рижские депутаты пробовали подкупить в Петербурге; в 1818 г. город определяет сумму для постоянного подкупа лифляндского прокурора; в 1826 и 1829 годах увеличивает постепенно эту сумму; в 1821 г. подкупает в Сенате по делу Чернова и Черевитинова; в 1822 г. подкупает там же через посредство лифляндского губернского стряпчего по делу откупщика Кербера; в 1830-х годах подкупает правителя канцелярии лифляндского гражданского губернатора по делу об оборонительной казарме и об улучшении городского финансового управления; в 1840-х годах, по делу о приписке шкловских евреев к Риге подкупает в Петербурге чиновников различных ведомств через своего агента, который пишет сюда, чтобы отнюдь не пробовали торговаться при уплате обещанных сумм «ибо, для поддержания городского кредита, необходимо *честное* исполнение условий». По этому последнему делу уплочено было более 70 тысяч рублей, а по делу Кербера 130 тысяч; зато евреи доселе едва не гибнут от голодной смерти и принуждены воровством добывать себе пропитание, а дочь некогда богатого откупщика Кербера впала в нищету и разврат.

И все это остается в тайне; все покрывается снисходительною терпимостью коронных чиновников, назначаемых, как вам известно, почти исключительно из здешних дворян!

Сблизьте теперь приведенные мною факты, и вы убедитесь, что нет угла в России, где бы правительство было так бессильно на добро, ибо в Остзейском крае правительство встречает не личные страсти и выгоды, всегда и везде неизбежные, но всеобщее, систематическое сопротивление, происходящее от укоренившегося понятия об отношении края к государству. Здешнее немецкое общество сознает это отношение как вечную тяжбу. Государство на одной стороне, Остзейский край, или точнее, привилегированные сословия, на другой; оба лагеря расположены друг против друга, и между ними идет война. Только с этой точки зрения могут быть верно поняты и оценены приведенные мною факты.

В недобросовестных ссылках на привилегии, в старании затянуть дело, представить его в превратном виде, навести ложный страх, вы увидите не более как хитрости, исстари терпимые и почти позволительные в дипломатических переговорах двух держав. Самые подкупы получат в ваших глазах особенный характер: у нас подкупают частные лица по своим делам и на свои деньги; здесь подкупают целые сословия, присутственные места и города, по делам общественным и из общественных сумм. У нас подобные дела совершаются втайне и в глазах порядочных людей слывут постыдными; здесь люди честные, представители целых обществ, собираются в присутственных местах, заключают с подкупаемыми чиновниками формальные условия и составляют о том протоколы; лица, поставленные от правительства для соблюдения законности, принимают на себя обязанность агентов; их снабжают инструкциями, деньгами на дорогу, переписываются с ними о ходе порученных им переговоров, и, наконец, в случае успеха, по возвращению на родину их принимают с торжеством и благодарностью за общественный подвиг, за спасение rei publicae. – Взгляните на предмет с этой точки зрения, и вы поймете, что цеховой суд мог сделать выговор мастеру за то, что он от-

казался участвовать в приношении какому-то чиновнику, и что этот выговор внесен в протокол.

Я не разбираю теперь, что лучше и что хуже; но мне кажется, что подкупы, в том виде, как они существуют у нас, относятся к здешним подкупам точно так же, как нарушение супружеской верности частным лицом к систематическому приложению учения de la communauté des femmes.

Наконец, коронные чиновники, назначаемые из здешних дворян, потворствуя злоупотреблениям и скрывая их от правительства, по тем понятиям, в которых они воспитаны, вовсе не нарушают своих обязанностей; ибо общество твердит им, что первая их обязанность состоит в том, чтобы парализировать действия правительства, поддерживать его заблуждения, так сказать, заслонять своих однородцев, и горе тому, кто стал бы заодно с правительством против выгод и предубеждений сословных.

В прошлом столетии почтенный Шульц-фон-Ашераден, поднявший на дворянском ландтаге смелый голос в защиту крестьян, был прогнан из собрания; позднее ландрат Сиверс, исполнитель благих намерений императора Павла, подвергся гонению по тому же делу; наконец, недавно мы имели пример, который разнесся по всему Остзейскому краю, но, может быть, не дошел до вас.

В Риге живет теперь 75 летний старец барон Фелькерзам, патриарх курляндского дворянства, подписавший в качестве секретаря акт о подданстве Курляндии Русской державе. Он долго служил, был губернатором в Лифляндии, и каково бы ни было его управление в последних годах, частная жизнь его и нравственное достоинство остались безукоризненными. Сын его, одаренный замечательными способностями, посвятил свои занятия улучшению быта крестьян в Остзейских губерниях, и вследствие этого, в Комитете 1845 года защищал предположения правительства против мнения дворян, для которых нынешний порядок есть верх совершенства. В 1846 году учрежден был Комитет, состоявший из лифляндских помещиков, которому поручено было составить новое Положение

о крестьянах на основании начал, утвержденных правительством. Молодой Фелькерзам, с этого времени ставший во главе партии, допускающей возможность улучшений, принял самое деятельное участие в составлении этого проекта и так успешно защищал его, что на бывшем ландтаге дворянство одобрило предположения Комитета и поднесло их на утверждение правительства. Вот чем определяется политическая роль обоих Фелькерзамов, отца и сына.

Между тем, на прошлогоднем ландтаге в Курляндии, когда в числе дворян, не имевших в этой губернии вотчин и требовавших права голоса, назван был молодой Фелькерзам, один из присутствовавших дворян в полном собрании произнес следующие слова: «Я не понимаю, как можно предлагать человека, носящего имя, запятнанное двукратною изменою отчизне – dessen Nahme zwei Mahl mit Ladesverrath befleckt ist». Ландмаршал немедленно потребовал объяснения, и произнесший эти слова объявил, что он не разумел под ними старика Фелькерзама. Этим объяснением все остались довольны. Может быть, вам покажется странною легкость, с которою оно было дано, и доверчивость, с которою его приняли; но не менее странно то, что курляндский гражданский губернатор, тамошний дворянин, не счел нужным вступиться в это дело, даже не известил о нем генерал-губернатора и, уже в ответ на запрос последнего, старался придать происходившему на ландтаге вид невинной обмолвки. Молодой Фелькерзам был в то время в Петербурге; но отец его, на закате беспорочной жизни глубоко оскорбленный и в своем лице, и в лице сына, вступился за поруганную честь своего рода и после нескольких переговоров, подал просьбу на Высочайшее имя. Говорят, что эта просьба до Государя не дошла и дело не имело никаких последствий. И точно, по многим причинам, лучше было прекратить его, но желательно, чтобы не пропал урок и чтобы наше общество из него научилось не подписывать без разбора приговоров остзейцев.

Рассказав вам этот последний случай и все предыдущее, я отнюдь не думал обвинять частных лиц. Если мне

сколько-нибудь удалось передать вам мой взгляд на здешний край, то вы должны были понять, что поступки частных лиц занимают меня только как проявления образа мыслей целого общества. Начав с исторического обозрения, я именно хотел придать общий смысл тем современным фактам, которые намерен был вам передать, и показать их связь с политическими и общественными началами, под влиянием которых развивался и прозябает теперь Остзейский край. Там, где современное зло имеет историческое оправдание и составляет как бы продолжение вековых преданий, было бы смешно негодовать на частные лица. Это значило бы винить их в том, что они родились и были воспитаны в понятиях, подготовленных целыми столетиями. Забудем о лицах, но будем помнить, что самое то, что служит им в извинение, неопровержимо доказывает ложность общественной среды.

Я старался показать вам отношение Остзейского края к земле русской и к правительству; теперь посмотрим на положение русских в здешнем крае.

IV

Положение русских частных людей в Остзейском крае бросается в глаза приезжим иностранцам и повергает их в изумление; для нас же, русских, это, конечно, самый живой из всех здешних вопросов, доступный каждому человеку, если только привычка баловать свое самолюбие не притупила в нем участия к меньшей его братье, или если он умышленно не закрывает глаз и не затыкает ушей. Я желал бы представить вам этот вопрос во всех его видах, в связи со всеми поясняющими его обстоятельствами, а для этого я должен необходимо проследить образование дворянского и городского сословий. Это предмет довольно запутанный и сухой, которого я не надеюсь, да и не буду стараться оживить; лучше пусть назидательный урок выступит сам собою из сухого изложения фактов. Начнем с дворянства.

В эпоху архиепископов и гермейстеров к земским чинам принадлежали: орден, архиепископ и вассалы того и другого. Последние, то есть вассалы, пользовались одинаковыми правами с рыцарями и отличались от них только тем, что рыцари давали монашеские обеты (которых не соблюдали) и составляли духовное братство. С принятием реформации и с упразднением ордена, эта единственная разница исчезла, так что, хотя сохранились от прежних времен названия рыцарства и земства (Ritterschaft und Landschaft), но уже эти слова утратили всякое определенное значение и беспрестанно употреблялись одно вместо другого; ибо в действительности не существовало соответственных им различий в правах и общественном значении. В эпоху польского владычества, потомки рыцарей и вассалов во всех актах, исходивших от правительства и от них самих, являются нераздельным сословием и, большею частию, под общим названием лифляндского дворянства. Совершенно равными с ними правами, как по имуществу, так и по сословному управлению, пользовались польские и литовские помещики Лифляндии, так что встречающееся в королевских грамотах деление дворян по нациям, очевидно, имело целью поставить поляков и литовцев на одну ногу с немцами. Точно такое же положение заняли впоследствии Шведы в Лифляндии и Эстляндии.

В XVII веке начали помышлять о составлении матрикул, или списка дворянских родов. Курляндия подала пример. В статье 39-й изданного для нее в 1617 году учреждения, сказано: «Герцог и дворянство (nobilitas), с общего согласия, положили учредить рыцарское присутствие (judicium equestre, то же, что Ritterbank), с целью разобрать: кто принадлежит к дворянам, кто к плебейцам (qui re vera nobiles, qui plebei)». Итак, поверка доказательств дворянского достоинства и составление списка дворянских родов – таково было назначение этого депутатского собрания. Из актов, от него оставшихся, видно, что оно отнюдь не думало присваивать себе права безотчетного отказа в помещении родов в матрикулу; что за доказательства вполне доста-

точные признавались жалованные грамоты на дворянство, данные императорами и королями; наконец, что все постановления о выборе членов в депутатское собрание, о порядке составления матрикул, о приглашении к предъявлению доказательств, издавались от имени рыцарства и земства (Ritter- uud Landschaft) совокупно и без всякого между ними различия. По тому же самому поводу и, вероятно, по примеру Курляндии, приступлено было и в Лифляндии к составлению матрикул. Получив в 1643 и 1647 годах от шведского правительства штат или сословное устройство, дворянство естественно должно было возбудить вопрос о доказательствах принадлежности к дворянскому сословию. Но просьбе о том лифляндцев воспоследовала следующая королевская резолюция 14 ноября 1650 года: «Дошло до сведения ее королевского величества, что в Лифляндии происходят беспорядки оттого, что многие лица не из дворянства (die nicht von Adel sind) выдают себя за дворян и домогаются еще больших прав и преимуществ, нежели какими пользуются лица дворянского происхождения, *или приобретшие дворянское достоинство, или получившие его чрез жалованные от высшего правительства грамоты*. По поводу сего, е. к. в., желая состояние дворянства в Лифляндии не только возвысить и умножить, но и сохранить при подобающей ему чести и уважении, соизволяет и разрешает назначить комиссию для составления списка дворянских родов, в котором все лифляндское рыцарство и дворянство, владеющее в том крае недвижимою дворянскою собственностью, будет иметь определенное место и в коем дворянские роды и предки будут означены и отличены, причем дворяне сами имеют наблюдать, чтобы никто не был вписан в список рыцарских родов, кроме тех, *о дворянском происхождении коих имеют достаточные сведения, или коим дворянское достоинство и почести пожалованы по милости высшего правительства, или за особенные заслуги*». Точно такая же резолюция издана была в следую-

щем 1651 году для Эстляндии*. Эзельское дворянство начало составлять матрикулы, не испрашивая на то соизволения верховной власти, и поступало в этом случае не совсем по рыцарски, как видно из позднейшего сенатского указа 1764 года 28 декабря, изданного по поводу составления списков лиц, претендовавших на казенные аренды**. Из всего этого видно, во-первых, что матрикулы заведены с двойною целью: провести черту между дворянами и недворянами и определить, кто именно из дворян принадлежал к обществу местных дворян и вследствие того мог пользоваться правами своего сословия, например: участием на ландтагах с правом голоса, доступом к должностям и т. д. Во-вторых, что между дворянством родовым, жалованным и приобретенным закон не делал никакого различия, и что все дворяне, владевшие в том крае поместьями или вотчинами *по праву,* вступали в дворянское общество и записывались в матрикулы, значившие ни более ни менее, как наши губернские родословные книги.

Составлением матрикул, как я уже сказал, начали заниматься с половины XVII века; однако, в продолжении шведского владычества, их не успели привести к окончанию, так что в эпоху заключения так называемых аккордных пунктов в 1710 году они еще не существовали ни в Лифляндии, ни в Эстляндии, ни на Эзеле; и потому, когда речь идет о привилегиях, утвержденных Петром I при завоевании Остзейского края, никак не должно подразумевать матрикул и сопряжен-

* «Быть в Эстляндии рыцарскому собранию, в котором все рыцарство и дворянство Эстляндское, кто только в сей земле маетности имеет, может место иметь, и в оном их фамилии и поколения записаны и различены быть должны» *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

** В нем сказано между прочим: «В предписанном о арендах плане внесены и такие к арендному владению, которые хотя Эзельской провинции шляхетством, с *платежем некоторого числа денег,* в их братство и приняты, и в их матрикулы записаны, но о настоящем дворянстве своем надлежащих доказательств не объявили; сверх того, эзельским шляхетством не доказано, что равную с лифляндским и эстляндским шляхетством правость имеют собою, без именного Е. И. В. указа, иностранных шляхетских фамилий, а наименее тем таких, кои о настоящем дворянстве доказательств не предъявляли, в свое братство принимать и т. д.» *(Прим. Ю.Ф. Самарина).*

ных с ними в настоящее время преимуществ, как делали это много раз по неведению.

В редакции статей, подписанных фельдмаршалом Шереметевым и позднее утвержденных верховною властию, господствует обыкновенное безразличное употребление слов: рыцарство, шляхетство, дворянство, а в немецком тексте Ritterschaft, Landschaft, Adel; но все права, изложенные в этих статьях, присвоены дворянскому сословию вообще, без всякого различия.

Вскоре после заключения Ништатского мира, лифляндцы и эстляндцы принялись снова за составление своих матрикул. Генерал-губернатор Лесси, по происхождению ир-ландец, выпросил первым высочайшее на то соизволение, и в указе, распубликованном им 6 февраля 1733 года, постановил за правило требовать для внесения в дворянские списки доказательств принадлежности к дворянскому сословию и владения имением на праве вотчинном или поместном, следовательно, тех самых условий, какие постановлены были шведским правительством. В Курляндии матрикулы были окончены в 1634 году; в Лифляндии после долгих отсрочек и многих неудачных опытов – в 1747; на Эзеле – после 1741; в Эстляндни – в 1743.

Ни один из этих списков не был утвержден высшим правительством, и нельзя определить с достоверностью, какими правилами руководствовались при составлении трех последних. Как бы то ни было, по заключении их, дворянство всех трех губерний, записанное в матрикулы, присвоило себе исключительное название рыцарства и право принимать в свое общество или братство новых членов не иначе, как подвергая их безотчетной баллотировке по правилам, постановленным самим рыцарством в уставах о ландтагах. Из этих уставов лифляндский составлен в 1759 году, потом изменен и утвержден губернским начальством в одно время с эзельским, а эстляндский составлен в 1756 г., и мне неизвестно, был ли он кем-нибудь утвержден. Таким образом, в противность всем резолюциям и указам, значение матрикул было совершенно искажено, и образовалось без ведома и разрешения верховной власти новое, при этом замкнутое сословие, выделившееся из

дворянства и присвоившее себе все права в составе общества и по имуществу, предоставленные в силу аккордных пунктов всем дворянам вообще.

При Екатерине II, по введении наместнического учреждения, все это было отменено; произвольное раздвоение дворянства исчезло, и, на основании дворянской грамоты, учредили вместо матрикул родословные книги; но император Павел по восшествии своем на престол в 1796 году, восстановил опять прежний порядок, будто бы с привилегиями сообразный и теперь внесенный в Свод местных узаконений губерний Остзейских. Последствия его для всего русского дворянства очевидны. Во введении ко второй части Свода местных узаконений губерний Остзейских, составленного во втором Отделении Собственной Е. И. В. Канцелярии, в статье о правах земских состояний Курляндии сказано: «С сего времени (т.е. с заключения матрикул) курляндское дворянство совершенно устранило дворян польских и литовских». Тогда Курляндия была под владычеством Польши; в Лифляндии и Эстляндии матрикулы окончены при русском владычестве; почему же было не сказать, что значение их было искажено с такою же целью, как и в Курляндии, то есть для устранения дворян русских? Независимо от этого, матрикулы, в том виде, в каком они существуют теперь, имеют важное неудобство для Остзейских уроженцев, принадлежащих по происхождению к дворянству не матрикулированному, или дослужившихся до дворянских чинов: они лишены всякого сословного представительства и сословных списков, необходимых для приобретения актов, служащих для доказательства состояния. Для крестьян существуют ревизские сказки, для среднего сословия – обывательские книги, для рыцарства – матрикулы; но простые дворяне не имеют ничего подобного, и потому на каждом шагу встречают затруднения, например: при определении детей в училища, при вступлении в службу, при получении чина и т. д. Коренному дворянству, конечно, до этого дела нет; то – другое сословие, следовательно, нечего о нем и заботиться. Коренное дворян-

ство по собственным его отзывам о себе, плодит и развивает наследственную доблесть, так называемый рыцарский дух, а попросту: дух сословного своекорыстия, надменного презрения к низшим и расчетливой преданности высшим. В этом оно полагает свое назначение, для достижения которого считает необходимым со всех сторон огородить себя. Я не знаю, до какой степени подобный юридический вымысел может найти веру; но, по мне, пусть бы этот дух держался в тесном обществе и не заражал собою других сословий. Но дело в том, что, кроме неуловимого духа, рыцарство выгородило себе привилегии более существенные, а именно: исключительное право на владение имениями и доступ к должностям судебным и административным.

Постепенное стеснение права владения имениями также совершилось вопреки обыкновенному ходу общественного развития, вопреки писанным законам, и представляет такое же торжество своекорыстных интриг одного сословия над справедливостью и верно понятыми интересами края.

Жители городов, или точнее граждане, и в особенности рижские, пользовались издревле правом владеть населенными имениями в Ливонии. Оно вытекло из участия, принятого ими, совокупно с дворянами и духовенством, в завоевании края, доказано многими грамотами XIII и последующих веков, и во все продолжение орденского владычества оспорено не было. В грамоте, данной Стефаном Баторием Риге в 1581 году, признано право граждан рижских покупать имения в уездах (bona terrestria) с утверждения короля, а в конституциях Батория оно было распространено на все среднее сословие: licet nobilibus bona civilia (т. е. дома в городах) eniere, et civibus bona terrestria. В продолжение шведского владычества дворянство несколько раз домогалось лишить граждан этого права; рижане, однако же, отстояли его, но ревельцы утратили; а жители других городов, кажется, не заботились о нем. Первый удар бесспорному праву рижан нанесен был при поступлении Остзейского края под владычество России. Известно, что земство и города договаривались с фельдмарша-

лом Шереметевым независимо друг от друга; пользуясь этим и неведением русского правительства, дворянство включило в свои аккордные пункты следующую статью: «Шляхетские маетности впредь никому кроме лифляндских шляхтичей покупать невольно будет, и которые противно сему проданы, шляхтичам же выкупать».

Таким образом, одним почерком пера, во-первых, положено было начало к устранению русских; во-вторых, отменено было право рижских граждан, основанное на привилегиях, на давности, на всей многоуважаемой старине; наконец, сообщено было обратное действие закону, которого нельзя было предвидеть, и допущена была конфискация частной собственности целого сословия в пользу другого сословия, при этом конфискация, никаким сроком не ограниченная. Заметьте, что все это произошло вследствие домогательств дворянства, едва опомнившегося от шведской редукции и перед тем двукратно изменившего Польше и Швеции за несоблюдение привилегий и покушение на его частную собственность. Это одно из замечательнейших проявлений рыцарского духа и трогательного согласия между сословиями, претендующими на права цельной нации. Между тем, фельдмаршал Шереметев подтвердил также аккордные пункты, предложенные рижанами и ревельцами, в том числе статью об оставлении «всех городских жителей шляхетных и нешляхетных при их владении, как в городе, так и вне его и в уездах», а жителям Ревеля, «которые имеют маетности по наследству, или в деревнях какой заклад, или же иммиссии, пользоваться в оных равным с дворянами правом». Итак, исключительное право, вновь и не благоприобретенное дворянством, противоречило обещаниям, в то же время данным гражданам. Вследствие этого начались споры, тянувшиеся более 50 лет.

Кроме права покупки и выкупа, дворянство просило «предпочтения, в особенности перед рижскими гражданами, в пользовании арендами казенных маетностей». Правительство несколько раз им отказывало, по они выждали благоприятного времени, и при Анне Иоанновне состоялся

указ о том, «чтобы в Лифляндии и Эстляндии мыз на аренде никому, кроме тамошнего шляхетства, не иметь, а ежели поныне еще у некоторых, кроме тамошнего шляхетства, мызы на аренде имеются, хотя б и указами отданы, у оных немедленно отобрать и отдать на аренду желающим тамошнему шляхетству».

Итак, за конфискациею вотчин следовала конфискация аренд, и правительство пожертвовало своим правом награждать русских служилых людей казенными арендами в Остзейском крае. Но все это еще не удовлетворяло дворянства. Некоторые граждане пользовались государственными имуществами по закладному праву; дворянство просило, чтобы и их правительство отобрало, изъясняя, что будто бы в привилегиях именно сказано, что никто кроме дворянина маетностями в земле владеть не может; что это несовместно с производством торговли и ремесел; наконец, что если обеспечить закладодержцев уплатою процентов, то не будет даже никакой несправедливости. Вы можете себе представить, что все это было проведено дворянством не без труда: с одной стороны, граждане восставали против наглого нарушения их прав; с другой, само правительство не раз выражало какое-то отвращение к насильственному посяганию на собственность. Но все эти препятствия были побеждены. Я не хочу делать выписок из прошений и представлений дворянства по этим предметам, чтобы не растянуть изложения дела; а многие из них замечательны и заслуживали бы помещения в любой хрестоматии, как образцы канцелярского сутяжничества. Читая их, нельзя не подивиться необыкновенной многосторонности и гибкости рыцарского духа: он иногда так ловко умеет присвоить себе плебейские приемы, что, право, трудно отличить его от духа подьяческого. Немало также содействовали успеху дворян барон Левенвольде, посланный Петром I для устройства дел в Лифляндии, и за которого дворянство благодарило Петра. Действительно, было за что; он издал от себя указ следующего содержания: «Все граждане, которые в прежнее время купили дворянские имения, обязаны от-

дать их дворянам за продажную цену, и все, что к тому причитается». Не менее того, обычай еще несколько времени боролся с законом и обходил его: многие рижские и ревельские граждане не только продолжали владеть купленными перед тем имениями, но даже приобретали новые, ограждая себя различными хитростями; например, вместо купчих крепостей, заключали заставные контракты, или же платили за имения мнимые суммы, столь огромные, что выкуп становился невозможен; наконец, иногда покупали на имена матрикулированных дворян, причем последние, разумеется, не оставались в накладе. Таким образом, в продолжение многих лет практика смягчала несправедливость законов; но в 1789 году, когда были введены в Остзейском крае Учреждения о губерниях, Городовое Положение и Дворянская грамота, Сенат, в решении спора по делу об имении, купленном гражданином и выкупленном дворянином, применил закон, действующей в прочих частях Империи, но никаким Высочайшим повелением не распространенный на Лифляндию, и постановил, что граждане, по своему состоянию, не имея права владеть крепостными людьми, не могут поэтому покупать населенных имений, предписав гофгерихту во всех подобных случаях руководствоваться этим решением; а гофгерихт, в котором заседали одни выборные от рыцарства, на этот раз не сделал от себя никакого представления, и, против своего обыкновения, исполнил сенатский указ во всей строгости. Положим (так как в то время в Остзейском крае права состояний определялись общими законами), запрещение лицам среднего состояния покупать населенные имения имело некоторое юридическое основание; но после 1796 г., по восстановлении всех прав и привилегий, по отмене всех общих узаконений, издан был вновь в 1809 году сенатский указ о том, чтобы «по Лифляндской и Эстляндской губерниям права покупки вотчин и людей на недворян не распространять», что уже было совершенно произвольно, так что граждане лишились своего права случайно и вследствие недоразумения. Наконец, когда по уничтожении крепостного

состояния в Остзейских губерниях исчез самый повод к изданию этих двух указов, Государственный Совет в 1828 году признал: что «так как обстоятельства, служившие к основанию означенного вопроса, сами по себе изменились, то в дальнейшем по сему суждении не настоит никакой нужды, и что за тем, настоящее дело следует считать оконченным». Иными словами: у граждан отнято было право покупать населенные имения потому, что закон воспрещал им владеть крепостными людьми; но теперь уже нет крепостных, следовательно, право граждан приобретать имения, ограниченное правом выкупа, предоставленным дворянам, должно быть восстановлено. Кажется, вывод строг? Вы думаете, его сделали? Ошибаетесь: в Своде местных узаконений, вышедшем в 1845 г., гражданам и прочим городским обывателям положительно и безусловно запрещается покупать имения. Оставалось за ними право владения по заставным, на неопределенные сроки заключаемым контрактам, иногда на 90 и на 100 лет; но в 1802 и в следующих годах, по просьбе дворянства, эти сроки были постепенно ограничены: для Лифляндии и Эстляндии сперва десятью годами, потом тремя, а для Курляндии десятью, чем уничтожены были все выгоды заставного владения, как для владеющего, так и для самого имения. Трудно оправдать эти меры, ибо не только граждане, но даже многие из помещиков были ими недовольны, предчувствуя, что имения их через это упадут в цене, что действительно и сбылось.

Одинаковой участи с гражданами подверглись дворяне, называемые ландзассами, то есть все те, которые, по недостаточности предъявленных ими документов, или вследствие интриг, не были записаны в матрикулы, все потомки их, наконец, все местные уроженцы, дослужившиеся до дворянских чинов и также не принятые в матрикулы. Рыцарство не только не распространяло на них свое право выкупа имений, издавна им принадлежавших, но даже запрещало им безусловно вновь покупать имения; одним словом, из дворян разжаловало их в мещан.

Вспомните, что право выкупа, само по себе несправедливое, предоставлено было в силу аккордных пунктов всему дворянству без различия; здесь же его стали обращать дворяне матрикулированные против дворян нематрикулированных. Не явное ли это нарушение основного акта, определяющего отношение Лифляндии к России? А если бы правительство вздумало его нарушить! В то же время, ландзассов перестали приглашать на ландтаги, вопреки старине, отняли у них право выбора и право исправления должностей судейских и по сословному представительству. Несчастные ландзассы естественно сблизились с гражданами и вместе с ними вступили в тяжбу против рыцарей. Начались жаркие споры. По случаю вызова депутатов из Остзейских губерний в Комиссию для составления нового уложения, при Екатерине II, ландзассы протестовали против устранения их от столь важного для них дела, и так как жалоба их дошла до высшего правительства, они выиграли эту первую тяжбу и послали от себя депутатов; но другой, важнейший вопрос – о праве владения имениями, к сожалению для них, решен был на месте, вследствие соглашения между ними и рыцарством, которое утверждено было в 1776 году генерал-губернатором Брауном. Ландзассы требовали, чтобы на принадлежавшие им имения право выкупа не было распространяемо, и чтобы помещики, не записанные в матрикулы, были допускаемы на ландтаги с правом голоса. По первому пункту рыцарство изъявило согласие не тревожить тех ландзассов, которые уже владели имениями, но выговорило себе право выкупа имений, впредь имеющих быть ими приобретенными, в продолжение года, шести недель и трех дней по совершении купчей. По второму пункту, позволено было ландзассам присутствовать на ландтагах, но с правом голоса по одним лишь денежным раскладкам. Эти правила касались одной Лифляндии; в Эстляндии, Курляндии и на острове Эзеле рыцарство пользуется исключительным правом покупать имения и участвовать на ландтагах. К этому должно прибавить следующее обстоятельство: в Остзейском крае польское и шведское правительства владели

множеством казенных имений, перешедших по праву завоевания в собственность русского правительства. Эти имения раздавались в награду военным и гражданским чиновникам, в поместное или арендное владение, даже дарились, большею частью немцам, а иногда и русским; но в 1783 году императрица Екатерина великодушно обратила все поместья в вотчины и таким образом, пожертвовав правами казны, лишила вместе с тем русских дворян последней возможности выслуживать себе имения в Остзейском крае. Правда, что, вслед за тем, она отменила все исключительные привилегии рыцарского сословия и потому могла не опасаться этого последствия, но по восстановлении древних учреждений императором Павлом этот результат, для русских невыгодный, вошел в силу. Итак, искажение первоначального значения матрикул, раздвоение дворянского сословия на рыцарство, или замкнутое общество, и ландзассов, исключительное присвоение первому сословных прав в составе общества, права приобретения имений в Эстляндии и Курляндии, права выкупа имений в Лифляндии – все эти нововведения, во-первых, нарушали несомненные исторические права граждан остзейских и ландзассов, утвержденные русским правительством при заключении аккордных пунктов; во-вторых, оскорбляли господствующую в государстве народность. Все эти нововведения вошли в силу не прежде, как во второй половине XVIII века, без ведома и соизволения верховной законодательной власти, в противность ясно изъявленной воле шведского и русского правительств, без всякой надобности или выгоды для края и вследствие эгоистических происков одного сословия, которому потворствовали иностранцы, стоявшие во главе местного управления. Но все это должно было открыться при составлении Свода узаконений для губерний остзейских; юридическая поверка притязаний дворянства должна была вывести наружу тайную цель его стремлений и средства, им употребленные. Ландзассы и граждане с нетерпением ожидали развязки; вообще об этих вопросах много писали в то время во всех журналах Остзейского края. Но всеобщие ожидания

не сбылись. В Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, в которой делами Остзейского края занимались господа Раден, Сиверс и Бреверн, составлен был доклад, как о матрикулах, так и о праве приобретения имений; доклад этот 20 июня 1841 года поднесен был на Высочайшее утверждение, минуя Государственный Совет; он не был опубликован, но послужил основанием при составлении Свода узаконений для губерний Остзейских. Им были окончательно узаконены все неблагоприобретенные права и произвольные притязания рыцарского сословия.

Теперь сравните положение русских дворян в Остзейских губерниях с положением поляков и шведов в XVI и XVII веках. При польском и шведском владычестве дворянское общество остзейское, несмотря на его просьбы, не было принято в состав ни польского, ни шведского дворянского сословия; но дворяне польские и шведские, как таковые, пользовались всеми правами своего сословия в Остзейском крае; а остзейских дворян, в виде награды, жаловали и производили в дворян польских и шведских. Теперь наоборот: лифляндцы, эстляндцы и курляндцы, записанные в своих матрикулах, пользуются во всей России правами своего сословия наравне с русскими, а русские дворяне, чтобы воспользоваться ими в Остзейских губерниях, должны подвергнуться безотчетной баллотировке членов тамошнего рыцарства, чему-то вроде испытания, для решения вопроса: есть ли в них хоть малая доля рыцарского духа и не осквернится ли их присутствием благошляхетное общество? Иными словами: остзейское рыцарство, в общем составе русского дворянства, составляет как бы аристократию, занимающую высшую степень; русских дворян жалуют в остзейских рыцарей в награду за подвиги или по другим соображениям. Так недавно лифляндцы предлагали дипломы князю Паскевичу и графу Орлову, а в прошлом году министру внутренних дел Перовскому и графу Протасову, которых имена в здешнем крае преданы проклятию. Я рад, что могу присовокупить, что все четверо отклонили от себя эту великую честь.

Польское правительство всеми средствами вводило поляков в дворянство лифляндское, раздавая им поместья, даря им вотчины, определяя их к должностям; то же делало шведское со своими коренными подданными; русское правительство узаконило меры, принятые для того, чтобы предупредить водворение русских в Остзейском крае.

Сообразно ли это, не говорю уже с достоинством господствующего племени, но с правилами холодного беспристрастия и той высокой терпимости, которою по праву во всех других отношениях может гордиться наше правительство? – Я не думаю. Точно ли хотело правительство унизить русских в уголке земли, купленном их кровью? – Несомненно, что нет. Но как же это сделалось, если на то не было его воли? – Очень просто. Польское правительство в Остзейском крае действовало через поляков: Радзивилла, Хоткевича, Сапегу; шведское – через шведов: Горна, Гавстера, Оксенштирна; русское – через господ: Левенвольда, Лесси, Брауна, Паулуччи, Палена.

Итак, Остзейцам посчастливилось; они огородились, окопались со всех сторон, очистили себе весь край в свое исключительное пользование; но неожиданный успех и неожиданное отсутствие сопротивления внушили им новые замыслы. Не далее как в прошлом году несколько курляндских дворян, купивших имения в смежном с Курляндиею уезде Ковенской губернии, разочли, что не худо бы было присоединить весь этот угол земли к Курляндии и подвести его под одно с нею управление, то есть отдать его в полное распоряжение рыцарства. Для приведения этого проекта в исполнение они собрались, переговорили и решили сделать складчину на неизбежные расходы, сочинить просьбу и отправить с нею депутата в Петербург. Но тут возникал вопрос: между имениями курляндских рыцарей в Ковенской губернии находились имения нескольких русских помещиков и нематрикулированных дворян. Выделить их по свойству местности, видно, не было никакой возможности. Что же было делать с владельцами этих имений? Предложить им записаться в ма-

трикулы и войти в состав курляндского дворянского общества со всеми правами, ему присвоенными? Казалось бы так, но рыцари придумали другое. В протоколе, составленном ими, они решили испросить у правительства, чтобы нематрикулированные помещики, войдя со своими имениями в состав Курляндии, владели ими на праве мещанском, а не дворянском*.

Вникните в это дело. Русский помещик, дворянин спокойно владеет имением в Ковенской губернии и пользуется всеми правами своими как дворянин и как помещик: участвует в дворянских собраниях с правом голоса, избирает в должности, сам может быть избран и т. д. Но на его беду, по соседству с ним поселяются курляндские рыцари; они предъявляют притязание на весь уезд и просят о присоединении его к Курляндии. Но дабы не распространять на русского дворянина прав, предоставленных курляндскому рыцарству, они хотят из помещика-дворянина разжаловать его в помещика-мещанина, иными словами, лишить его прав состояния в составе общества, предоставляя себе со временем выкупить у него имение и мало-помалу всю присоединенную часть Ковенской губернии очистить от дворян, не принятых в общество рыцарей. Этот замечательный протокол у меня перед глазами. Просьба была написана и депутат повез ее в Петербург; но в ней, разумеется, не упомянули об этом тайном замысле, а выставили, для склонения правительства, филантропическую цель даровать крестьянам свободу на манер остзейских, т. е. лишить их права на землю и заменить общинное устройство мызным хозяйством. Не знаю, чем это дело кончится: но в этом случае успех или неуспех – дело второстепенное, а главное: неслыханная дерзость самой просьбы. В ней есть над

* Вот подлинные слова этого протокола: **Die von Indigenis (т.е. членов курляндского рыцарства)** besessenen Güter sollen, wenn sie zu Kurland zugetheilt werden, die Natur der in Kurland bestehendeu Indigenats-Güter erhalten, während die **von nicht Indigenis besessenen Güter (т. е. простых дворян) so lange bürger**liche Lehnen bleiben bis sie durch Indigenats-Verwaltung, Kauf oder Erbschaft in die Gründe der Indigenis kommen, von wann ab sie denn fur immer den Character der Indigenats-Güter erhalten[1] *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

чем призадуматься. До сих пор мы думали и нас уверяли, что привилегии Остзейского края были принадлежностью местности и оправдывались как результаты особенностей ее исторического развития: но теперь предлагают распространить их на Ковенскую губернию, которая, сколько нам известно, не входила в состав завоеванных немцами земель, не зависела никогда ни от ордена, ни от императора немецкого, не заимствовала законов из римского права и ганзейских постановлений, наконец, не исповедует протестантской веры. Значит, мы ошибались: привилегии, по мнению рыцарей, принадлежат не *местности,* а остзейскому *племени,* переносящему с собою свои преимущества всюду, куда ступит нога его. Оно заняло нынче край Ковенской губернии и обращает его в уезд Курляндии; завтра займет клочок Псковской и введет его в Лифляндию. Одним словом, оно мало-помалу будет подвигаться вперед, вытесняя коренных жителей, и где только оно столкнется с русскими, русские не только не приобретут от него новых прав, но потеряют свои. И это могли задумать, и это надеялись исполнить при помощи правительства в 1847 году в управление генерала Головина, в эпоху угнетения немецкой национальности, гонения на протестантство, покушений на привилегии, в то время *мрака* и *скорби,* как выразились сами курляндцы в куплетах, которые князь Суворов позволил им пропеть себе на официальном обеде! Слышите: эта просьба задумана угнетенным племенем! Так что ж бродило в уме его в прежнее время, и наконец, чего мы должны ожидать теперь?

Перейдем к среднему сословию. Положение русских городских обывателей, купцов, цеховых и мещан еще более заслуживает внимания, чем положение дворян. Лишенный сословных прав в составе общества в Балтийских губерниях, каждый дворянин русский может воспользоваться ими где захочет, в любой русской губернии; но, по верному замечанию одного из чиновников, служивших при генерале Головине, положение городского обывателя вовсе не таково. Будучи приписан к одному какому бы то ни было городу, он не может

в то же время быть гражданином в другом, и следовательно, он теряет безусловно те права, в которых ему отказывают на месте его жительства и приписки. Чтобы понять, чего именно лишены русские и чего они домогаются без малого пятьдесят лет, нужно составить себе ясное понятие об устройстве остзейских городов, почти одинаковом в Ревеле, Риге, Дерпте, Аренсбурге, и потому я постараюсь изобразить его в главных чертах, в том виде, в каком оно существовало на основании законов, до присоединения всего края к России, и существует теперь с некоторыми лишь изменениями. Для примера я избираю Ригу, во-первых, потому, что ее устройство служило образцом для других городов; во-вторых, потому, что здесь главное поприще борьбы с русскими.

Немецкий город вообще, как вам известно, имеет значение не столько правительственного средоточия более или менее обширной области, сколько местности, совершенно отрешенной от земства, изъятой от подчиненности земским властям и занятой особенным классом людей, презирающим простой народ и враждующим с дворянством. У нас городское общество составляется из лиц различных званий, связанных между собою интересами занимаемой ими местности. Там, напротив, городское общество составляет замкнутое сословие, почитающее себя чем-то сосредоточенным в себе самом, одним словом, юридическою личностью, резко определенною и состоящею в слабой зависимости от представителей верховной власти.

Каждое такое общество в себе заключает граждан и простых обывателей, или, как их называют доселе, приживальцев, Beisassen, Beiwohner. Первые, т. е. граждане, почитают себя в городе полными хозяевами, смотрят на самый город как бы на свой дом, на недвижимую городскую собственность как на свою частную, на городские промыслы и источники доходов как на свое кормление. Они образуют отдельное общество, пользующееся правом суда и самоуправления в пределах более или менее широких, не считают себя обязанными отдавать кому бы то ни было отчетов в распоря-

жении своими доходами или принимать в свой круг новых членов, иначе как по своему усмотрению и на тех условиях, какие им вздумается предписать. Теперь в этих двух статьях правительство ограничило самостоятельность рижской городской общины, заменив произвол ее твердыми правилами; но эти меры были следствием внешней необходимости и частых жалоб; они были придуманы правительством и введены его властью, но отнюдь не служат признаком свободного развития в понятиях городского общества о его значении и отношениях к государству.

Простые обыватели безусловно подчинены гражданам; они не имеют самостоятельной организации, не образуют общества, не принимают никакого участия ни в управлении, ни в судопроизводстве, ни даже в делах, относящихся исключительно до них, например в раскладке податей и повинностей, но обязаны покоряться обществу граждан; как класс терпимый, но ничем юридически не обеспеченный, они пользуются только теми правами, которые пожалованы им гражданами.

Общество граждан подразделяется на три сословия: магистратское, или начальствующее; купеческое, или торговую гильдию, и ремесленное, или гильдию цеховых мастеров. Магистрат заведует судом и управлением, в этом заключается его сословная принадлежность, его кормление. Кормление первой или большой гильдии, ей исключительно присвоенное, состоит в торговле; кормление ремесленной или малой – в исключительном праве заниматься ремеслами, из коих каждое составляет также исключительное достояние отдельного цеха. Магистрат состоит из бургомистров и ратсгеров, заседающих в различных присутственных местах, судебных и административных. Большая и малая гильдии делятся на три степени: простых членов гильдии, братьев и старшин. По части промыслов они пользуются равными правами; но права в составе общества и степень участия их в управлении различны. Простые члены приглашаются в гильдейские собрания, подают голоса в совещаниях о делах общественных и при выборах членов братства в различные должности; но сами

выбираемы быть не могут. Братья составляют замкнутое общество, теснейший союз в самой гильдии; пользуясь всеми правами простых членов, они, кроме того, присваивают себе исключительные права на занятие различных должностей по управлению, на доходные места, коими располагает гильдия (весовщиков, мерильщиков, маклеров и т. д.) и на получение, в случае нужды, денежных пособий из благотворительных касс. Старшины составляют как бы совет мудрейших, постоянное представительство гильдии, имеющее исключительное право на высшие должности по управлению; из них члены каждой гильдии по большинству голосов избирают гильдейского старосту или ельтермана.

Организация цехов, заключающих в себе также три степени: учеников, подмастерьев и мастеров, сходна с нашими учреждениями по этой части, которые заимствованы у немецких городов, с тою разницею, что в Риге одни мастера принадлежат к обществу граждан и пользуются сословными правами.

Как прием в городское общество или сообщение права гражданства, так и вступление в одну из гильдий и, наконец, повышение в степенях до последнего десятилетия всегда производились по выборам, или точнее: с согласия самих обществ. Никто не входил по праву, и всякому можно было отказать, не отдавая в том никому отчета; но при этом соблюдались непременные условия, без которых нельзя было и претендовать на прием.

Право гражданства сообщал магистрат лицам законнорожденным, немцам и протестантам, за исключением всех других национальностей и вероисповеданий. Принятие в гильдию зависело от них самих; но при этом требовалось, кроме приобретения права гражданства и, следовательно, трех уже исчисленных условий, доказательство изучения торговли – для вступления в большую гильдию, и получения степени мастера –для вступления в малую; для повышения в братство, сверх всего этого, необходимо было изъявить готовность нести безвозмездно всякого рода общественные

службы, получить свидетельство о безукоризненной нравственности, по единогласному приговору всех членов братства, и внести определенную сумму денег в пользу благотворительных учреждений. Старшины доселе сами замещают открывающиеся между ними ваканции из числа кандидатов, представляемых братством. Наконец, высшее или магистратское сословие пользуется так же правом самоизбрания из числа старшин большой гильдии и ученых канцелярских чиновников.

Кроме этих общих условий, существовали и держатся доселе еще особенные для ремесленников; так, чтобы сделаться мастером, то есть получить право открыть мастерскую, принимать заказы и работать на собственный свой счет, нужно было сперва обучиться ремеслу у мастера, потом прослужить определенное время подмастерьем, затем несколько лет странствовать, по возвращении выдержать испытание, сделать управный урок, угостить всех мастеров, внести денежную сумму (по некоторым цеховым уставам очень значительную), наконец, иногда необходимо было жениться на дочери или вдове цехового мастера.

Вот ряд законных условий; но само собою разумеется, что право безотчетного отказа, принадлежавшее каждому цеху, братству, каждой гильдии и, наконец, магистрату, давало возможность предписывать и другие, еще более стеснительные.

По всему этому вы можете судить, какими искусственными преградами было стеснено развитие городских промыслов и общественной жизни, как безусловно зависело каждое лицо от произвола различных сословий и обществ, наконец, как незавидна была участь простых обывателей финского происхождения и вообще тех, которые по роду, вероисповеданию или по недостатку денежных средств, не будучи в состоянии удовлетворить всем исчисленным условиям и прихотям, навсегда лишены были возможности вступить в общество граждан, то есть кормиться трудами рук своих. Жестокая исключительность привилегированных корпораций доходила в отношении к ним до последних край-

ностей. Крепостные люди были счастливее, потому что помещики щадили их и даже содействовали в известной мере развитию их благосостояния, по ясному расчету, если не по бескорыстному побуждению, тогда как граждане боялись соперничества обывателей в деле торговли и ремесел, а потому держали их умышленно в нищете и под систематическим угнетением. Таково было устройство города Риги в то время, как он сдался фельдмаршалу Шереметеву; почти таково оно и теперь на деле.

Положение, которое занимали в нем русские, изменялось несколько раз. От присоединения Остзейского края к России до введения общего Городового Положения в 1784 году русские находились вне общества граждан, но пользовались особенным покровительством верховной власти; со введения Городового Положения они вошли в состав городского общества, и так как через это они были уравнены во всех отношениях с немцами, то правительство перестало заботиться об их участи; но по восстановлении прежнего муниципального устройства в 1797 году императором Павлом они утратили права, приобретенные ими в составе городского общества и, уже не пользуясь как прежде защитою правительства, подверглись гонению в полном смысле этого слова. И здесь тоже попятное движение! Но вы не обязаны верить мне на слово, и потому я приведу вам факты.

В аккордных пунктах было сказано: «По занятии города, каждому позволено будет, по желанию, обеспечить свое пропитание и заняться промыслом», а в Ништатском трактате: «В Остзейских областях вера греческого исповедания впредь також свободно и без всякого помешательства отправляема быть может и имеет». Этими статьями в двух существенных отношениях обеспечено было положение русских в новозавоеванном крае. В именном указе 1728 года сказано: «В лавках российским людям всякими товары торговать, объявляя и записывая в портории с платежом пошлин, такожде с мест, на которых домы и лавки имеют, платить им поземельные и прочие деньги с рижскими мещанами в равенстве; точию с

тех российских торговых людей, противу тамошних рижских жителей, никаких излишних податей не брать и отягощения им не чинить». Кажется, что по тону этого указа можно заключить, что поводом к изданию его были жалобы со стороны русских. Для ограждения их от всяких притеснений, издан был в 1729 году другой важный указ, следующего содержания: «Российским купецким и прочим торговым людям, как в пошлинном платеже, так судом и расправою в купецких делах, быть *по-прежнему* в ведомстве обер-инспектора Ильи Исаева; и когда кто из них в таких делах взяты или приведены будут на гауптвахту, тех отсылать к нему ж, а в губернской канцелярии ни по каким истцовым делам не ведать».

Из слов *по-прежнему* видно, что тогда восстановлен был порядок, учрежденный, вероятно, Петром I, который высоко ценил этого Исаева. При основании главного магистрата в Петербурге, или центрального управления и вместе судебной инстанции для всех людей среднего сословия, император назначил его товарищем президента; впоследствии Исаев является в Риге лицом, непосредственно подчиненным Сенату и коллегиям, в должности главного надзирателя за казенным управлением и президента рижского магистрата, который без его разрешения не мог употреблять городских сумм на чрезвычайные расходы. Таким образом, русские под защитою лица, занимавшего важное место и своего однородца, завися непосредственно от него, составляли в Риге как бы отдельное общество. Такое положение, разумеется, разъединяло их с немцами и придавало последним значение самостоятельной партии; в этом заключалась его невыгода. Но, с другой стороны, справедливость требовала особенного попечения об участи слабейших, преследуемых многочисленными недоброжелателями, и эта цель была достигнута. Расположение немцев к русским уже в то время не было тайною. В 1716 году ельтерман большой гильдии читал всему собранию следующее наставление: «Когда кто из приближенных к Его Царскому Величеству (Петру I) особ заходит в дом к гражданину,

его должно встречать со всевозможною учтивостью; не мешает даже подносить стакан вина или водки, так как до сведения Государя *уже* дошло, что рижские обыватели не оказывают никакой ласки его служилым людям». В 1739 году, генерал-губернатор князь Репнин ходатайствовал у рижского магистрата о разрешении русским покупать в городе дома и пустые места, но ему отказали. Это право русские получили только при Екатерине II, благодаря ходатайству тогдашнего генерал-прокурора князя Вяземского.

В 1742 году, большая гильдия требовала, чтобы русских, расположившихся у городских ворот с товарами, прогнали оттуда (weggetrieben werden möchten).

В указе 1761 года мы читаем: «Торгующие в новозавоеванных (Остзейских) городах российские купцы пользуются только тем правом, которое им от шведских королей дано, и то с великою противу тамошних мещан (т. е. граждан), отменою; а как все оные едино суть Ея Императорского Величества верноподданные, потому комиссия (занимавшаяся составлением нового уложения) рассуждает, что и российским купцам, временно в новозавоеванных городах торгующим, особые пред прежними вольности, а паче кто в купечество тамошнее записаться пожелает, тем совсем равное с мещанами преимущество дать следует».

Вот что предполагалось, а знаете ли когда воспоследовало исполнение? – Через 80 лет! В 1763 году назначена была комиссия для приискания средств к поднятию упавшей в Риге торговли, и так как это дело в высшей степени интересовало русских купцов, то Екатерина II сама от себя велела назначить им в ту комиссию двух депутатов; но здесь, в первый раз, губернское начальство обнаружило официально намерение устранить русских. Граф Браун вошел в Сенат с докладом, в котором доказывал, что русским вовсе не следовало участвовать в той комиссии, потому что они о важности рижского торга с иностранцами вовсе не имеют понятия; почему-де если их определить в присутствие, то не иное что

произойдет, как излишнее затруднение и в настоящем деле медление». А между тем, в то время русские уже успели выстроить в Риге 65 амбаров для склада товаров и новый гостиный двор; они же, которых генерал-губернатор выставлял какими-то неучами, так хорошо понимали важность рижского торга с иностранцами, что едва дошел до них слух о назначении комиссии, как они немедленно и из разных городов прислали в Сенат по почте просьбы о допущении в нее избранных ими депутатов. Но их не допустили. И все-таки это время было золотое, в сравнении с тем, которое наступило после. Многого оставалось желать, но, по крайней мере, правительство не теряло из виду русских, часто заступалось за них, а главное: не сомневалось в том, что немцы были к ним худо расположены.

В 1784 г. императрица Екатерина II отменила древнее рижское муниципальное устройство и повелела ввести Городовое Положение. Я не стану исчислять вам причин, побудивших ее к этой мере, по-видимому, крутой, в сущности же необходимой и оправданной последствиями; но я хотел бы показать вам, как смотрели на нее в то время рижане. Закоренелые предубеждения не позволяли им признать обветшалости их учреждений и действительной необходимости преобразования; они видели в нем проявление слепого пристрастия императрицы Екатерины II к ее учреждениям и следствие низкой зависти, которую будто бы питали окружавшее ее русские к преимуществам и к умственному превосходству немцев. Но всего более раздражало рижан то обстоятельство, что преобразование исходило от нас, что русские позволили себе найти недостатки в немецких учреждениях, дерзнули признать себя способными заменить их лучшими, и, как казалось, решились мыслить и действовать самостоятельно, не испрашивая наставление у бывших своих учителей. С тех пор, как известно, мы покаялись и, кажется, искупили эту единственную нашу вину. Послушайте только, как рассуждал об этом некто Нейендаль, член законодательной комиссии, незадолго перед тем учрежденной: «все возможное

было сделано, чтоб отклонить готовившееся преобразование, но ничто не помогло: ни брошюра о муниципальном устройстве города Риги, писанная одним из членов магистрата, поданная императору австрийскому при его проезде через Ригу и прочтенная Екатериною II, ни другие средства, употребленные под рукою (читай: подкупы), ни старания генерал-губернатора Брауна, в продолжение нескольких лет внушавшего императрице мысли, которые, по-видимому, должны бы были отклонить ее от принятого ею намерения. Ее самолюбию льстила надежда увидеть осуществление ее изобретения (ihr Kunstwerk) в ее немецких областях; к тому же, может быть, она боялась оскорбить свой народ допущением изъятия из общей меры в пользу одной Лифляндии». В то время могло казаться естественным, что подобная боязнь принималась в соображение; а в прошлом году курляндцы надеялись, что, по их просьбе, нескольких русских помещиков разжалуют из дворян в мещан. В 63 года какая перемена!.. Продолжаю выписку: «Льстецы называли произведение императрицы Екатерины II (т. е. Городовое Положение) мастерским, а тогдашний генерал-прокурор, князь Вяземский, к несчастию много значивший, при этом враг всех немцев и в особенности лифляндцев, употребил все усилия, чтобы ускорить преобразование и поставить на одну ногу с нами своих русских (seine Russen). Головы последних были в то время так темны, что они не могли понять и того, что им следовало не завидовать превосходству лифляндцев, но всячески стараться уподобиться им. Многие, однако ж, в самой Риге мечтали о возможности согласить старое с новым и сделать из этого что-нибудь сносное; охотники до рангов и чинов и их жены радовались предстоявшим выборам; а в то же время случайное благосостояние, возвышенный образ мыслей, отличные дарования, а может быть, и надменность нескольких членов магистрата в русских возбуждали зависть и жажду мести, а в немцах страсть к общественным должностям. Но достойнейшие из числа последних желали сохранения древнего нашего устройства. Некоторые советовали даже

подкупить врага города Риги (князя Вяземского) – он был доступен подкупам – и чрез него отклонить преобразование; но истощение городской казны не позволило бы употребить это средство, если бы даже и не постыдились к нему прибегнуть». Как мало стыдились прибегать к нему, обнаруживает беспрерывный ряд документально доказанных подкупов от 1582-го до 1840-х годов; истощение городской казны доказывает только худое управление и оправдывает преобразование Екатерины II, а клевета, распущенная на князя Вяземского, бессильна повредить памяти достойного человека и обращается в позор изобретателям ее.

Князя Вяземского и теперь поминают с глубокою благодарностью русские, живущее в Риге: он не только не был врагом Лифляндии, но, как доказывают его письма, хранящиеся в архиве рижского генерал-губернатора, он, напротив, предостерегал графа Брауна и рижский магистрат от разных промахов по службе, за которые они получали от Сената выговоры. Но князь Вяземский не гонялся за продажною популярностью; будучи русским, не по имени только, а по душе, он не пренебрегал своими однородцами низшего звания, не предпочитал им образованных лифляндцев, и этим он действительно разнился от графа Брауна и многих других.

Хотелось бы мне сообщить вам еще несколько выписок из записок Нейендаля: его жалобы на допущение в состав общества граждан всякой сволочи, особенно русских, которых он обыкновенно называет sans-culottes, на определение русских чиновников или, по его выраженью, сатрапов, на введение преподавания русского языка в городских училищах – предмета, по его мнению, бесполезного, на новое устройство полиции, по его суждению, вредное, потому что полицейским чиновникам велено было обходиться снисходительно с русскими, и т. д.; но все это повело бы нас слишком далеко.

Довольно того, что, несмотря на жалобы и интриги, Городовое Учреждение было введено в 1783 и окончательно в 1785. С этого времени положение русских изменилось. До тех пор их участие в городской жизни ограничивалось произ-

водством промыслов: теперь, они вошли в состав городского общества, были подчинены городскому начальству и вместе с тем допущены, наравне с немцами, к участию в выборах и в управлении общественными делами. Этому в особенности содействовал тогдашний губернатор Беклешов, один из замечательнейших людей, действовавших в Остзейском крае, и основатель первого русского училища в Риге – Екатерининского. Благодетельные последствия новой формы управления обнаружились очень скоро. Они доказаны документально. Стараниями Беклешова значительная часть городских долгов была уплачена, а Дума накопила в городской кассе запасную сумму; торговля поднялась, народонаселение умножилось, учреждено было несколько благотворительных заведений и школ; жестокое обращение с крепостными людьми, благодаря строгому надзору Беклешова, прекратилось; наконец, обнаружилось явление, дотоле невиданное в Лифляндии: дворянство и горожане жили в ладу и согласии. Обо всем этом свидетельствует Нейендаль, заклятый враг Городового Положения. Но развитие, так успешно начавшееся, было внезапно пресечено через 12 лет императором Павлом, немедленно по вступлении его на престол. Причины, заставившие его поступить таким образом, от нас закрыты; можно догадываться, что до него доходили только жалобы привилегированных сословий, действительно подававшие повод думать, что Остзейский край угнетен; как бы то ни было, несомненно то, что указ 28 ноября 1796 года был выражением великодушного намерения ознаменовать начало нового царствования прекращением жалоб и высокою милостью. Мы увидим, как бесстыдно искажена была мысль Государя. В означенном указе повелено: «Магистратам по городам остаться на прежнем и правам их сообразном основании, а губернским магистратам, також верхним и нижним расправам не быть». Руководствуясь точным смыслом этих слов, следовало восстановить магистрат, то есть высшее сословие и присутственные места – и более ничего; но это не давало права восстановлять большую и малую гильдии с их братствами, цехи с их привилегиями,

средневековые постановления против незаконнорожденных, против латышей, католиков, православных, тем менее лишать простых обывателей дарованных им прав: добывать трудом насущный хлеб, решать свои общественные дела и в лице своих представителей участвовать в городском управлении; ибо верховная власть, оказывая милость магистрату, вовсе не имела намерения казнить другие сословия. Не менее того, так вышло на деле; указ императора Павла был так удачно перетолкован, или лучше им воспользовались так недобросовестно, что древнее муниципальное устройство г. Риги было восстановлено во всей его полноте и во всех мелочах в том самом виде, в каком я изложил его выше. Вникните в эту проделку; она заслуживает внимания, ибо последствия ее продолжаются доселе. Простые обыватели, не граждане, как я уже сказал, до введения Городового Положения, не имели никакого значения в составе городского общества. При Екатерине II, правительство обложило их двумя повинностями: рекрутскою и подушною, и тем самым даровало им правомерное сословное существование; ибо с обязанностью исправлять государственные повинности сопряжены были все права личные и сословные, присвоенные по Городовому Положению мещанам и ремесленникам. Они действительно пользовались ими в продолжение двенадцати лет, но по восстановлении древнего муниципального учреждения эти вновь приобретенные ими права были у них отняты, а вновь наложенные на них тягости были оставлены. Так-то почувствовали они милость, оказанную верховною властью высшим сословиям. Не забывайте при этом, что в этих сословиях преобладают немцы, а значительное большинство мещан составляют русские. Итак, великодушное намерение императора Павла в руках немцев обратилось в угнетательное орудие против русских. Несколько позднее, дворянство воспользовалось таким же намерением императора Александра – даровать свободу крестьянам, чтобы под предлогом оказанного благодеяния лишить их лучших земель и из домохозяев обратить их в батраков. Обе эти проделки стоят одна другой.

Вообще, с появлением указа 28 ноября 1796 г. ненависть к русским, бессильная в продолжение 12 лет, разыгралась на просторе и с удвоенною силою. Их положение действительно стало нестерпимо: им начали всячески затруднять вступление в купеческую гильдию; в братства и в цехи их вовсе не принимали, так что они лишились в одно время всякого участия в управлении сословном и городском, в производстве промыслов, предоставленных исключительно привилегированным корпорациям, права на получение доходных мест и пособий из благотворительных учреждений: все это потому, что по силе привилегий необходимо быть немцем и протестантом, чтобы заседать в суде или управлении, исправлять должность, шить сапоги, или ставить печи, и подать милостыню православному было бы противно началам протестантской благотворительности. Но независимо от притеснений, находивших предлоги в местных законах, русские подверглись оскорблениям, не имевшим ни тени законности. Так, например, в марте 1802 года, все члены большой гильдии были созваны для выбора ельтермана и представления кандидатов на степень старшин. Русские, приглашенные наравне с другими членами, явились в собрание; но товарищ ельтермана, или докман, объявил им, что, не будучи братьями, они не могут участвовать в выборах (что было совершенно противно уставу большой гильдии), а тогдашний губернатор Рихтер, явившись в собрание, без всякого на то права прогнал русских из залы. Далее вы увидите, что это не единственный случай в этом роде. Екатерининское училище сгорело, и с тех пор русские, составляющие более трети всего городского населения, не могли добиться учреждения нового. Православное духовенство не получает ни гроша из городских сумм, и, когда в прошлом году в комитете, составленном из представителей городских сословий, комиссия, ревизовавшая рижское хозяйство, предложила назначить ему жалованье, большинство членов признало это совершенно излишним; между тем с русских взимаются денежные сборы в капитал, назначенный для протестантского духовенства (известный под названием Kirchenordnung), за приобретение

права гражданства, за некоторые судебные публикации, за каждое совершаемое духовное завещание и т. п.; а магистрат оправдывает это тем, что законы, на которых упомянутые сборы основаны, изданы до присоединения города к России, и что в них изъятия в пользу православных не полагается. Каково объяснение!

Страшная бедность и сопряженный с нею разврат стали почти неизбежным уделом большинства русского населения, и к этому присоединился соблазн, которому подвергались православные при виде лучшей участи раскольников и особенного покровительства, которым они пользовались у местных властей. Вот в какое положение приведены были русские, и им же немцы обращают его в укор и насмешки. Между тем, вскоре по восстановлении древнего общественного устройства города Риги, образовалась против него сильная партия; обветшалость и несообразность его с господствовавшими понятиями и верно понятыми интересами самого города поражали сильнее и казались оскорбительнее по испытании лучшего порядка в последнее двенадцатилетие царствования Екатерины II. Эта партия, кроме русских, заключала в себе почти все рижское купечество; а на противной стороне были магистратские члены и цеховые мастера. В 1802 году граждане собирались два раза для решения вопроса о том, просить ли об оставлении древнего муниципального устройства или о введении вновь Городового Положения; в первый раз, 17 февраля, из членов большой гильдии 185 подали голос в пользу последнего, и только 78 в пользу первого; а во второй, 15 декабря, из 153 членов, только двое изъявили желание сохранить древнее устройство. Кажется, можно было признать достаточным это двукратное изъявление общественного мнения; однако правительство хотело сделать еще один опыт, и в 1803 году повелено вновь созвать граждан и потребовать от них решительного ответа.

В промежутке времени между вторым и третьим собранием прошло два года, в продолжение которых магистрат мог свободно интриговать и вербовать союзников между под-

чиненными сословиями, вследствие чего при счете голосов оказалось: в купеческом сословии, как и прежде, большинство в пользу Городового Положения, а в общей сложности, магистрат и цехи перетянули 332 голосами. Но вот что важно: ландрат Сиверс, которому поручено было иметь наблюдение за этим делом, донес, «что при баллотировке вкрались разные злоупотребления и, между прочим, что мещане вовсе не были допущены в собрание, хотя они имели полное на то право», а русские в поданной ими жалобе писали следующее: «Русские купцы и мещане (в числе коих в Риге одних плативших подать с капиталов состояло около 400 человек) не были допущены к подаче голосов; они приносили о том ландрату Сиверсу жалобу, которая, впрочем, уважена им не была; а между тем, противная сторона употребила даже насилие, чрез умышленное задержание под стражею тех из русских, которые домогались участия в собрании, чему пример был с купцом Абросимовым, который, накануне собрания, в полночь, был арестован в доме своем квартальными комиссарами, от имени гражданского губернатора Рихтера, по одному только подозрению, яко бы у него в конторе хранились изготовленные русскими просьбы». Со своей стороны, тогдашний генерал-губернатор князь Голицын, в отношеннии графу Кочубею, ясно выводил, что в основании пристрастия к древним учреждениям лежали одни своекорыстные расчеты и оканчивал словами: «Как для общественной пользы города, так и для спокойствия и тишины введение Городового Положения необходимо». Но правительство ему не поверило и по Высочайшему повелению, 21 марта 1803 года, велено было, согласно с просьбою о том магистрата, учредить в Риге комитет, которому поручено было «рассмотреть в подробности существовавшее постановление города Риги и, заметив все, что в нем с пользами города несогласно, назначить нужные перемены и исправления и представить их на Высочайшее усмотрение». В этот комитет позволено было назначить от себя депутатов только трем привилегированным сословиям: магистрату, братству и старшинам большой гильдии и цеховым мастерам малой;

а мещане, нецеховые ремесленники и все вообще русские, т. е. все угнетенные и ожидавшие от правительства помощи, были устранены. Князь Голицын опять обратился к графу Кочубею, изъясняя ему, «что он не ручается за то, выполнит ли комитет благодетельную цель монарха и в состоянии ли рижские купцы и ремесленники составить что-либо подобное Общему Губернскому Учреждению и Городскому Положению; что члены комитета, состоя под влиянием магистрата, хотя б и очистили свое старое учреждение, но не упустят притом оставить свое самодержавие и будут душить своих сограждан по-прежнему; что неустройства и беспорядки в Риге, по его убеждению, продолжаться будут до того времени, пока там не будет введено Городовое Положение, ибо вообще владычество ландратов и магистратов слишком было тягостно для всех жителей края» – все это подлинные слова. Узнав о назначении комитета, русские подали всеподданнейшие просьбы, в которых умоляли о дозволении им назначить в него депутатов; но мнение генерал-губернатора уважено не было, а русским отказали, объявив им, впрочем, от имени Государя, что они должны быть совершенно спокойны в рассуждении выгод и прав своих, кои, по рассмотрении в С.-Петербурге трудов комитета, не останутся без надлежащего уважения и, конечно, охранены будут во всем их пространстве.

Комитет занимался возложенным на него поручением два года и в 1805 году повез свою работу в Петербург. Вот отрывок из нее, по которому вы можете судить о целом: «Комитет считает себя обязанным изъяснить, что, по его убеждению, все основные положения и главные черты древнего учреждения города Риги благодетельны и вполне достигают своих целей; что им город обязан цветущим состоянием своим и доброю славою в России и за границею; что они столь же превосходны для настоящего времени, сколь были сообразны с потребностями прошедшего; что применение их не представляет никаких затруднений; что содержащиеся в них постановления ограждают сии учреждения не только от злоупотреблений, но и от самовольного нарушения их, как со

стороны начальства, так и от управлений городского общества, и потому комитет не признает надобности допускать какие-либо в сих учреждениях перемены». Однако же в числе немногих предположенных им нововведений, заключалось одно довольно важное, а именно: «по оказавшейся необходимости устранить от участия в сословном управлении членов гильдии, не имевших достаточного образования и веса в обществе, впредь допускать в гильдейские собрания тех только членов, которые имели недвижимую собственность в стенах города». Чтобы понять цель этой статьи, вы должны знать, что почти все русские живут в форштатах и едва ли наберется их десяток, которые имели бы в стенах города собственные дома; так что, одобрив эту статью, правительство бессознательно лишило бы русских последнего их права в составе общества: выдумка, как видите, была не дурна.

Для рассмотрения предположений рижского комитета назначен был в Петербурге другой комитет. Заключение его, Высочайше утвержденное 8 июня 1805 г., состояло в том, чтобы дело о преобразовании рижского муниципального устройства отложить до тех пор, пока существовавшая в то время Комиссия законов приступит к составлению общего положения о городах; «между тем, присланных от города депутатов отпустить, обнадежив их, что желания и нужды города Риги приняты будут в уважение; до окончательного же рассмотрения оных, древние городские установления сохранены будут без всякой отмены». Едва выехали из Петербурга торжествующие депутаты, как обнаружилось, что они для подкрепления своих просьб привезли с собою значительные суммы, взятые из городской казны, которыми подкупали в канцеляриях коронных чиновников; за это по Высочайшему повелению генерал-губернатор сделал городским депутатам строжайший выговор, но это, разумеется, нисколько не изменило сущности дела. Итак, труды обоих комитетов не привели ровно ни к чему. Вот как исполнено было торжественное обещание, данное русским!

В начале нынешнего царствования они снова подали правительству несколько просьб, следовавших почти беспрерыв-

но одна за другою от 1820-х до 1840-х годов; по ним, а также по объяснениям магистрата рижского можно следить за ходом этой многосложной тяжбы.

Рассмотрим сперва просьбы купцов. Я уже сказал, что их в качестве русских и православных не принимали в братство большой гильдии, а по городским законам (повторяю еще раз, для большей ясности) кто не брат, тот не может быть избран ни в какую должность, не может принимать никакого прямого участия в управлении, не имеет права на получение доходных мест маклеров, браковщиков и т. д., ни денежные вспомоществования из благотворительных касс; наконец, в общих собраниях всей гильдии члены, в братство не принятые, сколько бы их ни было, имели один общий голос, равный голосу одного брата. Итак, первое прошение русских заключалось в том, чтобы их приняли в братство и «чтобы вообще права и привилегии, дарованные всем без исключения гражданам города Риги, были в той же степени распространены и на них». Кажется, это было довольно скромно.

В ответах своих магистрат определял братство следующим образом: «Оно есть теснейший союз членов гильдии, обязавшихся содействовать всеми силами благу города и своего сословия и, на сей конец, усердно и безвозмездно нести всякие общественные службы и тягости, особенно же по управлению благотворительными заведениями». Это определение вошло в Свод Законов; но не ясно ли, что оно не выражает значения учреждения, выставляя одни обязанности и умалчивая о выгодах, и что оно придумано с очевидною целью обмануть правительство, уверив его, что звание брата более обременительно, чем прибыльно? И правительство поддалось обману. Таким образом, самый предмет спора предстал в ложном, умышленно искаженном виде. Далее, писал магистрат, «братства суть благотворительные учреждения, основанные протестантами и для протестантов». Но это, во-первых, была ложь, потому что самый значительный из капиталов братства, известный под именем Tafelgilde, основан был до рождения Лютера; во-вторых, возражали русские: «Зачем

же принимаете вы в братство католиков?» – Правда, отвечал магистрат, что католики нашли случай войти в него; но это потому, что не различие веры служит препятствием для вступления в братство, а то обстоятельство, что лица, не знающие немецкого языка и местных законов, при всевозможном усердии не могут быть полезными членами общественного управления, а еще менее приносить пользу по заведывании делами протестантских церквей и богоугодных заведений, и вот почему русским преграждено было вступление в братства.

Заметьте, что магистрат, перед тем официально и несколько раз повторявший, что одни лютеране могут быть братьями, отступался от слов своих и прибегал к другому предлогу для устранения русских. И все это сходило даром, и никого не поражала наглая его недобросовестность! Но русские не оставили и этого предлога без возражения: «Напрасно указываете вы беспрестанно на управление церковными делами, которое вовсе не есть главная обязанность братства и очень легко может быть возложено на одних протестантов, так точно, как должности церковных старост падут на одних православных; напрасно также даете вы разуметь, что русские не знают и не могут узнать немецкого языка; ежедневный опыт вам противоречит: вам очень хорошо известно, что русские более ста лет тому назад поселились в Риге и знают немецкий язык как свой родной, который вам непонятен; наконец известно вам и то, что в Петербурге русские исправляют должности маклеров, предполагающие знание не только немецкого, но и других иностранных языков. Впрочем, – продолжали просители, – если справедливо уверение ваше, что мы лишены возможности ознакомиться с вашими законами и учреждениями, то мы требуем, чтобы дела в присутственных местах производились одинаково на русском и на немецком языках, и чтобы в судах заседали члены из русских, дабы несведущие в законах их однородцы могли найти в них заступников». Таково было второе требование русских. Чтобы судить о его справедливости, я попрошу вас только обратить внимание на порядок, существующий в других горо-

дах Империи, содержащих в себе разноплеменное население. В Казани, где много татар, они имеют отдельное общественное устройство и подчинены особой ратуше, в Нежине греки пользуются тем же преимуществом; наконец, в тех городах, в которых жидам позволено приписываться, они назначают от себя известное число депутатов в городские думы. Итак, во всех городах Империи, различие племен принимается в соображение – кроме Риги. Всем национальностям даровано представительство – кроме русской в Остзейском крае; ибо в Риге русские, составляющие, как я уже сказал, более трети всего городского населения, не только не назначают непосредственно от себя депутатов в городские присутственные места, но даже de facto не могут быть избраны в качестве представителей от целых сословий, к которым они приписаны, так как для этого необходимо пройти несколько степеней, удостоиться приема в нескольких замкнутых корпорациях, пользующихся правом самоизбрания или безотчетного отказа. Что ж касается до жалобы русских на стеснительное для них употребление в присутственных местах исключительно немецкого языка, то в подкрепление ее я приведу вам случай, происходивший в прошлом году. У русского купца, живущего в Риге, производилось дело в Сенате; оттуда прислан был указ в губернское правление, разумеется, писанный по-русски. Узнав об этом, купец явился с просьбою сообщить ему решение Сената в копии, но ему отказали и объявили, что он должен заплатить несколько рублей за перевод с русского, родного языка просителя, на немецкий, которого он не понимал, и этому требованию он должен был покориться. Рассудите же, правы ли были русские? Но магистрат отвечал, что во время присоединения Риги к России подтверждено было в числе привилегий употребление немецкого языка и назначение чиновников из немцев; к тому же (это подлинные слова) «естественнее, чтобы пришельцы навыкали языку коренных жителей, между коими они для выгод своих поселяются, нежели, чтобы сии коренные жители отказались от собственного своего языка». Итак, вот до чего дожили русские;

их называют пришельцами в городе, более ста лет подвластном России, тогда как выходцев из Бремена и Любека, этих голышей, толпами приходящих из-за границы, вероятно не для выгод своих, а для просвещения России, встречают в том же городе, как родных и братьев. Разбогатев разными средствами, иногда контрабандою или фальшивыми ассигнациями, как некоторые из первостатейных рижских купцов, они вступают беспрепятственно в братства, потом избираются в ратсгеры, и, в качестве судей, с высоты своей гордости, решают участь der gemeinen Russen. Как далеки от нас времена Екатерины!

Русские мещане и ремесленники в своих прошениях открывали правительству преследования другого рода. Для них дело шло не о правах в составе общества, не о поддержании достоинства имени русского, но о приобретении насущного хлеба и права пробиваться честным трудом. Мещане писали, что, по приказанию рижского торгового суда все их лавки были заперты, а потом по распоряжению губернского правления отперты на два месяца, дабы они в этот срок могли распродать запасенный ими товар.

Ремесленники писали, что около 80 семейств «русских каменщиков и печников, издавна поселившихся в городе Риге и его предместьях, в течение некоторого времени, ко всеобщему удовольствию, исправляли различные работы, но в 1822 году магистрат, по просьбе немецких цеховых мастеров, запретил им дальнейшее отправление их ремесел. Они жаловались на то Сенату, который поручил генерал-губернатору рассмотреть это дело, а генерал-губернатор возложил его на комиссию, состоявшую из одних немцев, которая постановила, чтобы как в каменщичьем, так и в печном цехах находилось в каждом не более 12 русских мастеров, чтобы каждый из этих мастеров имел не более двух работников, состоял под надзором немецкого цехового мастера, работал в форштатах, а не в городе, и платил бы по пяти процентов с получаемой им платы в пользу немецких мастеров. Этот порядок соблюдается до сих пор. Русский, трудящийся в поте лица, платит

оброк немцу, который стоит подле него, скрестивши руки, покуривая трубку и побранивая русских; а в капитуляции города Риги было сказано: по занятии города каждому позволено будет по желанию обеспечить свое пропитание и заняться промыслом. И после этого мы повторяем в своих учебниках: Остзейский край завоеван, Остзейский край присоединен к России; мне кажется, Россия присоединена к Остзейскому краю и постепенно завоевывается остзейцами. Это, конечно, не так лестно для нашего народного самолюбия, но зато ближе подходит к истине и не звучит невыносимою иронией в ушах тех из русских, на которых вымещается ненависть побежденных.

Я вспоминаю теперь по поводу ремесленников несколько случаев, которые сообщу вам, чтобы не забыть их. Приехав в Ригу, я нанял квартиру; хозяин, сверх годовой платы, потребовал от меня десять рублей на разные починки, которые могли бы оказаться нужными по отъезде моем; «Для вас, – говорил он, обращаясь ко мне, – это будет гораздо покойнее, потому что, если бы вы захотели производить починки от себя, то, может быть, вы призвали бы русского мастера, а я этого не потерплю». Этот господин знал, что я русский и что я был причислен к комиссии, которая, между прочим, ревизовала и цеховое устройство.

Русский купец, хорошо мне знакомый, захотел оштукатурить у себя потолки и, зная по опыту негодность хваленой немецкой работы, пригласил русских; они должны были, как воры, в ночное время прокрасться поодиночке к нему в дом; там он их запер на целую неделю, а сам уехал на дачу, и все-таки у него произведен был обыск.

В нескольких верстах от Риги один из богатых здешних купцов, по происхождению немец, но приписанный к Архангельску, купил себе дачу и перестроил дом с принадлежностями. Все работы были им поручены русским, на что он имел полное право, ибо вне города строгость цеховых постановлений смягчается; не менее того, он навлек на себя ненависть немецких мастеров, которые поклялись отомстить ему. И вот

в прошлом году во время какого-то публичного гулянья в той стороне подговоренные подмастерья (как обнаружило следствие) разломали забор этого купца, потом сожгли его сарай, конюшню и все экипажи, а самого хозяина принудили бежать с семейством к соседям. Полицмейстер, хотевший остановить эту сволочь, получил несколько пинков, а коменданта, обратившегося к ней с воззванием: liebe Kinder, обругали. Об этом деле не трубили в Петербурге; и подлинно, к чему бы? Ведь тут действовали немцы, подмастерья, не латыши, не русские; а православия и нашего духовенства не было возможности втянуть в него.

Другой купец первой гильдии, русский, заказал немецкому мастеру какую-то постройку и приехал посмотреть на работу; мастер встретил его, повел за собою и, выхваляя ему свою кротость в обхождении с подмастерьями, сказал ему как сильнейшее и неопровержимое доказательство, указывая на русских работников: «Вы можете судить о моей снисходительности, когда я даже этих скотов русских не бью».

Вот что должны выслушивать здесь русские ежечасно, при каждой встрече с немцами в мастерской, в клубе, в гостиных. Пусть же теперь дивятся, что некоторые из осужденных жить в здешнем крае заглушили в себе русское чувство, отвернулись от своих однородцев и с отчаянья побратались с немцами. У меня не достает духа обвинить их; но те из них, которые бодро и твердо выдерживают в лице своем характер русских, выносят, скрепя сердце, обиды врагов и равнодушие правительства, и отвергают, как подкуп, как подговор к измене, ласки, подбитые ненавистью к целому русскому племени, те, в моих глазах, совершают подвиг, ничем не уступающей подвигу солдата, идущего мерными шагами за своим знаменем среди всеобщего бегства. Продолжая сравнение, я мог бы упомянуть и о предводителях, выдающих простого солдата, но тех пусть казнит их совесть.

Жалобы русских и объяснения магистрата рассматривались во Втором Отделении Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и изложены в превосходно состав-

ленной записке, которая вместе с предположениями графа Блудова внесена была в Государственный Совет в 1841 г.; в том же году состоялось Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, которым условия о вступлении в гражданство, гильдии, братства и цехи были определены почти в том самом виде, в каком они вошли в Свод местных узаконений. В статье 951-й сказано, между прочим: «для принятия в большую гильдию, лица, к купеческому сословию принадлежащие, обязаны представить свидетельство, выданное хозяином одного из существующих в Риге домов о надлежащем под руководством его изучении коммерции». Следовательно, кто изучал коммерцию не в Риге, а например, в Петербурге или в Москве, в училищах или торговых домах, тот не может быть удостоен звания купца в рижском обществе граждан. Это ограничение само по себе странно, но еще страннее оно потому, что даже магистрат рижский и большая гильдия никогда не требовали его. Комитет 1804 года в изложении принятых в то время условий вступления в большую гильдию упоминал об изучении торговли в Риге, в России или за границею. Откуда же взялось позднейшее ограничение, и с какою целью оно введено – непостижимо.

О вступлении в цехи сказано: «Все исповедывающие христианскую веру и принадлежащие к свободному состоянию ремесленники допускаются беспрепятственно ко вступлению в один, по принадлежности, из цехов города Риги, с званием учеников, подмастерьев или мастеров». Допускаются! Как будто этим словом уничтожились все препятствия; да кто же заставит мастера принять русского мальчика на выучку? Кто помешает ему забраковать управный урок русского подмастерья? После всех жалоб, поданных русскими, после того, как магистрата и цехи столько раз повторяли, что, по их убежденно, необходимо быть немцем и лютеранином, чтобы вступить в цех, позволительно ли было игнорировать существование заговора против русских и надеяться, что слово *допускаются* уничтожит дух исключительности, которым насквозь пропитаны все рижские учреждения? Закон издан

в 1841, а в 1847 г. ельтерман переплетчиков объявил официально, что в их цех русских не принимают на выучку, на что секретарь цехового суда ответил только: ja, das ist so ein eigensinniger Mann! (что делать; эльтерман человек упрямый). Не думайте, чтоб это был единственный в своем роде пример, ибо по статистическим сведениям, собранным в том же 1847 г., русские, принятые в цехи, относились к немцам как 1:414. А между тем, московский форштат представляет вид страшной нищеты: полунагие мальчишки ползают по улицам и добывают себе пропитание промыслом, от которого получили название карманщиков; взрослые не уплачивают податей; их сажают в рабочий дом, секут в противность законам, и покуда они отрабатывают старые недоимки, на них накопляются новые, за все время их пребывания в рабочем доме, так что они выходят из него обремененные долгами, и через несколько месяцев их тащат опять туда же. Число ненадежных плательщиков так огромно, что при годовых раскладках из 22 тысяч принимается иногда лишь 8 тысяч состоятельных, и вследствие этого, хотя в 1846 г. по общей раскладке следовало взыскать с каждой души в цеховом и мещанском окладе по 3 р. 13 к., в рабочем по 2 р. 9 к., в окладе слуг по 95 к., вместо того, было предположено брать с мещан и цеховых по 6 р. 5 к., следовательно, почти вдвое более; с рабочих по 4 руб., со слуг по 3 рубля. А какими же средствами добыть эти деньги, когда в цехи не принимают, а вне цехов не позволяют работать? В других государствах стараются придумать занятие для рабочего класса; здесь оно под рукою, но пользоваться им запрещено. Некто Кошевич, подмастерье, не находя себе места, занимался один, без помощников, починкою старых шляп; цех шляпошников подал на него жалобу, и цеховой суд запретил ему работать, так как через это он посягал на кормление цеха. Один из чиновников, производивших ревизии, узнав об этом деле, обратил на него внимание генерала Головина, а на днях общество цеховых ремесленников подало князю Суворову извет, им принятый, на того же чиновника, в котором его винили в намерении нарушить Высочайше утвержденные привилегии города Риги.

Наблюдение за цеховыми обществами и производством ремесел возложено на цеховой суд, который решением, найденным в его протоколах, принудил русского седельника выехать из дома его отца, тележника, под тем предлогом, что, живя вместе, они, может быть, стали бы, вопреки цеховым уставам, помогать друг другу. В другой раз, тот же суд сделал выговор булочному мастеру за то, что он не продал по таксе, а подарил два хлеба бедному русскому. Эти протоколы списаны и представлены в министерство. Вообще можно сказать положительно, что закон 1841 г. не принес никакого облегчения русским ремесленникам; ибо он отменил только предлог, в то время предъявленный магистратом для устранения русских от цеховых обществ, и оставлял возможность достигать той же цели под другими предлогами, которых обильный запас содержится в цеховых уставах. Но послушайте, как решен был вопрос о приеме русских в братство.

В проекте Второго Отделения было сказано: «Получившие право местного в Риге гражданства *могут просить* о принятии их в братство той гильдии, в которой они записаны». Когда статья эта прочтена была в Государственном Совете, один из членов заметил, что «дабы яснее выразить, что в избежание ошибочной мысли, будто принятие в братство зависит от воли сочленов оного, даже и тогда, когда вступающий исполнил все требуемые условия, надлежит прямо сказать, что в сем последнем случае желающий в братство *принимается*». Вследствие этого, в статье о братстве в журнале Государственного Совета постановлено: «Для ближайшего понятия, что вступление в братство не может быть воспрещено тому, кто приобретает законное на то право, оказывается нужным, согласно со сделанным замечанием, § 15 изложить таким образом: получившие право местного в Риге гражданства и вступившие в одну из городских гильдий могут, по изъявленному ими желанию, *вступить* в братство той гильдии, в которой они записаны, если только все требуемые для того условия исполнят». Эта редакция от слова до слова помещена в Своде; а упомянутые условия, как сказано в том же Своде,

заключаются: в изъявлении готовности нести безвозмездно всякие общественные службы и пожертвовать известную сумму в капитал братства. Кажется, не могло быть недоразумения насчет уничтожения безотчетного выбора. Несмотря на это, после того как Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета обнародовано было в Лифляндии в сентябре 1841 года, братство большой гильдии, в собрании, происходившем в 1842 году, назначило комиссию для рассмотрения: каким образом следовало привести новый порядок в действие. Комиссия была того мнения, что, несмотря на закон, остается нерешенным, можно ли допустить в братство нелютеран, и что, во всяком случае, следует оставить прием по безотчетному выбору, довольствуясь, впрочем, согласием двух третей избирателей. Это предположение гильдия рассматривала в полном собрании в январе 1843 года, нашла его слишком еще стеснительным для себя и постановила, что, вопреки закону 1841 г., допущение в братство должно совершаться по безотчетному выбору и единогласному приговору всех избирателей. Вот как уважают законы те, которые так щедро расточают другим обвинения в нарушении Высочайше утвержденных прав.

Между тем, в 1846 году по поводу новых жалоб, поступивших от русских, которых по-прежнему не впускали в братства, министр внутренних дел, основываясь на законе 1841 года, отменившем безотчетный выбор, ходатайствовал о дополнении этого закона несколькими пунктами, в которых подробнее и точнее определен был порядок вступления в братство. Представление министра поступило в Департамент Законов, который, ограничиваясь рассмотрением вопроса в пределах закона 1841 года, нашел предложенные дополнения совершенно согласными с этим законом и постановил мнение об утверждении их. Дело казалось окончательно разрешенным в пользу русских, но в то самое время воспоследовало Высочайшее повеление рассмотреть вновь вопрос о порядке вступления в братство, не стесняясь законом 1841 года. Таким образом, юридически вопрос, возникшей по поводу неиспол-

нения закона, остался неразрешенным и перешел в законодательный. Департамент Законов, рассмотрев его вновь с этой новой стороны, полагал в этот раз отменить закон 1841 года и восстановить прежний порядок вступления в братство, на основании шраг. Через это русские лишились бы права, дарованного им пять лет тому назад и еще не вошедшего в силу. В общем собрании Государственного Совета, барон Ган всеми силами защищал последнее мнение Департамента Законов, т. е. вступление в братство по безотчетному выбору, доказывая, что оно не может иметь вредных последствий, ибо в Риге нет ни немцев, ни русских, а есть только верноподданные Государя Императора; но, несмотря на эти уверения, Государственный Совет положил оставить закон 1841 г. (внесенный в Свод остзейских узаконений) в прежней силе, без всяких изменений и дополнений, предоставив при том министру внутренних дел, буде окажется впоследствии, что этим законом не достигается предположенная цель, войти с представлением о его изменении.

Итак, закон об отмене безотчетного выбора был подтвержден. Тогда ельтерман большой гильдии, человек хитрый, но заклятый враг русских, и теперь избранный советник князя Суворова по всем вопросам, до них относящимся, смекнул, что дело могло принять худой оборот. Опасаясь, чтобы правительство когда-нибудь не потребовало исполнения двукратно изданного им закона, он решился на великую, но не бескорыстную жертву: заставить членов братства выбрать нескольких русских. Это представлялось выгодным в трех отношениях: во-первых, по малочисленности своей, русские, допущенные в братство, не могли бы иметь в нем никакого веса; к тому же, легко было выбрать людей безопасных; во-вторых, присутствие в братстве нескольких православных навсегда бы оградило гильдию от упрека в протестантской исключительности, а в-третьих, наконец, согласие русских подвергнуть себя для вступления в братство выбору, т. е. сделаться участниками в наглом нарушении закона, лишило бы их возможности жаловаться на его неисполнение.

Расчет был верен, и ельтерман через своих друзей начал подговаривать русских членов гильдии в 1847 г. явиться к выбору в братство. Почетнейшие из них, угадав его умысел и зная личные расположения ельтермана, отвергли подносимые этим данайцем дары; но при ревностном содействии русского чиновника, принявшего живое участие в этом заговоре, ельтерману удалось склонить к подаче просьбы довольно богатого и безукоризненного, но вместе с тем бесхарактерного русского купца. Как только это дело огласилось, все русские, неравнодушные к участи своих однородцев, стали ему доказывать противозаконность и опасность поступка, на который он решился. Они объяснили ему, что хотя все они желают вступления русских в братство, но не должны домогаться его как милости, еще менее путем противозаконными, что сам он, соглашаясь подвергнуть себя выбору, а следовательно нарушить закон 1841 года, вдавался в западню, – и наконец, им удалось уговорить его взять свою просьбу назад.

В таком положении были дела, когда приехал в Ригу новый генерал-губернатор, князь Суворов. Вероятно, до вас уже дошел слух о первых его действиях в Риге, и потому то, что я должен теперь сообщить вам, не удивит никого. Вы знаете, что при генерале Головине, и благодаря ему, действительный образ мыслей остзейцев, их расположение к русским, страдания низших классов, страшный произвол судов и управлений были выведены наружу и доказаны. Ему удалось рассеять успокоительное неведение и сладкие заблуждения, которыми остзейцы в продолжение полутораста лет убаюкивали правительство, так что после него не было возможности поддаться им снова, бессознательно и не кривя душою.

Немцы злились, видя, как слетали один за другим покровы, так тщательно ими вытканные, жаловались во всеуслышание на генерала Головина, будто бы оклеветавшего их перед правительством. Трудно было этому поверить, однако же князь Суворов поверил; и с этого времени начался поворот к другому образу действия. Чем вообще торжество бывает внезапнее и неожиданнее, чем добрая слава, купленная лестью,

незаслуженнее, тем склоннее вообще бывают люди употреблять первое во зло, а вторую преувеличивать. Несколько месяцев тому назад немцы думали только о своем оправдании перед правительством; теперь они начали уверять, что были жертвами неблагодарности со стороны русских, что не только никогда не думали лишать последних пользования местными преимуществами, но, напротив, радушно приглашали их воспользоваться ими, но, к сожалению своему, не успели в этом, вследствие интриг разных лиц, поставивших себе задачею в Остзейском крае вооружать русских против немцев.

Как ни нелепа с первого взгляда эта выдумка для всякого, хотя поверхностно знакомого с Балтийским краем, тем не менее рижанам, удалось навязать ее князю Суворову; а для довершения мистификации они избрали как доказательство своей неоцененной любви к русским дело о братстве, многим даже в Петербурге хорошо известное, и уверили его, что не только немцы не противятся приему русских, но даже искренно того желают, и если до сих пор не исполнилось их желание, то потому только, что достойнейшие из русских купцов сами уклонялись от братства, а когда один из них изъявил в 1847 году желание вступить в него, то неблагонамеренные люди, раздувающие племенную вражду, уговорили его взять просьбу свою назад, дабы не лишиться возможности жаловаться на притеснения. Эти наговоры принесли свой плод; под их влиянием князь Суворов написал на рапорте, в котором все дело о братстве изложено было в настоящем виде, следующие слова: честь дороже всего, и потому должно сперва смыть пятно, наложенное на гильдию купцом, взявшим свою просьбу назад.

Итак, вытерпев в течение почти полутораста лет оскорбительное устранение из братства, русские должны будут еще просить в том извинения у немцев и почитать себя счастливыми, когда на будущий год, при содействии князя Суворова, и только из снисхождения к нему, им позволят подвергнуть себя безотчетному выбору, в нарушение закона 1841 года, и некоторых действительно удостоят приема, т. е. предоставят

им в виде большой милости со стороны немцев то, что давно предоставлено им по закону.

Между тем, один из русских купцов, наиболее принимавших участие в судьбе своих однородцев, решился на последнюю попытку для спасения права, дарованного им в 1841 году, и подал просьбу в Сенат, в которой ходатайствовал об отмене безотчетного выбора и о допущении его в братство на законном основании. В то же время комиссия, производившая в Риге ревизию, представила свой проект о преобразовании городского устройства и между прочим гильдейских братств. Как просьба, так и проект комиссии поступили на рассмотрение князя Суворова, который, основываясь на предполагаемой неясности закона, признал необходимым оставить безотчетный выбор; для удовлетворения русских предложил открыть всем членам гильдии (братьям и не братьям) доступ к общественным должностям, замещаемым по выборам, но предоставить братьям исключительное право на городские бенефиции (места маклеров, браковщиков и т. д.), которые раздаются в награду за исправление общественных должностей. Не знаю, пройдет ли этот проект; но если правительство утвердит его, то можно безошибочно предсказать его последствия. Сохраняя право безотчетного выбора и следовательно безотчетного отказа, братство будет иметь возможность устранять всех тех из русских, которых оно не возлюбит – как это и было доселе. Между тем, самые обременительные должности падут на русских, которые должны будут исправлять их без всякой надежды получить за то вознаграждение в случае обеднения. Мудрено ли, что они упали духом?

Сообразите все изложенное мною и скажите по совести: верите ли вы в существование немецкой партии и систематической вражды немцев к русским?

А если самый вопрос покажется вам излишним, то знайте же, что есть в Риге русские, щеголяющее своим беспристрастием и которые, бывши очевидцами половины этих фактов, утверждают, что немецкая партия есть призрак, и что вражда немцев к русским выдумана нами.

V

Ссылаясь на все изложенное мною в предшествовавших письмах, я, кажется, имею право сказать теперь, что современное устройство Остзейского края противоречит основным государственным и общественным началам, выработанным новейшею историею, достоинству и выгодам России и, наконец, интересам самого края. Будучи само по себе совершенно искусственно, оно держится не собственною своею крепостью, а искусственными же средствами, то есть опорою правительства. Не будь этой опоры, оно рухнуло бы немедленно, не от внешних ударов, но от собственной своей ветхости и обременительной многосложности. Но для того, чтобы заинтересовать правительство в поддержании отживших учреждений, для того, чтобы заставить его тратить силы на неблагодарный и бесплодный труд, вооружить его против собственных его интересов, необходимо иметь на него сильное влияние и держать его в постоянном неведении. Чтобы быть полновластными господами у себя, остзейские привилегированные сословия должны располагать волею правительства, иными словами: быть господами у нас. Они давно это поняли, но мы до сих пор не могли еще понять, что Остзейский вопрос по этой самой причине имеет огромную важность для нас всех, для России; ибо, повторяю опять, одно из двух: или мы будем господами у них, или они будут господами у нас.

Чтобы навести на правительство слепоту и отвлечь от себя его внимание, остзейцы в течение без малого полутораста лет убаюкивают его изъявлениями своей верности, восхвалением существующей будто бы в их крае законности, а чтобы предупредить всякую попытку улучшений, распространяют мысль о безусловной обязательности привилегий. Из этого естественно вытекает, что вмешательство правительства было бы неблагодарностью, делом бесполезным и к тому же беззаконным. Вы, вероятно, заметили, что неутомимое постоянство, с которым эти понятия распространяются по всем концам Рос-

сии, увенчалось полным успехом. Они принялись уже во всех слоях нашего общества, и трудно, очень трудно убедить в их ложности того, кто не живал в Остзейском крае; не менее того, огромный шаг будет сделан, если захотят взглянуть на них прямо и подвергнуть их беспристрастной оценке.

Начнем с верности. Никогда не приходило русским в голову выставлять свою верность напоказ и величаться ею как заслугою; напротив того, остзейцы при каждом удобном случае гордились своею верностью и требовали за нее наград, или, но крайней мере, похвал. Это обстоятельство неприятно поражало императрицу Екатерину II; в именном указе ее 21 марта 1786 года* на какую-то просьбу дворянства, подкрепленную обычным самохвальством, она отвечала «что притязания дворянства здешних (т. е. остзейских) губерний представляются нам в таком образе, как будто бы они несли двойную службу и платили от имений их двойные подати против собратий их в других губерниях, пред коими они требуют особенных преимуществ». Все это естественно наводит на мысль, что верность остзейцев иного свойства, чем верность русских; и действительно, между ними существует огромная разница. Ее отрицать нельзя; она проявилась в последнее тяжелое испытание, нами выдержанное в 1812 году. В то время как с появлением французских солдат наши крестьяне покидали свои села, оставляя за собою пустыню и пепелища, курляндцы покорились Наполеону и признали временное правительство, им учрежденное. Я знаю, что эта измена покрыта всемилостивейшим манифестом; но если в единственный случай, когда благо государственное требовало жертвы, когда верность действительно могла бы получить ценность заслуги, если в этот случай ее не достало, то как же было в адресе, поданном курляндским дворянством, с месяц тому назад выхвалять: «die in der Vergangenheit wiederholt bewährten loyalen Gesinungen und die Treue der Kurländischen Ritterschaft gegen den Thron?»** Кто ста-

* Его нет в Полном Собрании Законов *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

** Благородный образ мыслей курляндского дворянства и верность его Престолу, многократно доказанные в прошедшем *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

рое помянет, тому глаз вон; но кто ж в этом случае наглым самохвальством шевелит прошедшее и вызывает обличительные воспоминания? Неужели курляндцы полагают, что не поминать и забыть одно и то же? Но они обещают, что впредь этого не будет; надеемся и мы, что впредь не бывать двенадцатому году, и потому, оставляя в стороне вопрос о том, как и чем доказывалась или докажется впоследствии верность остзейцев, обратимся к бездоказательным изъявлениям ее.

Екатерина II, как известно, ввела в Остзейский край общие учреждения о губерниях, о дворянстве и о городах. Это было, конечно, коренное преобразование; но, в сущности, оно заключалось лишь в отмене исключительности и в распространении существовавших прав на целые классы и сословия; не менее того, остзейцам показалось, что верховная власть переступила свои законные пределы и нарушила права, для нее безусловно обязательные. Вот что пишет об этом Нейендаль: «Как ни прискорбно было для лучшей части здешних (т.е. рижских) обывателей видеть наше древнее муниципальное устройство опрокинутым, без всякой причины, даже без всякого благовидного предлога, городское общество в прежнем его составе из трех сословий – упраздненным и принужденным принимать в свой круг всякую сволочь; однако же рижане не забыли, что были обязаны пребывать верными верховной, над ними поставленной власти, и что почти целое столетие протекло в мире под могущественным скипетром России. Поэтому, когда представился случай доказать императрице Екатерине II, что были в Риге люди, сознававшие свой долг, им не преминули воспользоваться. Едва начал король шведский Густав III войну с Россиею, несколько рижан, движимых патриотизмом, сговорились доказать государыне, что они не питали приверженности к шведам, как думали напрасно некоторые, и, открыв подписку, собрали в короткое время около 30 тысяч рублей, которые были ей поднесены как don gratuit и приняты ею в знак того, что она оценила намерение. В числе подписчиков находились некоторые, слышавшие в молодости от своих ро-

дителей, что шведы, во время их владычества над Лифляндиею, имели намерение отнять у рижан всю их серебряную посуду, и что контрибуция, на них наложенная в 1705 г., была так тяжела, что для составления 7577 рейхсталеров и покупки требованных 300 ластов ржи, принуждены были брать в уплату вместо денег клинки, седла, табак, башмаки, пуговицы и т.д.» Иными словами: «Правительство свободным законодательным актом, упразднив некоторые привилегии, тем самым нарушило условие, обязывавшее нас к верности; не менее того, памятуя прежнее добро, мы остались верными – это наша заслуга; правда, что при этом мы разочли, что под шведским владычеством приходилось для наших карманов в тысячу раз хуже». Где же тут заслуга?

Указом 28 ноября 1797 года император Павел снова ввел в силу все прежние учреждения. Остзейцы увидали в этом восстановление нарушенного права и как бы акт раскаяния со стороны правительства, ручавшийся за неприкосновенность их привилегий на будущие времена. Лифляндское дворянство в то время занималось определением нормы крестьянских повинностей, или составлением регулатива, который был поднесен императору Павлу ландратом Сиверсом при следующем адресе: «Да позволит Ваше Императорское Величество повергнуть к стопам Вашим труд, созревшей под благотворным влиянием Вашего великодушия. Он есть плод указа 28 ноября. Пример справедливости, поданный Вашим Величеством, возбудил в сердцах такое же чувство, и хрупкие оковы произвола были превращены в неразрывные узы любви и доверенности. Наш Великий Монарх приковал нас к Своему Престолу собственными нашими правами, и у нас цепь правомерных отношений распространилась на низменные слои народа».

Откиньте риторические украшения и вы найдете ту же мысль: долг верности обусловливается неприкосновенностью привилегий. Вчитайтесь в адресы, поданные дворянствами лифляндским, эстляндским и курляндским в нынешнем году. Вы опять ее встретите. Я не имею двух первых адресов

под рукою, но помню их содержание, а для примера, приведу вам отрывок из курляндского, притом в подлиннике, боясь ослабить его в переводе: Die in der Vergangenheit wiederholt bewärhrten (?!) loyalen Gesinnungen und die Treue der Kurländischen Ritterschaft gegen den Thron finden ihre Stütze sowohl in dieser, ihr von ihren Ahnen augestammten Ritterpflicht, als in der Dankbarkeit gegen den gerechten Herrscher, welcher Kurland Schutz für Glauben, Nationalität und überkommene Verfassung huldreich gewährt. Diese Gesinnungen bürgen auch bei den allgemeinen Zeitbewegungen der Gegenwart dafür, dass Kurland, nach wie vor, in der unwandelbaren Treue und Ergebenheit an Herrscher und Thron seinen gerechten Stolz und seine wahre Ehre finden wird* и т. д.

В этом виде составлена была первоначальная редакция этого адреса, но когда она была представлена на предварительное одобрение князя Суворова, ему показалось странным, что сословие курляндских рыцарей присваивало себе значение нации, и как будто распространяло свое племенное определение на всю страну, поэтому, он предложил некоторые замечания, которые были признаны справедливыми, и составители адреса немедленно вычеркнули слово Nationalilät, так что в течение двух или трех дней они успели из сословия пожаловать себя в нацию и, вслед затем, из нации разжаловать себя в сословие. Само собою разумеется, что все это сделано было по внутреннему убежденно; ибо рыцарский дух, конечно, не позволил бы отречься вопреки убеждению. Однако же, скорость и легкость этого обращения, как кажется, заставили князя Суворова усомниться в его искренности; но нашелся добрый человек, который разрешил его недоуме-

* «Благородный образ мыслей курляндского дворянства и верность его престолу, многократно доказанные в прошедшем (?!), находят свою опору как в наследственном чувстве рыцарского долга, так и в чувстве признательности к справедливому монарху, милостиво охраняющему веру, *национальность* и древние законы Курляндии. Этот образ мыслей при современных всеобщих потрясениях служит порукою в том, что Курляндия в настоящее время, как и в прошедшем, будет полагать законную гордость и истинную честь свою в непоколебимой верности и преданности к монарху и престолу» *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

ние: «Курляндцы, говорил он, совсем не с тою целью упомянули о своей национальности, чтобы чрез это провести черту между собою и русскими; но, увлеченные порывом признательности, они старались как можно более подобрать причин быть благодарными; упомянули о вере своей, об учреждениях, наконец, попалась им на язык и национальность – они ее туда же. Вот в чем дело, а не в чем-либо другом!» Это объяснение совершенно удовлетворило князя Суворова, и адрес курляндцев, без слова Nationalität, был им поднесен Государю, как правдивое выражение образа мыслей дворянства. Я заговорил с вами об адресах, но забыл объяснить по какому поводу они были сочинены. Нужно знать, что с некоторого времени остзейцы начали жаловаться на каких-то недоброжелателей, будто бы распустивших про них худую славу и заподозривших их верность и преданность в глазах правительства. Кто распускал эти слухи, кто внушал правительству нелепые опасения – до этого никто никогда добраться не мог. Дело в том, что как недоброжелатели, так и самые слухи и сомнения, все это изобретение самих остзейцев, посредством которого они придают себе вид гонимых и оклеветанных, чем, разумеется, возбуждают в обществе соболезнование и участие. Кроме того, эта же выдумка служит им для того, чтобы придать вид какой то незаслуженной и оскорбительной мести административным мерам, принятым правительством. Например, правительство запрещает дворянам притеснять крестьян, переходящих в православие, старается расширить в городах свободу промыслов, ввести русский язык в училищах и т. д. «За что, восклицают остзейцы, преследует нас правительство! Разве не служим мы ему верою и правдою, разве поколебалась наша верность; за что же гонение на верноподданных Государя? и тому подобное. И эти жалобы производят эффект. От частого их повторения многие из остзейцев, как кажется, действительно убедились, что правительство следит за ними с беспокойством и чего-то опасается. Поэтому, когда в последних месяцах начались неожиданные потрясения на Западе, они решили, что наступило время успокоить и обо-

дрить оробевшее правительство, надеясь через это получить от него несколько похвал, которые, при случае, послужили бы им средством отклонить от себя ответственность по разным уже возбужденным вопросам. И вот дворянство всех трех губерний и города□ Ревель и Рига поднесли правительству успокоительные адресы. В них выражена была в различных оборотах более или менее ясно все та же мысль, т. е., что верность края проистекает от благодарности за сохранение привилегий, и потому пока привилегии целы, остзейцы не затеют бунта, не пойдут на Москву войною, не призовут пруссаков в наши пределы. Итак, теперь мы можем благодарить Бога и быть спокойными; но самая уверенность в настоящей безопасности с этой стороны дает возможность спокойно измерить опасность, которая могла бы нам угрожать, если бы в сердцах остзейцев не было рыцарского духа и всепрощающей верности. Верность – свойство прекрасное, и почему же не изъявлять ее, когда, как выражаются эстляндцы в своем адресе, чувствуется неодолимейшая к тому потребность; но мне кажется, что это свойство в том только случае имеет цену, когда оно свободно, а не вынужденно; что обещание верности имеет смысл, когда быть или не быть верными лежит во власти обещающих. Но таково ли положение остзейцев? Заметьте, что изъявления идут всегда от лица привилегированных сословий, то есть от граждан в тесном смысле и от рыцарства. Но действительно ли владычество их в целом крае так твердо и надежно, что от них бы зависело поднять его на Россию? В случае измены, или замысла изменить, неужели не нашли бы они подле себя препятствий и преград? Граждане составляют едва ли треть всех городских обывателей; первые промышляют вторыми и боятся их, боятся до такой степени, что рижский магистрат не смел позволить им выбирать присяжных; вторые, то есть обыватели, не граждане, обречены на самую жалкую участь и не совсем хорошо расположены к гражданам. Большинство граждан состоит из немцев; большинство обывателей – из русских, латышей и жидов; граждане живут в городах, обыватели в предместьях, так что первые окруже-

ны враждебным классом и находятся как бы в вечной осаде. Что же касается до помещиков, то я сошлюсь на собственные их показания в последних годах. Если в толпе крестьян, собравшихся в корчме, поднимался говор, если пять или шесть человек собирались в приходскую церковь для изъявления желания перейти в православие, если показывался вдали русский священник, помещики дрожали, писали в Петербург, что жизнь их висела на волоске, пугали правительство рассказами о бунтах и волнениях, и выпрашивали себе казаков для защиты от раздраженного народа. Мне кажется, одно из двух: или весь край в заговоре против привилегированных сословий и только защита правительства предохраняет их от гибели, и тогда вынужденная страхом приверженность к правительству не стоит похвал; или граждане клевещут на обывателей, а дворяне на крестьян, что также немного принесло бы им чести. Я знаю, что последнее предположение ближе к истине, чем первое, что граждане боятся не беспорядков, а подрыва в промыслах; знаю также, что пока не тронутся помещики, не дотронутся до них и крестьяне; но не менее уверен я и в том, что никогда дворянство и города не действовали и не будут действовать вместе и заодно; что при первом движении весь край поднимется не за них, а на них; что форштатские обыватели ворвутся в города, а крестьяне перехватают рыцарей. Кто сколько-нибудь изучал прошедшее Балтийского края и видел его настоящее положение, для того это очевидно, и вот почему многим, даже из немцев, показались странными похвалы, которыми, в последний проезд свой через Дерпт, граф Уваров осыпал студентов, не давших увлечь себя западному революционному вихрю. Уж если так, то напрасно обидели рижских гимназистов: весь город засвидетельствует, что в самое то время, когда колебались престолы, они спокойно изучали грамматику Цумпта, не портили мостовой и даже не воспользовались случаем вытребовать уменьшения часов учения.

Итак, верность остзейцев обусловлена подразумеваемым контрактом, т. е. неприкосновенностью привилегий или

бездействием правительства, и вынуждена чувством самосохранения. Другого от них и требовать нельзя; верность безусловная и свободная, готовность на жертвы, все это идет из других источников, неведомых обществу, для которого не существует отчизны. Последствия любви и нелюбви не могут быть одинаковы. Если основанием внутреннего и внешнего быта целого общества служит не любовь, а эгоизм и разобщение, если долговременное служение сословному своекорыстию иссушило в нем душу и сделало его неспособным к свободным сочувствиям и нерасчетливым увлечениям, можно и должно жалеть о нем, но нельзя винить частных людей или одно поколение за историческое преступление целого общества. Им можно бы только присоветовать держать себя поскромнее и не вымаливать похвал пламенными изъявлениями, ибо кто может хвалиться верностью, тот значит худо понимает, что измена позорна.

Все мы наслышались от остзейцев, что край их может служить образцом строгой законности.

Рассмотрим, до какой степени эта молва согласна с правдою. Первое условие законности есть, мне кажется, существование законов; я разумею не скольких-нибудь и не какихнибудь законов, но, во-первых, в достаточном количестве для определения и разрешения всех существенных отношений и юридических вопросов; во-вторых, я разумею законы, годные в настоящем быту, способные быть приложенными; в-третьих, считаю необходимым ясное разграничение законов действующих от законов утративших силу; и, наконец, полагаю существенным условием, чтобы законы были доступны каждому.

Для примера изберу Ригу, не потому только, что я изучал ее устройство, но потому еще, что законы рижские служили образцами для других городов лифляндских, из которых многие не дошли до той степени юридического развития, на которой остановилась Рига, но ни один не пошел далее.

В Риге действуют доселе по части гражданской, уголовной, полицейской и торговой, городские статуты или так называемое Рижское право. Происхождение его относится, по

всей вероятности, к XIII веку: от этого времени до конца XVI века оно испытало не менее четырех редакций. В начале XVI века граждане начали жаловаться на его неудовлетворительность и требовать дополнений и исправлений; магистрат, которому принадлежала законодательная власть, торжественно обещал это исполнить в 1604 г. и не исполнил во все продолжение польского владычества, несмотря на частые понуждения. В то время рижские статуты были так уже недостаточны и неопределенны, что правительство и сами граждане обращались несколько раз к магистрату с вопросом: какое именно право действовало в рижских судах, и не могли добиться положительного ответа. Шведское правительство также долго и безуспешно требовало исправления городских статутов и обнародования их; наконец магистрат составил новую редакцию и послал ее в Стокгольм; но там ее не утверждали. Не менее того, она вошла в силу и была несколько раз перепечатываема. Последнее издание относится к 1798 году. В него вошли дополнительные статьи из шведских королевских резолюций и нескольких сенатских указов, которые присовокуплены в виде дополнения, так что издатели даже не взяли на себя труда разместить их по принадлежности. С тех пор до городских статутов не дотрагивались, из чего уже можно вывести несомненное заключение об их недостаточности в настоящее время; но это еще более подтверждается рассмотрением их содержания. Они состоят из шести книг, заключающих в себе около 400 статей, не считая дополнений, и тут вмещено: судоустройство, законы гражданств, уголовные, полицейские, торговые, морское и вексельное право. Я не говорю уже о совершенном отсутствии строгой системы в расположении, но спрашиваю: можно ли предположить, чтобы при таком объеме каждая отдельная часть удовлетворяла современным потребностям? Очевидно, что нет. Наконец должно заметить, что это издание составляет почти библиографическую редкость, которой вы не найдете ни в одной книжной лавке и не у всякого ратсгера. Поэтому, почти никто не знает и не может узнать здешних законов, кроме ад-

вокатов, обладающих этою тайною, что для них, разумеется, очень выгодно; но каково же тяжущимся, которые обязаны безусловно вверять свои интересы этим, не всегда надежным руководителям? Обратимся к законам, определяющим городские учреждения и права состояний. Рижское муниципальное устройство окончательно установилось при шведском владычестве; с этого времени, оно уже не развивалось из самого себя, а претерпевало частные видоизменения, исходившие от правительства; между тем, до издания Свода узаконений для губерний остзейских, Рига не имела общего городового положения; уставы различных городских учреждений и сословий не были между собою соглашены и не составляли целого. То же самое должно сказать о каждом из них, отдельно взятом. Комиссия, ревизовавшая рижское хозяйственное и сословное управление, потребовала уставов большой гильдии или купеческого сословия от ельтермана его и от магистрата. Первый отвечал, что гильдия имела: древние шраги XIV века, переделанные в начале XVII, но вышедшие из употребления по обветшалости их; другой устав, известный под названием тридцати двух королевско-шведских конфирмованных пунктов 13 марта 1680 года, имеющий силу закона; свод гильдейских узаконений, составленный около конца XVIII века, и более ничего. Между тем, магистрат, кроме этих актов, представил другую редакцию 32 пунктов 20 апреля 1680 г. и королевскую резолюцию 16 февраля 1681 года. По рассмотрении всего этого оказалось, что первая редакция 32 пунктов (представленная ельтерманом) в самых важных ее статьях была отменена второю, как сказано в предисловии к ней, следовательно, не имела силы закона; что вторая не была утверждена шведским правительством, как видно из резолюции 1681 года, следовательно, также не имела силы; что эта резолюция содержала в себе только две утвержденные статьи; наконец что свод XVIII века не был никем утвержден, и что во всех списках его за статьею 59-й следовала 61-я, а для 60-й оставлено пустое место, так что этот свод есть очевидно ничто иное как недоделанный проект. Итак, большая гильдия, составляю-

щая ядро рижского общества граждан, самое значительное из городских сословий, до издания Свода, имела не более двух статей, действительно заслуживавших название законов. Заметьте при этом, что ни один из этих памятников никогда не выходил печатно. Комиссия потребовала также цеховых уставов; их прислали целую груду. Некоторые восходили до XIV и XV веков, другие изданы были в начале или середине текущего столетия; некоторые писаны были на древне-немецком наречии, другие на ныне употребительном; некоторые испытали несколько переделок, другие оставались в первобытном виде; некоторые были чрезвычайно кратки, другие обременены пустыми подробностями. С первого на них взгляда, можно было убедиться, что большая половина содержавшихся в них постановлений давно вышла из употребления, но, дабы иметь о том точные сведения, комиссия потребовала, чтобы цеховой суд отметил красными чернилами в цеховых шрагах все, что утратило силу закона; на это суд объявил, что он не в состоянии исполнить означенное требование, следовательно официально сознался в неведении законов, по которым он судил, и комиссия должна была обратиться с тем же запросом к ельтерманам всех цехов. По окончании этой работы оказалось, что несколько цехов отвергали свои уставы безусловно, как совершенно негодные; другие признавали действующими доселе иногда 3, иногда 4, иногда 5 статей, а между тем, в числе статей неотмеченных, мы нашли, например, что в цехе переплетчиков велено принимать на выучку одних только немцев, за исключением всех других наций; в шрагах извозчиков найдены были статьи, несогласные с печатным для них положением, изданным губернским правлением, и на запрос комиссии, цех отвечал, что он этого положения потому не исполняет, что оно ему показалось слишком строгим.

Общего ремесленного устава Рига также не имеет. Вообще, к какой бы отрасли законодательства вы ни обратились, вы найдете богатые сборники законов различных веков, и не найдете ни одного свода действующих узаконений. Поэтому, ни частные лица, ни сами присутственные места не

могут знать наперед, на каком основании должен быть разрешен тот или другой частный случай. Может быть, смотря по обстоятельствам, сошлются на старый, отмененный закон, а может быть – на новый, ибо старое от нового, действующие законы от утративших силу не отделены, и даже не ощущают потребности отделить их. Из тысячи примеров, мне известных, укажу вам на некоторые. Законами XVII века запрещается рижским гражданам, покупающим товары, привозимые из уездов, из России и Литвы, как-то: хлеб, лен, пеньку и проч., перепродавать эти товары непосредственно заморским купцам; вместо того, поставлено в обязанность продать их гражданину рижскому, который в свою очередь перепродаст их иностранцам. Но этого закона с давних уже лет не исполняли; однако же, в предпрошлом году, в то время, как один из здешних купцов, торгующих льном, готовился сдать в корабль выписанный им из внутренних губерний товар, кто-то, ссылаясь на изложенный выше закон, вытребовал наложение запрещения на всю партию льна. Хозяин ее подал на это жалобу, и завязался процесс. Торговый суд, долженствовавший решить это дело, пришел в недоумение: по уставам XVII века выходило так, по позднейшим законам иначе; бедные судьи долго бились и, наконец, решили упросить того, кому принадлежал лен, взять назад свою жалобу и не давать делу хода, обещая ему впредь его не тревожить, а вопрос, по сознанию самих судей, остался нерешенным. Если в таком положении находятся законы торговые в городе, который живет торговлею и в котором две трети чиновников, как по части судебной так и по управлению, принадлежит к купеческому сословию, то можно легко себе представить, до чего простирается шаткость и неопределенность законов по другим предметам. Другое разительное доказательство представляют сведения, сообщенные городским начальством по требованию правительства с того времени, как оно стало заниматься внутренним устройством рижского общества. Сравните изложение городской конституции, составленное комитетом 1805 года, с объяснениями магистрата на жалобы русских в 1826 и 1840

годах, и вы найдете множество противоречий в самых важных вопросах, например, о приобретении права гражданства, о вступлении в гильдии, в братства и цехи. Конечно, в этом случае, магистрат избегал ясности и строгости изложения; но нельзя не сознаться, что городские законы удивительно помогали ему во всех его изворотах и противоречиях. Всего ощутительнее доказывается жалкое состояние законодательства решениями по делам тяжебным. Редко, редко найдете вы в котором-нибудь из них ссылку на закон, и не мудрено, когда нет законов. От этого все делопроизводства имеют вид каких-то рассуждений на заданную тему, или точнее диспутов. Неограниченное поприще отверсто для велеречия адвокатов: кто ссылается на местный закон, кто на римское право, кто на сочинение какого-нибудь юриста; а судьи, выслушав обе стороны, решают дело по отвлеченным началам чистого разума.

Я говорил вам об одной Риге; земские законы мне почти неизвестны, но я имею причины думать, что они едва ли находятся в лучшем состоянии. Лифляндский прокурор сознавался мне в крайней необходимости скорейшего издания других частей местного Свода, ибо, по его словам, по части судопроизводства уголовного, присутственные места не имели другого руководства, кроме исследования ландрата Самсона под заглавием: der Process in Livland. А между тем, вот что делается. В прошлом году, генерал-губернатор поручил жандармскому полковнику произвести совокупно с уездным исправником следствие по какой-то жалобе, поданной крестьянином. Этот чиновник, собравшись ехать, пришел уговориться с исправником, который очень удивился его поспешности и объявил ему, что, по местному обычаю, следователь сперва вызывает к себе челобитчика, где б он ни жил, расспрашивает его, и уже в том случае, если дело покажется ему стоящим внимания, отправляется на место.

В другой раз курляндский крестьянин подал жалобу на исправника, который *во время допроса* велел дать ему сорок палочных ударов, и когда потребованы были по этому делу объяснения, исправник подтвердил справедливость этого

показания, и обер-гофгерихт оправдал его, объявив, что так поступают со времен маркиза Паулуччи, узаконившего этот обычай.

Рижский канцелярский чиновник подал жалобу на одного из здешних дворян, будто бы назвавшего его при свидетелях взяточником. Ответчик потребовал, чтобы сперва названы ему были свидетели, отказываясь дать ответ на неподкрепленное ничем показание. Обвинитель, с своей стороны, свидетелей не нашел, или не захотел назвать; дело тянулось долго, но не двигалось ни на шаг; надобно было однако покончить его чем-нибудь. Суд постановил, что хотя обвинитель и не доказал справедливости своей жалобы, но зато и обвиненный хотя и не признал ее, но и не отрицал формально; а потому: отпустить обоих, взыскав с них пополам судебные издержки. Итак, по делу о нанесенном бесчестии, самый факт (corpus delicti), то есть обида признана была недоказанною; между тем, обвинитель не был признан виновным в неоправданном извете; обвиненный не был признан безусловно невинным, и оба должны были платить издержки, которые взыскиваются всегда с виновного. Зная лично судью, я готов поручиться за его честность и добросовестность, но не думаю, чтобы подобное решение могло состояться в стране, где сколько-нибудь укоренились элементарные понятия о законности.

Всего замечательнее то, что здесь как будто даже не сознают ее потребности; напротив того, присутственные места и сословные представительства, присваивающие себе законодательную власть, питают какое-то отвращение к ясным и положительным законам; они хорошо понимают, что с возведением обычая в сферу писанного права, хотя и облегчится их обязанность, но зато ограничится их произвол, отнимется возможность давать место всякого рода Privat-Rücksichten и, наконец, начнется поверка их действий, при нынешнем порядке невозможная. Вот почему в продолжении шведского владычества и в первые сто лет русского, когда Остзейскому краю дано было и время, и вся возможность составить себе полный свод узаконений, он не захотел, или не был в

состоянии совершить этот труд, не столько по причине беспечности, сколько от укоренившейся привычки к произволу. Наконец, наше правительство сделало для остзейцев то, чего они не хотели сами для себя сделать; я разумею издание двух первых томов Свода местных узаконений, содержащих в себе учреждения и права состояний. Генерал Головин, характеризуя в рапорте Государю значение этого законодательного акта, писал, между прочим: «Мера эта, к исполнению которой постоянно, но безуспешно, стремились в Балтийском крае правительства польское и шведское, составит несомненно важнейшую эпоху для здешних губерний, со времени присоединения их к России; ибо, определяя настоящий смысл и объем привилегий, дает главному местному начальству возможность поверять законность действий административных и сословных учреждений в крае; признанием русского текста Свода за подлинный и обязательный лучше всего обеспечит успех постоянных, со времен Петра Великого, стараний правительства о распространении между немецким народонаселением знания русского языка, сохраняя в своей силе права и преимущества высочайше дарованные Балтийскому краю, тем не менее введет его в общую систему законодательства Империи и, обнаружив всем доступным образом многие в здешних учреждениях недостатки, значительно облегчит устранение их».

Но по тем же самым причинам можно было ожидать, что присутственные места и представители сословий напрягут все силы для того, чтобы помешать введению Свода в действие. В 5-м пункте манифеста, при котором он был распубликован, сказано было, что «местным Сводом (как и общим Сводом Империи) не изменяются ни в чем сила и действие существующих постановлений, а оные только приводятся в единообразие и систему». Кажется, очевидно, что эти слова определяют характер изданного акта и разницу между Сводом Законов и Уложением; не менее того, остзейцы, перетолковав их по-своему, придали изданному Своду значение сборника не безусловно обязательного, поставили его на одном ряду с

другими источниками и сочинениями юристов и стали поверять не обычай Сводом, а Свод укоренившимся обычаем, называя все отступления на практике от закона неверностями или ошибками в его изложении. Очевидно, что если бы дали усилиться этому толкованию, то исчезла бы вся польза, ожидаемая от Свода, и потому генерал Головин исходатайствовал от Сената пояснительный указ, в котором постановлено было: «Считать все статьи Свода безусловно обязательными и, во всех случаях, не вошедших в состав его, руководствоваться общими законами Империи; если же от применения статей Свода местных или общих узаконений последует какое-либо значительное нарушение существовавших доселе прав, то предоставить присутственным местам и сословиям просить об изменении означенных статей установленным в законе порядком, с обязанностью, до решения по сему предмету высшего правительства, руководствоваться точным смыслом законов». Произвол, веками укоренившийся и возведенный в систему, конечно, не мог быть побежден одним указом; не менее того, указ этот имел огромную важность, ибо определял цель, давал средства постепенно к ней приближаться и подрывал всякое противодействие в его основании. Но этот результат, доставшийся не без многих трудов и составлявший честь управления генерала Головина, теперь упускает из рук его преемник, руководствуясь в своих действиях более вдохновением, чем законом, и уже успевший утвердить несколько предположений здешних присутственных мест, прямо противных закону.

Другая причина, препятствующая строгой законности в Остзейском крае, также обнаруженная генералом Головиным, заключается в том, что здешние присутственные места, в сущности, только судебные или распорядительные, равно как и сословные представительства, позволяют себе нередко законодательные постановления и даже отмену или ограничение общих законов. Это неуместное присвоение законодательной власти и раздробление ее не только препятствует соглашению законов между собою, но даже чрезвычайно затрудняет их изучение.

Я знаю, что на все это возражают обыкновенно тем, что признание за единственное руководство какой бы то ни было книги разрывает нить юридических преданий и следовательно останавливает развитие законодательства; что устранение обычая разлучает сферу права с жизнью и обращает судопроизводство в механическую деятельность. Не отрицаю силы этих возражений, но мне кажется, что они не применяются к Остзейскому краю по двум причинам: предание важно там, где юридические отношения действительно развиваются; но постепенное замирание самобытного законодательства в Остзейском крае, начиная с половины XVII века, ясно доказывает, что развитие окончилось, по крайней мере, что прежние источники его исчерпаны, а новых не хотят признать; во-вторых, едва ли можно допустить, чтобы право руководствоваться обычаем или чем бы то ни было, кроме утвержденного закона, могло быть без явного вреда предоставлено низшим присутственным местам; и потому я думаю, что их участие в развитии законодательства должно ограничиваться представлением проектов верховной законодательной власти.

Из всего этого я вывожу, что при нынешней неудовлетворительности законов, при укоренившемся пристрастии к обычному произволу, при раздроблении законодательной власти, не может быть в Остзейском крае строгой законности в ходе судопроизводства ее управления, несмотря на ученое юридическое образование здешних чиновников, которому я отдаю полную справедливость, и на усердие, бескорыстие и добросовестность многих из них.

Третье препятствие заключается в самом устройстве присутственных мест, доселе основанном на обветшалых началах, давно уже отвергнутых во всей Европе.

Первое, что должно поразить при обозрении здешних учреждений, это их односторонний, сословный характер и сочетание в их ведомствах несовместных деятельностей. Земские присутственные места состоят исключительно из матрикулированных дворян, или членов рыцарства; между тем они ведают дела всех дворян, как матрикулированных, так и не

матрикулированных. Учреждение судов на основании начала сословного представительства кажется мне вообще мыслью ложною; но это вопрос спорный, и я оставляю его в стороне; во всяком случае, если это начало принято, то следовало бы непременно дозволить дворянам, не принадлежащим к рыцарству, назначать от себя заседателей.

Городские учреждения также состоят исключительно из граждан. Учреждения для духовенства делятся на городские и земские, что даже противно принятому началу, ибо духовенство составляет цельное, самостоятельное сословие. Все городские судебные места состоят из членов одного сословия, магистратского, за исключением всех прочих, которые, однако, подчинены магистратам. Итак, здесь начало сословного представительства нарушено, и, кроме того, вопреки всем здравым понятиям, членам присутственных мест придано значение самостоятельного сословия.

Вы видите, что средневековое разъединение сословий здесь еще в полной силе, зато в ведомствах присутственных мест господствует совершенный хаос.

Высшие земские суды: лифляндский гофгерихт, эстляндский обер-ландгерихт и курляндский обер-гофгерихт производят гражданские и уголовные дела, частью даже административные; в городских учреждениях судебная часть не отделена от исполнительной, так что одно и то же место заведует иногда судом, управлением, полициею, хозяйством и, наконец, присваивает себе право законодательное. И все это находят превосходным; никто не усматривает вреда от соединения гражданского и уголовного судопроизводства, а те немногие, которые критикуют сочетание судебной власти с административною, здесь наперечет и слывут у одних светлыми головами, опередившими свой век, а у других опасными мечтателями.

Вообще административная часть гораздо хуже судебной. Во многих канцеляриях (не знаю, так ли во всех) не имели до сих пор понятия о том, что есть «дело», и немалого труда стоило растолковать это канцелярским чиновникам генерал-

губернатора. Вместо дел, существовали сборники однородных по содержанию бумаг, например, об арестантах, и под этою рубрикою в хронологическом порядке расположено было все, что относилось до арестантов: Петра, Ивана, Федора, так что подобного рода дела никогда не оканчивались. Прибавьте к этому, что описей бумагам не вели, что настольных реестров и исходящих журналов не имелось, что производство дел не было распределено по предметам между чиновниками, что текущие и решенные дела находились в одном архиве и даже нередко в одних связках, и вы получите понятие о том, к чему приводит хваленая немецкая аккуратность, когда к ней присоединяется умышленное уклонение от общего, нашими законами предписанного порядка. Но гораздо важнее этого внешнего неустройства глубоко укоренившиеся понятия, на которые мы беспрестанно наталкивались при ревизии рижского городского хозяйства. Например, когда потребовали отчетов от рижских управлений в употреблении городских сумм, они отвечали с негодованием, что городская касса есть частная собственность городских сословий; что им одним принадлежит право ревизовать ее, употреблять как и на что им угодно, и что всякое вмешательство в их распоряжения со стороны правительства неуместно и противно привилегиям. Заметьте, что общественные суммы составляются большею частью из налогов на заграничную торговлю, падающих на всю Россию, и из сборов с обывателей, не имеющих никакого участия в управлении. Нельзя было без некоторого изумления внимать чистосердечному выражению этих понятий в 1840-х годах, особенно если вспомнить, что уже шведское правительство твердило рижанам, что город не частный дом, общество граждан не хозяин, общественная касса не кошелек частного человека; что обязанность отдавать отчеты генерал-губернатору введена Петром I; что с начала XVII века город постоянно жалуется на разорение, а правительство с начала XIX века придумывает средства помочь ему. При господстве этих понятий, из-за которых так и сквозят Средние века, можно ли ожидать образцовой законности?

Другое пережившее себя явление в юридическом быту Остзейского края открывается при взаимном сличении законов и учреждений трех Остзейских губерний. Не говоря уже о том, что право земское и городское везде различны, рыцарское право лифляндское не похоже на эстляндское, а курляндское существенно разнится от того и другого; право ревельское, рижское и митавское также одно на другое не походят. Я отнюдь не почитатель безусловного внешнего единства; я знаю, что разнообразие юридических норм Остзейского края имеет историческое основание, вытекает из различий в судьбах той или другой области, из влияния Гамбурга на Ригу, Любека на Ревель, Польши на Курляндию, Дании и Швеции на Эстляндию, Польши и Швеции на Лифляндию. Но неужели потому только, что когда-то, за 500 лет тому назад, Рига была теснее связана с Гамбургом, чем с Ревелем или Нарвою, она и теперь не может быть подведена под одинаковые законы с последними городами, близкими к ней и по расстоянию и во всех других отношениях? Если исторические события XIV и XV веков оправдывали разнообразие прав и учреждений, то не следует ли из этого, что с переменою этих обстоятельств, с воссоединением Остзейского края в одно целое, под владычеством одной державы, и в законах должно проявиться стремление к сближению и подведению к единству местных и сословных особенностей? Если находят естественным, что в то время, как Лифляндия тянула к папе и императору, заимствовались законы из римского и германского права, то почему же вооружаются против заимствования русских законов теперь, когда Лифляндия тянет к России? Зачем присваивать такую безусловную власть давно прошедшему и так пренебрегать требованиями настоящего? Не оттого ли, что вся жизнь остзейцев – в прошедшем, что в нем схоронены все их силы, и что их историческая роль разыграна? Может быть, но я не вижу, почему бы мы были обязаны обрекать себя на такое же созерцательное бездействие и заживо ложиться в один с ними гроб.

До сих пор шла речь о законах, об устройстве присутственных мест, о господствующих понятиях; о лицах не было

сказано ни слова; я бы не хотел и говорить о них, но к этому понуждают беспрестанные попреки, к нам обращаемые, насмешки над лихоимством наших чиновников и похвалы, расточаемые Остзейцами их чиновникам как идеалам бескорыстия. Все это вызывает ответ.

«Взяток в Остзейском крае не берут, и слово «взятки» у нас, не имеет значения». Это вы услышите, вероятно, на первой станции, как только переедете остзейскую границу; то же позволяют повторять себе многие из русских, при выезде отсюда. Мы уже теперь все понимаем, что на деле существует различие, впрочем, законом не признанное, между добровольным приношением канцелярскому чиновнику за его чисто механические труды, ускоряющие ход дела, и взяткою, которою покупается голос судьи или снисходительность ревизора.

Приношения первого рода в Остзейском крае не только терпимы, но даже обязательны. Они называются шпортелями и взимаются по закону, на основании такс. Что лучше: добровольная или вынужденная плата? Этот вопрос к делу не относится, но то несомненно, что здешние шпортели несравненно выше и обременительнее для тяжущихся, чем канцелярские расходы в наших присутственных местах. Кроме того, шпортели взыскивают решительно во всех судах и управлениях; между прочим, рижская управа благочиния без всякого законного основания учредила у себя сбор с паспортов, даже рекрутское присутствие берет шпортели; а рижское городское управление взимает их по законам, никем не утвержденным. Случается, что за отказ в поданной жалобе губернское правление взыскивает с просителя несколько десятков рублей, а в рижском сиротском суде составление описи простых надгробных камней, оставшихся по наследству от одного каменщика и оцененных в 3061 руб. сер. обошлось, не считая гербовых пошлин и других издержек, в 210 р. 64 к. сер., что равнялось доле наследства, причитавшегося дочери умершего. Прибавьте к этому, что жалованье здешних чиновников, некоронных, само по себе, по крайней мере, втрое значительнее, чем у нас; например, ратсгеры получают пенсии выше сенаторских, секретарь рижского

магистрата получает 4 тысячи рублей, многие рассыльные, по здешнему министериалы, по нескольку сот рублей, и согласитесь, что при таких средствах, нужда никак не может заставить прибегать к добровольным подаркам или бесчестным вымогательствам, тем более, что при существующих шпортелях это бы вконец разорило тяжущихся.

Подкупы в тесном и преступном значении слова, говорят, в Остзейском крае не существуют. Если под этим разумеют одно название, то это, конечно, справедливо: вместо Bestechung здесь употребляют обыкновенно более благовидное don gratuit, подобно тому как Гоголь предлагал заменить слово «взяточник» словом «приобретатель». Я не стану спорить о словах, но пусть придумают, какое хотят, название для следующих фактов. Губернский прокурор обращается в магистрат с просьбою назначить ему из городских сумм несколько сот рублей на квартиру; в келейном совещании магистрат решает, что хотя требование противозаконно, но если отвергнуть его, то прокурор будет вредить, и потому благоразумнее согласиться. Это решение вносится в протокол, и определенная сумма ежегодно уплачивается. В другой раз с таким же требованием обращается другое лицо в податное правление в пользу фискала, и оно также исполняется. Теперь по всей Лифляндии ходит слух о том, что два дерптских профессора обокрали какую-то суконную фабрику и что, вероятно, дело будет потушено, потому что тот, кому придется производить следствие, отъявленный взяточник. И мало ли других примеров можно бы извлечь из дела русских купцов Семеновых, которых по одному подозрению продержали несколько лет в тюрьме, из ревизии Александровской высоты и из колоссального дела лифляндского гофгерихта, поднятого бароном Паленом. Чтобы дать вам понятие не о содержании, но о важности последнего, я приведу вам отрывок из всеподданнейшей докладной записки, посланной тогдашним генерал-губернатором через графа Бенкендорфа. Жалуясь на покровительство, которым пользовались в сенатской канцелярии члены гофгерихта, секретарь и обер-фискал, отданные все вместе под суд, барон Пален писал: «Между тем,

судя но сделанным ныне опытам о роде и образе (это значит Art und Weise) как поступает гофгерихт к оправданию своему по сему делу, должен я опасаться, что из пересланных ныне объяснений членов гофгерихта произойдут новые пространные переписки, через кои опять может остановиться на бесконечное время и окончание дела и освобождение губернии от ее бича... Интерес членов гофгерихта требует остановить сколько можно окончание сего дела – цель, которой они стремятся достигнуть употреблением всех вспомогательных средств, нечистой совести и бесстыдства, в надежде на своих приверженцев и заступников в губернии и в столицах».

В другой бумаге тот же барон Пален, по поводу полученного из Сената указа писал: «При беспристрастном рассмотрении дела сего, каждый должен, как я полагаю, получить удостоверение, что при столь снисходительном поступлении с лицами, заслуживающими столь мало снисхождения, нельзя доставить требованиям справедливости удовлетворения. Если виновные находят в верховном судилище вместо заслуженного наказания защиту и покровительство, если стараниям губернского начальства к прекращению злоупотреблений и искоренению виновников оных поставляются преграды, то соделываются злоупотребления позволительными, а власть начальства истощается от усиленных действий тесно совокупившегося союза злодеев, которые чрез похищение чужой собственности имеют достаточные средства действовать в случае нужды» и т. д.

Недурна рекомендация! Предоставляя вам вывести из всего этого заключение о том, до какой степени Остзейский край может служить образцом строгой законности, перехожу к вопросу о неприкосновенности привилегий.

Этот вопрос имеет значение только в отношении к Остзейскому краю; для всех других областей он давно уже решен. Взгляните на прошедшее любого народа, города или сословия; оно усеяно обломками привилегий, и никому не приходит в голову утверждать, что то, что заводится нынче, противозаконно потому только, что оно не похоже на то, что существовало сто

лет тому назад. Но, как я уже сказал, остзейцы умели воздвигнуть этот вопрос и придать ему такое значение, что уже несколько раз правительство отступалось перед ним от многих благих намерений.

Его можно рассматривать с двух сторон, исторической и юридической.

По свидетельству истории, привилегии постоянно изменялись и отменялись не только верховною властью, но даже самими сословиями. Все права, преимущества и доходы католического духовенства основаны были на несомненных привилегиях; реформация их ниспровергла. Привилегии дворянства были утверждены польским правительством; Стефан Баторий во многом их изменил; шведское правительство также утвердило привилегии и отменило некоторые из них, лишив, например, дворян права смертной казни над крестьянами, определив норму барщины, введя шведов в ландратские коллегии, и все это сделано было вопреки желанию и несмотря на протесты дворянства. Привилегии города Риги были утверждены как польским, так и шведским правительствами; между тем, в противность привилегиям, католикам отведены были две церкви и дано право свободного отправления богослужения, велено было магистрату испрашивать разрешения верховной власти на издание новых законов, введено было множество всяких податей и сборов, разрешено было дворянам покупать в городе дома. При русском правительстве установлен новый порядок апелляции, запрещено городам изменять от себя тарифы и вводить налоги на торговлю, все казенное управление преобразовано, магистрату велено представлять правительству отчеты в употреблении городских сумм, лицам всех христианских вероисповеданий даны равные права в составе обществ, отменено стапельное право города Риги и т. д. Наконец, все исключительные права, выпрошенные дворянством и которыми оно теперь пользуется, заключают в себе явные нарушения привилегий других сословий; так, например, уничтожение бургграфского суда, исключительное право покупать имения, право выкупа их и т. п.

Итак, мы видим ряд ограничений сословных и местных привилегий, обусловленных историческими событиями: принятием реформации, водворением государственного начала и постепенным его расширением на счет сословного. Если было так доселе, если верховная власть исстари пользовалась правом изменять и улучшать, подчиняя частные выгоды общественному благу, то признать в настоящее время привилегии безусловно неприкосновенными значило бы со стороны правительства осудить все свое прошедшее как беззаконное. Наконец, если дворянство считало позволительным нарушать привилегии среднего сословия и домогаться отмены самых существенных из них ради собственных своих выгод, то почему бы обязано было правительство считать безусловно для себя обязательными привилегии того же дворянства, в случае если бы благо другого сословия или всего края потребовало их отмены? Неужели правительство на то существует, чтобы служить покорным орудием для прихотей одного сословия?

С юридической точки зрения, защищать обязательность привилегий — значит не понимать их значения. Под привилегиею нельзя разуметь ничего иного как право, пожалованное кому-нибудь тем, кому оно по существу своему принадлежало, un droit octroyé, не договор, но акт свободной милости. Таково начало остзейских привилегий, определяющее их юридическое значение. Все они исходили от представителей верховной власти и более ни от кого исходить не могли. Заимствуя свою силу от соизволения верховной власти, они по этому самому были обязательны для всех лиц, ей подчиненных, но не для нее; обязательны в государстве, но не для государства. Русское правительство, принимая Остзейский край в свое подданство, застало в нем привилегии и утвердило их, но оставляя им прежнее их свойство, не изменяя их юридического значения; оно узаконило в них акты предшествовавших правительств, и в то же время вступило во все их права, в том числе и в право, по мере надобности, изменять и отменять привилегии. Это право ясно выговорено во всех подтвердительных и жалованных грамотах польских, шведских и русских. Везде мы находим вы-

ражения такого рода: утверждаем привилегии во сколько они согласны с общественным благом и публичным правом, или: без предосуждения правам и преимуществам верховной власти, или, наконец, как сказано в жалованных грамотах императора Николая: «елико сообразны они с общими государства нашего установлениями и законами». Нужно ли к этому присовокуплять, что первое условие существования государственного союза есть подчинение всех прав и интересов, частных, как местных так и сословных, пользам общественным, и право верховной власти, в какой бы, впрочем, форме она ни выражалась, решать без апелляции все вопросы, до пользы общественной относящиеся и приводить свои решения в исполнение? С уступкою или с разделом этого права было бы неминуемо сопряжено уничтожение или раздвоение государства.

Итак, можно спорить о том: нужно ли, полезно ли отменить привилегии; но смешно возражать на предлагаемые преобразования неприкосновенностью привилегий и обращать административные и политические вопросы в юридические; смешно даже верить в возможность неприкосновенности привилегий, прежде чем найдено средство остановить историю, прекратить умножение народонаселения, развитие торговли и промыслов.

Но довольно об этом. – Я разобрал подробно три ответа, повторяемые остзейцами в продолжении полутораста лет на все запросы и требования правительства и частных лиц; лучшего до сих пор они не придумали ничего.

VI

Вы, верно, ожидаете от меня, что я упомяну наконец о том событии, которое в последнее время возбуждало не столько здесь, но даже в Москве и Петербурге, столько противоположных толков, жарких споров и даже ссор, а именно: о переходе крестьян в православие. Я сам хотел бы разобрать его во всей подробности и ни одного из носившихся слухов не оставить без ответа, но для этого у меня не достает ни вре-

мени, ни материалов. Все что я могу сделать, это разобрать главные обвинения и определить точку зрения, с которой, по мнению моему, должно смотреть на предмет. Начну с краткого изложения дела.

В 1841 году толпы крестьян стали приходить к преосвященному епископу рижскому Иринарху с просьбами о присоединении их к православию, в надежде получить через это право на раздачу земель в какой-то теплой стране, как они сами выражались, или, по крайней мере, уменьшение барщины. Год был неурожайный, крестьяне терпели нужду, а слухи о раздаче земель, по свидетельству тогдашнего генерал-губернатора барона Палена, проникли в Лифляндию из Витебска. Барон Пален обратился к преосвященному Иринарху с просьбою не принимать более крестьян, не записывать их имен и отсылать их к светскому начальству; но он получил в ответ: «что записей у преосвященного не производится, а приходят к нему крестьяне, желающие принять православие, что запереть дверей для крестьян он не может без особенного на то разрешения, ибо это значило бы отказаться произвольно и без видимой нужды от одной из главных обязанностей, возлагаемых на него саном и местом, а отсылать приходящих к нему людей к гражданскому начальству считает излишним, ибо они являются к нему, уже побывав у гражданского начальства, что доказывают их бритые головы, и что при том полиция, окружающая его подворье, и без того берет их всех к допросам в губернское правление». Дворяне пришли в ужас и наполнили губернию и Петербурга рассказами об эмиссарах духовенства и разглашателях возмутительных слухов. Для обследования дела, генерал-губернатор нарядил особую комиссию, составленную из немецких дворян, которая доносила, между прочим, «что злой дух упорства распространился по всей стране, а с тем вместе глухое смятение, которое уже обнаруживается угрозами явного возмущения, кровопролития и опустошения; что дела дошли до того, что миролюбно устроить их невозможно; что списки имен крестьян тайно доставляются к епископу, а изъявляемые угрозы пред-

вещают кровопролитную развязку, которая состоится осенью того года в один день во всей губернии». В доказательство приводили, что несколько просьб о присоединении к православной церкви, о получении земель, уменьшении барщины были писаны для крестьян различными лицами и еще два-три обыкновенных случая неповиновения. Спрашивается: кто ж разглашал более ложные слухи? Те, над которыми наряжено было следствие, или те, которые его производили? По просьбе барона Палена Иринарху запрещено было принимать просьбы крестьян и двинуты были войска. Начался военный суд над непокорными крестьянами и приговоры исполнены были на месте. Между тем в губернское правление были собраны крестьяне и бессрочно отпускные из разных имений и объявлено им, «что отнюдь не есть воля Государя переселить крестьян или дать им земли, отняв у помещиков; что эти слухи распространены злонамеренными людьми, коих должно задерживать; что если кто из крестьян от истинного убеждения, а не по причине земных выгод намерен присоединиться к православию, то Государь не может и не хочет им это возбранять, но что они, крестьяне, вследствие присоединения к православию, не уповали бы на какие-либо земные выгоды, ни на переселение, ни на отведение земель в собственность». Отказавшись, по крайней мере на словах, от неосновательных своих надежд, крестьяне однако же, продолжали являться из разных мест с просьбами о присоединении их к православной церкви. Рижскому благочинному, который обыкновенно принимал их, как я сам от него слышал, предложили в то время значительную сумму денег с тем, чтобы он отказался от всякого участия в этом деле, потом к нему стали посылать безыменные письма с угрозами; но ни то ни другое средство не подействовало. Вскоре за тем по вторичному всеподданнейшему рапорту барона Палена, Преосвященный Иринарх 12 октября 1841 года был вывезен ночью из Риги через Митаву на Вилкомир, дабы миновать Кокенгузен, где производилась военная экзекуция, а православные священники, находившиеся в Риге, были переведены в другие

места. Рассказывают, что, переезжая через лифляндскую границу, Иринарх обратился назад и произнес следующие слова: «недостаточно одного для водворения православия – крови мученической; теперь и она льется, и через 10 лет, что бы ни делали, весь этот край будет православный». Об этих происшествиях судили различно: некоторые громко обвиняли наше духовенство: другие, не отрицая, что оно действовало неосторожно, видели главную причину в неурожае, в бедности крестьян и в поступках помещиков, раздраживших поселян. Все вообще полагали, что обращение к православию служило только предлогом; но позднейшие происшествия не оправдали этой мысли.

В 1845 году, несколько человек из числа рижской гернгутерской общины подали снова просьбы о присоединении их к православию, но уже без всяких посторонних домогательств, присовокупляя только желание, чтобы церковная служба производима была на латышском языке. Слух об этом взволновал все немецкое общество и подал повод к громким жалобам и даже протестам. Не имея более повода отвергать просьбы крестьян о переходе в православие, как неразлучно связанные с домогательствами о перемене их хозяйственных отношений, дворяне и протестантское духовенство с этого времени стали предъявлять требование, выражая его более или менее ясно, чтобы переход в господствующую церковь быль запрещен безусловно, но Государь разрешил исполнение желания просителей, и православное богослужение на латышском языке было открыто в Риге. Стремление к переходу не замедлило распространиться, сначала между крестьянами уездов: Рижского, Вольмарского, Венденского, Валкского, потом Дерптского и Верровского, Феллинского и Перновского, и, наконец, на островах Эзеле и Моне, притом с такою быстротою, что если бы не положено было преград для его замедления, весьма вероятно, что теперь народ во всей Лифляндии, а, может быть, во всем Остзейском крае, исповедовал бы православную веру. Дабы окончательно искоренить надежды на мирские выгоды, будто бы сопряженные с переменою веры,

обнародовано было, по повелению Государя Наследника, несколько пунктов относительно этого предмета из секретной инструкции, данной генералу Головину. Вместе с тем объявлено, что если кто, вопреки означенной публикации, позволит себе разглашать несбыточные ожидания, то подвергнется строгому взысканию, а злоумышленных разглашателей повелено предавать военному суду. Для председательствования в военно-судных комиссиях командированы были в Лифляндию свиты Его Императорского Величества генерал-майор Крузенштерн и четыре флигель-адъютанта, остававшиеся в крае несколько месяцев; но во все продолжение этого времени ни разу не представилось надобности дать им дело и нарядить военный суд.

Со стороны главного управления также были приняты разные меры для удержания крестьян от перемены вероисповедания из мирских побуждений. Во время поездки по Лифляндской губернии генерал Головин лично внушал крестьянам, чтоб они не питали тщетных надежд; то же повторяли командированные им чиновники, наконец, то же самое изложено было неоднократно в публикациях генерал-губернатора и сверх того прибавлено, что утверждающие противное сосланы будут в Сибирь. Для примера, я приведу вам отрывок из публикации 29 октября 1845 г., на двух языках, немецком и латышском; вот 2-й пункт: «Zu diesem Zwecke ist es erforderlich mit Vorsicht darüber zu wachen, dass von Seiten der rechtgläubigen Geistlichkeit keine Antriebs – Massregeln zugelassen warden, so dass die Andersgläubigen sich in voller Freiheit mit der rechtgläubigen Kirche vereinigen können, gemäss der dieserhalb vorgeschriebenen allgemeinen Ordnung und aus eigener Bewegung». 3-й пункт: «Von der anderen Seite hat keine örtliche Obrigkeit das Recht irgend Jemand die Annahme der im Reiche herrschenden Religion zu verbieten; denen aber, welche diesen Wunsch geäussert, ist zu erklären, dass sie in solcher Veranlassung keiue besonderen weltlichen Vorlheile zu erwarten haben, sondern vielmehr nach ihrer eigenen Ueberzeugung und ihrem Gewissen handeln müssen. Es vereteh›t sich hiebei von selbst, dass der zur rechtgläubigen

Kirche Uebergetretene, indem er aus der Zahl der Protestanstich-eingepfarrten ausscheidet, hiermit zugleich von allen bis dahin auf ihm lastenden Obliegenheiten gegen die protestantische Kirche und Geistlichkeit befreit wird, und zwar aus dem Grunde, weil er in die rechtgläubige Heerde eintretend, zugleich die Verpflichtungen hinsichtlich der rechtgläubigen Kirche und Geistlichkeit zu übernehmen hat, wobei jedoch alle seine Verbindlichkeiten gegen den Guts-Besitzer, auf dessen Grund und Boden er wohnhaft ist, auf das strengste aufrecht erhalten warden»*.

Но дабы эти публикации не были приняты за воззвание и не послужили поводом к возбуждению между крестьянами желания переменить веру в тех уездах, где оно еще не обнаруживалось, тамошним земским полициям означенные циркуляры сообщались только для сведения с тем, чтобы делать их известными, когда представится к тому надобность. Сверх этого, при записывании изъявлений желания переменить веру от крестьян отбирались подписки в том, что они побуждаются к тому религиозным чувством, не ожидая никаких выгод мирских и сохраняя все прежние свои обязанности к помещикам. Печатные экземпляры этих подписок заблаговременно распространены были между народом для лучшего разъяснения понятий, а записывание производилось в присутствии

* «Необходимо иметь ближайшее наблюдение, чтобы со стороны православного духовенства не было допускаемо никаких мер для побуждения крестьян к переходу и чтоб единоверцы могли присоединяться к православной церкви с полною свободою, по собственному влечению и сообразно с общим для сего установленным порядком». – 3-й пункт. «С другой стороны, никакое местное начальство не имеет права воспрещать кому бы то ни было принятие господствующей в государстве веры; тем же, которые изъявят подобное желание, должно внушать, чтобы они не ожидали по этому поводу никаких мирских выгод, но руководствовались бы единственно убеждением своим и совестью. Само собою разумеется, что перешедшие в православную веру, выйдя из числа протестантских прихожан, через то самое освобождаются от всех обязанностей, лежащих на них в отношении к протестантской церкви и протестантскому духовенству по той причине, что они, вступив в число православных прихожан вместе с тем должны принять на себя обязанность относительно православной церкви и православного духовенства, причем однако все их обязанности в отношении к помещику, на земле которого они живут, должны быть исполнены во всей строгости» *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

православного священника и членов полиции, земской или городской, следовательно, лютеранского вероисповедания. Наконец, по ходатайству дворянства, высочайше повелено было совершать обряд миропомазания или присоединять к православной церкви не прежде, как спустя шесть месяцев после изъявления о том желания и по истечение этого срока воспрещено было всякое разыскание о неявившихся к миропомазанию. Заметьте, что по церковным постановлениям даже язычников присоединяют после шести недель. Итак, помещикам и пасторам предоставлялась возможность в продолжение целого полугода действовать убеждениями, обещаниями и угрозами на всякого изъявившего желание перейти в православие. Согласитесь, что нужно было много твердости, чтоб устоять против шестимесячной пытки; не менее того, этою мерою переход в православие был замедлен, но не пресечен. Ко всему этому должно присоединить, что крестьяне не могли отлучаться из имений иначе, как с письменного разрешения помещиков; что запрещено было требовать билетов на отлучку более чем на $^{1}/_{10}$ часть всего рабочего народонаселения вотчины; что в 1845 году записывание было совершенно прекращено на всю рабочую пору; наконец, что не позволялось священникам во время объездов по деревням принимать от крестьян просьбы о присоединении их. Таковы были меры, принятые для испытания побуждений желавших переменить вероисповедание. Не только никто не подстрекал к тому крестьян, но даже, для предохранения их от опрометчивого образа действия и для успокоения помещиков и пасторов правительство само воздвигло всевозможные препятствия к переходу в православие. Так действовало правительство; посмотрим теперь, как действовали пасторы и помещики. Легко было предвидеть, что те и другие станут отчаянно противодействовать стремлениям крестьян. Первых, т. е. пасторов, побуждали к тому и уверенность их в превосходстве протестантизма и сословная честь и, наконец, расчет. Не говоря уже о том, что помещики, по их просьбе, завели обыкновение отсылать к ним для предварительного увещания, более или менее пастырского,

крестьян, просивших билеты, не говоря о проповедях и разных публикациях, содержавших в себе неприличные отзывы о православии и страстные упреки переходящим в него, я приведу вам только четыре случая, за достоверность которых ручаюсь, как примеры фанатического ожесточения, до которого дошли некоторые члены протестантского духовенства. Один из городских пасторов напечатал статью о проделках, которыми иезуиты в XVII веке соблазняли крестьян в Лифляндии к переходу в католицизм. Намерение было очевидно и проглядывало сквозь каждое слово. Это был пасквиль против православия и нашего духовенства, облеченный в форму исторической статьи. Представитель католического духовенства в Риге не мог однако же оставить без внимания оскорбительных отзывов о служителях Римской церкви. Узнав об этом, пастор, сочинивший статью велел сказать ему, что он вовсе не имел намерения нанести оскорбление католикам, но имел в виду православие и, не смея нападать открыто на господствующую церковь, прибегнул к иносказательной форме рассказа. Этого пастора удалили из Лифляндии, и весь негодующий край провозгласил его мучеником, тот самый край, для успокоения которого вывезен был Иринарх. – Дошло до сведения местная начальства, что в нескольких приходах пасторы положительно запрещали погребать на лютеранских кладбищах, умерших в православной вере крестьян, хотя бы при селениях не было отведено для них особого погоста, и несмотря на то, что в уставе лютеранской церкви велено хоронить на кладбищах всех, без различия вероисповедания. – В Риге знакомый мне православный должен был жениться на девушке лютеранского исповедания; родители были согласны, дело было улажено; но пастор объявил невесте, что если она выйдет за православного, то он проклянет ее, и свадьба расстроилась. – Другой пастор хоронил жену свою; толпа народа сопровождала его на кладбище и, когда стали опускать гроб в могилу, русский, находившийся на месте, в числе других стал пособлять и поддерживать гроб; пастор, увидав это, схватил его за руку и оттолкнул прочь.

Помещики имели особенные причины бояться перехода в православие. Кроме того, что единственная нравственная связь между ними и крестьянами упразднялась, как скоро последние покидали протестантскую кирку, они ненавидели в православном священнике лицо, становившееся в непосредственные сношения с народом, лицо, нисколько им не подчиненное и притом постоянного свидетеля их обращения с поселянами. Будучи собственниками земли, отданной крестьянам во владение, пользуясь правом по истечении контракта сгонять крестьян, обращать домохозяев в батраков и даже присоединять крестьянскую землю к господским полям (это право отменено лишь в 1846 году), и, кроме того, имея в своих руках всю полицейскую и судебную власть над крестьянами, помещики обладали огромными законными средствами противодействовать переходу. Что они пользовались ими, в этом ни один добросовестный человек не сомневается. Но, кроме этого, из бесчисленного множества жалоб, поданных крестьянами, из сознаний некоторых помещиков, из их же собственных рассказов, было видно, как часто они прибегали к притеснениям, совершенно беззаконным, например: всячески затрудняли выдачу отпускных билетов; под разными предлогами наказывали крестьян, изъявлявших намерение перейти в православие, как, например, у одного из лифляндских ландратов высечено было разом шестьдесят человек; удерживали их от явки к священникам по одним подозрениям; обижали православных при раздаче пособий в неурожайные годы; воздвигали множество затруднений и придирок при отводе мест для построения церквей и т. д. Наконец, в течение 15 месяцев, с 1 января 1846 г. по 1 марта 1847 г., в общем итоге крестьян, прогнанных из их усадьб, считается православных 152 человека, что составляет, по соображению с числом крестьян обоих вероисповеданий, втрое более православных, чем лютеран, а что эта система действия продолжается и теперь, на то я получил на днях несомненное доказательство. Следствие, наряженное по приказанию князя Суворова, обнаружило, что один помещик, приходской судья, отказал нескольким хозяевам в дальнейшем содержании

усадеб за то, что они перешли в православную веру. Все эти факты неопровержимо подтверждают то, что можно было угадать заранее, т. е. что против православия составится заговор помещиков и пасторов, известного рода пропаганда в пользу лютеранизма. Этому прямому, положительному образу действия правительство противопоставило одни отрицательные меры, т. е. оно ограничивало затеи протестантской партии и в редких случаях взыскивало с виновных за слишком явные и дерзкие попытки подавить православие или отомстить принявшим его крестьянам, но само собою разумеется, что редко случаи этого рода могли быть юридически доказаны. Взыскания постигали слепую ненависть и увлечение фанатизма, но ненависть, осторожная и зоркая, но ежедневные неуловимые ее успехи ускользали от всякого надзора. Со своей стороны местное начальство сделало все, что могло, неоднократными объявлениями оно внушало помещикам, чтоб они не отказывали крестьянам в выдаче билетов, не удерживали от явки к православному духовенству под предлогом, что поселяне руководствуются мирскими надеждами, а не религиозным побуждением, не отсылали их на увещание к пасторам и тому подобное; но что значили внушения и редкие взыскания против заговора двух сословий? Я показал вам, как действовали лютеранское духовенство и дворяне в качестве помещиков. Они же, как полицейские чиновники и судьи, постоянно клеветали на народ и обманывали правительство, выставляя стремление к православию бунтом против верховной власти и заговором против помещиков. Неосновательным и преувеличенным донесениям орднунгс-рихтеров, писанным с этою целью, несть числа. Я уже привел вам отрывок из донесения следственной комиссии 1841 г.; сообщу вам еще несколько примеров.

В 1845 году по поводу стечения крестьян в город Верро для присоединения к православию местные полицейские власти изъявили опасение беспорядков. Полагаясь на их показания, генерал-губернатор послал туда жандармскую команду, которой вскоре велено было воротиться, потому что опасения оказались преувеличенными. То же самое повторилось при

стечении крестьян в Дерпте; дворяне предвещали беспорядки, а командированные на место чиновники донесли, что спокойствие и порядок не нарушались ни разу, не только во время присоединения к православию, но даже во время бывшей тогда крестьянской ярмарки. Одинаково неосновательными оказались донесения Перновского орднунгс-герихта, по поводу которых командирован был Государем генерал-майор Крузенштерн и эскадрон казаков. В 1846 году Эзельский орднунгс-герихт довел до сведения генерала Головина по эстафете о беспорядках, возникших будто бы по случаю стечения крестьян на Эзеле, в городе Аренсбурге, для присоединения к православию; опять отправлен был по Высочайшему повелению тот же генерал-майор Крузенштерн, но и в этот раз донесения оказались вздорными, и Государь велел сделать строгий выговор виновным в неосновательном донесении, что и было сообщено всем прочим полицейским начальствам для их предостережения. Несмотря на все это, Вольмарский орднунгс-рихтер в декабре прошлого года, по первому рапорту какого-то мызного управления о волнении, произведенном между тамошними крестьянами сельским учителем, вместо того, чтобы отправиться на место и удостовериться в точности донесения, чего требовал долг службы, даже несмотря на то, что рапорт мызного управления получен был в суд спустя 10 дней по его отправлении, а с тех пор новых уведомлений не было, донес генерал-губернатору, что вся крестьянская община находится в полной тревоге (in roller Aufregung). Немедленно отправлены были на место чиновники на следствие, и оказалось, что хотя сельский учитель действительно распространял какие-то вздорные слухи, за что и был предан суду, но крестьяне, обратившиеся с вопросом о достоверности их к мызному управлению, а потом к православному священнику, были им вразумлены и спокойно разошлись по домам, не обнаруживая никакого волнения. Вследствие этого генерал-губернатор отдал Вольмарский орднунгс-герихт под суд за пристрастное донесение, а председателя его удалить от должности до решения дела, против чего протестовало губернское правление. Если так бессовест-

но клеветали на крестьян чиновники, подвергавшиеся ответственности за свои показания, притом в самой Лифляндии, в глазах начальства, которое могло и обязано было поверять на месте каждое слово, то вы можете судить о свойстве и достоверности слухов, распускавшихся в петербургских и московских гостиных, где неведение, доверчивость нашего общества и совершенная безопасность вызывали на выдумки и преувеличения. Корреспонденты лифляндцев, приезжие дворяне, их покровители и заступники рассказывали, например, что, ожидая ежеминутно кровопролития, они, ложась спать, прощались с жизнью, что эмиссары православия безнаказанно рыскали по всему краю, что крестьян насильно тащили к священникам, что им показывали на одном столе изготовленные блюда, а на другом пук длинных розог и говорили, указывая на первый стол: вот что ожидает тех, которые перейдут в православие, а указывая на розги: вот что приготовлено для упорных; что добровольно переходившим в православие выдавали от имени правительства по пяти рублей; что самих помещиков стращали угрозами и, наконец, что те из них, которые ревностнее других противодействовали переходу, были отравлены.

Все, чему верило наше высшее общество, не перечтешь; но и на то как возражать? Я понимаю возможность оспоривать ложный взгляд на целый ряд событий, опровергнуть неточный рассказ истинного происшествия; но что делать с чистым, голым вымыслом, что противопоставить ему, кроме такого же голословного отрицания? Пускай же верят или нет, а наше дело повторять во всеуслышание, что это ложь, а между тем она торжествует и будет подавлять голос правды, пока мы не научимся от наших противников стоять за правду так же единодушно, так же горячо как они умеют стоять за вымысел. Последнее обстоятельство меня не раз поражало, так например: я замечал, что даже те, которые хорошо понимали всю невероятность этих слухов и никак бы не решились распускать их от себя, не менее того, никогда не останавливали заносчивых рассказчиков и не опровергали небылиц, повторявшихся в их присутствии. Добросовестнейшие в таких

случаях отмалчивались и самым молчанием своим поощряли слушателей к безусловной доверчивости. Вы видите, что разглашатели ложных слухов были двух родов: одни сулили в будущем несбыточные блага, другие выдумывали в настоящем клеветы на народ, на духовенство и на правительство; первые увлекались потребностью перемены к лучшему их жалкой участи, вторые действовали по расчету; первые выходили из низших слоев общества – это были отставные солдаты, дьячки, мужики, слуги; ежедневный опыт обличал нелепость распускаемых ими обещаний, а их самих судили военным судом и наказывали шпицрутенами; вторые принадлежали к высшему, просвещеннейшему сословию, а наше общество вторило им безусловно и старалось вознаградить их своим соболезнованием за мнимые несправедливости правительства. Которые же из этих разглашателей были виновнее и опаснее? Наше духовенство с того самого времени как обнаружилось вторичное стремление к православию в 1845 году, было поставлено правительством под надзор местной полиции и устранено от всякого участия в деле, в котором оно, по-видимому, должно бы было играть самую важную роль. Записывать в присутствии полицейского чиновника имена желающих перейти в православие, а потом совершать над ними таинство миропомазания – вот чем ограничивалась его деятельность; по крайней мере этого требовало правительство, строго воспрещавшее ему идти на встречу к народу, вызывать обнаружение его стремлений, увещевать его и проповедовать. Сильная пропаганда протестантская организовалась сама собою; пропаганды в пользу господствующего в государстве вероисповедания православное правительство не дозволило. Это, во-первых, значительно повредило успеху самого дела; во-вторых, поставило наше духовенство в ложное, двусмысленное положение. Нет ничего труднее вынужденного бездействия в деле, возбуждающем в нас живое участие. Представьте себе положение одинокого священника, заброшенного в круг людей, ненавидящих в нем сан и церковь, которой он представитель. Он знает, что в нескольких шагах от него пастор в своих пропо-

ведях хулит православие и всеми средствами отводит от него народ; он знает, что помещик стращает крестьян, склонных к переходу, и мстит перешедшим; он видит, что местная полиция следит за, каждым его движением и ловит всякий повод к извету; он чувствует глубоко наносимые ему на каждом шагу оскорбления и должен молчать и выжидать скрестивши руки, чтобы каким-то чудом, безотчетное стремление простого народа проявилось вопреки всем козням. Сравните положение миссионера, окруженного язычниками; он видит перед собою смерть, но не видит ни заговора, ни интриг; самолюбие его не раздражается на каждом шагу; наконец, он может проповедовать, в его власти слово назидания и обличения. Я не берусь решить, в котором из этих двух положений труднее сохранить душевное спокойствие, и потому мне кажется естественным, что, не имея возможности действовать самостоятельно и положительными средствами, то есть проповедью, наше духовенство для ограждения интересов православия и перешедших в него крестьян, должно было ограничиваться пассивным наблюдением того, что делали вокруг него другие. Приходские священники начали обращаться к местному представителю православия с жалобами всякого рода от имени крестьян и от своего лица; из них многие оправдались, другие не могли быть доказаны, третьи оказались ложными; но все это набросило на духовенство невыгодную тень. А кто был виноват? Всего более возбуждало негодование дворянства то обстоятельство, что православные крестьяне обращались к священникам с жалобами на притеснения, которым они подвергались за переход в православие со стороны своих помещиков и пасторов, что священники принимали эти жалобы, иногда записывали и сообщали русскому епископу. Я готов допустить, что это во многих отношениях действительно могло быть вредно; но спрашивается: при настоящем устройстве края, к кому же следовало бы обращаться крестьянам? Неужели к орднунгс-рихтеру, помещику, протестанту и большею частию родственнику или приятелю лица, на которого приносилась жалоба? Могли ли крестьяне питать доверие к

местным гражданским властям? Можно ли было требовать от протестантов, чтоб они приняли к сердцу интересы ненавистной им церкви и рассорились за нее со своею братьею? И если бы священники отказались выслушивать крестьян, то каким бы путем последние стали доводить до местного начальства свои жалобы и мольбы о заступничестве? Не менее того, для отклонения всякого повода к неудовольствию дворян по сношению генерала Головина с епископом рижским предписано было священникам обращать крестьян, приносивших жалобы, к светским властям и ни в каком случае не записывать в присутствии самих крестьян содержания их показаний; наконец, по высочайшему повелению поставлено было духовенству в обязанность доводить до сведения епархиального начальства только о тех несправедливостях и притеснениях со стороны помещиков, которых сами священники были свидетелями. Итак, соображая скудость средств, оставленных нашему духовенству, несоразмерность их с препятствиями, воздвигнутыми противною партиею, сверхъестественные усилия, которых от него требовали, и всякого рода искушения, с которыми оно боролось на каждом шагу, нельзя, мне кажется, отрицать, что при всем том, оно вышло с честью из трудного испытания и снискало право на всеобщую признательность. Несмотря на то, что сношения его с народом были умышленно затруднены и ограничены, оно умело привлечь его к себе, заслужить его доверие, что в особенности раздражало пасторов, наконец, если переход в православие в продолжении двух лет ста тысяч четырехсот слишком человек, вопреки зловещим предсказаниям дворянства, совершился мирно, без малейшего нарушения не только повиновения властям, но даже порядка, то честь этого результата главнейшим образом принадлежит нашему духовенству. Между тем, те немногие из его членов, которые, будучи выведены из терпения, переступили пределы законной своей деятельности, подверглись строгим наказаниям, а эта великая заслуга осталась почти неоцененною.

Я старался показать вам роль правительства, роль пасторов и дворянства и роль нашего духовенства и не думаю,

чтобы можно было упрекнуть меня в пристрастном изложении фактов. Вы видите из них, что правительство не только не подстрекало к переходу, но даже всевозможными средствами затрудняло его. Оно как будто не верило в правоту самого дела, как будто стыдилось его и потому, ступив шаг вперед, немедленно отступало на два шага назад. Чего же еще требовало от него дворянство? Безусловного запрещения присоединять крестьян. А на чем основывалось это требование? На уверении, что крестьян побуждают к переходу мирские надежды, а не религиозные убеждения.

О том, что влекло крестьян к православию, я буду говорить ниже; а теперь разберем, имело ли право правительство исполнить домогательство дворян? Вопрос этот тождествен с вопросом: имеет ли право правительство судить не по делам и словам, а по сокровенным намерениям? Предложенный в такой форме, этот вопрос, кажется, не подлежит спору. Испанская инквизиция говорила еретику: ты уверяешь, что ты убежден в чистоте своей веры и что мои доводы не поколебали твоего убеждения, но я читаю в твоей совести и вижу, что ты притворяешься; не заблуждение, а упрямство заставляет тебя отвергать очевидную истину; ты преступник и потому ступай па костер. А если бы наше правительство стало на ту точку, на которую хотели поставить его протестанты, оно говорило бы латышу: ты уверяешь, что ты убежден в превосходстве православия; ты даешь подписку, что ты не ожидаешь от перехода никаких мирских выгод и будешь свято исполнять все прежние свои обязанности; но я вижу по глазам твоим, что ты ожидаешь чего-то иного, и потому я не пущу тебя в православную церковь, а отошлю тебя назад к твоему помещику, от которого ты узнаешь, какие выгоды ожидают желающих переменить веру. Помещики прославили бы такой приговор как верх премудрости: но что бы сказали они, если бы в ответ на поднесенные ими адресы правительство обратилось к ним со следующими словами: «Вы клянетесь в верности и уверяете, что вы гнушаетесь Германии; но вы благоговели перед нею вчера, вы питались теориями, ныне переходящими в дело, и потому

мне сдается, что ваше мнимое обращение есть притворство; не принимаю я ваших адресов и не верю в вашу преданность».

Но если правительство отталкивало переходивших в православие, то дворяне и пасторы своими увещаниями, угрозами и притеснениями всего более побуждали крестьян к переходу и утверждали их в надежде на сопряженное с ним улучшение в хозяйственном их быту. Привыкнув издавна видеть в помещиках и пасторах своих врагов, считать их выгоды несовместными с собственным их благом, поселяне рассуждали так: если дело неприятно помещику и пастору, то значит для нас оно выгодно, и вот как обратились в пользу православия меры, принятые для его подавления.

Таковы были внешние обстоятельства, мешавшие и содействовавшие стремлению крестьян; но гораздо интереснее дело само в себе, вопрос о сокровенных побуждениях самих крестьян к переходу из протестантской веры в православную церковь. Объявляю вам наперед, что сведения и наблюдения мои недостаточны для удовлетворительного разрешения этого вопроса, но более чем достаточны, чтобы убедить меня в том, что к нему приступали не с надлежащей стороны. Позвольте начать с высока. Мирное распространение православия между туземцами Остзейского края в XIII веке было пресечено нашествием крестоносцев. Какими средствами введен был католицизм, известно всем, равно как и то, что хотя церковь римская и утвердила свое владычество в Балтийском крае, однако вера латинская не проникла в убеждение народа. Протестантские летописатели исчерпали эту любимую их тему. Гиерн пишет: «Народ обращен был в христианство, то есть числился обращенным и платил на содержание духовенства, но на деле он не отстал от язычества и не мог ни познать, ни полюбить учения, которого никто ему не проповедовал». Другой историк пишет: «Ливонский орден мало заботился о религиозном просвещении народа; это ставилось ни во что; правда, католические священники объезжали страну и местами служили обедни, но могли ли они наставлять жителей, не зная их языка и не имея ни средств, ни времени научиться ему?» Последнее замечание

оправдывается следующим известием, находящимся в протоколах комиссии, ревизовавшей лифляндские приходы при Стефане Батории в 1584 году: «В Дерпте иезуиты делают быстрые успехи, проповедуя, *к удивлению народа,* на эстонском языке». Значит, это была новость.

Из официальной записки, поданной Фирстенбергу в 1558 году, видно, что наложили на народ особую подать в пользу школ, которые предполагали учредить для него и что он исправно ее уплачивал; но, по свидетельству современников, из накопленной суммы ни один пфенниг не был употреблен на школы. Гваньини говорит о Лифляндии: храмы чрезвычайно редки и встречаются только в замках (templa qnoque rarissima nisi in arcibus visuntur), и то, как видно из современных описей, только в значительнейших замках; к тому же это были домовые часовни, а не церкви. В XVI веке города и дворяне приняли протестантскую веру, прогнали католическое духовенство и перевели народ из римской церкви в лютеранизм. Как это совершалось, об этом молчат все летописи; но самое молчание их многозначительно. Принуждения, как кажется, не было, но потому, что не было со стороны народа никакого сопротивления, он так мало дорожил старою своею верою, так мало знал ее, что не думал и заступаться за ее служителей, и это самое доказывает случайность ничем не приготовленного явления протестантизма. Он мог возникнуть единственно из чувства глубокого пресыщения формализмом римской церкви в ее учении, в ее жизни, в ее обрядах; он предполагал за собою целый пережитой период религиозного развития, которого протестантизм являлся отрицанием. Но по этому самому мог ли он приняться в народе, которого едва коснулся католицизм и для которого истины христианства не иначе были доступны, как в образах и сквозь обрядовую сторону богослужения? Об этом не заботились протестанты. Гиерн говорит, что поселяне перенесли в свою новую веру суеверия языческие и католические, разумея под этим тризны и молитвы за усопших. Вообще, конец XVI века и первая половина XVII представляют совершенное затмение в истории

религиозного образования народа. Все монастыри, большая часть церквей и часовен были упразднены; католическое духовенство исчезло, а протестантское размножалось чрезвычайно медленно. В Риге в начале XVII века было не более трех пасторов. Сельские приходы были в запустении. Протоколы упомянутой выше комиссии свидетельствуют, что один и тот же пастор имел по три церкви в нескольких милях расстояния одна от другой. Спрашивается: мог ли народ привязаться к новой, навязанной ему вере? Не прежде как при шведском владычестве умножилось число церквей и пасторов, знавших местные языки; но в то же время, протестантское духовенство, получив сословную организацию, вовлечено было в борьбу сословных интересов. В последнее пятидесятилетие шведского владычества оно было постоянно занято спорами с гражданами и дворянами о своих доходах и своих правах и совершенно забыло о народе. Это пренебрежение к его нуждам продолжалось до наших времен. Я ссылаюсь на общую молву в Остзейском крае. Все сколько-нибудь беспристрастные люди скажут вам, что, за исключением нескольких лиц, духовенство так же чуждо народу, так же от него удалено, как и дворянство. Пастор в глазах поселянина сам не что иное, как вид помещика, помещик в длиннополом сюртуке, на которого он обязан отрабатывать барщину и которому уплачивает определенный оброк натурою и деньгами по установленной таксе за все церковные требы. Но, не говоря уже об отсутствии нравственной связи, сочувствия и доверия между народом и пасторами, последние навлекли на себя нерасположение первого непростительным пренебрежением к самым существенным обязанностям своего звания, которых точного исполнения требовал от них даже гражданский закон; так, например, чтоб избавиться от беспокойных разъездов по деревням для исполнения церковных треб, они возлагали часть своих обязанностей на школьного учителя, или посылали своих кистеров хоронить усопших, а сами предпочитали партию виста в теплой комнате в компании помещиков. Все это понимали и чувствовали латыши, хоть немцы и не называют их иначе

как глупыми – die einfältigen Letten. Повторяю опять: были и есть исключения, но можно ли сомневаться в справедливости упрека, обращенного к целому сословию, когда в книге, изданной остзейским уроженцем Меркелем в 1803 году, мы читаем следующие слова: «Определение пастора зависит от помещиков, и потому может ли придти в голову латышам подарить свою доверенность доверенному лицу своих угнетателей? Зато в некоторых округах народ называет пасторов церковными барами – Kirchenherrn... Многие из них не только не удерживают помещиков от притеснения крестьян и жестокого с ними обращения, но напротив поступают сами точно таким же образом... Некоторые совершенно превращаются в сельских хозяев и привыкают смотреть на церковные обязанности свои как на досадную помеху, на которую горько жалуются и которую, где только можно, сваливают на школьных учителей... Я сам, говорит Меркель, видел, как один пастор отказал похоронить умершего, потому что родственники его не были в состоянии заплатить ему за труды 4 или 5 грошей. Вследствие таких поступков, крестьяне начинают смотреть на церковные обряды как на особенный род налога, а на пастора как на акцизного сборщика». Статья, из которой выписаны эти строки, оканчивается следующими замечательными словами: «В разных землях встречаются священнослужители, не брегущие о своем ученом образовании, попадаются и такие, которые ведут развратную жизнь; но где, в какой стране видано, чтобы духовные пастыри обнаруживали открыто презрение к вверенной им пастве и подавали руку дворянству для совокупного ее угнетения? Единственный пример того предоставлено было явить Лифляндии»*. Заметьте, что все это, как я сказал, было писано в 1803 году, когда еще никто и не помышлял о православии. Книга Меркеля раздражила пасторов, но не вразумила их, а в прошлом году знаменитей-

* Dass Landprediger aufhören Gelehrte zu sein, dass sie ihre Gemeinde vernachlässigen, dass sie hin und wieder verdorbene Sitten an nehmen – findet man auch anderwärts; aber wo, wo sieht der Seelsorger mit erklärter Verachtung auf seine Anvertrauten herab? Wo verbindet er sich mit dem Adel, sie zu tyraniziren? Das ist ein Vorrecht Livland›s *(прим. Ю.Ф. Самарина).*

ший из проповедников Остзейского края в прекрасной речи, произнесенной с кафедры, высказал скорбные признания, составляющие как бы продолжение упреков Меркеля.

В каждой церкви отсутствие живой связи между духовенством и народом было бы великим злом; но в протестантской, где все основано на проповеди и на личном влиянии проповедника, где нет ни обрядов, ни образов, ни символического богослужения, ни легенд, оно еще важнее, ибо без него становится решительно невозможным религиозное воспитание народа.

Если все это сообразить, то мы придем к тому заключению, что ни католицизм, ни протестантизм не проник в жизнь народную; что религиозная потребность, врожденная латышам, как и всякому другому народу, не находила удовлетворения и что, не имея веры, они искали и просили ее. Этим объясняются и быстрые успехи герн-гутерства и стремление к православию. В нем хотели видеть переход из одной веры в другую, тогда как в сущности не было перехода, а было требование какой-нибудь веры. Таково было первое, почти всеобщее заблуждение.

Другое, не менее плодовитое, разделяемое некоторыми правительственными лицами, заключалось в том, что из отсутствия ясного, логического сознания религиозной потребности в народе, выводили заключение о ее неискренности или о совершенном ее отсутствии. Это, очевидно, было следствием сухого протестантского рационализма, который до того стесняет умы, что делает их неспособными понимать какое бы то ни было проявление жизни народной. От латышей пасторы требовали того, чего можно было требовать от ученого Пальмера, и когда на неожиданный вопрос, предложенный полицейским чиновником: «Зачем они переменяют веру», – латыши ничего не отвечали или отвечали вздор, пасторы восклицали с торжеством: «Видите ли, что они сами не знают, чего хотят», а помещики приговаривали: «Хотят-то они земли или отмены барщины». Я не считаю нужным доказывать нелепости этого вывода, но не могу не заметить, что когда дело шло о переводе народа из католицизма в лютеранизм,

предки нынешних пасторов и помещиков не тревожились сомнениями насчет искренности его обращения.

Затем представляется другой вопрос: почему именно потребность веры проявилась желанием вступить в православную церковь? Здесь также я считаю не излишним воспользоваться некоторыми историческими указаниями. Христианство впервые распространилось в Остзейском крае в форме православия; это доказано несомненно. Но, кроме того, есть отрывочные свидетельства, из которых видно, что оно не было вполне искоренено впоследствии. В эпоху орденского владычества в Риге существовала православная церковь, подчиненная епископу псковскому; в начале XVI века упоминается о русском монастыре в числе зданий, назначенных в сломку в том же городе. Одно из требований, предъявленных Иоанном Грозным перед началом Ливонской войны, касалось возобновления православных церквей в Риге, Ревеле и Дерпте. По уверению Тилемана-Брендебаха, некоторые из дерптских жителей, по взятии города русскими, перешли из лютеранизма в *Московский атеизм,* как выражается автор. В протоколах комиссии, ревизовавшей приходы в 1583–1584 годах, мы читаем: «В Пернове граждане держат пастора, который проповедует в церкви, принадлежавшей перед тем москвитянам. В Феллине граждане на вопрос: какой они веры, отвечали – старой, и оказывали священникам такое уважение, что даже бросались им в ноги». Не след ли это православного обычая? При посещении Нейгаузена на русской границе, «жители так испугались кардинала Радзивилла, что со всеми пожитками ушли в Русь, за три мили, и унесли в Псков драгоценный образ Божьей Матери из монастыря, называвшегося Пичур, подле которого в деревне, жило несколько москвитян, а все остальные жители походили более на русских, нежели на лифляндцев». В 1599 году в Феллине была православная церковь. В протоколах комиссии 1615 г. сказано: «В Ронебургском приходе в числе католиков найдено двое русских схизматиков, которых, впрочем, немедленно обратят в Римскую церковь – qui tamen ad ecclesiam brevi reducentur». Около местечек Розиттен, Людцен, Мариенгаузен

жители имели каких-то священнослужителей, которых называли попами – quos popos vocant... Вот известия, которые я нашел случайно, роясь в летописях и актах совершенно с другою целью; я не сомневаюсь, что их можно бы было найти несравненно более.

Когда Остзейский край присоединен был к России, многие из латышей и эстов перебежали в Россию и обратились в православие. Для отыскания и возвращения их на прежние места наряжаемы были несколько раз комиссии, но принявших православие велено было не отсылать назад. В начале нынешнего столетия, как рассказывал мне православный священник, долго живший в Лифляндии, четыре погоста Верровского уезда сами собою перешли в православие и, по их желанию, им поставили в священники бывшего их пастора. Конечно, в то время в Петербурге никто не заботился о распространении нашей веры в Остзейском крае. Наконец в 1840-х годах стало известным, что латыши, жившие на границе Псковской губернии, даже во внутренних уездах, издавна имели обыкновение перед посевами и жатвами приглашать к себе православных священников для служения молебнов, запасаться у них святою водою и маленькими медными образами, к которым они питали великое уважение. Это я узнал в Пскове и то же самое подтвердили мне многие из лиц, хорошо знакомых с Остзейским краем. Один священник, живший долго в Пернове, рассказывал мне между прочим, что к нему несколько раз приходили латыши за молитвами и наставлениями в случае семейных ссор или постигавших их несчастий и объявляли, что они это делали по совету своих старцев, к которым питали глубокое уважение. Из всего этого я вывожу не более того, что связь с православною церковью в Лифляндии никогда не прерывалась, что Латыши имели о ней понятие, что живые, совершенно свободные сношения между народом и нашим духовенством велись издавна, задолго до 1841 года, и что стремление к православию, обнаружившееся с такою силою в последнее время, кажется многим событием ничем не приготовленным, внезапным и беспримерным потому только, что причины его не разъяснены

или умышленно от нас закрыты и что мы, так сказать, не видим тех подземных ключей, из которых образовался поток, поражающий наши взоры неожиданностью и быстротою своего течения. История представляет немало подобных явлений.

Итак, я остаюсь при том убеждении, что в сущности, в основе своей, стремление народа было религиозное, свободное и не расчетливое. Этим я нисколько не думаю отрицать существовавших в нем надежд на какую-то перемену к лучшему в его житейском быту, но я уверен, что эта надежда порождена не злонамеренно распущенными слухами, а возникла сама собою и была выражением другой, не менее искренней и естественной потребности, притом не только в понятиях народа, но и в самой жизни, неразрывно связанной с потребностью религиозною. Хорошо нам отделять резкою чертою религиозное от мирского, жизнь духовную от жизни материальной; это возможно там, где все условия последней удовлетворены с избытком, где можно позабыть про нее, оставить ее в стороне и свободно уноситься в другой мир. Но таково ли положение здешнего крестьянина? Всеми своими потребностями и помыслами он прикован к земле, обречен на ежечасный материальный труд, едва достаточный для его прокормления, и при этом от него требуют логического рефлекса, утонченного сознания, раздвоения потребностей житейских от духовных!

Я вовсе не хочу сказать, чтобы мир духовный был недоступен поденщику; сохрани меня Бог от этой хулы на народ; но я говорю вообще, что его материальный мир сливается с духовным и просветляется им. Не так ли и в настоящем случае? Принадлежность к протестантской вере выражается для крестьянина зависимостью от пастора; отношения его к пастору определяются барщиною, таксою за требы и более ничем. Не естественно ли, что протестантская вера, равнодушие пастора, тягость хозяйственных обязанностей, необеспеченность положения и, наконец, отсутствие всякого сочувствия к его судьбе, все это сливается в его представлении в нечто целое, ненавистное ему; и действительно: в жизни все это нераздельно связано одно с другим. При этом он знает, что все улучшения в его

хозяйственном быту введены правительством, вопреки усилиям помещиков, знает и видит, что пастор предан помещику, а, наоборот, священник близок к народу. Неужели и в ваших глазах не оправдывается его убеждение, что всякое непосредственное сближение его с правительством и православным духовенством точно поведет к лучшему в его житейском быту, хотя и не уменьшится барщина и не раздадут земель? Право, народ не так глуп, как обыкновенно думают.

Итак, я не отвергаю, что потребности материального улучшения сочетались с потребностью религиозною; но отрицать последнюю потому, что обнаружилась первая, так же нелепо, еще нелепее, чем объяснять реформацию желанием содрать с икон золотые оклады, разграбить церкви и отнять имения у духовенства. Не знаю, примете ли вы мой взгляд на дело обращения; но вы, конечно, будете неравнодушны к известию, что теперь торжествует взгляд прямо противоположный, что нынешнее управление поставило себе задачею служить покорным орудием страстям и ненавистям немецкого общества и мстит нашему духовенству за прошлые успехи православия. Потомство оценит этот образ действия; я же не могу, не в силах в настоящую минуту передавать вам хладнокровно известий, ежедневно до меня доходящих. Все это слишком к нам близко и волнует кровь; но, чтобы дать вам понятие о господствующем расположении умов, я приведу вам два отзыва самих немцев. В тот день, как гражданский губернатор, разгласил с торжеством первое секретное отношение князя Суворова к епископу рижскому, в здешнем клубе немцы, встречаясь, поздравляли друг друга и весело потирали руки, повторяя: «русским попам генерал-губернатор наклеил нос – die Russische Geistlichkeit hat von dem Fürsten Souvoroff auf die Nase bekommen». Вот какою ценою покупается здесь популярность! А на днях я читал письмо, полученное из одного из лифляндских уездных городов, в котором сообщается известие о циркулярном предписании князя Суворова ко всем орднунгс-герихтам следующего содержания: «Оказывать епископу во время объезда его по епархии всевозможное уважение и содействие, дабы не дать

ему повода жаловаться на местные власти». Это предписание, как сказано буквально в письме, значительно поколебало популярность нового генерал-губернатора. Чего ж он дал право ожидать от себя?

VII

Я хотел написать вам еще кое-что о земледельческом классе, о податных сословиях городских обывателей и о здешних раскольниках; но недостает времени; отъезд мой приближается, а признаюсь вам, ступив на пароход, я хотел бы разделаться навсегда со здешним краем, оторвать от него мысль мою и, если удастся, удалить от себя все тяжелые впечатления, которыми я с вами делился. Но прежде, чем я поставлю последнюю точку, позвольте мне высказать вам pia desideria и примите их за вывод из всего предыдущего.

Отношение Остзейского края к земле русской, к правительству, положение русских, все это неестественно, ложно и требует коренного преобразования. Его может осуществить правительство, чего мы и должны ожидать. Но одно правительство, без содействия, по крайней мере, без сочувствия нашего общества, ничего не исполнит. Сколько раз оно приступало к делу и ни одного улучшения не могло привести к концу потому только, что всеобщий ропот неодобрения наводил на него сомнение в правоте его предприятий. Мы видели этому ряд примеров; самый же разительный у нас перед глазами: это – дело православия. Да! Общество наше заражено пристрастием и глубоко впитало в себя заблуждения, от которых по временам освобождалось правительство. И вот с чего должно начаться преобразование. Как скоро прояснится образ мыслей общества, оно совершится скоро и без шума; но до тех пор пока в Петербурге и даже в Москве повторяются толки о верности остзейцев, о царствующей в их крае законности, о святости привилегий, которыми нас убаюкивают остзейцы, до тех пор пока мы будем доверчиво слушать и повторять вздорные слухи, ловить с наслаждением всякую небылицу и клевету на на-

ших однородцев и наше духовенство, пока нельзя будет высказывать правду про Остзейский край, не прослывши якобинцем и в то же время шпионом, пока всякого заезжего лифляндца будут принимать как мученика, каким-то чудом ускользнувшего из-под колеса от ярости палачей и черни, пока русский генерал-губернатор, кощунствуя над духовенством и выдавая православие на поругание немцам, будет иметь право утверждать, что этим нисколько не поколеблется его популярность в России и пророчить с неслыханным самохвальством голодную смерть всякому, кто с ним не уживается; до тех пор что бы ни делало правительство, улучшения нельзя ожидать. А коренное преобразование, повторяю в последний раз, с каждым днем становится необходимее. Я желаю его от всей души не потому только, что продолжительное торжество лжи, обмана и злоупотреблений убивает всякую веру в правительство, не ради одних только русских, более пятидесяти лет страдающих за свою народность, но ради будущей судьбы самих остзейцев, которая вся заключена в России. Все простит им Россия, и старые и новые грехи; но для этого нужно, чтоб они покаялись и не выставляли грехов своих как заслуги; нужно чтобы изменились и их и наши понятия, дабы не возгорелась когда-нибудь та великая буря, о которой пророчил умирающий Ломоносов.

Всеподданнейшее письмо к императору Александру Николаевичу

Всемилостивейший Государь!

В половине истекшего ноября московский генерал-губернатор прочел мне бумагу, повергшую меня в горестное изумление.

В ней было все: обвинение, приговор и угроза. Я просил с нее копии, но оказалось, что генерал-губернатор не был вправе мне ее выдать; просил позволения, по крайней мере, тут же в

его присутствии записать на память главные статьи обвинения, но и это было запрещено. Наконец, я просил позволения представить мое оправдание, и генерал-губернатор согласился передать мою просьбу по принадлежности, но она осталась без ответа. Таким образом, я лишен был возможности предъявить мою защиту не только до произнесения приговора, но и после того, как он пал на меня, лишен был даже возможности вчитаться и вникнуть в обвинение.

Исключительность такого положения и явное недоверие, мне оказанное, внушили мне мысль повергнуть мое оправдание непосредственно к стопам Вашего Императорского Величества.

Всемилостивейший Государь! Простите великодушно смелость верноподданного, исходящую из несокрушимой веры в Высочайшее правосудие.

Первое обвинение, на меня падающее состоит в том, что я, не довольствуясь способами обнародования своих мыслей, открытыми всем в пределах Империи, начал издание мое за границею и, таким образом, нашел средство «обойти закон».

Да позволено мне будет сказать, что, имея полную возможность, спрятавшись за вымышленным именем, избегнуть всякой ответственности, я выставил свое полное имя на всех изданиях моих и вернулся в Россию накануне их выпуска в Берлине и Праге. Я действовал, по мнению некоторых, неосторожно, но, во всяком случае, открыто. Решите, Всемилостивейший Государь, заслужил ли я упрека в изыскании окольных путей и обходов?

Легко бы было доказать нередкими примерами, что один факт издания книги за границею, сам по себе и независимо от ее содержания, доселе не был вменяем в вину; но такая защита могла бы показаться отговоркою, а я считаю себя правым не только в моих действиях, но и в моих побуждениях, и потому приступаю прямо к откровенному объяснению причин, заставивших меня обратиться к заграничной печати.

Не потому не воспользовался я способами обнародования, дозволенными в Империи, чтобы находил их слишком

тесными для выражения моей мысли, а потому, напротив, что, по свойству вопросов, мною затронутых, я счел полезным на сей раз отказаться от тех законных гарантий, которыми само правительство, оберегая права и выгоды издателей, ограничило свободу своих распоряжений. По объему двух выпусков «Окраин России», книги эти, на основании § 1 п. 2 Высочайшего указа 6 апреля 1865 года, не подлежали предварительной цензуре. Я имел бы полное право напечатать их в России, не испрашивая на то никакого разрешения. Знаю, что, на основании § 14 Положения о печати, правительство могло бы, конечно, отобрать их до выхода их в свет, но, в таком случае, оно обязано бы было по закону начать против меня судебное преследование. Итак, если б я воспользовался моим правом, правительству предстоял бы выбор между двумя путями: ничем не ограничивать свободного обращения моей книги, или отдать меня под суд. Третьего исхода, а именно: чтоб можно было отобрать издание и не обращать дела к судебному рассмотрению, иными словами: отнять у меня мою собственность и отказать мне в праве судебной защиты – я не смею и предполагать, ибо, поступив таким образом, само правительство не только бы обошло, а прямо бы нарушило закон. Но на суде я, разумеется, был бы вынужден привести все то, что могло бы послужить к моей защите, а затем, суд мог бы приговорить, мог бы также и оправдать меня. Если бы последовало осуждение, то неизвестно еще, подчинилось ли бы такому решению общественное мнение, не всегда мирящееся с неумолимою юридическою строгостью суда, и очень может быть, что я прослыл бы мучеником. В случае же оправдания, я вышел бы победителем из печального столкновения с одним из правительственных ведомств. Если бы целью моего издания было удовлетворить чувству суетного тщеславия или произвести в обществе соблазн, я предпочел бы тот или другой исход всякому иному. Но у меня была другая цель, и я добровольно отказался от самого сподручного мне способа обнародования моей книги в пределах России для того именно, чтобы не ставить правительства в необходимость явно одобрить мою книгу или прибегнуть

к мере крайней строгости, подлежавшей по закону судебной оценке. Перчатку, брошенную России и ее правительству из-за границы, я поднял за границею. Там завязался между мною и моими противниками своего рода поединок; он происходит за пределами Империи, вне круга действий наших законов, и потому правительство даже и знать об нем не обязано. Его свобода ничем не связана. Не нарушая никаких законов, им же изданных, не выражая гласно ни одобрения, ни осуждения, оно может поступить с моим изданием как со всеми другими за границею выходящими книгами: пропустить их в Россию, или запретить их безусловно, или дозволить обращение их в ограниченном кругу читателей. Таково было главное побуждение, заставившее меня обратиться к заграничной печати; излагать его перед публикою я счел неприличным, но и скрывать его не имею причины.

Другое обвинение менее определительно и потому гораздо для меня опаснее. В прочтенной мне бумаге значится, что, порицая некоторые действия главных местных начальников Прибалтийского края, я подрывал доверие к правительству и тем самым косвенно касался самого авторитета Верховной Власти. Я повторяю лишь смысл обвинения, которое было мне прочтено, и, не имея перед глазами подлинных выражений, не ручаюсь за точную их передачу.

Вся книга моя, от первой строки до последней, посвящена защите государственных интересов России против неумеренных и постоянно возрастающих притязаний Остзейского провинциализма. Такая защита, сколь бы она ни была слаба и недостаточна, может ли быть сочтена вредною с точки зрения правительства, оберегающего те же интересы?

Чего хотело оно всегда и чего хочет теперь? Оно хотело и хочет, чтобы издаваемые им законы имели в Прибалтийском крае такую же обязательную силу, как и в других областях Империи; чтобы господствующая церковь стояла на подобающей ей высоте и не нуждалась, по крайней мере, в вещественных условиях своего существования; чтобы хозяйственное благосостояние крестьян обеспечено было твердо и

независимо от произвола или односторонних расчетов землевладельцев; наконец, чтоб русский государственный язык постепенно вводился в делопроизводство, хотя бы одних коронных инстанций. Эти намерения и цели так часто заявляемы были Верховною Властию, что я не мог не признать их за коренные начала, которыми местная администрация обязана руководствоваться. Ни одного из них я не порицал и не оспаривал. Напротив, я отстаивал их необходимость, законность и справедливость против ожесточенных нападок Остзейских корреспондентов заграничных газет. Так понята была моя книга всеми, и общее ее направление было в этом отношении столь недвусмысленно, что в Германии меня печатно заподозревали в том, что я пишу за деньги, по заказу правительства. Там я прослыл продажным пером, а дома подвергаюсь обвинению в политической злонамеренности. От заграничного обвинения я не ищу защиты, но да позволено мне будет сказать, что я не заслужил и домашнего.

Отдав себе отчет в целях высшего правительства, я обратился к практике и увидал следующее: Свод Законов общих и местных для губерний Остзейских теряет в том крае присвоенный ему авторитет и постепенно вытесняется ссылками на международные договоры; новообращенные в православие просятся вон из церкви, не находя в ней удовлетворения самым простым и настоятельным духовным своим потребностям; брожение в крестьянском сословии не прекращается и вызывает периодически карательные меры; безземельные батраки и обезземеленные хозяева, целыми толпами, снаряжаются куда-нибудь подальше от своей родины; введение русского языка не подвигается. Отрицать этого нельзя, и никто до сих пор даже не пытался серьезно опровергнуть мои показания. Такое бросающееся в глаза противоречие между действительностью и волею правительства естественно не может укрыться от общества. Известия из Прибалтийского края, даже помимо газет, проникают к нам бесчисленными путями и разносятся во все стороны. Вопрос о причинах указанного противоречия ставится сам собою, а объяснить его можно только двояким обра-

зом: предположить, что сама Верховная Власть, говоря России одно, для усыпления патриотического чувства, в то же время, под рукою, дозволяет противное в Прибалтийских губерниях, иными словами: обвинить ее в шаткости и в двуличности; или: сознаться чистосердечно в недостаточности действующих узаконений и в слабости административных мер. Середины тут быть не может. Когда практика так явно расходится с намерениями Верховной Власти, нет иного средства спасти достоинство последней, как подвергнуть правдивой критике действия ее уполномоченных. Такова была моя задача; я взялся за нее по убеждению и смею считать ее безупречною.

Но если в ней-то и заключается моя вина, то где предел дозволенного и воспрещенного? Полагает ли кто-нибудь возможным прославлять на одной странице, хоть бы, например, намерение правительства основать прочный, оседлый быт крестьян, а на другой радоваться тому, что меры для достижения этой цели, подсказанные местными Ландтагами, поколебали историческую связь крестьян с землею? Но ведь и здравый смысл имеет свои права, которых безнаказанно нарушать нельзя. За такого рода задачи честные перья не берутся, а статьи, написанные по заказу, никого не убеждают; у нас, публика, читая их, пожимает плечами, а за границею над ними смеются.

Или, может быть, от русского общества не ожидается ни одобрения, ни сочувствия, зато не принимается и критики, а требуется только, чтоб оно молчало и перестало интересоваться положением дел на наших окраинах?

Государь! Если бы в России мог прекратиться запрос на Ваши изображения, если б мы перестали всматриваться в Ваши черты, вслушиваться в Ваши слова, вдумываться в Ваши мысли, ловить с жадностью известия обо всем до Вас касающемся, словом, интересоваться Вами, это значило бы, что совершилось невозможное и что мы перестали Вас любить.

Если бы когда-нибудь русское общество повернулось спиною к Прибалтийскому краю, махнуло рукою на Польшу, забыло про Кавказ и Финляндию, отучилось вообще интересоваться своими окраинами, это бы значило, что оно разлюбило

Россию как целое. Тот день был бы началом ее разложения. В тот день возрадовались бы представители всех враждебных ей партий и народностей; Мирославский и Шедо-Фероттп, Герцен и фон-Бокк забыли бы на время свои разномыслия; они сбежались бы со всех концов Европы на братский пир и отпраздновали бы вместе канун политического крушения Империи.

Не к этому ли, очень еще недавно, вели наши враги в Варшаве и не с этого ли пути повернула нас твердая десница Ваша, когда, в виду угрожавшей нам Европы, Наше Величество не усомнились опереться на общественное мнение, в то время гласно и безбоязненно выражавшееся.

Может быть, есть люди считающие возможным в мирное время проповедовать обществу безмолвие, бессмыслие и безучастие, даже требовать от него этих добродетелей как верноподданнического долга, а в минуты опасности, вызывать общественные восторги и общественные пожертвования; но осмелится ли кто-нибудь оскорбить русское правительство предположением, что оно могло бы когда-нибудь усвоить себе подобную систему?

Говорят: да как же допустить общественный ропот? Государь! Если бы после Тильзитского мира вся Россия не возроптала, или, если бы тогдашние советники Верховной Власти обдали струею холодного недоверия этот ропот, несомненно несправедливый, но в котором выражалось не иное что как искреннее чувство народной чести, кто знает: поднялась ли бы вслед за тем та грозная волна народного одушевления, которая пронесла на себе через всю Европу в Бозе почившего Императора Александра I при громких кликах освобожденных им племен и улеглась у ног его не прежде как опустив его в столице Франции на Аустерлицком мосту.

Мне объявлено, что я провинился против Величества. В этом самое острие обвинения. Всемилостивейший Государь! Склоните снисходительный слух к чистосердечной исповеди верноподданного, просящего не милости, а правды.

Светская власть, во всей ее полноте и во всех ее видах, сосредоточивается у нас в руках Самодержца и от него ис-

ходит; по это не значить, чтоб степень личного его участия была одинакова во всех действиях правительства по части законодательства, суда и управления. Закон, пока он не отменен, должен быть исполняем безоговорочно, кем бы он ни был задуман и каков бы ни был сам по себе; перед судебным решением вошедшим в законную силу, хотя бы и несправедливым по существу, сопротивление не мыслимо; равномерно и администрация имеет право требовать безусловного себе повиновения, пока она действует в пределах закона, и каковы бы ни были ее действия – мы все это знаем, чтим и соблюдаем. Но следует ли отсюда, чтобы каждый параграф каждого Высочайше утвержденного Положения, непременно выливался из под самого сердца Монарха, или чтоб мы должны были, видеть мановения Державной десницы во всех, подчас неразборчивых приемах административной руки, хотя бы уполномоченной свыше? Я не задаю себе вопроса: есть ли какая-нибудь возможность этому верить, а спрашиваю только: позволительно ли желать, чтобы Россия этому уверовала? Если бы, в сознании всех подданных Империи, просвещенных и темных, образ Верховной Власти не отличался более или менее отчетливо от представления их о правительстве, самодержавная форма правления была бы не мыслима; ибо никогда никакое правительство не вознеслось бы на ту высоту, на которой стоит в наших понятиях Верховная Власть, и напротив, эта власть, ниспав на степень правительства, утратила бы немедленно благотворное обаяние своей нравственной силы.

Русский Самодержец ничем не связан в своих действиях и безответствен перед своими подданными – это значит, что нет в России другой, равносильной ему власти, облеченной в видимый образ народного представительства; но, независимо от ответственности, основанной на статье конституционного учреждения, существует в мире ответственность нравственная, от которой никакая власть на земле уклониться не может. Этой-то в точности неопределимой, но, несомненно, действительной ответственности, не вынесло бы на плечах своих и

русское Самодержавие, если бы все то, что ежечасно говорится от имени его и по уполномочию от него на всем необъятном протяжении Империи, приписывалось непосредственно Верховной Власти и принималось за безошибочное выражение ее воли и ее желаний.

Оттого, при Самодержавном правлении нашею историею созданном, правдивая оценка правительственных действий, а, следовательно, и добросовестная их критика, даже выражение ропота, ими подчас возбуждаемого и очень нередко несправедливая, не только не противоречить верно понятым пользам власти, но положительно ими требуются. Ибо, чем свободнее обсуживаются законодательные и административные меры, чем безбоязненнее заявляются злоупотребления, ошибки и упущения, более неизбежные у нас, чем где-либо, тем менее остается в руках злонамеренности благовидных поводов простирать обвинения до престола. Допуская добросовестную критику, сама Верховная Власть заявляет не только словом, но делом, что нет ее одобрения на действия, хотя бы и прикрытый ее именем, но противные правде и несогласные с общею пользою. Не оспариваю, что тем самым Верховная Власть отрекается от притязания на безошибочность, но кто же из русских Самодержцев считал себя безошибочным? – Такого притязания были чужды и сам Петр I и в Бозе почивший родитель Вашего Императорского Величества, как ни уверены были оба эти Монарха в своем несомненном праве самовластною десницею направлять родной корабль и ставить свое личное убеждение превыше толков и колебаний толпы. Такова, мне кажется, теория здравого политического консерватизма, выразившаяся во всей нашей истории и притом единственно возможная в настоящее время.

Но есть и другая теория, именно та, которой выводы теперь против меня обращаются. Она не терпит русского исторического воззрения, всегда отличавшего слугу от Государя и действия слуги от Державной воли; она сливает образ безответственного Самодержца с преходящею и изменчивою толпою временных правителей и темь самым, конечно, бес-

сознательно, затемняет в понятиях общества светлое олицетворение Верховной Власти.

Мне было сказано: вы позволяете себе критиковать законы, но они выражение Высочайшей воли; вы дерзаете осуждать действия областных начальников, но они облечены Монаршим доверием, они назначены самим Государем, приводят в исполнение Им начертанные инструкции, следовательно, вы оскорбляете Величество.

Таков смысл прочтенной мне бумаги; но верно ли в ней выражена мысль Вашего Императорского Величества? Государь, простите запавшее мне в душу сомнение.

Я не спрашиваю: строго ли последовательно проводится это учение и беспристрастно ли оно применяется ко всем законам и государственным деятелям. Я не стану доказывать, что, например, далеко не так ревниво охраняются от прикосновения критики, по-видимому, никого не оскорбляющей, Положения о крестьянах, о земских учреждениях и о судебной реформе; не стану напоминать, что Монаршее доверие, которым в свое время пользовался покойный граф Ростовцев, конечно, не в меньшей степени, чем другие, не защитило его, однако, не только от близорукой критики, но и от беспощадных нареканий; для моей цели достаточно показать, к каким неизбежным выводам изложенное учение привело бы, если б оно укоренилось, мыслящую часть русского общества. Все знают, что в Северо- и Юго-Западном краях, несмотря на усердие и несомненную благонамеренность генерал-губернаторов, стоявших в их главе несколько лет тому назад, крестьяне при введении Положения 19-го февраля 1861 года были обмануты и что уставные грамоты служили в руках польской шляхты средством раздражать народ против России. Скрывать этого нельзя, ибо известно, что когда правда обнаружилась, правительство было вынуждено начать дело сызнова, отменив прежде всего действия, уже облеченные в законную форму. Но если мы не в праве предполагать и говорить, что в этом случае, местные администраторы не в точности исполнили благие на-мерения

Верховной Власти, если мы должны считать их действия безупречными на том основании, что они пользовались Высочайшим доверием и были снабжены Высочайше утвержденными инструкциями, то этим самым не навязывается ли нашему сознанию то совершенно неотразимое заключение, будто бы все происходившее в то время, к явному вреду России, в Вильне и в Киеве, совершалось с ведома, одобрения и по указаниям Верховной Власти, никогда и ни в чем не погрешающей? Если мы не в праве сказать, не должны сметь и думать, что, облекая еще большим доверием маркиза Велепольского, Ваше Императорское Величество заодно со всею Россиею, одобрявшею это назначение, ошибались в понятиях Ваших о настроении поляков; если высшее правительство в то время наперед уже знало, что удаление из края русских чиновников, учреждение Государственного, Уездных и Городских Советов и другие меры, принятые под влиянием тех же понятий и надежд, облегчат организацию мятежа и послужат ему орудием, то этим самым не высказывается ли.... я не хочу и договаривать логически неизбежных последствий того учения, во имя которого пало на меня осуждение.

Ничего нет удобнее для лиц, стоящих во главе областей, как испрашивать себе Высочайших повелений во всех тех случаях, когда, при стечении обстоятельств, более или менее сложных, предвидится возможность ошибки. Вполне естественно такое желание умалить личную свою ответственность, прикрывшись перед Россиею нравственною ответственностью Самодержца; таким образом, местный администратор сам себя низводит на степень безгласного или невольного орудия Высочайшей воли, оставляя за собою право впоследствии судить о собственных своих действиях, даже, как это иногда случается, осуждать их, как бы действия постороннего лица. Все это понятно; но кто же разумнее служит пользам самой власти: тот ли, кто прямодушно указывает на упущения ее уполномоченных, или те, которые, ставя свои ошибки и послабления под защиту Высочайшего имени, тем самым раздвигают нравственную ответственность Верховной Власти перед современ-

ностью и потомством далеко за пределы прозорливости и деятельности физически возможных для одного лица?

Судить о достоинстве моей книги – не мое дело, но да позволено мне будет указать на ближайшие последствия ее появления. Едва ли нужно доказывать, что призрак племенной вражды между Русскими и Немцами не мною вызван и что не я за него отвечаю. Он появился в газетном мире задолго до того времени, когда я взялся за перо. Постоянные безыменные корреспонденции из Прибалтийского края издавна возбуждали против нас общегерманский патриотизм, подогревая его сказаниями о мнимых насилиях, будто бы совершаемых или подготовляемых правительством в угоду московскому фанатизму. Года два тому назад, некий фон-Бокк занял видное место во главе этой организованной клеветы и обратил на себя сочувственное внимание заграничной публики обманчивою точностью своих доносов на Россию. Известные ученые и журналисты приняли его под свое покровительство; он сделался в глазах Германии своего рода Лифляндским Оконелем. Обо всем этом уроженцы Прибалтийского края не могли не знать, но они упорно молчали. Ни один голос оттуда не раздался в обличение самозванца, никто не отрекся от выходца, никто не захотел разбить его авторитета перед немецкою публикою. Только но выходе моей книги, как будто одумались издатели местных газет, а за ними и все дворянское общество; наконец, даже общий тон Остзейских корреспондентов заграничных газет стал изменяться, переходя постепенно из враждебно наступательного в враждебно оборонительный. Считать ли все это вредом или пользою?

Слухи Балтийского происхождения о мнимо варварских замыслах и приемах правительства находили, как известно, отголосок и в наших столицах. Многие из Русских легкомысленно им вторили, другие недоумевали, третьи сомневались в законности правительственных начинаний и роптали на мнимую насильственность исполнения. Могу сказать без самохвальства, что и в этом отношении книга моя осталась не без влияния на уяснение понятий. Прежде порицались не редко

самые цели правительства и направление его деятельности в Прибалтийских губерниях; теперь, в понятиях многих, цели оправданы, необходимость неуклонного к ним стремления доказана, сомнения устранены и может оставаться разве лишь только сожаление о недостатке выдержки в действиях местных исполнителей. Не успех ли это?

Может быть, ожидания и требования, ныне высказываемые но поводу моей книги в кругу читателей, принявших ее сочувственно, бывают порою не чужды некоторой не терпеливой заносчивости; но не гораздо ли во всяком случае выгоднее для правительства иметь за собою общественное мнение, согласно с ним настроенное, сочувствующее его целям, положим, даже иногда забегающее вперед, но все-таки в том же направлении, чем видеть против себя мнение враждебное всем своим начинаниям, как бы стыдящееся их, по крайней мере холодное к ним?

В первом случае, правительству приходится только сдерживать свою собственную силу и являть далеким окраинам великодушную умеренность, исходящую свыше; во втором случае, оно поневоле должно подвигаться против двойного течения, преодолевая единовременно, на окраинах, прямое сопротивление, ободряемое пассивным настроением русского общества, а у себя дома – тупое безучастие или неразумный ропот. Не трудно бы было доказать, что неосязаемая сила этого домашнего, общественного отпора не раз как бы сдерживала развитие великих предначертаний истекшего царствования, имевших целью объединение наших окраин.

Я действую одиноко, на свой страх, как частное лицо, не испрашивая ни поощрения, ни одобрения. Если я ошибаюсь, пусть опровергают меня, пускай даже бранят и поносят; правительство не отвечает за меня ни прямо, ни косвенно. Но если, при полной моей независимости и при явном совпадении личных моих убеждений с целями и видами правительства, мне удалось хоть сколько-нибудь очистить дорогу, которою оно идет, от хлама нагроможденных на ней недоразумений и напраслин, если успех моей книги доказал балтийской публике,

что русское общество считает преобразовательные начинания правительства в том крае делом народного интереса и своим собственным делом, не облегчит ли это действия местной власти и не послужит ли ей в пользу?

В первом выпуске «Окраин» исчерпан политический вопрос, щекотливейший из всех, и возвращаться к нему я не думал. Неминуемое раздражение, им вызванное, скоро утихнет – балтийские и заграничные мои противники это знают; но им особенно нужно предупредить разработку частных административных вопросов о положении крестьян, о православной церкви, о городах. Они хотели бы лишить меня возможности доказать, что я говорил правду, и дойти до практических результатов. До сих пор, я слышал только личные на себя нападки, а возражения приберегаются для переду, в ожидании минуты, когда у меня отнято будет право отвечать. Не трудно предсказать, что последует, если их ожидания сбудутся.

Само собою разумеется, что, обезоруживая меня, подписывающего свое имя, правительство не в состоянии будет вырвать оружие из рук моих противников, то есть лишить слова немецких публицистов не русских подданных, ни даже остзейских их сотрудников, пользующихся удобством безыменных корреспонденций. Заграничная публика примет вынужденную мою безответность за несостоятельность, и я прослыву уличенным клеветником. Конечно, это еще не заслуживает особенного внимания, тем более, что всякий пишущий обязан оберегать сам свое доброе литературное имя; но не одна моя личность принесена бы была в жертву, а потерпело бы и дело, за которое я стоял. Известие о закрытии правительством издания, посвященного обороне русских интересов в Балтийском крае, было бы принято всею Германиею за невольное признание самого правительства в неправоте его преобразовательных начинаний. Остзейская публика, конечно, восторжествовала бы и, на первых порах, не поскупилась бы на изъявления своей восторженной признательности; но такое торжество расположило бы ее не к уступчивости, а, напротив, усилило бы упорство местного провинциализ-

ма. Наконец, сколько бы ни было взведено обвинений против моей книги, никогда наша публика не усомнилась бы в том, что я стоял за государственные интересы России, и потому запрещение моего издания естественно навело бы читателей на несчастную мысль, будто бы интересы России и интересы правительства не одно и то же. Можно ли этого желать?

Прочтенная мне генерал-губернатором бумага оканчивается угрозою. Действительно, довольно распространено мнение, что чувство страха должно непременно остановить всякого, по собственному желанию служащего своей родине посильным уяснением общественных понятий. Не мое дело судить о степени основательности и о практической применимости такого мнения; но, обращаясь лично к себе, считаю себя в праве сказать, что я не заслужил подобного подозрения. На пятидесятом году жизни, решившись начать мое издание, я знал, что говорить правду об Остзейском крае не безопасно, обдумал заранее все последствия и приготовился встретить безропотно и покорно как судебное преследование, так и административный произвол. Осмелюсь повторить сказанное мною вначале: я не укрывался от ответственности; готов и теперь принять обвинение перед судом в том виде, в каком оно будет предъявлено, не уклоняясь от рассмотрения его в существе, не ссылаясь даже, для моей очистки, на несуществование закона, который бы запрещал прибегать к заграничной печати.

Всемилостивейший Государь!

Объявленное мне Высочайшее неудовольствие не лишает меня ни личных, ни общественных прав моих; но в нравственном отношении оно для меня тяжелее всякого другого наказания. Тем не менее и как бы прискорбно мне ни было чувствовать на себе такое осуждение моих намерений и действий, я бы склонился молча перед приговором и не посмел бы, для личной моей защиты, утруждать настоящим объяснением Высочайшее Вашего Императорского Величества внимание, если бы не считал этого делом совести. Чувство нравственного долга побудило меня сделать все от меня зависящее для моего оправдания, главнейшим образом потому, что обвинение, по

моему убеждению не заслуженное, повело за собою, в настоящем случае, осуждение, павшее с высоты престола.

Этот долг верноподданного я теперь, в меру крайнего моего разумения, исполняю, повергая к стопам Вашим, Государь, чистосердечное выражение руководивших мною намерений и вместе политическую мою исповедь.

Знаю, что она легко может быть перетолкована и в таком случае обращена в тему для новых против меня обвинений; но меня успокаивает надежда, что Ваше Императорское Величество, может быть, Сами удостоите бросить на нее взгляд.

Могу сказать по совести, что в основе всех моих убеждений и действий лежит одно, искреннее желание, чтоб не расстроилось никогда между правительством и обществом то согласие и то взаимное доверие, которыми я дорожу вдвойне: как непременным условием всякого правильного преуспеяния и как лучшею, отличительною славою нынешнего царствования.

Вашего Императорского Величества,
Всемилостивейший Государь,

верноподданный
Юрий Самарин.

Москва.
23 декабря
1868 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Письмо И. С. Аксакова Е. Ф. Тютчевой о последних днях жизни Ю. Ф. Самарина

Основные сведения о жизни добываются из незавершенного издания его сочинений, а также из книги первого биографа Самарина Б. Э. Нольде. Серьезно проанализировав известные произведения славянофила, Б. Э. Нольде достаточно скупо и неясно завершает рассказ о его жизни[1]. Впервые представленное к публикации письмо И. С. Аксакова к Е. Ф. Тютчевой позволяет проследить за скоропостижным уходом Ю. Ф. Самарина. Автор письма выразил глубокий драматизм, переполняющий сердца близких людей. Ранее А. И. Кошелев отмечал: «<…> трагичность его кончины нас особенно поразила. Имея огромную семью – мать, братьев, сестру, и состоя в дружбе и приязни с весьма многими, он умирает в полном одиночестве, посреди чужих людей; сердечно и глубоко любя Россию и ее народ, он оканчивает свою жизнь на чужбине; восстававши постоянно и горячо против немцев, он в последние свои дни и часы окружен только немцами; известный не только в России, но и в Европе, он умирает в немецком Krankenhaus`е под чужим именем; наконец, православный христианин и ревностный поборник православия, он не имеет утешения веры при последних страданиях (священник приезжает, но находит его уже в беспамятстве), и церковь православная при русском посольстве не впускает к себе тело усопшего, и он отпевается в протестантской церкви!»[2]. В письме засвидетельствованы фак-

ты, которые собрал И. С. Аксаков со слов братьев Самарина и участников последующих событий уже в России.

Источник и адресат письма весьма не случайны. В последние годы жизни Самарина его близким единомышленником являлся И.С. Аксаков, в частности, многие проекты издательской деятельности обсуждались и исполнялись совместно. Объединяющим началом послужили потери дорогих обоим людей: А.С. Хомякова, К.С. Аксакова, Ф.И. Тютчева. Самарин перенес на младшего брата дружеское участие, которое его связывало с К. С. Аксаковым. Как известно, И. С. Аксаков был женат на старшей дочери поэта – А. Ф. Тютчевой; при этом он очень тепло относился к сестрам своей жены – Екатерине и Дарье. Для него не была секретом сердечная привязанность Е. Ф. Тютчевой. Об этом сообщает Э. Ф. Тютчева своему брату К. Пфеффелю в письме, отправленном также вскоре после кончины славянофила: «Самарину было 58 лет, он богат, блестящий светский человек и в то же время великий труженик. Он был очень обожаем Кити, не будучи, вероятно, сам слишком влюблен. Но она любила его страстно, и я думаю, если любовь угасла, ее заменила не менее страстная дружба»[3]. Поэтому в письме Аксакова ощущается внутренний диалог. Автор очень тактично передает ход трагических событий и старается быть как можно более предупредительным, чтобы успокоить чувство Е. Ф. Тютчевой.

Письмо хранится в РГАЛИ, фонд Аксаковых (Ф. 505. Оп. 1. Ед. х. 185. Л. 111–114 об.). По-видимому, документ представляет собой заготовленный черновик письма, который требовал дополнительной доработки при переписывании адресату.

28 марта
1876 года
Москва

Мой бедный, милый, дорогой друг, сейчас, получив твое письмо, услышал твой голос, который так хотелось мне слышать в эти дни, и именно такой голос, который мне желалось

услышать, простой, живой крик сердечной боли, который нисколько не исключает молитву, а лишь предваряет ее. К нетерпению своему, даже ожидал от тебя телеграммы и не писал тебе, потому что был смущен известием о твоем нездоровье. Только по мере того как вмещается в сознание потеря, понесенная нами в лице Самарина, понимаешь и чувствуешь то значение, которое он имел для нас – его ближайших друзей и товарищей. Присутствие среди нас человека с печатью высшего духа на челе, озаренного таким светом мысли, таким блеском таланта – поднимало высоко всю среду, точно так же как его грандиозная доблесть облагородствовала всякое дело, за которое он брался. И теперь все вдруг разом померкло, измельчало, опошлилось. Теперь все ярче и ярче выступает вперед то, что составляло основную стихию его духовного существа, заслонявшуюся нередко при жизни блестящей игрою ума, иронией, напускною веселостью и светскою внешностью – именно трагический, героический и аскетический элементы его характера. Этот человек, которого появление в гостиной мигом оживляло общество <…>, был именно самым серьезным человеком в России, постоянно священнодействующим – «духом горящим Господеви работающе». Трудно мне поверить до боли, дорогой мой друг, – но как утешительно было мне видеть это всеобщее единодушное сочувствие людей всех лагерей и партий. Все в нем лишились чего-то связанного с лучшею стороною души каждого, – даже люди, не знавшие его лично. Это просто удивительно и замечательно, что это сочувствие относится не к его книгам, не к его таланам, а преимущественно к его нравственному характеру гражданина. Его превосходство признавалось всеми, даже не возбуждая зависти. Но как грустно подумать, что не услышишь более этой речи, чье каждое слово точно вырезалось резцом на меди; что так много, много мог бы еще поведать этот человек и пролить столько умственного света в область самых темных вопросов… Целый мир мысли теперь закрыт – по крайней мере, для меня навсегда.

Твое отношение к нему, мой друг, несколько иное, чем мое к другу. Ты не можешь, конечно, испытать сиротства то-

варищества, – и самое гражданское его служение, даже и служение тем началам, которые были ему раскрыты первоначально Хомяковым, менее имеют в глазах твоих значение, чем его личный нравственный подвиг. Ты соприкасалась с тем, что было в его душе самого заветного и самого личного. И ты можешь <быть уверена> в том, что тебе был отведен в его душе самый «святой угол» – как в русских избах, под образом, куда не смела досягать ни ирония, ни шутка, где все было важно, свято, молитвенно…

Завтра, в день рождения моего покойного брата, память которого вместе с памятью Хомякова также жила в Святая Святых его души, привезут земные останки Юрия Самарина, и с железной дороги перевезут в университетскую церковь. Послезавтра, после отпевания, которое желает совершить сам Иннокентий, похоронят в Даниловском монастыре, где покоятся все Самарины и где лежит Хомяков… «Мы *трое* жили одною жизнью» – писал Самарин брату Константину после смерти Хомякова: теперь они опять все *трое* вместе. Несчастный Дмитрий Федорович, нежно любивший брата, приехал вчера вперед, так как гроб стоял в Петербурге целые сутки. Он привез фотографии, снятые с Юрия Федоровича умершего. Это едва ли не лучший из его портретов. На лице ни малейшего следа страдания, а какой-то торжественный, победный покой. Я взял себе экземпляр и пришлю также тебе один экземпляр; Анна[4] хочет его переплести в виде закрывающегося портрета, но что можно будет сделать не раньше, как после праздников.

К тем подробностям, которые с такою нежною любовью к тебе сообщала тебе Анна, многого прибавить нечего, кроме того, что Самарин настоял у своего доктора Левена по возвращении из Парижа в Берлин, чтоб он сделал ему разрез нарыва, образовавшийся на правой руке около локтя. Тот долго не соглашался, наконец уступил, и призванный хирург Вольф сделал операцию, которую, когда <рассматривал> самый нарыв, он считал делом самым неважным. Следовало прикладывать примочки и сидеть дома. Но Самарин в тот же день, поскольку условлено заранее, обедал у Араповых, ничего не сказал им об

операции, и они ничего не заметили, кроме <некоторой> слабости. На другой день он обедал на званном обеде, который в честь ему давали прусские чиновники, с которыми он занимался податным вопросом и его практическим разрешением в Пруссии. Вскоре немцы были озадачены его дарованием и, умея ценить таланты, чуть не благоговели перед ним. На этом обеде, где присутствовало человек 20, и в том числе один член прусской палаты депутатов, отвечая на тост о его здоровье, Самарин произнес речь по-немецки, длившуюся полчаса, произнес спокойно, ровно – и привел присутствующих в совешенный восторг, так что на следующий день ему поднесли они какое-то редчайшее <...>, кроме которого <остальные> Самарин сумел как-то отклонить. На другой день – т.д., на третий после операции Самарин уже не мог сам сделать себе перевязки на больной руке (правой) и прибег к помощи Stuhlenmädchen. После перевязки она заметила Юрию Федоровичу, что рука очень воспалена и примочки холодные едва ли годятся, но он настоял: левая рука его очень дрожала. В этот день Самарин <приготовил> телеграмму к Дмитрию Федоровичу, что он едет в Москву и что к его приезду на его квартире был Новацкий <...>. Но телеграммы он не послал (ее черновой подлинник сохранился), а на другой день в субботу пошел к своему доктору Левену, с которым он был очень дружен и часто с ним <вел> философские и богословские беседы. Левен, осмотрев руку, испугался, заметив воспаление злокачественного характера и потребовал от Самарина, чтоб он немедленно лег в больницу – Mailon de Sante, в Schönberg, в окрестностях Берлина, полчаса езды. Самарин дошел в свой Britisch Hotel, забрал свои вещи, которые уже не мог сам упаковать, и переселился в лечебницу, где тоже, осмотрев руку, не хотели было его принять, и приняли лишь вследствие письма доктора Левена, рекомендовавшего его как своего сердечного друга. Судя по скорбному листу, который привезен сюда Дм<итрием> Ф<едоровиче>м, температура крови доходила у него до 40 слишком градусов и в воскресенье уже начался бред, но потом ниспала до 38°. Его посещали ежедневно три доктора: Левен, Вольф и хозяин боль-

ницы Лёвенштейн (все евреи). Самарин потребовал, чтобы они объяснили его положение. Они не хотели его испугать, потому что – так говорят они – не считали его положение совершенно безнадежным, тем более, что он обнаруживал необыкновенную крепость духа, мужество, ясность мысли, как скоро жар крови не переходил за 40 градусов, никогда не жаловался. Доктора объявили ему, что у него местное воспаление, такое, при котором принято обыкновенно советовать больному составлять на всякий случай духовное завещание. «Этого мне не нужно, – возразил Самарин, – с почтой всегда у меня все в порядке, а что мне потребуется – это русский священник». Доктора заметили, что до этого еще не дошло. Тогда-то Самарин продиктовал письмо на немецком языке своему брату, именно 15 марта в понедельник, которое пришло в Москву вечером 18-го в четверг и вследствие которого Дмитрий на другой же день помчался в Берлин.

Во вторник навестил его Арапов, который заехав в Hotel, узнал, что Самарин поехал в Schönberg, и отыскал его там. Самарин был недоволен, что он нарушил его incognito, выражая опасение, что теперь все знакомые ему берлинцы и русские путешественники будут его тревожить визитами и проситься навестить, но общим своим видом не произвел на него особенно тяжелого впечатления. В среду доктор Вольф нашел его, к удивлению своему, сидящим, курящим сигару и читающим газету – с гангренным характером воспаления на руке! Самарин доказывал ему необходимость сделать ему разрез тела в правом боку, под плечом, на что тот не согласился и только дивился пациенту, который не перестает требовать, чтобы его резали. В четверг он нашел Самарина хуже, слабее: er studirte einen Brief[5], которое ему принесли из гостиницы. Это было *мое* письмо, в котором я приглашал его издавать вместе со мною небольшой, исключительно посвященный *критике* журнал, так как полемическая форма была самая свойственная его таланту! Самарин жаловался на упадок сил и к вечеру продиктовал по-немецки письмо к Арапову, в котором приложил его приказание, чтобы написать под его диктовку несколько русских строк

и, сколько мне помниться, просил прислать священника. Это письмо Самарин велел пометить пятницей – 19 марта. Письмо это осталось неотправленным и найдено у постели на столе. Немцы ожидали повторного приказания, и так как Самарин, взглянув на адрес, пробовал его исправить собственноручно (поставив Herra вместо Jhren Hochwieden) и, конечно, не совсем удачно – левой рукой – с помарками, то немцы стали в тупик – удобно ли отправлять письмо в таком виде. Между тем, отошли они его рано утром хоть в пятницу, поспел бы вовремя Арапов и священник!

В четверг вечером сделалась резкая перемена к худшему. В пятницу доктор Левен нашел его уже в состоянии неполного бреда: на настоятельные вопросы отвечал коротко, – ответы перемежались бредом. Поехали за священником. Левен поехал сам к Арапову, но кода тот приехал, часу в 3-м, уже начался непрерывный бред. Священник приехал также около того времени и нашел невозможным причащать и уехал. Арапов съездил домой, взял жену; когда они приехали, бред еще продолжался, за час до кончины прекратился: не говорящий ни слова, с открытыми глазами, он дышал прерывистым, коротким дыханием, которое закончилось одним долгим последним вздохом. Тотчас же начали служить панихиду. Когда на другой день приехали из Парижа братья Петр и Николай – все было убрано по православному обычаю. По дурацкому правилу в наших посольских церквях нельзя отпевать тел русских людей: они считаются придворными. Убри[6] предлагал, впрочем, поставить тело в посольскую церковь, перевезя его потихоньку ночью, на что братья не согласились и перевезли его в часовню на протестантском кладбище, где стояло распятие с одной крупной надписью: Christ ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn[7].

Нет сомнения, что Самарин уже зрел душою для смерти и давно к ней готовился. В Париже он произвел самое грустное впечатление своим видом. Сужу по письму княгини Черкасской к графине Воронцовой в день отъезда его из Парижа: она как-будто заранее его оплакивала. Состояние его здоровья было таково, что при взгляде на него сжимается сердце. Взгля-

нешь на тело – говоришь себе: что не жилец; послушаешь его – и сверкание этого ума, жизненная сила его речей – прогоняли образ смерти. Но думаю, что, ложась в больницу, он не предчувствовал смерти и не ожидал такой скорой развязки даже накануне. Трудно предположить, чтобы, готовясь к смерти, он захотел бы сохранить свое incognito, а межу тем даже последнее письмо к Арапову подписано не его настоящим именем. А между тем он два раза заявлял, что если что ему понадобиться, может быть, так именно русский священник. Что думал он, когда еще не терял сознания, в долгие бессонные ночи – на чужбине, среди иностранцев?

Так потратила Россия это сокровище ума и духа, это богатство талантов! Пошлость властвующая не дала им развернуться со всей силой в своем Отечестве и прогоняла на чужбину, чтобы там трудиться на пользу России! Хомяков вынужден был писать о Православии по-французски, и до сих пор – не позволяют перепечатать русского перевода без пропусков. Самарину пришлось в последнее время немцам по-немецки проповедовать Бога, которого он так непостыдно исповедовал, и свобода этой проповеди едва ли будет допущена в православной родной земле. Но придет время, когда Россия познает всю цену той тройственной плеяды, которая наметила начало ее всеполному просветленному народному самосознанию. Мне предстоит теперь одна задача жизни: сохранить – изданием их трудов, записью воспоминаний – назидательную вечную о них память для потомства.

В вокзале Николаевской железной дороги в Петербурге происходила встреча тела Юрия Самарина; служили панихиду, собравшихся было так много, говорил речь Янышев. Подошел один священник Тарчаков, профессор Петербургского университета, и просил дозволения сказать слово. «Давно горел я желанием, – начал он, – отдать лично земной поклон Юрию Федоровичу, с которым не был знаком; мне <предоставилось> нынче отдать этот земной поклон его праху…» Заключил он такими словами, что Русская Церковь молится за всех, отдающих свою жизнь за Отечество, за родной народ и зем-

лю, что Юрий Самарин принадлежит к их числу, потому-то и потому-то… И богослужебным голосом возгласил: «Помолимся об упокоении раба Божия Юрия, положившего живот свой за Отечество свое…» Это произвело потрясающее действие – последовал общий плач.

Христос с тобою, мой милый друг, сестра Кити. Береги свое дорогое нам всем здоровье. Силы духа твоего не дадут унынию овладеть тобою. Ты от себя дала добро нашему другу, он с этим добром в душе и умер. Прощай, мой друг, обнимаю тебя от всего сердца. У Дарьи Ивановны[8] целую ручки.

Твой друг и брат Ив. Аксаков.

КОММЕНТАРИИ

Вклад Ю.Ф. Самарина в развитие русской мысли XIX века велик, это отразилось в его богословских, политических, литературных и философских трудах, некоторые из которых еще ожидают своего представления читателям. К философскому наследию Самарина обращались в конце XIX века*, опыт написания его биографии предпринят Б.Э. Нольде в 20-х годах XX века**, затем в советское время ему посвящены научные исторические исследования его политической деятельности отечественных и зарубежных ученых***. В последнее время на страницах журналов и газет появляются отдельные

* Миллер О.Ф. Ю.Ф. Самарин. Опыт характеристики. // Славянство и Европа. СПб, 1877.Неделя. — 1876. № 19, 23, 26.; Колубовский Я.Н. Материалы для истории философии в России: Славянофилы // Вопросы философии и психологии. 1891. — № 6. — С.74—88; Введенский С.Н. Основные черты философских воззрений Ю.Ф. Самарина. — Казань.—1898.

** Нольде Б.Э. Юрий Самарин и его время. Париж, 1926. — 2-е изд. — Paris: YMCA-Press, 1978; – 3-е изд.– М., 2003.

*** Соловьева И.Н. Либеральное дворянство в период подготовки и проведения крестьянской реформы 1861 г. (Ю.Ф. Самарин): Автореф. дис. канд. ист. наук. М., 1951; Исаков С.Г. Остзейский вопрос в русской печати 1860-х гг..//Уч. зап. Тартувского ун-та. — Тарту, 1961. — Вып.107. ; Дудзинская Е.А. Общественная и хозяйственная деятельность славянофила Ю.Ф.Самарина в 40—50-х гг. XIXв.//Исторические записки. — 1984. — Т.110. — С.312—333.; Thaden E.C. Conservative Nationalism in Nineteenth-Ctntury Russia. Seattle,1964.; Thaden E.C. Samarin`s Okrainy Rossii and Official Polici in the Baltic Provincts// Russian Review, 1974, № XXXIII. P. 405—415.; Hucke Gerda. Jurij Fedorovic Samarin. Seine geistesgeschiechtische Position und politische Bedeutung. Munchen, 1970; Calder D.C. The political Thought of Yu.F.Samarin 1840—1864. New Yourk and London, 1987.

статьи[*], где отмечается недостойное забвение имени Самарина, которое по-новому предстает в свете современной научной мысли.

Основным источником текстов публицистических работ Ю.Ф. Самарина остается собрание его сочинений (*Самарин Ю.Ф.* Сочинения: Т. 1–10, 12 М., 1877–1911). Ссылки на это издание даются в тексте примечаний, указывая на фамилию, номер тома и страницу. Также воспроизводятся примечания первого издателя сочинений – младшего брата – Д.Ф. Самарина, который расширил тексты за счет историко-культурного контекста. Учитываются и другие источники текстов: *Самарин Ю.Ф.* Избранные произведения / Сост. и автор вступ. статьи Н.И. Цимбаев. М.: РОССПЭН, 1996. *Самарин Ю.Ф.* Статьи. Воспоминания. Письма / Сост. и автор вступ. статьи Т.А. Медовичева. М.: ТЕРРА, 1997. Тексты воспроизводятся с сохранением авторской орфографии и пунктуации, исключая случаи расхождения с современными нормами. Сноски в тексте принадлежат автору и издателю собрания сочинений. Расположение материалов не придерживается хронологического порядка.

В данном издании ряд работ Ю.Ф. Самарина публикуются впервые после 1917 г. Среди них «Разбор сочинений К.Д. Кавелина «Задачи Психологии», «Революционный консерватизм», «Письма из Риги» и др.

Список сокращений

Самарин 1996 – *Самарин Ю.Ф.* Избранные произведения / Сост. и автор вступ. статьи Н.И. Цимбаев. М.: РОССПЭН, 1996.

Самарин 1997 – *Самарин Ю.Ф.* Статьи. Воспоминания. Письма / Сост. и автор вступ. статьи Т.А. Медовичева. М.: ТЕРРА, 1997.

* Плотникова И.П. Поднадзорный славянофил Самарин//Литературная Россия — 1990. — 8 июня.; Воропаев В.А. “Катехизис необыкновенно замечательный”//Литературная учеба. — 1991 — № 3. — С.129—131. ; Пивоваров Ю.С. “Самарин, а не ваши Скитальцы...”//Мир России. Universe of Russia. — 1995. — Т.4. — № 1. — С.181—212. См.также: Йосифова П.С. Ю.Ф.Самарин в общественной жизни России): Автореф. дис. канд. ист. наук. М., 1991.; Цимбаев Н.И. Ю.Ф.Самарин.// Самарин Ю.Ф. Избранные произведения. М., 1996. С.3—14. ; Медовичева Т.А. Предисловие.// Самарин Ю.Ф. Статьи. Воспоминания. Письма. М., 1997. С. 5—14. Назарова Т.А. Общественно-политические взгляды Ю.Ф. Самарина. М., 1998.

РБС – Русский биографический словарь. С.–П-г., 1904. Сабонеев–Смыслов. Репринт. воспр. М., 1999.

РБ – «Русская Беседа»

РВ – «Русский Вестник»

ПРЕДИСЛОВИЕ К БОГОСЛОВСКИМ СОЧИНЕНИЯМ А. С. ХОМЯКОВА

Печатается: Самарин.VI. С. 327–370.

Автор отражает свою жизненную позицию, подтвержденную реальным опытом. Ю. Ф. Самарин относился к А. С. Хомякову как к своему наставнику, который в тяжелый момент помог ему в определении собственных приоритетов. 40-е годы XIX столетия носят печать господства философии Гегеля над молодыми умами. Кем-то она овладела навсегда и стала путеводителем в жизни, кого-то поставила в тупик нравственного выбора. К последним относился Ю. Ф. Самарин. Идеи Гегеля внушили Самарину стремление исправить «недостаток» православия – отсутствие научного обоснования веры, тогда как западные учения Христианства имели под собой твердую, рационалистически обоснованную почву. К этому предприятию Самарин приступил с осознанием великой задачи, а в итоге очутился в «нравственном и идейном кризисе», когда ему предстояло разрешить вопрос соотношения духа и разума, религии и науки. Религиозная природа Самарина не позволила совершиться надуманному, противному истинной вере, но сам он в том не сразу разобрался. Именно Хомяков, глубоко православный человек, свободный от господствующего умонастроения, помог ему раскрыть «область света, атмосферу Церкви». Перед Самариным разрушилось химерическое здание умозаключений в отношении религии. В предисловии к богословским трудам Хомякова Самарин отвечает противникам православия, что оно «не участвовало в саморазложении Христианства – это был главный порок его». Хомяков уберег Самарина от порока рационализма в вере. Здесь же Самарин отмечает: «Кажется при свете происходящего на наших глазах, пора наконец уразуметь, что латинство и протестантство и вся выработанная ими система доказательств не более как

проводники к неверию, и что все нами оттуда заимствованное обращается нам же в пагубу, подавая рационализму единственное орудие, какое только он может с успехом обратить на нас». Влияние Хомякова на Самарина отражено в небольшом письме, хранящемся в РГАЛИ (Ф.10. Оп. 4. Ед. хр. 176. Лл. 1–1об.) На первом листе надпись «Юрию Федоровичу Самарину». На обороте письмо начинается с помет, сделанных не рукой автора: «1844», «О диссертации».

«Очень трудно мне отвечать Вам, любезнейший Юрий Федорович, потому что во всем почти согласен с Вами. Некоторые места, в которых я не согласен, взяты уже другими. Если время позволит, я думаю на Вас напасть за то, что Вы ставили в упрек Стефану отсутствие сочувствия к вопросам современным и это сочувствие ставите в похвалу Феофану. Стефан, как мог, говорил против Реформы, ибо она делалась во имя разума, а Феофан говорил против староверов, ибо они действовали во имя Церкви. - Следовательно: Церковь обязана была это как-то отразить. — Также Феофан в похвалу Петру говорил, что он Епископов хотел <освятить>. Из этого выходит: не ученье, а помощь духовная нужна Христианину, ибо Христианство не наука и наукообразным быть не может. Следовательно: он вполне Православен. Также и Богословием названа полемика. Из этого также видно, что к положительному Богословию он не стремился, к только отрицательному. Поэтому собственно протестантства в нем нет.

Ваш А. Хомяков»

Обращает на себя внимание такт автора письма, его уважительный характер, стремление не оскорбить человеческое достоинство адресата при замечаниях. В то же время присутствует уверенность в собственных словах, так как Хомяков был авторитетным историком Церкви и, самое главное, он «жил в Церкви», именно это и определило окончательный выбор Самарина в трудный для него период духовного становления.

ОБ ОТНОШЕНИИ ЦЕРКВИ К СВОБОДЕ

Печатается: Самарин VI. С. 555–562.

ПО ПОВОДУ СОЧИНЕНИЙ МАКСА МЮЛЛЕРА ПО ИСТОРИИ РЕЛИГИЙ

Печатается: Самарин VI. С. 492–523.

Статья относится ко времени последнего пребывания Ю.Ф. Самарина в Берлине в конце 1875 – начале 1876 годов. Д.Ф. Самарин отзывался об этом периоде последних месяцев жизни старшего брата: «В это время мысль богословская была снова пробуждена в нем сочинениями Макса Мюллера по истории религии. Они послужили темою для продолжительных бесед об основных началах религии с одним из профессоров берлинского университета, знавшим лично Мюллера, почти ежедневно видавшимся с Ю. Ф. и, конечно, не разделявшим его православного образа мыслей. По вызову своего собеседника, Ю. Ф. изложил письменно те мысли, которые он развивал в беседе устной. В двух законченных статьях, написанных по-немецки, Ю. Ф. старался выяснить психическую основу сознания бытия Божия и разницу между понятием о *бесконечном*, которое Мюллер кладет в основу религии, и понятием о *Боге.* Кроме того прения касались, как писал Ю. Ф. своему другу баронессе Раден, и сущности чуда и вопроса, можно ли проводить твердую, непереходимую границу между нравственною свободою, с одной стороны, и логической, точно так же как и вещественной, необходимостью — с другой стороны. Таким образом, в городе, в котором на месте прежнего Берлина, по выражению Ю. Ф., стоял «новый Иерусалим, говорящий по-немецки», он «открыто выступил в борьбу за веру в бытие Бога и в бессмертие души человеческой», как сказал о нем в надгробном своем слове его духовный отец, протоиерей А. О. Ключарев» (*РБС*. С. 133–146)

ПИСЬМА О МАТЕРИАЛИЗМЕ

Печатается: Самарин VI. С. 540—554.

ИЕЗУИТЫ И ИХ ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ

Печатается: Самарин VI. С. 1–261.

Д. Ф. Самарин приводит отзыв Н. П. Гилярова («который сам был замечательный мыслитель-богослов») об этом труде: «Какое тонкое понимание, какой прорезающий анализ в его «Иезуитах»! Лучшей оценкою силы этого сочинения служит то, что орден Лойолы не дерзнул даже выступить с ответной полемикой: прием, между прочим, предсказанный самим бессмертным автором» (*РБС*. С. 133–146)

[1] Cle□ment XIV supprima, il est vrai, l'Institut, de la compagnie, mais sans *le condumner* (!?). De l'existence et de l'institut etc. — Климент XIV отменил религиозный орден как неприличное общество. Равиньан П. История ордена иезуитов *(фр).*

[2] Rue des postes. — «Почтовая улица» *(фр.).*

[3] De l`existence et de 1`institut des Ie□suites par le P. Ravignan. — Равиньан П. История ордена иезуитов *(фр.).*

РАЗБОР СОЧИНЕНИЙ К. Д. КАВЕЛИНА «ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИИ»

Печатается: Самарин VI. С. 371–445.

Кавелин Константин Дмитриевич – (4 ноября 1818, С.-Петербург, – 3 мая 1885, там же), историк, правовед, публицист, общественный деятель. Автор одного из первых либеральных проектов отмены крепостного права (1855), участник подготовки крестьянской реформы 1861 г. Сторонник реформ при сохранении самодержавия и помещичьего землевладения. Наряду с Б.Н. Чичериным Кавелин – основатель государственной школы в русской историографии. Труды по истории Древней Руси, русскому праву: «Взгляд на юридический быт Древней России» (1847), «Краткий взгляд на русскую историю» (опубликован 1887) и др. Пытался примирить противоположные воззрения идеалистов и реалистов на психические явления в работе «Задачи психологии», впервые опубликованной в «Вестнике Европы», 1872 г., кн. 1–4 и отдельно в том же году.

[1] Vaut mieux tard que jamais – лучше поздно, чем никогда (фр.)

[2] sich dasjenige vorstellen zu wollen, was Sache des Denkens ist – желание изменяться – дело мышления *(нем.).*

[3] *generatio aequivoca* – рожденную свободу *(лат.).*

[4] portent a□ faux – ложный плод *(фр.).*

<НА ЧЕМ ОСНОВАНА И ЧЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ В РОССИИ >

Публикуется по: Самарин 1997. С. 58–67. Автограф – НИОР РГБ. Ф. 265. Карт. 223. Ед. хр. 3. Л. 1–28.

«Статья в подлиннике не имела заглавия. Настоящее заглавие было придумано П. Ф. Самариным при подготовке статьи к публикации в неизданном одиннадцатом томе «Собрания сочинений» Самарина. Написанная в 1853–1856 гг. статья не предназначалась для печати, отсюда — некоторая шероховатость стиля, столь несвойственная Самарину. Статья представляет интерес для изучения политической теории славянофилов, т. к. в ней сделана попытка аргументированного изложения взглядов на самодержавие, обоснования идеи о его надклассовой природе» (Самарин 1997. С. 243).

ЧЕМУ ДОЛЖНЫ МЫ НАУЧИТЬСЯ?

Впервые (без купюр): Самарин 1997. С. 74–88. Публикуется по этому изданию. Подлинник: НИОР РГБ. Ф. 265. Карт. 223. Ед. хр. 8. Л. 1–47 (наиболее полный вариант, сохранившийся в рукописной копии, с правкой Ю. Ф. Самарина).

Первая и единственная попытка опубликовать статью была предпринята в 1891 г. профессором Московского университета П. С. Тихонравовым в «Сборнике общества любителей российской словесности на 1891 г.» (М., 1892). Но по цензурным соображениям статья была вырезана из сборника, и почти все экземпляры ее уничтожены. Один из сохранившихся экземпляров статьи находится в РГБ среди книг, ранее принадлежавших профессору университета Н. И. Стороженко.

Статья была написана в 1856 г. <…> Понимая, что статья не может быть напечатана в России, Самарин решил передать ее А. И. Герцену для помещения в «Голосах из России». Об этом свидетельствует запись П. Ф. Самарина на первой странице рукописи: «Эта рукопись передана была Ю. Ф. князю М. А. Оболенскому для доставления Герцену, но до Герцена она не дошла» (Самарин 1997, с. 245).

<ПО ПОВОДУ ТОЛКОВ О КОНСТИТУЦИИ>

Впервые: Русь. 1881. № 29. Разд. IV. С. 13—14. Публикуется по: Самарин 1997. С. 96–98. Автограф: НИОР РГБ. Ф. 265. Карт. 222. Ед. хр. 14.

«Заглавие произвольно придумано публикатором И. С. Аксаковым. <…> Статья написана в форме письма И. С. Аксакову в конце 1861 или начале 1862 г., в Самаре. В исторической литературе ее принято датировать 1862 г. // *Цимбаев Н.И.* И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М., 1974. С. 174. В редакционной статье И. Аксаков отмечал, что статья Самарина представляет собой черновой проект заявления, который славянофилы собирались поместить в газете «День» как протест против предполагавшегося адреса московского дворянства (в начале 1862 г.) о даровании конституции. Статья не была тогда напечатана, т. к. адрес не состоялся, хотя конституционные требования выдвигались на дворянских собраниях в начале 1860-х годов. Подробнее о дворянском конституционном движении после отмены крепостного права см.: *Пирумова Н. М.* Земское либеральное движение. М., 1977. С. 61–68. Статья Самарина – начало его теоретической борьбы с дворянским конституционализмом, в которой ему вместе с И. Аксаковым принадлежала ведущая роль. Вместе с тем в ней получили подтверждение взгляды на самодержавие и его роль в общественной жизни России, изложенные в дореформенный период в статьях < На чем основана и чем определяется верховная власть в России > , «Чему должны мы научиться?» (Самарин 1997. С. 248).

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МАНИФЕСТА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ КРЕСТЬЯН

Печатается: Самарин IV. С. 372–381.

Проект Манифеста Ю. Ф. Самарина содержит основные позиции, определившие окончательный вариант. И хотя он отказывался видеть в нем плоды собственного труда, его опыт и непосредственная работа в редакционных комиссиях отразились на формировании государственного документа.

«Наконец наступила та пора, когда столь давно лелеянная мысль должна была осуществиться, когда то, что еще недавно казалось мечтою, надлежало облечь в плоть и кровь, когда представилась возможность Ю. Ф. приложить к решению крестьянского вопроса всю приобретенную им опытность административную, хозяйственную и жизненную, все знание крестьянского дела, которое далось ему как бы случайно и которое он восполнил упорным трудом. Высочайшие рескрипты 20-го ноября 1857 г. призвали дворянство к разработке Положения об улучшении быта крестьян; открылись повсеместно губернские комитеты, и Ю. Ф. получил 25-го июня 1858 г. приглашение вступить в Самарский Комитет в качестве члена от правительства. Комитет был открыт 25-го сентября; с тех пор, в продолжение 5 лет Ю. Ф. занимался почти исключительно и почти без перерыва крестьянским делом. То была страдная пора в его жизни. В Самарском Комитете занятия продолжались до июня 1859 г. Все это время Ю. Ф. вел оживленную переписку с кн. В. А. Черкасским и с А. И. Кошелевым, которые оба были тоже членами от правительства: первый в Туле, второй в Рязани. Эта в высшей степени интересная переписка отражает те страстные, раздражительные прения, которые велись в комитетах между членами большинства, отстаивавшими интересы дворянства, и членами меньшинства, которые горячо стояли за освобождение крестьян. По утвержденной правительством программе Ю. Ф. составил проект Положения, который кроме него был подписан еще 4 членами меньшинства. По окончании этой работы, он отправился немедленно в Петербург для участия, в качестве члена-

эксперта, в Редакционных Комиссиях. К сожалению он запоздал приездом. Редакционные Комиссии были учреждены еще 4-го марта 1859 г. для рассмотрения проектов Положения, которые постепенно поступали из Губернских Комитетов. По мере того, как съезжались в Петербург эксперты, приглашенные из разных губерний, между членами Редакционных Комиссий начинал уже слагаться окончательный взгляд на то, как следовало отнестись к коренным вопросам этой реформы. В особенности столковались между собою наиболее влиятельные члены хозяйственного отделения Редакционных Комиссий, Н. А. Милютин, бывший председателем этого отделения, и кн. В. А. Черкасский, приехавший в Петербург ранее Ю. Ф. С теми выводами, к которым все члены Хозяйственного Отделения уже пришли на частных совещаниях, Ю. Ф. был не вполне согласен. Сущность его взгляда на крестьянскую реформу заключалась в следующем. Отвергая безусловно личное освобождение крестьян без земли, он придавал самое главное значение вопросу о наделе с сохранением общинного землевладения. Он полагал, что в великороссийских губерниях с общинным владением землею надел следовало определить на каждое сельское общество не по числу ревизских душ, а по единожды навсегда исчисленному для этого общества числу тягл; что надел на тягло должен быть определяем по норме, установленной для каждой из местностей, на которые должна быть подразделена губерния. На отведенную, таким образом, в бессрочное и неотчуждаемое пользование землю, под названием крестьянской или мирской, обществу должно быть предоставлено право выкупа. Но если существовавший надел превышал нормальный надел, то за обществом должно быть признано право удержать за собою излишек за добавочную повинность, но без права выкупа этого излишка. Вопрос о наделе Ю. Ф. признавал коренным, потому что, по его мнению, он решался в то время окончательно, без возможности исправления его в будущем. Что касается вопроса о повинностях, которые, по его мнению, тоже следовало исчислять по тяглам, то его не пугала величина повинности: во-первых, потому, что это дело было исправимо в будущем и, во-вторых, потому, что всякое уменьшение повинности непременно связывалось с уменьше-

нием поземельного надела. Точно так же и по вопросу о переходном состоянии и о выкупе Ю. Ф., хотя и признавал, что вся реформа должна была завершиться выкупом, но опасался хоронить этою развязкою и нисколько не пугался продолжительности переходного или так называемого срочно-обязанного состояния. Если спешить с выкупом, то, по его мнению, для осуществления финансовой операции пришлось бы непременно понизить повинность, а понижение повинности по необходимости влекло за собою уменьшение надела. В этом взгляде на самую существенную, хозяйственную сторону реформы Ю. Ф. расходился даже с тем человеком, мнением которого он наиболее дорожил — с А. С. Хомяковым. Ввиду оказавшегося разногласия между взглядом Ю. Ф. и теми принципами, на которых окончательно, еще до его приезда, утвердились его друзья, не менее чем он воодушевленные желанием, чтобы реформа совершилась на благо крестьян, он думал удалиться из Редакционных Комиссий. Но он пожертвовал своими личными взглядами и подчинился убедительным просьбам своих друзей не покидать общего дела, а довести его до конца. Теперь, когда прошло уже 35 лет после освобождения крестьян, можно, кажется, сказать, что взгляд Ю. Ф. был во многом верен особенно относительно будущего, которого не следовало упускать из виду, но, по вопросу о переходном состоянии, может быть, он не придал достаточного значения, так сказать, психологическому моменту, в который приходилось решать вопрос. Дело в том, что не только помещики, но и крестьяне, требовали окончательной развязки. Крестьяне готовы были идти не только на уменьшение надела, а даже на полный отказ от него, лишь бы достигнуть окончательной развязки. Вот до чего назрел вопрос. Но это настроение крестьян обнаружилось только позднее, когда начали приводить в исполнение Положение 19-го февраля. Неудивительно поэтому, что имея в виду будущее и отстаивая преимущественно интересы крестьян, как стороны безгласной в этом деле, он не придал должного значения означенному психологическому моменту. В Редакционных Комиссиях он работал, главным образом, в хозяйственном отделении по вопросу о повинностях вместе с П. П. Семеновым, и, сверх того, принимал деятельное участие в со-

ставлении Местного Положения юго-западного края. Члены Редакционных Комиссий работали дружно; большого разногласия между ними не было. Но раздражение в обществе против Редакционных Комиссий и усиленный труд надорвали силы Ю. Ф.; прилив крови к утомленному мозгу вынудил его на время прекратить всякие занятия и уехать в сентябре 1859 г. за границу. Отсутствие его было, однако, непродолжительно; уже в декабре он вернулся в Петербург и продолжал работать в Редакционных Комиссиях до закрытия их 10-го октября 1860 г.» (*РБС*. С. 133–146).

А. С. ХОМЯКОВ И КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС

Впервые: РБ. 1860. Кн. 2. С. 55—60. Печатается: Самарин I. С. 241–246.

«Воспоминания написаны в форме письма к М. П. Погодину и предназначались для прочтения на заседании Общества любителей российской словесности, посвященном памяти Хомякова, 6 ноября 1860 г (Хомяков был председателем Общества с 1858 г.)» (Самарин 1997. С. 254).

СОВРЕМЕННЫЙ ОБЪЕМ ПОЛЬСКОГО ВОПРОСА

Печатается: Самарин I. С. 319–343.

Изложенная позиция Ю.Ф. Самарина послужила поводом для утверждения его кандидатуры для участия в комиссии по изучению крестьянского вопроса в Польше, где он убедился в верности собственных положений, отраженных в статьях по Польскому вопросу: «В начале октября он, по просьбе Н. А. Милютина, согласился принять участие в комиссии, которой было поручено изучить крестьянский вопрос в Царстве Польском и выработать проект Положения для тамошних крестьян. Ю. Ф. прожил в Варшаве 6 недель и вместе с остальными членами комиссии, под прикрытием сильного конвоя вследствие продолжавшегося еще мятежа, объехал три уезда, чтобы изучить на месте положение крестьян. Впечатления, вынесенные им из этой поездки, были изложены им в записке, которая от комис-

сии была представлена Государю. Вместе с Н. А. Милютиным и кн. В. А. Черкасским Ю. Ф. выработал проект «Положения об устройстве сельских гмин и крестьянского быта в Царстве Польском» и в январе 1864 г. принял участие в особом комитете, который был учрежден под председательством кн. П. П. Гагарина для рассмотрения означенного проекта Положения. Оно было Высочайше утверждено 19-го февраля 1864 г» (*РБС*. С. 133–146).

КАК ОТНОСИТСЯ К НАМ РИМСКАЯ ЦЕРКОВЬ?

Печатается: Самарин I. С. 295–302.

«Одна из принципиальных статей Самарина, не утратившая своей актуальности и поныне, была написана в связи с той полемикой, что возникла после появления в журнале «Время» сочинения Н.Н. Страхова «Роковой вопрос». Под впечатлением польского восстания Страхов, ведущий идеолог почвенничества, писал о непреодолимости противоречий между Россией и Европой, о различии западной и славянской цивилизации. Выступление Страхова было проникнуто симпатией к полякам, которые поставлены судьбой на рубеже двух цивилизаций. Именно этим оно вызвало резкую отповедь со стороны *РВ,* под редакцией М.Н. Каткова, сохранявшего репутацию западнического и либерального издания. Публикация статьи послужила поводом к закрытию «Времени». Редакции было предъявлено обвинение в философско-историческом оправдании польского мятежа. По поводу разногласий катковского журнала со Страховым верно писал Нольде: «В существе дела, спор вызван был польским восстанием и несколько наивным стремлением части русского общества противопоставить нежданному дипломатическому походу Европы громкое заявление солидарности обновленной России с Западом и западным, как тогда говорили, «прогрессом» (Нольде Б. Э. Юрий Самарин и его время. Париж, 1926. С. 149).

Самарин выступил против подобных настроений русского общества, главным выразителем которых был Катков и которые довольно скоро трансформировались в оголтелый шовинизм.

Он продолжил давний спор с западниками, слив воедино философские, исторические и политические представления славянофилов. Польский вопрос Самарин понимал, прежде всего, как столкновение латинства и православия; положения, когда-то сформулированные в его диссертации «Стефан Яворский и Феофан Прокопович», приобретали современное звучание» (Самарин 1996. С. 585).

[1] Le monde sera sauve□ quand les Anglais deviendront catholiques et quand les Francais, qui sont catholiques, redeviendront chre□tiens. — «Мир спасется, когда англичане станут католиками и когда французы, являющиеся католиками, снова станут христианами» *(фр.).*

[2] Это была своего рода captatio benevolentiae, придуманная ad usum Russorum – снискание расположения… для употребления среди русских.

<МАТЕРИАЛЫ О ПОЛЬШЕ>

Печатается впервые. Автограф: НИОР РГБ. Ф. 265. Карт. 74. Ед. хр. 4. Л. 1–3. Дата написания, по-видимому, относится к началу 1863 года, когда до Самарина стали доходить первые известия о волнениях в Польше.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Впервые: Самарин Ю.Ф. Письмо Р. Фадееву по поводу его книги «Русское общество в настоящем и будущем (чем нам быть)» // Самарин Ю.Ф., Дмитриев Ф. М. Революционный консерватизм. Книга Р. Фадеева «Русское общество в настоящем и будущем (чем нам быть)». Berlin, 1875. С. 9–73. Печатается: по этому изданию.

Фадеев Ростислав Андреевич – (28 марта 1824 г., Екатеринославль – 29 декабря 1883, Одесса) – военный историк, публицист, генерал-майор, герой Кавказской войны. Противник военных реформ Д. А.Милютина.; В 1873 г. собрал свои статьи и брошюры в одну книгу под заглавием «Наш военный вопрос»;

здесь же помещена политическая брошюра: «Мнение о восточном вопросе», которая принесла Фадееву широкую известность в славянском мире. На основании статей, опубликованных в «Русском Мире» (1872 г.) под общим заглавием «Чем нам быть?», в 1874 г. Фадеевым выпущена книга «Русское общество в настоящем и будущем», где выражены идеи о необходимости организовать общественное мнение при помощи создания связного культурного сословия. В 1876–1878 годах. Р. А. Фадеев добровольцем участвовал в национально-освободительной борьбе балканских народов. Автор трудов по истории войны на Кавказе, «Писем о современном состоянии России» (1881).

Письмо послужило одним из поводов А. В. Мещерскому определить движущую силу характера Ю.Ф. Самарина – «ненависть к дворянству» (*Мещерский В.П.* Мои воспоминания. Ч. 2. М., 1898. С. 179). Для Самарина же гораздо важнее утверждение Божественной истины, рождающей чувство ответственности перед ближним, а не *барства*, которое только затмевает перед человеком его подлинное предназначение на земле. В этом он видел залог благополучного общественного и государственного устройства в стране. Приведенные ниже письма Р. А. Фадеева подчеркивают сущность противостояния между религиозным сознанием Самарина и оторвавшегося от духовного предания его оппонента. Письма приведены по изданию: Фадеев Р.А. Кавказская война. М., 2003. С. 611–618. (Публикация С.М. Сергеева).

1

Милостивый Государь Юрий Федорович.

Не имея чести знать Вас лично, я знаю Вас как грамотный русский и потому позволяю себе представить Вам вновь вышедшую мою книгу «Русское общество в настоящем и будущем», в надежде, что мое имя также не совершенно неизвестно Вам, и что, во всяком случае, для Вас будет не лишено интереса мнение, имеющее за собой немало сторонников. Знаю из Ваших сочинений и из Вашей же заметки, которую показывал мне гр. В. Соллогуб, что Ваш взгляд того времени, когда совершались преобразования, не совсем сходился с нынешним моим. Но с того времени утекло много воды и только теперь, после стольких завянувших надежд и бесплодных усилий, пе-

ред русскими глазами встает неотложный вопрос: возможно ли нам существовать далее исключительно в виде государства, ничего более как государства, без малейшего признака совокупного и самостоятельного общества. В своей книге я не затрагивал осаждающих нас отдельных вопросов, полагая, что людям невозможно приступать к решению какой-либо общественной задачи без предварительной возможности обдумать дело сообща, совокупить свои силы и сосчитать сторонников каждого направления; эти же условия всякого последовательного действия немыслимы между людьми, рассыпающимися на единицы, как горсть сухого песка. Очень вероятно, что в наших личных влечениях к тем или другим целям встретилась бы значительная разница; но я думаю, что в текущем часе русской жизни эта разница не имеет значительного веса. В моей книге дело идет не о целях, а о средствах, необходимых для того, чтоб подступать к целям, – об орудиях сборной общественной жизни, которых у нас покуда вовсе нет. На этом поле могут сойтись мнения во многом несходные. Мое мнение таково, что наша русская будущность зависит прямо от решения вопроса: успеем мы, или нет, в жизни нынешнего поколения выбиться из современной русской бесформенности. Откладывать и надеяться на будущее нельзя потому, что над Россией совершается кризис, не уступающий в важности и решительности последствий петровскому, но отличающийся от него тою коренною особенностию, что исход его зависит не только от состоятельности правительства, как было тогда, но еще более от состоятельности общества. Иными словами, результат, прямо зависящий от общественной зрелости, от способности его слагаться в единодушные группы – лежит на обществе не только не зрелом, не только не самостоятельном, но в действительности не существующем. Признаюсь, я долго верил в *планиду* России, в то условие в нашу пользу, что ныне некому вывозить на своих плечах для исторической будущности ни лучших общественных идеалов, ни чистой веры – кроме нас; что мы имеем за собой привилегию – хотя мерзкого, но к чему-нибудь годного работника, которого за то и держат в доме; но теперь я стал думать, что мы способны истощить даже небес-

ное долготерпение и что без вещественных законодательных мер, принятых безотлагательно, мы не выберемся из болота. Потому эти меры, с какими бы то ни было вариациями, хотя бы только для наружного создания русского общества, я считаю неизбежными – т. е. неизбежными для развития и сохранения нашей национальной жизни, – так как – избежать их, утонув в болоте, очень легко. Единственный исход, который мог бы поднять нас *нравственно,* заменить наши жидовские идеалы текущего дня чем-нибудь похожим на действительный идеал – вопрос славянский в обширном смысле, неприступен при нынешнем состоянии русских вооруженных сил, расстроенных до корня и надолго. Потому остается только внутреннее сплочение. За программу, изложенную в моей книге, идет теперь сильное течение в официальном круге. В будущем, судя по нынешнему расположению лиц, представляющих будущее, успех почти обеспечен; но даже ныне – т. е., говоря правильно, завтра – он весьма вероятен, при некоторых ожидаемых переменах, если только выставленная программа не встретит общего гласного отпора наших искусственных мнений. Вам известно, что в наших верхних этажах теперь храбрости мало – и понятно: обжегшись на молоке, и на воду станешь дуть.

Вам может показаться странным, что я пишу все эти слова человеку незнакомому. Но, если есть умственное общение вне вещественного, то Вы мне знакомы, если не я Вам. Говоря просто, я дорожу Вашим мнением и, посылая Вам книгу, прибавил это только вместо введения. Извините меня за это объяснение, малоупотребительное в России между незнакомыми людьми, хотя бы из-за того, что Вы же с покойным Хомяковым уверили меня в неприкосновенности русской судьбы, которую теперь приходится починять, как старый тарантас, первым попавшимся под руку орудием, чтоб только он доехал до первой станции. Если доедет, его можно будет поправить заново, но прежде всего надо доехать.

Прошу Вас принять уверение в совершенном моем почтении и преданности

Ростислав Фадеев

Петербург Гост[иница], Париж, 6 ноября 1874.

2

Милостивый Государь Юрий Федорович.

Благодарю Вас искренно за доставление Вашей рукописной статьи, прошу Вас, если Вы захотите увенчать Вашу любезность, прислать печатный экземпляр в Одессу, по адресу: Греческий переулок, дом Криони; если же Вы не в дружбе с цензурой, то в Константинополь на имя посольства. Свив себе временное гнездо в Египте, я должен был основать главный узел моих сношений с отечеством в Константинополе.

Ответ Ваш, как все, что Вы пишете, есть замечательное произведение по мысли и слогу. Но не могу не сказать откровенно, что Ваша оценка моих видов не только не верна в основании, но доказывает неверный взгляд на всю официальную Россию. Я не желал бы считать Ваш прием за чисто полемический, т. е. неискренний; но неужели Вы серьезно думали, что книга моя была внушена какой-то партией, что в душе я заботился исключительно об интересах дворянства и т. п. — Если б у нас существовала такая партия, способная единодушно обдумать стройную программу, то я не имел бы причины писать о русском разброде. Зачем писать, когда перед глазами у всех стоит уже завязка политической группы, долженствующей, по закону общего развития, вызвать группу противоположную, вследствие чего наше общественное дело пошло бы развиваться само собою. В такой партии, выставляемой Вами как опасность, заключалось бы напротив наше спасение; она служила бы доказательством, что мы начинаем срастаться в организм. Но ничего подобного нет, все это знают. У наших консерваторов, как и наших либералов, есть только вкусы, а не систематические планы. Одни Вы, славянофилы, составляете исключение, а потому и развиваете, должно быть для противовеса, идеи уже через систематические. Действительно, я писал Вам, в то время, когда падение гр. Шувалова не было еще делом решенным, что книга моя при известных условиях может оказать влияние; но я писал это потому только, что имел в ту пору причину надеяться обратить *вкусы* в пользу своей программы, а вовсе не потому, чтобы эти вкусы диктовали мне программу. Ни разу даже я не имел

систематического разговора с каким-либо официальным лицом об этой программе, пока она не была напечатана; тогда, действительно, пошли разговоры. Признаюсь Вам, я чистосердечно засмеялся, когда прочел тонкую догадку о видах, заставивших меня оставить городовое положение нетронутым. Мои макиавельские виды можно выразить в коротких словах: я писал не как деятель, а как зритель, взвешивающий дело только в его общих чертах; о городовом же положении я не только не вспомнил в то время, но даже, сознаюсь, его не знал в точности.

Зачем, собственно, написал я «Чем нам быть», об этом я охотно расскажу Вам при свидании, если оно когда-нибудь состоится; покуда же могу Вам сказать лишь следующие слова.

Вы читали в книге И.С. Аксакова о Тютчеве оригинальное выражение последнего, что мы сыграли уже две пунические войны против Европы, а третья, решительная, у нас еще впереди. Хотя Тютчев был только поэт, но это несомненная правда; а кому известно еще нынешнее положение Турции и отношение к ней (а стало быть и к нам) Европы – не в общих чертах, а определенно – тот не сомневается, что эта третья, все решающая война, предстоит не будущему, а нынешнему поколению. Что такое большая война, об этом легко вспомнить, упомянув о войнах пунических; если б Аннибалу удалось найти в римской стене удобную трещину, в то время, когда он стоял под городом, то весьма вероятно, что мы с Вами были бы совсем не теми людьми как теперь, и даже, статочно переписывались бы не на нынешнем своем языке. Предстоящая же нам борьба будет стоить по последствиям своим войны пунической. Позвольте спросить Вас чистосердечно: имеете ли Вы право, объявив себя некомпетентным в военном деле, спокойно отвращать глаза от этой стороны дела? А между тем, современная Россия, устроенная Ростовцевым, покаявшимся в своем покаянии накануне 14 декабря, и братьями Милютиными, стала так же неспособной к войне, как Китай, в ту пору именно, когда война должна решить весь смысл ее истории. Не обманывайтесь, пожалуйста, тем, что Вам могут сказать какие-нибудь офицерики, окружающие Гильденштуббе. Мои военные сочинения не были бы переведены на все европейские языки, если б я не понимал военного дела и

не знал того, о чем говорю. Я не встречал ни одного боевого человека у нас, который в этом отношении не был бы одного и того же мнения. Но что же за причина нашего военного расстройства? кто же этого не знает: не что иное, как применение к войску общих гражданственных преобразований, отозвавшихся на армии, как и на народе всеобщей нивелировкой, заменением всех подросших уже несколько исторических сил всевластной и безличной бюрократией. Не говоря уже о том, что государство, в котором всякая местность осталась совершенно без хозяев, в котором оказывается ныне столько же домов на каждую лошадь и корову, сколько недавно еще приходилось коров и лошадей на дом – не способно к большому напряжению; но вот Вам ясный, подлежащий уже практической, а не одной голословной поверке – результат *сочиненных* реформ шестидесятых годов (дело идет не о факте освобождения крестьян, Вы это знаете.) Результат этот только виднее на армии, чем на народе, в сущности, он один и тот же.

Кто будет виноват в предстоящем нам фиаско всей русской истории, позвольте Вас спросить, мы ли, подпольная интрига, за какую Вам угодно выдавать нас, или Вы, славянофилы, нигилисты и либеральные сторонники газеты «Голос», которые все, несмотря на глубочайшие различия между собою, постарались состроить современную Россию по образцу небесного Иерусалима, а не земного государства, подходящего к самому критическому часу своего бытия? Две невозможности разом не дают поставить русскую боевую силу на соответствующую ее задаче высоту: продолжающееся царство Милютина, которое есть чистейший остаток банды, выстроившей Россию 1861 года, о благонамеренности которой Вы считаете возможно говорить так громко; а затем – общественная почва, сложенная таким образом, что она не дает и не может давать офицеров армии, а в то же время оставляет всю русскую землю без хозяев на время величайшего напряжения сил. Извините меня за откровенность слова, я считаю себя вправе говорить таким образом даже с Вашей, славянофильской точки зрения; я не чужд Вам, хотя всегда принимался за дело не с того конца как Вы. Вот доказательство: в

то время как славянофилы затрагивали славянский вопрос с точки зрения святителя, служащего когда-нибудь в ризах Св. Мефодия в древней Праге, на берегу шумящей Савы и Дравы, я написал о нем практическую брошюру, сделавшую мое имя известным множеству простых баб в славянских землях, в чем Вы легко можете удостоверить, между тем как одни ученые знают там Вас и Хомякова, несмотря на Ваши таланты, перед которыми я преклоняюсь, — я, но не славяне, оставшиеся Вам чуждыми. Значит, мой прием лучше Вашего, когда вопрос идет о практическом деле, а не о теории. Вместе с тем, Вы не имели никакого права заподазривать мои намерения, я доказал себя достаточно. Я бросил блестящую карьеру и боролся восемь лет для того, чтоб разоблачить убийственное для России нынешнее безобразие и достиг того, что, вопервых, хоть план будущего и надлежащего нашего устройства поставлен твердо, а во-вторых, дожил до следующих, официально сказанных мне слов: «Государь смотрит теперь на наше военное дело и на кружок Милютина совершенно Вашими глазами» (хотя ничего не делает в этом смысле, но это уже не моя вина). И вот еще: в ту же тему, когда Вы трудились в Москве для ниспровержения кн. Мещерского, хлопотавшего о поднятии нравственного уровня дворянства (я нисколько не заподазриваю Ваших стремлений, хотя и не разделяю их), я работал в Египте, но не изучал его, как Вы полагаете, а один, своей особой, без малейшей поддержки сверху, втянул его в систему русской политики и получил под свое командование армию хедива. Теперь все — и Государь, и Наследник, и Игнатьев, и азиатский департамент одного мнения со мною, что в этой новой связке всех сепаратистских сил Турции лежит единственное средство умалить для России опасность, явно близящуюся, чисто внешнего решения восточного вопроса; но задумал и исполнил дело я один, под гнетом убеждения в несостоятельности для войны современной России, устройством которой Вы так гордитесь. (Вы не выдадите этой государственной тайны, я лучшего мнения о Вас, чем Вы обо мне). Я позволяю себе думать, Юрий Федорович, что в смысле верной службы отечеству, мой зимний успех стоит Вашего мо-

сковского, а потому думаю также, что Вы могли бы отнестись иначе к моим побуждениям; я бы, по крайней мере, никогда не отнесся таким образом к Вашим. Доказательство нашего неизлечимого, покуда, умственного разброда в том и заключается, что мы никак не можем рассуждать о деле, не заподазривая противника в печатании фальшивых ассигнаций.

Смысл книги моей не может представлять малейшего сомнения для всякого, кто хочет его видеть; для этого не нужно даже знать главного, высказанного сейчас моего побуждения. Книга состоит очевидно из двух рассуждений, иногда переплетенных между собою в изложении, но совершенно различных по предмету: из анализа нынешнего состояния России и из примерного плана к его улучшению. Мешать одно с другим, воображать, что возражения, даже самые дельные, против подробностей и формы моего примерного плана наносят какой-либо удар сущности моей темы – значит преднамеренно путать дело и не убедить никого – а Вы именно так сделали. Я убежден, всякий, кто дал себе труд проехать по России, также убежден, все беспристрастные люди, которых я видел и вижу – все убеждены, что наше современное общественное состояние не стоит выеденного яйца, а нынешняя Россия не способна к такому почину, ни к какому делу, ни внутри, ни вне себя – вот положительная тема, которой Вы как будто не хотите знать, от которой отделываетесь несколькими фразами. Оставаться в таком положении слишком опасно, если б не было даже видно надвигающихся на нас туч, а они видны слишком явственно – вот также положительная тема, истекающая из первой. В сущности, в этом вся суть того, что я сказал, и даже наверное не сказал бы ни слова более, если б писал для публики толковее нашей. С нашим же обществом я предвидел очень хорошо вопрос «так скажите же, что делать, если знаете!» – вопрос равносильный полной апатии к самой сущности дела; о чем и хлопотать, когда нельзя ничего поправить. В виду подобного вопроса я и написал свой план реформы; в разговоре я назвал бы его словами: вот, например, чем можно поправить! – В моей мысли план этот был вовсе не философским камнем для излечения наших зол, а одним из многих, может быть, гораздо лучших средств для на-

шего врачевания. Я желал возбудить серьезную и многоустную речь об этом предмете и с великим удовольствием отказался бы публично от той или другой стороны своих предположений, если б было выставлено на вид лучшее средство, потому что сущностию дела я считаю вовсе не свой план реформы, а уразумение невозможности оставаться в нынешнем нашем слабосилии и идти навстречу неминуемой буре при нашей расслабленности. На счет этого существенного пункта — расслабленности, я не вижу разномыслия в России, не только между официальными лицами, но между всеми встречными и незнакомыми людьми, с которыми сталкиваюсь на железной дороге и в провинции. Из этих всех довольных я не встречал ни одного; должно быть для Вас и для меня существует в России совсем иная публика. Ваш ответ, обращенный на подробности моего проекта, опускает вовсе сущность вопроса; читавшие ответ, сколько я знаю, принимают его за апологию нынешней общественной и военной милютинщины, в которой изверились уже самые доверчивые люди. Потому, уверяю Вас, Ваш ответ можно было бы разбить в прах гораздо легче, чем Вы предполагаете; для этого вовсе не нужно защищать мой проект в его подробностях, – достаточно показать, что Вы вовсе не отвечаете на сущность вопроса. Если у меня будет время, то я напишу за границею нечто о возражениях Кавелина и Кошелева; тех следует продернуть; с Вами же я желаю сохранить мир и дружбу, а полемика в тон мира и дружбы становится невозможной, согласитесь сами, коль скоро пошло дело о заподозрении побуждений.

Через два дня я уезжаю в Египет делать свое дело. В этом отъезде – простите мою откровенность – заключается самый ясный ответ на Ваш ответ. Я еду затем, чтоб умалить несколько опасность, которую современная Россия – по-вашему, обновленная, а по-моему, расслабленная – не может уже больше встретить лицом к лицу. Отложим наш спор до того близкого времени, когда события покажут непогрешимо, кто из нас служил сознательнее отечеству.

Графиня Левашова, с которой недавно Вы познакомились, пишет мне, что после прочтения Хомякова и встречи с Вами она уже *никогда и нигде* не будет защищать папу.

Примите, Юрий Федорович, уверение в искреннем моем почтении и совершенной преданности

Ростислав Фадеев

4 сентября 1875
Петербург, гост[иница] Париж.

[1] bonde et ne se resquille pas – выскочка, превосходящая в плутовстве *(фр)*.

ДВА СЛОВА О НАРОДНОСТИ В НАУКЕ

Печатается: Самарин I, 107–118.

«Статья Самарина открывала первый номер журнала *РБ* – славянофильского периодического издания, не без опасений разрешенного цензурой в начале царствования Александра II. *РБ* нарушала абсолютный запрет, наложенный на литературную деятельность славянофилов в последние николаевские годы. Примечательно, что написание программной статьи вновь было поручено Самарину, несмотря на всю его занятость крестьянским вопросом. Статья вызвала оживленную дискуссию *РБ* с *РВ* и «Современником». Имя Самарина оказалось в центре общественного внимания. Его главным оппонентом был сотрудник *РВ* Б.Н. Чичерин, написавший статью «О народности в науке» *(РВ.* Т. III. Май. Кн.1. С. 62–71). Возражая Самарину, Чичерин писал: «Факт и закон — вот вся наука, вот вся задача. Нужно только посредством исторической критики или со знанием произведенных опытов, отделить случайное от постоянного, нужно развитою мыслью вникнуть в жизненную связь явлений, и закон явится нам, как внутренняя их сущность» (Ук. ст. С. 65). Любовь к предмету, наличие познавательных способностей и достаточное количество данных – вот необходимые предпосылки успешного исторического исследования, считает Чичерин. «Конечно, к ученым взглядам может примешиваться и чисто национальный элемент, но это именно та сторона, которая откидывается, как случайный нанос; остается же вечно и незыблемо одно общечеловеческое, потому что оно одно имеет характер истины» (С. 68), – приговор Чичерина народному подходу к исторической

критике был беспощадным. За этим последовал немедленный самаринский ответ – статья «О народном образовании» (опубликована во 2-й кн. *РБ,* затем: I, 119–143), где Самарин с необычной для него иронией писал о западническом понимании прав и достоинства личности: «Личность сама по себе, независимо от ее направления или содержания, имеет такое бесконечное достоинство, что, когда признается за нужное освободить ее от невежества и застоя, не грех и приналечь на нее» (I, 142).

Помимо Самарина, деятельное участие в дискуссии принял КС. Аксаков. См. его статьи: О русском воззрении *(РБ.* 1856. Кн.1. Смесь. С. 84–86) и Еще несколько слов о русском воззрении *(РБ.* 1856. Кн. 2. Смесь. С. 139–147).

Дальнейшая полемика привела Самарина к необходимости написать для сотрудников *РБ* «Замечания на заметки «Русского Вестника» по вопросу о народности в науке» (при жизни Самарина не была опубликована. Впервые издана в: Самарин I, С. 144–157). В этих «Замечаниях» привлекает внимание следующее утверждение: «Мы дорожим народностью потому, что в ней мы видим жизненное осуществление начал *истинных,* в сравнении с теми, которые внесены романскими и германскими племенами, которые нам представляются *односторонними,* т.е. относительно-ложными.

Для нас, как и для всех, *цель* составляет *истина, а не народность;* но мы говорим о народности и из слов наших, *по-видимому,* вытекает, что народность для нас есть цель потому, что *в настоящее время, вследствие всего воспитания нашего,* мы стоим не на истинной, а на *инородной* точке зрения, мы приобщились к *инородному* взгляду на вещи» (Самарин I, С. 151).

Возбужденный Самариным спор о «народности в науке» затрагивал фундаментальный вопрос о зрелости русской мысли и общественного сознания. В этом смысле не вызывает сомнения своевременность статьи, умение Самарина, мыслителя и публициста, быть актуальным. Прекращая *РБ* в 1859 г., И. Аксаков выделял мысли, за которые ратовал журнал и которые «сделались ныне уже общим достоянием». На первое место он поставил мысль «о народности в науке», за которой выводил и остальные: «вопрос об общинном благоустройстве»; «мысль об

освобождении крестьян с землею»; «признание прав самобытности каждой славянской народности»; «демонстрация образцов своеобразия русской мысли в области философии, истории и филологии» *(РБ.* 1859. № 6. Заключительное слово. С. III–VII)» (Самарин 1996. С. 579–580).

О НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Печатается: Самарин I. С. 119–143

Ю.Ф. Самарин отстаивает *духовную цельность человека*, лежащую в основе любых общественных преобразований и оценок. Невозможно навязать отвлеченные представления без учета сложившихся нравственных критериев в традиционных условиях жизни русского крестьянства. Автор указывает на усиливающееся непонимание между различными слоями населения как условие социального напряжения в стране.

[1] средневековом романтическом понятии de la galanterie, der Huldigung – галантность, обходительность *(фр)*, преклонение *(нем.).*

ЗАМЕЧАНИЯ НА «ЗАМЕТКИ «РУССКОГО ВЕСТНИКА» ПО ВОПРОСУ О НАРОДНОСТИ В НАУКЕ

Печатается: Самарин I. С. 144–157.

ПО ПОВОДУ МНЕНИЯ «РУССКОГО ВЕСТНИКА» О ЗАНЯТИЯХ ФИЛОСОФИЕЮ, О НАРОДНЫХ НАЧАЛАХ И ОБ ОТНОШЕНИИ ИХ К ЦИВИЛИЗАЦИИ

Печатается: Самарин I. С. 261–284.

«Одна из принципиальных статей Самарина, не утратившая своей актуальности и поныне, была написана в связи с той полемикой, что возникла после появления в журнале «Время» сочинения Н.Н. Страхова «Роковой вопрос». Под впечатлением польского восстания Страхов, ведущий идеолог почвенничества, писал о непреодолимости противоречий между Россией

и Европой, о различии западной и славянской цивилизации. Выступление Страхова было проникнуто симпатией к полякам, которые поставлены судьбой на рубеже двух цивилизаций. Именно этим оно вызвало резкую отповедь со стороны ***РВ,*** под редакцией М.Н. Каткова, сохранявшего репутацию западнического и либерального издания. Публикация статьи послужила поводом к закрытию «Времени». Редакции было предъявлено обвинение в философско-историческом оправдании польского мятежа. По поводу разногласий катковского журнала со Страховым верно писал Нольде: «В существе дела, спор вызван был польским восстанием и несколько наивным стремлением части русского общества противопоставить нежданному дипломатическому походу Европы громкое заявление солидарности обновленной России с Западом и западным, как тогда говорили, «прогрессом» (Нольде Б. Э. Юрий Самарин и его время. Париж, 1926. С. 149).

Самарин выступил против подобных настроений русского общества, главным выразителем которых был Катков и которые довольно скоро трансформировались в оголтелый шовинизм. Он продолжил давний спор с западниками, слив воедино философские, исторические и политические представления славянофилов. Польский вопрос Самарин понимал, прежде всего, как столкновение латинства и православия; положения, когда-то сформулированные в его диссертации «Стефан Яворский и Феофан Прокопович», приобретали современное звучание» (Самарин 1996. С. 587–588).

ПРЕДИСЛОВИЕ К ОТРЫВКУ ИЗ ЗАПИСОК А. С. ХОМЯКОВА О ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

Печатается: Самарин I. С. 247–252.

Для Ю. Ф. Самарина важно подчеркнуть религиозный взгляд А. С. Хомякова на развитие мировой истории. «Записки о всемирной истории» А. С. Хомякова представляют особую важность как философско-исторический труд. Достаточно объемное сочинение осталось незавершенным и неотредактированным автором. По свидетельству современников, зимой 1859–1860

года Хомяков сообщал Погодину о намерении приготовить его к печати, что осталось невыполненным. Сочинение построено на основе сравнительного изучения веры и языков племен и доведено до XI века. Заслуга Хомякова – в указании важности религиозного фактора в жизни народов. Его выводы по истории религии, указания на роль начал необходимости и свободы в первоначальных религиозных представлениях семитов и индоевропейцев не потеряли значения и в настоящее время. «Семирамида» представляет однако не один лишь научный, но и художественный интерес. В. И. Ламанский, справедливо указывал на встречающиеся здесь «целые страницы превосходных характеристик разных исторических явлений или деятелей в жизни религиозной и государственной восточных и европейских народов, страницы, исполненные изумительной глубины, необычайной силы и живости выражения».

ПИСЬМА ИЗ РИГИ

Печатается: Самарин VII. С. 1–160.

«Ю. Ф. выехал из Петербурга в Ригу 21-го июля 1846 г. вместе с председателем комиссии Я. В. Ханыковым. Служба его там продолжалась два года. На него возложено было составление «Истории городских учреждений Риги». Исследование это было напечатано министерством в 1852 г. и хотя оно назначалось только «для лиц высшего управления», однако бывший министр внутренних дел Л. А. Перовский не решился выпустить его из своего кабинета и все издание погибло; уцелело только 2–3 экземпляра, составляющие теперь библиографическую редкость. В предисловии к этому исследованию, написанном Ханыковым, сказано, что «исторические сведения о постепенном развитии рижской городской общины должно было почерпать из местных летописей, записок и протоколов двух городских гильдий; лишь немногие из этих источников были изданы, большинство же заключалось в рукописях нередко на трудно понятном древненемецком языке». Кроме этого служебного труда, Ю. Ф., под конец своего пребывания в Риге, написал еще Письма об Остзейском крае. Цель, с которою он взялся за перо, высказана им самим

в письме к Аксакову, написанном в апреле 1848 г.: «систематическое угнетение русских немцами, ежечасное оскорбление русской народности в лице немногих ее представителей — вот что волнует во мне кровь и я тружусь для того только, чтобы *привести этот факт к сознанию*, *выставить его перед всеми»*. По приезде в Петербург Ю. Ф. представил в рукописи свои «Письма из Риги» министру внутренних дел, как своему начальнику. Письма эти получили огласку и возбудили негодование немецко-остзейской партии и стоявшего во главе ее тогдашнего остзейского генерал-губернатора князя Суворова. Она достигла того, что, по истребовании от С. объяснения, признанного неудовлетворительным, он был по Высочайшему повелению посажен в Петропавловскую крепость. После 12-дневного заключения в ней, 17-го марта 1849 г., в 9 ч. вечера, явился к нему в крепость фельдъегерь и повез его к Государю в Зимний дворец. Император Николай сделал ему строгое внушение за разглашение того, что считалось, по тогдашним понятиям, канцелярскою тайною, и за возбуждение вражды немцев против русских, но обошелся с ним милостиво. Он закончил свою речь словами: «Теперь это дело конченное. Помиримся и обнимемся. Вот ваша книга, вы видите, что она у меня и остается здесь». Государь велел С. ехать в Москву и дожидаться распоряжения о назначении его там на службу» (*РБС*. С. 133–146).

Ю.Ф. Самарин описывает события, послужившие последствием обнародования «Писем из Риги»: В ожидании нового назначения в службу я сделал записку для себя на память: все обстоятельства моего заключения в крепости и моего освобождения.

С приездом князя Суворова в Петербург толки обо мне и о письмах моих, на время затихшие, оживились. Кн<язь> Сув<оров> ежедневно всем и каждому бранил меня, Хомякова и гр<афа> Толстого, иногда выгораживая двух последних или одного из них, но обыкновенно приписывая нам без различия разрушительные замыслы, а меня в особенности называя клеветником и личным врагом своим. Впрочем, на слова его даже петербургское общество обращало мало внимания. Между тем я продолжал чтение своих писем на вечерах у Оболенского и

готовил исподволь исправленный экземпляр. С.П.Апраксина, встретившись со мною, с горячностью и откровенностью ей свойственными, объявила мне, что она понять не может, как мог человек, которого она всегда уважала, добровольно принимать на себя роль защитника возмутительных действий правительства по делам Православия. Это открытое нападение вызвало ответ и предложение прочитать VI письмо. Оно было прочтено и произвело впечатление. Перемена в образе мыслей С.П.Апраксиной немедленно обнаружилось в ее разговорах с Мелендорфами, Бергами, Паленами, и они безошибочно угадали причину ее. Здесь, кажется, в первый раз они увидели, что влияние моих писем могло из второстепенного круга чиновников проникать в высший свет и коснуться людей, которых нельзя будет ни оклеветать, ни очернить, ни заподозрить как опасных в глазах правительства. Это их испугало и раздражило. В Петербург приехал граф Строганов. Имел ли он список или выписки из моих писем, сообщил ли их к<нязю> Суворову – останется для меня недоказанным; но нет сомнения, что он говорил о них с к<нязем> Суворовым, если бы он захотел, то мог бы уговорить его не преследовать меня: он не оградил меня, что верно. Кроме того, Олсуфьев, которому я рассказывал, что Л.А.Перовский выговаривал мне за сообщение писем Строганову, сомневаясь в его скромности, сказал мне: je croci gen Peraftitiy a raison; наконец пошел слух, конечно, ни на чем не основанный…<1849>» (НИОР РГБ. Ф. 265. Карт. 85. Ед. хр. 2. Л. 1–1 об.).

[1] Die von Indigenis (т.е. членов курляндского рыцарства) besessenen Güter sollen, wenn sie zu Kurland zugetheilt werden, die Natur der in Kurland bestehendeu Indigenats-Güter erhalten, während die von nicht Indigenis besessenen Güter (т. е. простых дворян) so lange bürgerliche Lehnen bleiben bis sie durch Indigenats-Verwaltung, Kauf oder Erbschaft in die Gründe der Indigenis kommen, von wann ab sie denn fur immer den Character der Indigenats-Güter erhalten. – Привилегии дворянства обязательны в границах Курляндии, право Курляндии сохранять привилегии, тогда как права простых дворян остаются до рассмотрения администрации в положении мещанского сословия, при покупке

или наследстве распространяется тот же характер получения привилегий *(нем.).*

ВСЕПОДДАННЕЙШЕЕ ПИСЬМО К ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ

Печатается: Самарин VIII. С. IX–XXVII.

«Ю. Ф. вернулся снова к остзейскому вопросу, который ему пришлось изучить еще в молодости. Но теперь этот вопрос был поставлен им шире. Он находил неправильною нашу тогдашнюю внутреннюю политику в отношении вообще к окраинам России. Он признавал, что национальное направление нашей внутренней политики сильно поколебалось в 60-х и 70-х годах и что это не могло не вызвать центробежного стремления в Польше, Финляндии, Остзейском крае и даже на Украйне и на Кавказе. Для противодействия этому направлению, клонившемуся к федеративному устройству России, Ю. Ф. и предпринял издание «Окраин России», которые он печатал за границею. По выходе в 1867 г. первых двух выпусков Ю. Ф. был вызван в ноябре 1868 г. московским генерал-губернатором для объявления ему Высочайшего неудовольствия за начатое им издание. Вследствие этого С. было написано всеподданнейшее письмо к императору Александру Николаевичу; он изложил в нем политическую исповедь свою и выяснил, с каким намерением он предпринял заграничное издание. Затем следующие выпуски «Окраин» и полемические брошюры по поводу их продолжали выходить за границею: в 1869 г. был напечатан ответ Ю. Ф. на анонимное письмо, появившееся в Баден-Бадене; в 1870 г. ответ Бокку и Ширрену; третий выпуск «Окраин» в 1871 г. четвертый в 1874 г.; пятый в 1875 г.; и шестой в 1876 г. после его смерти. Таким образом в последние 12 лет жизни Ю. Ф. почти каждый год появлялось какое-либо значительное произведение его пера. Не вдаваясь в подробную оценку «Окраин России» ни с литературной, ни с политической точки зрения, следует сказать, что труд этот вызвал страстную полемику в Германии и сделал имя Ю. Ф. известным в Европе. Что касается России, то «Окраины» были встречены с горячим сочувствием в тех общественных слоях,

которые стояли за национальное направление нашей политики, как внутренней, так и внешней, и за государственное объединение России, а со стороны наших русских космополитов посыпались обвинения на автора в узости взгляда, в национализме и, наконец, в том, что он разжигает страсти и вызывает вражду немцев против русских. Такое отношение к «Окраинам России» проявилось в особенности позднее, когда в царствование Александра III само правительство усвоило себе ту точку зрения на остзейский вопрос, которую проводил Ю. Ф. в своем труде. Во всяком случае, едва ли можно отрицать, что само по себе издание «Окраин» в 60-х и 70-х годах было гражданским подвигом» (*РБС*. С. 133–146).

ПРИЛОЖЕНИЕ

[1] *Нольде Б.Э.* Юрий Самарин и его время. Париж, 1926. – 2-е изд. Paris: YMCA-Press, 1978. С. 233.

[2] *Кошелев А.И.* Записки А.И. Кошелева. Русское общество 40–50-х годов XIX века. Ч. I. М., 1991. С. 175.

[3] Переписка дочерей Ф.И. Тютчева. (Предисловие, примечания Л.В. Гладковой, И.А. Королевой. Перевод Л.В. Гладковой) // Русская словесность. 1996. № 1. 1996. С. 88.

[4] Анна Федоровна Аксакова (Тютчева).

[5] Он читал письмо (*нем.*).

[6] Убри Павел Петрович – российский дипломат, государственный деятель; в 1871–1879 годах посол в Германской империи.

[7] Христос – моя жизнь, смерть – моя победа (*нем.*).

[8] Дарья Ивановна Сушкова – сестра Ф.И. Тютчева, в ее семье жила Е.Ф. Тютчева.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ РУССКОГО НАРОДА

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация *(вышел)*
Русское Православие *(выйдет в 2008 г.)*
Русское государство *(вышел)*
Русский патриотизм *(вышел)*
Русское мировоззрение *(вышел)*
Русский образ жизни *(вышел)*
Русская география
Русское хозяйство *(вышел)*
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература *(вышел)*
Русское искусство
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организаций. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

Автономная некоммерческая организация Институт русской цивилизации создана в октябре 2003 г. для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Предшественником Института был Научно-исследовательский и издательский центр «Энциклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований, конференций, семинаров и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 20-томной «Энциклопедии русского народа», а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма.

Редактор Е. Н. Сапрыкина
Корректор Н. Н. Самойлова
Компьютерная верстка Д. Е. Поляков
Институт русской цивилизации Тел.: 8-499-242-50-80.

Подписано в печать 05.04.2008 г. Формат 84 х 108 $^1/_{32}$.
Гарнитура «Times». Объем 35,6 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.